

Литературные

СКАЗКИ

НАРОДОВ СССР

Литературные  
**СКАЗКИ**  
НАРОДОВ СССР





*Литературные*  
**СКАЗКИ**  
**НАРОДОВ**  
**СССР**



МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
1989



Составление,  
вступительная статья  
и примечания  
*В. И. Калугина*

Иллюстрации  
*Р. Ж. Авотина*

Л  $\frac{4702000000-1961}{080(02)-89}$  1961—89

© Издательство «Правда», 1989.  
Составление. Вступительная статья.  
Примечания. Иллюстрации.



### «ЭТО ЧТО ЗА НЕВИДАЛЬ...»

«И Пушкин окончил свою сказку! Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам».

Эти строки из письма Н. В. Гоголя к В. А. Жуковскому датированы 10 сентября 1831 года, а 15 сентября в газетах появилось объявление о выходе в свет первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Создавались «Вечера» в то же лето 1831 года и в том же самом Царском Селе, где молодой, двадцатидвухлетний Гоголь, оказавшись рядом с Пушкиным и Жуковским («Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я»,— сообщал он другу) и где — одновременно, все трое — создавали свои сказки. Пушкин — «Сказку о царе Салтане», Жуковский — «Сказку о царе Берендее» (в ее основе, как известно, пушкинская фольклорная запись), а Гоголь — *невидали* украинского пасичника Рудого Панько, которые тоже воспринимались современниками как сказки («На сих днях вышли *Вечера на хуторе* — Малороссийские народные сказки»,— запишет 23 сентября 1831 года Владимир Одоевский).

Среди *зодчих* нужно назвать имена не только Пушкина, Жуковского и Гоголя. Это огромное здание чисто русской поэзии воздвигли Орест Сомов и Владимир Даль, Николай Языков и Владимир Одоевский, Николай Полевой и Иван Ваненко, Александр Вельтман и Петр Ершов — все они стояли у истоков нового жанра — литературной сказки. Произошло это в самом начале 1830-х годов, когда были созданы все шесть сказок Пушкина, три сказки Жуковского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Малороссийские были и небылицы» Ореста Сомова, «Были и небылицы казака Владимира Луганского» (Владимира Даля), «Сказка о пастухе и диком вепре» и «Жар-птица» Николая Языкова, «Пестрые сказки» Владимира Одоевского, романы-сказки Александра Вельтмана, «Конек-горбунок» П. П. Ершова.

Все эти прозаические и стихотворные сказки вышли до 1835 года, когда в Копенгагене появились в свет первый и второй выпуски «Сказок, рассказанных детям» Ханса Кристиана Андерсена.

И это не случайное совпадение, а общая закономерность развития всех национальных литератур, в каждой из которых рано или поздно появлялись свои «короли сказок». Во Франции (еще в XVII веке) — Шарль Перро, в Германии — братья Гримм, в Дании — Андерсен, в Норвегии — Асбьёрнсен, в Англии — Льюис Кэрролл, на Украине — Марко Вовчок, в Армении — Газарос Агаян и Ованес Туманян, в Молдавии — Йон Крянгэ, в Латвии — Карлис Скалбе и Анна Саксе, в Литве — Пятрас Цвирка.

Русская литература в этом отношении не исключение, а правило. Как и все мировые литературы, она обретала национальные формы через фольклор, через обращение писателей к народному творчеству. Когда Пушкин писал в 1826 году: «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы», он имел в виду идеи, волновавшие в равной степени и Вальтера Скотта, первым собравшего и издавшего шотландские народные песни, и братьев Гримм, и Рылева, Александра Бестужева, Кюхельбекера и американского критика Джеймса Полдинга, начавшего в 1827 году дискуссию о национальном театре Нового Света. В 1834 году Белинский уже называл народность *альфой и омегой* (началом и концом) эстетики нового времени. Этот путь к народности во всех литературах начинался с народного творчества — с его собирания, издания, изучения и воплощения в литературе, с появления нового жанра литературной сказки.

Обычно, говоря о литературной сказке, мы имеем в виду только детские, наиболее известные, ставшие несомненной классикой литературы для детей. Но «Девочка Снегурочка» Владимира Даля, «Мороз Иванович» Владимира Одоевского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, равно как детские сказки К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого, — только часть того явления, которое называется литературной сказкой. Не говоря уже о том, что детские сказки Владимира Даля появились в 60-е годы XIX века, а современники Пушкина знали «взрослые» сказки *казака Луганского*, как и «взрослые» сказки Ореста Сомова (да и Пушкин никогда не писал специально для детей). А потому в данный сборник не вошли многие широко известные детские сказки, которые нетрудно найти в любых других изданиях, и многие чисто авторские (Погорельского, Мамина-Сибиряка, Паустовского, Бианки), напрямую не связанные с развитием фольклорных традиций, зато в нем представлены неизвестные, незаслуженно забытые или же «отлученные» от жанра литературной сказки, восстанавливающие

общую картину более чем полуторавекового пути развития этого жанра в русской литературе и в литературах народов СССР.

С Пушкина и Жуковского начинаются традиции поэтических сказок, с Гоголя — прозаических. Перефразируя известное выражение Ф. М. Достоевского, вполне можно сказать, что русская литература *вышла* не только из «Шинели» Гоголя, но и из его же «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Хотя, как у Гоголя, так и у Пушкина, Жуковского, конечно же, были предшественники. «Пересмешник, или Славенские сказки» Михаила Чулкова вышел в 1766 году, а сказочные сборники Василия Левшина, Петра Тимофеева, Михаила Попова — в 70—80-е годы XVIII века. Самые известные из них, «Русские сказки» Василия Левшина, переиздавались в 1807, в 1820 и в 1829 годах и были едва ли не основным источником сказочных сюжетов для многих писателей, включая раннего Пушкина, который в «Руслане и Людмиле» основывался на стилизациях Левшина. На стилизациях в духе волшебнорыцарских западноевропейских романов, которые и были образцом для подражания всех русских «сказочников». От народных сказок в них оставались зачастую лишь имена героев. Тот же Василий Левшин в предисловии к «Русским сказкам» признавался, что «для способности к чтению принужден был оные по большей части преложить в нынешнее наречие».

Каким было это *нынешнее наречие*, можно судить по сцене объяснения богатыря Алеши Поповича со своей возлюбленной:

«Ах! как ты жестока!» — вскричал невидимый Богатырь. Красавица смутилась и робким голосом вопрошала: «Кто ты? дерзкий! телесное ли существо?» — «Я существо тебя обожающее, немогущее дышать, чтоб дыхание мое неподкрепляемо было твоею любовью». — «Для чего же ты не являешься предо мною в своем виде?» — «Вид мой! ах сударыня!.. Вам он ненавистен... обещаете ли вы простить Богатырю, вас оскорбившему?.. Однако, сударыня, — сказал Богатырь, обернувши камень перстня и бросаясь перед нею на колени, — можете ли вы быть так жестоки, чтоб не простить сей покорности? Позвольте мне за него поцеловать сию прелестную руку».

На таком *наречии* изъяснялись Алеши Поповичи и Добрыни Никитичи в сказках Левшина и Чулкова, *приспособленных к чтению*, к литературным вкусам своего времени. Правда в 1794 году Н. М. Карамзин в своей *богатырской сказке* «Илья Муромец» воскричал:

Нам другие сказки надобны;  
Мы другие сказки слышали  
От своих покойных матушек...

Но эти *другие сказки* появились лишь в пушкинские времена. О них поэт скажет в 1824 году в письме к брату из Михайловского: «Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки прокля-

того своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

В Михайловском Пушкин не просто слушал сказки Арины Родионовны: он начал записывать их, начал создавать свои сказки-поэмы.

К сказкам *покойных матушек*, вслед за Пушкиным и благодаря Пушкину, обратились в 1831 году Жуковский и Гоголь. Впрочем, 1831 год — дата условная. Идеи, выраженные Пушкиным, Жуковским, Гоголем, что называется, носились в воздухе, на них основывался романтизм, противопоставивший эстетике «украшенного подражания природе» (В. Г. Белинский) XVIII века стремление к подлинности, к простоте. В теории трех стилей классицизма, как известно, народная культура относилась к самому *низшему роду*. Весьма характерны в этом отношении извинения Тредиаковского за приведенные им примеры из народных песен. «Прошу читателя не зазреть меня и извинить, что сообщаю здесь несколько отрывочков от наших подлых, но коренных стихов: делаю я сие токмо в показание примера». В данном случае *подлый* — определение социальное, *подлыми* назывались рабы, холопы, а потому и песни их тоже были *подлыми*, простонародными. Романтики обратятся именно к этим *коренным стихам*, в народных сказках, легендах, преданиях они откроют подлинную, неукрашенную природу, обратятся к истокам, к корням. И в то самое время, когда молодой Гоголь еще только просил у матери «расспросить старожиллов», сообщить ему «все возможные поверья и обычаи», эти украинские *поверья и обычаи* в 1829 году уже появились в свет в «Русалке» и «Оборотне» Ореста Сомова.

Орест Сомов — первооткрыватель фольклора в русской литературе. Он широко использовал сказки, поверья, легенды, пословицы, поговорки, небылицы в лицах, народную демонологию. Во многих его сказках нетрудно узнать черты народных «страшилок», что тоже вполне соответствовало традициям русского и европейского романтизма. Немалой популярностью пользовались у читателей той поры всевозможные переводные и отечественные романы «ужасов», среди которых был, например, «Вампир», приписываемый Байрону (он вышел в 1828 году в Москве в переводе и с комментариями П. В. Киреевского). Об этих романах «ужасов» и писал Орест Сомов во вступлении к «Оборотню»: «Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, один за другими, делали набег на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов Вампира». При этом сам Орест Сомов обращался не к этим общелитературным *страшилищам*, а к русской народной демонологии. «Я хотел вас подарить,— сооб-



щал он читателям,— чем-то *новым, небывалым*, а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту».

«Русалка», «Оборотень», «Киевские ведьмы», «Сказка о Никите Вдовиниче» Ореста Сомова, «Русалка», «Жених» А. С. Пушкина, «Кровавый бандурист», «Майская ночь, или Утопленница», «Страшная месья», «Заколдованное место» Н. В. Гоголя — эти и многие другие произведения так называемой «неистойвой» школы в русском и европейском романтизме (литература «ужасов» своего времени) основывались на фольклоре. Народные «страшилки» — один из древнейших фольклорных жанров. Слушая сказку о «мертвецах, о подвигах Бовы», засыпал юный Пушкин, «страшные рассказы зимою в темноте ночей» пленяли пушкинскую Татьяну Ларину, ими заслушивались мальчики в тургеневском «Бежином луге». В 20-е годы эти «страшилки» впервые ввел в литературу Орест Сомов.

Почти одновременно с «Малороссийскими былями и небылицами» Порфирия Байского (под таким псевдонимом выступал в печати Орест Сомов) и всякой *невидалью*, которую «швырнул в свет какой-то пасичник» Рудый Панько, в 1832 году стали выходить «Были и небылицы казака Владимира Луганского» (Владимира Даля).

Более пятидесяти лет отдал Владимир Иванович Даль созданию «Пословиц русского народа» и «Толкового словаря живого великорусского языка» — выдающихся памятников народной языковой культуры, но в 30-е годы современники Пушкина и Гоголя знали не лексикографа и языковеда Владимира Даля, а сказочника казака Луганского «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин». — с такой дарственной надписью Пушкин вручил Владимиру Далю свою «Сказку о рыбаке и рыбке».

В воспоминаниях Владимира Даля о Пушкине сохранились слова поэта: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать — надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

*Выучиться говорить по-русски*, добиться такого же *русского раздолья*, как в сказке, — подобные задачи еще только ставились в литературе Пушкиным и Гоголем.

Народный язык — вот главное, что выделяет в сказке и Владимир Даль. «Не сказки сами по себе были мне нужны, — напишет он в 1842 году в «Москвитяине», как бы отвечая Пушкину, — а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода — сказка послу-

жила поводом. Я задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором, которому открывается такой вольный простор и широкий разгул в народной сказке... Сказочник хотел только на первый случай показать небольшой образчик запасов, о которых мы мало или вообще не заботимся, между тем как рано или поздно без них не обойтись».

Насколько удалось Владимиру Далю выполнить эту задачу, можно судить по отзывам современников. Например, Н. В. Гоголя, признававшегося: «Каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигает ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни». О необыкновенном впечатлении, которое произвели сказки казака Луганского, скажет И. С. Тургенев: «Они обратили на себя всеобщее внимание читателей русским складом ума и речи, изумительным богатством чисто русских поговорок и оборотов».

Стоит только добавить, что эти сказки казака Луганского нельзя отделять от научных трудов Владимира Даля. Сказки во многом предваряют и «Пословицы русского народа» и «Толковый словарь», в которых языковые сокровища народа собраны воедино, систематизированы, а здесь же, в сказках, они представлены в живой, естественной среде своего бытования. Владимир Даль применил в сказках принцип, который позднее ляжет в основу «Пословиц русского народа», расположенных не в обычном азбучном порядке («Этот способ,— отмечает он,— самый отчаянный, придуманный потому, что не за что более ухватиться»), а по смысловому значению. По смысловым «гнездам» расположены слова и в «Толковом словаре», что также позволило сохранить язык в живом бытовании, не разрушая логических связей. «Словарь В. И. Даля,— отмечал А. С. Хомяков,— резко отличается от всех появившихся прежде его: это будет словарь не языка письменного и книжного, но языка устного; не языка мертвого, а живого; в нем выступит ясно и отчетливо все богатство, вся своеобразность, вся затейливость русского слова. В нем, в порядке букв, увидим не простое собрание слов, но самую ту живую мысль, которую привыкли называть языком народным».

«В былях и небылицах казака Владимира Луганского» пословицы и поговорки тоже расположены по смысловым «гнездам», более того, Владимир Даль намеренно сталкивает внутренние противоречия пословиц, выявляя тем самым диалектическую сложность, неоднозначность народного мифосозерцания.

На смысловых противоречиях пословиц и поговорок основана «Сказка о нужде, о счастье и о правде», а в «Сказке о кладах» введены едва ли не все пословицы и поговорки, присловья и поверья о кладах и кладоискателях. Эту сказку Владимира Даля интересно сравнить с «Заколдованным местом», завершающим вторую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Повесть Гоголя тоже

основана на народных легендах и сказках о заколдованных, «обморочных» местах.

Правда, иной раз может показаться, что Владимир Даль слишком уж перенасыщает свои сказки пословицами и поговорками, не соблюдает некоей меры, а потому сказки его выглядят несколько искусственными. Но это не так. Прочитайте подлинные фольклорные записи выдающегося сказочника прошлого века Абрама Новопольцева, и вы убедитесь, что Владимир Даль воссоздавал образ именно реального народного сказочника-балагура, скомороха. Да и самая обыденная, бытовая народная речь бывает точно так же унижена пословицами и поговорками. Вот, например, документальная запись разговора знаменитой «народной поэтессы» Ирины Андреевны Федосовой со своим мужем. «Интересно,—отмечает собиратель Е. В. Барсов,—когда она ласкает своего мужа, но еще интереснее, когда она начинает бранить его: благоверный ее любит выпить: «Волыглаз (*большеглазый*) ты эдакой! Спородила меня мама, да не приняла яма. И черт меня понес за тебя. Почет ли в тебе, прибыль ли в тебе, разум ли в тебе? Живешь доле, греха боле. Яков! помни, каков ты! Умрет пьяница, тридцать лет дух не выходит; не тихомерная милостыня, не земные поклоны, ничто ему не помогает: пьянство души потопленье, семейству разоренье. Смотри, Яков, что гренешь, то и хлебнешь. Полно шавить (*баловать*): на огонь да на пропой казны не наполнишь. Нет, уж видно, с пьяным, с упрямым пива не сварить, а сварить, так не выпьешь: лапой гладит, а другой в щеку ладит; нет разума под кожей, не будет на коже. Вот уж торговала я в лавочке, да вышла с палочкой; за добрым мужем, как за городом, за худым мужем и огородбища нет; есть за кем реке брести да мешок нести. Из чину в чин, а домой ни с чим».

Это, повторяю, запись самого обыкновенного бытового разговора, более того — семейной ругани. Сказочники же были подлинными художниками слова, их мастерство и заключалось в том, что они не просто пересказывали своими словами известные сказочные сюжеты, а каждый раз создавали новые необыкновенные словесные узоры, плели словесную вязь.

Сказки казака Луганского внесли в русскую литературу новый стилевой прием, с них начинается так называемая сказовая проза, которая в дальнейшем найдет блестящее воплощение в сказках Николая Лескова, Алексея Ремизова, Павла Бажова. Владимир Даль был первым, кто привнес в литературу эту живую стихию народного языка, его *русское раздолье*.

Такая демократизация языка неизменно влекла за собой демократизацию самой литературы — в ней появлялись новые фольклорные образы, темы, сюжеты, стилевые приемы. Особое значение приобретало обращение к народной сатире. Сказки писателей имели порой столь острое социальное звучание, что публикация их становилась

лась небезопасной для автора. Так произошло в 1832 году с *пятком первым* сказок казака Луганского, запрещенных и изъятых цензурой. Последовал высочайший указ «арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения». И Владимир Даль был арестован, его рукописи изъяты для *рассмотрения*. Только заступничество Жуковского спасло сказочника от Сибири.

Почти одновременно с «пятком первым» сказок казака Луганского вышла «Старинная сказка с новыми присказками» Николая Полевого («Московский телеграф», 1832, № 21), основанная на том же сатирическом лубочном сюжете о Шемякином суде, что и сказка Владимира Даля. Позднее, в 1843 году, Николай Полевой издал «Повести Ивана Гудощника», в которые вошли его «народно-исторические были» и обработки двух сказочных сюжетов. В 1844 году появилось отдельное издание еще одной сказочной обработки Николая Полевого «Об Иванушке-дурачке».

Новые образы и стилевые приемы вносили в литературу романы-сказки Александра Вельтмана «Кощей Бессмертный. Былина старого времени» (1833), «Светославич, вражий питомец» (1835), «Новый Емеля, или Превращения» (1843), в которых причудливо переплетались литературные и внелитературные стили, историческая действительность и фантастика, сказочные герои и реальные. Александр Вельтман тоже пытался *выучиться говорить по-русски*, расширить жанровые и стилевые возможности литературы, тоже называл себя сказочником. Он вспоминал о своем воспитателе-дядьке, как Пушкин — об Арине Родионовне, а С. Т. Аксаков — о ключнице Пелагее: «При мне был дядька Борис. Он был вместе с тем отличный башмачник и удивительный сказочник. Следить за резвым мальчиком и в то же время строчить и шить башмаки было бы невозможно, а потому, садясь за станок, он меня ловко привязывал к себе длинной сказкой, нисколько не воображая, что со временем и из меня выйдет сказочник».

В романах Александра Вельтмана действуют сказочные герои Ива Омелькович (Иванушка-дурачок), Емельян Герасимович (Емеля), в авторское повествование вводятся «вставные сюжеты» — народные сказки, легенды.

Александр Вельтман и Владимир Даль впервые обратились к солдатским сказкам. К тем самым, о которых Александр Бестужев-Марлинский писал в 1832 году Николаю Полевому: «Солдатских сказок невообразимое множество, и нередко они замысловаты очень. Дай-то бог, чтобы кто-нибудь их собрал: в них драгоценный, первобытный материал русского языка и отпечаток неподдельного русского духа».

*Пятком первым* изъятых в 1832 году сказок казака Луганского открывался «Сказкой об Иване, молодом сержанте, удалой голове, без роду без племени, спроста без прозвища». Это была солдатская

сказка, созданная писателем, который мог сказать о себе, что он «видел солдата не только в казарме да ученьи, видел его и в чистом поле». Владимир Даль, как известно, был военным врачом, а Александр Вельтман — военным топографом, оба они — участники русско-турецкой войны 1827—1829 годов, где и познакомились, сохранив на всю жизнь верность ратной дружбе. И глубоко знаменательно, что именно они ввели в литературу солдатские сказки.

Литературная сказка утверждала себя в борьбе, в столкновении литературных мнений. Известно, какую бурную полемику вызвало самое первое обращение Пушкина к народным образам в «Руслане и Людмиле». А. Г. Глаголев, считавшийся, между прочим, специалистом в области народной поэзии, писал в 1820 году в «Вестнике Европы»: «Образцы, по которым она (поэма «Руслан и Людмила». — В. К.) писана, известны всякому: кто не слышал о Бове Королевиче, об Игнатье Царевиче, о Силе Царевиче, о Булате Молодце и о знаменитом Иванушке-дурачке? Если вам нравится переделанный в Черномора мужичок с ноготок, борода с локоть, то не худо взять и другие, столь же стихотворные выдумки: можно Руслана заставить влезть в ушко Сивки-бурки, конюшим придать ему Ивашку белу-рубашку, заставить его сделать визит Ягой-бабе, а в оправдание сослаться, что у Мильтона, у Шекспира, у Данта, у Камюэнса многие подробности — ничем не лучше!.. Кто спорит, что отечественное хвалить похвально; но можно ль согласиться, что все выдуманное Киршами Даниловыми хорошо и может быть достойно подражания? Предположение мое о пародии Кирше Данилову не основывается на умозаключениях, а на самом деле, на опытах наших поэтов».

Знаменитый «Сборник Кирши Данилова» — первое собрание подлинных записей (а не переделок и не стилизаций) русских былин — вышел в 1804 году, почти одновременно со «Словом о полку Игореве». И как со «Слова о полку Игореве» начинается открытие древнерусской литературы, так со «Сборника Кирши Данилова» — русского былинного эпоса. Но открытие, опять же, — в борьбе, в противостоянии идей. Если Пушкин, по воспоминаниям современников, восхищался «Сборником Кирши Данилова», говорил «о прелести и значении богатырских сказок (так назывались тогда былины. — В. К.) и звучности народного Русского стиха», то Гавриил Державин видел в нем лишь «нелепицу, варварство и грубое неуважение женскому полу». Но таких, как Пушкин, были единицы, а прославленный поэт екатерининских времен Гавриил Державин выражал общий взгляд и общепринятые эстетические идеалы.

Переоценка ценностей началась со «Слова о полку Игореве», со «Сборника Кирши Данилова», с утверждения идеи народности литературы. «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойство русского языка», — этот призыв Пушкина в 1827 году звучал как подрыв основ литературы. А потому, когда писатели

(и не какие-нибудь второстепенные, *заднего двора* литературны, а лучшие писатели того времени) обратились к народной сказке, это тоже вызвало недоумение. «Нет сомнения,— писал о Владимире Дале и Александре Вельтмане О. Сенковский (Барон Брамбеус),— что можно иногда вводить в повесть просторечие: но всему мерею должен быть разборчивый вкус и верное чувство изящного: а в этом грубом, сыромятном каляканье я не вижу даже искусства».

*Сыромятному каляканью* еще предстояло утверждать себя в литературе как XIX, так и XX века, но уже Владимир Даль, как мы видели, совершенно отчетливо понимал свою задачу «познакомить земляков своих с народным языком и говором». Сказка была в этом отношении наиболее естественной формой обращения к народному языку. Литература возвращалась в сказку к своим же истокам.

При этом важно иметь представление о реальном противостоянии идей, о борьбе противоположностей того времени. А она состояла, между прочим, в том, что Белинский, написавший в 1841 году цикл статей о народной поэзии, давший высочайшую оценку «Сборнику Кириши Данилова»: «Эта книга драгоценная, истинная сокровищница величайших богатств народной поэзии, которая должна быть знакома всякому русскому, если поэзия не чужда души его и если все родственное русскому духу сильнее заставляет биться его сердце»; Белинский в 30-е годы полностью отрицал сказки и Пушкина, и Жуковского, и Владимира Даля, и Петра Ершова. Это была его принципиальная позиция. О сказках Пушкина он писал в 1835 году: «Самые эти сказки — они, конечно, решительно дурны, конечно, поэзия и не касалась их; но все-таки они целую головою выше всех попыток в этом роде других наших поэтов. Мы не можем понять, что за странная мысль овладела им и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы. Русская сказка имеет свой смысл, но только в том виде, как создала ее народная фантазия; переделанная же и приукрашенная, она не имеет решительно никакого смысла». Ту же самую мысль он разовьет в статье о «Былях и небылицах казака Луганского», говоря об авторе, Владимире Дале: «Вся его гениальность состоит в том, что он умеет кстати употреблять выражения, взятые из народных сказок; но творчества у него нет и не бывало; ибо уже одна его замашка переделывать на свой лад народные сказки, достаточно доказывает, что искусство не его дело».

Но именно такая позиция «неистового Виссариона» не покажется ни неожиданной, ни странной, если учитывать основную идею, из которой он исходил. Идею о неприкосновенности, самоценности народного творчества. Отсюда его максимализм. «Эти сказки созданы народом: итак, ваше дело,— обращался он к писателям,— описать их как можно вернее под диктовку народа, а не подновлять и не переделывать».

И Белинский был абсолютно прав: только подлинные фольклорные записи, а не *переделки* и не *поддельные цветы* могли дать представление о народной сказке. Но таких записей попросту не было — ни одного издания сказок, равного «Сборнику Кириши Данилова». Знаменитые собрания сказок А. Н. Афанасьева, И. А. Худякова, Д. Н. Садовникова — это достижения фольклористики уже 60—80-х годов, а в 30-е годы самым известным изданием был трехтомник И. П. Сахарова «Сказания русского народа», состоявшего в основном из стилизаций и *переделок*.

В том-то и парадокс, что литературная сказка появилась раньше фольклорной, а потому и могла восприниматься как ее подмена. Хотя основное отличие пушкинских сказок от сказок Левшина и Чулкова как раз и состояло в том, что он — не подновлял и не переделывал, а утверждал принципы нового литературного жанра. Фольклор входил в литературу, а не литература *переделывала* фольклор.

Белинский призывал писателей *описывать под диктовку народа*, иными словами — стать собирателями, фольклористами. Что, кстати, тоже являлось одной из первостепеннейших задач русской культуры — записать, сохранить сокровища народа. И почти все писатели пушкинского круга, как известно, были собирателями. Пушкин первым стал *вкладчиком* «Собрания народных песен П. В. Киреевского», а вслед за ним свои фольклорные записи в этот общенациональный песенный свод вложили Николай Языков, Гоголь, Владимир Даль, Александр Вельтман, Алексей Кольцов, Хомяков, Шевырев, Погодин.

Но подобное *описывание* не исключало, а наоборот, способствовало проникновению фольклора в литературу. Ведь далеко не случайно именно в пушкинское время на соединении фольклорных и литературных традиций появилась не только литературная сказка, но и такой новый поэтический и музыкальный жанр, как «русская песня». И поэзия Алексея Кольцова — это тоже соединение фольклора и литературы.

Пройдут десятилетия, и те же самые «вечные» проблемы взаимодействия литературы и фольклора будут заново решать Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, создавшие свои литературные сказки в 80-е годы почти одновременно. При этом каждый из них на одном и том же «материале» решал совершенно разные художественные задачи. И каждый обращался в сказках не к прошлому, а к самым актуальным проблемам современности. В этом отношении сказочник Салтыков-Щедрин был таким же органичным продолжением традиций русской народной сатиры, как и сказочник Александр Пушкин, сказочник Владимир Даль. А его сказка «Богатырь» разделила судьбу пушкинской «Сказки о попе и о работнике его Балде» и *пятка первого* «Былей и небылиц казака Луганского» — все они оказались в числе запрещенных.

Сказочник Лев Толстой — это тоже одна из ярчайших страниц в истории русской литературы. Уже создав «Войну и мир» и «Анну Каренину», великий писатель пришел к отрицанию литературы и литературного языка. Н. Н. Страхов в письме к Н. Я. Данилевскому от 23 сентября 1879 года рассказывал о занятиях Толстого в этот период духовного кризиса и исканий: «Однажды он повел меня и показал, что он делает между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит в нем богомолки и богомольцев. С ними начинаются разговоры и, если попадаются хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы». А заканчивается это письмо знаменательными словами: «Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а *испанским*. Все это, уверен, даст богатые плоды».

В данном случае важен сам факт обращения писателя к народному языку. Толстой поставил перед собой вполне определенную задачу: научиться писать по-новому, пройти «школу» народной словесности, устной народной речи, понять и усвоить «язык, которым говорит народ».

В сохранившихся «Записных книжках» Толстого 1879 года — десятки, сотни услышанных им слов, фраз, «языковых заготовок», которые войдут потом во многие его произведения. Есть среди них и такая дневниковая запись: «Олонецкой губернии былиничик. Пел былинку Иван Грозного...» Речь идет о первом знакомстве Толстого с олонечским сказителем Василием Петровичем Щеголенком, которое состоялось 5 апреля 1879 года в Москве у собирателя и исследователя Е. В. Барсова (того самого, который записал разговор с мужем Ирины Федосовой). Позднее Барсов расскажет об этой встрече писателя с народным сказителем: «Просидел тогда Толстой у меня до поздней ночи. Толстой так увлекся сказами и былинами Щеголенка, что пригласил его к себе, и он, уже совсем старый, — ему тогда было под восемьдесят, — прогостил у Толстого месяца три».

В воспоминаниях сына писателя Ильи Львовича сохранилось довольно подробное описание пребывания олонечского сказителя в Ясной Поляне. Есть в них и такая деталь: «Папа слушал его с особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось. Он был неистощим».

Эти «мужицкие новеллы» Щеголенка тоже сохранились в «Записных книжках» Толстого 1879 года. На их основе он начал создавать в 1881 году цикл «народных рассказов».

«Чем люди живы» — первое произведение нового цикла. В его основе — легенда «Архангел», услышанная и записанная Толстым от сказителя Щеголенка. «Два старика» — рассказ из этого же цик-



ла. И он тоже создан на основе народной легенды, записанной от олонецкого сказителя. «Три старца» — еще один из «народных рассказов» Толстого (их всего двадцать два). И этот рассказ создан на основе легенды, услышанной и записанной от Щеголенка.

Это «народные рассказы», написанные Толстым в 1881—1885 годах. А через четверть века он вновь вернется к своим «языковым заготовкам» и записям легенд Щеголенка. Так, уже в 1905—1906 годах появится один из лучших рассказов «Круга чтения» — «Корней Васильев» и тогда же «Молитва», тоже созданные на основе легенд, услышанных в 1879 году от *Олонецкой губернии былинщика* Василия Петровича Щеголенка.

Встреча с олонецким сказителем, его «мужицкие новеллы» оставили неизгладимый след в творчестве Толстого. И все-таки сами идеи возникли значительно раньше, были результатом многолетних раздумий и размышлений.

Уже в 1851 году молодой волонтер Кавказской армии, еще только начавший писать свое «Детство», занес в дневник такое неожиданное наблюдение: «У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая, но она не подделка, она выпевается из среды самого народа».

И первые свои фольклорные записи Толстой сделал там же, на Кавказе. Более чем за четверть века до встречи с олонецким сказителем Щеголенком он записал в дневник изустные рассказы гребенского казака Епифана Сехина (Епишки, а в «Казаках» — Ерошки). От восьмидесятилетнего Епишки Толстой впервые записал и редчайший вариант русской былины, бытовавшей на Тереке, которую ни до, ни после него не удалось записать ни одному фольклористу. И в этом отношении запись Толстого считается в фольклористике открытием эпической традиции русских казаков на Тереке.

В начале 70-х годов, после завершения «Войны и мира», Толстой, по его собственному признанию, находился «в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов невозможного или непосильного».

Среди этих *дерзких замыслов* — замысел романа о русских богатырях и драмы о Даниле Ловчанине. Сохранились наброски Толстого основных сюжетных линий и характеров Ильи Муромца, Василия Буслаева, Алеши Поповича, Михайлы Потыка, Ивана Годиновича, Чурилы Пленковича. Правда, наброски очень краткие, но с таких же начиналась толстовская эпопея «Война и мир». В дневниках Софьи Андреевны Толстой есть подробная запись (от 14 февраля 1870 года) о замысле драмы о Даниле Ловчанине и романа о богатырях: «Он стал читать русские сказки и былины. Навел его на чтение замысел писать и составлять книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки. Сказки и былины приводили его в восторг. Былина о Даниле Ловчанине навела его на

мысль написать на эту тему драму. Сказки и типы, как, например, Илья Муромец, Алеша Попович и многие другие, наводили его на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа. Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик и учившийся в университете. Я не сумею передать тип, о котором он говорил мне, но знаю, что он был превосходен».

Замысел не был осуществлен, сам Толстой относил его к числу неосуществимых, но идеи остались. Главная из них — необходимость обращения к литературе, которую создал сам народ. В мае 1872 года Толстой так сформулировал свои мысли по этому поводу: «Ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том — не ложные ли приемы, не ложный ли язык тот, которым мы пишем и я писал; а русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя: продолжать ли писать, поскорее свои драгоценные мысли стенографировать, или вспомнить, что и *Бедная Лиза* читалась с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приемов и языка. И не потому, что так рассудил, а потому, что противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку и приемам (он же и случился народный) *влекут мечты невольные*».

Тогда же, составляя «Книги для чтения», Толстой обработал былины о Святогоре, Сухмане, Микуле Селяниновиче, Вольге. Каждая из четырех «Книг для чтения» заканчивалась былинной, правда, пользовался он при этом не своими записями, а книжными источниками. В 1885—1886 годах он создал «Сказку об Иване-дураке и его двух братьях» и сказку «Работник Емельян и пустой барабан», в основу которых легли известные сказочные сюжеты и образы, но уже не просто обработанные. Сказки об Иване-дураке и Емеле, как и «народные рассказы» — это именно литературные произведения, подчиненные определенному авторскому замыслу, выражающие авторские идеи. Толстой достигает совершенно иного уровня воплощения в литературе фольклорного материала.

Толстой был убежден, что *залог возрождения* литературы — в народности, в обращении к фольклору, «в изучении русской народной поэзии всякого рода». Собственно, так оно и происходило во все времена: литература, терявшая связь с народным творчеством, теряла связь с народом. Так было во времена Пушкина, вернувшего литературе эту утерянную *связь времен*, и так неоднократно повторялось и повторяется поныне.

«Я вышел из фольклора», — скажет Михаил Пришвин о своем пути в литературу, о путешествии на Русский Север, о записях сказок, песен, причитаний, составивших его первую книгу «В краю непуганых птиц» (1907). Этому пути он останется верен и в после-

дующих книгах «За волшебным колобком», «Кашеева цепь», соединивших реальные и сказочные мотивы.

Из фольклора вышел и современник Пришвина Алексей Ремизов. Его первые книги «Посолонь» (1907), «Докука и балагурь» (1913) — это оригинальнейшие сказочные фантазии и стилизации, так поразившие современников «чистотой необычайной, музыкальной стихийной» (А. Белый), в основе которых подлинные фольклорные записи. Со сказок начинался творческий путь Евгения Замятина, они во многом определили своеобразие стиля и рассказов его, и фантастической утопии «Мы».

Из фольклора вышли и такие замечательные советские писатели, как Борис Шергин, Степан Писахов, Павел Бажов, открывшие новые, еще неизведанные пласты народной культуры. Борис Шергин и Степан Писахов — *поморские узорочья* языковых сокровищ Русского Севера, Павел Бажов — самоцветы рабочего фольклора Урала. После выхода «Малахитовой шкатулки» возникла целая «школа Бажова», развивающая традиции литературно-фольклорных сказов. Непосредственными преемниками Павла Бажова на Урале стали С. Власова, С. Черепанов, Иван Ермаков, Евгений Пермяк, на Алтае — Александр Мисюров, на Амуре — Дмитрий Нагишкин, в Оренбуржье — В. Пистоленко, в Поволжье — Михаил Кочнев. Почти одновременно с Павлом Бажовым к сказкам обратились Алексей Толстой и И. Соколов-Микитов, создав свои литературные обработки популярных сказочных сюжетов. В 50-е годы появились сказочные обработки Андрея Платонова, тоже ставшие продолжением традиций русской литературной сказки. А в поэзии и драматургии эти же традиции нашли отражение в пьесах-сказках Евгения Шварца, в стихотворных сказках К. Чуковского и С. Маршака, в сказках-поэмах И. Сельвинского и С. Наровчатова, в авторских сказках В. Катаева, К. Паустовского, В. Бианки, которые тоже связаны с использованием и переосмыслением фольклорных образов, тем и сюжетов.

От фольклора неотделимо творчество наших современников Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина, Дмитрия Балашова, Владимира Личутина. И дело здесь не только в прямом использовании фольклорных образов, тем, сюжетов, хотя и этот традиционный путь еще далеко не исчерпан: «До третьих петухов» Василия Шукшина, «Бессмертный Кощей» Василия Белова — тому подтверждение. Дело в том, что литература продолжает открывать — через фольклор и благодаря фольклору — все новые животворные ключи народной культуры. А потому фольклор по-прежнему остается для литературы народознанием, народоведением (таково первичное значение самого понятия folk-lore: от английских слов «народ» и «знание»), а не просто одной из филологических дисциплин, изучение которой — крайне поверхностное — предусмотрено не всеми даже вузовскими программами.

Такова одна из закономерностей развития любой национальной литературы, что, собственно, и придает каждой из них черты неповторимости, самобытности. «Литература каждого народа,— подчеркивал великий армянский поэт Ованес Туманян,— развивается, приобретает своеобразие и утверждает себя благодаря народным легендам, творениям национального духа».

В каждой из национальных литератур есть не только свои Андерсены, но и свои Ушинские — выдающиеся педагоги-просветители, неизменно обращавшиеся к народному творчеству. Таким был Газарос Агаян, чьи сказки положили начало армянской литературе для детей. По образцу «Круга чтения» К. Д. Ушинского, «Новой Азбуки» и «Книг для чтения» Л. Н. Толстого создал «Киргизскую хрестоматию» казахский просветитель Ибрай Алтынсарин, включив в нее пословицы, поговорки, легенды и сказки. Самн «бродячие» сказочные сюжеты во многом способствовали взаимодействию литератур, выявлению общих черт в фольклоре разных стран и народов. Так, читая сказки молдавского писателя Йона Крянгэ «Данила Препеляк» и «Иван Турбиника», мы без труда узнаем знакомые образы и сюжеты русских солдатских и бытовых сказок, использованных И. Соколовым-Микитовым и Андреем Платоновым, а «Говорящая рыбка» Ованеса Туманяна, конечно же, каждому напомним «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина, как литовская сказка «Медвежья лапа» Пятраса Цвирики — подобные же обработки русских сказочных сюжетов К. Д. Ушинского и А. Н. Толстого. Эта фольклорная общность уже сама по себе разрушает миф о некоей замкнутости национальных культур. Такой «замкнутости» никогда не было ни в те времена, когда Пушкин создавал «Сказку о золотом петушке» на основе арабских источников, а «Сказку о рыбаке и рыбке» — на основе померанской сказки из сборника братьев Grimm (в русских вариантах обычно действует не золотая рыбка, а липа или береза), ни в те времена, когда Владимир Даль в рассказе «Башкирская русалка» использовал башкирские предания о «чертовых» городищах и пещерах, ни в те времена, когда выдающийся латышский поэт Ян Райнис в 1915 году создал стихотворную драму «Илья Муромец» — по русским былинам, ни тем более в наши дни, когда литературные и фольклорные наследия стали общим достоянием, когда многонациональная советская литература основывается на достижениях всех национальных литератур народов СССР.

*Виктор КАЛУГИН*

Литературные  
**СКАЗКИ**  
**НАРОДОВ**  
**СССР**





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



*Н. В. Гоголь*

### ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

*Быль, рассказанная дьячком \*\*\* ской церкви*

**Е**й-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батяно кричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги — пусть ему легко икнется на том свете — довольно крепко. Бывало, вздумает...

Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать!

Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трех годового брата — приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дыней. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее.

Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, — деда всякий уже знал, — можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было... ну, и разольются! вспомнят бог знает когдашнее.

Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце.

— Смотри, Остап! — говорю я брату, — вон чумаки едут!

— Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы.

По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедши шагов — как бы вам сказать — на десять, он остановился.

— Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться!

Дед прищурил глаза:

— А! здорово, здорово! откуда бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця и Ковелек! и Стецко! здорово! А, га, га! го, го!.. — И пошли целоваться.



Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за рассказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножичком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, протолкнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.

— Что ж вы, хлопцы,— сказал дед,— рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!

Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает.

— Смотри, Фома,— сказал Остап,— если старый хрен не пойдет танцевать!

Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть перед чумаками.

— Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.

Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку,— не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошел до середины — не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же ирод, враг рода человеческого!»

Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чesать дробно, мелко, лабо глядеть; до середины — нет! не вытанцывается, да и полно!

— А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!..

И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам — гладкое поле.

— Э! ссс... вот тебе на!

Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка.

— Вишь! — стал дед и руками подперся в боки, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. — Клад! — закричал дед. — Я ставлю бог знает что, если не клад! — и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. — Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после!

Вот, перетянувши сломленную, видно, вихрем, поря дочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, — подумал дед, — что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана».

Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать:

— А куда тебя, дед, черти дели сегодня?

— Не спрашивай, — сказал он, завертываясь еще крепче, — не спрашивай. Остап; не то поседеешь! — И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось! Нечего сказать, хитрая была bestия, дай боже ему царствие небесное! — умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясаясь, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову

огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле — место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подалье; нужно, видно, поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал идти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало.

— А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!

А дождь пустился, как будто из ведра.

Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которою называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались.

Вечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Проклятое место!» — взошел на середину, где не вытанцовалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ. Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться».

Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка по-

гасла; на могиле лежал камень, заросший травой. «Этот камень нужно поднять!» — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. «Гу!» — пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело».

Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «чихи!» — чихнуло что-то так, что качнулись деревья и деду забрызгало все лицо.

— Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. — Нет, не любит, видно, черт табаку! — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. — Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать!

Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел.

— А, голубчик, вот где ты! — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — запищал птичий нос, клюнувши котел.

Посторонился дед и выпустил заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — заблеяла баранья голова с верхушки дерева.

— А, голубчик, вот где ты! — заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло.

Дрожь проняла деда.

— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.

— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.

— Страшно слово сказать! — заблеяла баранья голова.

— Слово сказать! — ревнул медведь.

— Гм... — сказал дед и сам перепугался.

— Гм! — пропищал нос.

— Гм! — проблеял баран.

— Гум! — заревел медведь.

Со страхом оборотился он: боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него! И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос — как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую!

губы, ей-богу, как две колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит!

— Черт с тобою! — сказал дед, бросив котел. — На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа! — и уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. — Это только пугает нечистая сила!

Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что делать? Тут же не оставить! Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками.

— Ну, разом, разом! еще, еще! — и вытащил! — Ух! Теперь понюхать табаку!

Достал рожок; прежде, однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза; ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. «Нет, не понюхаю табаку, — подумал дед, спрятавши рожок, — опять заплует сатана очи». Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам... «Ай! ай, ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь; и как добежал до попова огорода, тогда только перевел немного дух.

«Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет да и нет деда! Стали опять вечерять сами. После вечера вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды; как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было-таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шаяля, спрятался сзади и подталкивает ее.

— Вот кстати, сюда вылить помои! — сказала и вылила горячие помои.

— Ай! — закричало басом.

Глядь — дед. Ну, кто его знает! Ей-богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помои и обвешана корками с арбузов и дыней.

— Вишь, чертова баба! — сказал дед, утирая голову полою, — как опарила! как будто свинью перед рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-

ка, посмотрите, сюда, что я вам принес! — сказал дед и открыл котел.

Что ж бы, вы думали, такое там было? ну, по малой мере, подумавши, хорошенько, а? золото? Вот то-то, что не золото: сор, дряг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл.

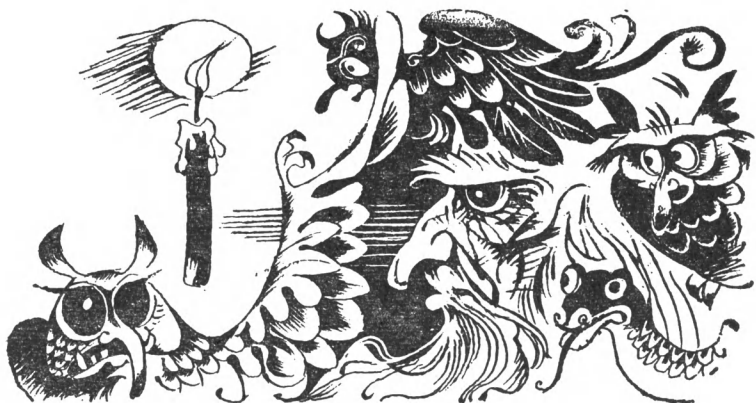
И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту.

— И не думайте! — говорил он часто нам, — все, что ни скажет враг господа Христа, все солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет!

И, бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте беспокойно:

— А ну-те, ребята, давайте крестить! — закричит к нам.— Так его! так его! хорошенько! — и начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцы-валось, загородил плетнем, велел кидать все, что ни есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана.

Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что такое!



## Орест Сомов

### РУСАЛКА

*Малороссийское предание*



авным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею Горпинкою<sup>1</sup>, дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в *дрибушки*, отливались как вороново крыло под разноцветными скиндячками<sup>2</sup>, большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение.

Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто

знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше, как вешняя птичка, и не прыгает как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдaшнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за *гонор*<sup>3</sup>, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по *сагам*<sup>4</sup> днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Горпинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.

В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также молча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнись и пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:

— Матушка! у меня есть жених.

— Жених?.. кто? — спросила старушка, придерживая свое веретено и заботливо посмотрев на дочь.

— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат: это молодой польский пан... — Тут она с дет-



ским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.

— Берегись,— говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою,— берегись лиходея; он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика?..<sup>5</sup> А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм<sup>6</sup>. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью.

Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери: «Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковверного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы — Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год — о нем ни слуху ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что несмысленная полюбила ляха-иноверца!»

Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла.

Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шеле-

стом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею случилось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндячки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что то была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы.

Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко, по обеим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости бедной Горпинки, омыть их горячими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище, с православными. И этого, последнего утешения лишала ее злая доля.

Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слышали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровником: много имени ему не знали. Когда старая Фенна<sup>7</sup>,

мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дымом и лихорадочная дрожь ее забила... Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты<sup>8</sup> дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забились крыльями, филины и совы завывали, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но, увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слезила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг, — прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из могилы, — и слушай: ты плачешь и тоскуешь об дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?»

— Ох, *пан-отче!*<sup>9</sup> как не хотеть! Это одно мое дитище, как порох в глазу...

— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу... — Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.

— Скоро настанет *зеленая неделя*, — продолжал старик, — в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Прoberись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматриваясь пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и,

держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет...

Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.

В последний день *зеленой недели*, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро как вихрь помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы<sup>10</sup>. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, иступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронесли мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый веночек ее осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинкиной. В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:

— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на *зеленой неделе* и снова погрузиться в подводные наши селения... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустишь к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы

и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимой нам тепло под льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах месяца <sup>11</sup>, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? Разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами... Мать! отпусти меня: мне тяжело, мне душно будет с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь...

Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и не видя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы ни стало.

Проходит день, настает ночь — Горпинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь с своей ужасною гостьей; но, скрепя сердце, она осталась. Проходит и ночь — Горпинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травой и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.

Прошел и год: все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и *зеленая неделя*. На первый день, около полуденного часа, старуха отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою: лицо Горпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и, прокричав: «Наши, наши, наши!» — пустилась как молния за шумною толпою... и след ее пропал!

Старуха, мучаясь совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась непрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.

На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был полк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было синее, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что *покойника русалки защекотали*.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Горпинка* — уменьшительное имени *Горпина* (Агриппина). Это имя в малороссийском наречии ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша.

<sup>2</sup> *Дрибушки* — мелкие косы; *скиндячки* — ленты, повязываемые на голове. (См. в «Северных цветах на 1828 год» примеч. к повести «Гайдамак».)

<sup>3</sup> *За гонор* по-польски значит: *за честь*.

<sup>4</sup> *Сага* — залив реки. Слово малороссийское.

<sup>5</sup> Когда Малороссия находилась под властью поляков, тогда взаимная недоверчивость поляков и малороссиян, особливо в простом народе, была в самой сильной степени. Понятия религиозные подкрепляли сие неприязненное чувство в тот век, не ознаменованный еще, подобно нынешнему, веротерпением. *Католик* — было у малороссиян бранчивое слово, сделавшееся народным. И теперь еще употребляется оно в том же смысле необразованными простолюдинами в Малороссии.

<sup>6</sup> Киев, по баснословным народным преданиям, искони славился своими ведьмами и колдунями не только в Малороссии, но и по всей России.

<sup>7</sup> *Фенна* — Феона, по малороссийскому выговору.

<sup>8</sup> *Девятисмерт*, или сорокопуд, небольшая птичка, весьма обыкновенная в лесах Малороссии. О ней говорят, будто она сперва убивает восемь насекомых и съедает уже девятое; отсюда происходит имя ее — *девятисмерт*. Много есть и других суеверных рассказов об этой птице, которая занимает не последнее место в *баснословной зоологии* малороссиян.

<sup>9</sup> *Пан-отче* — звательный падеж слова пан-отец, которое малороссияне из учтивости говорят старшим летами или достоинством. В собственном смысле оно соответствует русскому выражению: государь-батюшка.

<sup>10</sup> Простой народ в Малороссии думает, что русалки суть утопленницы и удавленницы, произвольно лишившие себя жизни. Одни говорят, что у русалок зеленые волосы, другие просто наряжают их в большие зеленые венки. Сочинитель принял последнее из сих поверий, а для отличия русалок, одних из них покрыл венками из осоки, других — венками из древесных ветвей. Разумеется, что первые из них утопленницы, а вторые — удавленницы. Они, по мнению малороссиян, бегают по лесам на *зеленой* (т. е. Троицкой) *неделе*, аukaют, качаются на деревьях, и если поймают живого человека, то щекочут его до смерти. Посему малороссияне боятся в продолжение сей недели откликаться на лесное ауканье.

<sup>11</sup> Луна, по малороссийскому поверью, есть *солнце утопленников*. Они выходят ночью из воды греться на лучах месяца, которым воображение малороссиян придало теплоту.

## ОБОРОТЕНЬ

*Народная сказка*

«Это что за название?» — скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!). И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими, делали набег на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами шелканье зубов Вампира или вижу, как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок...». Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было поугадать вас, милостивые государи! Но как мне

в удел не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо г. д'Арленкура и ему подобных, и сама моя муза так своевольна, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха; то я, повинувшись свойственной полу ее причудливости, пушу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то *новым, небывалым*; а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойником; но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников — не всегда клейменных (по крайней мере клеймом гения), но всегда печатных, — что если б мыши и моль не составляли против них своей *Santa Hermandad* \*, то от них не было бы житья порядочным людям.

Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании; а признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателем... Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить свое! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского *оборотня*.

В одном селении... Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.

Итак, дослушайте ж...

В одном селении был-жил старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росой, собирает разные травы, хотя, беспрестанно что-то шепчет себе в длинные, седые усы, спит с открытыми глазами и пр. и пр. Чего же больше? он колдун, и злой колдун: так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого, дремучего леса, а изба Ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермо-

---

\* *Santa Hermandad* — слово в слово: святое братство. Так назывались в Испании сыскные команды инквизиции.



лай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ними знакомимся, взял он к себе приемыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылем Артюшей; а теперь, из уважения ли к колдуну, или по росту и дородству самого детины, стали величать Артемом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нем не заботился.

Артем был видный детина: высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудро ли было колдуну вскормить и выхолить своего приемыша? Крестьяне были той веры, что колдун отпил Артема молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову, а нашептанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Однако добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артема из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало, что с дуба сорвет, до сотни не сочтет без ошибки и не всегда, бывало, впадет ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и шепотом говаривали про него: «Красен, как маков цвет, а глуп, как горелый пень». В селении прозвали его *вислогубым красиком*, и все это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приемыша.

И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот: у того из поселян не явится пары овец, у другого трех или четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину — и был таков: мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай — он и ухом не ведет; сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень;

вслед же за этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.

Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению; но все-таки он был колдун. Жаловаться на него — у кого найдешь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его? Самим его доконать — грешно, хоть он и колдун; притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, а все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, закусы губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои.

В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у нее было, что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные — словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей, а напротив того еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что после него единственным наследником его имения должен быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на Артема, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!», что Артем, как ни был прост, а все заметил ее приветливость. Часто он, избочась и выступая гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи — грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче: Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюши: он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая: «Здорово, Акуля», — отвешивал ей дружеский удар тяжелою своею ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею... Да, таял, в полном смысле слова, потому что щеки его делались еще краснее, глаза еще мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходи-

лись между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться: то есть, с помощью обручального кольца да честного венца, прибрать к рукам и Артема и будущего его пожитки.

К ней-то, наконец, смысленные крестьяне обратились с просьбою помочь их горю: «Ты-де, Акулина Тимофеевна, в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благоприятель твой Артем Ермолаевич с неба звезд не хватает, хоть и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим: как бы досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших овец или это — не в нашу меру будет сказано — Ермолай Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны, манили ее подарки... а кто к подаркам не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не хочу называть всех поименно): всякий если не словами, так взглядом припомнит вам старую поговорку: *кто богу не грешен, царю не виноват!* И Акулина Тимофеевна была в этом смысле ежели не закоснелою грешницей, то по крайней мере не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала — и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.

На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артем: щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему:

— Артюша, светик мой! молвила бы я тебе словцо, да боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?

— А кто его весты! Бродит себе по лесу словно леший, да, тово-вона, чай дерет лыка на зиму.

— Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?

— Вот-те бог, ничего.

— А люди и невесть что трубят про него: что будто бы он колдун, что бегает оборотнем по лесу да изводит овец в околотке.

— Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.

— Послушай меня, сокол мой ясный: ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся та молва, которая идет о нем по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется.

— Не убудет меня? да что же мне прибудет?

— А то, что я еще больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж, и тогда заживем припеваючи.

— Ой ли? да что же мне делать-то?

— А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что старый твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притансь где-нибудь в углу или за кустом и все высматривай. После расскажешь мне, что увидишь.

— Ахти! страшно! Да еще и ночью. А когда же спать-то буду?

— Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты, мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать: все я за тебя; а ты себе, пожалуй, поваливайся на печи да покушивай готовое.

— Ладно! будь по-твоему: стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?

— Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научила.

— Ну, то-то, смотри же! чур, не выдавать меня.

— И, статимо ли дело! прощай же, дружок.

— Ин прощай, моя любушка!

При всей своей простоте Артем не вовсе был трус: он уважал и боялся названного своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врожденной ли отваге, не мог себе составить понятия о страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счет и не заставить его замечать того, в чем нужно было от него таиться.

Наступила ночь. Артем, по обыкновению, лег рано в постель, укутался с головою; но не спал и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос; но когда взошел месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял

с собою какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Миготом Артем был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел так же тихо. Притаясь в сених, он выглядывал, куда пошел старик, и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени... Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артем.

Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в случае нужды, ползучи по траве как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Середь этой чащи лежала поляна, а середь поляны стоял осиновый пенёк вышиною почти вполчеловека. К нему-то пошел старый колдун, и вот что видел Артем из своей засады, которую служили ему самые близкие к поляне кусты орешника.

Лучи месяца упали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал, вполголоса такой заговор: «На море Океане на острове Буяне, на полой поляне, светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся чрез него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит: старика не стало, а вместо его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл.

Во все это время Артем дрожал от страха как осинный лист. Зубы его так часто и так крепко стучали

одни о другие, что на них можно б было истолочь четверик гречневой крупы; а губы его, впервые, может быть, от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства: это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артем сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошел к пню, призадумался, почесал буйную свою голову — и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком и за третьим разом, глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною, пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобья и платья, он попробовал молвить слово — и что же? вместо человеческого голоса завыл волком; попытался бежать — новое чудо! уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за друга.

Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину. Тут ему пришла мысль, достойная того, в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка, — думал он, — посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и стану бросаться на всякого... как же эти удалцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выпастись: в этой шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве...» Вздумано — сделано: наш Артем, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном.

Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать — но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывыстый волчий вой, что

бедный Артем сам его испугался. Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного смеха, он вахотал еще сильнее прежнего, и еще громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтоб не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артем; все думали, что то был точно оборотень, — только отец его, старый колдун Ермолай! Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: *чур меня! чур меня!* Это еще и больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение; никогда, никто его столько не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли еще будет в селении? как все всполошатся, крикнут: «Волк!» — станут его травить собаками, усыкать, тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести: его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмет и собаки боятся... То-то потеха!

И в самом деле, все селение поднялось на *серого забияку*. Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами спрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удалцы, крикнули по селению, что один конец должен быть с старым колдуном, и повалили толпою: кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом — обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими; но наконец робость его одолела: он знал, что в силу заговора его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут ошипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда — как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными полами? Беда!

Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться: все усыкали, кричали только издали, а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли скликать; они разбрелись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню: он ничего не ел от самого

вечера, и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? и кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! вот до чего доводит безрассудство! он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид! Ну, придется горюну Артему умереть с голоду или исчахнуть с тоски-кручины в волчьей коже... Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап...

Крестьяне рассуждали, что́ им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня разнесся уже по селению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка была Акулина Тимофевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую умную речь:

— Добрые люди! не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра себе не много сделаете, а худа не оберетесь; в судах же, я слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайте меня: разойдитесь с богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.

Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила: они послушались ее речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.

Акулина Тимофевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчье свое рыло, слезы капали из мутно-красных его глаз, и он, верно бы, заревел, как малый ребенок, если бы не побоялся завуть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клетки и оставила его отдыхать и горевать на свободе.



Вечером Акулина Тимофевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала, и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил: «Ништо ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперек спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: «Виноват, батюшка! прости». Старик отечески потазал его снова, пожурил — да и простил.

Акулина Тимофевна очень полюбилась старому Ермолаю: он заметил в ней природный ум и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемышу, который, после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому серебрялюбцу досталось такою дорогою ценою—то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков.

Короче: дня через три вся деревня пировала на свадьбе Артема Ермолаевича с Акулиной Тимофевной; и хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названным сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотеле и слыхом про него не слыхали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смиренно, делал добро и помогал бедным, затем умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артем, прожив несколько лет

с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофевна была челяшко изо всех умных баб.

## ЭПИЛОГ

Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повествование должно иметь нравственную цель и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается—я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления: *что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком*. Нравоучение близкое и ясное, и кажется — если, впрочем, самолюбие меня не обманывает,— оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрал к своей басне «Волк и пастух» \*.

## СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ УКРОМЕ-ТАБУНЩИКЕ

*Картина из русских народных сказок*

— Есть ли у нас на Руси богатырь, кто бы вышел силой со мною померяться и на булатных мечах перевестись?

Так перед ратью половецкою кричал великан Баклан-богатырь. А у того Баклана голова была, что пивной котел; брови, что щетина; борода, что камыш: ветер в нее дунет — инда свист пробежит. В руке у него был меч-кладенец, такой широкий, что на нем хоть блины пеки; а всех его доспехов ратных, когда он их снимал с себя и складывал на телегу, три пары волов и с места не могли тронуть.

---

\* Я басню всю коротким толком  
Хочу вам, господа, сказать:  
Кто в свете сем родился волком,  
Тому лисицей не бывать.

— Что ж, или нет бойца со мною переведаться? — крикнул-гаркнул Баклан-богатырь громче прежнего. Все князья и воеводы и храбрые могучие витязи приумолкли и дух притаили: все знали нечеловечью силу Бакланову и слышали про него молву, что он-де одним пальцем до смерти быка пришибает. Вот и выискался из обоза Укрома-табунщик, стал перед князьями и воеводами и повел к ним слово: «Государи князья и воеводы! не велите казнить, а дозвольте мне речь говорить. В прежние годы бывалые важивалась и у меня силишка: случилось, медведишка ли, другой ли косматый зверь повстречается — мне его сломать, как за ухом почесать. Благословите, государи князья и воеводы, и на этого дикого зверя руку поднять». Вот князья и воеводы и сильные могучие витязи пожалы плечами и отвечали Укрома-табунщику, что если он на белом свете нажился и богу во грехах своих покаялся, то они ему на вольную смерть идти не мешают. И пошел Укрома-табунщик на великана; Баклан же богатырь только его завидел — и засмеялся молодецким хохотом, инда у воевод и витязей в ушах затрещало: «Что-де это за бойца на меня высылаете? мне таких полдюжины и под одну пята мало!» — «Не чванься, бритая башка половецкая, — молвил ему Укрома-табунщик. — Добрые люди говорят: *не сбил — не хвались*. Хочешь со мною переведаться рука на руку? так вот кинь свое посечище: у моего батюшки много такого лому, только им у нас не храбрые витязи дерутся, а на ночь ворота запирают». — «Будь по-твоему», — отвечал Баклан-богатырь и бросил свой меч-кладенец на сыру землю. «А это что на тебе? — сказал ему Укрома. — У моего батюшки из такого чугунного черепа собакам кормят, а не храбрых витязей в него наряжают». — «И это сниму, когда тебе не любо», — со смехом промолвил Баклан-богатырь и снял с себя высокбулатный шолом. «А это что на тебе? — опять ему говорил Укрома. — У моего батюшки малые дети в такие сетки мелких пташек ловят, а не храбрых витязей в них наряжают». — «Пожалуй, и это сниму, коли ты боишься запутаться, как синица», — с тем же смехом отвечал великан и скинул с себя стальную кольчугу переборчатую. Так Укрома-табунщик расценил на великане все доспехи ратные: не оставил ни щита, ни рукавиц, ни поножей, ни поручей железных, все было им на смех поднято; а Баклан-богатырь снимал с себя доспех за доспехом и все смеялся злым хохотом, смекая себе на уме: «Я-де и без этого

раздавлю тебя, как мошку!» Вот и крикнули-гаркнули оба бойца, и бросились друг на друга, словно два дикие зверя. Великан схватил Укрому в охапку, сжал его и хотел задушить; только Укрома был крепок, словно мельничный жернов: как ни бился с ним великан, у него ребра не подавались; наш табунщик только пыхтел да пожимался. Сам же он впился в Баклана, как паук, уцепился за него обеими руками подмышки, запустил пальцы, рванул и выхватил два клона мяса. Великан заревел от боли как бешеный и руки опустил, а Укрома стал на ноги как ни в чем не бывало и, не дав великану опомниться и с силою справиться, схватил его за обе ноги, потрянул и повалил, как овсяный сноп. Вся дружина православная вскрикнула от радости, а рать-сила половецкая завопила, словно душа с телом разлучалась. Укрома-табунщик дослужил свою службу князьям и воеводам: он схватил великанов меч-кладенец и одним махом отсек Баклану-богатырю буйную голову. Тогда рать-сила басурманская дрогнула и побежала с пся, инда земля застонала; а русские князья и воеводы три дня пировали на месте побоища, честили да выхваляли Укрому-табунщика, снарядили его доспехами богатырскими и нарекли сильным могучим витязем Укромою, русских сердец потехою, а половецких угрозою.

## СКАЗКА О МЕДВЕДЕ КОСТОЛОМЕ И ОБ ИВАНЕ, КУПЕЦКОМ СЫНЕ

*Посвящается баронессе С. М. Дельвиц*

В старые годы, в молодые дни, не за нашею памятью, а при наших дедах да прапрадедах жил-был в дремучих лесах во муромских страшный медведь, а звали его Костолсм. Такой он страх задал люду православному, что ни душа человеческая, бывало, не поедет в лес за дровами, а молодые молодки и малые дети давным-давно отвыкли туда ходить по грибы аль по малину. Нападает, бывало, супостат-медведь на лошадь ли, на корову ли, на прохожего ли оплошало — и давай ломить тяжелою своею лапою по бокам да в голову, инда гул идет по лесу и по всем околоткам; череп свернет мозг выест, кровь выпьет, а белые кости огложет, истрожит да и в кучку сложит: оттого и прозвали его *Костоломом*. Добрые люди ума не могли приложить, что это было за ди-

во. Иные говорили: это-де божье пощущение, другие смекали, что то был колдун-оборотень, третьи, что леший грикнулся медведем, а четвертые, что это сам лукавый в медвежьей шкуре. Как бы то ни было, только хоть никто из живых не видал его, а все были той веры, что когда Костолом по лесу идет — то с лесом равен, а в траве ползет — с травой равен. Горевали бедные крестьяне по соседним селам; туго им приходилось: ни самим нельзя стало выезжать в поле на работы, страха ради медвежьего, ни стада выгонять на пастьбу. Сильных могучих богатырей, Ильи Муромца да Добрыни Никитича, не было уже тогда на белом свете, и косточки их давно уже сотлели; а мечи их кладенцы, сбруи ратные и копыя булатные позаржавели: так избавить крестьян от беды и очистить муромский лес от медведя Костолома было некому.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошло неведомо сколько времени, а медведь Костолом все по-прежнему буянил в лесу муромском. Вот забрел в одно ближнее к лесу селение высокий и дюжий парень, степен, бел, румян, белокур, лицо полно и пригоже, словно красное солнышко. Все девицы и молодичи на него загляделись, а молодые парни от зависти кусали себе губы. За плечами у прихожего была большая связка с товарами, а в руках тяжелый железный аршин, которым он, от скуки, помахивал, как павлиним перышком. «Здравствуй, добрый молодец, — повел с ним речь Вавила, сельский староста, — издалека ли идешь, куда путь держишь?» — «Не больно издалека, дядя: города я Коврова, села Хворостова, прихода Рождества Христова; а путь держу к Макарьеву на ярманку». — «А с какими товарами, не во гнев тебе будь сказано?» — «Да с разными крестьянскими потребками и бабьими затеями: ино платки да кумачи, ино серьги да перстеньки». — «А как величать тебя, торговый гость?» — «Зовут меня: Иван, купецкий сын». — «И ты не боишься один ходить по белу свету с товарами?» — «Чего бояться, дядя? на дикого зверя есть у меня вот этот аршин, а с лихим человеком я и просто своими руками справлюсь». — «Зверь зверю не чета, удалый молодец. Вот, недалеко сказать, и у нас завелась экая причина в муромском лесу: медведь Костолом дерет у нас и людей, и всякий крупный и мелкий скот». — «Подавайте мне его! — вскрикнул Иван, купецкий сын, засуча рукава красной александрийской своей рубашки. — Я с ним слажу, будь хоть он

семи пядей во лбу. Давно уже слышу я слухи про этого медведя, а хотел бы видеть от него виды. Меня сильно берет охота с ним переведаться... Что же вы распустили горло, зубоскалы? — примолвил он с сердцем, оборотясь к молодым парням, которые смеялись до пологу, потому что сочли его за хвастуна. — Ну вот отведайте-ка сил со мною: не поодиночке, такого из вас, вижу, не сыщется, а ухватитесь сколько можете больше за обе мои руки». Вот и налегли ему на каждую руку по четыре человека, и держались изо всех сил. Иван, купецкий сын, встряхнулся — и все попадали как угорелые мухи. «Это вам еще цветики, а вот будут и ягодки, — сказал Иван, купецкий сын, — кто из вас хочет померяться моим аршином? Возьмите». Только кто ни брался за аршин, не мог и приподнять его обеими руками. «И не диво, — проговорил Иван, купецкий сын, — в нем двенадцать пуд счетных. Теперь смотрите же». — Он взял аршин в правую руку, размахнул им, инда по воздуху зажужжало, и бросил вверх так, что аршин из глаз ушел, а после с свистом полетел вниз и впился в землю на полсажени. Иван, купецкий сын, подошел к тому месту, выхватил аршин из земли как морковку и, поглядев на насмешников таким взглядом, что у каждого из них во рту пересохло, молвил: «Смейтесь же, удалцы! или вы только языком горы ворочаете?.. Ну, смелее, дайте окрик на самохвала». — «Молодец! силач!» — крикнули в один голос и старый, и малый. Староста Вавила повел Ивана, купецкого сына, в свой дом, истопил баню для дорогого гостя, накормил его, напоил и спать уложил.

Вот на другой день, еще черти в кулачки не бились, Иван, купецкий сын, встал, умылся, богу помолился и, оставя связку с товарами в доме у старосты, взял только свой аршин и пошел к лесу. Близо ли, далеко ли, долго ли, коротко ли ходил он — мы не станем переливать из пустого в порожнее: скажем только, что все крестьяне не пошли в тот день на работу, а сошлись на площади перед церковью, молились богу за Ивана и за то, чтоб он одолел медведя Костолома, и забыли о еде и питье. Щи выкипели в горшках у баб, каша перепарилась, и хлеба в печи пригорели, а никто и не думал идти обедать. Ждать-пождать — Ивана нет как нет! Вот и солнышко пошло на закат; все крестьяне, осмелясь, вышли из деревни, стали около огородов и не сводя глаз смотрели к лесу; жалели о купецком сыне, думали, что он на беду свою расхрабрился; а красные девушки и

вздыхали тайком в кумачные рукава свои — не ведаю, об Иване или о медвежьей шкуре: не время было тогда выпытывать. Вдруг послышался из лесу такой страшный рев, что у все<sup>х</sup> от него головы пошли ходенем. Смотрят — из лесу бежит большой-пребольшой черный медведь, а на нем сидит верхом Иван, купецкий сын, держит медведя руками за уши и толкает под бока каблучками, которые подбиты были тяжелыми железными подковами; аршин Иванов висит у него за поясом и от медвежьей рыси болтается да тоже постукивает по медведю. Спустя малое время медведь с седоком своим прибежал прямо к деревне и упал замертво у самого того места, где собрались крестьяне. Иван, купецкий сын, успел соскочить вовремя, схватил свой аршин и единым махом раскроил череп медведю. «Вот вам, добрые люди, живите да радуйтесь, — молвил купецкий сын крестьянам, — видите ли, у вашего Костолома теперь и у самого кости переломаны». После того зашел он к старосте, выпил чару другую зелена вина, наелся чем бог послал, сказал спасибо хозяину и, вскинув связку за плеча, пожелал всему сельскому миру всего доброго. «Чем же мы тебе поплатимся за твою послугу?» — спрашивали крестьяне. «Добрым словом да вашими молитвами», — отвечал Иван, купецкий сын. «А шкура-то медвежья? ведь она твоя!» — взговорили ему крестьяне. «Пусть она при вас останется: берегите ее у себя в деревне да вспоминайте про Ивана, купецкого сына!» За сим поклон — и был таков.

Крестьяне пировали три дня и три ночи по уходе Ивана, купецкого сына, на радостях о своей избе от медведя Костолома. И я там был, мед-пиво пил: по усам текло, а в рот не попало... А к этой сказке вместо приговора любезной нашей имениннице желаю доброго здоровья: дай ей бог жить да поживать, худа не знать, а добро наживать да пиры пировать!

## **В ПОЛЕ СЪЕЗЖАЮТСЯ, РОДОМ НЕ СЧИТАЮТСЯ**

Жил-был на святой Руси близ каменной Москвы мужичок богатенек, а норовом крутенек, звали его Сидором Пахомовым; а у того Сидора был работник Елеса, ходил губы развеся. Люди крещеные толковали, что

Елеся был простоват; красные девушки над ним подсмеивались, и прослыл он по всему миру сельскому дурачком бессчетным. Вот однажды сбежали у хозяина его со двора кони, и послал он Елесю тех коней перенять и во двор пригнать. Вышел Елеся за село чуть на дворе рассвело, еще и красное солнышко не взошло; и видит Елеся: пасется за селом на выгоне клячонка попа Ерофея. И взмолвил Елеся: «Не прогневайся, поп Ероха, пешком идти доброму молодцу плохо: за борзыми конями не угоняешься, а только упреешь да умаешься». И взнуздal Елеся попову клячонку, сел на нее, едет да погоняет, да песенки попевает; и выехал он на чистое поле, на широкое раздолье; трюх да трюх, скачет на волю божью куда глаза глядят. Взял он из дому пук веревок, чтобы стреножить хозяйских коней, коли отыщет; и те веревки повесил он себе на шею, топор заткнул за пояс, а косу перекинул через плечо. И вот едет да погоняет, да песенки попевает; и наехал он на такое место, откуда три дороги разбегались в три разные стороны: одна шла направо, другая налево, а третья по середине. И взяло раздумье доброго молодца: по какой путь-дороге ему пуститься? Думал, думал — и пустился по средней; едет да погоняет, да песенки попевает. Вот навстречу ему скачет и пылит, инда небо коптит басурман Калга Татарской; крикнул-гаркнул молодецким покриком: «Прочь с дороги, мужичишка серый! не то — у меня коротка расправа: хвачу тебя слева да справа, так и дух вон, и башка долой». И возговорил ему Елеся: «В поле съезжаются, родом не считаются. Коли ты богатырь, а не мыльный пузырь, так выходи со мной переведаться и силами померяться». И крикнул-гаркнул басурман Калга Татарской: «Ох ты серый мужичишка, глупый твой умишка! Когда такие дива бывали, чтоб крестьяне богатырей на бой вызывали? Да я тебя и саблей не уважу, одной нагайкой слажу». А Елеся ему на то ответил: «Ах ты неразумная бритая башка татарская! Идти на рать — не песню орать: хвались тогда, как сможешь; а бог даст, и сам буйную голову положишь». И взбесился сердитый Калга-богатырь, бровью моргнул, усом шевельнул и саблей взмахнул; а Елеся перекрестился, с клячонки на землю спустился, к басурману подскочил, косою по шее хватил, словно былинку скосил; и пал богатырь Калга на сыру-землю как овсяный сноп, а Елеся его как липку облупил и белое его тело под кустом схоронил; сам в басурманово платье оделся и на борзом Калгином ко-



не уселся; едет да погоняет, да песенки попевает. И видит: среди поля раскинута шатры мурзовецкие и в тех шатрах рать-сила великая, а вокруг шатров пасутся коней табуны несметные. И крикнул-гаркнул Елеся молодецким покриком на всю рать-силу басурманскую: «Гой-еси вы, татаре ордынские! Я ваш воевода Қалга-богатырь. Чтобы мигом-лѣтом готово мне было что ни лучших коней три дюжины, со всею сбруей золоченою; а гнали бы их за мною два татарина в смирном платье; без доспехов богатырских». Вот поехал Елеся впереди, а татаре позади коней за ним гонят и перед ним буйные головы клонят. И привел их Елеся в свое село, в ту пору как мир крещеный шел от службы божией; и кликнул Елеся знакомых крестьян, своим именем сказался и честным крестом ограждался; и по его слову крестьяне тех двоих татар схватили, связали да в темный погреб посадили. А из добытых коней подарил Елеся тройку своему прежнему хозяину Сидору Пахомову, да пару попу Ерофею; остальных же и со всей сбруей продал в каменной Москве и на те деньги стал жить да поживать, худо сбывать, да добро наживать.

## БРОДЯЩИЙ ОГОНЬ

Скачет, летит богатырь к Киеву. На богатыре доспехи вороненые, и булатный меч его, висящий на серебряной цепи, тяжело бьет по ребрам коня борзого, богатырева товарища верного. Не с пышного пира княжеского возвращается витязь: возвращается он с пира кровавого, где острый меч его начертал глубокими браздами на телах касожских имя Велесилово.

Скачет, летит богатырь к Киеву. Там ждет его невеста верная, Милава прекрасная. Давно уже витязь и дева юная обменялись кольцами; и только война суровая разлучила на время два сердца, тлевшие пламенем чистым, предпразднеством пламенников брачных.

Но что за синий перелетный огонек мелькает в туманной мгле зыблущимся светом? Витязь ограждает себя крестным знаменем, думая, что то был дух, искуситель путников; но огонек не исчезает и далее, далее переносится с приближением Велесилову.

— Если ты дух, то исчезни; если чародей, то яви свою враждебную силу в борьбе со мною! — воскликнул

витязь и бодро пустился вслед за обманчивым сиянием. Борзый конь, храпя, перескакивает чрез ограду, и витязь мчится по могилам, и синий огонек перелетает с одной на другую, беспрестанно уносясь от витязя.

Печально было место, где скакал тогда богатырь: то было селение усопших—кладбище мирное. Вот синий огонек на одной могиле затеплился постоянным светом. Витязь туда... то была свежая могила: примятый дерн еще не успел подняться на ней ковром бархатным. И вдруг синий огонек исчез — и густой мрак охватил окрестность.

Конь богатыря храпел и, приклонив голову, бил копытом землю. Вещая тоска впиалась в ретивое сердце; витязь молвил: «Не добро ты чуешь, борзый конь, верный мой товарищ! не к радости ты занываешь, бедное сердце! Видно, здесь положен предел пути моему; видно, здесь похоронены все мои радости».

И сошед с коня, витязь припал к кресту могильному, как будто в нем только видел все родное в жизни. Конь стоял по-прежнему с поникшей головою и бил копытами землю. Долго грустные думы сменялись в душе Велеси-ла; наконец легкий сон спорхнул на его вежды.

И видит он: из райских сеней, из садов вечнозеленых выглядывает лик Милавы, сияющий зарею бессмертия. Милава приветливою, неземной улыбкой манит к себе жениха своего... И вдруг ужасный гром, разразившись в воздухе, упал огненной струею и прервал видение... Конь взвился на дыбы; но витязь сидел недвижим.

Тихое утро ясно горело после бурной ночи. Люди пришли на кладбище отдать последний долг одному усопшему собрату. Они нашли Велеси-ла мертвого на могиле прекрасной Милавы.

## КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой *Тарасовой ночи*, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных *подножков* \* польских, жидов-пре-

---

\* *Подножек* (пидножек) — раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий писал к царю Алексею Михайловичу: «Ва-

дателей. Много их пало от руки жесточенных казаков, которые, добывая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жида оскорбляли православных. Все было припомнито: и наущничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церковей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому Христову воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в дома свои, обременясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкарей или с бандуристами он вытаскивал у себя из *кишени* \* целую горсть *дукатов*, а польскими *злотыми* только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и *крамарей* \*\*; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодежи. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и *завзятость* \*\*\* хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

*Перекупки* \*\*\*\* на Печерске и на Подоле \*\*\*\*\*

---

шего Царского Величества, Благодетеля мого милостивого верний холоп и найнижний подножок Пресветлого престола, Боярин и Гетман верного войска Вашего Царского Пресветлого Величества Запорозкого Ивашка Брюховецкий». (*Здесь и далее прим. О. Сомова.*)

\* *Кишень* — карман.

\*\* *Крамарь* — мелочный торговец красным товаром.

\*\*\* *Завзятость* — удалство, молодечество.

\*\*\*\* *Перекупка* — рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п.— *Перекупками* называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценой у сельских жителей и продают дороже в городе.

\*\*\*\*\* *Печерск* и *Подол* — части города Киева.

знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по *базару*. Они ждали этого, как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с *кнышами*, *сластенами* либо *черешнями* \* и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего *завязтого*? — говорила одна из подольских перекупок своей соседке. — Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

— До того ли ему! — отвечала соседка. — Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

— А чем Ланцюговна ему не невеста? — вмешалась в разговор их третья перекупка. — Девчина как маков цвет; поглядеть — так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех *парубков*. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой гребь.

— Все это так, — подхватила первая, — только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка, — заметила вторая. — Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая. — Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была *ярчук* \*\* и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи бог и слышать.

— Что, что такое? — вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову

---

\* *Кныши* — род саяк, *сластены* — оладьи. *Черешни* — небольшие сливы, похожие на французские *mirabelles* и очень сладкие.

\*\* *Ярчук* — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по мало-российскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их.

дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Доскни́ка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

— Полно вам щебетать, пустомели! — перервала их разговор одна старая перекупка с недобрим видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих.— Толковали бы вы про себя, а не про других,— продолжала она отрывисто и сердито.— У вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к *кагалу*\* киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрус-е Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма,— и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излиятий супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы наворачивались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен,

---

\* *Кагал* — синагога или сборище.

как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу, — неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постель, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на *приспе*\*, вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя жenuшка!» — подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток

---

\* *Приспа* — завалина, земляная насыпь вокруг хаты.

провел без сна. Катруся, возвратясь из клетки, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уж нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не доставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжелой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и миг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего испуга, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не рачувствовала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: это была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитрое и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастье жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодецкой, ласковою, услужливою женою. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал прилежнее наблюдать за своею женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постель, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуюсь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно:



ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный камнями, раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидни змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы\*, осинового уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то иступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!», то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очуствовался, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, то, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осинового дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

---

\* *Чертов палец* — ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Он имеет вид конический и цветом похож на чистый янтарь.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое, как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмости о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньей мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечную своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных, как гриб, ведьм водила *журавля*\*, приплясывая, стуча гоцки\*\* сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, и другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиванием, как пьяные бабы на *веселье*\*\*\*, плясали *горлицу* и *метелицу*\*\*\*\* с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в *дудочке*\*\*\*\*\* с упырями, на которых и по-

---

\* *Журавль* — малороссийская пляска, род линного польского, только гораздо живее; танцуетея попарно.

\*\* *Гоцки* — гоц-гоц! Чоканье ногой об ногу.

† \*\*\* *Веселье* (виселье) — свадьба, свадебный пир.

\*\*\*\* *Горлица* и *метелица* — малороссийские пляски; танцуются кадрилию.

\*\*\*\*\* *Дудочка* — тоже пляска, живая и быстрая. По большей части две женщины танцуют ее с одним мужчиной.

смотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и сопелок \*, пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами \*\* на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренным; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой \*\*\*; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодежи было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих; но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Вдруг раздался, как внезапный порыв бури, густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках, — и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волюнок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на

---

\* Сопелка — дудка, свирель.

\*\* Бублики — калачи или крендели.

\*\*\* Дзыга — волчок или юла, игрушка.

другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жиды на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку — и мигом все запели:

Высоки скоки  
В сороки,  
Низки поклоны  
В вороны \*,—

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя! — шептал про себя Федор Блискавка. — Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные *весельные* песни на своем мерзостном шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в таратары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей *пекельной* \*\* головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то, — думал казак, — настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрипнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя *намитку*, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев — и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в кото-

\* Свадебная песня. — Заметим, что здесь предлог *в* заменяет предлог *у* русского языка.

\*\* *Пекельный* — адский. *Пекло* — ад, от глагола: *пеку*, *печь* (по-малороссийски: *пекты*).

рой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припомнил себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... «И все это было только притворство! — думал он.— Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не заметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногой наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

— Федор! — сказала она печально.— Зачем ты подсматривал, что я делала? зачем, не спрося меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастье!..

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! — отвечал Федор с негодованием и отвращением.— Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор,— подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза.— Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась — ничто не помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день — какая-то не-

видимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах: до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам погубил и меня, и себя, навеки затворил от меня двери райские...

— Так живи же с своими *родичами* \*, лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня...

— Не властна я тебя оставить! — перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказав, приросши к нему.— Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды,— но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его...

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжело мне, что злая доля развела нас и здесь, и там...

Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.

— Об одном только прошу тебя,— продолжала она,— погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня впоследствии и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению... Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к

---

\* *Родич* — родня, родственник.

нему губами; и между тем как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

— Сладко!..— отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки.

---

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только грудa пеплу, и зловонный, серный дым стлался по округности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и оттого она просветлела.

## СКАЗКА О НИКИТЕ ВДОВИНИЧЕ

Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки; рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдуманна, из старых лык не выплетена и заново шелком не выстрочена: мне ее по летним дням да по осенним ночам рассказывал Савка-Журавка долгоног, железный нос.

Савка-Журавка по двору ходит, черным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, долгую шею через плетень перегибает, острым носом друга и недруга допекает. А как крыльями встрепенется да звонким голосом озовется: «курлы-курлы!» — так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечет... Савка-Журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает... *курлы-курлы!*

Во славном городе во Чухломе жила-была старушка горемычная, вдова человека посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж ее Авдей Федулов, не тем покойник-свет будь помянут! большой был гуляка: торг провести да на счетах раскинуть не его было дело; а пиры пировать, да именины справлять — его подавай. Так и все свои животы прогулял да пропил, а не в добрый час и его самого подняли мертвого в царевом кружале под лавкою. Бедная вдова после его смерти обливала горючими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько свое вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у нее, что называется, чем собаки из двора выманить; а которых крох не растерял покойный ее сожитель, и те пошли по его же душе, на похороны да на поминки. Худо быть человеку семейному горьким пьяницей: и перед богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает.

Не на радость остался и сынок бедной вдове горемычной, единое ее детище, Никита: и тот по отцу пошел. Пить не пришла еще ему пора, потому что после отца он остался молоденек, годов о двенадцати; зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, из того кормила его и одевала; а он только с утра до ночи рыскал по улицам да играл в бабки с чужими ребятами. Этого дела, нечего сказать, был он мастер; а как, по пословице, *всякое дело мастера боится*, то и бабки словно его боялись и слушались. Не выскивалось еще молодца, кто б обыграл Никиту Вдовинича: такое в насмешку дали ему на улице прозвание вместо Никиты Авдеича.

Никитино уменье не полюбили соседним ребятам, которых он день при дне дочиста обыгрывал, так что они не могли у себя напасть бабок. Не раз они щипали Вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъемом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался, — только он как-то об этом спроведал. «Постой же! — молвил он сам про себя. — Я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет просунуть нос». Сказано и сделано: как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запол и снес на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху до поры до времени. Видно, Никита, хоть и слыл дурачком и служил посмешищем всему миру, а был-таки себе на уме: небось не



стал же рыться в чужой могиле! Он смекнул, что и после смерти *свой своему поневоле друг*.

Вот как он раскапывал землю, вдруг послышался ему голос из могилы: «Кто тут?» Никита не оробел и смело ответил: «Я, батюшка!» — «Сын мой любезный, дитя мое милое! тяжело мне под сырой землей! — простонал ему тот же голос.— А еще мне тяжеле от того, что тебя с матерью, по грехам моим, покинул при недостатках. Слушай же: я знаю, что тебя вовсе не тянет к работе; ты весь в меня, и личиком и станком, и разумом и умом. Я тебе помогу, детище мое желанное, и вызволю тебя из бедности; только приходи по три ночи сюда, ко мне на могилу, в глухую полночь, за час — за два до первых петухов. Чтобы здесь ни дейлось, не робей; стануй играть в бабки — играй, только старайся весь кон сбивать и все бабки к себе забирать. Теперь же покамест ступай себе с богом! прощай!»

Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка и с какими игроками должно ему было тянуться; однако ж как малой не трус он вздумал пойти наудалую и отведать своего счастья. Вот, пришедши домой, молвил он своей матери, Улите Минеевне: «Благослови, государыня матушка, на доброе дело: меня зовут лавочники по три ночи стеречь лавок, а сулят за то гривну медью, да хлеба вволю, да новые рукавицы». Улита Минеевна была рада-радешенька, что бог надоумил ее детище жить на белом свете трудовую копейкою; она чуть не прослезилась от доброй вести. Матери за благословеньем не в ларец ходить: не раздумывая, не разгадывая, благословила Улита Минеевна своего Никиту и отпустила его с крестом и молитвой. Только он вместо лавок поплелся на кладбище, раскидывая умом-разумом, что-то из этого будет.

Вот и прилег он на отцовской могилке, ни шкнет, ни чихнет и ни ухом поведет. Не спится ему, правду сказать: да ведь батюшка родимый не за сном же и звал его сюда. Долго ли, коротко ли было дело, только вдруг подул и пронесся полуночный ветерок по кладбищу и запрыгали огоньки над могилами, словно клады из-под земли выскакивали морочить люд православный, либо затейник какой, стоя на кладбище, сеял по нем гнилушкой. Вдовиничу послышалось, что под землю мертвец мертвеца спросил: «Пора?», а тот ему ответил: «Пора!» И пошла трескотня по могилам: каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку

вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещеного. Никита Вдовинич все лежал по-прежнему и смотрел на такие предивные диковинки; вдруг его невесть что отбросило: он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним как лист перед травой очутился его батюшка Авдей Федулович. «Сын мой любезный, дитя мое милое! — возговорил он детищу своему желанному. — Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду. Наши честные покойники в эту пору встают да от скуки потешаются в бабки; не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье будешь счастлив и талантлив; а нет — на себя пеняй. Помни же, сын мой любезный, дитя мое милое: что ни есть на кону — все сбивай, ничего не оставляй; особливо в третью ночь почтись и весь последний кон сорви, — не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего, не робей. Теперь пойдем, благословясь».

Не любо было Никите Вдовиничу слышать, какой был зарок на игре положен; да нечего делать: взявшись за гуж, не ворчи, что не дюж! Вот и пошли они к гурьбе покойников; а там крик, гам, беготня, толкотня, хохотня. Никиту мороз по коже подирал, когда он вззрился да вслушался, что там было. Иной мертвец, вытянув костлявую шею и выставя свой череп из-под савана, страшно скалил зубы и грохотал, как из пустой бочки; видно, по русской поговорке, он и на том свете чудак был покойник: умер, да зубы скалил. Другой — бледен как полотно, глаза как плоски, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый... Ну да бог им судья! все они были на ту же стать.

Вот и завопила вся гурьба покойников: «Давай в бабки!» Поставили на кон бабок видимо-невидимо, да у каждого было в заполе савана по целому вороху. Опять запрыгали огоньки на могилах, скок да скок — и столпились в два ряда вокруг поляны, что перед часовней, наподобие как, если кто видал из вас, люди добрые, зажигаются плошки для потешных огней по большим праздникам и ими, словно бисером да камнями самоцветными, унижаются городские улицы и площади. На-



шему Вдовиничу сызнава стало жутко, когда он с отцом вошел в середину сходбища. Все мертвецы заорали не своим голосом: «Чужой! чужой!» — как будто собаками на него усыкали. Добро бы тем и кончилось; так нет! они косились на него глазами, моргали бровями, щелкали зубами, морщили носы, щетинили усы и кривляли рты, словно не они, а он был покойником. Вот один и подкатился и молвил отцу Никитину: «А ты, дядя Авдей, что ж не играешь в бабки? поставил бы своего мальчика на кон, авось бы мы его срезали». — «Где вам, мякинникам, со мной тягаться!» — ответил Авдей Федулов. — Вот гляди-ка на моего мальчика: он, кажись, и невзрачен, и не нашего еще лесу кочерга, а дайте-ка ему бабки в руки — всех вас за пояс заткнет!» — «Хвастливого с богатым не распознаешь!» — завопили мертвецы в один голос. — Не в похвале б сила, а в деле. Ну-ка, ин выпусти своего щенка на наших волков. Только знаешь: уговор лучше денег. Его выигрыш — его и счастье, а проиграет — головой отвечает; да и ты на свою долю столько добудешь совков да пинков, что всех не уложишь к себе в могилу». — «Ладно!» — сказал Авдей Федулов. — Грозите богатому, авось-либо копейку даст; а с меня-то вам взятки гладки». — «Ну-ну! пустого не болтать и делу не мешать!» — крикнул-гаркнул один долговязый мертвец, который был у них в игре старостой и уставщиком. — Начинать так начинать; а то вы, пожалуй, и до петухов прокалякаете». Тут он схватил Никиту за оба плеча, толкнул вперед, уткнул носом чуть не в землю, указал на груды бабок и примолвил: «Бери, да ставь, да замечтай!» — Никите не любя была такая грубая поведенция, он осерчал; однако прикусил язык, набрал бабок и пустился в игру. Хвать да хвать, глядишь — и весь кон сбил; поставили другой — и тот будто рукою снял; поставили третий — и того как не бывало: не дал мертвецам, что называется, ни росинки подобрать. Дивовались покойники такой удаче и захлопали глазами да заскрыпели зубами пуще прежнего. Никите сдавалось, что ему несдобровать; ан вот как тут по посадку раздалось: кукареку! Никита глядь — ни огоньков, ни мертвецов не стало, могилы заровнялись так, что не было ни следа, ни приметы; с той стороны, откуда солнышко всходит, занималась утренняя заря, и перед нашим Вдовиничем лежала груда сбитых им бабок, чуть не с головой его в уровень. Он подрылся под часовню и туда запрятал свои бабки; видно, отец-батюшка родимый шепнул ему, что тут-де

ни мертвый, ни живой их тронуть не посмеет. Еще православные в городе глаз не продрали, а Никита припелся домой, залез на полати и такую дал высыпку, что чуть обеда не проспал.

На другую ночь было ему поваднее идти на кладбище. Опять прилег он на отцовской могиле; опять чуть только повеял полуночный ветерок, заиграли огоньки на могилах и опять пошла трескотня и хлопотня по кладбищу. Батюшка Никитин, Авдей Федулович, снова встал и повел его на сходбище разгульных покойников, а там по-вчерашнему — крик, гам, беготня, толкотня, хохотня; только уж на этот раз Вдовинич наш не робел и раскланивался что ни с самыми лихими мертвецами, будто со старыми знакомыми. Все вскрикнули, увидя его: «Подавай сюда молодца! подавай игрока!» — инда гул пошел по кладбищу; а Никита кинулся к своим вчерашним бабкам, набрал их сколько надо было и поставил на кон. Хвать да хвать — бабки валяются, инда пыль столбом идет; глядь-поглядь — трех конов как не бывало. Зашевелилось и загуло племя покойничье, зачесалась буйная головушка у Никиты Вдовинича; а петухи как тут: кукареку! Никита глядь — все по-прежнему: мертвецов не стало, огоньки потухли, могилы заровнялись, а перед ним опять бабок несметная сила. Никита убрал их в свою старую похоронку, под часовню; а сам был таков: прибежал домой, залез на полати и давай отхрапывать, инда бревенчатые переборы задрожали.

Вот наступила и третья ночь. Никита наш соколом полетел к погосту, и уж ему невтерпеж лежать на могиле: так ему слюбилось обыгрывать покойников. «Есть же простяки на том свете! — смекал он про себя. — Да мне их обыграть как пить дать...» Не успел он додумать своей думы про покойников и их простоту, как вдруг, вместо тихого полуночного ветерка, взвыла буря, закрутился вихорь, и пошел дым коромыслом по кладбищу. Благо, что на Никите не было шапки, да и не важивалось; а то бы ее занесло за тридевять земель; чуть и головы-то с него не сорвало. Огоньки лениво выпархивали из могил, и те такие тусклые, что чуть брезжились. Трескотня да возня поднялись по кладбищу, что хоть святых вон носи. Все мертвецы вскакивали как опаренные, встрепывались и бегом бежали на поляну, облизываясь, как кот перед куском мяса. Словно нехотя поднялся Вдовиничем батюшка, Авдей Федулович, и повел такую речь с сынком своим: «Сын мой любезный, дитя

мое милое! наши честные покойники на тебя зубы вострят и губы разминают, за то, что ты в бабках с них спесь посбил. Смотри же, дитяtko мое желанное! не положи охулки на руку. В эту ночь, а особливо за последним коном, будут тебе всякие помехи и страсти; только ты скрепись и не бойся: гляди зорко, бей метко и старайся пуще всего снять на последнем кону черную бабку; в ней-то вся сила. Кто этой бабкой завладеет, тот чего ни похочет — мигом все у него уродится; надо только знать, как с нею водиться. Коли ты эту бабку сшибешь да к рукам приберешь, так тебе стóит только ударить ею о землю да приговаривать: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу», а затем и примолвить, чего ты от ней добыть хочешь; вот оно и явится перед тобой как лист перед травой. Да смотри, береги эту бабку пуще своего глаза: у тебя будут ее выручать всякими хитростями, только ты не давайся в обман». Тут Авдей Федулович взял сына за руку и повел на поляну. Загула вся ватага мертвецкая, что пчелы в улье: «Давай его, давай!» — а наш Вдовинич и ухом не ведет; набрал бабок, поставил на кон и начал пощелкивать. Только теперь было не по-прежнему: то гром прогремит, то дождь зашумит, то свист пробежит; огоньки чуть брезжуются и все тусклее да тусклее; а на Вдовинича выпустили игроков что ни самых удальцов. Никита все-таки не унывал; он прищуривался то с правого глаза, то с левого, приглядывался и прицеливался — и сбил два кона дочиста. За третьим стало еще хуже: поднялась метель; ветер так и рвал, и крутил, и сдувал огоньки на сторону; свету не было и настолько, чтобы доброму человеку ложку мимо рта не пронести, а снег хлопьями так глаза и залепливал. Никита взял догадку: он левою рукою сделал себе кровельку над глазами, выглядывал, высматривал — и заметил на кону черную бабку, к самому левому краю. Давай в нее бить: раз, два... а буря-то пуще злится, а гром так и трещит, что словно небо расседается, а молния так и сверкает сзади и с боков, и сманивает глаз на сторону, чтобы смигнул, а снег так и застилает глаза... Это еще цветики, а ягодки будут впереди. Два раза промахнулся наш Вдовинич: приладился совсем, ему бы только ударить; ан тут гром и грянет, а молния да снег так и заслепят его очи ясные. За третьим разом показались ему разные страхи: то змеи Горыны-

чи, то Полканы-богатыри с казачьими усами и конскими хвостами, то Чуда-Юда, железные зубы, то лешие, то водяные... ну, в добрый час молвить, в худой промолчать — вся нечисть подземная, вся тьма кромешная. Никита оторвал клоч рукава, расщипал и заткнул себе по охлопку в оба уха, правый глаз зажал, левую руку свернул в трубку и приставил к левому глазу, чтоб ему не слышать никакого шума и не видеть ничего, кроме черной бабки. Тут он начал причитать в уме-разуме все посты и все заговенья, среды и пятницы, понедельники и честные сочельники, а родительскую субботу помянул чуть не трижды; навел на черную бабку глаз с левою рукою, приладился правою, замахнулся, хватить — и вдруг что-то хрястнуло, инда нашему Вдовиничу небо с овчинку показалось. Он со всех ног бросился к кону: глядит, а перед ним черная бабка лежит, сбитая его метким молодецким ударом. Он за нее — и схватил в обе руки; а мертвецы к нему сыпнули всюю гурьбою, а петухи как тут: кукареку! — и не стало ни мертвецов, ни огоньков, заровнялись могилы, и на погосте наступила тишь да гладь да божья благодать. Никита Вдовинич зажал черную бабку у себя под мышкой, остальные пометал в свое упрятище под часовней, поклонился еще однажды батюшкиной могилке, пришел домой и улегся на полатах. «Теперь,— смекал он,— вольно мне спать вплоть до вечера; а захочу поесть, так найду кусок полакомее да посытнее матушкиных ленивых щей, где крупинка за крупинкой не угоняется. Они уж и так мне бока промыли!»

Никита Вдовинич был крепок на слово: он спал богатырским сном вплоть до вечера. Матушка его, Улита Минеевна, не будила его и к обеду: намаялся-де, сердечушко, на стороже, третью ночь не спал. В сумерки Вдовинич проснулся, встал, встрепенулся, умылся, богу помолился и опрометью вон из избы пустился; прибежал на огород, ударил бабкой о землю и проговорил: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне с начинкой пирог в сажень длиной да в охват толщиной». Не успел он и глазом сморгнуть, а уже перед ним лежал пирог в сажень длиной и в охват толщиной. «Ладно! — молвил Никита. — Дело-то так, да сладить-то как?» Пытался он разломить пирог, так не под силу, а целиком донести до избы — и того пуще. Думал-ду-

мал наш Вдовинич и вздумал: отыскал под навесом старые дровнишки, прикатил их в огород; опять беда: как поднять пирог на дровни? «Эх ты, моя нечесаная башка! Неразумна, хоть и велика! — вскрикнул Вдовинич, схватя свою буйную голову за кудри кольчатые и встряхнув их, как злая мачеха своего пасынка.— Ну что я стал в пень? Велико диво, как пирог снести! Вот побольше того, коли одному его съесть».

Тут он, не разгадывая и не откладывая, ударил черною бабкой о землю, протвердил как зады свой заученный наговор: «Бабка, бабка, черная лодыжка!» — и промолвил: «Взвали мне пирог на дровни». Пирог очутился на дровнях, а Никита впрягся в оглобли и ну тащить изо всех жил, да не тут-то было! *тпру* не едет и *ну* не везет. Опять принялся он за черную бабку: «Помоги-де мне пирог в избу привезти», и дровни покатались сами собою; Никита чуть успевал бежать, чтоб они ему в сугорбок пинков не надавали. Прикатились к дверям, а двери-то узеньки да низеньки; только ведь у нас не по-вашему, хоть тресни, а полезай: двери расступились, дровни вкатились и свалили пирог на дубовый стол, а сами тем же следом назад, на попятный двор, под навес, — и опять все стало по-старому, по-бывалому. И возговорил Никита Вдовинич своей матушке, Улите Минеевне: «Вот тебе, государыня матушка, гостинец от гостей торговых; кушай себе на здоровье». Улита Минеевна, увидя пирог, от радости руками всплеснула и голосом взвыла, словно покойницу свекровь хоронила. «Ах они мои батюшки, купчики-голубчики! потешили меня, вдову горемычную! Пошли им, господи, втрое того за их добродетель». Тотчас взяли топор, разрубили пирог на куски и принялись вдвоем уписывать; куда! и сотой доли съесть не могли. Никита наелся так, что инда пить ему захотелось. Вот он выбежал в присенок, ударил бабкой о землю и сказал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне браги ушат, чтобы стало со днем на мелю, пусти в него красный ковш и поставь здесь в уголку». Махом проявился в углу ушат браги, полнехонек и с краями ровнехонек, а посередине плавал гоголем красный ковшик. Опять Никита сказал своей матушке, что это купцы дали ему за добрую сторожу, и Улита Минеевна так обрадовалась, что всех купцов чухломских чуть заживо в угодники не причла. «А куда



же ты, мое дитяtko, девал свои новые рукавицы да гривну денег? — спросила она у Никиты. — Аль потерял да потратил?» — «Нет, государыня матушка, не потерял, не потратил, а в теплое местечко попрятал». Тут он опять выскочил в присенок и хватил бабкой о землю: «Чтобы, дескать, уродились мне рукавицы новые строченые да денег семь алтын с деньгой». Все это поспело как за ухом почесать. Рукавицы новые строченые, на них коймы золотые тисненные, сами наделись на руки, а семь алтын с деньгой, в цветной калите шелку шемаханского, висели у Вдовинича за поясом. Опять матушка его, вдова горемычная Улита Минеевна, диву дивовалась и дарами любовалась, да молила бога за своего сынка ненаглядного, который сам теперь стал ей кормильцем.

На другой день Улита Минеевна пошла звать старушонок-соседок да кумушек-голубушек попить даровыми пирогом да брагой; а они, дело домышленное, лакомы на то, что не на свой грош куплено: пили, ели, чуть не лопнули, а все еще пирога да браги осталось на добрую неделю.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наш Никита Вдовинич, черной бабкой о землю постукивая да того-другого, прочего попрашивая, как сыр в масле катался и рос не по дням, по часам. Прошло семь лет с походом, и он стал таким молодцом взрачным да рожим, что все на него заглядывались: лицо кругло и полно, что светел месяц, бело и румяно, что твое наливное яблочко, а сила у него проявилась такая, что с одного шелчка между рог быка убивал. Двор у него был как город, изба как терем, и в ней всякой рухляди да богатства, что и в три года не счесть. Матушка его Улита Минеевна в одну ночь охнула, воздохнула, да и ножки протянула, обкушавшись на именинах своего детища возлюбленного яств сахарных да опившись меду сладкого. И стал наш Никита Вдовинич сам себе старшим, сам себе хозяином, и вошел он в честь и славу великую, в те поры как Пошехонье поднялось войною на Чухлому. А той войне была такова вина: чухломский богатырь Куроцап Калинич напоил на молодецком разгулье пошехонского богатыря Анику Шибайловича сонным зельем да обрил ему половину головы, половину бороды и вытравил его заповедные луга своими конями богатырскими; вот и взорвало это пошехонцев, и вздумали они отсмеять насмешку чухломцам. Зашумела рать-сила несметная, началась битва кочережная, поднялась стрель-

ба веретенная, наступили на твердыни крепкие, на жернова мукомольные. И взмолились чухломцы всю громадой Никите Вдовиничу, чтобы вступился за своих земляков-однокашников. Никита Вдовинич все дело разом порешил: как выехал он на борзом коне в полстяном колпаке да крикнул-гаркнул молодецким голосом, богатырским покриком на сильных могучих пошехонских витязей, Анику Шибайловича да Шелапая Селифонтьевича: «Что вы, мелкие сошки, сюды носы показали? много ли вас и на одну руку мне? Куда вы годитесь? вас бы только спаровать да черту подаровать!» Аника Шибайлович да Шелапай Селифонтьевич прогневались на такие речи обидные и бросились с двух сторон на Никиту Вдовинича; только он был не промах: одного взял за ус, другого за бороду и подбросил их выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут пошехонцы оробели, дрогнули, побежали и давай прятаться: кто в гору, кто в нору, а иные, поджав хвосты, в часты кусты.

В те поры жила-была в Чухломе дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная; жила она в неге и в холе, в девичьем раздолье, пока батюшка ее не проторговался дочиста. Добрые молодцы по дням не едали и по ночам не сыпали, заглядевшись на ее очи соколиные, на ее уста кармазинные; красные девицы завидовали ее русой косе, девичьей красе да ее парчовым шубейкам и золотым повязкам; а старые старухи поговаривали, что она спесива, причудлива и своеобычлива,— в пологу спать не ляжет, в терему шить не сядет: в пологу-де спать душно, в терему шить скучно. Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная, заслал он свах к ее батюшке, и те свахи наговаривали столько добра о Никите Вдовиниче, а пуще о его житье-бытье и богатстве, что отец и мать Макриды Макарьевны, да и сама невеста, рады-радешеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не пиво варить, не меду сластить: все мигом уродилось; так веселым пирком да и за свадебку. Вдовинич задал пир на весь мир; а после стал жить да поживать со своею молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядною.

Скорая женитьба — видимый рок: наш Никита Вдовинич женился как на льду обломился. Солона пришлась ему жена, красавица ненаглядная; ни днем, ни ночью покоя не знай, все ей угождай. Уж ей ли не было неги и во всем потехи! да правда, что прихотливой и

сварливой бабе сам черт не брат. Никита Вдовинич, сказать не солгать, из рук не выпускал черной бабки; извелся совсем, швыряя ее о землю на женины прихоти. Все было не по Макриде Макарьевне: то дом тесен — ставь хоромы; то углы не красны — завесь их коврами узорчатыми; то посуда не любя — подавай золотую да серебряную; то наряды не к лицу — подавай парчи золотые да камки дорогие. А даровал им бог детище желанное, сына Иванушку, — так чтобы колыбель была диковинная, столбы точеные, на них маковки позолоченные. Ну не то, так другое; а бедному Вдовиничу не было ни льготы, ни покоя.

Так бился он с годом трижды три года; не раз заносил он черную бабку, чтобы стукнуть о землю да и сказать: «Бабка, бабка, черная лодыжка! унеси ты мою жenuшку в тартарары, во тьму кромешную, чертям на беду, сатане на мученье», да всякий раз у него руки опустились и язык прилипал: жаль ему было жены, красавицы ненаглядной, хотя она и мучила его с утра до вечера; а пуще жаль ему было детища желанного, сына Иванушки, чтоб он в сиротстве не натерпелся горя. Правду молвить, и сынок Иванушка пошел по батюшке да по бабушке: на дело не горазд, а все бы ему гули да гули, все бы ему рыскать по улицам да играть в бабки с соседними ребятами.

Вот под конец Никита Вдовинич совсем из сил выбился от причуд и свар жениных. Вышел он на широкий двор, ударил бабкой о сыру землю и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: чтоб у жены моей были полны ларцы золота и полны лари серебра; пусть ее тратит на что пожелает, только моего века не заедает. А мне чтоб было ровно на семь лет зелена вина да меду пьяного, запивать мое горе тяжкое!» — Сказано и сделано. Макрида Макарьевна почала без счету сыпать серебро и золото на свои затей женские; а Никита Вдовинич с утра до вечера у себя в светлице посиживал, да хмельное потягивал, и втянулся так, что у него лицо раздулось, как волюнка, глаза стали красны, как у вора, и от него несло сивухой, как от винной бочки. Ведомо и знаемо, что русский человек напивается от двух причин: на радости да с горя; а есть у нас добрые люди, у которых что день — то радость, что день — то горе; либо день при дне радость и горе с пере-

межкой. У Никиты же Вдовинича было все горе, да горе, да при горе горе. Ни о чем он не хлопотал, не заботился, на все смотрел, спустя рукава. И то сказать, у горького пьяницы одна заботушка: напиться да выспаться, а после опохмелиться, чтобы снова напиться.

Женушка его ненаглядная, Макрида Макарьевна, тою порою творила свою волю и не думала о своем сожителе, а так про себя смекала: «Пусть его с пьянства околеет; мне же руки развяжет». — Детищу его желанному, сынку Иванушке, исполнилось двенадцать годков и пошел тринадцатый; он по-прежнему не знал себе иного дела, кроме того чтоб воробьев поддирать да в бабки играть. И нашел он однажды в батюшкиной светлице под лавкой черную бабку, которую Никита Вдовинич спяна обронил, да и не спохватился: ведь пьяный свечи не поставит, а разве дюжину повалит. Иванушка рад был своей находке, побежал играть с соседними ребятишками и все, что на кону ни стояло, как рукою подгробал.

Спустя малое время проявился в Чухломе черненький мальчик. Он был черен, как жук, лукав, как паук, а сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Такого доки в бабки играть еще и не видывали: всех ребят дочиста обобрал. Вот и взяла Иванушку зависть: «Что-де за выскочка, что всех обыгрывает? Посмотрю, как-то он потянется против моей черной бабки!» И схватились они играть вдвоем, рука на руку. Черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, сперва проиграл Иванушке кона два-три; а после вынул красную бабку с золотой насечкой, так хорошо изукрашену, что, как свет стоит, такой бабки еще и во сне не видывали и слыхом о ней не слыхивали. Красная бабка как стекло лоснится, ярким цветом в глаза мечется, золотою насечкой как жар горит и всякого на себя поглядеть манит; а черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, Иванушку ею призаривает и такие речи заговаривает: «Ну-ка ты, Иванушка, буйная головушка, синяя шапка! посмотри, какова моя красная бабка? уж не твоей черной чета! Выиграй-ка ее у меня, так будешь молодец и на все удалец; а не выиграешь — будешь мерзлый баран, обгорелый чурбан. Лих тебе не видать ее, как ушей своих!» Иванушка озлился, чуть бобылю в черные кудри не вцепился и так на него забранился: «Ах ты, смоляная рожа, цыганское отродье, материн сын, отцов пасынок! Тебе ль со мной тягаться? я так тебя облуплю, что станут и куры смеяться». — «Ну, что будет, то будет, — молвил

вполсмеха черненький мальчик,—ставь черную бабку, а я поставлю свою красную, да и померяемся, кому первому быть». — «Изволь, коли тебе не жаль своей красной бабки!» — отвечал Иванушка. Только он не в пору расхвастался. Поставили бабки, черную да красную, стали меряться на палочке — верх остался за черненьким мальчиком. Чет-Нечет, бобыль безродный, прилачился, хватить — и снес обе бабки. «Моя!» — крикнул он таким голосом, что в ушах задребезжало, кинулся вперед, схватил черную — и мигом не стало ни его, ни черной, ни красной бабки. Иванушка с горя побрел домой; смотрит: отцовских хором как не бывало, а наместо их стоит лачужка, чуть углы держатся, и от ветра пошатывается. Матушка его Макрида Макарьевна сидит да плачет, голосом воет, жалобно причитает, уж не в золотой парче, не в дорогой камке, да просто-запросто в крестьянском сарафане; батушка лежит пьяный под лавкою в смуром кафтане. Оглянулся Иванушка на себя — и на нем лохмотья да лапти! Не знал он, не ведал, отчего такая злая доля приключилась? а вся беда неминуемая приключилась оттого, что он проиграл заветную черную бабку, а выиграл ее чертенка, который подослан был старшими чертями да проклятыми колдунами и сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Так-то от лукавого сатаны, да от сумбурщицы жены, да от сынка дурака, да от своего хмеля беспутного, беспросыпного Никита Вдович потерял все: и счастье, и богатство, и людской почет, да и сам кончил свой живот, ни дать ни взять, как его батюшка, в кабаке под лавкой. Макрида Макарьевна чуть сама на себя руки не наложила и с горя да с бедности исчахла да изныла; а сынок их Иванушка пошел по миру с котомкой за то, что в пору да вовремя не набрался ума-разума.

Вот вам сказка долгенька, а к ней присловье коротенько: избави боже от злой жены, нерассудливой и причудливой, от пьянства и буянства, от глупых детей и от демонских сетей. Всяк эту сказку читай, смекай да себе на ус мотай.



**В. И. Даль**

**СКАЗКА О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ И О ВОЕВОДСТВЕ  
И О ПРОЧЕМ; БЫЛА КОГДА-ТО БЫЛЬ,  
А НЫНЕ СКАЗКА БУДНИШНЯЯ**

*Карлу Христофоровичу Кнорре*

**П**робежал заяц косой, проказник замысловатый, по свежей пороше; напрыгался, налягался, крюк выкинул сажени в три, под кочкою улегся, снежком загребся, притаился, казалось бы его уж и на свете нет — а мальчишки-плутишки заутре на клюкву пошли и смеются, на след глядя, проказам его; экой увертливой, подумаешь, ведь не пойдет же прямым путем-дорогой, по-людски, виляет стороной, через пень, через тын, узоры хитрые лапками по снежку выводит, на корточки сядет, лягнет, притопнет; петлю закинет — экой куцый проказник! Ну, а как бы ему еще да лисий хвост? И долго смеялись зайцу, а заяц уж бог весть где! Слухом земля полнится, а причудами свет; это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди. Шемяка, судия и воевода, напроказил, нашалил и скрылся, как заяц наш, да след покинул рыси своей лебединой-лапчатой; а Русский народ, как известно всему свету, необразованный, непросвещенный, так и рад случаю придраться, голову почесать, бороду потрясти, зубы

поскалить, и подымает на смех бедного Шемяку-судию и поныне. Кто празднику рад, тот до свету пьян; у меня кума жила на Волге, Соломонида, бывало как вспоманет, что у свекрови на крестинах пономарь оскоромился, так и в слезы; а в Суздале, сват Демьян, и на тризне, да хохочет! Уговор лучше денег; кто в куму Соломониду удался, ни сказки, ни присказки моей слушать не садись; сказка моя о похождениях слезных, приключениях жалостных Стоухана Рогоухова и Бабарыки Подстегайловны лежит у меня под спудом; а присказка о косом и куцом зайце и сказка о суде Шемякином написана, к быту приурочена и поговорками с ярмонки Макарьевской разукрашена, для свата Демьяна с честными сотоварищи: всякому зерну своя борозда; на всех не угодишь; шапка с заломом, будь и бархатная, не на дворянскую голову шьется — а по мне да по свату куцое платье, французская булка на свет не родись! Нам подай зимою щи с пирогом, кашу; летом ботвинью, либо окрошку, тюрю, поставь квасу, да ржного хлебца ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть — а затем просим свата Демьяна не прогневаться, небылицами коренными Русскими потешиться, позабавиться: у нас с ним, как у людей, выше лба уши не растут!

Шемяка родился не воеводою, а мужиком. Не родись умен, не родись богат, а родись счастлив. Край его был бедный, народу смыслящего мало, письменного не много, а Шемяка у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздник, по приметам, отличать от буден, ходил в тонком кафтане — а как на безрыбьи и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его и посадил в старосты. Шемяка мужик смирной: когда спит, так без палки проходи смело; и честный, заговорит, так что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языке; а что скажет, то и свято, где рука, там и голова; лихоимства не знал, бывало Федосей, покойник, царство ему небесное, вечная память, смышлен и хитер на выдумки, на догадки, тороватей Немца инога — ему пальца в рот не клади! Бывало и комар носу не подточит; да любил покойник, нечего греха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнет по голове молотом, не отзовется золотом? Да и сам только тем прав бывал, что за него праведные деньги молились. Шемяка наш прост, хоть кол на голове теши, да добр и богобоязлив; так мужики и надеялись нажить от него добра, да и ос-

коромились. Не то беда, что растет лебеда, а то беды, как нет и лебеды!

Приходит к старосте Шемяке баба просить на парня, что горшки побил. Парню, лежа на полатах, соскучилось; поймал он клячу, а как он был не из самых ловких и проворных, так не умел и сесть, покуда кума его не подсадила. Клячонка начала его бить, понесла, а на беду тут у соседки на частоколе горшки сушатся — понесла, да мимо горшков; он как пошел их лбом щелкать, все пересчитал, сколько ни было!

Судья Шемяка подумал, да и рассудил: чтобы кума заплатила протори, убытки и горшки соседки, за то, что парня криво на клячу посадила. «Где суд, там и расправа; мы проволоочки не любим! Деньги на стол, кума, да и ступай домой!»

«Чтобы тебе быть дровосеком, да топорщица в глаза не видать, за такой суд,— подумал сват Демьян,— убил бобра! Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет!»

Теперь подошла другая баба с просьбою. К ней в огород и во двор и в сени повадился ходить соседский петух; а поваженой, что наряженой, отбою нет; и такой он забияка, что бьет без пощады ее петуха и отгоняет от куриц; а соседка приберечь и устеречь его не хочет. Тот судья Шемяка приказал поймать ей своего петуха и принести, и повелел писцу своему очинить ему нос гораздо потонее и поострее, наподобие писчего пера, дабы он мог удобнее побивать петуха соседнего. Но он скоро, и не дождавшись победы своей, исчах и умер голодною смертию. Что ж делать; на грех мастера нет; и на старуху бывает проруха; конь о четырех ногах, да спотыкается, а у нашего петуха, покойника, только две и были!

Теперь еще пришла баба просить на мужика. «Как квочки раскудахтались,— сказал Шемяка,— визжать дело бабье!» Ехали они вместе, баба с мужиком, на рынок; мужик стал про себя рассуждать: «Продам я курицу, продам яйца, да куплю горшок молока». — «А я,— промолвила баба сдуру,— я хлеба накрошу». Тогда мужик, не медля ни мало, ударил ее в щеку и вышиб у нее два зуба, а когда она спросила, зарывдав: «За что?» Так он отвечал ей: «*Не квась молока*». Мужик с бабой пришли к Шемяке и просили друг на друга; мужик, не запираясь ни в чем, принес два зуба, которые у нее вышиб, в руках.



«Квасить молоко чужое не годится,— сказал Шемяка просительнице,— на чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай! Но и ты не прав, земляк: вина одна; с чужим добром не носись, на утварь ближнего не посягай. Отдай бабе сей же час оба зуба сполна, да и ступайте, господь с вами! Тут и без вас тесно, и на брюхе пресно: сегодня еще ни крохи, ни капли в глотку не попадало, а хлопот полон рот — в голове, как толчея ходит; бьешься, бьешься, как слепой козел об ясли! Либо одуреешь с этим народом, прости господи, либо с ума сойдешь, либо, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!»

За такие и иные подобные, хитрые увертки и проделки нашего судии правдивого, старосты Шемяки, посадили его на воеводство, и стали уже отныне честить-величать по батюшке: Шемякою Антоновичем. Полюбится сатана лучше ясного сокола; вечер Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал! Коси малину, руби смородину! Жил прежде, так стал поживать ныне; готовый стол, готовый дом, а челобитчиков, просителей, на крыльце широко, что локтем не протолкаешься! Шемяка возмечтал о себе и стал, как овсяная каша, сам себя хвалить и воспевать: «Я-де старого лесу кочерга, меня не проведешь, и на кривых оглоблях не объедешь; у меня чем аукнешь, тем и откликнется; судить и рядить я и сам собаку съел; я и малого греха, и малой неправды не потерплю ни в ком; от малой искры да Москва загорелась; вола и резник обухом бьет, убей муху! А у меня, кто виноват, тот виноват, хоть себе невидимка, хоть семи пядей во лбу будь!»

А как бы сват мой Демьян его подслушал, так и подумал бы про себя: «Ври на обед, да оставляй и на ужин! Ох-ты, гой еси, добрый молодец, судия правдивый, Шемяка Антонович, сын отца своего родного-кровного Антона Поликарповича! Ни ухо ты, ни рыло, ни с рожи, ни с кожи, а судишь так, что ни мыто, ни катано, ни брито, ни стрижено; у тебя ум за разум заходит, знать, чересчур перемудрил; а где тонко, там того и гляди порвется! И сатана в славе, да не за добрые дела; а иная слава хуже поношения. Ты богослов, да не однослов; мягко стелешь, да жестко спать; скажешь вдоль, а делаешь поперек; запряжен и прямо, да поедешь криво!»

Все это подумал бы он про себя, а сказать не скажет ни слова. Кто Шемяку посадил в воеводы, тот и отвечает. Солдат солдата под бок толкает: «Земляк? куда мы

идем, гляди-тка, тут головы не вынесешь без свища!» — «Про то знает тот, кто посылает,— проворчал старый служивый,— не ты за свою голову отвечаешь; а ты знай иди, да с ноги не сбивайся!» Так и я; не наше дело, попово, не нашего попа, чужого. Моя изба с краю, я ничего не знаю!

Пришел мещанин к воеводе Шемяке Антоновичу просить на соседа. Сосед у него был убогий, по имени Харитон, отставной целовальник. Он бы поехал и на топорище по дрова, да чай не довезет и до угла; так он и пришел просить у зажиточного хозяина кобылу. «У меня,— говорит,— и дровни стоят наготове, и кнутишко припасен, и топор за поясом, так за малым дело стало: лошаденки нет! Не откажи, батюшка!»

Так и кума моя, Соломонида, что на Волге жила, не тем будь помянута, бывало о масляной пошлет внучку к золовке: «Приказала-де бабушка кланяться, собираются блины печь, так уж наставила водицы, натолкала и соли, припасла и сковородник, а велела спросить: сковороды нет ли, мучицы гречневой, молока да маслица!»

Ссудил сосед Харитона, отставного целовальника, кобылой, пришел тот к нему и за хомутом; а как хомута лишнего у этого не случилось, так он ему и не дал. Тогда убогой Харитон наш не призадумался: он привязал кобылу просто к дровням за хвост и поехал по дрова: когда же, навалив воз большой, возвращался из лесу домой, так был под хмельком; он ворота отпер, подворотню выставить позабыл, а сам кобылу стегнул плетью. Она бросилась через подворотню и вырвала себе хвост весь, а дровни остались за воротами. Харитон приводит кобылу без хвоста, а хозяин, не приняв ее, пришел на него просить.

Воевода Шемяка повелел кобылу ту привести и освидетельствовать, действительно ли она без хвоста! А как сие оказалось справедливым, и присяжные ярыги и думные грамотен в очках хвоста искали, искали и не нашли, тогда воевода Шемяка суд учинил и расправу и решение такое:

«Как оный убогий мужик, Харитон, отставной целовальник, взял кобылу с хвостом, то и повинен возратить таковую ж; потому и взять ему оную к себе, и держать, доколе у нее не вырастет хвост».

«Ну, вот и с плеч долой,— сказал Шемяка про себя,— сделаешь дело, и на душе-то легче! Премудрость быть воеводой! Ведь не боги же и горшки обжигают!»

Удалось смелому присесть нагишом да ежа раздавить подумал сват Демьян,— первый блин да комом! Хоть за то спасибо, что не призадумается; отзвонил, да и с колокольни! Чуть ли наш воевода не с Литвы; а туда, говорят, на всю шляхту один комар мозгу принес, да и тот никак девки порасхватали, а на нашего брата не досталось, что шилом патоки захватить! Нашему воеводе хоть зубы дергай; человек другому услужил, а сам виноват остался; бьют и Фому за Еремину вину! Ни думено, ни гадано, накликал на свою шею беду — не стучи, громом убьет! Кабы знал да ведал, где упасть, так бы соломы подостлал — не давать бы кобылы, не ходить бы просить. Мое дело сторона; а я бы воеводе Шемяке сказал сказку, как слон-воевода разрешил волкам взять с овец по шкурке с сестры, а больше не велел им трогать ни волоском! Такой колокол по мне хоть разбей об угол! Поглядим, что дальше будет.

Приходит еще проситель, по делу уголовному. Сын вез отца, больного и слепого, на салазках в баню и спустился с ним, подле мосту, на лед. Тогда тот же Харитон, отставной целовальник, у которого и было ремесло, да хмелем поросло, шел пьяный через мост, упал с мосту и убил до смерти больного старца, которого сын вез на салазках в баню. Харитон, подпав суду по делу уголовному, немного струсил; а когда его позвал Шемяка-судия, то он, став позади просителя, показывал судии тяжелую, тугонабитую кожаную кису, будто бы сулит ему великое множество денег. Шемяка Антонович, судия и воевода, приказал и суд учинить изволил такой: чтобы Харитону-целовальнику стать под мостом, а вышереченному сыну убиенного прыгать на него с мосту, и убить его до смерти. Долг платежом красен. Покойнику же отдать последнюю честь и пристроить его к месту, т. е. отвести ему земли косую сажень, выкопать землянку, снять с него мерку да сшить на него деревянный тулуп, и дать знак отличия, крест во весь рост.

Сват мой Демьян, услышав все это, замолчал, как воды в рот набрал, и рукой махнул. «Теперь,— говорит,— дело в шапке, и концы в воду; хоть святых вон понеси! До поры, до времени, был Шемяка и прост, да лихоимства не знал; а в знать и силу попал, так и пустился во всякие художества; по бороде да по словам Авраам, а по делам — Хам; из речей своих, как кройщик модный, шьет, кроит, да выгадывает, по заказу, по деньгам, по людям, по лицу — что дальше, то лучше; счастливый путь!»

Наконец приходит еще челобитчик. Тот же пьяный дурак Харитон выпросился к мужику в избу погреться. Мужик его пустил, накормил, на полати спать положил. Харитон оборвался с полатей, упал в люльку и убил ребенка до смерти. Отец привел Харитона к судии, и будучи крайне огорчен потерю дитяти своего, просил учинить суд и правду. Береза не угроза, где стоит, там и шумит! Харитон-целовальник знал уже дорогу к правосудию: сухая ложка рот дерет, а за свой грош везде хорош. Он опять показал Шемяке, из-за челобитчика, туго набитую кожаную мошну, и дело пошло на лад.

Ах ты, окаянный Шемяка Антонович! Судия и воевода и блюститель правды Русской, типун тебе на язык! Лукавый сам не соберется рассудить беспристрастнее и замысловатее твоего, а кто хочет знать да ведать последний приговор судии Шемяки, конец и делу венец, тот купи за три гривны повествование о суде Шемякином, с изящными изображениями, не то Суздальского, не то Владимирского художника, начинающееся словами: *«В некоторых Палестинах два мужа живяше»*,— и читай; у меня и язык не повернется пересказывать; а я, по просьбе свата, замечу только мимоходом; что изображение суда Шемякина, церемониала шествия мышей, погребавших kota, и сим подобные, неосновательно называются обыкновенно лубочными: это, говорит Демьян, показывает невежество и унизительно для Суздальцев; изображения сии искусно вырезаются на ольховых досках, а не на мягком и волокнистом лубке. Но сват меня заговорил, и я отбрел от кола; начал, так надобно кончить. Кто в кони пошел, тот и воду вози; не дочитав сказки, не кидай указки!

Итак, по благополучном решении и окончании трех уголовных дел сих Шемяка послал поверенного своего требовать от Харитона платы, которую он ему во время суда сулил и показывал в кисе кожаной. А Харитон целовальник отвечал: «Это не киса у меня, а праш; лежали в ней не рубли, а камни; а если бы судия Шемяка меня осудил, так я бы ему лоб раскроил!» Тогда Шемяка Антонович, судия и воевода, перекрестясь, сказал: «Слава богу, что я не его осудил; дурак стреляет, бог пули носит; он бы камень бросил и, чего доброго, зашиб бы меня!» Потом, рассудив, что ему пора отдохнуть и успокоиться после тяжких трудов и хлопот, на службе понесенных, расстроивших здоровье его, так что у него и под-

линно уже ногти распухли, на зубах мозоли сели, и вода мѣль съела,— поехал, для поправления здоровья своего, на службе утраченного, за море, на теплые воды.

А Харитон, целовальник отставной, как пошел к челобитчикам требовать по судейскому приговору исполнения, так и взял, на мировую, отвяжись-де только, с одного козу дойную, с другого муки четверти две, а с третьего, никак, тулуп овчинный, да корову — всякого жита по лопате, да и домой; а с миру по нитке, голому рубаха, со всех по крохи, голодному пироги! Всяк своим умом живет, говорит Харитон; старайся всяк про себя, а господь за всех; хлеб за брюхом не ходит; не ударишь в дудку, не полетит и перепел; а зимой без шубы не стыдно, а холодно, а в шубе без хлеба и тепло, да голодно!

Вот вам и всем сестрам по серьгам, и всякому старцу по ставцу! Шемяка родил, жену удивил; хоть рыло в крови, да наша взяла; господь милостлив, царь не всевидящ — бумага терпит, перо пишет, а напишешь пером, не вырубишь топором! Нашего воеводу голыми руками не достанешь; ему бы только рыло свиное, так у него бы и сморчок под землей не схоронился!

Что ж сказать нам про Шемяку Антоновича, как его чествовать, чем его потчивать? Послушаем еще раз на прощанье свата Демьяна, да и пойдем. Он говорит:

«Удалось нашему теляти да волка поймати! Простота хуже воровства, в дураке и царь не волен; по мне уж лучше пей, да дело разумей: а кто начнет за здравие, а сведет на упокой, кто и плут и глуп, тот — на ведьму юбка, на сатану — тулуп!»

Кланяйся, сват Демьян, куме Соломониде, расскажи ей был нашу о суде Шемякином, так она тебе, горе мыкаючи, вволю наплачется, скажет:

«Ныне на свете, батюшка, все так; беда на беде, бедой погоняет, беду родит, бедою сгубит, бедой поминает! За грехи тяжкие господь нас карает; ныне малой хлеб ест, а крестного знаменья сотворити не знает, а большой правою крестится, а левою в чужие карманы запускает! А мы с тобой, сват, соловья баснями не кормят, где сошлись, там и пир; новорожденным на радость, усопшим на мир — поедим, попьем, да и домой пойдем!»

## СКАЗКА О ВОРЕ И БУРОЙ КОРОВЕ

— Гни сказку готовую, да дугу черемховую! Пей-ка, копейка; пятак, постой-ка, будет и на твою долю попой-ка! Гужи сыромятные, тяжи моржовые, шлея наборная, кобыла задорная—пойдет рысить через пни, через кочки, только держись, супонь да мочки! Эх вы, любки-голубки, хвосты-песты, головы-ступки, что ноги ходки, хвосты долги, уши коротки, аль вы забыли, как прежде любили? Эх, с горки на горку, даст барин на водку—даст ли, не даст ли, а дома будем, дома будем, гостей не забудем! Эх, маленькие, разудаленькие, ударю! Гни сказку готовую, что дугу черемховую!

— Погоди, Демьян, либо ты с похмелья, либо я пьян; а этак гнать, добру не бывать: держи ты тройку на вожжах, правь толком да сказку сказывай тихомолком; а то с тобой чтоб беды не нажить, чтобы сказкой твоей кого не зацепить; ты сказкой о воре и бурой корове кому-нибудь напорешь и глаз, не только брови! А ты кричи: поди, поди, берегися! Едет сказка тройкой, сторонися! Сказка моя в доброго парня не метит, а ледащего не жаль, хоть и зацепит.

— Жил-был под Нижним, под городом, мужик, а с ним и баба, а с нею и дети — семеро никак — шестеро постарше, а один помоложе всех. Поколе мужик тот был в поре, так за всякую работу брался. «Я,— говорил он,— слава богу, человек крещеный, так у меня руки от работы не отвалятся!» А как состарился, так уже и не под силу стало; коли лапотки сплетет, лучины под светец надерет, так и на том спасибо. Было время, что он детей кормил, а ныне — дети его и кормят и поят; круговая порука! Старик детей своих шестерых наставил и научил добру, и вышли они парни работающие — а на седьмом, на Ваньке, оборвалось; не в прок пошло отцовское ученье; отбился, отшатнулся и пошел своим проселком,— не доймешь его ни калиной, ни хворостиной! У него, чуть где плохо лежит, то и брюхо болит; что ни взглянет, то и стянет! А сам увалень, лежебок такой, что опричь разве за поживой, не шелохнется ни рукой, ни ногой. Как, бывало, в воскресный денек, утром ранним — ранешенько, поколе народ у заутрени, с легкой руки протянет пятак да сволочит у соседа кушак, либо нож, либо, буде рука не дрогнет, колесо с телеги,— так и пошел на всю неделю, отколе что берется! Ванька с малых лет приучал себя к этому ремеслу — без выучки нет и ма-

стера, а без умения и пальца не согнешь. Он хлеба еще не умел спросить у матери, а сам уже тихомолком руками за ломоть хватался. Бывало, мать поставит удой молока на семерых, да ребятишек обсажает на полу вокруг, а он один в две руки да в две ложки уписывает — ни одной ложки мимо рыла не пронесет; бывало, отец привезет из Нижнего на всех ребятишек по маковнику, а он сестрам и братьям песком глаза запорошит, да и поест все один. Бывало, положит сам свои рукавицы на полати, заползет с печи, да и приноравливается, как бы поладнее их стащить, чтобы и самому не увидеть; бывало, сам у себя портишки унесет да и схоронит, и ходит как мать на свет родила. А когда только стал он своим языком лепетать, слова выговаривать, так первое слово сказал, для почину, поговорку: лупи яичко — сказывай, а облупишь — не показывай; первую песню запел про русского про Картуша, Ваньку Каина; первую сказку сказал про Стеньку Разина. «Эй, быть бычку на веревочке!» — говаривали ему добрые люди; наш Ванька не слушает и ухом не ведет. Стал ему старший брат говорить: «Ванька, коли ты у меня еще что украдешь, так ткну я тебя в рыло ногой, будешь ты семь недель без одной лететь торчмя головой!»

Ванька себе на уме. Поется старая песня: «Не бывать плешивому кудрявым, не отростить дерева суховерхого, не откормить коня сухотарого, не отвадить вора от куска краденого». И Ванька все проказит по-прежнему. Тогда уже сказал ему отец: «Послушай, Ванька, ты теперь не мал и не глуп; скажу я тебе притчу: у моего у сударя у батюшки, а у твоего у дедушки, была собачища старая, насилу она по подстолю таскалася, — и костью краденою та собака подавилася; взял дед твой ее за хвост, да и под гору махнул — и была она такова! Будет то же и тебе от меня! Ступай ты лучше, до греха, с моего с честного двора; вот тебе образ, а вот тебе двери; дай бог свидеться нам на том свете, а на этом не хочу я тебя и знать, не хочу я хлеба-соли с тобой водить; не хочу я с тобою в баню ходить; где со мной столкнешься, ты мне не кланяйся, шапки передо мной не лмай: я тебя не знаю, и ты меня не знай, я тебя не замай, ты меня не замай!»

Гни сказку готовую, что дугу черемховую! Эх, по всем, по трем, коренной не тронь, а кроме коренной и нет ни одной! Кто везет, того и погоняют, у меня коренная за всех отвечает; мой рысак под дугою рысит — не ча-

стит, пристяжные выносят, жару просят... Ой, жару, жару, нагоняю я на свою пару — ударю, ударю!.. Гни сказку готовую, что дугу черемховую!

— Эй, Демьян, не нажить бы беды, ты, знай, гонишь, что в маслину по блины — ныне Русской езды барич не любит, а всяк дома втихомолку трубит; по своей езде ты ищи простора, чтобы не зацепить, невзначай, кроме Ваньки и другого вора!

Ванька ухватил шапку, рукавицы, зацепил мимоходом залишний утиральник узорчатый, что висел на стене подле осколышка зеркала, сманил со двора отцовскую собаку, да и пошел. В эту пору шла на их село конница на пегих конях — трубачи, обступивши лоток, торговали у бабы сайки; один, видно, не сошелся в цене, так, заговоривши тетку, нагнулся с коня, протянул пять рублей костяных, да и стянул валенец. У всякого свой обычай: казак на всем скаку с земли хватает, а драгун с лотка. «Прямой музыкант,— подумал Ванька про себя, поглядев на трубача,— что только завидит глазами, то и берет пальцами да руками! Чуть ли этот не придется мне родня: и я на костяной раздвижной трубке мастер играть!»

— Что ты, продувной парнишка, рот разинул, глядишь, нечто не видал еще, как пять свах натошах засылают по невесту голодному жениху! Ты, видно, не женат еще?

— Холост,— отвечал Ванька.

— Так ты по-нашему,— продолжал трубач, чтобы заговорить опасного свидетеля и выиграть время,— люди женятся, а у нас с тобой глаза во лбу светятся! Что же ты не ищешь себе невесты? Девочек у вас много, да и все славные, и сам ты молодец!

— Хотел было бачка оженить, чтоб жена берегла да приглядывала, да я не хочу,— сказал Ванька.

— А для чего же ты не хочешь? Ведь и бачка твой был женат, чай, аль нет? — спросил трубач.

— Да ведь бачка-то женился на мачке,— отвечал Ванька,— а за меня отдают чужую!

Трубач рассмеялся на дурака, на Ваньку, да и хотел было ехать, но тот не промах.

— Погоди,— говорил,— режь да ешь, ломай, да и нам давай! Отдай-ка мне полваленца, а не то скажу.

— Не сказывай,— отвечал трубач,— я за это научу тебя своему ремеслу, пойдем вместе. Первая вещь, берегись пуще всего, чтоб не проходило красного утра без



почику, а то весь день пропадет даром. За большим не гоняйся, Ванька: хозяйскую печь под полою не унесешь, а ты достань из нее лепешку, так и того с тебя будет; ныне рыба дорога,— хлебай уху, а малая рыбка и подавно лучше большого таракана. Вот ведь и мы тоже все с крохи на кроху мелкотою перебиваемся, да, благодаря бога, сыты; если ж станешь за крупным добром гоняться, так кнутофея амальгамовича не минуешь.

После таких добрых наставлений и поучений развязался трубач с Ванькою и пристал снова к товарищам. «Насилу сбыл шелудивого,— подумал он про себя,— поделюсь я с ним сайкою, держи карман! Много вас вислоухих ходит! Молод больно; господь мне послал, так я и съем, а ты губы свои оближешь, коли не прогневаешься!»

Сам — хватъ за пазуху, ан валенца и нет! Ай-да Ванька! Вот ухорез! У вора коренного из-за пазухи сайку унес, с ним же рядом идучи, ее не жевавши съел, да и пошел запить к кваснику, что вышел конницу на пегих конях встречать.

— Ну, счастье твое, дуй те горой,— сказал трубач,— что я тебя не поймал, я бы сделал из тебя мутовку, не то заставил бы носом хрен копать!

— Что за счастье,— проворчал Ванька,— счастьем на скрипке не заиграешь, а всякое дело мастера боится.

— На копейку, что ли? — спросил квасник, выхватив стакан из-за пазухи.

— Пить так пить,— отвечал Ванька, подумав немного,— наливай на грош!

Квасник налил, Ванька выпил, стянул у него же пятак, отдал за квас, да еще три копейки сдачи взял!

Гни сказку готовую, что дугу черемховую!

«Смотри, Демьян, не нажать бы беды, тройка наша храпит, того и гляди — понесет!» — «Понесет? — спросил Демьян,— а плеть на что?» — «Да разве ты плетью держать станешь?» — «Острастку задам плетью, так и вожжей слушать станут». — «Ой, Демьян, кобыла под гору побьет». — «Нет, разве я ее побью, так это скорей станется», — отвечал опять сват; а сам стегнет вправо, стегнет влево — рысак пошел через пни, через кочки, только держись, супонь да мочки!

Пристяжные в кольцо свиваются, из постромок порываются, глаза, словно у зверя, наливаются. Уснули, вздремнули, губы надули, я разбужу, подниму на ходу-

ли! Валяй, не страшно, будет на брашно — ой, ударю! Гни сказку готовую, что дугу черемховую!

Таковыми и иными, той же масти, проказами ремесла или художества своего прославился Ванька наш до того, что деда наши сложили про него сказку: *О воре и бурой корове*. Сказка эта вырезана в лицах, на лубке, не то на дереве, расписана широкою кистью медянкой, вохрой и киноварью либо суриком; она продается в матушке Москве белокаменной, на Никольской улице, в книжной лавке Василия Васильевича Логинова, и начинается стихами: «Злоумышленный вор некий был, во многие грады для кражи ходил, и уже шельмован был неоднократно, и то ему было невнятно!» В этой сказке в лицах, о воре и бурой корове, наш Ванька играет лицо не бурой коровы, а вора. «Многие,— так продолжает сказочник,— ремесло его знали и ничего у него не покупали; Ванька об этом не плакал, не тужил, а чистые денежки удил да ловил. Но он таки не спускал, где трафилось, и товаром, у него дня не проходило даром. Случалось ему однажды через деревню идти и к крестьянину по пути ночевать зайти. У мужика была бурая корова, не дойная, так тельная, статна и здорова. «Корова моя,— подумал Ванька,— все дело в том, чтобы ее увести, да себе хлопот не навести». Утро вечера мудренее, а у Ваньки на почине и пальцы подлиннее. Лег он, задремал, на заре встал, корову со двора согнал и под дорогой в орешнике привязал; а сам на рассвете воротился, будто за добрым чем проходил, и лег, где лежал, словно ни в чем не бывал. По утру хозяин его разбудил да тюри ему накрошил; Ванька за хлеб, за соль его благодарил, а хозяин, собираясь в город, его спросил: «А куда тебе, сват, идти! Пойдем вместе, коли по пути!» Ванька сказал, что идет в ближайший град, а крестьянин тому и рад; надломили хлеба, богу помолились и вместе в путь-дорогу пустились. А Ваньке не хочется покинуть коровы, ну как пойти и прийти без обновы? У него, про случай, давным-давно с три короба затей припасено. Говорит мужику: «Ты, сват, меня здесь маленько обожди, не то я и нагоню, пожалуй себе, иди, а я по дороге у человека побываю, не засижусь, не бось, только должника попрошаю — давно, признаться, он мне продолжился; хоть и скоро отдать раз десять побожился; хоть уж и не деньгами с него взять, а чем-нибудь, только бы захотел отдать. Правду же, сват, люди говорят: «Не дать в долг остуда на время, а дать — ссора навеки!» А мужик при-

дакнул, говорит: «Иди, да скорей назад приходи; а я сниму лапоть с ноги, да погляжу, не то соломкой переложу — не память бы ноги, беда бедой, как придешь в уездный город хромой!»

Ванька пошел, корову отвязал, и ведет, как свое добро, будто за долг ее взял. Мужичок наш на нее глядел, глядел и таки, наконец, не утерпел, говорит: «Ну, воля твоя, а это, волос в волос, буренушка моя!»

А Ванька плут ему отвечает: «Неужто похожа? бывает, сват, бывает; чай, твоя — кости, мясо да кожа, да и моя тоже; напрасно сходство тебя в сомнение вводит; ты знаешь, и человек в человека приходит; корову эту я у мужика за долг взял — и то насилу его застал; ходишь, ходишь, постолы обобьешь, да с тем же опять и отойдешь! Ой, сват, послушайся ты моего слова просто-го, а стóит оно, ей-ей, дорогого: не дашь в долг — остуди на время, дашь в долг — ссора навеки!» — «Что клеишь — говоришь и красно ты баешь, да коровы твоей от моей не распознаешь! А станешь ее дома держать, аль, может, поведешь куда продавать?»

Ванька, увидев, что мужик крепко чего-то добивался, да и струсив, чтоб в городе кто не придрался, и вспомнив, что его там всякий уж знал, и потому ничего у него не покупал, сказал: «Хотел бы продать, теперь денег мне нужно, время тяжелое, да только крепко недосужно; кабы ты, землячок, ее по рынку поводил, я бы тебя после благодарил, поставил бы тебе вина полкварти, назвал бы братом да обыграл бы в карты!» Мужик говорит: «Пожалуй, я продам, а выручку, не бось, сполна отдам».

Ванька отделаться по добру рад, думает: «Господь с тобой, возьми корову свою назад; а я встану, благословясь, пораньше да шагну куда-нибудь подальше, так тут ли, там ли, на поживу набреду, где-нибудь не только корову, и бычка уведу!» Глядит, а крестьянин уж воротился, за свое добро да ему же поклонился; продал сам свою бурую корову, а денежки принес Ваньке на обнову. Ванька ему полкварти поставил, а себе сапоги да три рубахи справил, Мужичок наш пьет, попивает, а что коровушка его икнула\*, того и не знает! Наконец, он домой на село приходит, на двор поспешает, а хозяйка с детками его встречает, говорит: «Ох, у нас дома крепко нездорово, пропала со двора наша бурая корова!»

---

\* Иок по-татарски: «нет». (Прим. В. И. Даля.)

А детки ревут в два кулака, кричат: «Тятя, хотим хлебать молока!» Тогда мужик наш заикнулся, запнулся, слово вымолвить не очнулся; сам шапку с головы снимает, из головы хмель вытряхает, умом раскидывает, гадает: «Ох, детки, детки, и я с вами пропал! я своей буренушки и сам не узнал! была в руках, да меж пальцев проскочила — беда-бедовая по ком не ходила! ах, куда мне, детушки, вас девать, у кого теперь станем молока хлебать!» А жена ему стала говорить: «Как ни плакать, ни тужить, а гореваньем другой коровы не нажить, а тебя, старого дурня, вместо коровы не подоить!»

Стой же, сват, стой, заморим мы свою тройку; едем мы с тобой не с близка, а сдалеку, сказка кончена, вино кизильное подле боку, — станем да переведем дух, выпьем с тобой, рука на руку, сам-друг!

### СКАЗКА О НУЖДЕ, О СЧАСТИИ И О ПРАВДЕ

Гой, нужда-свет, барыня горемычная! Ты ль с босой ноги на босу ногу переступаешь, кулаки студёные продуваешь, щец горячих и прихлебнула бы, да ложки и ложки нетути; а поколе ложкою скудельною Христа-ради где разживешься, так и щи давным-давно простыли, и собаки их вылакали и горшки вылизали! Аль ты карга-птица совобокая, от нужи и туги седина пробивается, лысины нет, да и кудрей не видать; на лаптях снежок, а в зобу песок? Чего, кумушка-вещунья, пригорюнилась? Не то чарой зеленá вина кто обнес тебя, не то свет-сосед мимо шел да не кланяется? Аль ты, нужда, зверь-чудище, о семи ногах, что беда над ним прилучилась, да заместо хвоста у него хобот вырос, а заместо хобота хвост крючком? Аль зайчиком мохноногим по зарям прыскаешь, тушканчиком, табарганом под землей живешь, не то белугою сорокапудовою, словно Белевская купчиха, с боку на бок переваливаешься? Тяжело-то оно, тяжело, да крикнуть нельзя: водою глотку так и заливает тебе! Ой! нужда, нужда! кто про нужду на веку своем не слыхивал, кто над буйной головой своей ее не видывал? И тут-то она, и там она; и повсюду ее поминают, и всему она причина, и всем она виновата, а самоё ни тут, ни там ее не увидаешь; либо невидимкой по белу свету носится, не то затворницей где в ските сидит; ведь неда-

ром же говорится, что нужда и по воскресным дням по-  
стится, что нужда научит и калачи печь, и богу молить-  
ся; уж не она ль разве Чурилья-игуменья, про которую  
поется:

Как бы русая лиса голову клонила,  
Чурилья-игуменья к заутрени ходила —  
Будто гáлицы летят, за ней стáрицы идут,  
Стáрицы, черницы, дúши красные девицы!

Уж не она ль, нужда, в стужу и вьюгу зимнюю воро-  
бушкой сереньким под стреху забивается да сидит там  
нахохлившись? да нет, зачем про нужду поют:

Нужда скачет, нужда пляшет,  
Нужда песенки поет?

Стало быть, она барыня веселая, а, может статья,  
и пригожая, а еще чего доброго — и ласковая, сговорли-  
вая? Ведь говорят же: нужда последнюю копейку реб-  
ром катит; стало быть, она и тороватая хозяйка и про-  
казница; нужда свой закон пишет, — стало быть, и силь-  
на и могуча; нужда смекает, нужду не проведешь; нуж-  
да из лычка кроит ремешок — так она же и досужая  
художница, коли не чернокнижница, а спроста из рого-  
жи — сыромятной кожи не сделаешь; нужда ум родит,  
нужда из-под Сызрани да в Москву пеши ходила; нуж-  
да красно баит; нужда чутьем слышит, нужда и плачет  
припеваючи; нужда комель грызет; нужда горбится, ну-  
жда и прямится...

— Да что же это за проказница? какая такая нужда  
на свете живет? — так спросил богатый молодой барич  
любимого стремянного своего, который, как барину его  
было известно, знал все, а стало быть, и это.

— Что такое нужда?

— Нужда, сударь, птица \*.

— Да какая ж она птица, Игнашка? где она прожи-  
вает, где водится? Отчего же я ее не видал?

— Она, сударь, не скворец, по барским дворам не во-  
дится. Она от больших господ, от бояр, до поры до вре-  
мени бегаёт; а случается грех, что навяжется, так спаси-  
бо не скажешь ей. Лучше и не спрашивайте, сударь, про

---

\* В народе у нас филина называют нуждой-птицей. (Прим.  
В. И. Даля.)

нее; в ней пути мало. Она-то случаем выводит нашего брата год со днем босого да нагого; она и медведя Смургонского тебе кланяться заставляет; она первая по свету проказница; она ж по ночам у мужиков утят таскает, беду накликает; а от красного солнышка она хоронится.

Барич привязался к стремянному своему, к Игнашке:

— Покажи да покажи нужду; хочю видеть ее; не страшай, а покажи; найди, где хочешь, веди меня, куда знаешь, а покажи!

— Коли где случится мне увидеть ее,— отвечал Игнашка,— так покажу; а теперь, барин, взять ее негде. Она дается не всегда и не всякому, хоть и не больно часто за нею гоняются.

И случись однажды, как ехал барин с Игнашкою, на охоту ли, с охоты ли — а другой езды баричу нашему не было,— сидит в лесу на дереве нужда-птица, филин. Припекло ему солнце очи, а слететь не знает, куда, не видит; сидит да отщелкивается от стаи птах и пичуг, которые шьют и снуют вокруг да около, с криком, с шумом, с плачем.

— Вот нужда сидит, барин,— сказал Игнашка,— возьмите ее!

Барич пошел было, да Игнашка приостановил его:

— Постойте, сударь, эдак она не дастся, улетит; мерлушечью шапку съмите, да бекешку-то скиньте, чтобы птица не пугалась, да и легче будет вам взлезать; да разуйтесь, чтобы не слышать ей было поступи, так тогда дастся она, поймаете.

Жил-был где-то на барском дворе козел-дармод; сена вволю, а службы и работы нет ему никакой; разве только, по своей охоте, проводит лошадей на водопой да с водопоя; и то еще ину пору не пойдет,—не досужно-де. «А отчего не досужно? какая работа одолела?» — «Да вот, товарищ все пристаёт, лоб подставляет, все просит пободаться». Ну чего бы ему еще, кажись! — так нет, соскучилось ему; с жиру и собака бесится; пошел он с ребяташками с горки кататься, по льду скользит, да и выломил ногу. Так и барич наш: нечего ему было делать, хлопот и забот никаких, так пошел искать и промышлять себе нужды!

Поймал барин птицу, слез кой-как с дерева, ободрался весь — глядь, ан Игнашка с лошадыми ускакал; а барина босого и нагого покинул. Барин кричать, барин гукать, барин аукать — нет Игнашки, и след простыл! Как

тут быть? Взял он нужду-птицу под мышки, сам поплелся, проклиная стремянного своего, без шапки, без шубки, босиком, подувая в кулаки да пожимая плечами. Нужда из-под Сызрани в Москву пеши ходила.

«Так вот она, нужда, какая бывает!» — сказал барич, спознавшись с птицей своего залава, с которой прозяб уже до мозгов, ознобил ноги и руки и едва только доплелся, поздним вечером, до какой-то деревушки. Он постучался в оконце, в другое, в третье — не пускают прохожего; в которой избе спят мужики, что зарезанные, и не достучишься их, не докличешься; в которой и проснулись, знать, да не откликаются: либо неохота с полатей на мороз выходить, либо постою бояться. «Нечего делать,— думает барич наш,— надо подыматься на хитрости. Не даром же нужда со мною, да не даром же и про нужду, догадливую, изворотливую, столько причуд и чудес в народе сказывают: нужда горбится, нужда и прямится; нужда научит и калачи печь, и богу молиться!»

Он подошел к чистой, белой избе о двух жильях, где увидел свет; взобрался тихомолком на крытый дранью навес, под которым видна была хозяйская лавка, где торговал он лаптями, веревками, дугами, колесами, коврыгами, орехами, пряниками — чему барич наш догадался по тому, что тут пахло дегтем, а нужда чутьем рыскает,— взлез и стал заглядывать в окно. Липовый белый стол в красном углу; половина его закрыта столёчником узорчатым; светец не с лучиной, а со свечою, на столе; а тут и всякий харч и еда; и вино, и пирог, и гусь жареный, за столом молодая, пригожая баба, да с нею рядом, на лавке, молодой парень, и они вместе веселятся — потешаются, пьют да едят, смеются да забавляются.

«Бабенка эта,— подумал барич наш, с нуждою под мышкой в окно глядя,— бабенка эта хозяйка; иначе она бы не потчевала гостя своего; а что он гость, а не хозяин, так это признать можно по приемам их: вишь, она подносит ему ласково и кланяется, а он принимает да усы поглаживает; видно это, что он гость, и по рукавицам, и по бархатной шапке его, которые лежат подле, на лавке, а не висят на своем месте, на колке. Стало быть, хозяина нет дома, а хозяйюшка без него погуливает!» Нужда смекает делом, нужду не проведешь; и догадлива она, и понятлива!

Нужда постучался посохом своим в оконце; хозяйка вскочила и спросила: «Кто там?», а парень чуть не по-

давился пирогом и вылупил очи на окно. «Отворяй,— отозвался Нужда,— хозяин!» И Нужда оглянуться не успел, как пирог полетел со стола в поставец; вино за кивот, на полочку; гусь в печь, а гость — под кутник, где хозяйка завалила его решетами да разным хламом и скарбом, а сама впопыхах и в суеде приговаривала: «Ох, голубчик-свет, говорила я, что надо быть ныне хозяину! натолкнул же лукавый на грех, да не спас господь! лежи ж ты, голубчик, сам нишкни; авось минует неминучая!» Сама ж она, хозяйка, кинулась отпирать дверь да ворота. Ей, вишь, и невдогад, чтобы кто увидал, что у нее творится. Нужда взлез на навес, а она думала, что хозяин постучал в высокое окно с земли кнутовищем.

Той порою, не успел Нужда соскочить с навесу на снег, глядь — сани одноконные бегут, только снег хрустит, и напрямик к белой избе о двух жильях, и прямо к воротам досчатым, под щипцом, да с петушком, да на высоких столбах.

«Отворяй! — закричал рыжий мужчина с окладистой бородою, похлопывая рукавицами и слезая с сани, — отворяй, Кононовна! хозяин приехал!» И Кононовна, отвечая: «За-раз, за-раз, Сидорыч!» уже возилась у запора. Собак, как и у большей части Великороссийских мужиков, на дворе не было; только свиньи встревожились да захрюкали, да дюжина баранов проблеяла. Заскрыпели полотенцы на верях, и огарок в руках Кононовны бегло осветил крытый двор: справа ясли, колоды, телеги и сани, пара коней, коровушки, свинки да овцы; слева лесенка, крылечко на резных столбиках и чугунный умывальник с двумя носочками на железных цепочках. Между тем Сидорыч, глянув на барича, спросил:

— Это кто такой под забором стоит?

— Пусти, земляк, в избу погреться, дух отвести, иззяб до смерти, — отвечал Нужда, — были мы, вишь, с барином на охоте, ездили по птицу да по зверя, да настигла нас невзгода; кони побили, да вот холодного и голодного покинули; пусти, земляк, отвести на тепле душу.

Хлебосольный хозяин позвал Нужду с собою в избу, посадил у стола и потчевал, как гостя, всем, чем бог послал. Но бог послал на этот раз чашку каких-то щец, по которым, как говорится, плетью ударишь — и пузырь не вскочит; да послал еще коврыгу хлеба ржаного в пять четвертей с вершком — и только. Хозяйка не ждала, говорит, ныне хозяина и тужила, что не изготовила ничего



получше. «Кабы ты-де вперед сказывал, когда домой ждаться тебе, я бы тебе пирог испекла».

— А что у вас за птица, прохожий господин? — спросил хозяин, поглядев на толстоглазого филина, который сидел рядом с гостем на скамье.

— Это нужда-птица, — отвечал тот, — умная, расторопная, изворотливая; все знает и все видит, и говорит.

— И говорит? — подхватил хозяин, оборотив ложку и положив ее на стол; потом, утерши рот изнанкою руки, погладив бороду и облокотившись на край стола, продолжал, — да что же она такое говорит?

А филин только запыхтел и щелкнул носом.

— Так она про себя бормочет, — отвечал Нужда, — она говорит, что в поставце у хозяйки вашей есть пирог.

— В поставце пирог? — спросил хозяин, оглянувшись. — Есть, что ли, Кононовна, так подавай!

— Да не знаю, будет ли, — отвечала та, оробев маленько, — остатки; брат ко мне приезжал вчера, так я про него было изготовила; да никак съели весь; разве что остатки... — И подала из поставца початой пирог.

Нужда толкнул филина локтем в бок; тот опять, вылупи на него очи что плошки, запыхтел да щелкнул.

— А теперь что он говорить изволит, честной господин? — спросил удивленный хозяин.

— Да так, она все свое несет, — отвечал Нужда, — говорит, что вино есть в стклянице, позадь кивота.

— Есть что ли? — спросил хозяин.

— Да не знаю, право, — отвечала хозяйка, уж больно испугавшись, — вчера, признаться, было его немного, да никак все вышло.

Глянула. «И то есть», — подала на стол; хозяин молча налил, попотчевал гостя, сам выпил и надулся.

— Молчи, дура, — сказал Нужда вполголоса филину, когда этот опять начал пыхтеть да щелкать, — молчи, не твое дело.

Хозяин стал допытываться, что-де он говорит?

— Да он сказывает, — отозвался Нужда, словно нехотя, — что в печи у вас гусь есть.

— И гусь еще? — спросил хозяин. — Есть что ли? а коли нет, так, видно, Кононовна, самому мне пошарить придется: да нет ли у тебя и еще чего; так уж подавай за один раз!

Хозяйка кинулась к печи, отодвинула заслон, ахнула и руками всплеснула:

— И то есть! Ну, ей же богу, Сидорыч, не было его и не бывало; и знать я не знаю, отколе он взялся, и ведать не ведаю!

— Послушай, господин прохожий,— сказал хозяин,— у меня в доме давно что-то неладно; кабы это де-душка-домовой, так бы проказы не те были; а то такое делается, что и концов не сведешь. Что съеданное ни припасешь, съедят у тебя из-под рук и не узнаешь, кто; мучицы ли пшеничной засыплешь в засеку, на вес да на меру, глядишь — не хватает; орехов ли, черносливу ли моченого, грушевого ли квасу сделаешь да поставишь в лавочку, все словно куда проваливается; а в лавке, коли меня нет, сидит сама хозяйка: не знаешь, на кого и поклепать. Что такое это, господин честной?

— А коли в доме у вас не чисто,— отвечал Нужда,— так виноватый скажется птице моей; и будь он хоть сам сатана, так выживу его, с места не сходя.

— Правь с меня, что положишь,— сказал хозяин,— ничего не пожалею; выведи только концы наружу, да изгони нечистого!

Нужда велел хозяину выйти; хозяин в двери, а хозяйка гостю в ноги: «Батюшка, не выдавай; что хочешь проси, только не выдавай: хозяин убьет меня!» И брат, что вчера приезжал да пироги поел, взмолился из-под решет да корыт тем же голосом: «Хоть всего-де обери, хоть разуй да раздень, хоть нагишом пусти, только душу выручи». Нужда вытащил его из-под кутника, велел вымараться сажею, надеть тулуп изнанкою, рукавицы на ноги, а сапоги на руки; накрыл ему голову макитрой и посадил его опять на то же место; там позвал хозяина и велел ему стучать метлою по кутнику, а хозяйке шарить помелом под лавками; глядь — сатана и выскочил; и хозяина-то было самого с ног сбил, и хозяйку напугал до смерти, а сам в двери, да кубарем с крыльца, да прямо в снег; о землю ударился, тут и сгинул, и след ему простыл. А Нужда взял, для ровного счету, по красненькой бумажке с хозяина и с хозяйки и с гостя, то есть с брата ее; и всем угодил, и себя не забыл. Ай да птица! Правда, что стоит она дорого; правда, видно, и то, что нужда выучит любому досужеству.

Нужда согрелся, наелся, выпался, запрятал три красненькие подальше и отправился, куда бог велит, искать и допытываться своего Игнашки. На заработанные деньги оделся он и обулся, день-другой пожил — а есть

опять-таки ему нечего! Не Чурилья-игуменья барич наш, а постничать выучился хоть куда!

Идет, идет он по дороге, что Чапура по пресной, долгой лужице, пришел опять на какое-то село и видит — народ собрался в кучу у сборной избы; старики, с длинными посохами, сидят на завалинке; перед ними истец и ответчик; крик, шум, спор, а толку, как видно, мало.

— О чем, ребята, спор идет у вас? — спросил Нужда. — Чего не порядите? У меня вещая птица есть: все знает, все откроет, виноватого выдаст, самому черту не спустит, а за правду-матку постоит: сказывайте, о чем идет толк?

— А вот о чем: мужик просил на мужика, что украл-де у него сивого мерина; ответчик сивого мерина привел да говорит: «Лошадь моя, а не его. Она уж годов с восемь со мною в извозе ходила, да о Спасовку было пропала; коли он в нее вклепывается, так, стало быть он вор, а не я». Теперь как быть? Свидетелей нет ни у того, ни у другого; истец недавно купил коня, никто его не опознает; ответчик держал его, как говорит, и долго, да купил на стороне и ходил он у него в извозе, а на селе его, мерина, тоже никто не знает. Как тут быть?

— Птица все скажет, — отвечал Нужда; накрыл голову спорной лошади и прикрикнул побойчее на ответчика. — Коли-де ты с меринком своим восемь лет в извозе ходил, так сказывай скоро, не запинаясь, да не думай, на который глаз он крив?

— На которой глаз крив? — спросил мужик.

— Да сказывай скорее, что думаешь, — отозвался Нужда, — коли не знаешь, так, стало быть, и врешь, и лошадь не твоя.

— Как не знать, — отвечал тот опять, — знаю, да ведь она так, немного крива, она видит.

— Да нужды нет, что немного, — закричал Нужда, — ты сказывай, на который глаз; чего ты переминаешься?

— Да на правый, — отвечал мужик.

Нужда откинул немного полу кафтана с головы спорной лошади и показал целому миру, что у мерина правый глаз живой.

— Промолвился! — кричал мужик, взмахнув руками и кинув шапку о землю. — Как бог свят, промолвился! мне ли не знать мерина своего, промолвился, ребята, конь и о четырех ногах, да спотыкается, а язык без костей, ино и нехотя свихнется! крив он на левое око, ей же, на левое!

Нужда только того и ждал: откинув всю полу, закричал он на весь мир:

— Врет он, ребята, врет сам, как сивый мерин; он вор, а не хозяин; смотрите вот: мерин глядит в оба глаза не хуже всех нас!

Коня отдали по приговору мирскому и стариков настоящему хозяину, который охотно напоил и накормил Нужду за помощь и услугу его и подарил его еще кой-чем в дорогу.

Нужда собрал пожитки свои и гостинцы: круп, мучицы, хлебца да небольшой котелок — и пошел далее. Путем-дорогою, отмерив верст десятка с полтора, захотелось ему погреться да поесть горячего: он развел в чистом поле огонек, нагреб в котелок снежку, растопил его, вскипятил, — сказано: нужда учит калачи месить, — засыпал круп и заварил себе кашу. Смотрит — едет барин, такой же, каким и он сам недавно был, едет порошею, шажком, съезжает зайца. «Дай зашутить шутку», — подумал Нужда; поставил готовую кашу на пенек, затоптал огонь, загреб его снегом, и ну плясать вприсядку вокруг пенька да приговаривать: «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет!»

— Что такое делается там, — сказал барин ловчому, не то доезжающему своему, — скачи-ка туда да погляди.

Ловчий воротился и донес, что-де проказник какой-то на сухом мерзлом пне, без огня, кашу варит. «Что за чудо! — подумал барин, хотя он думу думать и не больно бывал горазд. — Что за диво такое!» — и подскакал сам глянуть, как-де варится каша без огня, на мерзлом пне. Постояв, поглядев да отведав кашицы нашего проказника, сказал он: «Да это предорогая вещь в отъезжем поле, для охоты, в дороге». И стал допытываться: в чем тут сила, в пеньке ли, в пляске ли аль в котелке? И стал торговать весь снаряд этот у нашего Нужды, за большие деньги.

— Пенек ваш, — сказал ему Нужда, — на вашей земле вырос; его покупать нечего; а вся сила в пляске, да в песне, да в котле.

И продал котелок свой охочему боярину и научил его плясать вприсядку да приговаривать: «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенку поет»; деньги те взял, а сам пустился скорее своим путем без оглядки восвояси. Много ли каши наварил в котелке этом новый хозяин его — не знаю; слышал только стороною, от псарей да от конюхов его, что замучил он и их и себя, постановив ко-

телок на пень, насыпав в него круп, налив его водицей и заставив всех ловчих и доезжачих поочередно выплясывать вприсядку около походной кухни своей, петь и приговаривать, и наплясавшись сам вокруг нее до упаду.

Много ль, нет ли и Нужда наш прошел по дороге,— слышит топот за собою, крик и скачку,— догадался он, не долго думав, что новому повару, знать, котелок-самовар не полюбился, досужество не далось, и что шлет барин за штукарем погоню. Как тут быть? Куда кинуться? А поймают, так от арапников вряд ли отвертится? Ухватил Нужда хворостину да посох свой дорожный, взмахнул ими да и закинул на сосну; а сам сел подле дороги, кафтан надел изнанкой, а барский жилет свой — сверх кафтана; шапку-новокупку, поизмяв да вываляв ее, нагнул околышем на глаза — сидит, ожидает, что-то будет.

Не прошло и с эстолько часу, как теперь, когда скываю я вам, что такое перед ним деется и творится, как наскочил на Нужду нашего вершник доброконный и стал расспрашивать его: не видал ли он пешего прохожего по этой дороге? Нужда отрекся от всего: ничего не видал, не слышал, знать не знает, ведать не ведает; а кланялся только низменно, горько плакал и просил милосердной помощи наездника.

— Шло,— говорит он,— по дороге трое школьников каких-то; я, богом убитый калека, плелся, побираясь святою милостынею, на двух костылях; набежали они на меня,— прости им, господи, согрешение их, *не ведают бо что творят*,— наскочили на меня бедного, юродивого, выхватили из-под рук костыли мои да закинули вон на макушку сосны! Честной, богобоязливый доезжачий! Смилуйся надо мною, над бедным сиротою; умереть мне здесь голодную и холодную смертью, умереть от туги и нужды, коли не сотворишь богоугодное, не скинешь костылей моих с сосны высокой!

Доезжачий, молодой, проворный парень, проворчал было про себя: «Некогда, да барин браниться станет, догонять надо вора, обманщика», но, рассчитав, что пеший от конного не уйдет, и что, подлинно, убогий калека пропадет и сгинет ни за грош, коли он не выручит его из беды такой, соскочил с коня, дал ему, нищему, поддержать его за повод, а сам полез скорым шагом на сосну.

Безногий наш только и ждал того, чтобы доезжачий повыше на дерево взобрался: вскочив на коня, да катая-валяя его по крутым бедрам, влево и вправо, вправо

и влево,— скрылся, да из виду ушел, поколе пеший доезжащий успел образумиться, оправиться и слезть с высокого дерева. «Нужда греха не знает»,— подумал барич наш, раздобыв коня, опознав вскоре родные места вокруг себя и рассчитав, что до дому уже недалеко. Теперь нужда-птица ему уж лишняя; наскучила она и надоела, да отвязаться от нее — не отвяжешься. Уж он и кинул ее, и гонял ее,— нет, она все за ним. Он станет, она тут; он бежит, он скачет, она за ним, на широких крыльях своих; нет отбою, да и только. «Отвяжись ты, окаянная! — бранился барич наш.— Я еду теперь домой, на сытый стол, на мягкую постель, да на приволье, я тебя, горемыку, больше и знать не хочу, будет с меня!» А нужда-птица, пощелкивая носом, свой разговор ведет да не отстает ни на шаг.

«Нужда ум родит,— подумал барич,— и надо с нею поуправиться; а жить с нею не находка; она чего доброго, и домой ко мне беду занесет».

— Здравствуй, честной господин! Все ли в добром здравии у вас, благодетеля моего, господь сохраняет? — Нужда оглянулся; несет судьба встречу ему, по дороге, на широких пошевнях, на паре добрых, толстоголовых рыжаков, под расписанной и резьбою разукрашенной дугою, с бубенчиками не менее шестифунтового ядра под ушами, несет, говорю, судьба старого знакомого его, Сидорыча, блаженного супруга Кононовны.— Долго после вашей милости отбытия,— продолжал Сидорыч,— долго у меня в доме все было благополучно; ясно, и видимо изобличалась сила благодетельной помощи вашей; да вот ныне, господин честной, никак опять кой-что проявляться стало; опять-таки что-то не ладно, а с чего притча такая деется, не приберешь, как и разуму приложить.

Слово за словом, не успел Сидорыч напроситься на нужду-птицу, как барич, рад-радешенек сбыть ее с рук, продал ему филина без слов, с руками отдал и насулил с него пути и блага и добра с три короба. «Будет-де она жить-служить и у вас, как у меня, станет выказывать все, что ни деется в доме, и хозяина своего ни за что в обиду не даст».

А сколько она, нужда-птица, была пользительна новому хозяину своему, это особа статья; довольно вам того, что таким-то изворотом сбыл барич наш птицу свою с рук и с плеч долой, спознался и расстался опять

с нуждою и воротился домой гораздо посмышленнее да и порасторопнее, чем выехал.

— Ну, счастье твое, Игнашка, счастлив твой бог, что хоть помаял ты меня, правда, да судьба моя, счастье мое, подобра-поздорову домой меня вывезло; старое, по Русской пословице, в добрый час не поминается; бог тебя простит, не хочу на тебя гневаться. Счастье и мое и твое, Игнашка, что наше счастье, знать, поумнее да подогадливее нас обоих, а то бы не бывать из этого добру! Аль и подлинно уж нуждою и счастье насилуется?

— А что такое счастье? — спросил в свой черед Игнашка у барина.— Я научил вас, сударь, нужду знать, покажите же вы мне счастье!

Барин призадумался.

— Счастье — убогому алтын, богатому миллион; а подай каждому, чего просит, скажут: мало, давай еще столько, да еще столько да полстолько, да четверть столько, да начинай опять сызнова, счету нет конца, а стяжанию человека также. Да и счастье ль это, хоть оно счастьем называется? За тот же алтын нищий нищему голову накостыляет, а богатый... да сказано слово: поет песни сапожник, а не поет откупщик; какое ж тут счастье? а брат на брата, племянник на дядю, сын на отца, за что идут? все за ту же проклятую мишуру, что в чужих руках блестит, а в своих меркнет... Стало быть, счастье — нищета, нужда? Нет, господь с нею: и это не счастье, я на беду спознался с нею, да рад, что отвязалась! Счастье ум, счастье разум — так разум, говорят, доводит до раздумья, ум до безумья; счастье — златом граненные чертоги; счастье — скипетр в деснице, всесильная держава в шуйце?

— А холера,— сказал Игнашка,— душит всякого, правого и виноватого, убогого и бедного; да еще добро задушит, а как тугою поведет, столбняк ошеломит, проказа сатанинская навалится, либо какая-нибудь нечестивая болезнь, прости господи, изнасилует, да сорок лет жить укажет и ее с собой на плечах таскать, как, сказывают, пронесил солдат три года со днем смерть за плечами, тогда как быть? Да еще какво-то на том свете доведется ответ держать за каждую крупинку, за былинку, за грешный сон и за думку спросонья?! Так где ж тут, барин, счастье?

Гой ты, счастье, сударушка, невидимочка! Ты скажись родом-племенем, скажись именем-отчеством! и по прозванью тебя бы можно честить, по роду-племени

пожаловати? И слепою-то тебя называют; и спиной, говорят, ко всякому, кто ни подойди, оборачиваешься; нужда учит, говорят, а счастье кормит; а сами за счастьем, что за мухой, с обухом гоняются; где счастье, там и ум, где счастье, там и зависть; счастье ищи, а в могилу ложись; счастье зови, а горе терпи; так что же его после этого и звать? глупому счастье, умному ненастье; есть и ум, да пустосум; нет ума, да туга сума; кому талан, тот и атаман; кому не поведется, у того и петух не несется; стало быть, ума и не надо, было бы счастье; так опять говорится: счастье без ума — дырявая сума; где найдешь, там и сгубишь; ну, так, видно, опять надо искать и ума? Ан говорят: не родись умен, не родись пригож, а родись счастлив; счастье дороже ума; с рожи болван, а во всем талан; счастливый к обеду, роковой под обух; счастливый о двуконь, несчастный пеш и бос; стало быть, с ним, со счастьем, ужиться бы и можно, да счастье с несчастьем, сказывают, двор об двор, живут, на одном коне ездят; счастье поедет, да односума своего, беду бедовую, по-калмыцки, на забедры посадит; счастье чад, головушку, разломит; счастье да трястье, кого захочет, того и ломает: счастье к тебе, а ты от него; ты к нему, оно от тебя; голый на бога плачется, одетый и обутый на счастье; да кто же оно, счастье это? Счастье тать ночной, счастье бог святой...

Нет, счастье, — сказывал мне мудрец восточный, — и не слепо; у него только глаз один, да и тот на самом темени, на макушке; это бедная мать, утратившая со времен незапамятных единое детище свое; она летает быстро по земле да ищет дитя свое, ловит наудачу всякого, кто только под руку подвернется: стало быть, играет, по-нашему, в жмурки; а кого только поймает, того приподымает помалу, потихоньку, выше да выше, что, дескать, счастье мое скажет, не мой ли это сын? А как только приподымет его повыше головы своей да разглядит, да увидит, что это не любимое детище ее, а ненавистный ей чужой, то и махнет его через себя, да и полетела дальше. Хоть ты себе тут шею выломи, хоть топчи пожалуй, кому охота, тебя под ноги, — не оглянется, не воротится; пошла — и след простыл; а сама уже ловит другого, да поймавши и его туда же.

И барич наш, призадумавшись, захотел было идти искать счастье, спознаться с ним, как спознался с нуждою.



— Хочу видеть его,— говорил он,— хочу изведать, каково оно и как с ним обживаются!

— Постой, барин,— сказал Игнашка,— погоди: за счастьем пойдешь, а бог весть, что найдешь; не наткнуться бы опять на нужду-птицу! Есть у меня на примете человек, про которого шла когда-то молва, что он заманил и залучил счастье; послушайте:

«Есть наука мудрая, глаголемая: космография, изучающая положение стран света и земель и показывающая, где и какая земля к какой примыкает и какой товар и скот в ней родится, и какие твари и человеко-твари, василиски, сирины, счастливи и несчастливи людие живут и обретаются. И сия то наука любомудрая глаголет о счастии тако:

И бысть во царстве едином на востоце царь, сильный в людех своих и могучий над враги своя ратию, еже ей несть числа; и неистощим в житницах и сокровищницах своих, и зело велик думцами своими. И бысть ему дщерь плоти его единая, овую же держак любовно на сердце своем, паче злата и сребра и сокровищ и риз драгих и самого же царствия своего; душу свою в оной дщери любной не чаявши.

И низойде, в годину овую, поветрие зельно на человецы страны тоя и погибоша и умроша людие, аки злак дольный, лезвием серпа усековенный. И не бысть зелия ни единого от немощи тоя: ниже молебствия со крестными ходы, с фимиамы кадильными, от поветрия оваго не исцеляху людие погибающе.

И сокруши немощь смертная дщерь плоти царя единую, юже любовно держак царь паче имени и царствия своего; и воззва царь сильный силою и мощный мочию: «Егда обрящется муж велемудрый, ведущ во травех и зелиях, иже исцелит дщерь плоти его единую от немощи смертная, ему же царством воздастся целым, нераздельным, и короною державною, и всеми сокровищи и скарбь насущными; ему же в царе, сильном в людях своих и карающем враги своя ратию присно-победною, раб обрящется покорный, рабелепный и с сокровищи и земли и люди своя и царства своего, отныне и до скончания века; и быти во царствии овом единой душе не рабской, дщери плоти и любви царской.

И предста Хиромант всеведущий в травех и зелиях пред царя того, и рече: «Аще хочещи исцелити дщерь свою, да обрящещь во царствии твоём счастливица единого, самого себя блаженства земнаго причастна глаголю-

ща, ни единой потребности, ни единого желания не ъмуша; егда же обрящещи во царстве твоем мужа оваго, возложи нательную ризу, сиречь сорочку его, на сокрушенну недугом смертнм дщерь твою, и возрадуется жизнию и поведет очеса на тя и возлюбит жизнь».

И побежали гонцы во все концы царства того, и изъездили все углы и закоулки, все улицы и переулки, торные пути и захоlustья, редняки и трущобы, города и пригороды, села и приселки и выселки — нет у сильного и могучаго царя счастливого подданного. Кто и доволен бы судьбой, да денег мало; кто и богат, да хотелось бы ему быть еще маленько побогаче; кто жены просит, кто разводу; кто знати, кто досужества; кто ума, кто пригожества...

— Так умереть, что ли, единой дочери моей, которой не было и нет подобной на земле, за которую я и царство и себя самого отдаю любому пришельцу в рабы вечные и покорные,— завопил отчаянный царь в немощи своей,— умереть ей и погибнуть неминуемо и неспасимо?

— Да нешто она первая или последняя гаснет во цвете лет и в красоте девственной, разве не все мы такие же смертные, как она? Разве остался живым кто-нибудь из предков наших, или мы будем жить с потомками? Все мы там будем, только что не в одно время,— так утешал царя неутешнаго мудрец его; но царь, ломая руки, взывал:

— Ищите, ищите, найдите мне счастливца, и царство мое ваше, и я слуга и раб ваш по гроб! Неужели ли этого мало, и не могу я эту цену искупить бедной жизни: одной только души? Ужели для меня, который не щадил и не щадит жизни своей для блага подданных своих, ужели для непорочной, бедной дочери моей никто не хочет сказатья и быть счастливым, хотя бы то на один только миг?

— Сказатья? — спросил мудрец царя,— коли это можно, *сказатья и быть*, государь! кому ближе спасти кровное детище свое, как не тебе? скажись и будь счастливым; одного счастливца, ты знаешь, довольно.

— Как мне быть счастливым, когда дочь моя, без которой во мне нет и не будет искры жизни, лежит на одре смертном? — взывает царь неутешный,— мне быть счастливым?

— Так вот же тебе, государь,— отвечал мудрец,— вот тебе живое поличие всех подданных твоих: каждого порознь и всех вместе; и каждый бы рад быть счастли-

вым, да одного заботит одно, другого печалит другое; каждому думается: вот бы только это, либо то, так и был бы я счастливым, я без того не могу.

Но вот гонцы неутомимые все царство искрестили и — «Нашли! — кричит запыхавшийся вершник, наскочив на широкий двор царский, — нашли блаженного счастливец!»

Дворец царский словно ожил весь — и стены, и простенки, и золоченая кровля, от бута и до конька, все вздрогнуло и всюду раздалось: «Нашли!» — «Кто он таков? где он? Подайте его сюда! да где отыскиали его, отколе он взялся?»

Что нужды до этого; все равно; благо нашли, схватили и привели. Он здесь: не в карете, не в колымаге, ни даже на дрожках, и не верхом, под чеканною сбруею в дорогих каменьях; гонец поймал его за ворот и притащил, как счастливец стоял да ходил, — пешего, на двух ногах!..

— Я твой раб векожизненный, со всем царством моим, — возопил царь в умиленной радости, преклоняя главу свою перед счастливецом, — и этою ценою, человек, покупаю я только сорочку твою: подай ее сюда; тебѣ меж тем облекут в золотые ткани...

— Сорочки у меня нет, — отвечал смиренно блаженный счастливец.

— Как нет? рубахи нет, нет сорочки? отдай одну, последнюю, сыми с себя!

— Да то-то нет ее ни на мне, ни за мною; была когда-то, давно, да износил всю и кинул».

— И прекрасная царевна, — закричал барич наш, слушая Игнашку, любимого стремянного своего, — и царевна умерла?

— Да, знать, умерла, сударь; по крайности, счастливого, с рубахой на плечах, в обширном царстве не сыскалось, хоть царства в сказках живут и не нынешним чета: царство это было в сорок-сороков обхватов земли, а народу в нем, что былинок в поле. Вот вам, барин, и счастье; теперь раскидывайте-ка бобами сами; в потехах — не оно, в избытке — не оно; а где да в чем оно? Этого голыш блаженный не сказал: «Рубахой, говорит, обзаводиться не сто́ит: что с нею, что без нее, мне все одно; судьбой я доволен, сыт бываю почитай что каждый день; хотеть я ничего не хочу, ничего мне боле не надо, царства вашего не возьму и даром — не держите ж ме-

ня здесь по-пустому, а отпустите без греха домой; вот я чего хочу».

— А ино еще говорят, барин,— сказал Игнашка,— где правда, там и счастье.

Правда? а что такое правда? Это что за зверь, птица или рыба! Что такое на свете правда? Правда — вещь совсем иная; это не нужда и не счастье и не им чета, ниже ровня. Правда мирская — это вещь потешная. Правда светлее солнца; что правда, то не грех; да зачем же правда глаза колет? Правдою жить — с людьми не знаться; неправдою жить — бога прогневить; как же тут быть? Стой за правду горой, и бог с тобой; знай бога да сказывай правду; кто правдой живет, тому бог даст; это бы и ладно, да говорят: правда по миру ходит; молвить правду, не знать дружбы; а по миру ходить, да без друга жить, сам себе опостылеешь; а это уже и не ладно. Говорят: хлеб ешь, а правду режь; а говорят и так: хлеб режь, а правду ешь; то есть сам глотай, да про себя и знай. Да опять и то сказать: ино правду говорить большому человеку — не легче лжи; и правдою ину пору подавишься. Говорят: все на свете сгинет, одна правда останется; да куда же она после всего этого годится? сами же говорите вы: правда к добру не доведет; правдою не обуешься, сыт не будешь! Вы мне на это молвите: да в ком честь, в том и правда; ладно, да не вы ли сказывали наемни: глупый да малый говорят правду: какая ж честь, скажите, в глупом да в малом? Грек, Жид да Армянин молвят правду по одному разу в год. Это что? Да разве они живут хуже нашего? Или они верят тому, что сильна правда, да деньга сильнее? Так за что же, коли так, говорится: засыпь правду золотом, она всплывет; правда и в золоте не тонет; дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет, а на что опять вы же говорите: хороша правда, годится и неправда? это что? или вот это: одно слово правды весь свет перетянет; да коли оно по золоту плавает, как вы сейчас же говорили, так, стало быть, золото будет потяжеле правды вашей? Куда ни сунься, кого ни послушай — все его правда, словно ее на откуп держат; а где двое сойдутся, там и две правды, да каждый хвалит свою; что же она за оборотень такой, что за двойник, и за что же она дорогá, коли у всякого есть своя и всякий с нею носится и нянчится? Живи правдой в людях, живи правдой дома; а между тем, не всякую правду жене сказывай; не солгать, так и правды не молвить; не будь лжи, не стало бы

и правды; хорошая ложь дороже плохой правды; стало быть, сами учите лгать; а соври кто, хоть один раз на веку своем, так вы же, махнув рукой, скажете: кто один раз соврет, тот веку без другой неправды не доживет. Неправда отшельником не живет: где одна, там и другая, а где две, там плодятся они и множатся, как змеи около знамени. От лжи не мрут, да вперед веры неймут; да коли стародавние пророки померли, а новые правды не сказывают, так тогда как быть? Где добудешь ее, коли без нее, как говорится, веку не изживешь? где она, правда эта, и где ее взять? И какая ж это правда, которая на свете надобна, без которой веку изжить нельзя? Эта правда, сказывают, вещь потешная.

Жил-был во земле далекой, иноязычной, иноверческой, пастырь духовный, по-турецки мулла, по-нашему поп, по-польски ксёндз. Он славился на весь мир правдою и благочестием и сам хвалился повседневно, что терпит напраслину за одну только правду; а он был убог и скуден до крайности.

Однажды взяло его горе тугое и раздумье бедовое: «Плачусь я,— говорит,— богу, бог не слышит; плачусь людям — люди веры неймут; а голод не угар, от него не переможешься, не переспнешь. Что я буду делать и как мне быть? Под миру ходить с котомкой — грешно, да и не велят, не приказывают,— попадешься, так не разведаешься; идти молотить за хлеб насущный, так сил нету, дело непривычное; духом я бодр, а телом слаб, потому что морил плоть свою как велит закон. Взаймы никто не дает; сидел бы дома да ждал, куда господь что пошлет, так скоро пропаду я и сам, замерзнут да вымрут голодом и холодом ребяташки мои,— не сидится, нет больше сил!»

Так рассуждал, окропив черствую краюшку хлеба горячими слезами, заморской земли пастырь, как вдруг вошел к нему зажиточный мужик, помолился, поклонился, подошел под благословение и звал дать имя новорожденному; другой вошел, хочет дочь под венец вести; третий пришел с заплаканными глазами, зовет хоронить отца. Пастырь вымолвил теплое моление к небесам: поспал-де господь, за правду мою, хлеба насущного, и, как дело было почитай натошак, то пастырь наш и стал рассчитывать, сколько мерочек муки, да сколько яиц, пирогов, уток, кур возьмет он на крестинах, сколько на свадьбе, сколько на похоронах. Рассчитав все это, стал уже думать, как поправится он помаленьку из нищеты

своей и заживет домком с чадами и домочадцами своими. Но думай да гадай, а конца поджидай: у новорожденного поднес ему кум лыковых лаптей пару; за то, что повенчал, насыпали ему в берестовый кошель смородины да лесной малины; а на похоронах — напоили, накормили, да с тем и домой отпустили.

«Не хочу жить! — сказал отец, — пойду утоплюсь. Мне ли домой показаться опять ни с чем и плач и жалобу слушать спокон веку одну и ту же, жалобу горькую: тятя, дай хлебца? Мне ли пропадать и высыхать по капле, что дуплявому пню, без радости, без утех, без хлеба, с одною правдою? А уж я ль не молился тепло и правдиво; я ль не терпел, в чаянии лучшего, смиренно, безропотно? Нет сил больше, ни за себя, ни за своих! Дары мирян сложу я у подножия символа веры своей, как последнюю дань отходящего, а сам я... пойте после по мне, коли кто на селе без меня споет, вечную память!»

Пошел, дождался ночи, сложил дары мирян, ещежды помолился и с твердою решимостью вышел на росточь бережную, на крутояр; и видит, идет к нему, в теми ночью, белобородый старец. «Что делаешь, отец?»

Отец поведал старцу все, от аза до ижицы. Вы уже знаете, что иноверческий пастырь наш любил правду; он не утаил ничего, во всем признался, что на исповеди, держал ответ, как перед богом.

«Не топись, — сказал ему старик, — смерть от тебя не уйдет, ниже ты от нее; и я такой же, как и ты, бобыль; станем горе мыкать пополам; у меня за пазухой ржаная лепешка есть; уломим ее на́ полы, что тебе, то и мне, поровну, да и пойдем, куда господь поведет: утро вечера мудренее!»

Шли, шли они вместе, не день и не два; старик, что заря, что сумерки, из-за пазухи лепешку тащит и делит пополам. Наконец — не житницы ж египетские у старика за пазухою — ложатся они в чистом поле спать, а старик и достал было лепешку, да и положил опять назад. «Последняя, — говорит, — только одна и осталась; уж лучше мы ее на утро оставим да и поделимся». Утро красное взшло — старик проснулся, богу помолился. «Ну, — говорит, — односум, давай поделим теперь последнюю лепешку нашу; а там — что бог даст». Хвать — ан ее уж и нет.

— Товарищ, — сказал старик, — ты съел лепешку?

Наш пастырь крестился и божился, на чем свет стоит:

— Не я.

— Ну ладно,— говорит старик,— не ты, так не ты; пойдем дальше. Правда — слово великое,— я ему верю и без божбы.

Шли, шли они опять, с утра до поздней ночи; отец духовный голодом изныл.

— Нет сил,— говорит,— издохну здесь, на месте!

Старик полез за пазуху — нашел еще лепешку; а попутчик его рукой за нею тянется да уж и слова не вымолвил, уморился насмерть!

— Ты, что ли, съел лепешку, так сказывай лучше; я не взыщу: не бось, только признайся!

— Чтоб мне на месте, тут же, растянуться,— отвечал тот,— коли я без ведома твоего хоть одну кроху насущную подобрал!

— Ну, не ты, так не ты; я только спросил. Вот тебе половина лепешки моей.

И шли они опять, подновив силы свои, поколе не дошли до реки. Старик, подобрав ризы свои до колен, пошел вброд; духовный пастырь за ним, да вдруг и начал тонуть. Захлебываясь и задыхаясь, боролся он с мокрою смертью и молил старика о помощи. «Ты, что ли, съел лепешку?» — спросил опять старик; и снова спутник его стал заклинаться всеми святыми и отрекаться от лепешки и еще похвалился, что всегда говорил правду. «Не ты, так не ты,— сказал старик,— на что божишься?» Сам подал ему руку, вытащил его и вывел, вслед за собою, на сухой берег.

К ночи залегли они в солому, к мужику на ток, среди чистого поля, да развели огонек и стали сушиться. Не успели они заснуть, как пламень обнял их со всех сторон: кругом них стлался клубом огонь и дым и смрад и жупел и, с треском приближаясь, смыкал пламенною ужицею своею роковой круг теснее и теснее. Старик толкнул и разбудил товарища; он вскочил и, заломав пальцы, прощался с жизнью: лютое пламя пожирало уже ризы его.

— Не ты ли, отец, съел намедни лепешку нашу?

— Не я,— отвечал тот, отходя от мира сего в царство вечности.— Завещаю тебе, благодетелю моему, слово правды: не я.

— Коли так,— сказал старик,— господь с тобою.

Накрыл его полою ризы своей и вывел из огня не-  
вредима.

И шли они, доколе не пришли в заморское царство, где объезжали глашатаи царские по городам, пригородам, селам, выселкам, слободам и разглашали:

«Известно и ведомо да будет всякому и каждому, что буде кто на свете живой человек найдется сведущ и могуч в тайне бытия и смерти, и, изыскав ключ жизни живой, ключ мертвой и живой воды, воззовет из мертвых двух царевен царских, вдохнув в бранные останки их жизнь и дыхание, тот наградится, за каждую, таким количеством злата чеканного, каковое силою мышц своих поднять и вынести из казнохранилища царского возможен; буде же кто ложными снадобьями и не животворящими обманами единую токмо безуспешную проволочку времени учинит, то таковой неминуемо имеет сложить с плеч главу свою на плаху. Дан во граде нашем престольном таком-то — и прочая».

«Пойдем,— сказал старик товарищу своему,— попытаемся!» Товарищ золоту и рад бы, да смерти боится; сам идет, сам хоронится за старика. Этот взял одну обмершую, не то покойницу, не знаешь, как и честить,— положил ее в чан, обварил кипятком, рознял на части, очистил косточки, продул их, налил снова мозжечком, составил, одел живым, кровяным телом, жилками да прожилками, одел и тонкой белой пеленою с алым отливом, кожицею; дунул — и девица, пригожее зари утренней, встала и пошла, только застыдилась да зарумянилась. Старикау отсыпали мешок червонцев: столько золота, сколько он на себе унес.

«Что же,— сказал он товарищу своему,— берись ты теперь за другую царевну; что я взял, то пополам; а возьмешь один, так все твое; ведь видел, чай, как дело делается!»

Тот подумал — и рукой махнул. Золото ослепило его, оглушило, смутило. отуманило. Он взял другую обмершую царевну, распластал ее на части, рознял по суставам, и облупил и выскреб косточки, продул и налил и сложил — а дух и жизнь — бог даст; надселся товарищ, все дул да подувал — нет! не берет, не оживает царевна!..

И пришла отцу беда неминуемая: уж его и взяли, и засадили, и присудили, уж и вывели на лобное место, уж и за плахой пошли, а кто рассказывает, что уж и петлю на шею закинули...



— Ты, что ли,— шепнул ему старик,— съел лепешку-ту? Так скажи; ты знаешь, что я тебя не обманывал; признайся, коли ты, никто за это пальцем тебя не тронет!

— Не я,— отвечал тот,— умираю за грехи свои, а в этом не грешен, я бы тебе покаялся.

И старик опять спасает товарища своего из беды минучей, от позорной смерти. Царевна повелением старика ожила, встала и пошла, будто ни в чем не бывала; и странникам нашим опять отмерили мешок чеканного монетного золота. Забрав казну свою, вышли они оба вместе из города того и снова пустились в путь.

— Ну,— сказал старик,— теперь нам с тобой пришлось расставаться: мне путь предстоит одинокий, а ты больше плакаться на меня не будешь, домой пойдешь не без копейки; пора тебе припомнить и своих. Давай делить казну.

От этого попутчик наш не прочь:

— Давай.

Старик начал раскладывать золото на три кучки.

— Для чего же на три, а не на две? — кричит запальчивый товарищ его,— нас только двое, а ты же сам сказывал: все пополам!

— Постой,— отвечает этот,— дай срок, дай мне управиться; твое не пропадет. Ну, гляди, вот эта кучка — моя; вот эта — твоя; а эта пусть достанется тому, кто съел лепешку!

— Я! — вскрикнул спутник его громким и твердым голосом и накрыл золото обеими руками...

Итак, вы видели, сударь, нужду; спознались, на загадочках, со счастьем; — а вот вам и мирская правда. Такова-то она живет в людях, такова и в поговорках их, такова жила она и спокон веку.

Вот вам та самая правда, без которой никто на свете веку не доживет, про которую придумали люди столько поговорок, о которой говорят, что она и всплывет... да оно так и есть: и в нашей сказке всплыла она на золото, а без него как-то не подавалась! Падок человек на ложь, а на золото и того пуще; оно сильнее лжи, сильнее правды.

## СКАЗКА О БЕДНОМ КУЗЕ БЕСТАЛАННОЙ ГОЛОВЕ И О ПЕРЕМЕТЧИКЕ БУДУНТАЕ

— А что, ребята, какой ныне у нас день? Кто скажет, не заглядывая в святцы, не справляясь у церковника нашего, ни у тещи его, у просвирни?

— А ныне трынка-волынка-гудок, прялка-моталка-валек да матери их Софии! — отвечал косолапый Терешка, облизываясь.

— А коли так,— молвил сват,— коли праздник, то, видно, быть тому делу так: чтобы не согрешить, не ухватиться от безделья за дело, подите-тка пока сюда, садитесь на солнышко, в кружок, да кладите головы друг дружке на колени; сами делайте свое, а сами слушайте!..

Жили-были во земле далекой, промеж чехов да ляхов, старик гусяр да старуха гусярка..

— И страх их не берет,— сказал долгополый церковник, проходя мимо наших молодцов и подпираясь терновой тросточкой своей,— и страх их не берет! Хотя бы воскресного дня дождались, да и зубоскалили б: так нет, вишь, и в будень... погоди, я вас!

— Не сердись, дядя Агафоныч,— молвил сват,— что пути, печенку испортишь; позволъ-ка милость твою поспросать: у вас коли бывает воскресный-эт день?

— В воскресенье, антихристы,— гаркнул Агафоныч.

— Ан в субботу,— подхватил тот же молодец,— в субботу, перед вербным, у нас бывает Лазарево Воскресенье!

— Вот каков, и церковника сбил да загонял,— закричали ребята, заливаясь хохотом,— ай да письмослов!

А рассказчик продолжал:

— Жили, говорю, старик гусяр да старуха гусярка. Спросите вы: что-де за гусярка, коли он играл на гусях, а не она? Сами разумные вы, кажись, знаете, что по шерсти и собачке кличка бывает, а по мужу и жену чешт; коли муж гусяр, так жена неужто, по-вашему, пономариха? А коли этого про вас мало, так скажу вам, молодцам молодецким, что и старухе намерении прилучилось поиграть на гусях: как полезла она за решетом да стянула их рядом с полатай — загудели, сердечные, сказывают, вечную память по себе пропели да и смолкли.

До этого греха старик наш кой-как с ломтя на ломоть перебивался; хотя, правда, родовое добро его, голос молодецкий, стал уже отказываться и подламываться о ту

же пору, как и зубы, промоллов с лихвою два-сорока годов; но наживное имущество, гусли, все еще служили верою и правдой безволосому и белобородому, утешали жителей села Poiишихи, со проселки и выселки, и кормили старичков наших и сына их, бедного Кузю. Но теперь, после того, когда старухе нехотя, как сказывал я вам, случалось поиграть на гусях этих и в первый и в последний, когда сверх того старички, живучи в сырой, дряблой землянке, захворали, то и пришлось было им пропадать совсем. Вот они и сложили поскребыши и осколки гуслей своих в мешок, повесили его сыну, бедному Кузе, на шею, и послали его собирать подаяние милосердных и жалостных прихожан; кто знал старика и помнил гусли его, тот-де не отринет и теперь, а подаст. Ходит Кузя по миру и поет под оконцами песни:

Гляньте, загляньте в дыряву котомку,  
Дайте, подайте хлеба ломоть!  
Тятыка гусяр, моя мама гусярка —  
Где твои гусли, бедный Кузя?  
Гляньте, загляньте в дыряву котомку,  
Дайте, подайте хлеба ломоть!

Раз как-то, в воскресный день, бедный Кузя наш подошел поздним вечером под светлое оконце брусняной десятской избы; пропел песенку свою, потрянул осколышамми гуслей в мешке — нет ответу, ни привету, а шум и тары да бары в избе слышатся большие. Подошел Кузя поближе, вплоть под окно; глянул — сидят бабы; прислушался — идут у них толки о нечистой силе, про знахарей, волхвов, кудесников да про киевских ведьм. Всего, чего бедный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станем: «Бабы дуры, — подумал он и сам, как отошел, и затанул ту же песню свою под другим окном, — кто бабе поверит и трех дней не проживет». Одначе долго у него не выходило из головы, как бабы клялись и божились, что коли кто чары творит, да зажмет в это время пальцем сучок в стене бревенчатой избы, так пересилишь его; а еще говорили, что ведьму, знахаря, колдуна и всякого, кто только спознался да живет с нечистой силой, можно пригвоздить к месту и покорить себе на живот и на смерть, коли приколоть булавкой тень его к земле либо к стене: бедняга пропал тогда и с нечистым своим, — будет моргать очами да повертываться, что на колу, и наконец взмолится: *Аминь!* — перед булавкой твоей, как турок, неверный перед русским штыком!

Бедный Кузя рылся как-то в золе, в сору и в навозе, собирая кости, которые он жег и продавал, на ваксу и на разные снадобья, какому-то засевшему в ближнем уездном городишке осколышу наполеоновской армии, учителю всякой всячины и досужему делателю ваксы и помады,— как вдруг к нему, к Кузе, подошел, отколь ни взялся, цыган ли, татарин ли какой, поглядел на него и присел на кучку навоза, будто хотел стеречь ее от суковатой клюки бедного Кузи. Кузя поглядел на него искаса, стал опять разгребать сор поодаль от шабра, от соседа, и сметил, что новый сторож, на кучке сидючи, задремал. «Кто это?» — спросил тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телят и свиней. «Неужто ты эту собаку не знаешь? — сказала Мотря шальная.— Это Будунтай, чертов пай, всем ведомый переметчик; он в Вятке барсуком из норы вылез, в свояки семи шаманам сибирским приписался, под Чудовым в козла оборотился, в Вологде свечой подавился, да кабы казанские татары не сняли с него шкуры на сафьян, так бы и светильня за ним пропала! Он перекинулся в тройку бегунов,— а из них две лошаденки белые, а одна голая,— да и ушел на три стороны; ищи его! Вот он за что и слывет у нас переметчиком, что перекидывается, собака, во что ни задумал!»

Бедный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистого крика шальной Мотри,— а уж Будунтая и нет: на том месте, где он сидел, лежит только камень, а камня того, кажись, прежде не было. Кузя застрочал деревянную шпильку, подкрался к камню против солнца, да и приколочил тень камня того к земле». «Что-то будет?» — подумал он. Долго камень лежал да отмалчивался, а Кузя стал разгребать под ним кучу навоза. Тогда и камень не утерпел: он перекинулся пошехонцем, в поршнях, в зипуне, с берестовой котомкой за плечами, и стал просить Кузю, чтобы он не ругался над бедным, бездомным поденщиком, чтобы не подрывался под него суковатую клюкою, а вынул бы колышек, на который-де, того и гляди, либо скотина, а не то и прохожий человек наступит да напорет ногу. Тогда Кузя наш догадался, что Будунтай недаром о колке заговаривает, и не вынул его, доколе тот не посулил ему за волю свою любого. «Сокрушил меня, злодей! Проси, чего хочешь»,— сказал наконец Будунтай, а самого сердце так и подмыкает; потом снял шапку, отер пот с чела полотенцем с

алыми шитками да со владимирскими городочками — и вздохнул тяжело, словно в оглоблях.

— Выучи меня своему досужеству, — стал тогда просить бедный Кузя.

— Изволь, — отвечал Будунтай, — отпусти ж меня!

— Нет, врешь, обманешь, в лес уйдешь, — приговаривала шальная Мотря.

— Дай задаток, — сказал Кузя, — видно, Мотря шальная правду говорит: мужик тонет — топор сулит, вытащишь — и топорича жалы! Дай задаток, а не то не отпущу!

Будунтай разгреб, не вставая с места, под собой кучу, достал горсть алтына, золота, и высыпал его Кузе в котомку.

— Врет, обманет, в лес уйдет, — приговаривала опять Мотря.

— Все это хорошо, — сказал Кузя, — да этого мало; надо мне тебя затаврить, чтобы ты не ушел, да окарнать, для приметы, одно ухо; пой песни, хоть тресни, а без приметы не пушу; ты не курица, ногавки на тебя не навяжешь, — давай ухо!

Будунтай переметчик осерчал, стал браниться по-своему, по-вятски:

— Чего *талы* натарашил на меня, *блябла* те в ухо, чтоб тебя *комуха* в *ромух* свернула. Чтоб тебя *уроса* в *вицу* иссушила, да *шоры* и *силки* \* пупочки с тебя посклевали! Бери нож, — сказал он наконец, — да режь ухо!

— Нет у меня ножа, — отвечал Кузя, — доставай свой, не то зубом грызть стану!

Будунтай снял с пояса складной нож, раскинул его, подал Кузе и подставил правое ухо.

— Левое давай, собака, — сказал Кузя, — недаром что-то ты его отворачиваешь!

Будунтай подставил и левое. Кузя ухватил ухо, перегнул его, как сгибают сапожный товар, когда клюшву выкраивают, вырезал и ускорнячок углом, положил лоскут в котомку, где лежали гусли, и выдернул из земли колышек. Будунтай только крикнул, встал, встряхнулся, в черного петуха обернулся и приказал Кузе приходить в самую полночь за село, на распутье, где дороги разбе-

---

\* *Талы* — глаза; *блябла* — оплеуха; *комуха* — лихорадка; *ромух* — тряпица; *уроса* — упрямец (это испорченное татарское *урус*, русский. И поляки говорят: *urarty, jak Moscal*); *вица* — хвостина; *шоры* — индейка; *силки* — цыплята. (Прим. В. И. Даля.)

гаются, в лес, на водопойное озеро да на кладбище. Сам взмахнул крыльями, перекинулся рябой сорокой и полетел, как сороки летают, поджимая крылышки под мышку, да все прямо, что из лука стрела.

Бедный Кузя пришел домой, высыпал старикам своим пригоршню золота, сказал, что богатый человек берет его в услуженье да в ученье и вот прислал-де им задаток. Старики порадовались и потужили; сын покинул им оставные гусли и пошел в полночь на перепутье.

Прислонившись к верстовому столбу, прождал он уже долгонько, стало время за полночь, а Будунтая нет. Кузя сказал про себя: «Не даром, видно, Мотря честила тебя; видно, знает она дружка! Ну, да меня теперь не проведешь, от меня в лес не уйдешь!» Сам вынул ухо Будунтая и укусил его зубами. Столб, у которого стоял бедный Кузя, взвизгнул по-верблюжьи и закачался. Кузя отскочил в сторону, поглядел на версту, на столб:

— Кой черт! Ты что ли это, Будунтай?

— Я, да что ж ты кусаешься, знаком? — сказал пегашка-столб, — пойдем, что с тобой делать, пойдем в науку: да только, гляди, теперь ты мне слуга, поколе не выучишься всему досужеству моему, от аза до ижицы!

— А там что, — спросил Кузя, — как выучусь?

— А там, — отвечал Будунтай, — на свой пай сам промышляй; беркут пискленка кормит, а орла не кормит.

Будунтай взял его и продержал в науке довольно долгое время. «Как он учил его своему художеству?» — спросите. Да вот как: выдернет у него руки, ноги, самого в ком свернет — вот вам кочан капусты; запустит ему руку в глотку, по самое плечо, ухватит там, за что ни попало, вывернет наизнанку — вот вам ни то, ни се, ни черт знает что. Такое ученье бедному Кузе наскучило и надоело; он стал проситься домой, уверяя, что он уже всю науку прошел и всему научился. Будунтай-переметчик позвал стариков, родителей его, вывел им трех коней и спросил:

— Который ваш сын?

Старик поглядел да и указал, наудалую, на авось, среднюю.

— Нет, — отвечал Будунтай, — знать сын твой не доучился. Поди и приходи через полгода.

Вы знаете, ребята, что ждать полгода долго, страх долго; а между тем, оглянись назад, его уже и нет!

Старик пришел в срок, а Кузя как-то тихомолком шепнул ему: «Укажи-де на ту кобылу, которая будет вертеть хвостом».

Но Будунтай вывел ему трех курых куропаток и велел узнать сына. Старик указал опять на какую попало — и не угадал. Кузя известил отца, что в следующий раз будет оправлять носом перышки на шейке — а Будунтай вывел опять коней. Средний махнул однако ж хвостом, старик его узнал и взял выученного сына домой. «Возьми его, — сказал переметчик Будунтй, — да слушай: береги его, как око свое; если ж понадобятся тебе деньги, то вели сыну оборотиться в коня, веди на базар и продавай: да только, смотри, уздечки с ним не отдавай, а сыми да неси домой, так и он дома будет». Колдун махнул рукой и пропал, словно сквозь землю провалился, а лошади оборотились в людей: вороной жеребчик в Кузю Бесталанного, рыжая кобыла в шальную Мотрю, а чалый мерин никак в тебя, Терешка!

Старик пришел с сыном домой, дождался торгового дня; Кузя оборотился конем, отец повел его на базар, продал, накупил сладкого и горького, квашеного и соленого, — а он, вишь, держался русской поговорки: пей кисло, да ешь солоно, так и на том свете не сгниешь. Накупивши всего, чтобы было, чем полакомить и старуху свою, пошел домой; а Кузя, его сын Бесталанный, дорогою его нагнал, и они опять оба вместе, рассмеявшись да порадовавшись, как ни в чем не бывало, воротились домой.

А ушел наш Кузя от нового хозяина своего вот каким делом: ржевский мещанин, барышник, приехавший в нашу сторону закупать лошадей, чтобы там гнать их на Лебедянскую ярмарку, сторговал и купил у старика гусяря каракового коня, четырех лет, трех с половиною вершков, без тавра и без отметин, поспорил было с хозяином за то, что этот, поупрямившись, не хотел передать ему, как водится, повод новопокупки из полы в полу, а с коня, не по обычаю, снял недоуздок, — известно, что корова покупается с подойником, а конь с недоуздком, — наконец, однако же, чтобы не упустить сходной покупки, на все согласился и заплатил гусярю деньги. Не успел этот отойти, а ржевский барышник оглянулся на бойкую, голосистую торговку, с которой тем часом молодой калмыцкий жеребчик стянул зубами головной платок, как народ, обступив нашего коновала и барышника, стал хохотать и указывать на него пальцами. Ржевский мещанин оглянулся назад — у него в поводу не конь, а человек. Что тут было шуму, крику, брани, божбы и смеху — весь базар расхотился; казаки отняли у рже-

го коновала бедного Кузю; этого отпустили, а того прозвали полоумным. Хотел он было идти просить — да к кому пойдешь и на кого? Но это, слышь, не все, а была еще потеха вот такая: крымский цыган, подкочевавший на базар с походною кузницею и увидевший, что приключилось со ржевским коновалом, рассудил, что Кузькино ремесло неплохой хлеб и что не худо бы попытаться перенять у него доброе дело; загадано, сделано; цыган продал тому же барышнику клячонку свою, а потом украл ее у него из рук, передал товарищу, а сам надел на себя недоуздок. Когда же барышник наш оглянулся и снова увидел, что ведет в поводу не коня, а живого человека, только другой масти, смурого цыгана, то плюнул, кинул повод, перекрестился, прочел: с нами крестная сила и помилуй мя, господи! — уехал с базара, и с той поры в Черкасск более ни ногой. Ну его, рыжего, к семи Симеонам, обойдемся и без барышников! Только, окаянные, цены портят, с чужого добра сбивают! на свое наносят да набивают, а проку в них ни на волос!

Дождавшись другого базарного дня, гусяр наш опять вывел лошаденку на продажу. На грех навязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоил нашего старика, присударивал да присударивал и купил у пьяного гусяра коня и увел его совсем, с недоуздком. Старик пришел домой, проспался, спохватился, да ожидает сына своего чуть ли не поныне.

На этот раз купил Кузю Бесталанного сам Будунтай. Первым делом Будунтая было отрезать у новокупки левое ухо, на обмен, на выкуп своего, которого иверень о сю пору еще оставался за Кузею. Разменявшись, оба они стали с ушами; да уже отныне, хоть и был Кузя по-прежнему мастером науки, в которой искушался на выучке у Будунтая, не стало ему, однако же, более по-прежнему власти над учителем своим, а должен был Кузя поневоле ему покориться.

Будунтай, изморивши да загонявши коня новокупленного до белаго мыла и задавши на нем концов десяток-другой по городу, прискакал домой — а дом у него стоял в чистом поле невидимкою — и привязал лошадь подле тына. Никак у тебя, Лукашка, кобыла была, из Гукеевской орды, что не терпела на себе в стойле недоуздка: бывало, как ни пригонишь на нее оброт, как ни подтянешь его пряжкой, она дотоле чешется, доколе не скинет его с головы долой. Кузя Бесталанный у нее, знать, наострился: только что Будунтай в избу, а он ну



чесаться щекою, задрал голову кверху,— задел недоуздом за кол плетня, да сташил его долой с головы, через уши.

Мальчишка, сын Будунтая, увидел это, на дворе стоя, и побежал сказать отцу. Тот, выскочив, пустился в погоню за конем, и тут-то пошла потеха. Кузя, видя, что лютый барс его нагоняет, ударился об землю, перекинулся белым кречетом и взмыл по-над крутым берегом реки. Будунтай ударился на него сизым беркутом; Кузя ринулся клубом об берег, перекинулся пискарем и соскочил в воду. Будунтай, таки прямо, как мчался за ним, комом грянулся об воду, распластав высокий вал надвое, и шукою зубастой насел на хвост мелькавшего серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бедняга вынырнул стрелою из воды, сделал, собравшись с последними силами, скачок в маховую сажень, обернулся в золотое колечко и подкатился под ноги гулявшей в те поры на муравке бережной, княжны Милолики, дочери владельца той земли. Княжна Милолика подхватила колечко, надела его на пальчик и с радостным удивлением оглядывалась вокруг. Будунтай вынырнул гусем лапчатым из воды, выплыл на берег, встряхнулся, оборотился в купца кашемирского, подошел к княжне и стал просить убедительно отдать ему потерянное им колечко. Княжна испугалась густой черной бороды и воровских карих очей да сурменных бровей и чалмы кашемирца, закричала и прижала колечко к груди своей. Сенные девушки да подруженьки набежали, окружили младшую княжну свою, кинулись все на неотступного бородача и начали его щекотать без пощады, до того, что незванный гость хохотал и кашлял, и плакал и чихал, и ногами и руками лягался, и снопом овсяным по мураве катался, да такая над ним беда прилучилась, что позабыл было всю науку свою; через великую силу опамятовавшись, оборотился он мигом в ежа, от которого девушки, поколов алые пальчики свои чуть ли не до крови, с криком отскочили. Пастух, прибежавший на крик и шум, взмахнул долгим посохом своим и ударил свернувшегося тугим клубом ежа, и еж рассыпался калеными орехами; запрыгали орешки по земле, а девки кинулись их подбирать, да опять-таки с криком отскочили, побросав все, что захватили на лайковые ручки свои: орешки не тем отозвались; это были раскаленные ядрышки, и барышни наши пообожгли себе пальчики.

— А я бы рукавицы надел, да подобрал,— сказал ко-солалый Терешка.

— Знать, ты умен чужим умом; ты и в Киев дойдешь, коли люди дорогу укажут,— отвечал сват,— а сам ты, брат, и лапы обжегши, не очень бы догадался, как управиться; чай, стоял бы, вытулив очи, да поглядывал бы на диво дивное, что красноносый гусь на татарскую грамоту!

Княжна показала царственным родителям своим ненаглядное колечко, да испросила позволения любить его и не сымать с пальчика своего ни день, ни ночь. Как только осталась она одна, то и начала играть колечком: надела его на тонкий шитый платочек свой и, забавляясь, покачивала да перепускала по платочку от конца до конца. Вдруг колечко как-то упало, покатилося, и — казак, молодецкая душа, Кузя Бесталаный, стоял перед княжною. Он убрался на этот раз в малиновый бархат да в тонкое синее сукно. Никто в палатах царских не слышал разговоров его — княжна, однако же, вышла к бранному столу и грустна и радостна, и опять-таки с заветным колечком на руке. Она сказала только батюшке, что сегодня-де, наверно, опять явится тот страшный купец, кашемирская борода, и будет просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у нее этого сокровища. Когда же и в самом деле по вечеру явился купец, у которого все еще не прошла икота после вчерашней щекотки да хохотни,— когда пришел, говорю, кашемирец за потерянным будто бы на берегу реки колечком — то царь-отец позвал дочь свою и приказал отдать купцу кольцо: «Нам чужое добро таить, дескать, не идет». Княжна отвечала, что не смеет послушаться дорогого родителя своего, но и не может передать мужчине колечко из рук в руки; а поэтому и кинула его на пол,— пусть-де не прогневаается да сам подымет. Но колечко рассыпалось мелким жемчугом; купец живо встряхнулся, перекинулся черным петухом и начал проворно подбирать жемчужинки; а подобравши все, взлетел он на окно, захлопал крыльями и закричал петухом: «*Кузя, где ты?*» — да словом и выпорхнул в окно. Но княжна, которую наш Кузя, видно, наперед уже подучил да настроил, кинув колечко, уронила в то же время, будто невзначай, платок свой, да им и прикрыла одну, самую крупную жемчужинку. Она-то вдруг выкатилась из-под платка, отвечала на спрос петуха, словно петухом же: «*А я здесь!*» — и ринулась соколом из окна; грянул сокол с налету — только шикнул крыльями по воздуху,— грянул клубом в черного петуха, подпорол ему заборным

когтем левый бок, да черкнул по левому крылу, помял и поломал все перья правильные; упал камнем петух за-  
мертво в крутоберегий поток, и понесло его волною вниз,  
по реке, по зеленой воде. Почернела и побагровела вода  
от пенистой крови; а подрезанное левое крыло вскинуло  
и подняло ветром, оно и запарусило туда же по пути,  
вниз по реке, поколе не завертело петуха встречным те-  
чением, в заводи — там, сказывают, сомина, чертова об-  
разина, им было подавился, да нет, справился, проглотил;  
не подавится он, чай, и самим сатаной, не токмо ко-  
нем его подседельным.

Сокол взмыл над теремом царским, вспорхнул в ши-  
рокое окно, сел на руку княжны своей и поглядывал на  
нее ясными, разумными очами. В это самое время чер-  
ный петух испустил дыхание свое, а ясный сокол спорх-  
нул на пол и предстал в том же виде, как колечко давеча  
перед княжною: перекинулся молодец-молодецким. Со  
смертию Будунтая Кузя лишился, правда, силы и  
умения перекидываться и принимать иной образ, да и не  
тужил уж об этом; живучи в довольстве и в богатстве с  
супругою своею, бывшею княжною Милоликою, вскоре  
наследовал он престол царский, жил да княжил, правил  
да рядил, солоно ел да кисло пил, стариков своих, гу-  
сларов, поил да кормил, а Терешке косолапому велел,  
братчиной да складчиной, насыпать песку за голенище!  
Держите его, дурака, ребята, держите его!

## СКАЗКА О КЛАДЕ

*(Богатырская сказка)*

Как подумаешь да порассудишь, что иной голыш,  
бедняк, бьется из-за последней копейки, из-за куска хле-  
ба, колотится, что козел об ясли, весь век, — да и то бы-  
вает, не добьется до торной тропы, чтобы пройтись, как  
люди ходят; а иной, господен крестник, только шапку на-  
ставит, и валится всякое добро и милость, живи да по-  
живай. Как подумаешь, подгорюнясь, про эту притчу,  
так поневоле и сядешь, надувшись, как волостной наш,  
коли его кто обнесет случаем чаркой, — сядешь, да и пе-  
реведешь дух, что кузнечный мех, да повесишь голову и  
сидишь.

Мужичок, сказывают, живучи где-то в понизовом захолустье, также, по насущному, все тужил да тужил, что ему талану нет; а все, вишь, хотелось разжиться так, ни с чего, здорово живешь; не то, чтобы работать да потом, а сидючи-глядючи, по белу свету гуляючи, пляшучи да припеваючи; и задумал он разбогатеть кладом. Наладил он песню ли, сказку ли про этот клад, да все и читает ее одну, словно вековую докучную сказку про Сашку, Серую Сермяжку; и бредит кладом, и здороваается с тобою кладом же, и прощается кладом, и куска, прости господи, ко рту не поднесет, не помянув, хоть про себя, клад. Чему же быть тут доброму, коли человеку дурью глаза и уши запорошило, голову набило по самое темя? Люди берутся за цепь, за косу, а он персты расставит пошире, словно грабли, уши развесит, да так и ходит по селу, дурак-дураком; только и норовит, где бы какого старика поймать, чтобы порассказать ему, какие клады бывають, да где живут они, да кому даются, а кому не даются; и не одну ночь, чай, прошатался молодец наш, клада ищучи, то к Лукашкину яру, то под Заячий лаз, то на Мурзинский курган, да, видно, не дастся клад: молодец наш ходит все тем же оборванцем, в сермяжном зипунишке, что на одной подкладке держится, а то бы давно развалился.

Первые клады в понизовых губерниях положили, сказывают, волжские разбойники. Выедут они, бывало, ночью на матушку-Волгу широкую, в *косной* лодке, да прикроются сверху рогожами, чтоб не видать было народа, и только воззрятся на расшиву какую, либо в досчанник, в кладную, то и держат прямо в корму. Коли кормщик на путевом судне, по обычаю, окликнет их: «Мир, бог на помочь», да «Откуда бог несет?», а потом: «Чье судно, чья кладь, откуда бурлаки?» То чем бы им, как добрым людям, отвечать: «Вам бог на помочь, оттуда-то, хозяин такой-то, кладь такая», да выждать попутного слова: «С богом!» да и идти себе своим путем, так разбойники молчат, говорю, на оклик, да держатся прямо в корму, а подошедши, кидают причал, а атаман кричит: «Бери причал!» Бурлаки знают, что разбойника ни одна пуля не берет, обух не одолеет; принимают молча причал, и на приказ атамана: «*Сарынь на кичку*» все до одного прячутся в *мурью*, в порожнее место промеж палубой и кладью. Хозяин тут управляйся один, как знаешь, а бурлаки ни за что на разбойника руки не подымут. Разбойники взлезают на судно, берут хозяина, либо приказ-

чика, кто случится, и допытывают: где деньги? А коли устойчив больно да упряма, так бывало и то, что поджаривали на легоньком огоньке. Набравши золота и серебра много, случалось, что разбойникам девать его некуда; они и зарывали его в землю и писали на клады эти *записки*, где лежит клад, и кому он дается; вот, например, запись на клад: «От села Свекловихина на полдни, в семи верстах от Красного-яру, супротив большого каменного мару, в двухстах шагах, а от раздвоившейся березы в сорока семи шагах, положено кладом, в двух чайниках медных да в котле чугунном, на глубине косой сажени, золотом на двадцать на одну тысячу, серебром на семнадцать с половиною тысяч, да золотых с камнями дорогими перстней два. А клад этот никому не дается, только дастся он молодцу удалому, накануне Ивана-Купала, коли задом пройдет от самого села до места и станет рыть, не оглядываясь, не озираючись, да обет положить выкупить трех человек из острога, да господских троих на волю вольную. А буде зарок не выполнит, то клад пропадет, в него самого уйдет и огнем вьестся, и в костях мозги усохнут. Слово мое крепко». А какой зарок либо завет кто положит на клад, такое слово и твердит про себя, когда клад зарывает; затем уже клад не дается тебе, коли завету не исполнишь, во веки веков. Сказывают, что один какой-то обронил запись такую, а мужик нашел ее, вынул клад, сам пропал без вести сорок лет, а воротившись, выкупил у господина на волю всю деревню свою. Другой клал клад и приговаривал: «На сто голов молодецких», то есть, чтобы сто молодцов пришли за кладом этим, а больше он никому не дастся; а лыкодел в лесу тут же подле случился, да переговаривал за каждым словом по-своему: «На сто колов осиновых»; переговорив хозяина одним разом — а кто такое слово напоследок вымолвит, по тому и быть, — лыкодел вырубил сто колов осиновых, поклонился ими кладу, да и вынул его, и клад ему дался без спросу. Опять другой, сказывают, положил клад богатый, да не велел даваться никому, поколе на этом месте станет море. Мужичок этот помер, а запись досталась сыну, да только не знал он, как с нею быть и как добыть клад. На селе этом жил мужик, про которого шла молва, что он всякую пору и притчу знает и оборот во всяком деле; к нему и пришел с записью молодой парень на совет, да и прогулял, по недогадливости своей, клад. Мужик этот провел парня, то тем, то другим его пробовал, а как весна пришла, так

подпрудил место, где положен был клад, заметив его колом, да под водой и вынул. Вот-де тебе и море! Есть где-то, сказывают, пугачовский клад; положен в мешке кожаном, а мешок в рубаху, а посверх кладу положен убитый человек, нарочно, видно, чтобы, кто рыть станет, подумал, что это-де могила, и покинул бы ее. А это еще слышал кто, что есть жук, который летает ночью накануне Иванова дня и сам норовит налететь на человека: коли рот растворишь да подставишь его, и жук влетит, то выплюнь на руку, и у тебя богатый клад; сыпь скорее с руки в мешок, либо в шапку, да во все карманы,— посыплется чистое золото!

Иные кладут благовестивый клад с молитвою, а чаще того, спознавшись с нечистой силой, с бесовскою властью; тогда уж не вынет его никто, не отдав душу черту. Много есть кладов татарских и калмыцких старых годов: так к тем уж не приступайте без шайтана, либо веди такого же некрещеного татарина. Эти клады живут без записи, да не вынешь, хоть и знал бы, где лежит, коли с шайтаном не побратаешься. Есть и такие клады: что взаимы дают; приди, попроси честно, с поклоном: дай-де, пожалуйста, кум, сотенку, я принесу тебе накануне Рождества, либо там в Духов день, что ли,— и дастся, да только, если, упаси боже, обманешь, так пропал; помрешь, либо рука усохнет, а не то сам пойдешь по свету белому кладом ходить, до поры до времени, пока кто не ударит тебя, как в драку пьяный полезешь, по щеке, тогда сам и рассыплешься кладом. А есть и такие, ходячие клады: мужик, сказывают, ночью нашатнулся на какую-то сапату кобылу, да хотел отогнать ее, ударил кнутовищем — она и рассыпалась кладом, да все старинными золотыми да крестовиками. Другой мужик этак же хотел ночью свинью выгнать из огорода, и, бог весть, говорит, отколе она затесалась: тын плотный кругом, что и кошке негде пролезть, и калиточка на запоре, а хрюкает, ходит да по грядам роется. Мужик выскочил в избу, ухватил полено, шархнул свинью вдоль да по боку — она и рассыпалась кладом, да таким, что десять огородов можно купить, да по десятку работников еще на каждый. А то есть и такой клад, что ни с чем не дается, как только по своей доброй воле; кто знает, где он лежит, так ходят о полуночи туда да упрашивают его и кумом честят; ино раз десять побывать доведется да потолковать с ним, поколе покажешься ему да приглянешься да на него угодишь: а сдастся, так твой, бери смело.

Всего этого, а может, еще и больше того, наслушался молодец наш, словно сыворотки нахлебался: брюхо набито, а ни вкусу, ни проку; и уже ничего не слышит, не видит, кроме клада. Одно на уме, одно на языке. Человек видит свинью, либо другую какую скотину, так подумает, может статься, ину пору — кого грешная душа не одолела — подумает разве только, что вот-де, кабы она моя, так я бы ее на рынок свез да продал; либо: вот, кабы моя свинья, так откормил бы ее к праздникам да зарезал, уж по крайности знал бы и помнил, что бог дал праздник; так подумал бы, говорю, иной человек; а наш молодец, на котором лохмотья серой сермяги держались, как листья кочана капусты вокруг кочерыжки, не иглой да ниткой, а тем, что приросли,— наш молодец, все только, как увидит свинку, так и норовит свистнуть ее из-за угла поленом — не рассыплется ли кладом? А тут, глядишь, по рылу заденет ее поленом, она и околела; и раздельвайся да ведайся с хозяином, как знаешь. Так то не раз, бывало, отомнут нашему молодцу за проказы эти бока, что он про себя думает: хоть бы уж самому мне кладом рассыпаться, так уж был бы один конец! Сказывают, что сделал молодец наш раз как-то еще лучше: повстречал он на чужом селе немого старика, нищего, и померещись ему, что это ходячий клад; он, подошедши, да и давай его, бедняка, колотить: а тот нем, слова не вымолвит, ревет не своим голосом — а сказать ничего не скажет. Тут набежали ребята, схватили раба божьего, искателя клада, валяли его часа два, словно гвардейское сукно, да еще и затаскали было по судам да волостным правлениям, так что вышел он оттуда — еле-еле душа в заплатах держится, весь костяк наружу вылез. Кажись бы, это ли не наука ему? Так нет; отдохнул да перемогся — и забыл прошлое горе и готов, хоть ныне, хоть завтра, опять за кладом идти. То-то забывчив на прошлую беду русский человек: и крута гора, да забывчива!

Подсиживал молодец наш и папоротниковый цвет, выжидал его, как пылинку в засуху росинку,— не дался; собирал и семитравный травник,— либо не досушил, либо пересушил, а кладу не доискался; выходил и до зари по ночам подстеречь да высмотреть, на каком месте в *сухих буераках* черти поминки поминают, потому что слышал от старых людей, что там быть и кладу,— не доискался и чертей; искал он и разрыв, либо спрыг-траву, которую называют железняком и от которой все запоры

и все затворы раздвигаются и клады сами в руки даются,— так не далась ему и трава эта, бог весть, отчего; словом — пришлось нашему искателю хоть камень на шею да в воду, коли б шайтан его не помиловал; слушайте:

На самого Ивана-Купалу, когда настоящая пора бывает клады искать, молодец наш пошел к ночи в раздумье, куда глаза глядят, и стал думать про себя уже вот что: когда б то найти мне хоть такого сатану, что сказывают, душу берет да чистым золотом за нее расплачивается — ах, когда б найти! Не пожалел бы душишки своей, отдал бы черту, хоть самому ледашему, только бы отсыпал он мне шапки две этого добра — ей, не пожалел бы душишки, ниже для последнего поганца, которого, может статься, там, на низу, и в ломаный грош не ставят и бьют, и обделяют, и немного душишек на его долю достается.

Не успел так подумать молодец наш, как, не к ночи рассказывать, закрутился перед ним вихор столбиком, круче да круче, гуще да гуще — вспыхнуло с исподу, от земли, полымя, побежало, словно зарево, по черному столбу — и вышел из него, отряхиваясь, человек. На нем смурая епанча какая-то, не то хламида, алая жилетка, смущчатая высокая черная шапка с алым верхом, а сапоги с превысокими подборами, так что след на дороге оставался не от всей ступни, а только от каблуков подкованных, — да подкованных больно хитро: душкой наперед, а шипами назад. Молодец наш поглядел на него — обдало его, молодца-то, мурашками — однако, пошел вперед, как ни в чем не бывало. Тот пристал к нему, словно попутчик какой, идет рядом и заговаривает. Молодец всмотрелся в него — рожа черная, рыло широкое, глаза навывкате, брови облезлые, борода щетинистая, уши лопастью, лоб поперек раздвоился, да из-под шапки комли рогов выглядывают; а как стал господин попутчик кутаться в хламиду да хоронить туда морду, чтобы Герасим не так бойко вглядывался, так показались и лапы перепончатые, словно лягушечьи, да с когтями вершка в полтора. «Молчи,— подумал Герасим — а так звали нашего молодца, хоть сколько ни таились, а пришлось сказать,— молчи,— подумал он,— смекаем и мы кое-что: будем сватами, ударим по рукам».

Слово за слово — попутчик зовет уж Герасима к себе в гости.

— И дам,— говорит,— тебе, чего хочется, добуду все это и достану, только и ты мне прислужишь, не откажи.



— Чего хочешь,— отвечает Герасим,— того и проси; я ль тебе не слуга буду? Весь твой, навеки веков, только дай ты мне натешиться добром своим, чтоб был я в людях человеком, чтоб была и мне честь не хуже других; дай ты мне найти клад; укажи, где он лежит, да пособи вынуть!

— Что клад,— сказал на это попутчик,— у нас есть добра этого довольно, найдется достаточное число-количество, не рывшись за ним далеко.

А сам тряхнул на ходу одной рукой, тряхнул другою — полны горсти золота. У нашего молодца сердце так и замерло; как увидал он это, ино вперед попутчика забегает по тропинке, да задом ногами частит да умаливает и спрашивает:

— Поделись, сватушка, поделись, куманек, век служить буду.

— Это что,— сказал опять попутчик,— из-за этакой щепоти нечего и рук марать; нет, мы найдем и почище этого. Да ты, признаться, сегодня очень кстати пришел: в эту ночь мы поверяем клады, пересчитываем их, все ли живы-здоровы и целы; так ты, коли пойдешь со мной, сам увидишь, что у нас этого добра, как говорится, по-вашему, тьма и пропасть. По-вашему, конечно, такие слова означают совсем не то; у нас свой язык, прямой, ясный, без всяких затей. Мы говорим промеж собою на всех языках и наречиях, да только половину слов из обихода своего выкидываем вовсе, а понимаем друг друга не хуже вашего. Сами ж вы или мудрецы ваши твердят: всякое излишество зло,— и пилите, и мучите поговоркой этой и себя и друг друга, а сами же ни в чем меры не знаете; да после еще плачетесь на беду свою, коли мы в подземных чертогах своих поем вашу же песню: «А нашего полку прибыло!» Смешной вы народ, право, смешной: и хочется, и колется — по этой поговорке своей от зыбки до могилы; вот хоть твоя милость, например, половину века отжил, добра никакого в глаза не видал, а не попадись я тебе теперь, так и пропадал бы ты и бедовал в свою голову до самой могилы — а все бы чертогов наших не миновал, потому что, сам знаешь, живучи не спасался.

— Дядюшка,— отозвался молодец наш,— дядюшка, да я ли не ухаживал за вами, я ли не напрашивался, возьмите-де меня — с начинкой, со всем, и душу и тело, как вот стою перед вами; что же я делать стану, коли не допросился, не домолился вас?

Черт плюнул трижды и продолжал:

— Вот то-то, видишь, бестолковый вы народ: я говорю, что и хочется и колется, вы все мешаете одно с другим; вам бы этак хотелось выкроить, чтоб и волки сыты были и овцы целы, пробраться средней дорожкой; за нашего брата хватаетесь, а не весть, что поминаете, да по сторонам оглядываетесь, кому бы еще про запас поклониться, чтобы, на случай неудачи, было кому приютиться, да чтобы после на нашего брата поклеп наклепать, небылицу взвести, будто-де не по своей воле за эту грамоту взялись, а мы, вишь, соблазнили. Соблазнили! Ах вы, горемычные! Коли б вы нас сами не затрогивали да двуязычием своим ину пору в беду не вводили, так кто бы стал занимать вас, и какой бы черт стал вам кланяться да в батраки записываться, вот как я теперь, да потешать вас и все прихоти ваши и причуды? Нет, сосед, у нас так нельзя; середка на половине, это не прихоть; этак не попадешь ни туда, ни сюда, а черт знает куда, как вы же говорите; наш, так наш, так уж и будем знать, что наш; а не наш, так и скажи.

— Да ваш же, дядюшка, ваш, весь вот как теперь перед вами; и рожки прикажите мне приставить, коли хотите, только, пожалуйста, не больно великие, чтобы, знаете, хоть под шапкой их не видать было: я и от этого не прочь; что хотите, то и делайте.

— Не в рожках сила, — отвечал сосед, — вы все, вишь, не то городите. Пожалуй, другой у вас и в рожках ходит, да не сюда глядит, а тоже толкует о всякой всячине. Нет, ты ходи, в чем хочешь; постный покрой нашему брату не помеха; мы и сами иногда... Ну, да об этом после; вот видишь, гляди-ка сюда, мы дошли до места: есть по чему глазам твоим поразбежаться!

Молодец наш оглянулся — и дух в нем замер от радости; так вот льдом и окатило, а после кипятком. Земля перед ним расступилась, и открылся вертеп, весь в огнях цветных, так что глазам не дает глянуть. Черти, и малые и большие, таскают мешки в кучу, да котлы, да сандуки; один ходит со связкой ключей, да отпирает, да свидетельствует замки и печати, да смывает их; прочие высыпают золото, серебро, дорогие камни, да уже не счетом. — куда! тут не найдешь никакого счета! а гарницами пересыпают, да мерками и четвериками. Голова ты моя, головушка! Что за пропасть добра, серебра да золота: словно утроба земная перед тобою разверзлась и кажет все сокровища свои, которые накопила со дня ми-



роздания! Страшно глянуть было на богатство это; нашего Герасима взяла бить лихоманка, таки не выждет, думается, не доживет того часу, когда черт наделит его сам этим добром. А черти, как увидели, что привели к ним нового товарища, так вот и забегали, словно мыши в подполье, и давай пересыпать перед гостем золото из кадки в кадку, из мерки в мерку. «Шабаш! — сказал Гераськин товарищ, — надо отдохнуть да повеселиться». И все черти покинули работу свою: который на счетах клал, кинул их на кучу серебра; который записывал, перо за ухо, да лист на столе перевернул, чтобы, знаете, кому дела нет до письма его, не прочитал, сколько кладов на свете есть и где они лежат; которые считалки, те давай кататься по золоту, как собаки по навозу, — да поднялся крик, смех, визг; а тут, глядь, отколе ни возьмишь, гусли, рожки, волынка, балалайка, гудок да еще и бубны: пошла пляска страшная и гульня такая, что Герасим стал уж то и дело оглядываться, не сбежится ли народ с соседних деревень на проказы эти; да нет, видно, спали еще все, не видать по оврагу никого. Глядел, глядел Герасим наш на все это, да опять стал присматриваться на золото, что огнем ясным блестело: горы золотые с горами серебряными перемешиваются; перстни, серьги, ожерелья, запястья, зарукавья, поднизиды все яхонт, алмаз, изумруд, бирюза; не стало мочи терпеть больше нашему Герасиму, подошел он к приятелю своему, попутчику, который, видно, сюда домой пришел и епанчу свою и шапку снял да наземь кинул, а ходил в красной жилетке, да, простите меня, в плисовых штанах с золотым лампасом, — подошел да и говорит ему потихоньку:

— Что ж, дядюшка, наделите меня, грешного, да отпустите...

— Ты ешь пирог с грибами да держи язык за зубами, — сказал, глянув через плечо, плисовый попутчик, — я говорю, что вам нельзя не завираться. Ну, дам я тебе; сказал, что дам, сколько на себе унесешь, еще, пожалуй, до околицы двух или трех пошлю с тобою помощников своих, чтобы донесли тебе добро это; да ты не обманешь ли меня после, не откинешься ли?

— Кто? я? — спросил Герасим, — откинусь? Дядюшка, да как хочешь, заставь побожиться; и вот тебе крест...

Шарасть! Все как рукой сняло; страшный гром с раскату ударил, и молнией опалило Герасиму бороду —

а черти все до одного в глазах его из вертепа в бездну бездонную попрыгали. В один миг, не успел Герасим и крестного знамения повершить, все пропало; темная ночь обдала его градом и дождем; буря завывала, гроза загрохотала, и бедняк лежал долго без памяти. Он проснулся на рассвете, в лесу, на скате крутого яра, хотел кричать — нет голоса, нет языка; хотел привстать — ноги отнялись; насилу, сказывают, дотащился он к вечеру на дорожку, там подобрал его мужик да привез на село. С этой поры Герасим лазил на карачках, протягивал руку, Христа-ради, за насущным ломтем, поколе не дошел до могилы своей.

Языка не доискался он по смертный час свой; тогда только он проговорил, покаялся и рассказал, что случилось над ним накануне Ивана Купала.



*Александр Вельтман*

## ЛИХОМАНКА

*Солдатская сказка*

**П**о принятии лазарета Артамон Матвеевич назначил Емельяна Герасимовича бессменным дежурным с тем, чтоб ни шагу из лазарета. Как исправный дежурный, Емельян Герасимович тотчас же пошел по камерам раненых и больных.

— Что, ребята, больны?

— Больны, ваше благородие.

— Все до одного больны?

— Все до одного, ваше благородие.

— Ну, на здоровье, ребята; а что ж вы тут делаете?

— Да что, нечего делать, ваше благородие, лежим, а подчас и посидим, как отляжет.

— Стыдно сидеть сложа руки!

— Стыдно, ваше благородие, да дело невольное.

— А кто неволит?

— Да есть тут командирша лазаретная.

— Что за командирша такая, где она?

— Да вот она, ваше благородие: Кузьму Иванова, полкового сказочника, треплет — трррах! трах! трах! тррррр!

— Это что такое?

— А вот, ваше благородие, она зубами бьет сбор на плац; сейчас начнет сказку.

— Трррах! трах! трах! Лежите смирно, ребята! По команде, слушай! В некотором царстве, в некотором государстве...— начал, пробарабанив зубами, полковой сказочник, который в жару лихорадки бредил сказками. Только что начнет его бить лихорадка, пойдет стукотня зубами, потом кинет в жар, и солдат начинает сказку:

— В некотором царстве, в некотором государстве...

— В некотором государстве? Ну! — сказал Емельян Герасимович, ужасный охотник до сказок, садясь на табурет подле койки солдата-сказочника и внимательно слушающая его рассказ.

— В некотором царстве, в некотором государстве,— продолжал солдат-сказочник,— жил-был на постоянных квартирах полковой командир, и было у него три майора, два умных, а третий — так ничего; и был у него сад, а в саду на деревьях росли румяные солдатики, а в цветнике все полевые цветы: ружья, тесаки, ранцы и разные снаряды. Дорожки, словно солдатская портупья, мелком вычищены и вылакированы. Вот, долгое время все честно было и в целости, вдруг смотрит дежурный по караулам, что ночь, то пропажа и казне убыток: кто-то обрывает солдатиков. Что делать! Дежурный глаз не смыкает; да перед зарей ветерок, словно винный спирт, в нос кинется,—смотришь, охмелеет дежурный и всхрапнет — глядь, а на каком-нибудь дереве нет солдатиков. Пошел дежурный докладывать про беду полковому командиру. «Ваше высокоблагородие! У нас в саду что-то не честно, кто-то солдатиков обрывает». — «Что ж ты смотрел? а?» — «И в очи смотрю, да не вижу, ваше высокоблагородие».

Посылает полковой командир пример-майора на ночь в сад стеречь солдатиков. Пошел пример-майор; чтоб не спать, стал амуницию пригонять. Всю ночь просидел — нет никого; а перед утром подул ветерок винным спиртом, такой хмельной, что мочи нет; отуманило доброго молодца, приклонил он голову на плечо, да как всхрапнет — глядь, а белый день на дворе, и солдатики оборваны. Погонял полковой командир пример-майора; на следующую ночь послал секунд-майора. И тот тоже. Пришел черед третьему — просто майору. «Постой,— дума-

ет он,— я не таковский!» И взял он с собой чесноку да лучку, залег за деревом — и затянул песню:

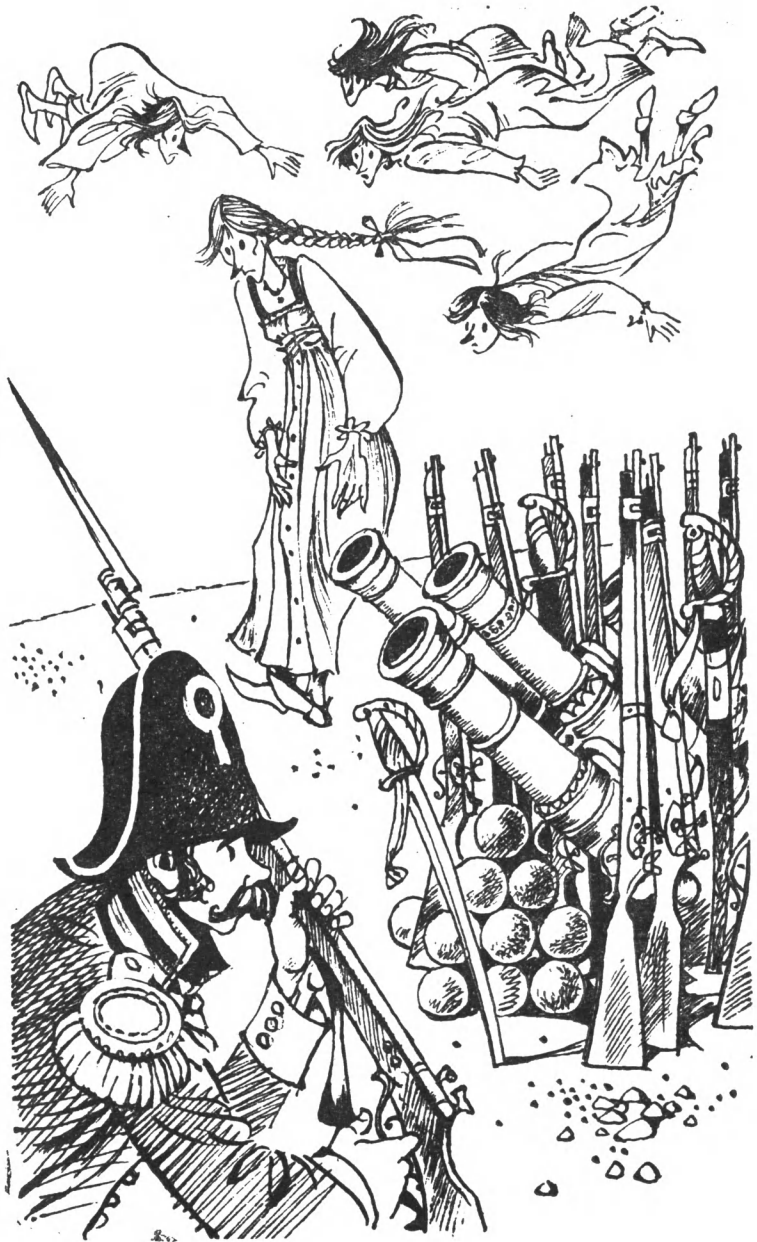
Ох ты, девица,  
Ты красавица,  
Ты позволь, душа, солдату  
Поживиться от тебя!

Вдруг слышит, под утро хмельным запахло! «Доброе дело! — говорит, — у нас есть чем и закусить». Только что ветерок пахнет спиртом, поднесет ему, а он и закусит лучком да чесночком. И притворился он, прилег пьяньюгой, всхрипнул, свистнул носом, высматривает, что будет. Видит — летят, черт знает на чем, душки-холодашки, а впереди них лихоманка — синяя-пресиняя. «Постойте, — говорит, — не нужно ли ему еще поднести?» И подошла она к майору, приложила ухо; а он ее цапцарап за длинную косу. «Ух, — говорит, — какая славная коса, точно грива, хоть на гренадерский султан!» — «Сударик, солдатик, господин служивый, господин майорчик, генерал ты мой сердечный, сделай милость, что хочешь возьми, толькопусти!» — «Ну, а что дашь?» — «Дам тебе любую душку-холодашку, выбирай по сердцу» — «А зачем ее мне?» — «В жены — славная будет жена, молодница, каких свет не производил». — «Э, нет, уж если жениться мне, так на тебе». — «Как можно! Ведь я лихоманка, царица лазаретного царства». — «А чем я хуже тебя — майор и разных орденов кавалер? Не хочешь, так ступай со мной в главную квартиру; там тебя сквозь строй проведут». — «Ну, так и быть, — говорит, — вот тебе рука моя». — «Э, нет, покажи сперва свое царство, да много ли у тебя всякого богатства». — «Нечего делать, полетим».

Вот, закрутив косу в руке, полетел добрый молодец с лихоманкой, — душки-холодашки за ним следом. Летели долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, и прилетели они в лазаретное царство, спустились у белокаменных палат. Лекаря, фершалá повыскакали на крыльцо, навстречу, приняли лихоманку под руки, и майор с ней рядом. Вошли в палату; а в палате по обе стороны на койках солдатики лежат да поохивают. «Много народу в твоём царстве! — сказал майор. — Здорово, ребята!» — «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — проговорили в голос солдатики, выравнявшись на койках, руки по швам. — «Что, каково вам здесь?»

— Очень... ваше высокоблагородие... если б порция немножко...





— Как, что? Да чем вас кормят?

— А бог знает чем, ваше высокоблагородие, и названья-то кушаньев все не русские.

— Прикажете-ко, сударыня моя, показать ваши прованские магазины?

Провели майора в аптеку. «Ну,— говорит,— какой порядок! Это, верно, крупа и мука, солдатские пайки в банках? Славный порядок! Посмотрим теперь кухню». Посмотрел майор, подивился: «Что же это,— говорит,— такое? Верно, похлебка, а это размазня с маслом?» — «А вот мы тебя попотчует, возлюбленный мой», — говорит ему лихоманка, подает ручку и ведет за браные столы. Уставлены столы склянками и банками, все с ярлычками печатными. Только что майор в палату, вдруг души-холодашки застонали, заохали лазаретную песню.

— Что ж это у тебя за девицы такие голосистые?

— А это все мои прислужницы; они и за большими ухаживают. Вот эта запевальница — резь, это — косто-едица, это — грыжа, это — ломота... невесты хоть куда! Женись только на какой — сохрани верность до гроба; не то что горячки-наложницы: нет, у меня на это строго! Садись же, возлюбленный мой!

— Ничего, мы постоим; поднеси-ко сперва водочки, да погорчее.

— Изволь, возлюбленный! Подайте, мои врачи любезные, хинной.

— А закусить-то чем?

— У нас, возлюбленный мой, не закусывают, а запи-вают водицей.

— Тьфу! Что это, желудочная что ли, для сварения желудка?

— Именно для сварения желудка, чтоб сам он не смел пищи варить — на то ему кухня латинская; глупо-му ли желудку верить жизнь человеческую: ни выби-рать пищи не умеет, ни меры не знает; то переварит, то недоварит — нет, у нас пища по выбору, вся на здоровье отпускаяется весом, да мерой, чтоб уж нечего было вы-брасывать... Вот для этого-то хинная настойка — пре-красная вещь: тотчас завалит желудок, запрет хоть куда.

— Вот что! А потом ты и женись на какой-нибудь душе-холодашке?

— Нет, сперва вытреплю хорошенько, сперва замо-рожу кровь в жилах, а потом растоплю мозг в костях...

— Как! Ты и солдатиков треплешь! А вы позволяете себя трепать?

— А что ж делать, ваше высокоблагородие: здесь не своя воля. Вот если б поднесли нам полынковой по стаканчику, так мы бы сами растрепали ее.

— Полынковой! — воскликнул майор.

— Смилуйся, возлюбленный мой! — крикнула лихоманка.

— А вот постой, смилуюсь.

Как поднесли фершалá больным по стаканчику полынковой... ух! Так по животу и пошло!

— Ну, ребята, принимайтесь за дело!

Как встрепанные вскочили они с коек, надели халаты и колпаки лазаретные.

— Трепли ее! — крикнул майор.

Начали они трепать госпожу лазаретную: разбежались со страху душки-холодашки, лекаря и фершелá.

— Стой, братцы, надо представить ее зáживо полковому командиру, чтоб видел он ее, что за птица такая; во фронт! строй колонну по любому взводу! Скоком, лётом, марш, марш!

Вот выстроились солдатики во фронт, потом построили колонну. Целая армия идет; а лихоманку связали и везут в обозе.

Как стали подходить к полковой квартире, часовые на городских стенах *ужахнулись*, бегут докладывать командиру, что турки идут в силе великой, в халатах и колпаках. Командир смотрит, а это свои в госпитальной амуниции. «Господин полковник, честь имею явиться! — крикнул майор, — команда обстоит благополучно, больных ни одного». Обрадовался полковой командир и не знает, как принимать майора, по службе или по дружбе. Как представил майор лихоманку, он так и ахнул и собрал военный совет, что с ней делать? Присуждено было уничтожить ее; а полковой лекарь говорит: «Нет, не дозволю, она по моей части». Пример-майор и секунд подтвердили, что действительно лихоманка не по фронтовой части. Вот и решили отдать лихоманку в распоряжение полкового лекаря; а полковой лекарь взял да и женился на ней. Пошел пир горой! Я там был, микштуру пил; выпил с полбочки, а толку нет!.. ух! трррр!.. что это, братцы, за злая такая барыня!..

— А что? — спросил Емельян Герасимович.

— Да весь полк переколотила. Кроме майора — его боится.

— Неужели?

— Право так, ваше благородие! Вот и ко мне привязалась ни с того, ни с сего; за то что походом, в жары, холодной водицы испил; бог свидетель! Да так бьет, как изволите видеть — все зубы выбила!

## ПОВЕСТЬ О ЗМЕЕ ГОРЫНЫЧЕ

Емельян Герасимович не заметил, как вышел в калитку на берег Днепра. Шел-шел по берегу и видит — сидит подле реки дедушко, белый как лунь, и удит рыбу; а подле него стоит болван каменный. Емельян Герасимович подошел к старику и произнес арабский стих, указывая пальцем на болвана.

— Ась? Что делают? — спросил старик. — Да золотую рыбку-кудесницу ужу... около уды ходит, а на уду нейдет! А хитрая, хитрая, да я перехитрю ее!

Емельян Герасимович сказал:

— Гм!

— Ась? Не слышать, посадской! Говори погромче; были у меня ушки смолоду, бывало, слышу, как трава растет, а пришла смерть за мной; а я и говорю ей: «Погоди, сударыня!» — «Откупись!» — говорит, и взяла за выкуп ушки, да глазок взяла, насилу умолил, чтоб хоть один оставила на время... ась? Что изволишь говорить?

— Пьфу! — сказал Емельян Герасимович, осматривая кругом каменного болвана.

— А! Это кто? Да это, сударь, дочь моя. Люди говорят: каменная баба, — не верь. Ей-ей, дочка! Причина такая с ней случилась! Давно, ох давно! Еще до татар. Ась? Не слышал. Рассказать, как было? Изволь.

— Ага! га! га! — сказал Емельян Герасимович, садясь подле старика.

— Изволь слушать. Вон там за рекой Днепром, на берегу, видишь, какая нора? И взглянуть на нее страшно; там свил гнездо Змей Горыныч. По сю пору водятся там дети Горыныча, змеяты сосунки; еще не выросли, только еще жалят да кусают людей, а есть не едят. А Змей Горыныч был такой большой, что как вылезет из норы, так в головах у него, говорят, светлый день, а в хвосте темная ночь; а как сидит в норе, так по извиту хвосту можно сойти в преисподню как по лестнице. А в то время на Днепре, до самого моря, было вели-

кое царство, жили мы, славный народ, такой добрый, что никому худого слова не молвил, богу молился, посты соблюдал; приди бывало к нам в гости — вымоем, выхолом, в новое платье оденем, за браный стол усадим, запоим, закормим, да еще и спать на мягких перинах уложим; а женам и дочерям велим мух махать. Жили мы весело и богато, шесть дней на себя, а седьмой богу; да черт натрубил в уши: не давай! Возьми и седьмой на себя! Народ и послушался. Говорил нам один святой человек: «Ей, не делайте того, будете черту служить!» Так и сбылось: откуда ни возьмись Змей Горыныч приполз, захлестнул хвостом все царство и говорит: «Ну, теперь вы мои; у меня вам будет привольно: панщины и барщины у меня не будет, а будете вы платить мне оброк, только по одной красной девице с тягла». Поохал, поохал народ, да и пошел по домам. «Что ж, братцы, думаете, ведь вправду немного, только по одной. Раз в год отдал, да и прав, уж за то не будем ходить на барщину, своя воля». Ну, хорошо; вот и пришло время платить оброк. Собрался мир. «Что ж, братцы, как отдавать-то нам: старшую или младшую дочь посылать к черту, или по жеребью, или которая похуже всех?» Вот, иному жаль старшую, иному младшую, по жеребью страшно, — решили вести в оброк ту, что похуже, да не по сердцу. Ну, хорошо. Вот и я говорю жене: «Поведем Парашу», а жена говорит: «Нет, поведем Пашу». — «Не поведем Пашу, Паша работница, нам помощница!» — «А я не дам Парашу — Параша красавица!» Перебранились, подрались; да чья сила, того и воля. «Будешь делать что велят?» — «Ой, буду, буду!» — «Ну, снаряжай!» Пошла снаряжать дочку, да не Парашеньку. «Ты, — говорит, — мое дитяtko, будешь жить в высоком тереме, в палатах господских!» И снарядила как невесту на свадьбу, в красной сарафанчик, на голову шитую бисером плетеную повязочку, да белое покрывало, а в ручках платочек шитой золотом. Повели отцы дочерей; матери следом, так и воют; и моя воеет, так и разрывается: «Ах ты, мое дитяtko ненаглядное, сизая голубушка Парашенька!» Да! Парашенька! Как бы не так!.. Привели к реке; за рекой Змей Горыныч из пещеры выглядывает. Поклонились мы в землю, речь заговорили:

— Привели тебе дань, Змей Горыныч, смилуйся, возьми! Счетом, по красной девице с тягла!

Змей Горыныч повысунулся из норы, встрепенулся,

взмахнул перепончатыми крыльями и протянул язык мостом через Днепр. Стали отпускать первую девицу; поклонилась она в ноги отцу и матери, расцеловали ее отец и мать, оплакали, благословили; нарядная сваха взвела на язык, сдернула покрывало, расплела косы, запела свадебную песню. Потянулся мостик назад, а девица-то, грешница, потупила очи, раздумянулась, не об отце и матери, не об отческом доме думает, а об молодом муже, да об высоких палатах господских... Вдруг, хам! Только ее и было. Верно вкусна была — почавкал, почавкал Змей Горыныч, пооблизался и протянул язык за другой, и другая тоже, и третья, и пятая, и десятая тоже. Пришел черед и моей дочке. Я зарыдал, мать завывала, охватила вокруг шеи и запела прощальную песню.

— Да дай ты ей поклониться в ноги отцу и матери! Отпускайте скорее с благословением! — кричит народ.

— Умру, не отдам мою Парашеньку! — кричит жена.

Взбеленный от нетерпения Змей Горыныч, как хлыстнет языком поперек реки, так и рассыпал Днепр словно стекло в мелкие дребезги.

— Давай скорей! — крикнули посаженные отцы, вырвали ее из рук матери, поставили на кончик языка; сваха не успела расплести косы — потянулся язык назад; а она безгрешная была: как задумала, что расстается навеки с отцом, с матерью и с отческим домом; как капнут ее горячие слезы словно кипятки на язык Змея Горыныча, обварили, обожгли; он и рывкнул, замотал языком; а моя дочка как ахнет, да так, как стояла, держа обеими руками платочек, так со страху и окаменела. Змей Горыныч хамкнул было, да зуб не берет; как рывкнет он снова, да плюнет, и переплюнул он ее на другой берег; грохнулась она перед народом. Бросился народ: «Что такое?» И я бросился, смотрю, а это не Парашенька, а Пашенька; упал на нее, да и облил слезами: «Родная ты моя, милая дочка, холоднее ты камня могильного!.. Погубила тебя родная мать, а не мачеха! Пусть же она смотрит на тебя да век казнится!» И схватил я ее, понес домой, поставил ее перед крыльцом, чтоб мать век смотрела на нее да казнилась.

Змею Горынычу вместо Парашеньки поставили другую девицу; он и скушал ее со вкусом. Много было грешных красных девушек, а много и безгрешных. Грешные все пошли в утробу чертову, а безгрешные от страха окаменели; а отцы да матери разнесли назад по домам и поставили как каменных болванов на юрах перед хатами.

Так, года три прошло ладно; отцы и матери попри-  
выкли к горю; народ выставлял подать сполна; да вдруг  
настал неурожай на красных девушек, нечем платить  
подати. Пришли было жалиться к Змею Горынычу, а он  
и знать ничего не хочет: «Поем вас всех до одного»,—  
говорит. Что делать народу: думали-думали и пошли во-  
ровать себе жен, а в дань Змею Горынычу красных де-  
вушек. Забыли хлеб пахать, только и думаем, как бы  
оброк уплатить; нет веселого лица в целом царстве. На-  
родился сын — горе, народилась дочь — другое; да уж  
все лучше: по крайней мере есть чем дань платить; а не-  
доимков накопилось много.

— Помилуй нас, Змей Горыныч, сложи недоимки.

— А вот я вам сложу! — сказал Змей Горыныч,—  
ступайте по домам!

Пошли по домам,— а тут же Змей Горыныч наслал  
эзекуцию — змеят сосунков. Расползлись по всему  
царству. Чем накормить их? Куда спать уложить? Мо-  
лочка не хлебают, на пуховой перине жестко спать —  
пусти-вишь на ночлег под сердце да дай крови посо-  
сать. Что ж делать? Пришло терпеть! Так изсосали на-  
род, что боже упаси!

Вот ехал мимо какой-то витязь в светлой броне, на  
белом коне. «Что вы пригорюнились?» — спрашивает.  
«Да вот, вашей милости, так и так!» — «А от чего бы  
это так?» — «Да прогневили господа бога». — «Не про-  
гневили вы его, а сами от него отреклись; он оставил  
вас; а на свете жить, кому-нибудь служить: не белому  
дню, так черной ночи. Сами выбирали — служите чер-  
ту». — «Ох, кабы кто нас помиловал!» — «Кому вас ми-  
ловать, когда сами себя невзлюбили и не милуете сами  
себя». — «Каемся!» — «Кто кается, тот спасается,— ска-  
зал витязь.— Ступайте, зовите Змея Горыныча, пусть вы-  
ходит на чистое поле, на суд божий со мной».

— Как можно! Дай бог вашей милости за доброе  
сердце радостно день встречать, в мире души прово-  
жать! Как можно! Он нас съест!

— В ком боязнь, в том нечистая сила, говорят; из-  
гоните из себя духа тьмы молитвой; молитва союз с бо-  
гом, союз с светом и с жизнью союз, никто не разорвет  
его, покуда сам человек не разрознит тела своего с  
духом.

— Пойдем, братцы! Благослови господи!

Пришли к берегу Днепра. Был полдень. Змей Горы-  
ныч в норе своей, уложил голову на лапы, свесил язык

на сторону, пыхтит, как пес утомленный. Стал народ на берегу, снял шапки, земно поклонился.

— Государь ты наш, Змей Горыныч, удостой, государь, выслушать наше челобитье. Приехал какой-то храбрый витязь во светлой броне на белом коне, лик заря, а очи небо лазоревое.

Змей Горыныч как хамкнет, повело его дугой. Испугался народ, припал на землю.

— Приехал... да и грозитя извести... заступись, многомилостивый Змей Горыныч... выйди!.. вон он на поле..

А Змей Горыныч ни слова; крутился-крутился, при молк и выглядывает украдкой из норы.

— Пожалуй, выйди, Змей Горыныч, на чистое поле!

— Что ж, братцы, он и слышать не хочет! — сказал Ратко.

— Змей Горыныч! Храбрый и младый витязь в светлой броне, на белом коне вызывает тебя на бой!

— Что ж, братцы, замолк, слышать не хочет! — сказал Живко.

— Змей Горыныч! Тебе говорим!.. Зовет на поле на суд божий!

— Молчит!

— Что ж, братцы, ведь мы не шутим, а зовем его; а он и слышать не хочет! — сказал Огнян.

— Дочерей наших поел, а ответа дать не хочет!

— Лихой пес поджал хвост!

— Тс! Что ты это, Немир!

— Что Немир, — а вот что!

И высунул Немир язык, дразнит Змея Горыныча!

— Ты, гадюка! Заел у меня две дочки!.. А последнюю... нет, брат... видел?

Разгорячился Немир, схватил камень, да как пустит через Днепр, шелк прямо в бровь Змею Горынычу; ну, будет беда! Дрогнули мы, да бежать.

— Стой, братцы! Снес дурака, снесет и кулака! Вот я ему, да не в бровь, а прямо в глаз! — крикнул Ратко.

Да как свистнет камнем через Днепр и вышиб глаз Змею Горынычу. Рывкнул Змей Горыныч, и ни с места, завернул голову под перепончатое крыло.

Тут все мы поотдохнули, да по камню. Посыпались в него камни:

— Эй ты, полосатая чушка!.. Струсил!

Молчит, ни гугу.

— Что, ваше благородие, господин витязь, не вызовем на поле Змея Горыныча! Как прикажете?



— Выводите нечистую силу из гнезда на чистую воду как знаете, а мое дело выжить его с белого света,— дал ответ витязь в светлой броне, на белом коне.

— Так пойдемте, братцы,— сказал народ.

— Пойдите, братцы,— сказал Славой,— его просто не выживешь: надо его выкурить, пойдем за священным чином.

А священный чин разошелся от грешного народа по пустыням и жил келейно. Умолил народ отшельников идти с ним, выкуривать Змея Горыныча. Вот и пошли все чином, кто с дубиной, а кто с кадилом, пришли на Днепр, наметали плоты, переправились. Как послышал Змей Горыныч ладан, как рявкнет, поднялся дыбом, распахнул крылья, разинул пасть, расправил когти и потянулся на воду, на народ. Как пахнут на него ладаном, так и взмело Змея Горыныча с места, скакнул он на чистое поле, хотел лететь, а витязь расскакался, смял его под коня и пригвоздил копьём к земле. Заревел Змей Горыныч, взмутил воздух, взмел песок вихрем, поднялась страшная гроза, завились вокруг черной тучи огненные змеи, перекатился гром с конца в конец. Народ в страхе бежит домой, запирается по домам, припали все лицом к земле, молимся богу, думаем, настало светопреставленье. Вдруг гром рассыпался и все стихло, словно душа отошла. Лежим — словно умерли, никто недохнет, сердце не колыхнется... Господи боже, чудится или нет: вот, словно певень крикнул?.. Чу, зачирикал воробей... Чу, жаворонок вспел песню... Сердце что-то радостно колотит... Глядь, а на дворе ясный день, солнце играет на небе, благовейный ветер шелестит по листьям,— так весело на душе; кажись бы, нет никакой еще радости, а сердце не нарадуется. Сошелся народ, все здравствуются, обнимаются друг с другом. «Что, батюшка, как вы?» — «Слава богу». — «Слава богу, лучше всего». И побежали все на Днепр.

— Да что ж это такое с нами было? Где Змей Горыныч? Где храбрый витязь? Ужели все это был сон?

— А дай бог, чтоб и сон был в науку,— сказал один старец-отшельник,— у божьего стада сама совесть пасть; изведете совесть, погубите душу; а душа-то, братцы, наш дружок сердечный; расставаться с другом, расставаться с жизнью!

Вот что; и вы изгубили было своего друга-хранителя, да шатались мертвецами по белому свету; холодом и могилой несло от вас. Ни ложь, ни ночь не приодели

вас, благоуханья не умастили, вино не согрело. Высоко поднимались на хитрость, да низко падали. Только у души, братцы, неподдельные, ангельские крылья, она лишь летает по вольной воле, и не роняет кровного друга с вершины к подножью. Много было у вас красных девиц, родных дочерей, да много ли впрок пошло — добродуному молодцу в жену, а малому детищу в мать? Всех поел Змей Горыныч, да только вам косточки на похороны выплевал. Безгрешные только спаслись,— обратились в камень — берегите в память!

Народ слушал старца, да и сотворил слезную молитву. И стали мы жить мирно, радушно, шесть дней на себя, а седьмой господу богу. Колено шло за коленом. Все каменные девицы... вот и дочка моя... сначала были как живые, только что румянец не играл на щеках; а и они избавились от смерти, да не избавились от старости, сморщились, почернели, а худеть не худеют. Стоят и теперь по полям на горах, где жили отцы. Глупый народ зовет их теперь *бабами*; да какие ж они бабы, сроду они бабами не были, они неповинные красные девицы. Глупый народ теперь мостит мосты ими да кругом двора вместо тыну их ставит. А я не даю своей дочки. Нет, ни за что не отдам! Изловлю золотую рыбку, так она мне ее живой сотворит. Вот что!.. Тс! Молчи, молчи! Вот идет к уде! Не замай! Ах ты окаянная! Сдернула червячка!.. Ступай, брат, посадской, прочь отсюда! Сделай божескую милость, ступай! Не мешай мне изловить ее!

— Ну, ну, ну! — проговорил Емельян Герасимович, отходя от старика.



## Владимир Одоевский

### ИГОША

*Алек. Степ. Хомякову*

**Я** сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я; вдруг дверь отворилась, а никто не вошел. Я посмотрел, подождал, — все нет никого.

— Нянюшка! нянюшка! Кто дверь отворил?

— Безрукий, безногий дверь отворил, дитятко!

Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль.

— Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?

— Ну да так, известно что, — отвечала нянюшка, — безрукий, безногий.

Мало мне было нянюшкиных слов, и я бывало, как дверь ли, окно ли отворится, тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий — и как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.

Радость! веселье! прыгаю! люблюю игрушки! А нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятко». Между тем зазвонили к обеду.

Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки лопались,— говорил он,— а не постромки, так кучер, то и дело, что кнут свой теряет; а не то, пристяжная ногу зашибет, беда да и только! Хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал: не от Игоши ли?» — «От какого Игоши?» — спросила его маменька. — «Да вот послушай, на завражке я остановился лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться; в избе за столом сидят трое извошиков, а на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат.

— Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы? — спросил я.

— Товарищу не товарищу,— отвечали они, а такому молодцу, который обид не любит.

— Да кто ж он такой? — спросил я.

— Да Игоша, барин.

Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать.

— А вот послушайте, барин,— отвечал мне один из них,— летось у земляка-то родился сынок, такой хворенькой, бог с ним, без ручек, без ножек — в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил; до обеда не дожил. Вот, делать нечего, заплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у них стало не по-прежнему... Впрочем, Игоша, барин, малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет или из горшка горох выбросает; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет,— мало ли что бывает.

— И! да я вижу, Игоша-то проказник у вас,— сказал я,— отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет; я ему, пожалуй, и харчевые назначу.

Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани, покотился: не отъехали версты — шлея соскочила, потом постромки оборвались, а на конец оглобля пополам,— целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался.

Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но

игрушки меня не занимали,— у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю,— няня на ту минуту вышла,— вдруг дверь отворилась; я, по своему обыкновению, хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел припрыгивая маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели как угольки и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало. Смотрю, маленький человечек прямо к столу, где у меня стояли рядом игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки: фарфоровая моська вдребезги, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса,— я взвыл и закричал благим матом:

— Что за негодный мальчишка! Зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыден! Да что еще мне от нянюшки достанется! Говори, зачем ты сронил игрушки?

— А вот зачем,— отвечал он тоненьким голоском,— за тем,— прибавил он густым басом,— что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне маленькому,— заговорил он снова тоненьким голоском,— ни одного не сшил, а теперь мне, маленькому, холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.

— Ах, жалкинський! — сказал я сначала, но потом, одумавшись.— Да какие пальцы, негодный; да у тебя и рук-то нет; на что тебе валежки?

— А вот на что,— сказал он басом,— что ты вот видишь, твои игрушки вдребезги, так ты и скажи батюшке: «Батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки», а ты возьми и брось их ко мне в окошко.

Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату; Игоша не прост молодец, разом лыжи навострил; а нянюшка на меня:

— Ах ты проказник, сударь! Зачем изволил игрушки сронить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить. Вот ужо тебя маменька...

— Нянюшка! Не я уронил игрушки, право не я, это Игоша...

— Какой Игоша, сударь?.. Еще изволишь выдумывать?

— Безрукий, безногий, нянюшка.

На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все как было, он расхохотался.

— Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше.

Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке.

— Добрый ты мальчик,— сказал он мне тоненьким голоском,— спасибо за валежки; посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил, вишь, какой славный!

И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахара,— и опять за салфетку и опять ну тянуть.

— Игоша! Игоша! — закричал я.— Погоди, не роняй,— хорошо мне один раз прошло, а в другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?

— А вот что,— сказал он густым басом,— я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг, ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне, маленькому,— прибавил он тоненьким голоском,— и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь...— и с сими словами Игоша потянул на себя салфетку и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился...

Вошла нянюшка, опять меня журит; я на Игошу, он на меня.

— Батюшка, безногий сапогов просит,— закричал я, когда вошел батюшка.

— Нет, шалун,— сказал батюшка,— раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; эдак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.

«Не бось, не бось,— шептал мне кто-то на ухо,— я уже тебя не выдам».

В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

Батюшка рассердился.

— Так ты еще не слушаться? — сказал он.— Сей час в угол и ни с места.

— Батюшка, это не я... это Игоша толкается.

— Что ты вздор мелешь, негодяй; стой тихо; а не то, на целый день привяжу тебя к стулу.

Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя; то ушипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу — я захохочу; Игоша для батюшки был невидим — и батюшка пуше рассердился.

— Постой,— сказал он,— увидим, как тебя Игоша будет отталкивать.— И с сими словами привязал мне руки к стулу.

А Игоша не дремлет, он ко мне и ну зубами тянуть за узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут — и я снова очутился на ковре между игрушек, на середине комнаты.

Плохо бы мне было, если б тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра сверх того меня запрут одного в пустую комнату.

Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкорový чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговоря вполголоса: «Вот тебе, Игоша».

— Спасибо! — отвечал мне со двора тоненький голосок.

Разумеется, что ботинок назавтра не нашли,— и нянюшка не могла надивиться, куда они девались.

Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.

— Посмотрим,— сказал батюшка,— что здесь разобьет Игоша! Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости... пора за учење. Теперь сиди здесь, а чрез час за азбуку,— и с этими словами батюшка запер двери.

Несколько минут я был в совершенной тишине и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совершенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Игоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками? Верно, скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья.

Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела и Игоша, с ботинкой на голове, запрыгал у меня по комнате.

— Спасибо! спасибо! — закричал он пискляво.— Вот какую я себе славную шапку сшил!

— Ах! Игоша! Не стыдно тебе! Я тебе и полушубок достал и ботинки тебе выбросил из окошка, а ты меня только в беды вводишь!

— Ах ты неблагодарный,— закричал Игоша густым басом,— я ли тебе не служу,— прибавил он тоненьким голоском,— я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди самое неблагодарное творение! Прощай же, брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить, да все меня к себе напрашивается, попробую ему послужить; я уж и так ему стклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину,— посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее...

С сими словами исчез мой Игоша и мне жаль его стало.

С тех пор Игоша мне более не являлся. Мало-помалу ученье, служба, житейские происшествия отдалили от меня даже воспоминание о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью; этот психологический процесс сделался для меня недоступным; те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком; но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь не известным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти и его явление кажется мне понятным и естественным.

## НЕБОЙДЕННЫЙ ДОМ

*Древнее сказание о калике переходей  
и о некоем старце*

*Посв. В. А. Жуковскому*

Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят, на заре ранней, утренней шла путем-дорогою калика переходящая; спешила она в Заринский монастырь на



богомолье, родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться. Недолог был путь — всего-то верст десять, да старушка-то уж не та, что бывало в молодые лета; идет-идет да приостановится: то дух занимает, то колени подгибаются. Вот слышит она, в монастыре звонят уж к заутрене. «Ахти,— сказала она,— замешкалась я, окаянная; не поспеть мне к заутрене, хоть бы бог привел часов-то не пропустить». Смотрит — а к лесу идет тропинка прямо на монастырь. «Постой-ка,— подумала старушка,— дай бог память; я, кажись, в молодые лета по той по тропинке хаживала, ведь ею вдвое ближе, чем обходом идти». И старушка своротила в лес на хожалую тропинку. Так и обдало нашу калику смолистым запахом сосен, и силы ее подкрепились.

Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детенышей, медвяная роса каплет с ветвей; старушка идет да идет; благовест ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет она час, идет и другой, а все не видать конца леса; вот и благовест перестал, и тени от деревьев сделались короче — а все не может старушка выйти из леса; оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого; а у старушки уже ноги едва двигаются и в горле пересохло; жажда томит, в глазах темнеет; но все идет она, едва шаг за шагом переступает; вдруг пахнуло на нее живым дымом, а вот невдалеке и лес проредел; старушка перекрестилась, закусила стемелек щавеля, и с того у калики словно силы прибавилось. Прошла с десятков шагов — перед нею поляна; посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовые ворота на запоре — и не видать ни души христианской; у ворот скамеечка; калика присела и пригорюнилась. Вот залаяла в подворотне цепная собака, калитка отворилась, и вышел малой лет пятнадцати, подстрижен в кружок, в красной рубахе, ремнем подпоясан; он искоса посмотрел на старуху, отряхнул волоса, подпер боки руками и молвил:

— А кого тебе здесь надобно, старушонка?

— Ах, родимый; никого мне не надобно; шла я на богомолье в монастырь да заблудилась и из сил выбилась; не дай умереть без покаяния, дай водицы испить.

Молодой малый поглядел в раздумье на старуху, еще раз встряхнул головою, вошел в калитку и чрез минуту возвратился; в одной руке нес он ковш с ячным квасом, в другой — краюху свежего хлеба с бузою.

Старушка кваску прихлебнула, хлебцем закусила и стала как встрепанная. «Спасибо тебе, добрый человек,— сказала она,— душеньку отвел. Бог тебя наградит, что старуху призрел».

— Ты, однако же, не долго здесь калякай,— промолвил малой в красной рубахе.— Отдохнула и ступай своею дорогою; а то неравно хозяева наедут — несдобровать тебе, старушонка.

— Да кто же они такие, родимой?

— Да у нас здесь, бабушка,— отвечал малой улыбаючись,— веселые люди живут; зелено вино пьют, в зернь играют, красных девок целуют, людей режут.

— Ах, родимый, родимый! Никола тебе навстречу — как же ты с такими людьми живешь?

— Э, бабушка, не твое дело. Ступай отсюда, пока жива; говорят тебе, наедут сюда хозяева, увидят, что чужие очи наш притон обозрили,— не спустят тебе. И я-то уж так сжалился над тобою оттого, что покойницу бабушку напомнила, которая, бывало, меня молодого на руках носила да пряником кормила... Ну, ступай же... вот этой тропинкой прямо уткнешься на монастырь.

— Иду, иду, родимый, кто бы ты ни был, спасибо тебе... награди тебя бог, вразуми тебя господь.

И опять пошла старушка путем-дорогою, идет час, идет и другой. «Не поспела к заутрене,— думает,— не поспела и к ранней обедне; авось-либо бог приведет хоть у поздней помолиться».

Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла, по лесу подымается душистый пар донника и божьей зари, рой мошек жужжит и кружится по прогалинам. А старушка идет да идет. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще.

Идет она час, идет и другой; уже почти нет теней от деревьев, и нет конца леса. Оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А старушка идет да идет,— вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава богу,— думает,— насилиу дотащилась!» Собрала последние силы... смотрит,— а пред ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре — и не видать ни души христианской.

— Ах я, окаянная, опять заблудилась, опять к тому же месту пришла.

Делать нечего; старушка присела в тени и пригорюнилась; цепная собака залаяла в подворотню; калитка отворилась, и вышел парень лет тридцати пяти, в красной рубахе, ремнем подпоясан.

— А, здорово, старушонка, подобру ли, поздорову поживаешь; сколько лет, сколько зим с тобой не видались, а все я тебя тотчас узнал, ты ни на волос не переменилась... как была, так и есть!

— Не zapomню, родимый, Никола тебе навстречу; а, кажись, я тебя сроду не видывала.

— Эх, старушка, ты верно уж из памяти начала выживать; помнишь, лет двадцать тому назад, ты к заутрене шла да заблудилась, а я еще тебя хлебом кормил да дорогу тебе показывал; я так теперь на тебя смотрю.

— Что ты, родимый, Никола тебе навстречу; была я здесь, знаю, выходил ко мне малой лет пятнадцати и, спасибо ему, хлебом накормил.

— Да то ведь я-то и был, старушонка.

— И, что ты, родимой! Это было сегодня поутру, и выходил ко мне малый лет пятнадцати, а ты бог тебя помилуй, уже на возрасте.

— И, старушка, ты уж из ума начала выживать; какое поутру, говорят тебе, уж лет двадцать тому ты сюда приходила, вот на этой скамеечке сидела; помнишь?

— Как не помнить, родимой, только вишь ты, было это сегодня поутру, а дотелева здесь я никогда не бывала.

— Ну, я вижу, с тобой до бела света не сговоришь, совсем из памяти выжила... Посмотрю я на тебя, измучилась ты, старушонка, пот с тебя так градом и катит, дай вынесу тебе рушник отереться.

Так промолвил парень в красной рубахе, вошел в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитым красною белью.

Едва старушонка взяла его в руки, как вскрикнула:

— А откуда, родимой, у тебя это полотенце?

— Откуда бы ни было,— отвечал парень сердито,— знай утирайся.

— Да ведь это полотенце-то я шила сынишке на дорожку.

— Сынишке,— повторил парень.— А какой он из себя был?

— Ах, мой сынишка славный малой.., да разве ты знаешь его?

— Говорят тебе: каков он из себя был?

— Малой лет пятнадцати, светло-русый, волосы в кудряшках, в синем зипуне, в поярковой шляпе.

— Светло-русый, волосы в кудряшках? — повторил мрачно парень в красной рубахе.— Ну, жаль, старуха, что не знал.

— Да что ж с ним случилось, родимый? — сказала старушка испугавшись.

— Да так, ничего,— отвечал парень.— Запиши его в поминанье... его в живых больше нет.

Наша калика переходящая так и ударилась об землю и зарыдала.

— Ну, полно рюмиться-то, мертвого не воротишь. Старушка очнулась.

— Как же ты знаешь, родимой, что его в живых не стало, полно, правда ли это?

— Еще правда ли? Еще знаешь ли? Вольно тебе было его на святость воспитать: заманили мы его сюда; видим, малой славной, думали, будет из него путь; говорим ему: будь нашего сукна епанча, а он руками и ногами, заартачился...

— Ну, так что ж, батюшка?

— Ну, что ж? Вестимо дело, карачун ему дали, да и пустили на Волгу окуней ловить.

Старушка снова зарыдала.

— Скажи, родимой, хоть с покаянием ли он богу душу отдал?

— Ну, вестимо нам было к нему не попа приводить, а молиться-то он молился, сердечной. Ну да полно рюмить, убирайся отсюда, не то наши наедут, и тебе то же будет, что и сынишке твоему.

— Божья воля, отец мой; покажи только дорогу, куда до пúстыни дойти; сына помянуть, за тебя богу помолиться.

— За меня? Полно обманывать, я чай, проклинать меня будешь.

— Нет, родимый! Что проклинать! Буду молиться о спасении грешной души твоей.

Парень задумался.

— Странна ты, старуха,— сказал он после некоторого молчания.— Сколько я душ погубил, молодых и старых, всякого пола и возраста, и рука не дрогла, а вот каждое твое слово как ножом душу режет, и рука на тебя не поднимается... ну, убирайся отсюда, пока не осерчал, ступай этой тропинкой, так прямо и уткнешься на монастырь.

И старушка опять идет путем-дорогою, рукавом слезинки отирает.

— Наказал меня бог,— говорит,— не поспела, окаянная, ни к заутрене, ни к обедне, авось-либо бог приведет за вечерней помолиться.

Вот идет она, идет час, идет и другой; а в полях стада убрались, посередь леса птицы прикорнули, выходила туча грозовая со частым дождичком; и опять все очнулось; стада голос дали, птицы вспорхнули; вот послышался в пúстыни и благовест к вечерне. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще.

Идет старушка час, идет и другой; вот и благовест перестал, солнце ниже опустилось, и далеко, далеко потянулась тень от деревьев,— а все не видать конца лесу. Оглядывается калика: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А калика идет да идет — вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава богу,— говорит калика перехожая,— насилу-то дотащилась!» Собрала последние силы, смотрит — перед ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями; тесовы ворота на запоре и не видать ни души христианской.

— Ах, прости господи,— сказала старушка,— опять я на то же место пришла, окаянная, а уж и сил нет больше идти; не попускает бог до пúстыни дойти; буди твоя святая воля.

Старушка села под дерево и пригорюнилась.

Собака залаяла в подворотню, калитка отворилась, выходит старик лет шестидесяти, седой как лунь, на клюку опирается.

— А, старушонка,— сказал он,— подобру ли, поздорову ли ты живешь? Сколько лет, сколько зим с тобой не видались. Да ты, видно, века не изживаешь: какая была, так и есть, нисколько не переменилась; а ведь мы лет двадцать с тобой не видались.

— Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала,— отвечала старуха.— Была я здесь, и не один раз, да только сегодня поутру, да в полдень; выходил ко мне парень в красной рубахе и сказал мне горькую весточку.

— Да это я самый и был; помнишь, рушник тебе подавал; только будет тому лет десятка два и более; правда, я с той поры много переменился; кажись, и не стар я летами, а уж куда похирел; буйная молодецкая жизнь

загубила; да как же ты-то нисколько не переменялась, вот как теперь на тебя смотрю?

— Ну уж я и ума не приложу, родимой; из памяти, что ли, я в самом деле выжила; знаю только то, что была я здесь поутру, а тебя сроду не видывала.

— Подлинно так,— сказал старик,— и я ничего не понимаю; что-то тут чудное деется; вот уж двадцать лет тому ты мне то же говорила; много с той поры воды утекло, много грехов я на душу свою положил! Однако нечего здесь долго толковать; наши наедут, несдобровать тебе, убирайся отсюда, покуда жива.

— Нет, родимой, уже как хочешь, не пойду я отсюда, ноги не держут.

— Что ты, неразумная; да ведь наедут товарищи — убьют тебя.

— Да будет воля божия.

— Что ж ты, небось, смерти не боишься?

— Да чего ж ее бояться? Придет час и воля божия.

— Так ты смерти не боишься,— повторил старик и задумался.— Ну,— прибавил он помолчавши,— я так смерти боюсь.

— Молись богу, родимой, Никола тебе навстречу,— так и не будешь смерти бояться.

— Мне молиться? Да неужли бог услышит мою молитву?

— Вестимо, что услышит, когда помолишься с покаянием.

— Да ты знаешь ли, старушонка, с кем ты говоришь; если б ты знала да ведала — сколько я душ погубил неповинных; нет беззакония, которого бы я не сделал; нет греха, в котором бы не окунулся,— и ты думаешь, что меня бог помилует?..

— Покайся, бог помилует.

— Поздно, старушка! Уж и сна у меня нет, только заведу глаза, как и вижу — ко мне тянутся кровавые руки; вижу, как теперь тебя вижу, посинелые лица, мертвелые очи; а в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятия; мне ли молиться, старушка! У господа столько и милости не достанет.

— Молись, говорю тебе, у бога милости много, и не перечешь, родимый.

Старик задумался.

— Знаешь ли, что тебе скажу? — проговорил он.— Скажу тебе правду истинную: я часто о тебе вспоминал; приходили мне на память твои речи; помнишь, как ты

о младом обо мне молилась, чтобы бог вразумил меня; помнишь, как обещала молиться, когда я сына твоего убил; я ничего не запомнил, и все мне хотелось поговорить с тобой о душе моей; ах, черна она, родимая, как смола черная, и горяча она, как кровь теплая; ну, слушай — здесь тебе сидеть не годится, наедут, увидят; пойдем в избу, там я тебе найду укромное место.

Он подал руку старушке, она оперлась на его клюку и потащила в дом; в сенях старик приподнял половицу.

— Ступай вниз,— сказал он,— да держись за веревку, не то споткнешься.

Старушка сошла в подполицу, темную, темную; свет проходил только сверху в отдушины; по стенам стояли ларцы, сундуки, скринки, баулы разного рода, всякая посуда; по стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья несметное множество.

— Это наша кладовая,— сказал старик,— не даром она нам досталась.

Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью; видит, все по порядку: в одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское, камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелья.

— Душно здесь что-то, дедушка,— сказала она.

— И мне душно,— вскричал старик.— Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями все были живые люди и что ни один из них своею смертью не умер, то так мороз по жилам и пробегает; все кажется, что под платьями люди шевелятся; ну да нечего делать, прошлого не воротить; садись-ка вон там в уголку на сундук; там из отдушины ветерок подует.

Старушка села, едва переводя дыхание; смотрит — над головою у ней платье камковое цареградское, сарафаны золотые, парчовые и под ними, прямо против ее глаз, жемчужные, янтарные ожерелья, монисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладонкою.

Старушка не увидела света, схватилась за ладонку и горько заплакала.

— Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?

— А что оно, знакомо тебе, что ли? — спросил старик, задрожав.

— Как не знакомо,— сказала старушка,— это ожерелье моего неаглядного сокровища, моей дочери.

Старик повалился ей в ноги.

— Ах, мать родная,— завопил он,— кляни меня,— нету в живых твоей дочери; не пожалел я ее красы девической; замучил я ее вот этой рукою; билась она, сердечная, как горлица; молила меня, чтоб позволил ей хоть перекреститься,— и до того я ее не допустил.

Старушка пуще заплакала.

— Ну, отпусти тебе бог,— сказала она,— много греха ты принял на свою душу.

— Где богу мне отпустить,— вопил старик в забытьи,— нету прощения грехам моим; нет мне спасения ни в сем, ни в будущем мире.

— Не бери еще нового греха на свою душу, родимый — не мертви души отчаянием: уныние — первый грех, покайся да молись, у бога милости много!

— Что ты говоришь, мать родная,— вопил старик,— где богу простить меня — да ведь и ты не простишь меня...

— Нет, не говори этого, родимой, Никола тебе навстречу,— как не простить; много ты согрешил, последнее мое утешение отнял,— но да простит тебе бог, как я тебя прощаю... только покайся...

— И в молитвах помянешь грешного раба Федора?..

— И в молитвах помяну...

Старик пуще зарыдал.

— Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь,— жутко мне здесь оставаться; веди меня куда хочешь, где бы я мог тебе на свободе свою душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказание принять.

— Не мое то дело, родимый; а если бог твою мысль просветил, то иди в пустынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать.

Они вышли из дома, солнце заходило, легкий ветерок повевал с востока; в пустыни слышался благовест ко всенощной. Не долго шли старик со старухой — пустынь была в полверсте, не больше,— и дорога из леса шла к ней прямая.

Божий храм сиял во всем благолепии; тысячи свеч блистали у золоченых икон; невидимый хор тихо пел славу божию; дым из каминов подымался ввысь светлым облаком; на паперти, в притворе стояла толпа народа; едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолися о грешном рабе Федоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Федоре, потом



и об убиенных им, а потом и о себе грешной,— молилась не без слез, но с верою и надеждой.

Всенощная отошла; миряне стали подходить к иконам; и старушка поднялась с места. Смотрит — перед нею идет светло-русый мужчина с виду лет пятидесяти, здоровый и свежий; за ним, видно, жена его и дети уже на возрасте; а за этою семьею — другая, женщина лет пятидесяти, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилося у старушки — вспомнила она про детей. «Теперь и они были б такие»; утерла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась — вышла на паперть,— смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на нее смотрят; старушка обернулась — лампадою от иконы осветилось лицо ее. Светло-русый мужчина подошел к старушке, поклонился и начал было: «Позволь тебя спросить, бабушка...» — да как заплачет, да как кинется ей в ноги: «Ты ли это, наша мать родная? Где ты была, куда пропадала? Мы уж тебя и в живых не чаяли?»

За ним и женщина кинулась старухе в ноги.

— Ты ли это, матушка? Уж где мы тебя ни искали! Все очи по тебе выплакали.

— Вы ли это, дети? — говорила старушка сквозь слезы. — Как вас бог помиловал? Что с вами было?

— Как и рассказать, матушка, — отвечал светло-русый мужчина. — Как ты пошла на богомолье сюда в пустынь, мы пождали тебя день, другой, — видим, нет тебя, и пошли на поиск: и приходили в монастырь, и весь лес исходили, и голосом тебя кликали, и прохожих спрашивали — ниоткуда ни весточки. Прошел год, прошел и другой, прошло пять и десять; уж давно мы тебя, родную, за упокой поминали, горевали да плакали. Прошло еще лет с десяток, меж тем за сестру присватался человек изрядный, и я нашел себе по сердцу невесту, мы побрачились, родимая, прости, что без твоего благословения — мы тебя в живых не чаяли, — вот посмотри, и внучата твои...

Горько было нам без тебя, родимая, — часто поминали мы о тебе, — но во всем другом была нам несказанная благодать божия. Все мы здоровы, дети нам утешение; что ни посеем, сторицею взойдет; в торговлю пустим — нежданная прибыль; словом, что ни предпримем — как будто святой о нас старается, невесть откуда со всех сторон добро нам в дом идет.

Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву.

— А цел ли у тебя рушник, который я тебе шила? — спросила она, улыбаясь.

— Ах, родная, не прогневайся; чудное дело совершилось. Давным-давно, лет тридцать, вижу я сон, будто хожу я по лесу и ищу тебя и вот будто бы слышу твой голос,— иду, иду, вдруг вижу, как будто поляна предо мною, а на поляне дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре, и вышли из дома незнакомые люди и стали звать меня к себе, я не пошел — а они бросились на меня, ограбили, отняли твой рушник, меня изранили — и бросили в реку. Тут я проснулся; поутру смотрю — нет твоего рушника, уж где ни искали, никак найти не могли. Лет через десять потом сестре чудится такой же сон, видит она, как будто тебя ищет по лесу и голос твой слышит — вдруг перед ней поляна, на поляне такой же дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре,— из дома выскочили незнакомые люди, ограбили ее, отняли у ней ожерелье, ее изувечили и бросили в реку — тут проснулась сестра, смотрит — нет на ней твоего бисерного ожерелья; уж не гнети себя на нас за эту потерю, родная,— мы к ней и ума приложить не умеем.

— Ничего, детушки, я так, из любопытства только спросила.

— Да где же ты была, родная?

— Не спрашивайте, была я по воле божией; а теперь войдемте лучше опять в церковь да отслужим молебен,— а потом покормите меня, родные,— у меня с утра крохи во рту не было... с утра! — повторила про себя старушка, качая головою.— Чудные дела твои, господи!

Вся семья вошла в церковь; опять невидимый голос прошептал в ухо старушке: «Помолися о грешном рабе Федоре». В темном углу распростертый лежал старик и лицом ударял себя о холодные камни.

Протекло лет тридцать с той поры. Однажды настоятель отдаленного монастыря на Белом море призвал к себе иеромонаха:

— Отец Феоктист,— сказал он,— в ближнем селении умирает стадвадцатилетняя старица, просит исповеди; приходский владыко ушел с требами,— ты на очереди,

но боюсь послать тебя хворого; изможденного постом и бдением,— не дойти тебе до селения...

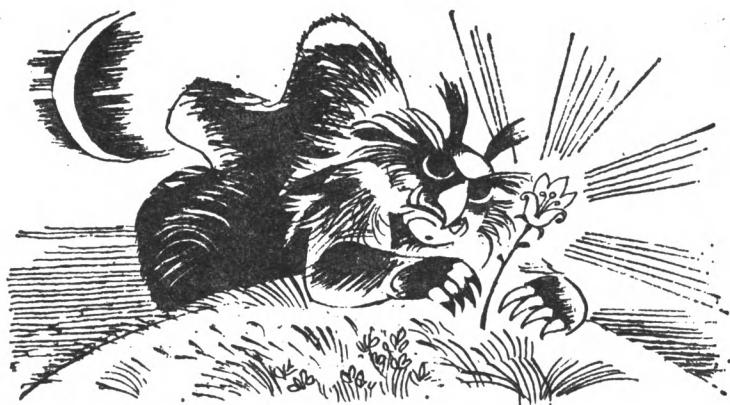
— Господь пошлет силу,— отвечал старец,— позволю сотворить послушанье.

Радость была в доме стадвадцатилетней старицы, когда узнали, что посетит ее отец Феоктист; всеми знаемо было благочестие престарелого инокa. Во власянице, отягченный веригами, едва дышащий подошел старик к умирающей — вся многолюдная семья до земли поклонилась ему. Но как взглянул он на умирающую, так и заплакал горячей слезою.

— От тебя ли бог привел меня услышать греховную повесть? Узнаешь ли ты меня, святая? Помнишь ли ты грешного раба Федора, спасенного тобою? Прошло много лет — бог сподобил меня и принести покаяние, и понести казнь, и получить помилование, сподобил и чина ангельского,— но и теперь как вспомню о былом, сердце живую кровью обливается, лишь постом и молитвою душу свою освежаю... мне ли, недостойному, принять грехи твои, безгрешная?

— Не говори так, святой отец,— отвечала умирающая.— Недаром бог привел еще раз нам с тобою свидетелься — в том новая милость его, чтоб не возгордилась я твоим покаянием... Сотвори же послушание, святой отец... Прости и отпусти грехи дочери твоей духовной...

Когда, тщетно прождав возвращения отца Феоктиста, родные вошли в комнату умирающей, было уже утро; лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы, казалось, они еще молились,— но уже души их отлетели в вечную обитель...



**С. Т. Аксаков**

## **АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК**

*Сказка ключницы Палагеи*

**В** неким царстве, в неким государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камней, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камней, золотой и серебряной казны — по той причине, что он был вдовец, и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу — не ведаю и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу

вам такие гостинцы, каких вы сами похотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая: «Государь ты мой батюшка родимый! Не вези ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого, а привези мне золотой венец из камней самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого». Честной купец призадумался и сказал потом: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такова человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевичны заморския, а и спрятан он в кладовой, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет». Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит: «Государь ты мой батюшка родимый! Не вези ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне тувалет из хрусталию восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася». Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевичны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высокоом, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в три сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблюю наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевична на поясе. Знаю я за морем такова человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет». Поклонилась отцу в ноги меньшая дочь и говорит таково слово: «Госу-

дарь ты мой батюшка родимый! Не вези ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете». Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; на-думавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова: «Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».

И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девицьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева, он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девицья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшей, любимой дочери — аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он во садах царских, королевских и султанских много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот идет он путем-дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминуемую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темные леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойницьи, по-

ганые и доживать свой век в плену во неволе». Бродит он по тому лесу дремучему, непроезжному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад — руки не просунуть, смотрит направо — пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево — а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо свершается, а сам все идет да идет: у него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипенья змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминуемую?» Поворотил он назад — нельзя идти, направо, налево — нельзя идти; сунулся вперед — дорога торная. «Дай постою на одном месте, может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем». Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в камнях самоцветных весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слышивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, усталной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; вошел в горницу — нет никого; в другую, в третью — нет никого; в пятую, десятую — нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаючи; и подумал он в те поры про себя: «Все хорошо, да есть нечего»,— и вырос перед ним стол, убраный-разубранный: в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления; напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя,— того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи. Дивуется честной купец такому чуду чудному и диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любитесь, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» — и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному; ложится он на высокую кровать, задерживает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и думает он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!» — и заснул в ту же минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и среднюю, что они веселым-веселыхоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и средней дочери есть женихи богатые и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно и не радостно. Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофе на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показа-



лось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зеленые сады. Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на их высоту — голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени — неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается, подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным: «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая». И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром, инда земля зашаталась под ногами, — и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался, на него глядячи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..» И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило: «Умереть тебе смертью безвременною!» У честного купца от страха зуб на зуб не приходил, он оглянулся кругом и видит, что со всех сто-

рон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшлища безобразные. Он упал на колени перед наибольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным: «Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как взвеличать тебя — не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери — самоцветный венец, средней дочери — тувалет хрустальный, а меньшей дочери — аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшей дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду — аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родным и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшей, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь». Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: «Не надо мне твоей золотой казны; мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлешь вместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища». Так и пал купец на сыру землю, горячими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным: «Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли до-

чери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю». Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: «Не хочу я невольницы: пусть придет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку даю дома пробыть три дня и три ночи». Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялиц своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелковые; почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю: «Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное». И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться». Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота

аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достает гостинец средней дочери, тувалет хрусталу восточного; достает гостинец меньшей дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете». Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горячими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пития медвяные; стали есть, пить, прохладжидаться, ласковыми речами утешаться. Вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в доме не видывал, и откуда все бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовались: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали. Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалась и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Средняя дочь наотрез отказалась и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала: «Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я пойду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручать тебя». Залился слезами честной купец, обнял он

свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей такие слова: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле твоей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец — никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуху, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не выдаючи, ласковых речей твоих не слышаючи? Расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню». И возговорит отцу дочь меньшая, любимая: «Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый; житье мое богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского, я не испугаюсь, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может он надо мной и сжалиться. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе». Плачет, рыдает честной купец, такими речами не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жалко меньшей сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собою цветочек аленький во кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшею, любимую; он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшей, любимой дочери — и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой; ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала. Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоит, раскла-

дены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная; и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня». Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любующись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветок аленький, сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровню перед ней преклонились; выше забили фонтаны воды, и громче зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меңя не гневается, и будет он ко мне господин милостивый»,— как на белой мраморной стене появились словеса огненные: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою». Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумати, как видит он, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернилицей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным: «Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевшна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной, словесами огненными, и знает он все, что у меня на мысли, и тое ж минутою

все исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей». Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкаю забавлялася. После обеда, накушамшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше по той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонились, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморну, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные: «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?» И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная: «Не зови меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете: то и как же мне Довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна; во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой». Появились на стене словеса огненные: «Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пылинке сесть». И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она

госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось; так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать; всякий день угощенья и веселья новые, отменные: катанье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжки по темным лесам; а те леса перед ней расступались и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматься, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается,— стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее лучше самого себя; и захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными: «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: «Говори со мной, мой верный раб». И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые,



входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчовую; и говорит она задыхаясь, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит такие слова: «Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюсь я и рева звериного; говори со мной не опасаясь». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услышав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалась, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день — во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная: «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?» Отвечает лесной зверь, чудо морское: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг». И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его завсегда устрашались и в свои берлоги разбежались. И говорит зверь лесной, чудо морское, такие слова: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему по привычке ты; мы живем с тобой в дружбе, согласи друг с другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Не

слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова: «Если ты стар человек — будь мне дедушкой, если середович — будь мне дядюшка, если же молод ты — будь мне названный брат, и поколь я жива — будь мне сердечный друг». Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово: «Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» — и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечныя: ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец — и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне николи не услышишь». Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя надеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного и, когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» — и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах; и невзвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках ногти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Пролежавши долго ли, мало ли времени, опамятавалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючьми слезами обливается и говорит голосом жалобным: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвремен-

ною». И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые испугалась». Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидела она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядев его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской почитай, не разлучались, за обедом и ужином яствами сахарными насыщались, питьями медвяными прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам.

И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидел ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и сильно закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское: «И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу». Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на

широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаясь; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрицам старшим, любезным, про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшей сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда завистно стало. День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему...» И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоять того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание». И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе; взяли они да все часы в доме часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на

часы отцовские, аглицкие, немецкие,— а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем спрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовою, и, не дождав-шись единой минуточки до часа урочного, надела золотой перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивующись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купечкой дочери, красавицы писаной, почувяла она нешто недоброе; обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго — нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаясь, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купечкая, красавица писаная,— он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую — и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит... Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!..» И только таквы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громава стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купечкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти — не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом

престоле со камнями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писанный, на голове со короною царскою, в одежде златокованой; перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный, на голове со короною царскою: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческого, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, еще малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила такое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари небесной, пока найдется красная девица, какого бы рёду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною,— и тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прёжнему человеком молодым и пригожим. И жил я таким страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучил я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем».

Тогда все тому подивились, свита до земли поклонилась. Честной купец дал свое благословение дочери меньшей, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нимало не медля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.



**Л. Н. Толстой**

### **ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ**

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти. (*I посл. Иоанн. III, 14*).

А кто имеет недостаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь божия? (*III, 17*).

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной. (*III, 18*).

Любовь от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает бога. (*IV, 7*).

Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь. (*IV, 8*).

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то бог в нас пребывает. (*IV, 12*).

Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в боге, и бог в нем. (*IV, 16*).

Кто говорит: я люблю бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить бога, которого не видит? (*IV, 20*).

#### **I**



Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.

К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек было за мужиками в селе.

И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел нанковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: «Получу пять рублей с мужиков, приложу своих три,— куплю овчин на шубу».

Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику — дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому,— заболел мужик, что нет денег, только двадцать копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины,— в долг не поверил овчинник.

— Денежки,— говорит,— принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.

Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.

Потужил сапожник, выпил на все двадцать копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши — тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.

— Я,— говорит,— и без шубы тёпел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно — баба заскучает. Да и обидно — ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-богу, сниму. А то что же это? По двугривенному отдает! Ну что на двугривенный сделаешь! Выпить — одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и все, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном,— откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подай. Приду домой — а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.

Подходит так сапожник к часовне у поворотка, глядит — за самой за часовней что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рас-



смотреть, что такое. «Камня, думает, здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?»

Подошел ближе — совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: «Убили какие-нибудь человека, раздели, да и бросили тут. Подойди только, и не раздеешься потом».

И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню — не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит — человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: «Подойти или мимо пройти? Подойти — как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди вожжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только бог!»

И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.

И остановился сапожник на дороге.

— Ты что же это, — говорит на себя, — Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дуже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно!

Повернулся Семен и пошел к человеку.

## II

Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно — изморз человек и напуган; сидит, прислонясь, и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.

— Будет, — говорит, — толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!

Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен — тело тонкое, чи-

стоё, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи, — не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.

Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: «У меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные». Надел опять. «Лучше сапоги ему обую».

Посадил его и сапоги валеные обул ему.

Одел его сапожник и говорит:

— Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?

Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.

— Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!

И пошел человек. И пошел легко, не отстаёт.

Идут они дорогой, и говорит Семен:

— Чей, значит, будешь?

— Я не здешний.

— Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?

— Нельзя мне сказать.

— Должно, люди обидели?

— Никто меня не обидел. Меня бог наказал.

— Известно, все бог, да все же куда-нибудь прибаваться надо. Куда надо-то тебе?

— Мне все одно.

Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: «Мало ли какие дела бывают», — и говорит человеку:

— Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.

Идет Семен, не отстаёт от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: «Вот-те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!» И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце.

Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.

«Если, думает, Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».

Повертела, повертела Матрена краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем».

Убрала Матрена хлеб и села у стола за плату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.

«Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги не малые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а все шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выйти, ни куда. А то вот пошел со двора, все на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?»

Только подумала Матрена, закрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит — вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках.

Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. «Ну, думает, так и есть, загулял». Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. «Пропил, думает, деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел».

Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит — человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек — боится.

Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, что от них будет.

Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.

— Что ж,— говорит,— Матрена, собери ужинать, что ли!

Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен,

что баба не в себе, да делать нечего: как будто не при-  
мечает, берет за руку странника.

— Садись,— говорит,— брат, ужинать станем.

Сел странник на лавку.

— Что же, али не варила?

Взяло зло Матрену.

— Варила, да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил. Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.

— Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек...

— Ты сказывай, куда деньги девал?

Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.

— Деньги — вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился.

Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.

Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:

— Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.

— Эх, Матрена, поддержи язык-то. Прежде послушай, что говорят...

— Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала — ты пропил; пошел шубу купить — пропил.

Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только двадцать копеек, хочет сказать, где он человека нашел,— не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то все помянула.

Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.

— Давай поддевку-то мою. А то одна осталась и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!

Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба — затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось — хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой-такой человек.

Остановилась Матрена и говорит:

— Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.

— Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздетши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.

Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник — не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:

— Матрена, али в тебе бога нет?!

Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло у ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налили квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.

— Хлебайте, что ль,— говорит.

Подвинул Семен странника.

— Пролезай,— говорит,— молодец.

Нарезал Семен хлеба, крошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.

И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.

Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:

— Да ты чей будешь?

— Не здешний я.

— Да как же ты на дорогу-то попал?

— Нельзя мне сказать.

— Кто ж тебя обобрал?

— Меня бог наказал.

— Так голый и лежал?

— Так и лежал нагой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас господы!

Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику; нашла еще портки, подала.

— На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Одеешься да ложишься где полюбится — на хоры али на печь.

Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.

Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.

Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и възиграет в ней сердце.

Долго не спала Матрена и слышит — Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.

— Семен!

— А!

— Хлеб-то последний поели, а я и не ставила. На завтра, не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.

— Живы будем, сыты будем.

Полежала баба, помолчала.

— А человек, видно, хороший, только что ж он не рассказывает про себя.

— Должно, нельзя.

— Сём!

— А!

— Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?

Не знал Семен, что сказать. Говорит: «Будет толковать-то». Повернулся и заснул.

## v

Наутро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.

И говорит Семен:

— Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело одежды. Кормиться надо. Что работать умеешь?

— Я ничего не умею.

Подивился Семен и говорит:

— Была бы охота. Всему люди учатся.

— Люди работают, и я работать буду.

— Тебя как звать?

— Михаил.

— Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь — твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, — кормить буду.

— Спаси тебя господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.

Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.

— Дело не хитрое, гляди...

Посмотрел Михайла, надел также на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.

Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как всучить щетинку и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.

Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа — молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.

Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.

## VI

День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла по-прежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла, и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена недостаток прибавляться.

Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.

Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот — как с другого света человек: морда

красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна былит.

Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:

— Кто хозяин сапожник?

Вышел Семен, говорит:

— Я, ваше степенство.

Крикнул барин на своего малого:

— Эй, Федька, подай сюда товар.

Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.

— Развяжи,— говорит. Развязал малый.

Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:

— Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?

— Вижу,— говорит,— ваше благородие.

— Да ты понимаешь ли, какой это товар?

Попупал Семен товар, говорит:

— Товар хороший.

— То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.

Заробел Семен, говорит:

— Где же нам видать.

— Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?

— Можно, ваше степенство.

Закричал на него барин:

— То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне шей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь — берись, режь товар, а не можешь — и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.

Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толкнул его локтем и шепчет:

— Брат, что ли?

Кивнул головой Михайла: «Бери, мол, работу».

Послушался Семен Михайлу, взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролись.

Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.

— Снимай мерку!

Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обме-



рил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.

— Смотри, в голенище не обузь.

Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увидал Михайлу.

— Это кто ж,— говорит,— у тебя?

— А это самый мой мастер, он и шить будет.

— Смотри же,— говорит барин на Михайлу,— помни, так сшей, чтобы год проносились.

Оглянулся и Семен на Михайлу; видит — Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за бариним, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.

— Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.

И говорит Михайла:

— Как раз поспеют, когда надо.

— То-то.

Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой.

Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.

Отъехал барин, Семен и говорит:

— Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косак головой высадил, а ему горя мало.

А Матрена говорит:

— С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.

## VII

И говорит Семен Михайле:

— Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажать. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крой товар, а я головки дошивать буду.

Не послушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.

Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.

Хотела сказать Матрена, да думает себе: «Должно, не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».

Скроил Михайла пару, взял конец и стал сшивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.

Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла все шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит — у Михайлы из барского товару босовики сшиты.

Ахнул Семен. «Как это, думает, Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую надевал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с баринком? Товару такого не найдешь».

И говорит он Михайле:

— Ты что же это,— говорит,— милая голова, надевал? Зарезал ты меня? Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?

Только начал он выговаривать Михайле — грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.

— Здорово!

— Здорово. Чего надо?

— Да вот барыня прислала об сапогах.

— Что об сапогах?

— Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.

— Что ты!

— От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и зачоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал.

Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, шелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.

— Прощайте, хозяева! Час добрый!

### VIII

Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет по-прежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во все время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.

Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.

Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно.

— Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками, никак, к нам идет. А девочка одна хромая.

Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.

И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит — вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена — идет, припадает.

Вошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу — отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.

— Здорово, хозяева!

— Просим милости. Что надо?

Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чуждятся.

— Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.

— Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.

Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.

И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяньенькие, и шубки и платочки на них хорошие, а все не поймет Семен, что он так приглядывается на них, точно знакомые они ему.

Подивился Семен и стал с женщиной толковать — рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит:

— Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие, одна в одну. Двойни они.

Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:

— С чего же это с ней случилось? Девочка такая хорошая. Сроду, что ли?

— Нет, мать задавила.

Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети, и говорит:

— А ты разве им не мать будешь?

— Я не мать им и не родня, хозяйюшка, чужие все — приемыши.

— Не свои дети, а как жалеешь их!

— Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да бог прибрал, его так не жалела, как их жалею.

— Да чьи же они?

## IX

Разговорилась женщина и стала рассказывать.

— Годов шесть,— говорит,— тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обмёрюшки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довели, он и отдал богу душу, а баба его в ту же неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была,— ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.

Пошла я наутро проведать соседку, прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завадилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ — обмыли, опрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девочки одни.

Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их деть, и говорят мне: «Ты, Марья, поддержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем». А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух — троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько бог дал в грудях было, что залятся бывало. Двоих кормлю, бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше бог и детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свечке, что они!

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.

И вздохнула Матрена и говорит:

— Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без бога не проживут.

Проговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.

## Х

Подошел к нему Семен: что, говорит ты, Михайла! Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:

— Простите, хозяева. Меня бог простил. Простите и вы.

И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:

— Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на нее и с тех пор стал

светлее? Потом, когда барин заказывал сапоги, ты улыбнулся в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и отчего ты улыбнулся три раза?

И сказал Михайла:

— Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова божии. И я узнал слова божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.

И сказал Семен:

— Скажи мне, Михайла, за что бог наказал тебя и какие те слова бога, чтобы мне знать.

И сказал Михайла:

— Наказал меня бог за то, что я ослушался его. Я был ангел на небе и ослушался бога.

Был я ангел на небе, и послал меня господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена — больна, родила двойню, двух девочек. Копшатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что бог меня по душу послал, заплакала и говорит: «Ангел божий! мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Нельзя детям без отца, без матери прожить!» И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к господу на небо. Прилетел к господу и говорю: «Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: «Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить». Не вынул я из родильницы душу». И сказал господь: «Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул у родильницы душу.

Отпали младенцы от груди. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к богу, а я упал у дороги на землю.

## XI

И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.

И сказал ангел:

— Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, замерз и не знал, что делать. Увидал я — в поле часовня для бога сделана, подошел к божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком, и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидел я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: «Я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека — мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о боге, и женщина вдруг переменялась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее — в ней уже не было смерти, она была живая, и я в ней узнал бога.

И вспомнил я первое слово бога: «Узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.

Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидел товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: «Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». И вспомнил я другое слово бога: «Узнаешь, чего не дано людям».

Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидел товарища ангела, и тому, что бог мне другое слово открыл.

Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И все жил я и ждал, когда бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал: «Просила мать за детей, и поверил я матери,— думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их». И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидел живого бога и понял, чем люди живы. И узнал, что бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.

## ХИ

И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:

— Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.

Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку — сапоги на



живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.

Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Знал я прежде, что бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.

Я понял, что бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в боге и бог в нем, потому что бог есть любовь.

И запел ангел хвалу богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.

И когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.

## **РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН**

Жил Емельян у хозяина в работниках. Идет раз Емельян по лугу на работу, глядь — прыгает перед ним лягушка; чуть-чуть не наступил на нее. Перешагнул через нее Емельян. Вдруг слышит: кличет его кто-то сзади. Оглянувшись Емельян, видит — стоит красавица и говорит ему:

— Что ты, Емельян, не женишься?

— Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдет.

И говорит девица:

— Возьми меня замуж?

Полюбилась Емельяну девица.

— Я,— говорит,— с радостью, да где мы жить будем?

— Есть,— говорит девица,— о чем думать! Только бы побольше работать да поменьше спать — а то везде и одеты и сыты будем.

— Ну что ж,— говорит,— ладно. Женюсь. Куда ж пойдем?

— Пойдем в город.

Пошел Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой на краю. Женились и стали жить.

Ехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь, удивился: «Где такая красавица родилась?» Остановил царь коляску, позвал жену Емельяна, стал ее спрашивать:

— Кто,— говорит,— ты?

— Мужика Емельяна жена,— говорит.

— Зачем ты,— говорит,— такая красавица, за мужика попала? Тебе бы царицей быть.

— Благодарю,— говорит,— на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо.

Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец. Не идет у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, все думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю:

— Возьми ты,— говорят,— Емельяна к себе во дворец в работники. Мы его работой замучаем, жена вдовой останется, тогда ее взять можно будет.

Сделал так царь, послал за Емельяном, чтобы шел к нему в царский дворец, в дворники, и у него во дворе с женой жил.

Пришли послы, сказали Емельяну. Жена и говорит мужу:

— Что ж,— говорит,— иди. День работай, а ночью ко мне приходи.

Пошел Емельян. Приходит во дворец; царский приказчик и спрашивает его:

— Что ж ты один пришел, без жены?

— Что ж мне,— говорит,— ее водить: у нее дом есть.

Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взялся Емельян за работу и не чаял

все кончить. Глядь, раньше вечера все кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо.

Пришел Емельян домой. А дома у него все выметено, прибрано, печка истоплена, все напечено, наварено. Жена сидит за станом, ткёт, мужа ждёт. Встретила жена мужа; собрала ужинать, накормила, напоила; стала его про работу спрашивать.

— Да что,— говорит,— плохо: не по силам уроки задают, замучают они меня работой.

— А ты,— говорит,— не думай об работе и назад не оглядывайся и вперед не гляди, много ли сделал и много ли осталось. Только работай. Все вовремя поспеет.

Лег спать Емельян. Наутро опять пошел. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь — к вечеру все готово, засветло пришел домой ночевать.

Стали еще и еще набавлять работу Емельяну, и все к сроку кончает Емельян, ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной работой донять мужика; стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу— что ни зададут — все делает к сроку Емельян, к жене ночевать идет. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит:

— Или я вас задаром хлебом кормлю? Две недели прошло, а все ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучить, а я из окна вижу, как он каждый день идет домой, песни поет. Или вы надо мной смеяться вздумали?

Стали слуги царские оправдываться.

— Мы,— говорят,— всеми силами старались его сперва черной работой замучать, да ничем не возьмешь его. Всякое дело как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали, у него ума не достанет; тоже не можем донять. Откуда что берется! До всего доходит, все делает. Не иначе как либо в нем самом, либо в жене его колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призови ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить.

Послал царь за Емельяном.

— Ну,— говорит,— вот тебе мой приказ: построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к за-

втрему к вечеру готово было. Построишь — я тебя награжу, а не построишь — казню.

Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошел домой. «Ну, думает, пришел мне конец теперь». Пришел домой к жене и говорит:

— Ну,— говорит,— собирайся, жена: бежать надо куда попало, а то ни за что пропадем.

— Что ж,— говорит,— так заробел, что бежать хочешь?

— Как же,— говорит,— не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозитя голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время.

Не приняла жена этих речей.

— У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо.

— Да как же слушаться, когда не по силам?

— И... батюшка! не тужи, поужиной да ложись: наутро вставай пораньше, все успеешь.

Лег Емельян спать. Разбудила его жена.

— Ступай,— говорит,— скорей достраивай собор; вот тебе гвозди и молоток: там тебе на день работы осталось.

Пошел Емельян в город, приходит — точно, новый собор посередь площади стоит. Немного не кончен. Стал доделывать Емельян, где надо: к вечеру все исправил.

Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит — собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору, досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять.

Опять призывает царь своих слуг:

— Исполнил Емельян и эту задачу, не за что его казнить. Мала,— говорит,— и эта ему задача. Надо что похитрей выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расказню.

И придумали ему слуги, чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело.

— Если ты,— говорит,— в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать. Чтобы завтра было все по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю.

Опечалился еще пуще Емельян, пришел к жене сумрачный.

— Что,— говорит жена,— опечалился, или еще новое что царь приказал?

Рассказал ей Емельян.

— Надо,— говорит,— бежать.

А жена говорит:

— Не убежишь от солдата, всегда поймают. Надо слушаться.

— Да как слушаться-то?

— И...— говорит,— батюшка, ни о чем не тужи. Поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, все будет в поре.

Лег Емельян спать. Поутру разбудила его жена.

— Иди,— говорит,— ко дворцу, все готово. Только у пристани, против дворца, бугорок остался; возьми заступ, сровняй.

Пошел Емельян; приходит в город; вокруг дворца река, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани против дворца, видит — неровное место, стал ровнять.

Проснулся царь, видит — река, где не было; по реке корабли плавают, и Емельян бугорок заступом ровняет. Ужаснулся царь; и не рад он и реке и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: «Нет такой задачи, чтоб он не сделал. Как теперь быть?»

Призвал слуг своих, стал с ними думать.

— Придумайте,— говорит,— мне такую задачу, чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы ни выдумывали, он все сделал, и нельзя мне у него жены отобрать.

Думали, думали придворные и придумали. Пришли к царю и говорят:

— Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда — не знай куда, и принеси того — не знай чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться. Куда бы он ни пошел, ты скажешь, что он не туда пошел, куда надо; и чего бы он ни принес, ты скажешь, что не то принес, чего надо. Тогда его и казнить можно и жену его взять.

Обрадовался царь:

— Это,— говорит,— вы умно придумали.

Послал царь за Емельяном и сказал ему:

— Поди туда — не знай куда, принеси того — не знай чего. А не принесешь, отрублю тебе голову. Пришел Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена.

— Ну,— говорит,— на его голову научили царя. Теперь умно делать надо.

Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу:

— Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке старинной, мужицкой, солдатской матери, надо ее милости просить. А получишь от нее штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только ненадолго. Если все сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь.

Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретенце.

— Вот это,— говорит,— ей отдай. По этому она узнает, что ты мой муж.

Показала жена ему дорогу. Пошел Емельян, вышел за город, видит— солдаты учатся. Постоял, постоял Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошел к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда — не знай куда, и как принести того — не знай чего?

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто,— говорят,— тебя послал искать?

— Царь,— говорит.

— Мы сами,— говорят,— вот с самого солдатства ходим туда — не знай куда, да не можем дойти, и ищем того — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить.

Посидел Емельян с солдатами, пошел дальше. Шел, шел, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать, кудельку прядет, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него:

— Чего пришел?

Подал ей Емельян веретенце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал и как ему теперь царь велел идти туда — не знай куда, принести того — не знай чего.

Отслушала старуха и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно,— говорит,— садись, сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот тебе,— говорит,— клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придешь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что не то ты принес, что надо. А ты тогда скажи: «Коли не то, так разбить его надо»,— да ударь по штуке по этой, а потом снеси ее к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы осушишь.

Простился с бабушкой, пошел Емельян, покатил клубок. Катил, катил — привел его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Попросился Емельян в дом ночевать. Пустили. Лег спать. Утром рано проснулся, слышит — отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын.

— Рано еще,— говорит,— успею.

Слышит — мать с печки говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьет по ней палками. Она-то и гремит; ее-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовется.

— Барабан,— говорят.

— А что же он — пустой?

— Пустой,— говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришел домой в свой город. Ду-

мал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю увели.

Пошел Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришел, мол, тот, что ходил туда — не знай куда, принес того — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я,— говорит,— нынче пришел, принес, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.

Вышел царь.

— Где,— говорит,— ты был?

Он сказал.

— Не там,— говорит.— А что принес?

Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.

— Не то,— говорит.

— А не то,— говорит,— так разбить его надо, и черт с ней.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нем. Как ударил, собралось все войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб ему барабан отдал.

— Не могу,— говорит Емельян.— Мне,— говорит,— его разбить велено и оскретки в реку бросить.

Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и пошел к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо — проживать.





*Н. С. Лесков*

## ЧАС ВОЛИ БОЖИЕЙ

*Сказка*

### I

**В** очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброхот. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям по отцовским и дедовским, и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривою верх взяла и всем людям хорошо было у него под державою, но только все это дело у него не спорилось. Только что начнет Доброхот с одного конца свое дело налаживать, как — глядит — оно у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброхот всяким родом и способом и умалялся в хлопотах до семи потов, а успеха ему все-таки нет как нет. И потерял, наконец, Доброхот всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморошья потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные; опостытели ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал король вянуть и к гробу посунулся.

Заметила это жена Доброхота премудрого — Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя, и ее, и своих малых детушек и не трудил бы себя долгою тяжкою заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сановитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки все дело чистое — на ладошечке.

## II

Король Доброхот в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со веей земли и начал у них спрашивать:

— Все ли у нас под моею державою идет так, как следует?

Советчики отвечали:

— С нашей руки видать, будто идет у нас все как следует. Будь только ты у нас многолетне здрав, а для нас ничего окромя сего и не надобно.

— Если же вы не врете, то, пожалуй, быть может и вправду так,— отвечал король.— Хорошо, молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно, отчего у меня под державою не все так, как я хочу: для чего у нас есть холодные и голодные, и отчего не для всех равно все спорится и ладится?

А бояре Доброхоту ответили:

— Что тебе этим пустым делом тревожиться! Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так — не у нас одних все хорошее не спорится, не ладится!

— Ну, пускай повсеместно так,— отвечал король,— а мне это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтоб от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорей это дело обдумали. Подите-ка сядьте честь честью в большой сборне вдоль лавок за стол да не спите, поклав друг другу головы на плечи, и обо всем мне до сумерек обдумайте накрепко, а сүтемень придите и выложите.

Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили: одни

стали гсворить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломою тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было; а что станет, мол, для всех поравней и порадостней только в будущем. А потому не надо-де нонешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, мол, как ни прожить — это все равно, — хоть и пострадать, так не важно стать: наш народишко терпеливый, выносливый — ему уж не первый снег стелет головы, и ему ничего от беды не подеется; а надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено.

Провели в этих речах все время засветло, а в сумерки встали с мест, запахнулись и принесли сүтемень свои суды к королю в терем и все готовьем пред ним и выложили.

Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились: покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на полатах спать, а сам еще в два раза смутней закручинился.

— Мне, — говорит, — от этого их совета совсем нет ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное: потому что не я дам богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу я и за то, что после меня в свете станется. А я хочу знать, как я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем людям стало полегостней; а вот это-то у меня как раз и не спорится, не ладится.

И начал король один в сумерках по палате из угла в угол ходить, и как до угла дойдет да повернется, то вздохнет глубоко из всей груди, так что везде слышать во всем тереме.

Тогда подошла к нему в потемках старая его мамка, чуждянка, из чужих земель полоненная, и говорит ему попросту:

— Ты чего, мое дитяtko, все вздыхаешь да охаешь? Ты ведь сам виноват — для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих у бояр и советчиков. Им ведь только и дело — особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому что все они только себе добра хотят, а ты повели привести к себе старцев божь-

их, пустынных, таких, которым уж свет не мил и земля им давно опостылела. Вот ты их спроси,— им врать нечего, им уже ничего в этом свете не надобно,— так они тебе, может быть, правду и выскажут.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо,— он сказал,— я тебя очень послушать рад, но только где же могу я таких божьих людей достать?

А старуха отвечает:

— Ты об этом не крушися ни малости: слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть, и у нас они, милый, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трех угодных пустынных, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялися, а теперь только в то живут, что втроем в один голос за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся: может быть, только по их молитвам до сих пор господь бог твое царство и милует.

— Хорошо,— отвечал король,— я сейчас хочу видеть этих угодничков.

— Вот таков же и мой совет: пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат.

### III

Король Доброхот совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех у калек переходящих стал спрашивать: не видали ли где трех пустынных, которые отбыли все земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за одно его царство господу молятся, и через те их молитвы священные держава его выше всех на земле стоит.

Калеки переходящие, те, что все чудеса в свете божием видели, рассказали королю, что такие праведные пустынные точно есть, но процвели они не в одном месте, а стоят они уже много лет, все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, просиял в самом дилом тесном лесу, где он стал давно на дубу на макушечке, а теперь тот дуб уже высоко возрос и уперся

в поднебесье, и старца и солнце жжет и буйные ветры бьют; этот называется старик Дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок — этому средний брат — процвел в безбрежной степи посреди ковыля, где и журавли, и драхвы с головами хоронятся и верхового латника с копьём вместе не видно: там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козьявочек, которые сами ему в рот вползут; и этот пустынный называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок — этим обоим самый младший брат — потопил себя по самую шею посреди невылазных рамедных болот и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит песья муха, и пискун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик все стоит, не шевелится; имя ему Водовик, а век его триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большою опаской и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться.

И дали калеки Доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый по мягкой плетушке соломенной, в каких носят гусей пред царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калеки настлать на донышко сена пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны, а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынным. И всадить старичков надо вежливо, поучтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялися и ходить они разучились, а тела у них так изветшались, что нести их посыльным нимало не тягостно.

Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев: Дубовика, Полевика и Водовика, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчее в плетушечки и принесли бы к королю на закорочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользы даром проходят, тем большого наказания пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей: тем поставят каждому у двора по кресту и по шести, а наверх шеста взденут цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдет, вверх глаза бы драл да им бы

завидовал. А дорогой чтобы ни о чем старичков не сметь спрашивать, а сказать только им, чтоб они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа, потому что зовет их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно: отчего у него все не спорится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чем больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно, и в какой чин они захотят — в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольщине и даст им супротив других кормы вдоволе; а если они, одичавши чрез долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то король их за то не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлет на тот манер, как самим им понравится, — хоть в колымагах на тавреной, пушной кошме, хоть опять на мхе и на сене в плетушках соломенных.

Пошли послы королевские, как им было указано, — и во все концы королевства рассыпались, — в каждый след по парочке, для того, чтобы как найдут старичков, так нести их на закорках, не без отдыха, а друг с дружкой в переменочку.

Шли они, шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще без толку, и зашли уже на самый край королевства — дальше чего им идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники, на плечах песьи головы. Но чуть только три пары послов завернулись, вскоре же обрели всех трех старичков — одного в лесу, другого в поле, а третьего посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по-учтивому; но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только, как цыплятки, начали себе тонкими веками глазки защуривать. Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать:

— Ну-ка вы, бессемянники: нет ли под вами на ваших местах серебра, или золота, или самоцветных камней? Лучше вы, дохлая братия, сами честью откroyтeся, а то ведь мы вам не таковские — запытаем, замучаем до смерти.

Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их за то переверотили на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились, — и так

до трех раз отхлопали, а после того посадили их на сено в плетушечки и наказали, чтобы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы перелетные птицы их не запачкали, и понесли к королю на закорочках, друг с дружкой ношей меняючись.

#### IV

Сошлись все три пары обретших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из опочивальни королевной в свою теплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становились. Помылся король майоранным мылом и щелоком с кучерявою мятой, с душицей, расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться народушку, а послы тут зараз лопухи с плетушек сняли прочь и Доброхоту старичками челом в землю ударили.

Король сделался радостен: велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить, а сам подошел к старцам с улыбкой приветною; но как увидал, какие они сидят испитые, тщедушные — в чем душа в теле держится, то от страха и руки врознь.

Однако же, поглядев на них оком благостным, король осмелел и стал над их над плетушками разговаривать, что вот так и так, научен он сызмлада наукам и мудростям и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спорится, не ладится.

— Спрашивал,— говорит,— я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошел от них умного: или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать раз слышано. Нуте-ка,— вы вот много лет всё молчали и устремляли умы на высокое,— прошу я вас честию: скажите вы мне, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики как сидели, так и сидят во плетушечках, и как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают.

Терпелив был и ласков король, но за это разгневался.

— Что же,— говорит,— вы молчите, как истуканы и чучелы? Я посылал за вами много людей полирован-

ных во все стороны, а вы мне и по одному слову не скажете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моем стольном городе; здесь молчать, когда спрашиваю,— значит грубительство, и за это от моего утверждения по закону вас будут наказывать. Смейните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противитесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные и я могу повелеть, чтобы при мне вас поломя рассечь или привязать вас к конским хвостам, да и размыкать вас по полю.

Но смутился король, что если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведешь, а если сдать их честь-честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам, да на дыбе потрясти, да распрашивать, то они и одной встряски не выдержат — все рассыплется в прах и разлетится пылью по потолкам да по стеночкам.

И опять созвал Доброхот на совет всех своих мудрых советчиков и спросил их: отчего перед ним справедливые старцы упрямятся и что ему с ними надо сделать — как их понудить, чтоб они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвечают:

— Мы бы знали, что делать, да ты это дело сам испортил.

— А чем я испортил? — спросил король.

— А испортил ты тем, что понизил высокий сан — стал с простыми людьми вровень разговаривать: вот они чрез это теперь и зазнались. Тебе, кроме нас да стрельцов, ни с кем говорить непригоже, потому что твое дело средь всех людей особое. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам — мы от них всю их премудрость доведем.

Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать.

— Не сердись,— говорит,— ты на бедных пустынников; ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости, потому будто дело твое особое, а они — не прогневайся — опростились и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особину на тебя не надеются!



— Значит, глупы они,— отвечал король,— в сем ви-на тебе: ведь они сюда с твоего совета и позваны.

— Нет, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоём дворе поживут — сполируются и тогда ухитрятся, как сказать про все неразберихою,— скажут так, что ничего не будет тебе и другим неприятного и все будет то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи и не давай их на допрос своим боярам-советчикам: видишь сам, чай, что старички они очень слабые,— а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные: они их возьмут да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе: будь обходительней; призови ты сейчас лучше всего своего гуслера Разлюляя-гудошника — он измигул мужичонко, лядащенький, ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пустобрехом на свете жив; но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесет пуστοлайкой и враз у старичков правды допросится,— обойдет их если не лаской, так хитростью.

Доброхот позвал своего плясуна, гуслера Разлюляя-гудошника и сказал ему:

— Ты, лядащий мужик, измигул неработистый, только хари гнешь да врешь не зная что пуστοлайкой,— здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую статью. Полно тебе в дураках ходить да ерошиться: я теперь тебе свое государево великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости: отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится.

И закончил король Разлюляю решением:

— Узнаешь премудрость — дам тебе сто рублей, а не узнаешь — велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, как бог в небеси,— что я сказал, так и станется.

## V

Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он одет в зипунишечке в пестреньком — один рукав кармазинный, а другой лазоревый, на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая,— не жнет он и не сеет, а живет не знамо чем и питает еще хозяйку красивую

да шестерку детей,— на которого ни глянь, сразу знать, что все — Разлюляевичи. Ходит он повсюду болтается, и никто разобрать не может: видит ли он добро в той темноте, что была до Гороха царя, или светится ему лучшее в тех смыслах, какие открылись людям после время Горохова. Никто ему не чуждается, а все зовут его «пустолайкою»; но измигул Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою, то соловьем свистит, то лопочет варакушкой, на руках идет, боком катится и на всякий на разный манер притворяется.

Но как выслушал Разлюляй королев приказ, позабыл он все свои заботы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь,— что «не мне-де такое важное дело ведати»; но король топнул ножкой, и пошел Разлюляй к старикам и начал вокруг них, по обычаю, измигульничать: митусить ногами и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

— Ох вы гой еси, старички справедливые, треблаженные, божьи молчальники, разомкните уста свои благовестные и скажите скорей, не потайте от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой все добро не спорится, не ладится?

А старички как молчали, так и теперь молчат, только знай себе в кошелочках гнездятся.

Тогда Разлюляй стал на другой манер измигульничать и начал их пробовать жалостью:

— Мне нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мне скажете, отчего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей; а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей. Его слово королевское крепко и сбудется — не забудется. Да вам и самим, старичкам, для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото, а велит вас подвесить в кошелочках под полати в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами. Что там по все дни наслышитесь — спаси только господи. Вот вы на этот счет пораздумайте: какво-то вам там придется слушать совсем непривычные речи до самого до веку! Выручайте и меня и себя, отцы, а то нагрешите вы с ними три короба и не годитесь после того ни к стру, ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в царство небесное, а так и останетесь висеть под полатами.

Так напугал этим Разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны и изгоревшими устами своими начали пошевеливать, а измигул Разлюляй-пустобрех как увидал, что успел им загнать во лбы загвоздку здоровую,— сейчас побежал к королю и говорит:

— Что мне от твоей милости сказано, я все это уже выполнил: старички уже теперь полируются — стали уже губами двигать и скоро шептать начнут,— одевайся скорей да иди-ка их слушать, что они выслоят, какие премудрости.

Как пришел король да нагнулся к первой плетушечке, так и стало слышно ему, что старик Дубовик и впрямь полируется — об ивовое плетение, как поросенок, всеми боками трется, а сам робко пыхтит и тихо покрехтывает.

Король его и спросил: «Отчего на свете доброе не спорится и не ладится?»

Старик Дубовик прошептал:

— *Оттого, что люди не знают: какой час важнее всех.*

Доброхот нагнулся к другому — к Полевику, и того спросил, а тот шепчет:

— *Оттого, что не знают: какой человек нужнее всех.*

Нагнулся Доброхот и к третьему старичку, а тот ему сказал:

— *Оттого, что не знают: какое дело дороже всех.*

И так молчальникам трудно это было проговорить с отвычки, что они как только сказали, так и ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат, на донышках. Ничего от них король больше никак не мог допытаться, доведаться и еще больше рассердился, потому что сказанные ими слова стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так все брать, чтобы было ему все как на ладонке положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь так, как им Разлюляй пригрозил: указал Доброхот, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках в большой советной избе под полатями и держать их там, пока они не скажут: «какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех».

Отнесли старичков в советную избу и подвесили под полатями в их плетушечках, посыпали им пшенной

кашки, чтоб они впросоночках зѣблили, и поставили на верхнем полу ведро воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном до самого до свету.

Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу — проснулся в первые петухи сынок кравчего, побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш, чтобы променять его на подторжье на пряники. А потом еще не поспалось самому королю Доброхоту премудрому: все казалось ему, будто его зажные блошки покусывают. Провалился он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться — без сна лежать, только маяться; встал он горшком, распрямился, нахватил себе на плечи королевскую глубоньку и пошел старичков посмотреть: живы ли они, и здоровы ли, и чего они через ночь, полируясь, надумались?

Пришел король в избу, поставил себе к полатам приставную скамеечку, но только что глянул в плетушечки,— так и рот раскрыл, и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустехоньки, и ни от одного старичка ничего не осталось, кроме смятого места да насадней. Разлетелись ли они легкою пылью по стенкам да по полу или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялись, ничего не осталось.

Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и так бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благим временем, уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растряснут где-нибудь без остаточка!.. Услыхали карачульщики, как земля дрожит, и стали спросонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор и кричать благим голосом: «Ай, земля сотрясается — мы насили за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевские спальни и застольники и начали со страху вокруг себя на карачках ползать, а потом пришли и вылили королю все ведро воды за ворот и насили нашли королевского доктора-немчина, который один знал, что сделать надобно: он поднес Доброхоту под самый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тертый крепкий хрен, и защекотал ему перстами в подмышечках.

От хрена и щёкота королю сразу полегчало: он стал похохатывать, и враз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советчиков и стал спрашивать их: где делись пустынночки, не извел ли их кто какую отравой, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душою куда-нибудь в чужое царство безбожное, где их станут неволить в римский костел ходить и есть скоромное по средам и по пятницам.

Бояре, как могли, постарались короля успокаивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил, верно, в палате под полом жадный хорь и поел этот жадный хорь старичков без остаточка.

И стали все короля отвлекать и рассеивать — что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что «старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили».

— Пропоем о них панихидочку, вспомняем их кануном на паперти да у себя по домам блинками с припекою и будем править всем опять по-старинному, как было при дедах наших и прадедах. А что никак не спорится и не ладится — про то, значит, и думать не следует: на земле беднякам всегда будет жить тяжело, да никуда они не поденутся, ведь на небо взлететь крыльев им не дано. Поскулят и на том успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не поверил он тому, чтобы старичков у него в избе хорь изъел, — а сказал он так:

— Если хорь изъел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь ее над могилами.

Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают негоже: не хорь изъел старичков, а ушли они не иначе как своею колдовскою хитростью: пролили из ведра воду на пол, а сами сели в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать никакими манерами. От лихих колдовских людей таковые дела не раз были во всех землях и при всех дедах и при прадедах и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам.

А король говорит:

— Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я все-му с охотою верую, но ведь не грех и то узнать: что как устроено? Вот я хочу, чтобы вы показали мне: через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан-море спустились? Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они враз все полы во всех домах. Не ломать только в моем тереме, да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы.

## VI

Пошли бояре невеселы: не хотелось им посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах, а не смели ослушаться короля и не знали, как своему горю помочь. Но на их счастье узнала опять обо всем об этом королевская мама чуждянка-долица, и пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему по учтивому:

— Ты прости меня, неразумную, я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала и могу тебе рассказать: куда делися старчики. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настрашал ты их до смерти сам, что велел их подвесить в полатях в избе, где удержишь совет свой с своими боярами. Старчики век сидеть и всё слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого вереда и слышала, как они друг со дружкой в потемках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнеточкой, а потом зачали в своих плетушечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что враз опрокинулись и с сенцом вместе на пол и выпали.

— Где же они теперь? — закричал король.

— А теперь их и след простыл: уползли на карачках с твоего двора и все в буйной траве без следочка и скрылись. Теперь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая; да и дело до них уж теперь не касается.

— Отчего же оно не касается?

— Оттого, что приснился мне вещий сон, и был слышан во сне таковой глагол, что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего вовсе не думает. Так вот ты теперь оставь старичков, а посылай искать эту девицу.

Король свою маму, чуждянку, послушался и сейчас же разослал дворян и боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу.

С неохотой большою и с тугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собирались; перво-наперво все они взяли шелеги, а потом зачали у себя по домам печи топить и в банях париться. А потом долго справляли себе лубяные зобёнки раскрашенные да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые олады, да колобки, в жиру кипяченые, да блины с разною припекой, и когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям и начали там есть досыта, пить допьяна, а напившись — кости и зернь метать, и играл — подрались и друг дружке под очи синявы наметили, а потом помирились, на синие места муки с мелом намазали и легли, крепко выспались, а как хмель прошел и синяки позаиндевели, — послы все назад возвратились и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были и что видели, и, пред иконами став, забожились, что хоть много на свете есть непонятого, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожале-ла, а о себе об одной не заботились.

— К этакой, — говорят, — если б была она, весь народ на один край света сбежался бы, и весь свет бы тогда перекувырнулся.

## VII

Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было: не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять, дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице:

— Неужели же я так и умру, не доведавшись: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

А баба ему отвечает:

— Если будешь все бояр рассылать, — пожалуй, что так и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать

девицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее чтобы не шел назад. Он мужичонко корявый, лядащенький, говорит пустолайкою, и за ним никакие дела не задержатся, а кормов ему от казны супротив бояр можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: он и так пропитается как-нибудь одною своею верностью. Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности свое счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинет пенечную оброть конскую, и довольно ему принадлежностей. Пусть идет, будто надо ему коней искать: «на росу, мол, пустили, а они с росы разбежались». И пусть так идет куда знает сам и проходит хоть сквозь целый белый свет: где ж нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. Ведь сквозь тартары она небось не провалится.

— Хорошо,—отвечал король,—все твои рассуждения умные, и они мне всегда очень нравятся: пошлем Разлюляя во место больших бояр; а только не вздумая, какое ему посулить за его службу жалованье?

— Обещай что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь — будет видно, по его старанию. И совсем ничего не дашь — тоже стерпит: на тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один бог судья: твое дело совсем особенное.

— Это правда,—отвечал король,—на земле мы не судимся, ну, а все-таки надо и нам меж людей вести себя с честностью: что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, все равно как по бирочке.

— Ну, так, пожалуй, его опять и в этот раз в одной-стай против прежнего: если он исполнит свою службу и найдет девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей, а если не исполнит — не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, бог с ним, пусть идет опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей его за старание.

— А как он и девицы не найдет и сюда к нам со страху совсем не воротится? Он ведь пустой человек, ему везде все равно — в целом мире отечество.

— Ну, про это,—сказала старуха,—я, друг мой, не сведуща. Позови к себе из приказа посольского судебного дьяка, который послам ярлыки дает за печтями; дьяк тебе это дело все оборудует.



Пришел дьяк и привел с собою самого хитрого подьячего с приписью, и подали королю такой совет, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а как станет король отпускать Разлюляя в последний раз, то сказать ему, что идет он послом не на целый век, а дается ему сроку ходить по свету всего три года, и если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле, а тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута, а при том битье у них будут спрашивать: знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротится?

— Пригрози-ка так,— сказал дьяк,— Разлюляй хотя и пустой человек, а дети всякому своя кровь: небось и он пожалеет ребят и жену и назад придет. Таковые разы уже не раз были и на шкуре телячьей записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены.

Король молвил втишь, что ему самому Разлюляя жаль, но и дьяк подьячий с приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтется на тот свет душевным спасением.

И изволил сказать король, чтобы собрать Разлюляя в путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением: толоконца за пазуху да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится.

Сытнее его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шел он послом, совсем ненадежное. Весь народ о том знал от бояр сановитых доподлинно. Да, кроме того, Разлюляю нигде кормов и не надобно. Оголодаает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенько вприсядку, и везде себе хлеба он выпляшет, а не выпляшет, так и сам возьмет потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться Разлюляю не для чего: на нем чина большого не кладено; ударят по щеке — согнется, а запрут где-нибудь — выерзнет подворотнею и опять пойдет веселехонек.

Измигул же и нетяг Разлюляй Разлюляевич не дурак тоже был: не взманила его большая честь, чтобы быть в послах, и начал он сильно отпрашиваться и до

той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовется волвянкою. Представлял он королю Доброхоту все доводы, что и не умен и не знатен он, и на все языки не выучен, и не с каждым вровень говорить может, а здесь без него дома ребят кормить некому и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтоб о детях своих нимало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичий двор и приставят утят стеречь, и будут им там и корм вдоволь и во всех смыслах научение; а самого Разлюляя выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке дубиночка, а на плечах оброть конская, — будто он ходит да сбеглых коней ищет.

Нечего было больше делать Разлюляю, и пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью самым смиренным обычаем, нигде ничего, кроме съестного, не крал и, когда не давали вина, не пьянствовал, а все шел вперед; долго ли, коротко ли, и зашел он страсть как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своем пути много разных людей, и звероловов, и коробейников, и пахарей, и у всех, кого встречал, всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех; но никто этого разгадать не мог. А обратно те, кого он расспрашивал, сами хотели знать от него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкою? А Разлюляй говорил про волвянку всякому разное: то будто он своему королю у бога довечного живота просил и все в землю кланялся, то будто сам за свои грехи каялся. Наконец повстречался он раз с воровским Цыганом, под самую Пасху великую, и тоже стал у того Цыгана про свое дело спрашивать; но Цыган ему засвистал и показал в перстах загогулину и говорит:

— Ты мне прежде сам скажи: хорошо ли жить у вас под державою, и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, а что шишка у него сделалась от больших молитв; но Цыган говорит:

— Не обманешь, брат, я и сам богомолен и посты держу, когда нечего есть, а на лбу у меня нет еще шишки волвянкою. Признавайся по истине.

— А по истине,— говорит Разлюляй,— я в бане мылся да с полка свалился.

— Что же ты за полок-то не уцепился?

— Очень угоревши был.

— Вот, я вижу теперь, ты говоришь мне все по совести: ишь какие вы, братцы, счастливые — вас и кормят, и поят, и спины вам порют — чего еще надобно! Теперь мне с тобою вдвоем ночевать не страшно,— отвечал Цыган, зубы скалючи, и обещал ему завтра натоще отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном Разлюляевым, а в ночи встал Цыган, съел все толокно, украл оброть, надел зипун, да и был таков.

Остался Разлюляй в одних в портках да в рубахе и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дырах, а читал он все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха-попа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нем сорок ризок, и он поет и читает молебны с акафистами, а в Сирахову книгу Премудрости не заглядывает. Нюткудова нет Разлюляю ни совета, ни помощи, только всё ему бедства множатся, и идет он, сам под собой земли не видит и проливает слезы горючие. Тут-то над ним, наконец, бог и сжалился — даровал ему встречу желанную.

## VIII

Сам не свой, Разлюляй шел все далее, и зашел в самый темный лес, и заснул на мху на поляночке, и проспал с полдня до полночи, а в полночь прокинулся и увидел он там при луне старичка очень старого, в долгой рубахе до пяточек,— стоит да с лип лычко дерет, а устами поет тихо Спасов стих.

Разлюляй думает: «Что это — либо сон снится мне, либо видение, или такой заправский старик, которому в ночи спать не хочется? А не лучше ли мне, на всякий раз, с старичком поздороваться?..» Взял и сказал ему по-учтивому:

— Помогай господь тебе, дедушка!

Старик отвечает:

— Будь и ты здоров, Какойто Какойтович, и скажи, как тебя зовут иначе?

Разлюляй ему назвался.

— Хорошо,— говорит старичок,— Разлюляй — имя веселое; да скажи-ка мне, Разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь, зачем у нас по лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели?

Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал, и зачем послан, и что претерпел, и как потерял все свои принадлежности; а старик ему говорит:

— Твое дело, брат, для меня непонятное, ну а только сдается мне, будто я тебе в этом деле помочь могу.

— Помоги ради господа, дедушка, а тебе господь бог заплатит сторицей.

— Да, господь-то, господь, всем нам батюшка, а по нем и все братья мы, а ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухою тропиночкой; теперь уж горазд ночи убыло, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзаясь, а с терпением, и не бранись никак дурным словом, не гони от себя своего хранителя-ангела. Так пройди ты через весь долгий черный лес, и придет тебе там впоперек пути холодная балочка; ты переплывь вплавь без страху через холодную балочку да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, а на ней посредине приметный калинов куст, и от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный: одно крыло у него все как следует, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая в лубочек увязана. Не то его в небе орел подшиб, не то не знать для чего подстрелили князьи охотники: они убивать и зверков и птиц спаси господи какие досужие! А у меня есть внучка-девчурочка, тут в лесу со мной и выросла, да такая, бог дал, до всех сердобольная, что не обидит козявочку — вот она того журавля нашла да в лубочек ему хворую ножку и повила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядает его и дает ему зернышки, пока журавелько поправится да дождет себе по поднебесью в теплые края попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в стороночке на сухом взлобке наших овец пасет. Ты узнаешь ее — такая девица пригожая, глазом посмотришь — век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо волну разбирает, либо шерсть прядет... Все сиротинкам готовит к студеной поре на паглинки... Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси ее: она тебе может все рассудить, потому что дан ей от бога светлый дар разумения.

Разлюляй так и вскрикнул от радости.

— Боже мой! — говорит. — Ведь ее-то мне только и надобно! Про нее, про девицу, мне только и сказано; мне других никого бы не надо и спрашивать.

— Вестимо, не надобно. Кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердечные!

— А кто же еще там с твоею внучкой, какие люди живут вместе, дедушка?

— Господь с ней один там, один господь-батюшка. Он один ее бережет, а людей с ней никаких, милый, нетути.

— Как же она не боится одна в глухой дебри жить?

Тут старик слегка понасупился.

— Полно-ка, — говорит, — заводить нам про боязнь да про страх речи негожие! Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает!

— Господи! Вот это она и ест! — завопил Разлюляй. — Вот это ее-то одну мне и надобно!

И забыл Разлюляй про всю усталость свою, побежал шибко к девушке. И на долю свою он больше не плачет, и на радости не свистит соловьем, и не прыгает, и не лопочет варакушкой, а поет благочестный стих:

Как шел по пути слабый путничек,  
А навстречу ему сам Иисус Христос.

Пробежал так Разлюляй без усталости весь и черный и красный лес, переплыл без боязни холодную балочку, опознал и приметный калинов куст на поляночке и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль, одна нога в лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идет Разлюляй — чужой человек, вдруг закурлюкал, и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге по взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом старый пенёк, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самотканой сорочке, и прядет овечью шерсть, а лицо ее добротой все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.

Разлюляй подошел к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось — все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного — точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряженную шерстяную кудель за веточку и пошла тихо к кусту, за которым стоял Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого Разлюляй и не видал ее. Тут уже Разлюляй и не вытерпел — вышел он навстречу к девушке, и поклонился ей по-вежливому, и заговорил с ней поучливо:

— Здравствуй, красная девица, до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки: он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно.

Девица поглядела на Разлюляя чистым взором и отвечала:

— Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете «король», — не знаю я, и из каких ты людей — это мне все равно, а за каким делом ко мне пришел — не теряй время, про то дело прямо и сказывай.

Враз понял Разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повел сразу речь коротко и все начисто.

— Так и так, — говорит, — вот что у нас в королевстве случилось: захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо было жить, а ничего это у нас не спорится, не ладится, и говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости: *какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех?* Вот за этим-то делом и послан я: и обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей, а если не принесу, то не миновать мне тогда счетных ста плетей. Ты до всех добра и жалостна, вот даже и зверки и птицы к тебе льнут, как к матери; пожалей же и меня, бедняк, красна девица, отгадай мне премудрость, чтобы не

пришлось мне терпеть на своем теле сто плетей, мне и без бойла теперь уже мочи нет.

Выслушала девица Разлюляеву речь и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила ее в руках и сок выжала да тем соком лоб Разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и, когда нить вела, заметно все думала, а как стала на веретено спускать,— улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задал мне дело трудное сверх моего простого понятия, а загадал дело божие, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам.

Разлюляй говорит:

— Молви, девица: какой час важнее всех?

— *Теперешний*,— отвечала девица.

— А почему?

— А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своем часе властен.

— Правда! А какой человек нужнее всех?

— *Тот, с которым сейчас дело имеешь.*

— Это почему?

— Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал.

— А какое же дело дороже всех?

— *Добро, которое ты в сей час этому человеку успеешь сделать.* Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите так, то и не сладите.

— Отгадала все! — закричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскликнула и спросила:

— А чем ты, посол, уверишь пославшего, что ответ ему от меня принес, а не сам собой это выдумал?

Разлюляй почесал в голове и задумался.

— Я,— говорит,— об этом, признаться, не взгадывал.

А девица ему говорит:

— Ничего, не робей, я тебе дам для уверенья его доказательство.

И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтобы сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей и не ста плетей, а когда скажет все, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам, да вдовам, и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И еще король кроме ста рублей еще что посулит или пожалует, то и того чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что «я, мол, принес тебе светлый божий дар — простоту разумения, так за божий дар платы не надобно».

Отвечал Разлюляй:

— Хорошо; я так все и сделаю.

## Х

С тем отошел Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал: пришел он и стал говорить с королем все по истине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей; а потом не принял от него приобещанных ста рублей, а сказал ему слово про божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разуменье дано нам от господя.

Тут бояре, и дьяки, и подьячие все поднялися с свистом и с хохотом и все враз над ответами Разлюляя смеялися и старалися сбить короля, чтобы он не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повывдумал. Но, однако, король Доброхот показал и свое разумение и на их наученья не подался. Он сказал им:

— Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтоб дать ему приобещанных сто рублей, а он, как я вижу, мне верный слуга: он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор еще не случалось. Издаю вперед повеленье, чтобы по всей земле не сметь звать Разлюляя измигульником: он мне лучше всех вас старается. А вот вас бы я всех распустил от себя с большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться без челяди. Для того только вы мне и надобны.

И захотел было король Доброхот править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было в его



земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метанья очей в непроглядные отдаленности, да вступил ему в мысли страх, что «а ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своем по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Разлюбя же он указал, чтоб отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда там на пасеке, в теплом омшанике, и есть сотовый мед с огурцами и с репою, сколько похочется, а на базар не ходить и в село не заглядывать и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочке и про то, что слышал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать.

Но зато, когда стал Доброхот завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотую тростню на мехе и коже, чертами и резами, почертив строки без зализей, со берегами широкими во все стороны, и прикладывать ко былым словам в статью письма небылишные, гласные и согласные. И указал Доброхот завернуть этот список в парчу, и в камку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями: пусть лежит там до времени, пока перейдут временители.

Так это все в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут всё опять по-старинному, и все там опять не спорится, не ладится, а идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще, видно, час воли божией.

На том старая сказка и кончена.

## **МАЛАНЬЯ — ГОЛОВА БАРАНЬЯ**

*Сказка*

В одном глухом и отдаленном от городов месте была большая гора, поросшая дремучим лесом. У подошвы этой горы текла река, и тут стояло селение, где жи-

ли зажиточные рыболовы и хлебопашцы. От этого селенья шла через лес дорожка в другую деревню, а на этой дорожке в стороне на полянке стояла избушка, в которой жила бедная женщина по имени Маланья, а по прозвищу «Голова баранья». Так прозвали ее потому, что считали ее глупою, а глупою ее почитали за то, что она о других больше, чем о себе, думала. Если, бывало, кто-нибудь попросит о таком, что нельзя сделать без того, чтобы лишить себя каких-нибудь выгод, то такому человеку говорили:

— Оставь меня в покое; мне это не выгодно — вон там на пригорке живет Маланья — голова баранья: она не разбирает, что ей выгодно и что невыгодно, — ее и попроси, — она, небось, сделает.

И человек шел на пригорок и просил у Маланьи, и если она могла ему сделать, о чем он просил, — то она делала, а если не могла, то приветит да приласкает и добрым словом утешит, — скажет:

— Потерпи, — Христос терпел и нам велел.

У Маланьи избушка была крошечная, так что только можно было повернуться около печечки, а жили здесь с нею сухорукий мальчик Ерашка, да безногая девочка Живулечка сидела на хромом стуличке.

Оба они были не родня Маланье — голове бараньей, а чужие, — родных их разбойники в лесу заколоди, а их бросили; поселяне их нашли и стали судить — кому бы их взять? Никому не хотелось брать безрукого да безногую, — никогда от них никакой пользы не дождешься, а Маланья услышала и говорит:

— Это вы правду, добрые мужички, говорите: без рук, без ног ничего не обработаешь, а пить-есть надобно: давайте мне Ерашку с Живулечкой. Случается, что мне одной есть нечего — тогда нам втроем веселей терпеть будет.

Мужички захохотали.

— Беззаботная, — говорят, — Маланья, — прямая ты голова баранья, — и отдали ей и Ерашку, и девочку Живулечку.

А Маланья их привела и оставила у себя жить.

Живут часом с квасом, а порою с водою. Маланья ночь не спит: то богатым бабам пряжу прядет, то мужикам вязенки из шерсти вяжет, и мучицы, и соль работает, и хворосту по лесу наберет — печку затопит

и хлеба спечет, и сама поест, и Ерашку с Живулечкой покормит.

Сошлись перед вечером у колодца домовитые бабы и спрашивают Маланью:

— Как ты, Маланья — голова баранья, с ребятишками прокуратничаешь?

— А все хорошо, слава богу, — отвечает Маланья.

— Чем же хорошо? Ведь они у тебя несчастные!

— А тем, бабоньки, и хорошо, что они несчастные, — что на их долю немного нужно. Если бы они были посчастливее да позадачливей, — мне бы не послужить ими господу богу, а как они плохие да бездомные, то что я им ни доспею — все это для них лучше того, как если бы я их не приняла да об них не подумала.

Покивали бабы головами и говорят:

— А ты еще вперед-то подумала ли: что с ними будет?

— Нет, — говорит Маланья, — я об этом не думала.

— Да как же так можно? Надо всегда о переду думать!

А Маланья отвечает:

— Что пользы думать о том, чего знать невозможно, даст бог день — даст и пищу на день, а ночью нам всем есть покой на печечке.

— И то правда, — сказали бабы, — они — плохие, — может быть, и умрут скоро на твое счастье!

А Маланья руками замотала.

— Что вы! что вы! — говорит. — Зачем смерть звать: я ее к себе на порог не хочу — пусть она за дверьми присохнет.

Домовитые бабы распотешились и рассмеялись:

— Ну, Маланья, — говорят, — голова баранья, — да какая же ты удалая да смешная: саму смерть у порога засушить хочет.

Пошла Маланья к Ерашке с Живулечкой — понесла им водицы напиться дать и ее согреть в горшке, да головенки вымыть у припечка, а бабы стоят у колодца, — вслед ей смотрят и пересмеиваются. А к ним из лесу выходит старый старичок, на две клюки опирается.

— Бабоньки, — говорит, — кто у вас тут есть на селе жив человек, что пускает к себе нищего путника?

А бабы ему отвечают:

— А ты чей человек и как тебя звать по имени и по отчеству?

Старик отвечает:

— Странник я света божьего, и имя мне Живая Душа на костыльках; приустал в пути да уснуть хочу.

— Мне не знать тебя,— отвечали бабы,— и пустить к себе без мужиков не смеем, а мужики у нас строгие да грозные — придут, заругают нас.

— Что же, вы, видно, своих мужиков больше бога боитесь. Бог-то ведь велел принять и покормить немущего.

Бабы отвечают:

— И то правда твоя, странничек: божье слово помним, а человеческого боимся.

Живая Душа покачал головой и говорит:

— А ведь это, бабоньки, по худу быть — так бы ведь вовсе не надобно. Пойду к самим мужикам: у них попрошусь.

Пошел к мужикам, и мужики его не пустили.

— Кто тебя знает,— сказали,— может быть, ты слабым прикинулся и сам разузнать хочешь, где у нас дорогое добро лежит, да ворам открыть, а может быть, у тебя на теле прыщи да вереды, а у нас избы чистые и полы стланные — иди-ка по тропиночке в гору, там есть бедная избушка — в ней живет Маланья — голова баранья, она всех пущает и тебя пустит.

— Спасибо вам, добрые хозяева,— отвечал старичок Живая Душа и пошел к Маланье.

А Маланья увидела его из окна и послала безрукого Ерашку, чтобы звать его ужинать.

Ерашка добежал к старику и кричит:

— Иди-ко-сь, дедко: тетушка Маланья наварила горшок снытки, сольцой посолила, зовет тебя ужинать.

Старик Живая Душа погладил Ерашку по голове.

— И то,— говорит: — к вам иду. Другие-то не пускают.

И только влез в избу,— тесно стало и сесть не на чем, а Маланья говорит:

— Садись, дедушка, со ребятками есть, а я постою.

Сел дедко и поужинал, и заговорил по-учтивому и по-ласковому.

— Спасибо,— говорит,— тебе, что не спросила, откуда я и как меня звать по имени, а посадила хлеба есть. Я теперь пойду в лес — у тебя тесно — всем нам лечь негде.

— Что ты! что ты! Живая Душа божия! В лесу медведи и волки ходят — разве я тебя ночью туда выпущу! Здесь нам всем место будет. Вот Ерашка на печку, а Живулька за печку, а ты тут протянись, где простор опростается, а мне мое место найдется.

— Ну, будь по-твоему,— сказал старик, а сам думает: «Где же это ей-то самой место будет?»

Лег, накрылся своей ветошью, да и уснул с одного вздоха от усталости, а после третьих петухов проснулся — и видит: Маланья стоит на ногах и прядет кудель, которая у нее на колочек под потолком прикинута.

Посмотрел на нее старик одним глазком и говорит:

— А ведь это ты, тетка, должно быть, и не ложилась.

А Маланья отвечает:

— Да мне, Живая Душа, и не хотелось.

Старик покачал головой и говорит:

— Ну-ну-ну! Водил, водил меня господь долго по свету; думал я, что позабыл он меня и покинул, а он привел меня в отрадное место и сподобил узреть любовь чистую. Скажи теперь мне за то в одно слово, что у тебя есть в желании — я тебе то у бога и выпрошу.

А Маланья говорит:

— Что мне недостает? я и так всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, а если придет, так чтобы за дверью присохла.

Старик отвечает:

— Что ж,— так и будет.

Ушел старик, а смерть вот же тут и жалуется; наряжена богатой казачкой в парчовом шугае с золотой пикою, юбка штофная, на боку стальная коса на золотой цепочке, чеканной на манер мертвых костей человеческих, вся рожа накрашена, черные зубы во рту белым платочком в руке заслоняет и в избу просится.

— Покажи,— говорит,— мне детушек-голубятушек, я им принесла по медовому груздочку и по точеному яблочку.

А Маланья как взглянула на нее, так и признала ее, что это смерть,— вскричала ей:

— Хорошо им со мной и без яблочек, а тебя бы лучше не было, и присохни ты на одном месте.

Та и присохла и не может оторвать ног от того места, где пристала, а Маланья ее сухим хворостом за-слонила, чтобы не видать ее было.

И словно бы дело сделалось, да пошли от селения ужасные стоны и слезы: сильный слабого теснит и бьет без милости, и нет на злодея в жестоком сердце его никакой угрозы, и как были люди жестоки, то стали еще жесточе того, и приходят к Маланье всякий день столько несчастных, сколько она во всю свою жизнь не видала, и она уже не может помогать им и слышит, как они плачут и смерть кличут: «Смертюшка-матушка, где ты заваялась! зачем мир покинула! приди, укрой нас от злодеев наших немилостивых — без тебя они знали бы без памяти!»

Тут Маланья ума хватилась.

— Это я,— говорит,— дура, все лихо наделала, захотела поправлять дела божии — чему быть, а чему не быть сотворенному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой хвороста.

— Ах, спусти ее, матушка, умиloserдися! Ведь вот уже сто лет у нас ни одних похорон не было, и обессердечили люди жестокие, а мы состарелись, измаялись. Спусти ее и их убрать от больших грехов, и нас — от страдания.

И пошла Маланья, развалила хворост, а смерть-то так уж не румяною казачкой глядит, а как паутиночка, и коса у ней вся заржавела.

— Иди, куда тебя бог послал! — сказала Маланья смерти: и та колыхнулась и поплыла к селу паутинкою по сжатому полю, и послышался вскоре погребальный звон, и перекрестились бедняки и встрепенулись богатые мужики.

— Мы, было, думали,— она навсегда кончилась, а вот она, как змея, из хворосту выскочила. Нельзя век лютовать и властвовать.

А убогие крестились и сами в гробы ложились.

— Устали,— говорят,— наши косточки — насилу дождались земли горсточки.

И обошла смерть все село за лесом и убрала все, что было нужно убрать,— а с другими вместе и Ерашку, и Живулечку, потому что было уже и безрукому, и безногой более чем по сту лет, а Маланья осталась жить и все живет, как прежде жила, и все то же делает, что и прежде делала, и все те умерли, кто знал ее «Маланьей — головой бараньей», и сама она это имя позабыла.

И как смерть обойдет весь свет да придет к ней и спросит:

— Как тебя звать?

Она старается вспомнить и никак вспомнить не может и говорит:

— Не знаю — верно, мое имя переменялось.

Смерть стала вопрошать: «как имя этой женщине?» А ей в ответ и упал с неба белый, как снег, чистый камень, как сердце обточенный, и на нем огнистым золотом горит имя: «Любовь».

Увидела это смерть и сказала:

— Ты не моя,— нет твоего имени в моем приказе: любовь не умирает; ты доживешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся и волк ляжет с ягненок и не обидит его.

## НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ

### Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без одной отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она *замаякала*, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только *рубль*,— ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный,— то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь,— он все-таки опять является в кармане.

Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

## Глава вторая

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рялятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно накопить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с пагокою, и белые пряники — с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое? — спросил я.

— А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.



Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

### Глава третья

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мартотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

— Ну, вот тебе беспереводный рубль,— сказала она.— Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один,— совершенно один,— можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

— Да,— говорю,— я уже все это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство,— его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность — твой рубль в то же мгновение исчезнет.

— О,— говорю,— бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

— Прекрасно,— сказала бабушка,— но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

— Очень рада,— посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян: помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

— В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

— О, моя милая бабушка,— отвечал я,— вам и не будет надобности давать мне советы,— я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

— В таком разе идем.— И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему позже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

#### Глава четвертая

Погода была хорошая,— умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как

и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

— Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

— Ага,— подумал я,— теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

### Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и закупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги,— мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже благополучно оказался в моем кармане.

— Невесте идет принарядиться,— сказала бабушка,— это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать,— от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман — мой рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, — я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накопил даже вещи слишком рискованные, — так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего, — на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

— Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор неизвестное. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили — как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

## Глава шестая

А в это самое время, — откуда ни возьмись, — ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

— Да, если это будет вещь ненужная, — так я ее, разумеется, не куплю.

— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет.

Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

— Я ничего не вижу в этом хорошего,— сказал я моему новому спутнику.

— Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите,— за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

— Да, я это думаю,— отвечал пузан.

— Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал:

— Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

## Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

— Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

— Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

— Однако, вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте,— вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стóит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.

— Прекрасно,— отвечал я,— я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

— Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

## Глава восьмая

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мартотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

— Что же,— сказала бабушка,— сон твой хорош,— особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. *Неразменный рубль* — по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутьи четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. *Неразменный рубль* — это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души, тем она

становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка — есть *суета*, потому что жилет сверх полушубка *не нужен*, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что — очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стеклышки, и — рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоём сневидении.

— Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

— Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю...

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел *все* мои маленькие деньги извести в этот день *не для себя*. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнялось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом — *полное счастье*, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.



*М. Е. Салтыков-Щедрин*

## СОСЕДИ

**В** некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но, взамен того, производил ценности. И тоже говорил: «Это с моей стороны лепта».

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пúстом, — ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной.



Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно́ на свете деется,— молвит он,— который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: «С чего бы это?» — да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнет и Иван Бедный, с своей стороны, перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убины, ради праздника, во щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли,— молвит Иван Богатый,— и наяву, и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на том спасибо,— ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты... не выйди-ка ты вовремя с сохой — пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?

— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю,— ни боже мой! Я только об одном и тужу: «Господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтобы и я — свою порцию, и он — свою порцию».

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это, действительно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре на одной...

— Чтó ты! чтó ты! разве я об этом! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решаюсь: «Пойду, мол, и отдам пол-имения нищим!» И отдавал. И что же! Сегодня я отдал пол-имения, а на завтра проснусь — у меня, вместо убылой-то половины, целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом...

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги — ко мне. Я бедному пригоршню, а мне, вместо одной-то, неведомо откуда, две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу думает: «Что бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убойной были?» Думает-думает, да и выдумает.

— Слушай-ка, миляга! — скажет, — теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе возможности, награжу — словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, коротко ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпеж ему стало. «Пойду, говорит, к самому Набольшему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну версту поверстать. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его, и моя от акциза одинаково свободны были!»

И как сказал, так и сделал. Пришел к Набольшему, пал перед ним и объяснил свое горе. И Набольший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивана Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это Набольший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был, и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный, — говорит он Ивану Бедному, — своротил я, по милости начальнической, с души

моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во шах ежедень убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра, уехал на теплые воды, где года два сряду и нахаживался при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец приехал в Париж — все вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И все время об Иване Бедном думал: «То-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!»

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня спашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник, а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам, — говорил бедняга жене, — вот и сравнивали меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы все при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибитки свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он несправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибитков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде,

в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы, без ущерба для хозяйства, их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу — и там все налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый, — вот и поравняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: «С чего бы?» — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Бедный умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина... Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспевания и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную гибель. Словом сказать, что в Азбуке-Копейке вычитал, все так и выложил пред слушателями.

Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва

разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключении единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной Копейки.

В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал немущим сто экземпляров Азбуки-Копейки, сказав: «Читайте, други! тут все есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию Азбуки-Копейки, несомненно должны были принести плод сторицею.

Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он, по окончании срока, воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отошальный; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: «С чего бы это?» — по привычке отошвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было бы поглубже копнуть, но с первого же абцуга та-

кие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и философу Ивану Простофилю.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который по случаю убожества ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: «С чего бы?» — Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в планту́ так значитя.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть,— пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством,— и в оном планту значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богатство-то и течет все мимо да сквозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёкла, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богатством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богатство лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значитя.

## БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выходила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит — он его с корнем вырвал, другой стоит — он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит, и в нем дупло — залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охাপку лешачиху с лешачатами — и был таков.

Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него; свои боятся *вообще* потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел — никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»

И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Все приделали, все прикончили, друг дружку обворовали начисто — шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими глазами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пушает.

Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»

Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людиш-

ки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько зывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежды, ни ежева, думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» — а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что ж это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила; вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу остороженько подступил — воняет; другой подошел — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату — глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.

Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!





*Алексей Ремизов*

### КИКИМОРА

**Н** а петушке ворот, крутя курносый носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо Кикимора уселась и чистит бережно свое копытце. — Га! — прыснул тонкий голосок, — ха! ищи! а шапка вон на жерди... Хи-хи!..хи-хи! А тот как чебурахнулся, споткнувшись на гладком месте!.. Лебедкам-молодухам намаяла я бока... Га! ха-ха-ха! Я Бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила. Аукнула-мяукнула под поцелуи, хи!..— Вся затряслась Кикимора, заколебалась, от хохота за тощие животики схватилась.

— Тьфу! ты, проклятая! — отплевывался прохожий.

— Га! ха-ха-ха! — И только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, причуды сеять и до умору хохотать.

## ЗАЙЧИК ИВАНОВИЧ

### 1

Жил человек, и у того человека было три дочери,— как одна, красавицы и шустрые, не знали они над собою страха.

Старшую звали Дарьей, среднюю Агафьей, а меньшую Марьей.

Изба их стояла у леса. А лес был такой громадный, такой частый,— ни пройти, ни проехать.

Без умолку день-деньской шумел лес, а придет ночь, загорятся звезды, и в звездах, как царь, гудит лес грозно, волнуется.

Много страхов водилось в лесу, а сестрам любо: забегут куда — аукают, передразнивают птичек, и в дом не загонишь до поздней ночи.

Такие веселые, такие проворные, такие бесстрашные — Дарья, Агафья и Марья.

Как-то старшая Дарья мела избу, свалился с полки клубок, покатился клубок по полу, да и за дверь. Схватила Дарья, взялась клубок догонять. А клубок катится, закатился в лес, пошел по кочкам скакать, по хворосту, привел в самую чашу и стал у берлоги.

А из берлоги Медведь тут как тут.

Как увидел Медведь Дарью, зубы оскалил, высунул красный язык, вытянул лапы с когтями и говорит:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Согласилась Дарья. Осталась у Медведя.

Вот живет она себе, поживает, ходит с Медведем по лесу, показывает ей Медведь разные диковины.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Раскрыл Медведь первую клеть, а в ней серебро рекой льется. Раскрыл Медведь вторую клеть, а в ней живая вода ключом бьет.

Говорит Медведь Дарье:

— Третью клеть я не покажу тебе, и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Целый день нет Медведя, уйдет куда на добычу, а Дарью одну оставит.

Ходит Дарья у запретной клетки, заглянуть смерть хочется.

А сторожит клеть Зайчик Иваныч.

Пробовала Дарья с Зайчиком Иванычем заговаривать, да отмалчивался бесхвостый,— хвостик Зайцу

Медведь для приметы отъел,—отмалчивался Зайчик, поводил малиновым усом, уплетал малину.

И не раз вгорячах пхала Дарья Зайчика по чем ни попало, таскала за серебряные заячьи ушки. А отляжет сердце, примется целовать Зайца, а то и в пляс пустится. Зайчику — потеха, мяучит. И сам когда-то горазд был, да лапки уходились — не выходит.

Раз Зайчик Иваныч и прикурни на солнышке, заметила Дарья да в клеть. Отворила Дарья дверцу и чуть не убилась — в глазах помутнело; в огромной клетке кипело настоящее золото. И захотелось Дарье потрогать золото, сунула она палец, и стал палец золотым.

Пришел Медведь, принес малины. Сели за стол. Пьют чай.

Медведь говорит Дарье:

— Что это, Дарья, у тебя палец-то золотой?

— Да так себе,— отвечает Дарья,— золотой сделался.

Тут Медведь из-за стола встал и съел Дарью, а косточки в угол бросил.

## 2

Тосковали сестры. Рыскали по лесу, по-птичьи кликали, звали сестрицу. Хоть бы голос подала,— не слышит.

И год прошел, и другой прошел. Ни духу ни слуху.

Как-то середняя Агафья подметала избу, сронила клубок. Покатился клубок. Пошла за клубком Агафья. Шла-шла и забралась в самую гущу. Остановился клубок. Глядь — Медведь.

Стал на дыбы Медведь, щелкнул зубами и говорит Агафье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Агафья и так и сяк, да ничего не поделаешь, осталась жить у Медведя.

Водил ее Медведь по лесу, деревья выворачивал, медом пичкал и всякие медвежьи шутки выкидывал.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Растворил Медведь клетки. Глазела Агафья на серебро и живую воду.

— А третью клетку я не отворю тебе,— говорит Медведь,— и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Загрустила Агафья, ума не приложит, как бы так клетку посмотреть, чтобы Медведь не узнал. А тут этот

Зайчик трется, глаз не сводит. Подходила Агафья к Зайчику Иванычу, щекотала ему малиновый ус, а Зайчик и в ус не дует: мяучит себе по-заячиному, ни слова путного.

Выбежал однажды Зайчик Иваныч на закат полюбоваться, а Агафья стук в клеть. Взглянула — остолбенела да в столбняке-то и ткни палец в золото; и стал палец золотым.

Охала и ахала Агафья: как быть, увидит Медведь — съест живьем. Побежала к Зайчику. Сидел Зайчик Иваныч, напевал себе под нос, штаны чинил. Выхватила Агафья у Зайчика заплатку, перевязала себе золотой палец.

Вот пришел Медведь, приволок лесных лакомств полон короб. Сели за стол.

— Что это у тебя, Агафья, с пальцем? — спрашивает Медведь.

— Ничего,— говорит Агафья,— набредила, вот и обвязала тряпочкой.

— Давай вылечу.

Поднялся Медведь, развязал тряпку. А под тряпкою золотой палец.

И съел Медведь Агафью, а косточки в угол бросил.

### 3

Убивалась Марья.

— Сестры, сестрицы мои родимые! — куковала Марья по-кукушечьи.

Только лес шумит, царь-лес!

Так год прошел и другой прошел. Нет сестер.

Как-то подметала Марья пол, скатился клубок и в лес. Шла Марья за клубком, шла, как сестры, вплоть до самой берлоги.

Выскочил из берлоги Медведь, зарычал, ошетинился. Говорит Медведь Марье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Не сразу далась Марья, заупрямилась. Диву дался Медведь и полюбил ее пуще всех сестер.

Ходит косматый по лесу, собирает цветы, венки плетет. А выйдет с Марьей гулять, про всякую травку ей рассказывает, всякие берложные хитрости кажет. А то ляжет на спину, перекачивается, песни медвежьи поет. Зайчику в знак своего удовольствия мордочку медом вымазал.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Все показал Марье Медведь — и серебро и живую воду, а в третью клетку не повел.

— И ходить в эту клетку я тебе не велю, а не то я тебя съем.

— Съем! Съел один такой! — фыркнула Марья, а сама думает, как бы этак Медведя провести?

А Зайчик Иваныч ей глазом мигает. Зайчик Иваныч в Марье души не чаял.

Бывало, уйдет Медведь, а Марья к Зайчику:

— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, как мне быть, погибли сестры, погибну и я: заест меня Медведь.

А Зайчик Иваныч подопрется лапкою, лопочет что-то по-своему.

Так и проводили сны: сядут где на крылечке и сидят рядком, горе горюют.

Раз Зайчик Иваныч лучину щипал: самовар пить собирались.

Известно, примется Зайчик что-нибудь делать, так уж на целый год наделает, такая повадка у Зайчика.

Зайчик весь двор лучинкой закидал.

Марья пособляла Зайчику. И такая тоска на нее нашла, свету она невзидала, пошли бродить по терему. Постояла, поплакала над костями сестер да с отчаяния туркнулась в запертую дверь. И ослепило ее золото, закружило голову. Да не сплеховала Марья: опустила лучинку в золото. А лучинка, как жар, горит.

— Сестры, сестрицы мои, мои родимые! — всплакнула Марья.

Запрятала Марья золотую лучинку в красный сафьяновый башмачок, отдала башмачок Зайчику. Пошел Зайчик в погреб за молоком да дорогой и сунул башмачок в свою старую норку.

Пришел Медведь. Сели брагу пить, все честь честью по-хорошему. И пошла жизнь по-прежнему.

#### 4

Пораскидывал умом Зайчик Иваныч, горе горюя с Марьей на крылечке.

Раз и говорит Зайчик:

— Не умею я по-человечьему сказывать, а то бы сказал.

Тем разговор и кончился.

Бродит Марья по терему, плачет над костями сестер, заглядывает то в одну, то в другую клеть.

И пришло ей на ум счастье попробовать. Набрала она полон рот живой воды, вспрыснула сестрины кости. И встала перед ней Агафья — жива-живехонька.

Что делать, куда деваться? Марья к Зайчику, так и так, говорит.

— Хорошо,— говорит Зайчик,— сию минуту.

Взял Зайчик Агафью за руку да в дупло и запрятал, а сам ей принес туда груш да яблоков и всякого печенья. И дело с концом.

Пришел Медведь. Стал к Марье ластиться. А Марья и говорит:

— Рычун, мой рычун, сделай ты мне, что я тебя попрошу.

— А ты наперед скажи, что тебе сделать, а то ты, может, третью клеть посмотреть хочешь, так я тебя съем.

— Батя мой завтра именинник, хочу пирогов ему испечь, а ты снесешь.

— Это можно, пеки.

Обрадовалась Марья да опрометью на кухню ставить тесто. Поставила она тесто и, когда все было готово, принялась пироги печь. Испекла пироги, взяла мешок, посадила в мешок Агафью, покрыла Агафью пирогами.

Говорит Агафье:

— Сядет Медведь посидеть, станет мешок развязывать, а ты и скажи: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Чуть только солнышко взошло, взвалил Медведь мешок на плечи, да и в путь-дорогу.

Полднем вздумалось Медведю поотдохнуть маленько, свалил он мешок наземь, стал развязывать.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — как закричит из мешка Агафья.

Вскочил Медведь, повел ухом.

«Ишь,— подумал,— и голос же у моей Марьи, все видит, и сесть тебе не полагается!..»

И пустился Медведь дальше. А как добежал до избы, шваркнул мешок у калитки да во все лопатки домой обратно.

Долго ли, коротко ли, ни много ни мало, а год, другой прошел.

Вспрыгнула Марья сестрины кости. И встала перед ней Дарья жива-живехонька. Опять Марья к Зайчику. Запер Зайчик Марью в чулан.

А вечером Марья говорит Медведю:

— Мамушка моя именинница, испеку я ей пирогов в день ангела, снеси ты их, косолапушка.

А сама Дарье шепнула:

— Как рассядется Медведь, ты ему крикни: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Все так и случилось. Сел было Медведь посидеть, стал мешок развязывать, а как услышал голос, оторопел да скорее в путь. А как добежал до калитки, брякнул мешок и опять домой восвояси,

5

— Зайчик, Зайница, научи меня, серенький, что мне делать, не могу больше у Медведя жить, хочу к сестрицам!

А Зайчик Иваныч и рад бы что посоветовать Марье, да сказать-то ничего Зайчик не может. А уж так привязался, так привязался он к Марье, на шаг от себя не отпустит. Прямо влип.

Что наработал за долгую зиму, все Зайчик отдал Марье, какие бисерные кошельки понанизал, все отдал Марье. Летось к Медвежьему дяде за тридцать земель скакал, выпросил у старого хрустальную тувельку да жемчугов горстку, все Марье отдал.

Когда с весной зачирикали птицы и полезли из почек листочки, чтобы на свет посмотреть, сказала Зайчику Марья:

— Ну, Зайчик Иваныч, придумала! Уйду я от Медведя.

Зайчик насупился.

А Медведь вечером спрашивает Марью:

— Что ты, красавушка, что ты такая веселая?

— А как мне веселой не быть, батю с матушкой во сне видела. Испеку я им пирогов, отправлю завтра гостинцу. Еще дрыхнуть ты будешь, я затворюсь в терему, подымусь на вышку, буду следить за тобой, а как тронешься в путь, буду песни петь. Слышишь, ты не зови меня, я одна останусь, буду следить за тобой, буду песни петь.

Послушал Медведь, лег спать спозаранку. А Марья испекла пирогов, позвала Зайчика, сказала Зайчику:

— Прощай, Зайчик Иваныч, прощай, миленький! Насупился Зайчик, не пускает Марью, уцепился лапками за передник, на глазах слезы.

И вдвоем коротали они последнюю ночь. Рассказывал Марье Зайчик свою заячью жизнь, как была когда-то у Зайчика норка и как Медведь его выгнал из родимой норки и пришиб Зайчиху, и как пришибленная помирала покойница Зайчиха Ивановна.

И плакал Зайчик Иваныч, и о каких-то лисятах поминал сквозь слезы... Он ли их съел, они ли детей его слопали, понять мудрено было.

На рассвете юркнула Марья в мешок, обложилась в мешке пирогами. Отнес Зайчик Иваныч мешок к берлоге, запер терем, а сам сел на крыльчке караул держать.

И когда Медведь с своей ношей скрылся из глаз, запрятался Зайчик в свою старую норку, вынул из кованого ларчика красный сафьяновый башмачок, поставил к себе на столик и залился горькими слезами:

— Сестрицы, сестрицы мои родимые! На кого вы меня покинули одного среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои последние заячьи дня одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам другом верным, помогал и охранял вас — и все ушли, забыли меня. Сестры, сестрицы мои родимые!

А Медведь шел, шел, задумал присесть, развязал мешок:

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — закричала из-под пирогов Марья.

— Слышу, слышу! — рывкнул Медведь и во всю прыть дальше помчался.

А как добежал до калитки, шлепнул мешок и одним духом обратно к своей берлоге.

## ЛЕВ-ЗВЕРЬ

Ехал богатырь по чистому полю, конь у него и пал. И пошел богатырь пешком на своих на двоих.

Видит богатырь: на дороге дерутся Змея и Лев-зверь, разбродили землю и ни который побить не может.

— Эй, богатырь, — кричит Змея, — пособи мне Льва-зверя победить!



— Эй, богатырь,— ревет Лев-зверь,— пособи мне Змею победить!

Подумал, подумал богатырь и решил заступиться за Льва-зверя. «Змея змеей и будет, нечего от нее ждать мне!»

И пособил богатырь Льву-зверю.

Бросил Лев-зверь Змею на землю, разорвал ее на двое.

Убили Змею.

Лев-зверь спрашивает богатыря:

— Что тебе, богатырь, за услугу хочется?

— У меня коня нет,— говорит богатырь,— а пешком я на своих на двоих не привык ходить, подвези меня до города.

— Садись да, знай, держись крепче,— согласился Лев-зверь.

Сел богатырь на Льва-зверя, и побежал Лев-зверь по чистому полю, по темному лесу,— где высоки горы, где глубоки ручьи,— все через катит.

Выбежал Лев-зверь на зеленые луга и у заставы стал.

— Никому не сказывай, что на Льве-звере ехал,— говорит Лев-зверь,— не то съем. Я сам — царь! На себе возить мне людей невозможно. Я тогда и царем не буду.

И пошел Лев-зверь в чистое поле, а богатырь в город.

\* \* \*

Пришел богатырь к товарищам, а те над ним смеются, что пешком ходит.

Богатырь отпираться:

— Конь,— говорит,— пал.

А потом как выпил да стал пьян-весел, и рассказал, как было:

как он на самом Льве-звере приехал!

Посидел богатырь с товарищами и пошел себе коня искать.

И только это вышел он за город, а Лев-зверь тут как тут:

бежит Лев-зверь к богатырю,  
пасть открыта, зубы оскалил.

— Зачем ты,— говорит,— похвастал, что на мне ехал? Говорил я тебе, ты не послушал, съем!

— Извини,— говорит богатырь,— я тобою не хва-  
стал.

— Как так не хвастал! Да ты же говорил, что на  
Леве-звере ехал!

— Нет, Лев-зверь, говорил, да не я, хмель говорил.

— Какой хмель?

— А вот попробуй, так и сам увидишь.

Лев-зверь согласился.

Выкатил богатырь вина три бочки сороковых.

Лев-зверь бочку выпил, другую выпил, а из третьей  
только попробовал и стал пьян:

уж бегал-бегал, бегал-бегал, упал  
и заснул.

А богатырь, пока Лев-зверь пьяным делом-то валял-  
ся, вкопал в землю столб да туда на самую вышку  
и поднял Льва-зверя.

\* \* \*

Проснулся Лев-зверь, очухался,— диву дается:  
и как это его угораздило на такую  
высоту поднялся, а главное дело —  
спуститься не может.

— Вишь ты, хмель-то куда тебя занес! — говорит  
богатырь,— что, узнал теперь, каков этот хмель?

— Узнал, узнал,— сдается на все Лев-зверь,— толь-  
ко спусти, пожалуйста, а то чего доброго еще сорвусь  
да и неловко: народу сколько!

Снял богатырь Льва-зверя.

И побежал Лев-зверь в чистое поле: будет хмель по-  
мнить,— срам-то какой!

## ГОРЕ ЗЛОСЧАСТНОЕ

Жили два брата, один бедный брат, другой богатый.  
Бедного звали Иваном, богатого — Степаном.

У богатого Степана родился сын.

Позвал Степан на крестины знакомых, приятелей,  
да и бедного брата не забыл, позвал и Ивана.

Справили честь честью крестины, напились, наелись  
гости, пьяны все, веселы, все довольны.

Напился и брат Иван.

Идет Иван домой пьяный от Степана, пьяный, затянул бедняк песню.

Поет песню, знать ничего не хочет, не желает! — и вдруг слышит, ровно ему подпеваает кто тоненько, да так, тоненьким голоском, да и жалобно так, что дитё.

Оборвал Иван песню, стал, прислушался.

Да нет, ничего не слышит, нет никого, — или и тот замолчал?

— Кто там? — окликнул бедняк.

— Я.

— Кто «я»?

— Нужда твоя, горе — горе злосчастное.

Затарачился Иван, хватъ — стоит...

старушонка стоит, крохотная, от земли не видать, сморщенная, ой, серая, в лохмотьях, рваная, да плаксивая, жалость берет.

— Ну, чего? — посмотрел Иван, посмотрел, — чего тебе зря топтаться, садись ко мне в карман, домой унесу.

Закивала старушонка, заморгала, ощерилась, — обрадовалась! — да в карман Ивану скок и вскочила, да на самое дно.

Тут Иван захватил рукой карман, перевязал покрепче.

— Не выскочит!

И пошел и пошел, песню запел.

Поет песню Иван — пьяным-пьяно-пьян.

И она в кармане его там, старушонка тощая, нужда его, горе его, горе злосчастное — и тепло же ей, и покойно ей! — в кармане его там подпеваает ему тоненько, да так, тоненьким голоском, жалобно так, что дитё.

Еле-еле дотащился до дому Иван, развезло, разморило его.

И прямо завалился спать, захрапел и забыл все, все таковское, горе свое злосчастное, нужду.

А она сидит у него, — она ничего не забыла, она никогда ничего не забудет! — согрелась в теплушке, старушонка дырявая, согрелась, морщинки расправляет, щерится:

погулять ей завтра, попотешиться, развеселит она товарища пьянчужку пьяницу, беднягу своего злосчастного.

— Миленький! Миленькой мой, ай! — щерится, лебевит паскудная.

Очухался наутро Иван, поднялся, да как вспомнит про вчерашнюю находку свою, что в кармане сидит за узлом, и скорее на выдумки:

как бы так изловчиться, от товарища от таковского навсегда избавиться.

Думал себе, думал Иван и надумался.

Достал бедняк дерева, взялся делать гробик.

— Что это ты делаешь? — увидала, спрашивает жена.

— Молчи, нужду поймал, злосчастье наше, а скороним нужду, заживём хорошо.

И сделал Иван гробик, выстлал гробик соломой, развязал карман, запустил тихонько руку, поймал старушонку, поймал да в гробик ее на сено.

— Ничего, бабушка, ничего, тут поспокойнее будет! Да хлоп крышку, прижал кулаком.

А жена уж и гвоздики держит.

И забили вместе гробик — горе, злосчастье свое, нужду:

ей теперь совсем покойно, и! — никто тебя в гробу не тронет.

Завязал Иван в платок гробик, подхватил под мышку и на кладбище.

Там вырыл могилку у дядиной могилы, спустил гробик, закопал могилу у домой налегке.

«Баба с воза, кобыле легче! Довольно, помыкался, будет уж, много я обид стерпел, ну, вот и избыл нужду, теперь повалит мне счастье!»

Идет Иван с кладбища, свистит, сам с собой разговаривает, и легко ему, способно идти

— нет горя злосчастливого, нет нужды, в могиле старая, не выскочит, не пристанет старушонка плаксивая!

Глядь, а на дороге что-то поблескивает.

Нагнулся Иван, — а на земле золотой, сто рублей — золотой.

Вот оно где счастье!

Поднял Иван золотой и прямым путем на ярмарку.

Купил себе корову, купил коня и уж с коровой и коном в дом — к жене с гостинцами.

И зажил Иван хорошо — копейка к копейке идет. Стал Иван деньгу наживать.

И сделался скоро богатым, богатей своего брата, богатого Степана.

Слышит богатый брат Степан, что перемена в делах у брата, и позавидовал Степан Ивану.

Пришел Степан в гости к брату, говорит Ивану:

— Давно ли ты, Иван, жил бедно? Объясни мне, сделай милость, отчего все так вышло, ты лучше меня зажил?

А Иван — теперь ему легко без нужды, осматриваться-то нечего, ему и невдомек совсем, что на мыслях у брата, да все начистоту брату и выложил о старушонке, о бывшем горе своем злосчастном, о нужде, которую заколотил в гроб накрепко.

— У могилы дядиной на кладбище могилу выкопал, похоронил старушонку, не вылезет! — весело, беззаботно говорил Иван Степану.

Слушал Степан счастливого брата, ничего не сказал и пошел, не домой пошел, а на кладбище, к могиле дядиной.

И там, на кладбище, откопал гробик старухин, крышку открыл, выпустил старуху.

— Поди,— говорит,— бабушка, на старое место к брату Ивану.

А она,— ой, исхудала как, еще жальче стала, чернее еще, все-то волосы повылезли — один голый толкачик торчит, вся одежда сотлела...

— Не пойду я к Ивану,— пищит старушонка, ежится,— еще сшутит шутку Иван, шалый! В гробу-то лежать не сладко: не повернись, не подожмись, отлежала всю спину, руки-ноги омлели. Ты, Степан, ты добрый, ты меня ископал на волю, пойду-ка я к тебе, Иваныч!

Да на плечи к Степану как вскочит.

Степан заступ наземь, бежать.

Бежит с кладбища, а она на плечах у него, старушонка лысая, пищит ему в уши:

— Ты добрый, Иваныч, кормилец, освободил ты меня из ямы, вывел на волю, на свет божий, уж отдышусь у тебя, поправлюсь, и заживем, эх, Иваныч, дружно, милый, Степан Иваныч, миленький, миленький мой, ау!

Без ума вломился Степан к себе в избу, трясет головой.

А старушонка скок с плеч да на печку, с печки за печку, в тараканью норку забила, сидит — у! проклятая! — дышит.

— Я тут,— пищит старушонка,— здравствуй, Ива-  
ныч!

Степан туда-сюда, а нет ее нигде, нет старушонки,  
не видит.

Рассказал жене, вместе искать принялись, шарили,  
шарили и так и с огнем, а нет нигде старушонки.

Да, нет, конечно, нет старушонки.

Затушили огонь и спокойно легли спать.

А в ночь сгорел дом, и много денег пропало, едва  
сами выскочили, едва вынесли сына.

Вот она где беда!

Кое-как в уцелевшем амбаре примостился Степан  
с женою.

«Ну,— думает,— теперь довольно, будет сыта, про-  
жлятая, эх, горе мое!»

А она и в амбаре, ей у Степана вольготно, куда хо-  
чет идет:

все выест, все на дым спустит, сам откопал,  
сам на свой век несчастный.

Пал у Степана конь, пала корова. Дальше да боль-  
ше, все в провед, все в проед.

Собрал Степан последние, оставались еще кое-какие  
деньжонки, да на последние и купил коня.

Без коня какое хозяйство, конь — первое дело.

Купил Степан коня, а привел домой,— кобыла ока-  
залась.

Вот она где беда!

Заела Степана нужда, а с нуждой пошла незадача,  
вот куда зашла ему нужда!

«И зачем было выкапывать ее, старушонку, нужду  
прожорливую, позавидовал, на брата напустить хотел,  
позавидовал, и что взял?»

Вот она где беда!

\* \* \*

Приходит к Степану брат Иван.

— Что это, брат Степан, что так бедно у тебя?

— Да что, брат, беда: беда за бедой.

Пожалел Иван брата, потужил с братом.

Пришло время домой уходить, стал прощаться Иван,  
а Степан ему в ноги.

— Прости,— говорит,— меня, грешного, выкопал я  
твою старушонку-нужду, хотел на тебя напустить,  
а она ко мне пришла, позавидовал я!

— Так вот отчего ты беден так!

— Забралась она в дом и везде прошла — и к скоту и в деньги, что поделаешь, прости меня, Иван!

Вынул Иван полный кошель, высыпал на стол все до копейки и говорит:

— Деньги мои, а кошель твой будет, и хоть пустой, да не с нуждой.

А она услышала, старушонка-то, горе, горе злосчастное, нужда, да как выскочит из щелки да бух в кошель.

— Я и здесь есть! — пищит, — я и здесь есть!

Тут Иван взял да концы у кошелья и задернул.

— Ты и тут есть, ну, так и сиди!

Завязал концы крепко, привязал к кошелью камень, да с богом на речку.

Притащили братья кошель к речке, там пустили его на воду.

И пошел кошель ко дну, потопили нужду-старушонку.

И зажили оба богато.

## СКОМОРОХ

Царствовал царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти. Охотник был царь сказок послушать.

И дал царь по царству указ, чтобы сказку сказали, какой никто не слыхивал:

«За то, кто скажет, полцарства отдам и царевну!»  
Полцарства и царевну!

Да этакой сказки сказать никто не находится.

А был у царя ухарец — большой скоморох, — плохи были дела, стали гнать скоморохов! — и сидел скоморох с голытьбой в кабаке.

Сидел скоморох в кабаке, крест пропивал.

— Что ж, Лексей, — говорят скомороху, — или не хочешь на царской дочке жениться? — подымают на смех, гогочут.

Подзадорили скомороха царской наградой:

была не была, хоть шубе на рыбьем меху,  
да уж впору ему царю сказку сказывать.

Приходит из кабака скomorох к царю во дворец:  
— Ваше царское величество! Изволь меня напоить,  
накормить, я вам буду сказки сказывать.

Вспошлились царские слуги, собрались все малю-  
ты скурлатые, вышла и царская дочь — Лисава, царев-  
на прекрасная.

Накормили скomorоха, напоили, посадили на стул.  
— Сказывай, слушаю,— сказал царь.

И стал скomorох сказки сказывать.

А как был у меня батюшка —  
богатого живота человек;  
и он состроил себе дом,  
там голуби по крыше ходили,  
с неба звезды клевали;  
у дома был двор —  
от ворот до ворот  
летом меженным днем,  
голубь не мог перелетывать —

Слыхали ли эту сказку?

— Нет, не слыхал,— сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Потупилась царевна Лисава прекрасная.

— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет  
завтра, по вечеру.

Встал скomorох и ушел.

День не видали скomorоха на улице, не сидел ско-  
морох в кабаке.

Вечером явился к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить,  
накормить, я вам буду сказки сказывать.

И опять собрались все скурлатые, вышла и царевна,  
Лисава прекрасная.

Накормили скomorоха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю,— сказал царь.

И стал скomorох сказки сказывать.

А как был у меня батюшка —  
богатого живота человек;  
и он состроил себе дом,  
там голуби на крыше ходили,  
с неба звезды клевали;



у дома был двор —  
от ворот до ворот  
летом меженным днем,  
голубь не мог перелетывать;  
и на этом дворе  
был вырощен бык:  
на одном рогу сидел пастух,  
на другом — другой,  
в трубы трубят  
и в роги играют,  
а друг другу лица не видно  
и голоса не слышно —

— Слыхали вы такую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлаты.

Вспыхнула царевна Лисава прекрасная.

— Ну, и это не самая сказка, завтра будет настоящая!

Шапку взял да и за дверь.

Видит царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царевну Лисаву, и говорит своим слугам:

— Что, мои верные слуги, малюты, а скажем, что сказку слыхали, и подпишемте.

— Слыхали, подпишем! — зашипели скурлаты.

Тут царский писчик столбец настрочил, скрепил, и все подписались,

что слыхана сказка, все ее слышали.

Тем дело и кончилось.

\* \* \*

С утра сидел скоморох в кабаке, пить не пил, пьян без вина.

— Что ж, Лексей, — подзадоривала голь, — полцарства и царскую дочь?

— Не допустят! — каркала кабацкая голь.

В третий раз третьим вечером приходит скоморох к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить-накормить, я вам буду сказки сказывать.

А уж скурлаты на своих местах, задрали нос, брюхо выпятили:

так и дадут они скомороху полцарства и царскую дочь, — хитер скоморох, скурлат вдвое хитрей.

Вышла и царская дочь Лисава, царица прекрасная.  
Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.  
— Сказывай, слушаю,— сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

А как был у меня батюшка —  
богатого живота человек;  
он состроил себе дом,  
там голуби по крыше ходили,  
с неба звезды клевали;  
у дома был двор —  
от ворот до ворот  
летом меженным днем,  
голубь не мог перелетывать;  
и на этом дворе  
был вырощен бык:  
на одном рогу сидел пастух,  
на другом — другой,  
в трубы трубят  
и в роги играют,  
а друг другу лица не видно  
и голоса не слышно;  
и была еще на дворе кобылица:  
по три жеребят в сутки носила,  
все третьяков-трехгодовалых;  
и жил он в ту пору весьма богато;  
и ты, наш великий царь,  
занял у него  
сорок тысяч денег —

— Слыхали ли этакую сказку?

— Слыхал,— сказал царь.

— Слыхали! — гаркнули скурлатые.

— Слыхали? — сказал скоморох,— а ведь царь до  
сих пор денег мне не отдает!

И видит царь, дело нехорошее:

либо полцарства и царицу давай,  
либо сорок тысяч денег выкладывай.

И велит скурлатам денег сундук притащить.

Притащили скурлаты сундук.

— На, бери,— сказал царь,— твое золото.

Поклонился скоморох царю,

поклонился царице,

поклонился народу.

— Не надо мне золота, не надо и царства, дарю без  
отдарка!

И пошел в кабаки с песнями.

А царевна Лисава прекрасная стоит бела, что березка белая.

Потихоньку, скоморохи, играйте,  
потихоньку, веселые, играйте,  
у меня головушка болит,  
у меня сердце щемит!

## МЕДВЕДЧИК

Шел медведчик большой дорогой, вел медведей.

С медведями ходить трудно — медведь так в лес и смотрит, тоже поваляться охота в теплой берлоге — берлога насладена медом! — вот и изволь на скрипке играть, отводи медвежью душу.

За Филиппов пост наголодался медведчик, наголодался.

Плохо нынче скомороху!

И то сказать: без скомороха праздник не в праздник, а всяк норовит лягнуть тебя побольнее, либо напьются, нажрут, и скомороха не надо.

Застигнул медведчика вечер: куда ему с медведями, позднее время!

А стоял на дороге постоялый двор богатый. Просит медведчик хозяина пустить на ночлег.

А хозяин и слышать не хочет.

Прошел слух, будто ездят по большим дорогам начальники, проверяют перед праздником чистоту на дворах. И была хозяину грамотка подброшена, что ночью нагрянет к нему начальник для проверки.

Вот хозяин, кто б ни попросился, всем и отказывал.

— Я не пускаю не то что тебя с твоими супостатами, я и извозчиков не пускаю: обещался нынешнее число сам губернатор у меня быть.

А работник и говорит:

— Хозяин,— говорит,— отведу я их в баню: в предмыльник поставят медведёв, а сами в бане.

Уперся хозяин: и то и другое, и неудобно, и что губернаторские кони услышат медвежий запах, и будут пугаться.

А уж ночь охватывает, ночь — звезды, крепкий мороз.

Просит медведчик: медведей ему жалко — звезды, как льдинки, горят, крепкий мороз!

Ну, хозяин и согласился.

— Отведи их в баню с медведями,— сказал работнику,— да затвори покрепче, а ключи у себя держи, кто знает!

Отвел работник медведчика в баню, запер ворота и стал с хозяином звонка слушать, гостей поджидать.

\* \* \*

Остался медведчик с медведями в бане.

И тепло ему и медведям тепло, да все беспокойно — и сам не спит, и медведи не спят:

Миша лапу сосет, а медведица Акулина  
ноздрями посвистывает.

Не мёртво, никак не уснуть: то Акулину погладит, то Мишу потреплет.

О чем медведица думала, невдомек медведчику, только недоброе думала, губой пошлепывала, или чуяла недоброе, да сказать не могла?

Миша тот свое думал: пройтись бы ему на пчельню челок поломать! — охотник был до меда медведь, лапу сосал.

Встал медведчик, потрепал лапы, потрогал медвежьи уши.

«Постой,— подумал,— прочитаю заговор, чтобы медведей ножи не брали, кто знает!»

— Мать сыра земля! — поклонился медведчик Мише, поклонился Акулине.

Мать, сыра земля,  
ты железу мать,  
а ты, железо,  
поди в свою мать землю,  
а ты, дерево,  
поди во свою мать дерево,  
а вы, перья,  
подите в свою мать птицу,  
а ты, птица,  
полети в небо,  
а ты, клей,  
побеги в рыбу,  
а ты, рыба,  
поплыви в море,  
а медведю Мише,  
медведице Акулине  
было бы просторно по всей земле!  
Железо, уклад, сталь, медь,



на медведя Мишу,  
на медведицу Акулину  
не ходите,  
воротитесь ушьями и боками!  
Как метелица  
не может летать прямо  
и приставать близко  
ко всякому древу,  
так бы всем вам не мочно  
ни прямо, ни тяжко падать  
на медведя Мишу,  
на медведицу Акулину!  
Как у мельницы  
жернова вертятся,  
так бы железо, уклад,  
сталь и медь  
вертелись бы круг  
медведя Миши,  
медведицы Акулины,  
а в них не попадали!  
А тело бы медвежье  
было не окровавлено,  
душа не осквернена;  
а будет мой приговор  
крепок и долог.

И только что медведчик заговор кончил, слышит, ко-  
локольчик у ворот брякнул,— да все резче и громче.

\* \* \*

Слышит работник, звонят у ворот, поднялся.

И хозяин поднялся, тоже услышал.

— Беги,— говорит,— скорей, отворяй!

Работник к воротам, отворил калитку посмотреть,  
а у ворот люди — не такие, он назад, калитку запер, да  
к хозяину.

А уж разбойники давай сами бить и ломать, сорвали  
ворота, да в дом.

И сейчас же — овса, сена коньям, а себе вина и за-  
куски.

Хозяин видит, дело-то плохо приходит, старается уго-  
дить гостям:

и вина и хлеба-соли полон стол на-  
ставил.

А им все мало, до денег добираются, вот куда метят!

— Довольно,— говорят,— тебе, хозяин, копить, уж накопил достаточно!

Да за сундук и взялись.

Тут хозяин улучил минуту, пока молодцы из сундуков выбирали, да и пришепни работнику, чтобы в баню сходил к медведчику:

помощи попросить медведями.

Работник в баню к медведчику, рассказал медведчику, какая беда у хозяина.

Мигнул медведчик Мише, мигнул Акулине, вывел медведей из бани к дому, приказал им службу.

Акулина сердитей и сильнее Миши,— велел ей медведчик в дом идти и управляться, насколько есть мочи,— да чтобы маху не давала.

А Мише приказал в сенях ждать.

— Случаем тронутся утекать молодцы,— сказал медведчик,— маклашку давать им немилосердную!

Поклонились медведи медведчику:

рады, дескать, приказание исполнить!

Стал Миша в сенях.

Поднялась на задние лапы медведица и пошла в дом.

А разбойники деньги все обобрали и опять стали гулять, уж в дорогу пили и закусывали.

Да как посмотрели на это чудовище — космато, велико, голова, что квашня! — от страха так и ужаснулись.

Ну, Акулина не робкая, не заробела, давай их ломать во все свои силы —

кому руку прочь, кому ногу прочь,  
кому черепанку взлупила.

Разбойники за ножи, а нож не берет —  
погнулись в кольцо ножи,  
невредима медведица.

Видят, не сладить, и давай уходить.

А Миша в дверях.

И кто в сени выскочил, так тут и пал.

Так перебили медведи всех до единого, а было всех двенадцать молодцов, двенадцать разбойников.

— Собакам собачья честь! — сказал хозяин, забрал себе двенадцать разбойничьих коней и до утра чистил и прибирал с работником дом и двор.

А медведчик, чуть свет, в путь пошел, повел медведей.

До звезды ему надо добраться до города, пристать к колядовщикам.

Без скомороха, без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда — не настоящая.

## ЖУЛИКИ

Ходил вор Васька по Петербургу:  
было ему на роду написано и богом  
указано воровать.

Начал Васька сызмала, и хорошо ему воровство да-  
лось, развернулся и пошел вовсю:

где лавку пошарит, где магазин почистит,  
и капиталами не брезговал.

Ваську Неменяева все сыщики уважали.

Идет Васька по Миллионной, несут покойника.

А за гробом человек десять молодцов с дубинами,  
бьют в гробу покойника.

— Что такое, за что бьете? — остановил Васька.

— Должен много, за то его так и провожают, — отве-  
тили вору.

— Оставьте, — сказал Васька, — не троньте покойни-  
ка, я за все заплачу.

Обратил народ внимание, бросили дубинки, пошли за  
Васькой.

И всех до одного расчитал Васька, как следует, —  
публика осталась довольна.

\* \* \*

Сидит Васька у себя на Фонтанке, пьет вино бокал  
за бокалом.

Пьет Васька, попивает и не заметил, как усидел чет-  
верть, — и хоть бы что, ни в одном глазе: крепкий.

Хозяйка доклад делает: человек какой-то спрашива-  
ет, видеть вора хочет.

Велел Васька пустить гостя.

А тот, как стал на пороге, так и стоит, зяблый, щер-  
батый такой, в драном сером кафтанишке, не садится.

— Нельзя ли, — говорит, — мне ночевать, ночлегу  
нету.

— Чей и откуда? — спрашивает Васька.

— Мы деревенский вор Ванька, воровать в деревне  
нечего, в Петербург пришли, где денег больше.

— А мы городской вор Васька Неменяев.

Ну, вор на вора не доказчик, признались, выпили  
и стали друг с другом тайный совет держать:

куда воровать идти.



— А что тебе тут знакомо? — спросил деревенский вор Ванька приятеля Ваську.

Васька и давай ему рассказывать: у такого-то купца денег много, а у эакого еще боле, в одном месте еще больше, а в эаком и счет потеряешь, перебрал купцов со всех улиц, и с Сенной, и с Гостиного, и апраксинских, и александровских.

— Не годится купца обижать,— говорит Ванька,— а лучше вот что: пойдём-ка в царский банк, возьмем денег, сколько надо.

Поднялись вору спозаранку, наняли чухонскую телегу и поехали, пока что, с похмелья поразмяться.

Ехали почтовым трактом, выбирали, где пристать лучше.

За Озерками выпрягли вору лошадь, сами сели под елку, развели огонек, закусили и сидят себе, о воровском деле рассуждают.

И вдруг, как зарычит над ними с елки птица — по п у г а й-п т и ц а!

Васька за лук:

натягивает тугой лук, полагает калену  
стрелу, пускает в птицу.

Не упала птица с елки, обронила ж е л е з н ы е  
к л ю ч и.

— Ключи нам и нужны,— подхватил ключи Ванька,— а ты нам вовсе не нужна, лети, куда знаешь!

Вечером вернулись вору с находкой на Фонтанку, поужинали и — на работу.

\* \* \*

В полночь приходят вору к царскому банку:

у калитки крепкий караул дежурит.

— Нельзя ли отворить калитку! — подступил к караулу Ванька.

А стражи человек двадцать и на всякого по ста рублей просят.

Выдал Ванька деньги.

Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Обошли вору круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась у шара резиновая лестница.

Поднялись они по лестнице, взял Ванька м е л-к а-м е н ь, обкружил дыру на крыше — и открылся ход.

— Ты поддержи бечевку, а я спущусь,— сказал Ванька приятелю и полез в банк.

И в банке Ванька недолго копошился, отпер по пуга йным ключом шкаф, забрал денег, сколько влезло, и опять на крышу.

Мел на крыше стер — срослась по старому крыша чисто.

И стали спускаться.

Спустились воры наземь, свернули лестницу в шар, да к калитке.

Пропустила их стража.

И пошли они к себе на Фонтанку, делить деньги.

Васька и говорит:

— В Петербурге я вор первый и все сыщики меня уважают, только до этакого дела я своим умом не дошел бы.

— Пойдем завтра, царь банк пополнит,— сказал Ванька.

И опять снарядились воры на работу. Опять в полночь приходят они к царскому банку.

А стража уже другая, ту царь сменил, хитрая, не сдается.

— Без того,— говорят,— мы вас не пустим, по двести рублей надо.

Выдал Ванька деньги.

Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась из шара резиновая лестница.

Поднялись они по лестнице, омелил Ванька круг на крыше — и открылся ход.

— Вчера я, сегодня ты иди,— сказал Ванька и стал спускать приятеля на бечевке в банк.

А уж там догадались, и приготовлен был чан с варом.

Ванька бечевку ослабил, Васька туда и попал, в этот вар.

И сидит по плечи в вару, никак высвободиться не может.

Видит Ванька, дело плохо, прикрепил бечевку, полез за Васькой.

И так, и сяк, и туда повернет, и сюда повернет, вертел, вертел,— не может снять приятеля.

Взял да и снес ему голову.



Да с головою на крышу, мел стер, бросил лестницу наземь, спустился.

Отворила стража калитку, вышел Ванька на улицу и прямо на Фонтанку к Васькиной хозяйке.

Схохонулась Маруха:

— Где,— говорит,— мой вор, Васька Неменяев?

— Голова его тут, а его самого нету, поминай как звали! — ответил Ванька.

Достал у Марухи Ванька банку с вареньем, умял варенье, Васькину голову в середку всунул, завязал банку, поставил банку в уголок под образы для сохранности и стал ждать, что будет.

\* \* \*

А в царском банке о ту пору поднялась тревога: пошел царь банк проверять и видит, в чану с варом, около шкапа, тулово торчит при часах и цепочке.

Взяло царя раздумье:

«Что это за вор — одно тулово при часах и цепочке?»

И велит царь привести к себе старого вора — сидел на Выборской в Крестах старый вор Самоваров.

Привели Самоварова к царю из тюрьмы.

Царь говорит Самоварову:

— Что, старый вор, старинный, можешь ты знать, кто ограбил банк?

— Был вор не простой,— ответил старик,— был вор деревенский. Городской вор глупый, он и в вар попал — его тулово.

— А как бы деревенского вора найти? — спрашивает царь.

— Деревенский вор в Петербурге,— учит старый вор Самоваров,— если он украл деньги, унес он и голову, унес голову, унесет и тулово. Вези ты чан на площадь, прикажи двенадцати генералам караулить тулово, ловить деревенского вора.

\* \* \*

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Повезли тулово на площадь, погнало двенадцать генералов караул держать, ловить деревенского вора.

Три дня стоит чан на Суворовской площади,— в чану тулово при часах и цепочке, круг чана генералы ходят, караулят тулово.

Три дня Ванька околачивается на Суворовской — подступиться нет возможности.

На четвертый день догадался Ванька: покупает Ванька бочку вина и напрямик на площадь.

Подъехал он к тулову да и сковырни бочку наземь, будто нечаянно.

Потекло вино, орет Ванька:

— Пособите, товарищи, поднять, добро пропадает!

Жаль добра,— генералы и давай подымать бочку, всем миром понадсели, да с божьей помощью и взвалили ее на телегу.

Крепко уморились.

Ванька отблагодарить хочет, цедит вина, потчует генералов.

Сначала-то генералы отпирались, ну, а потом согласились, чтобы только подкрепиться и мужика не обидеть.

Выпили они по одной — зашумело в голове, просят по другой.

Ванька поднес по другой — загудело у них в голове, просят по третьей.

А уж после третьей на разные голоса запели, вот как!

Ванька сейчас бочку наземь, чан с туловом на телегу, да и был таков.

А приятель-то Васька сильно облип весь, в вару-то стоя, обмочаилось его тулово, на чем только часы и цепочка держатся, и узнать нельзя,— одна труха.

Приехал Ванька на Фонтанку, вытащил тулово, буд-то тушу, омелил у тулова шею, вынул из банки голову, приставил голову к тулову.

И срослась голова по-старому.

Взялся Ванька за попугайные ключи, поднес к Васькиным губам.

И ощерился Васька.

— Ну,— говорит,— чуть не захлебнулся, больно сладко.

Тут на радостях Ванька пустился то да сё, и как Васька в вару завяз, и как на Суворовской площади три дня без головы своим туловом народ пугал, и как потом все срослось по-старому.

За рассказом, за беседою выпили.

Васька, знай, все облизывался.

За выпивкой задремали. И пошел храп на всю Фонтанку улицу.

А на площади тем временем поднялась тревога: поехал царь проверять караулы, смотрит, на площади лежат генералы влужку круг бочки, мертвецки пьяны,— нет ни чана, ни тулова.

Царь вне себя:

— Куда,— говорит,— девалось тулово? На что,— говорит,— вы поставлены: бочку с вином стеречь? Где тулово? Подать сюда тулово!

Повскакали генералы,— а ноги-то уж не держат! — упали генералы царю в ноги.

— Не вино нас винит, винит нас пьянство. Куда хочешь клади нас, а тулово с варом потеряно, увезено с площади, неизвестно кем!

Велел царь казнить генералов. И опять потребовал к себе с Выборской старого вора Самоварова.

Привели Самоварова из темницы к царю, поставили перед царем.

— Ну, старый,— спрашивает царь,— рассуди наше дело, как словить вора: приезжал вор на площадь, увез чан с туловом.

— А вот как,— учит старый вор Самоваров,— обряди ты своего именного козла в парчовую одежду, да пошли за караул твоих самых верных телохранителей, и пусть они ведут козла на серебряной цепочке по Петербургу: если вор в городе, обдерет он козла, как пить даст.

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Обрядили в парчу именного козла, повели козла царские телохранители на серебряной цепочке по Петербургу.

Ведут козла по Невскому, а вор Ванька навстречу, кланяется:

— Пожалуйте,— говорит,— ко мне на Фонтанку, жена у меня Маруха именинница, охота ей именного козла посмотреть в день ангела, глупая баба, осчастливьте, сделайте милости!

«Уж не это ли сам вор деревенский?» — думают себе телохранители.

И повернули козла на Фонтанку, да с козлом к Ваньке, будто в гости.

А Ванька и говорит:

— Что это вы скотину-то понапрасну мучаете; поставьте-ка козла в сарай, у нас во дворе сарай теплый.

Упираются телохранители: боятся козла из рук выпускать.

Да раздумались:

«Что, в самом деле, скотину понапрасну мучить, козла не убудет, а вор от нас не уйдет, скот надо милловать!»

И поставили телохранители козла в сарай, сарай на замок замкнули, ключ главному на эполету повесили.

Тут давай Ванька угощать гостей:

и подарки-то им подносить и вином-то их поить, и словами улещает.

А как размякли гости, оставил их Ванька на Ваську — пускай зубоскалит, — а сам будто в квасную за папиросами.

И пока зубоскалил приятель с телохранителями, прибежал Ванька к сараю, отпер по пугайным ключом теплый сарай, ободрал козла догола, придушил козла да на кухню.

И подносит гостям на блюде именную козлятину, вареньем обложена:

— Покушайте, любезные гости, козлятины, самая свежая!

Едят гости именную козлятину, брусничным вареньем закусывают, а сами себе думают:

«Ну, уж теперь вору не уйти от нас, он самый и есть вор деревенский, попался голубчик!»

Да на радостях и приналегли на козлятину, да на радостях и расхвастались:

кто что, да кто как, и о всяких знаках отличия.

Пришло время прощаться, расходиться пора, о козле они и не спрашивают, вышли вон на улицу, да на Ванькиных воротах мелом и написали:

Мы тут были, козлятину ели.

А Ванька выждал немного, да за ними по их следу, письмо их стер на воротах, да где попало, в местах десяти, ту же надпись и написал:

Мы тут были, козлятину ели.

А во дворце тем временем поднялась тревога: явились к царю телохранители — козла нет.

Говорят телохранители:

— Мы вора поймали! — и ну хвастать.

Царь сейчас в коляску.

Выехал царь на Фонтанку.

Едет царь по Фонтанке, туда посмотрит, сюда посмотрит,— на одном доме надпись, и на другом надпись, и на третьем, и на десятом, и все одно и то же мелом написано:

Мы тут были, козлятину ели.

Повернул царь коляску, махнул рукою:

— Козлятина,— говорит,— козлятина одна!

И пока там новый караул снаряжали ловить деревенского вора, Ванька с Васькой зря на Фонтанке не торчали, глаз не мозолили, а взяли чухонскую телегу, забрали золото, серебро и распростились с Петербургом.

\* \* \*

Стал белый, светлый день, как приехали вору к морю.

Лошадь и телегу вору продали, купили пароход, сели на пароход и поплыли тихо и смирно в иностранные земли.

Приезжают вору к иностранному королю Молокиту.

А у того короля Молокиты была дочь царица Чайна-прекрасная.

И влюбился Васька в Чайну-царицу. Посылает Васька сватов к королю.

Чайне люб Васька, а король Молокита не хочет:

— Выстрой,— говорит,— русскую церковь в трое суток, тогда и бери Чайну, а не то голову долой.

А Ваське что: ему Ванька поможет, Ванька к этому делу привычен, Ванька — деревенский.

И взялся Васька в трое суток русскую церковь строить.

День Ванька строит — выше окон,

другой строит — вывел к потолку,

на третьи сутки накрыли всю крышу.

— Принимайте, собор готов,— говорит Васька королю Молокиту.

И точно,— видит король, собор построен, от слова не отпирается.

И при освящении собора Ваську с царицей и повенчали.

Велел король Молокита нагрузить им двенадцать кобелей и с дарами отправил их в море.

И пали им попутные ветры — приятная погода.



Целы и невредимы вернулись они в Петербург.  
Целую неделю выгружали корабли, да неделю пировали.

После пира стал вор Ванька прощаться с приятелем, а прощаясь, раскрыл ему свою тайность:

он и есть тот самый покойник, которого на Миллионной в гробу дубинками били — вор Ванька.

— Пожалел ты меня, выкупил, послужил и я тебе верою, правдою и неизменною! — сказал вор Ванька.

И пошел себе, ничего не взял, только попугайные ключи да мел-камень, все золото, серебро оставил приятелю.

И остался Васька Неменяев с своей молодой женой вдвоем без приятеля, и стали жить по-хорошему при всей обличности и удовольствии.

## ХЛОПТУН

Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться.

Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.

Трудно было одной Марье.

Кое-как она перебилась, к осени полегче стало.

Ждет мужа, — нет вестей от Федора.

Ждать-пождать, — не едет Федор.

Да жив ли?

А тут говорят, помер.

Бабы от солдата слышали, что Федор помер.

Ну, а Марья в слезы, убивается, плачет.

— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок!

Так Марья плачет, так ей скучно.

Прожила она в слезах осень, все тужит:

без мужа скучно.

А Федор вдруг на святках и приезжает.

И уж так рада Марья, от радости плачет!

вот не чаяла, вот не гадала!

— А мне говорили, что ты помер!

— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы!

И стали они поживать, Федор да Марья.

Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом,— не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа,— век вместе жили.

Все по-прежнему шло, как было.

Все... да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:

«А что, как он мертвый?»

Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою,  
а он, чтобы идти к покойнику смотреть,  
нет, никогда не пойдет.

Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала — покойник-то очень уж богатый был,— на силу уговорила.

И пошли, вместе пошли.

Приходят они туда в дом, где покойник:  
покойник в гробу лежал, лицо покрышкой  
покрыто.

Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника.

Тут и все потянулись:  
всякому охота на покойника посмотреть.

С народом протиснулась и Марья.

Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.

«И чего же он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.

Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.

Дорогой она его и спрашивает:

— Чего ты, Федор, смеялся?

— Так, ничего я... — не хочет отвечать.

А она пристаёт: скажи да скажи.

Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:

— Вот как покрышку с него сняли, а черти к нему так в рот и лезут.

— Что ж это такое?

— А хлоптун из него выйдет.

— Какой хлоптун?

— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто, и не признаешь, а потом и начнет: сперва есть скотину, а за скотиной и за людей принимается.

И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.

— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья...

— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-оборотъ и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.

Вернулись они домой, легли спать.

Заснул Федор.

А Марья не спит, боится.

«А что, если он хлоптун и есть?»

Боится, не спит Марья —

не заснуть ей больше, не прогнать  
страх и думу.

\* \* \*

Куда все девалось, все прежнее?

Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего.

Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется.

Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.

«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва есть скотину, а за скотиной за людей принимается!»

И как вспомнит Марья, так и упадет сердце.

И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.

— Не сын ваш Федор... хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе.

— Как так?

— Так что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала, — последний год живет, кончится год, съест он нас.

Испугались старики.

— Съест он нас!

\* \* \*

Всем страшно, все на стороже.  
И стали за Федором присматривать.  
Глядь, а он уж на дороге коров ест.  
Обезумела Марья.  
Трясутся старики.

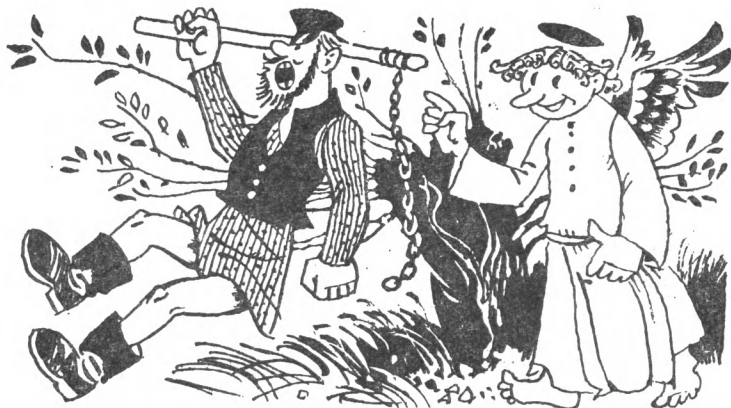
Достали они от жеребца узду-обороть, подкараулили  
Федора,— подкралась сзади, да по рукам его уздой как  
дернут...

Упал Федор.

— Сгубила,— говорит,— ты меня!

Да тут и кончился.

Тут и все.



*Евгений Замятин*

## АНГЕЛ ДОРМИДОН

**Б**ыл такой глупый ангел, по имени— Дормидон. Все ангелы, известно — от дыхания божия: дохнет господь — и ангел, дохнет — еще ангел. А тут погода была плохая, чихнулось — и вылетел ангел из чоха, оттого и несуразный. Рыластый, глазами, это, все туды-сюды, туды-сюды, и на левой руке, на мизинце, кольцо с аметистом: ну под стать ли это ангелу-то? А как до дела — так ему чтоб сразу все, с бухты-баракты, а потом и завалиться дрыхнуть. Так уж его терпели на небе, из милости больше.

И приставили глупого ангела Дормидона за мужиком ходить. А мужик — тоже хорош: пьяница забубенный.

Ходил, это, ходил Дормидон за своим мужиком по всем целовальникам — никак толку нет.

«Ну, коли так, — думает, — ладно. До белой горячки тебя допою, а потом уж сразу и раскаю».

И мужику на ухо:

— Вали, брат, наяривай! Ну-ка, еще по одной!

И побежал мужик по деревне не в своем виде, без штанов, буйнит — мочи нет, а в руках цеп: за своей же, мужиковой, тенью с цепом гоняется.

А Дормидон в воротах, за вереей, с мужиковым братом спрятался, и оба за животики держатся:

— Ха-ха-ха! Так ее, такую-сякую! Так ее, лови! Добежал мужик, тень — нырь в ворота. Мужик за ней:

— А-а! Еще гогочешь, проклятая? Ну, посто-ой...

Да как ахнет цепом с плеча! Ангелу-то чего подеется, а мужиков брат — так и свалился, как колос: мертвый.

Полетел глупый ангел с донесением: так и так, происшествие. Взмылили ему голову, как надобно, а он стоит себе да перстень с аметистом вертит: как с гуся вода.

— Ну, Дормидон,— говорит бог,— теперь уж как хочешь, хоть двадцать годов ходи, а чтобы у меня в рай мужика этого представил.

— Фу ты, господи: да неуж не представлю? Я-то? — И к мужику, на землю.

А день был базарный: пошли с мужиком доски покупать — мужикову брату на домовину, и веревок — домовину спускать.

Мужик тверезый, зленный — страсть! — Дормидона так и чешет:

— Во-от, въелся, чисто репей в хвост собачий! Ты долго еще за мной будешь?

Дормидон — будто и не ему: знай, перстень вертит. А у самого в голове, как гвоздь:

«И как бы это одним махом от мужика оттильди-каться?»

Глядь — цыган мимо, свинью на аркане волокет: свинья визжит, упирается, веревка длинная, белая.

Увидал Дормидон цыгана с веревкой — как по лбу себя хлопнет: батюшки мои, вот же... И мужику на ухо: — Покупай веревку-то, покупай. Веревка-то какая: нигде такой не найти.

Купил мужик. И только, это, вышли с Дормидоном на выгон — ну, который за базаром выгон — Дормидон хватать цыганов аркан мужику на шею — и поволок.

Мужик — в голос:

— Батюшка! Ослобони, родимый! Брат неприбран лежит! Куда ты меня?

А Дормидону — потешно, ржет:

— Ну-ка еще? Ну-ка еще? Не-е-ет, не уйдешь! Так без пересадки в рай и приволоку.

Брыкался-брыкался мужик, а под конец — сел на землю колодой — и все: поди, сковырни.

Почесался Дормидон, поплевал на руки — дюжий был — за аркан покрепче да как завьется с мужиком вверх. И ходу, все пуше, только ветер свистит. На мужика и не оглядывается: тяжело на аркане, стало быть, тут мужик, ну и ладно, а что утих — и того лучше.

Прилетел в рай, упыхался, ухмыляется Дормидон во весь рот: доволен.

— Вот он мужик-то ваш. Предоставил.

Поглядели: а мужик лежит, не копнется, синий весь, язык высунут. Готов.

Осерчал тут господь — не приведи господи, как...

— Предоста-авил! Дурак ты, дурак набитый! Сейчас — вон, и чтоб духу твоего не было!

Обчекрыжели Дормидону крылья — и на землю сослали. Пока, это, еще опять до ангелов дослужится.

1916

## ХЕРУВИМЫ

Всякому известно, какие они, херувимы: головка да крылышки, вот и все существо ихнее. Так и во всех церквах написаны.

И приснился бабушке сон: херувимы у ней в комнате летают. И летают, и летают, крыльями полощут поласточьи, под потолком трепыхаются. Вот теперь — пониже, вот шторку задели, об лампу стукнулись, опять — к потолку. Прочитала им бабушка херувимскую, и всякую молитву про херувимов вспомнила — прочитала, а они все летают.

Уж так стало жалко бабушке херувимов — терпенья нет. И говорит она — какому поближе:

— Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился, поди, летать-то.

А херувим сверху ей, жа-алостно:

— И рад бы, бабушка, посидеть, да нечем.

И верно: головка да крылышки — все существо ихнее. Ничего не поделаешь.

1917



**А. М. Горький**

## **ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА**

*Русская народная сказка*



ил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выходит, не так, как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит

Иванушке:

— Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

— А чем? — спрашивает Иванушка.

— Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари — будет похлебка.

Мужик приказывает:

— Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:

— Ну вот, я гляжу за вами!

Посидели дети некоторое время на полу, — запросили есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в нее полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает вслух:



— А кого крошить надо?

Услыхали дети — испугались:

— Он, пожалуй, нас искрошит!

И тихонько убежали вон из избы.

Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, —  
соображает:

— Как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще  
дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!

Заглянул в кадушку и говорит:

— Варись, похлебка, а я пойду за детьми глядеть!

Снял дверь с петель, взвалил ее на плечи себе и по-  
шел в лес; вдруг навстречу ему медведь шагает — уди-  
вился, рычит:

— Эй, ты, зачем дерево в лес несешь?

Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось, —  
медведь сел на задние лапы и хохочет:

— Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

А Иванушка говорит:

— Ты лучше детей съешь, чтобы они в другой раз  
отца-матери слушались, в лес не бегали!

Медведь еще сильней смеется, так и катается по зем-  
ле со смеху!

— Никогда такого глупого не видал! Пойдем, я тебя  
жене своей покажу!

Повел его к себе в берлогу. Иванушка идет, дверью  
за сосны задевает.

— Да брось ты ее! — говорит медведь.

— Нет, я своему слову верен: обещал стеречь, так  
уж устерегу.

Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

— Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привел!  
Смехота!

А Иванушка спрашивает медведицу:

— Тетя, не видала ребятешек?

— Мои — дома, спят.

— Ну-ка, покажи, не мои ли это?

Показала ему медведица трех медвежат; он говорит:

— Не эти, у меня двое было.

Тут и медведица видит, что он глупенький, тоже сме-  
ется:

— Да ведь у тебя человечьи дети были!

— Ну да, — сказал Иванушка, — разберешь их, ма-  
леньких-то, какие чьи!

— Вот забавный! — удивилась медведица и говорит  
мужу:

— Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живет!

— Ладно,— согласился медведь,— он хоть и человек, да уж больно безобидный!

Дала медведица Иванушке лукошко, приказывает:

— Поди-ка набери малины лесной,— детишки проснутя, я их вкусеньким угошу!

— Ладно, это я могу! — сказал Иванушка.— А вы дверь постерегите!

Пошел Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идет назад к медведям и поет во всё горло:

Эх, как неловки  
Божии коровки!  
То ли дело — муравьи  
Или ящерицы!

Пришел в берлогу, кричит:

— Вот она, малина!

Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются,— очень рады!

А Иванушка, глядя на них, говорит:

— Эхма, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети были бы!

Медведь с женой хохочут.

— Ох, батюшки мои! — рычит медведь,— да с ним жить нельзя, со смеху помрешь!

— Вот что,— говорит Иванушка,— вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин за-даст мне!

А медведица просит мужа:

— Миша, ты бы помог ему!

— Надо помочь,— согласился медведь,— уж очень он смешной!

Пошел медведь с Иванушкой лесными тропами, идут — разговаривают по-приятельски.

— Ну и глупый же ты! — удивляется медведь, а Иванушка спрашивает его:

— А ты — умный?

— Я-то?

— Ну да!

— Не знаю.

— И я не знаю. Ты — злой?

— Нет. Зачем?

— А по-моему — кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем.

— Ишь ты, как вывел! — удивился медведь.

Вдруг — видят: сидят под кустом двое детей, уснули. Медведь спрашивает:

— Это твои, что ли?

— Не знаю, — говорит Иванушка, — надо их спросить.

Мои — есть хотели.

Разбудили детей, спрашивают:

— Хотите есть?

Те кричат:

— Давно хотим!

— Ну, — сказал Иванушка, — значит, это и есть мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне еще надобно похлебку варить!

— Уж ладно! — сказал медведь. — Принесу!

Идет Иванушка сзади детей, смотрит за ними, как ему приказано, а сам поет:

Эх, вот так чудеса!  
Жуки ловят зайца,  
Под кустом сидит лиса,  
Очень удивляется!

Пришел в избу, а уж хозяева из города воротились, видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала, — сели они на лавку и плачут горько.

— О чем плачете? — спросил Иванушка.

Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:

— Это чего ты наделал?

— Похлебку!

— Да разве так надо?

— А я почему знаю — как?

— А дверь куда девалась?

— Сейчас ее принесут, — вот она!

Выглянули хозяева в окно, а по улице идет медведь, дверь тащит, народ от него во все стороны бежит, на крыши лезут, на деревья; собаки испугались — завязли, со страху, в плетнях, под воротами; только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на медведя:

— Кину в реку-у!..



*И. А. Бунин*

**О ДУРАКЕ ЕМЕЛЕ,  
КАКОЙ ВЫШЕЛ ВСЕХ УМНЕЕ**

**Е**меля был дурак, а прожил на свете так, как дай бог всякому: не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправданье на печке ездил.

Пошел по воду Емеля,—его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал и невесткам угожал, за водой вразвалочку ходил, дрова колот да сладким сном занимался,—пришел на речку, а в воде черная щука ходит. Он ее поскорей за хвост и давай на берег тащить, а она его стала со слезьми об милости просить:

— Мол, пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время.

Он ее бросил, отпустил, а она и говорит:

— Проси, чего тебе хочется, не хочется.

— Мне,— говорит Емеля,— ведра несть не хочется: пушай сами идут.

Она сейчас сказала: «По щучью по веленью, по моему прошенью, идите, ведра, собой сами!» — Они и пошли сами ко двору. Емеля следом за ними поспешает, песенки потанакивает, а они покачиваются, как утки,

сами идут. По селу народ встречается, во все окна глядят: глянь-ка, мол, глянь, у Емельки ведра сами идут! — А он дошел до двора и шумит:

— Эй вы, двери-тетери, по щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, двери, собой сами! Мне неохота себя трудить, у меня одна думка — послаже на свете пожить!

Тут двери сейчас собой сами растворились, а ведра только через порог посигивают, стали в избу прядать-скакать, а невестки от них куда попало кидаются, испужались дуже:

— Что это, дескать, такое, что это ты, дурак, дуросветишь? Где ты такое взял, что ведра у тебя сами ходят?

— У вас,— говорит Емеля,— не ходят, а у меня,— говорит,— ходят. Это уж пушай умные хрип-то гнут! Пеките мне блинов за работу!

Ну вот и не раз и не два ходил Емеля таким побытом на речку, и всё ведра у него сами гуляли. Потом, глядь, дров нету. Они и просят его, невестки-то:

— Емеля, а Емеля, у нас дров рубленых нету. Ступай скорей за дровами, а то тебе же на печи холодно будет.

Он опять им, ни слова не говоря, покоряется, выходит, стало быть, на двор с ленцой, с раскорячкою и приказывает:

— Мне,— говорит,— смерть не хочется дрова рубить, ну-ка, по щучью по веленью, по моему прошенью, руби, топор, сам. А вы, дрова-борова, идите собой сами в избу, мне не хочется вас носить, себя беспокоить. Сторона наша, дескать, богата́я, лень дремучая, рогатая: в тесные ворота не лезет!

Топор-колун сейчас у него из рук шмыг, взвился выше крыши и пошел долбить, двери в сенцы, в избу распахнулись, а дрова и давай скакать — прыгают, вроде как рыбы али шуки, а невестки опять дуром этого дела испужались, прячутся какая под стол, какая под коник,— мол, попадет, насмерть ушибет! — а топор так и крошит, так и валяет,— во-о сколько нашвырял, цельное беремя. Невестки Емелю с гневом ругают, грозят братьям нажалиться, а он только, как сом, ухмыляется:

— Вы блины-то мне пеките знайте да маслом дюжей поливайте,— а сам опять на печь в отставку полез, спать да дремать, мусором голову пересыпать.

Потом не за долгое время и на дворе дрова перевелись. Невестки приступили, в лес его посылают, братьями страшат, нынче, дескать, братья с работы придут, мы им накажем, что ты нас не слушаешься, только лежишь да тараканов мнешь, они тебя, облома, не помилят. А он, Емеля, на расправу жидкий был, страсть этого боя боялся, вскочил поскорей с печи, оделся в свой выпун-малахай, кушаком подпоясался, взял топор-колун и заткнул за кушак за этот. Невестки говорят — тебе надо лошадь запрячь, ты ведь сам не умеешь по своей дурости, а он говорит, а на что она мне, лошадь-то, — только маять ее? Я и на санях на одних съезжу, у вас же ходят без лошади сани, а у меня вот ходят.

Пошел к саням, подвязал оглобли назад, сел и приказывает: «По щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, ворота, сами!» Ворота сейчас растворяются, а он кричит: «А вы, сани, ступайте в путь-дорогу сами!» Сани и полетели, — их лошадь так не везет, как их понесли! — скачут через город, людей с ног долой сшибают, давят, а ему, Емеле, и горюшка мало. Народ — «ах, ах, сани сами едут!» — хотели его окоротить — куда тебе, его и след замел! Потом приехал он в лес, остановились эти сани, значит, в лесе. Слезает он с саней, Емеля, вынимает топор из-за пояса:

— Ну-ка, — говорит, — руби, топор, по моему по щучьему веленью. А я посижу, погляжу, в голове маленько почешу: страсть свербит что-й-то!

Топор сейчас же начинает рубить — только звон жундит по лесу! Нарубил, сколько надо, потом Емеля и говорит: «А вы, дрова, по моему прошенью, ложитесь в сани сами, мне неохота вас класть, это мне не сласть». Дрова и пошли прядать, головами мотать да укладываться в сани. Навил Емеля воз, заткнул топор за кушак-подпояску, садится на сани и приказывает, ступайте, мол, теперича, сани, сами собой ко двору. Сани опять пустились стрелой по городу, дворяне и миряне увидели — «ах, ах, опять этот злодей, какой народ подавил!» — хотели его перенять, забежали под дорогу с дубинками, с рогаками, только не тут-то было, перенять-то его! Подавил с возом народу еще боле, чем когда порожнем ехал, приезжает ко двору, невестки оглядели в окно и давай опять ругать его, — вот, мол, дурак какой глупый, сколько ты, облом, народу безвинно подавил, а он им отвечает, а зачем, говорит, они меня на табельной дороге окорачивали с дубинками, с рогаками, под сани

лезли? Потом сказал свое щучье слово, ворота перед ним враз растворились, он и въехал во двор с возом. Тут опять, значит, посигали дрова-поленья в избу, напужали невесток опять этим стуком, а Емеля-дурак залез на печь и опять наказал печь ему блинов поболее да маслом мазать пожирнее.

Ну вот он ел, ел, потом глядь в окно, а тут розыск, ищут его сотники, староста, хотят к наказанью представить за все его баснословья. Он, был, забился, куда потемнее в угол, в сор, в паучину, ну только все-таки они его нашли там, на этой печке.

— Слезай,— говорят,— Емеля, пришло твое время. Что это ты дуросветишь, народ калечишь? Вот мы тебя заберем и в холодную отведем, как это, мол, ты без лошади едешь, неладно делаешь, чепуху творишь?

Зачали его с печки снимать, тащить, хотят его покою лишить, а он обиделся на них и говорит дубинке своей, какая у него в уголку стояла:

— Ну-ка,— говорит,— покажи им, дубинка, белый свет!

Сказал свое щучье слово, а дубинка как взовьется, как козлекнет из угла, да и давай их строчить по рукам, по головам, старосту и сотников этих. Они — «ах, ах, что это, дескать, такое, что дубинка нас по головам крѣя?» — да поскорей вон из хаты. Кинулись к становому, к стражникам, он, говорят, нас не слушается, а силой его никак не возьмешь, идите, значит, сами, может, он вас боле почитает, а про дубинку про эту, какая их угощала, понятное дело, молчок. Потом собрались все урядники, стражники и сам становой с ними, староста им указал, где он, Емеля, спасается, они и входят в избу к нему всем гуртом:

— Ну, теперь, Емеля-дурачок, мы тебя с солдатами заберем, саблями тебя зарубим,— слезай скорей с печи, надевай зипун на плечи, к допросу отправляйся!

А он опять не слушается,— их полна изба напихалась, а он опять не идет, в углу песенку поет:

Ой, вы, очи, ясные мои очи,  
Емеля на расправу итить не хоча!

Они его честью умоляют, а он опять свое, опять эти очи поет. Ну, как они его опять раздражили, он и говорит:

— По щучью по велению, по моему моленью,— а дубинка эта так и лежит с ним на печке,— ну-ка,— говорит,— дубинка, попотчуй их сахаром!

Та дубинка сейчас встает и давай их охаживать с головы на голову, станового и стражников, и повыгнала, значит, всех из хаты вон.

— Ну что теперь с ним делать,— становой говорит,— как его нам взять, ребята?

А один стражник и надумайся:

— Давайте,— говорит,— обманом возьмем. Скажем, что тебя сам государь велел пригласить. Он тебе велит всяких пряников медовых надавать. (А он, Емеля, любитель был есть эти пряники и жамки.) Он тебя, мол, досыта накормит, государь-то.

Сговорились так-то, пришли и давай его улещать, волновать. Ну он и согласился. Ну хорошо, говорит, благодарю вас за внимание, ступайте ко двору и не беспокойте себя,— я сам к нему, к государю, поеду.

Они и ушли все от него, а он и приказывает печке:

— Ну-ка,— говорит,— печка, ступай-ка теперь, по моему приказу, к самому к царю во дворец! Про нас с тобой слава до самого царя дошла. Он, государь, обещает меня жамками накормить, а я любитель до них.

Печь сейчас же заворочалась, захрустела, загремела по избе, выпросталась наружу с ним и полетела стрелой, а он развалился на ней, все равно как на пассажирском поезде, на паровозе едет. Подъезжает к государеву дворцу, приказывает царским вратам отворяться и прет прямо на печке на этой к балкону, к крыльцу к главному, а сам шумит, кричит во всю глотку, во всю праведную: «Ой, вы, очи, мои ясные очи!» Часовые слуги бегут, хотят его унять, усовестить, а государь услышал этот шум-бардак и сам, значит, вместе с дочкой-наследницей на крыльцо выходит:

— Что ты,— говорит,— невежа, тут кричишь, зачем ты,— говорит,— в наши царские покои приехал, чудеса творишь, на печке ездешь? Сказывай, кто ты такой. Ты, верно, Емеля-дурачок?

А Емеля подымается с печки, разбирает виски с глаз, утирает сопли-возгри и кланяется ему, государю своему:

— Так точно, мол, ваше императорское величество, это я самый и есть. Я,— говорит,— затем сюда приехал, государь-батюшка, что вы меня звали пряниками кормить, а я любитель их есть.



— Я тебя не пряниками кормить,— говорит ему государь с гневом,— я тебя велю сейчас в тюрьму забрать! Я тебя,— говорит,— заберу под арест.

— А за что же, ваше императорское величество, заберете вы меня?

— А за то,— говорит,— что ты на санях без лошади едешь, народ смутянишь и жителей большое число подавил, помял. Я велю сейчас тебе голову снести. Вот тебе меч и голова долой с плеч!

Царь ему говорит — на тебя жалоб много, за это тебе нехорошо будет, за бесчестье такое, а он опять играет песню «ой, вы, очи, мои ясные очи», на печке лежит и песню кричит во всеё рыло. Государь осерчал, разгорячился, крикнул прислуг часовых,— взять, дескать, его в двадцать четыре часа! — а Емеля, понявши такое дело, полны портки со страху напустил и говорит поскорей:

— По щучью по веленью, по моему низкому прошенью, влюбись в меня, царская дочь-наследница, просись замуж за меня!

Прислуги бегут, хотят его с печи тащить, а царская дочь начинает государя со слезьми за него просить:

— Лучше, мол, государь-батюшка, меня скажите,— я не могу его злой смерти перенести, у него волшебное слово есть. Вы,— говорит,— не смотрите, что он такой сопатый, толстопятый, глаза дыркою, нос просвиркою, он нос утрет, за Ивана-царевича сойдет!

Ну, государь и сжалился на нее, наследницу свою. Отрепал для видимости Емелю-дурака за вшивый вихор, наказал ему строго-настрого больше так-то не охальничать, накидал ему на печку из собственных рук леденцов-пряников, а Емеля наклонялся ему, набил зоб этими закусками, дубинкой махнул, печку повернул и пошел чесать на печке ко двору, скачет-летит, а сам еще пуще прежнего свою песню шумит,— только по лесу отзывается!

Тут долго ли, коротко ли, только царская дочь, как только он, значит, скрылся с глаз долой, и зачни по нем сохнуть, горевать: он ей просто с ума пойдет,— дюже влюбилась в него по этому по щучьему слову! Государь видит ее муку и, наконец того, обращается к ней, просит ее во всем сознаться. Ну, она ему и покаялась:

— Государь, мол, батюшка, я вся истянулась, истощала по нему, по Емеле-дураку. Не отдавай мне царства-государства, а построй мне фамильный склеп-могилу, коли не хочешь меня замуж за него отдать!

Ну что тут делать государю при таких речах. Он опять сжалился на нее и посылает сейчас посланников в эту деревню, где, значит, Емеля проживал, лаптем щи хлебал. Приехали эти посланники верхом на конях, нашли его в этой деревне, взошли в избу и давай его умолять:

— Емелюшка, милый, видно, мол, добился ты своего: не будешь ни пахать, ни косить, будешь только жамки в рот носить. Государь тебя честью к себе просит, хочет дочку за тебя выдать. Утирай свои сопли, чеши свои кудлы, надевай портки-рубаху — мы тебе за сваху!

А он, Емеля, еще ломается, — а, дескать, теперь мил стал!

— Я, — говорит, — по-людски ничего не хочу делать. Я всем головам голова. Я на печи поеду. Мне ваши кареты-коляски без надобности. Мне с печи слезать не хочется. Моя думка одна — себя не трудить, а на свете послаже пожить.

Посланники, понятно, и на то обрадовались, — им царь не велел без него и на глаза показываться, — на все его причуды подписываются, в пояс ему кланяются, а он велит братьям с невестками прибраться, как надо, и с ним вместе ехать, — полно, мол, вам тут в лесу сидеть, на пни глядеть! Они — в голос, кричат, рыдают, не хотят с домом расставаться, робеют этого дела, ты, говорят, и нас под великую беду подведешь, а он говорит, если, говорит, честью не поедете, я вас силком посажу. Велел всем жаровые рубахи, красные сарафаны надевать — они, дурачки-то, любят красненькое, — насажал всех на печку, чисто цветы какие, наказал сидеть смирно-благородно, заиграл свою веселую песню и попер наружу, — только пороги затрещали.

В поле навстречу ему — коляска золотая, — государь, значит, выслал, — солдаты везде стоят, честь отдают, на караул держат-тянутся, а он их и во вниманье не берет, и опять его печка прямо к балкону везет. Выходит государь: «Приехал, говорит, Емеля?» — «Приехал, мол, так точно. А на что, государь-батюшка, я нужен вам?» — «А на то, говорит, нужен, что сокрушили вы мою дочку, хочу вас повенчать с нею. С печи, говорит, поскорее слезайте, а вы, дочка наша, хлеб-соль ему подавайте».

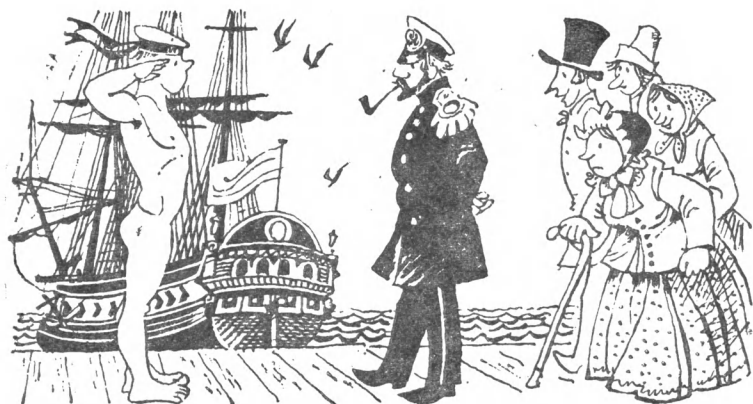
Ну, Емеля, понятно, поскорей долой, ему только и надо было этого приглашенья, велел и братьям с невестками слезать, стать в сторонке и шепоту никакого не делать, потом поцеловал, как надо, государю ручку, неве-

сте честь честью поклонился,— хоть бы и не дураку впо-ру! — хлеб-соль принял, и пошли они, значит, всем ми-ром, собором прямо в царские хоромы. Там государь до-ложился домашнему священнику, велел ему в церковь иттить, все к венцу готовить, а сам вынес икону заветную и благословил Емелю с своей дочкой на жизнь вечную. Потом, понятно, нос ему утерли, в бане отмыли, в крас-ный кафтан нарядили и свадьбу по всему закону сыгра-ли, а государь под него ту же полцарства своего под-писал.

Я на том пиру, как говорится, был, да, признаться, все это дело забыл,— дюже пристально угощали: и те-перь глаз от синяков не продеру!

А Емеля стал жить да поживать, на бархатных по-стелях лежать, душу сладкими закусками ублажать да свою царевну за хохолок держать:

— Мол, и без меня управятся,— с государством-то!



*Степан Писахов*

## СОЛОМБАЛЬСКА БЫВАЛЬЩИНА

**В** бывалошно время, когда за лесом да за другим дорогим товаром не пароходы, а корабли приходили, балласт привозили, товар увозили, — в Соломбале в гавани корабли стояли длинными рядами, ряд возле ряду. Снасти на мачтах кружевьем плелись. Гавански торговки на разных языках торговаться и ругаться умели.

В ту пору в распивочном заведении вышел спор у нашего русского капитана с агличким. Спорили о матросах: чьи ловчей? Агличанин трубкой пыхтит, деревянной мордой сопит:

— У меня есть такой матрос ловкач, на мачту вылезет да на клотике весь разденет себя. Сышшется ли такой русский матрос?

Наш капитан спорить не стал. Чего ради время напусто тратить? Рукой махнул и одним словом ответ дал: — Все.

Ладно. Уговорились в воскресенье проверку сделать.

И вот диво — ради не было, телефону не знали, а на всю округу известно стало о капитанском споре и сговоре.

В воскресенье с самого утра гавань полна народом. Соломбальски, городски, из первой, второй и третьей деревень прибежали. Заречны полными карбасами ехали, наряды в корзинах на отдельных карбасах плавил. Наехали с Концов и с Хвостов — такие деревни живут: Концы и Хвосты.

От народу в глазах пестро, городски и деревенски вырядились вперегонки, всяка хочет шире быть, юбки накрахмалили, оборки разгладили. Наряды громко шуршат, подолапы пыль поднимают. Очень нарядно.

Мужики да парни гуляют со строгим форсом — до обеда всегда по всей степенности, а потом... Ну, да сейчас разговор не о том!

Дождались.

На кораблях команды выстроились. Агличанин своему матросу что-то пролаял. Нам на берег слышно только: «г а у, г а у!»

Матрос аглицкой стал карабкаться вверх и до клотика докарабкался. Глядим — раздевается, одежду с себя снимат и вниз кидат. Разделся и как есть нагишом весь слез на палубу и так голышом перед своим капитаном стал и тоже что-то: «г а у, г а у!» Очень даже конфузно было женскому сословию глядеть.

Городски зонтиками загородились, а деревенски подолами глаза прикрыли.

Наш капитан спрашивает агличанина:

— Сколько у тебя таких?

— Один обучен.

— А у нас сразу все таки.

Капитан с краю двух матросов послал на фок-мачту и на бизань-мачту.

А тут кок высунулся поглядеть. Кок-то этот страсть боялся высокого места. На баню вылезет — трясется. Вылез кок и попал капитану под руку. Капитан коротким словом:

— На грот-мачту!

Кок струной вытянулся:

— Есть, на грот-мачту!

Кок как бывалошным делом лезет на грот-мачту. Смотрю, а у кока глаза-то крепко затворены.

На фок-мачте, на бизань-мачте матросы уже на клотиках и одежду с себя сняли, расправили, по складкам склали, руками пригладили, ремешками связали. На себе только шапочки с ленточками оставили, это чтобы ра-

порт отдавать — дак не к пустой голове руку приклады-  
вать!

Коли матросы в шапочках да с ленточками — значит, одеты, на них и смотреть нет запрета.

А кок той порой лезет и лезет, уж и клотик близко, да открыл кок глаза, оглянулся, у него от страху руки расцепились и полетел кок!

Полетел да за поперечну снать ухватился и кричит агличанину:

— Сделай-ка ты так!

Агличанин со страху трепешнется, головой мотат, у него зубы на зубы не попадают, он что-то гаукат.

Аглицкой капитан рассердился, надулся:

— Как так, аглицкого матроса надобно долго обучать, а русски отроду умеют и даже ловче?

## КАК СОЛЬ ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ

*(Сказку эту я слышал от Варвары Ивановны Тестовой  
в деревне Верхне-Ладино)*

Во Архангельском городе это было. В таку дальну пору, что не только моей памяти не хватит помнить, а и бабке с прабабками не припомнить году-времени. Мы только со слов на слова кладем да так и несем: которо растряется, которо до записи дойдет.

Дак вот жил большой богатой человек. Жил он лесом, в разны заграницы лес продавал. Было у такого человека три сына. Старшой да средней хорошо вели дело: продавали, обдували, считали, обсчитывали и любы были отцу.

Младшему сыну торговля не к рукам была, ему бы песней залиться да плясом завиться. Да и дома-то он ковды-нековды оследиться. Все с компанией развеселой время вел — звали этого молодца Гулёна. Парень ласковый, обходительной, на поклон легок, на слово скор, на встрече ловок. Всем парень вышел, только выгодных дел делать не умел.

Задумал большой человек сбыть парня Гулёну. И придумал это под видом большого дела. Отправил всех трех сынов с лесом-товаром в заграницы.

Старшему (а был тот ледяшшой, худяшшой, до чужого жадный, загребушшой), ему отец корабль снарядил дубовой, паруса шелковы, лес нагрузили самолутчей, первосортной.

Второй был раскоряка толстенной, скупяшшой-перескупяшшой. Про себя хвалился: «у скупа не у нета», а от его никто не видал ничего.

Этому второму корабль был дан сосновой, паруса белополотняны, лес — товар второсортной.

А третьему, развеселому, снарядил отец посудину разваляшшу и таку дыряву, что из дыры в дыру светило, а вода как хотела, так и переливалась, рыбы всяки, как на постоялой двор, заходили, уходили.

В этой посудине пряма дорога на дно. Поверх воды держится, пока волной не качнет.

А товар нагружен на смех: горбыли, обрезки да стары кокоры, никуда не нужны которы, парусом — старой половик.

Никудышно судно снаряжено, товар никудышной нагружен. Вот как Гулёну на борт заманить?

Придумал богач тако дело: по борту разваляшшего суденышка наставил штофов, полуштофов с водкой, а на корму цельну четвертну. По-за бутылками зеркалов наставил. С берега видится, что все судно водкой полно.

Увидал Гулёна развеселый груз на суденышке, созвал, собрал своих приятелей собутыльников, балагуров, песенников. Собрались, поглядели и песню запели:

Мы попьём, попьём,  
Мы по морю сгуляём.

Отдали концы корабли и суденышко в одно время, в одну минуту. Ледяшшой, худяшшой да раскоряка толстяшшой большим передом опередили Гулёну и в море вышли. А Гулёна с товарищами-приятелями чуть двигаются, водку пьют, песни поют и не примечают, что идут десятой день девяту версту. Водку выпили, в море выплыли. А тут развернулась погодушка грозной бурей. Вода вздыбилась, волны вспенились.

Гулёна за борт выкинул горбыли, обрезки да стары кокоры. Порожно суденышко на воде, как чайка, сидит да по волнам летит. Гулёне с товарищами дело одно: хошь стой, хошь ложись, только крепче держись!

Ветер улетел, море отшумело, отработалось, в спокой улеглось.

Видит Гулёна: по переду судна на воде что-то очень белет и блестит, белет и сверкат и похоже на остров. Гулёна суденышком да о самой остров и пристал. А остров-то из чистой соли был.

Ну, мешкать не стали, дыры сквозны законопатили, соли нагрузили. Попутна вода да поветерь в заграницу суденышко пригнали. В гавани к стенке стали, люки открыли, солью торгуют.

Люди загранишны подходили, на язык соль брали, плевались, уходили.

Взял Гулёна малой мешок соли и пошел по городу. В городе, в самой середине, царь жил. У царя гостьба была, понаехали разны цари-короли. В застолье сели, обеда дожидаются, разговоры говорят, всяк по-своему.

Гулёна зашел в кухню. Сначала обсказал: кто и откудова и с чем приехал, соль показал. Повар соль попробовал:

— Нет, экой невкусности ни царь, ни гости цари-короли есть в жизнь не станут!

Гулёна говорит:

— Улей-ко в чашку штей?

Повар налил, Гулёна посолил.

— Отпробуй теперича.

Повар хлебнул да ишшо хлебнул, да и все съел.

— Ах, како вкусно! Я распервеюшшой повар, а эдакого не едал!

Гулёна все, что нужно, посолил. Поварята еду на стол таскают больши блюда, по пяти человек несут, а добавошны к большим каждой по одному ташшит, а добавошных-то блюд по полсотни.

Мало погода в кухню царь прибежал, кусок дожевыват и повару кричит:

— Жарь, вари, стряпай, пеки ишшо, гости все съели и есть хотят, ждуд сидят. И что тако ты сделал, что вся еда така приятна?

— Да вот человек приехал из Архангельского городу и привез соль.

Царь к Гулёне:

— Много ли у тебя этой соли? И сколько чего хошь, чтобы мне одному все продаты! Други-то цари-короли еду с солью попробовали, им без соли ни быть ни жить больше. А как соль будет у меня одного, то буду я над всеми главным.

Гулёна отвечает:

— Ладно, продам тебе всю соль, но с уговором. Что-



бы вы, цари-короли, жили мирно, без войны, всяк на своем месте, своим добром и на чужо не зариться, на этом слово дай. Второ мое условие: снаряди корабль новой из полированных дерев с златоткаными парусами, трюма деньгами набей: передний носовой трюм бумажными, а задний кормовой золотыми. И третье условие — дочь взамуж за меня отдай, а то соль обратно увезу.

Царь согласился без раздумья. Делать все стал без промедленья.

Скоро все готово. Корабль лакированной блестит, паруса златотканы огнем светятся.

Гулёна сам себе сватом к царской дочери с разговором:

— Что ты делать умеешь?

— Я умею шить, вышивать, мыть, стирать, в кухне обряжаться, в наряды наряжаться, петь да плясать.

— Дело подходящо, объявляю тебя своей невестой! Девка глаза потупила, сама заалела.

— Ты, Гулёна, царям-королям на хвосты соли насыпал, за это да за самого тебя я иду за тебя!

Пир-застолье отвели.

Поехали. Златотканы паруса горят: как жар-птица летит.

Оба старши брата караулили Гулёну в море у повороту ко городу Архангельскому. Увидали, укараулили и давай настигать. Задумали старши младшего ограбить, все богатство себе забрать.

Тут спокойно море забурлило, тиха вода зашумела, вокруг Гулёниного корабля дерево забрякало, застучало. Все хламье, что заместо товару было дадено: горбыли, обрезки да стары кокеры столпились у Гулёнина корабля, Гулёне, как хозяину, поклон приветной отдали да поперек моря вызнялись. Гулёнин корабль от бури и от братьев-грабителей высоким тыном загородили.

Море долго трепало и загребушшего и скупяшшего. Домой отпустило после того, как Гулёна житье свое на пользу людям направил.

Время сколько-то прошло. Слышит Гулёна, что царь, которой соль купил, войну повел с другими царями. Гулёна ему письмо написал: что, мол, ты это делаешь да думаешь ли о своей голове? Слово дал, на слове том по рукам ударили, а ты слово не держишь? Царски ваши солдаты раздерутся да на вас, царей, обернутся.

Царь сделал отписку, послал скору записку. Написана на бумажном обрывке и мусленым карандашом:

— Я царь — и слову своему хозяин! Я слово дал, я вобратно взял. Воля моя. Мы, цари, законы пишем, а нам, царям, закон не писан.

Малы робята и те понимают — кому закон не писан.

## НА КОРАБЛЕ ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ

*(Слышал у Малины)*

Я вот с дедушкой покойным (кабы был жив — поддакнул бы) на корабле через Карпаты ездил.

Перва путина все в гору, все в гору. Чем выше в гору, тем больше волны.

Экой качки я ни после, ни раньше не видывал.

Вот простор, вот ширь-то! Дух захватывают, сердце замирает и радуется.

Всё видно, как на ладони: и города, и деревни, и реки, и моря.

Только и оставалось перемахнуть и плыть под гору с попутным ветром. Под гору завсегда без качки несет. Качат, ковды вверх идешь.

Только бы нам, значит, перемахнуть, да мачтой за тучу зацепили. И ни в ту, ни в ну.

Стой, да и все тут.

Дедушка отнота боялся главне всего. А ну как туча-то двинет да дождем падет? Эдак и нам падать приведется. А если да над городом да днишшем-то угодим на полицейску каланчу али на колокольню?

Днишше-то прорвет, а на дыривом далеко не уедешь.

Послал дедушка паренька, — был такой, коком взяли его, и плата коку за навигацию была — бочка трески да норвежска рубаха.

Дедушка приказ дал:

— Лезь, малец, на мачту, погляди, что оно там нас держит? Топор возьми; коли надобно, то у тучи дыру проруби али расколи тучу.

Парень свернулся, провизию забрал, сколько надо: мешок крупы, да соли, да сухарей.

Воды не взял: в туче хватит.

Полез.

Что там делал? Нам не видно. Чего не знаю, о том и говорить не стану, чтобы за вранье не ругали.

Ладно.

Парень там в туче дело справляет и что-то на поправку сделал. И уронил топор.

Мачты были так высоки, что топор, пока летел, весь изржавел, а топоринишко все сгнило. А мальчишка вернулся стариком. Борода большущая, седа!

Но дело сделал,— мачту освободил.

Дедушка команду подал:

— Право на борт! Лево на борт!

Я рулем ворочаю. Раскачали корабль. Паруса раскрыли. Ветер попутной дернул, нас и понесло под гору.

Мальчишке бороду седую сбрили, чтобы старше матери не был, опять коком сделали.

И так это мы ладно шли на корабле под гору, да что-то под кормой зашебаршило.

Глянули под корму,— а там мезенцы морожену навагу в Архангельск везут!

## ЗА ДРОВАМИ И НА ОХОТУ

*(Старинная пинежская сказка)*

Поехал я за дровами в лес. Дров наколол воз, домой собрался ехать да вспомнил: заказала старуха глухарей настрелять.

Устал я, неохота по лесу бродить. Сажу на возу дров и жду. Летят глухари. Я ружье вскинул и — давай стрелять, да так норовил, чтобы глухари на дрова падали да рядами ложились.

Настрелял глухарей воз. Поехал, Карьку не гоню,— куды тут гнать! Воз дров, да поверх дров воз глухарей.

Ехал-ехал да и заспал. Долго ли спал — не знаю.

Просыпаюсь, смотрю, а перед самым носом елка выросла! Что тако?

Слез, поглядел: между саней и Карькиным хвостом выросла елка в обхват толщиной.

Значит, долгонько я спал. Хватил топор, срубил елку, да то ли топор отскочил, то ли лишной раз махнул топором,— Карьке ногу отрубил.

Поскорей взял серы еловой свежей и залепил Карькину ногу.

Сразу зажила!  
Думаешь, я вру все?  
Подем, Карьку выведу. Посмотри, не узнашь, котора  
нога была рублена.

## КАК ПОП РАБОТНИЦУ НАНИМАЛ

*(Пинежская сказка)*

Тебе, девка, житье у меня будет легкое,— не столько  
работать, сколько отдыхать будешь!

Утром станешь, ну, как подобат,— до свету. Избу вы-  
моешь, дров уберешь, коров подоишь, на поскотину вы-  
пустишь, в хлеву приберешь и

спи — отдыхай!

Завтрак состряпашь, самовар согреешь, нас с матуш-  
кой завтраком накормишь —

спи — отдыхай!

В поле поработаешь, али в огороде пополешь, коли зи-  
мой — за дровами али за сеном съездишь и —

спи — отдыхай!

Обед сваришь, пирогов напечешь: мы с матушкой  
обедать сядем, а ты —

спи — отдыхай!

После обеда посуду вымоешь, избу приберешь и —  
спи — отдыхай!

Коли время подходяче,— в лес по ягоду, по грибы  
сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь.  
До городу — рукой подать, и восьми верст не будет,  
а потом —

спи — отдыхай!

Из города прибежишь, самовар поставишь. Мы с ма-  
тушкой чай станем пить, а ты —

спи — отдыхай!

Вечером коров встретишь, подоишь, попоишь, корм  
задашь и —

спи — отдыхай!

Ужну сваришь, мы с матушкой съедим, а ты —

спи — отдыхай!

Воды наносишь, дров наколешь,— это к завтраму,  
и —

спи — отдыхай!

Постели наладишь, нас с матушкой спать повадишь.  
А ты, девка, день-деньской проспишь — проотдыхаешь —  
во что ночь-то будешь спать?

Ночью попрядешь, поткешь, повышываешь, пошьешь,  
и опять —

спи — отдыхай!

Ну, под утро белье постираешь, которо надо — пошто-  
пашь да зашьешь и —

спи — отдыхай!

Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Каж-  
ной год по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто руб-  
лев. Богатейкой станешь!

### **КАК ПАРЕНЬ К ПОПУ В РАБОТНИКИ НАНЯЛСЯ**

Нанялся это парень к попу в работники и говорит:

— Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц.

— На что тебе деньги? (Это поп говорит.)

Парень отвечает:

— Сам понимаешь, каково житье без копейки.

Поп согласился:

— Верно твое слово, — како житье без копейки!

Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц  
и посылат на работу, дело было в утрях. Парень попу:

— Что ты, поп, где видано не евши на работу ит-  
тить!

Парня накормили и — опять гнать на работу. Парень  
и говорит:

— Поевши-то на работу? Да я себе брюхо испорчу.  
Теперича надобно полежать, чтобы пицца на место  
улеглась.

Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал.

— На работу? Без обеда? Ну, нет, коли время обе-  
денно пришло, дак обедать сади.

Отобедал парень, а поп опять на работу гонит. Па-  
рень попу толком объяснят:

— Кто же после обеда работат? Уж тако завсегдаш-  
но правило заведено — тако положенье: опосля обеда —  
отдыхать.

Лег парень и до потемни спал. Поп будит:

— Хошь тепереча иди поработай!

— На ночь-то глядя? Посмотри-кось: люди добры за ужну садятся да спать валяются. То и мне надоть.

Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле, там спал до полден. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и паужну проспал. К ужину явился, наелся. Поп и говорит:

— Парень, что ты сегодня ничего не наработал?

— Ах, поп, поглядел я на работу: и завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать, а сегодня и прижаться не стоит.

Поп весь осердился, парня вон гонит:

— Мне экого работника не надобно. Уходи от меня!

— Нет, поп, я хоть и задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц и буду жить у тебя. Коли очень погонишь, я, пожалуй, уйду. Ежели хлеба дашь ден на десять.

## ЛЕНЬ ДА ОТЕТЬ

*(Старинная пинежская сказка, коротёнька)*

Жили-были Лень да Отеть.

Про Лень все знают: кто от других слышал, кто встречался, кто и знает, и дружбу ведет. Лень — она прилипчива: в ногах путатся, руки связывают, а если голову обхватит, — спать повалит.

Отеть Лени ленивей была.

День был легкой, солнышко пригревало, ветерком обдувало.

Лежали под яблоней Лень да Отеть. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят.

Лень и говорит:

— Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе говорить-то не лень?

Упали яблоки Лени и Отети в рот. Лень стала зубами двигать тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?

Надвинулась темна туча, молнья ударила в яблоню. Загорела яблоня, и большим огнем. Жарко стало.

Лень и говорит:

— Отеть, шшевелимся от огня. Как жар не будет до-  
ставать, будет только тепло доходить, мы и остановимся.

Стала Лень чуть шевелить себя, далеконько шшеве-  
лилась.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе себя шевелить-то не лень?

Так Отеть голодом да огнем себя извела.

Стали люди учиться, хоть и с леностью, а учиться.  
Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Мень-  
ше стали драку заводить из-за каждого куска, лоскутка.

А как лень изживем — счастливо заживем.



*Борис Шергин*

## ШИШ МОСКОВСКИЙ

### ШИШОВЫ НАПАСТИ



или в соседях Шиш Московский да купец. Шиш отроду голый, у его двор полой, скота не было, и запирать некого. Изба большая, — на первом венце порог, на втором — потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит да и любитися.

Именья у Шиша — для штей деревянный горшок да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла.

Зато у купчины домина! Курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит.

У купца свинья живет,  
двести пудов сала под шкурой несет  
да пудов пятьдесят соли в придачу.

Все равно — совру наудачу —  
и так никто не поверит...

У купца соха в поле сама о себе пашет,  
а годовалый ребенок мельничный жернов  
с ладошки на ладошку машет.



А две борзых суки мельницу на гору тянут,  
а кляча ихну работу хвалит, себе на спину  
мельницу валит, крихтит да меня ругает.

— Мне,— говорит,— твое вранье досаждаёт!  
Всего надобно впору,  
а ты наплел целу гору!

Это, светы мои, присказка, а дело впереди.

Пришла зима, а дров у Шиша ни полена, и притянуть  
не на чем. Пришел к купцу, конается:

— Не дайте ли коняшки в лес съездить?

Купец покуражился немного, однако лошадь отпу-  
стил.

— Бери, пейте мою кровь, летом отработает. Чув-  
ствуй, что я отец и благодетель. Что ише мнессе?

— Хомута, пожалста, не соблаговолите ли ише хо-  
мута?

— Тебе хомута?! А лаковой кореты ише не надо?  
А плюшево одеяло ножки накрыть не прикажете-с?

Так и не дал хомута.

Шиш привел кобылу домой, вытащил худы санишки  
о трех копылишках и поехал в лес. Нарубил дров, на-  
клял большашшой воз, привязал кобыле за хвост да как  
зыкнет... Лошадь сгорячахватила да себе хвост и обор-  
вала. Сревел Шишанко нехорошим голосом, да нечего  
делать!

Повел кобылу к хозяину:

— Вот получите лошадку. Покорнейше благода-  
рим-с!

Купец и увидел, что хвоста нет:

— Лошадку привел? Иде она, лошадка?

— Вот-с, извиняюсь...

— Это, по-вашему, лошадка? А я думал — зайчик,  
без фоста дак... Только и у зайчика намечен известной  
фостик, а тут фостика нет... Может, это ведьмедь?! Но  
мы ведьмедев боимся!..

В суд, в город, того же дня потащил купец Шиша.

Надо идти по мосту. Железнодорожный мост мате-  
рушшой через реку. Ползет бедной Шишанушко, а у его  
дума дума побиват:

«Засудят... Сгноят в остроге... Лучше мне скорополуч-  
но скончачче, стукнучче об лед да...»

Разбежался, бедняга, да и ухнул вниз, через пери-  
ла... А под мостом по льдю была дорога. И некоторой  
молодой человек на ту пору с отцом проезжал. Шишан-

ко в окурат в сани к им и угодил да на один взмах отца-то до смерти и зашиб...

Несчастный сын сгрёб Шиша — да тоже в суд.

Тут кряду отемнело, до городу не близко, приворотили и Шиш, и купец, и парень на постоялой, ночь перележать. Наш бедняга затянулся на полати. Ночью ему не спится, думы тяжелы... Ворочался да с полатей-то и оборвался. А под полатами зыбка с хозяйским робенком. Робенка Шиш и задавил. Робенковы родители зажили, запели. И они на Шиша в суд. Теперь трое на его ногти грызут. Один за коня, другой за отца, третий за младеня.

Едет Шиш на суд. Грустно ему:

— Прости, прошай, белой свет! Прошайте, все мои друзья! Боле не видачке!

Не знат, что и придумать, чем оправдаться или чем пригрозить... На случай взял да и вывернул из шассе булыжник. Завернул в плат и спрятал за пазуху.

У судьи в приказе крик поднялся до потолка. Купец вылез, свое рассказывает, в аду бедному Шишу места не дает...

Судья выслушал, зарычал на Шиша:

— Ты что, сопляк?! По какому полному праву хвост у их оторвал?

Шишанко вынул из-за пазухи камень в платке да на ладони и прикинул два-три раза. Судье и пало на ум: «Ух, золота кусок у мужика!.. Это он мне золото сулит...»

И говорит:

— Какой несимпатичный факт!.. Выдернуть у невинной животной фост... Ваше дело право, осподин купец! Пушшай оной Шиш Московской возьмет себе вашу кобылу и держит ее, докуль у ей фост выростет... Секлетарь, поставь печать! Купец и ты, Шиш Московской, получите копии решения.

Подкатился отецкой сын. Судья спрашивает:

— Ты пошто ревишь? На кого просишь?

— Все на их жа, на Шиша-с! Как они, проклятики, папу у меня скоропостыжно задавили.

— Как так?

— У нас, видите ли, папа были утлы, стары, в дело не гожи, дак мы везли их в город на комиссию сдавать. И токмо из-под мосту выехали, а они, дьявола, внезапно сверху пали на папу, папа под има скоропостыжно и скончались!

Судья брови насупил:

— Ты что это, Шиш голай? Родителей у проезжающих давить? Я тебя...

Шишанко опять камень в платке перед судьей и за-подкидывал. Судья так понял, что опять золото сулят.

И говорит:

— Да! Какой бандитизм! Сегодня папу задавил, завтра маму, послезавтра опять папу... Дак это что будет?! Опосле таких фактов из квартиры вытти страшно... Вот по статьям закона мое решенье: как ты, Шиш Московской, ихного папу кокнул, дак поди чичас под тот самой мост и стань под мостом ракообразно, а вы, молодой человек, так как ваше дело право, подымитесь на мост да и скачите на Шиша с моста, пока не убьете. Секлетарь поставит вам печать... Получите...

Безутешный отец выскочил перед судью:

— Осподин судья, дозвольте всесторонне осветить... Оной злодей унистожил дитятю. Рехал-рехал на полатах, дале грнул с вышины, не знай с какой целью, зыбку — в шшепы и, конечно, дитятю.

Шиш затужил, а платок с камнем судье кажет.

Судья ему мигат — понимаю-де, чувствую...

И говорит:

— Этот Шиш придумал истреблять население через наскакивань с возвышенных предметов, как-то: мостов, полатей и т. п. Вот какой новой Жек Патрушитель! Однако Хемида не спит! Потерпевший, у тя жена молода?

— Молода, всем на завидось она!

— Дак вот, ежели один робенок из-за Шиша погиб, дак обязан оной Шиш другого представить, не хуже первого. Отправь свою молодку к Шишу, докуль нового младеня не представят... Секлетарь, ставь печати! Обжалованию не подлежит. Присутствие кончено.

Шишовы истцы стали открыто протестовать матом, но их свицары удалили на воздух.

Шиш говорит купцу:

— Согласно судебного постановления дозвольте предъявить лошадку нам в пользование.

— Получи, гадюка, сотню и замолкни навеки!

— Не жалаю замолкать! Жалаю по закону!

— Шишанушко, возьми двести! Лошадка своерошшена.

— Давай четыреста!

Поладили.

Шиш взялся за отецкого сына:

— Ну, теперь ты, рева киселева! Айда под мост! Я на льдю встану короушкой, на четыре кости, значит, а ты падай сверху, меня убивай...

— Братишка, помиримся!

— Желаю согласно вынесенного приговора!

— Голубчик, помиримся! На тебя-то падать с экой вышины — не знай, попадешь, нет. А сам-то зашибусе. Возьми чем хошь. Мне своя жисть дороже.

— Давай коня с санями, которы из-под папы, дак и не обидно. Я папу в придачу помяну за упокой.

Сладились и с этим.

Шиш за третьего взялся:

— Ну, ты сегодня же присылай молодку!

— Как хошь, друг! Возьми отступного! Ведь я бабу тебе на подержанье дам, дак меня кругом осмеют.

— Ты богатой, у тебя двор постоялой, с тебя пятьсот золотыми...

Плачет да платит. Жена дороже.

Только все разошлись, из суда выкатился приказной — и к Шишу:

— Давай скорее!

— Что давай?

— Золото давай скорее, судья домой торопится.

— Како золото, язи рыба?!

— А которо из-за пазухи казал...

— Вы что, сбесились? Откуль у меня быть золоту? Это я камнем судье грозил, что, мол... так — дак так, а нет — намеки излишны. Пониме?

Приказного как ветром унесло. Судье докладывают Шишovy слова... Тот прослезился:

— Слава тебе, осподи, слава тебе! Надоумил ты меня сохраниться от злодея!

### КУРИЧЬЯ СЛЕПОТА

Недалеко от Шишова дома деревня была. И была у богатого мужика девка. Из-за куриной слепоты вечерами ничего не видела. Как сумерки, так на печь, а замуж надо. Нарядится, у окна сидит, рожу продает.

Шиш сдумал над ней подшутить.

Как-то, уж снежок выпал, девка вышла на крыльцо.

Шиш к ней:

— Жаланнушка, здравствуй.

Та закланялась, запохохатывала.

— Красавушка, ты за меня замуж не идешь ли?  
— Гы-гы. Иду.  
— Я, как стемнеет, приеду за тобой. Ты никому не рассказывай смотри.

Вечером девка услышала — полоз скрипнул, ссыпалась с печки. В сенях наvertsела на себя одежды — да к Шишу в сани. Никто не видал.

Шиш конька стегнул — и давай крутить вокруг девкиного же дома. Она думает: ух, далеко уехала!

А Шиш подъехал к ее же крыльцу:

— Вылезай, виноградинка, приехали. Заходи в избу.

— Да я и не знаю, как к вам затти-то. Вечером так себе вижу.

— У нас все как у вас. И крыльцо тако, и сени... Заходи — да на печь, а я коня обряжу.

Невеста с коня, а Шиш дернул вожжами — да домой.

А девка на крыльцо, в сени, к печи... На! — все как дома...

Сидит на печи. Рада, ухмыляется. Только думает: «Что же мужня-то родня? По избе ходят, говорят, а со мной не здороваются...»

Домашние на нее тоже поглядывают:

— Что это у нас девка-та сегодня, как именинница?..

А она и спать захотела. Давай зевать во весь рот:

— Хх-ай да бай! Хх-ай да бай! Вы что молчите? Я за вашего-то парня замуж вышла, а вы, дики, ничего и не знаете?!

Отец и рот раскрыл.

— Говорил я тебе, старуха,— купи девке крес, а то привяжется к ней бес!..

### ШИШ ПРИХОДИТ УЧИТЬСЯ

Шиш бутешников-рогатошников миновал, вылез на площадь. Поставлены полаты на семи дворах. Посовался туда-сюда. Спросил:

— Тут ума прибавляют?

— Тут.

— Сюда как принимают?

— Экзамен сдай. Эвон-де учительвы избы!

Шиш зашел, котора ближе. Подал учителю рубль. Учитель — очки на носу, перо за ухом, тетради в руках — спросил строго:

— Чего ради семо прииде?

— Учиться в грамоту.

— Вечеру сушу упразднюся, тогда сотворю тебе испытание.

После ужина учитель с Шишом забрались на полати.

Учитель говорит:

— Любезное чадо! Грабисся ты за науку. А в силах побори терпеть? Без плюхи ученье не довлеет. Имам тя вопрошати, елика во ответах соврешь, дран будешь много. Обаче ответствуй, что сие: лапкой моется, на полу сидяще?

— Кошка!

Учитель р-раз Шиша по шее...

— Кошка — мужицким просторечием. Аллегорически глаголем — чистота... Рцы паки, что будет сей свет в печи?

— Огонь!

Р-раз Шишу по уху:

— Огонь глаголется низким штилем. Аллегорически же — светлота. А како наречеши место, на нем же возлегохом?

Шиш жалобно:

— Пола-ати.

Р-раз Шиша по шее:

— Оле, грубословия твоего! Не полати, но высота!.. На конце восписуй вещь в сосуде, ушат именуемом.

— Вода.

Р-раз Шиша по уху:

— Не вода, но — благодать!

Я тут не был, не считал, сколько оплеух Шиш за ночь насобирал. Утром учитель на улку вышел, Шиш кошку поймал, ей на хвост бумаги навязал, бумагу зажег. Кошка на полати вспорхнула, на полатях окутка зашаяла, дыму до потолка... Шиш на крыльцо выскочил. Хозяин грядку поливат. Шиш и заревел не по-хорошему:

— Учителю премудре! Твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту, неси благодать, а то ничего не видать!!!

Сам ходу задал,— горите вы с экой наукой!

### ШИШ СКЛАДЫВАЕТ РИФМЫ

Ташился Шиш пустынной дорогой. Устал... И вот обгоняет его в тарантасе незнакомый мужичок. Шишу охота на лошадке подъехать, он и крикнул:

— Здорово, Какойто Какойтович!

Мужичок не расчихал в точности, как его назвали, но только лестно ему, что и по отчеству взвеличили. Тотчас попрдержал конька и поздоровался.

— Что,— спрашивает Шиш,— аль не признали?

Мужичок говорит:

— Лицо будто знакомое, а не могу вспомнить...

— Да мы тот там год на даче в вашей деревне жили.

— А-а-а!.. Извиняюсь!.. Очень приятно-с!

— Как супруга ваша? — продолжает Шиш.

— Мерси. С коровами все... Да вы присядьте ко мне, молодой человек. Подвезу вас.

Шишу то и надо. Забрался в тарантас, давай болтать. Обо всем переговорил, а молча сидеть неохота. И говорит Шиш спутнику:

— Хозяин, давай рифмы говорить?!

— Это что значит рихмы?!

— Да так, чтобы было складно.

— Ну, давай.

— Вот, например, как звали твоего деда?

— Кузьма.

— Я твоего Кузьму

За бороду возьму!..

— Ну, уж это довольно напрасно! Моего дедушку каждый знал да уважал. Не приходится его за бороду брать.

— Чудак, ведь это для рифмы. Ну, а как твоего дядю звали?

— Наш дядюшка тоже были почтенные, звали Иван.

— Твой Иван

Был большой болван!

Шишов возница расвирепел:

— Я тебя везу на своем коне, а ты ругаться!.. Тебя как зовут?

— Леонтий.

— А Леонтий, так иди пешком!

— Дяденька, это не рифма...

— Хоть не рихма, да слезай с коня!

Дядька с бранью уехал, а Шишу остаток пути пришлось пройти пешком. И смешно, и досадно.

#### ПРАЗДНИК ОКАТКА

Смолоду-то не все же гладко было у Шиша. Ну, беды мучат, да уму учат. Годов-то двадцати пришвартовался он к некоторой мужней жене. Муж из дома — Шишанко в дом.

Собрался этот муж в лес по бревна.

— Жена, с собой чего перекусить нет ли?

Она сунула корок сухих.

— Жена, неужели хлеба нету помягче, е маслом бы?

— Ладно и так. Не маслена неделя.

Муж уехал, а к ней Шишанушко в гости. Засуетилась, блинов напекла гору, масла налила море, щей сварила.

А у мужа колесо по дороге лопнуло, он сторопился домой. Жена видит в окно:

— О, беда! Мой-то хрен без беды не ездит, Ягодка, ты залезь в кадку, она пустая... Он скоро колесо сменит...

Муж заходит:

— Колесо сменить вернулся... Ишь как у тебя дородно пахнет. Дай закусить.

Жена плеснула щей.

— Я блинка любил бы...

— Блины к празднику.

Взяла миску с блинами и выпружила в кадку спрятанному Шишу.

— Жена! Ты что?!

— Сегодня праздник Окатка — валят блины в кадку...

Муж и догадался. Схватил чугунок со щами:

— Жена, ты блины, а я для праздника, для Окатка, щей не пожалею.

И чохнул горячими щами в кадку.

Шишанушко выгалил оттуда на сажень кверху — да из избы...

## БОЧКА

В каком-то городе обзадорилась на Шиша опять мужня жена. Одним крыльцом благоверного проводит, другим Шиша запустит.

Однажды муж негаданно и воротился. Куда друга девать? А в избе бочка лежит. Туда Шиш и спрятался, да только сапоги на виду.

Муж входит — видит сапоги...

— Жена, это что?!

— А вот пришел какой-то бочку нашу покупать, залез посмотреть, нет ли щелей... Продадим ему, нам бочка без пользы... Эй, молодец! Ежели высмотрел, вылезай, сторгуйся с хозяином!



Муж не только что бочку продал, а и до постоянного двора домой нести Шишу пособил...

## ШТИ

Одна Шишова любушка крепко его к другой ревновала. Бранить не бранила, а однажды с горя шуточку придумала.

Поставила ему шти с огня, кипячие.

Да забылась, хлебнула поваренку на пробу и рот обварила. Не стерпела — заревела.

Шиш дивится:

— Ты чего? Обожглась?

А эта баба крепка была:

— Не обожглась, а эдаки шти маменька-покоенка любила. Как сварю, так и плачу...

А Шишу в путь пора. Ложку полную хватил и... затряс руками, из глаз слезы побежали.

Ехидна подружка будто не понимает:

— Что ты, желанный? Неуж заварился?

— Нет, не заварился, а как подумаю, что у такой хорошей женщины, как твоя была маменька, така дочка подла, как ты, дак слезы ручьем!

## ТИЛИ-ТИЛИ

Какой-то день прибежали к Шишу из волости:

— Ступай скорее. Негрянин ли, галанец приехал, тебе велено при их состоять.

Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-русски, путешествует по уезду, записывает народные обычаи и Шишу надо его сопровождать. На Шише у всех клином свет сошелся.

Отправились по деревням. Мистер открыл тетрадку:

— Говорите теперь однажды!

Шиш крикнул:

— Наш первой обычай: ежели двоим по дороге и коняшку нанять жадничают, дак все одно пеши не идут, а везут друг друга попеременно.

Мистер говорит:

— Ол райт! Во-первых, будете лошадка вы. Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».

— У нас не по часам, у нас по песням. Вот сядете вы на меня и запоете. Доколь поете, я вас везу. Кончили — я на вас еду, свое играю.

Стал Шишанушко на карачки. Забрался на него мистер верхом, заверещал на своем языке песню: «Длинен путь до Типперери...» Едут. Как бедной Шиш не сломался. Седок-от поперек шире. Долго рывкал. Шиш из-под него мокрехонек вывернулся. Теперь он порхнул мистеру на загривок.

— Эй, вали, кургузка, недалеко до Курска, семь верст проехали, семьсот осталось!

Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш запел:

Тили-тили,  
Тили-тили,  
Тили-тили!..

Мистер и полчаса гребет, а Шишанко все нежным голосом:

Тили-тили,  
Тили-тили,  
Тили-тили!..

У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит... На конце прохрипел:

— Вы будете иметь окончание однажды?

Шиш в ответ:

— Да ведь песни-то наши... протяжны, проголосны, задушевные!

Тили-тили,  
Тили-тили,  
Тили-тили!..

Бедный мистер потопал еще четверть часика да и повалился,— где рука, где нога:

— Ваши тили-тили меня с ног свалили!

## ДИВНЫЙ ГУДОЧЕК

У отца, у матери был сынок Романушко и дочка — девка Восьмуха. Романушко — желанное дитяtko, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребушие, глаза завидушие.

Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи, родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать.

Матка им говорит однажды:

— Тятенька из-за моря поясок привез атласный лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс.

Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателко все в коробок да в коробок, а сеструха все в рот да в рот.

В полдни стало им жарко, солнечно.

У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются и те мелкие и зеленые.

Она и сдумала думку и говорит:

— Братец, солнце уж на обеднике! Ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать.

Романушко привалился к сестре в колени. И только у него глазки сошлись, она нанесла нож да ткнула ему в белое горлышко... И не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает,—положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братнены ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила:

— Без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс!

— Романушко где-ка?

— Заблудился. Его лесной царь увел.

Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили... Романушко не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина.

Ходят по Руси веселые люди — скоморохи, народ утешают песнями да гуслиями. Поводырь у скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило рябинку, высек тесинку, сделал гудок с погудалом. Не успел погудальце на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально:

Скоморохи, потихоньку,  
Веселые, полегоньку!  
Зла меня сестрица убила,  
В белый мох положила  
За ягодки за красны,  
За поясок за атласный!

— Продрожье взяло скоморохов:

— Эко диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает!

А Вавило-скоморох говорит:

— В этом гудке велика сила и угодые.

Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились:

— Пусти хозяин, веселых людей — скоморохов!

— Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын потерялся!

Вавило говорит:

— На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива.

Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок:

Тянька, потихоньку,  
Миленкий, полегоньку!  
Зла меня сестрица убила,  
В белые мхи положила  
За ягодки за красны,  
За поясок за атласный!

Мать-то услышала! Подкосились у нея с колен резвы ноженьки, подломилися с локот белы рученьки, перепало в груди ретиво сердце:

— Дайте мне! Дайте скорее!..

Не поспела мать погудальце на гудок наложить, запел гудок, завывоваривал:

Маменька, потихоньку,  
Родненька, полегоньку!  
Зла меня сестрица убила,  
В белый меня мох положила  
За ягодки за красны,  
За поясок за атласный!

Пала мать на пол, клубышком закаталась... И почто с печали смерть не придет, с кручины душу не вынет!

Сошлась родня и вся порода, собралися порядовые соседи. Ставят перед народом девку Восьмуху и дают ей гудок:

— На-ко, ты играй!

Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела погудальце на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно:

Сестрица, потихоньку,  
Родненька, полегоньку!  
Ты меня убила,  
В белые мхи схоронила  
За ягодки за красны,  
За поясок за атласный!

Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило подхватил да стегнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем.

Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной...

Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое.

А Вавило говорит:

— Не плачьте! Ноне время веселью и час красоте!

Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переледец, и народ запел:

Грозная туча, накатися,  
Светлы дожди, упадите!  
Романушко, убудися,  
На белый свет воротися!

И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром. Над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка встал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям — скоморохам на славу.



*И. С. Соколов-Микитов*

## ОЗОРНЫЕ СКАЗКИ

### БАБУШКИНА ЗАГАДКА

**Б**ыло то в давнее время. Проходили со службы солдаты, зашли к скупой бабке погреться, попросили попить-поесть.  
— Ах, мои родные детоньки,— говорит хитрая бабка солдатам,— рада бы вас накормить-напоить, да нет у меня ничего, есть только хлебушко черствый.

А жарился к празднику у бабки в печи жирный петух. Солдаты — люди проворные, живо раскумекали дело. Вот один — что был побойчее — вышел на двор, выпустил из хлева бабкину скотинку. Вернулся в избу, бабке говорит:

— Бабушка, никак это твоя скотинка по двору гуляет.

Выбежала старуха на двор, а солдаты — раз! раз! — выгребли петуха из печи, положили в мешок, а под сковородку подсунули старый лапоть. Известно — солдаты люди проворные!

Вернулась бабка со двора.

— Не вы ли, детоньки, скотинку-то мою со двора выпустили?

— Что ты, бабушка,— говорят солдаты,— как такое возможно.

Посидели, подремали у бабки солдаты и говорят:

— Хоть чего-нибудь, бабушка, дала бы нам поесть-попить.

— Чего же, детоньки, дам? Возьмите черствого хлебца, да кваску налью в черепок,— кушайте на здоровье.

Сели солдаты уплетать хлеб с кваском, а скупая бабушка сидит у окна, кудель чешет — весело старой, что провела солдат.

И захотелось бабушке подшутить над солдатами:

— А что, детоньки,— вы люди бывалые, всего видели,— скажите-ка мне: нынче в Пенском-Черепенском, под Сквородным, здравствует ли славный полковник Курухан Куруханович?

— Нет, бабушка, Курухана Курухановича давно нету,— отвечают солдаты.

— А кто же, детоньки, вместо его?

— Как же, бабушка, ты не знаешь,— отвечают солдаты,— вместо Курухана Курухановича давно уж сидит Плетухан Плетуханович.

— Что вы, родимые! А где же теперь Курухан Куруханович?

— Эх, бабушка, славного полковника Курухана Курухановича давно перевели в Сумин-полк.

Погрелись солдаты, похлебали бабкиного кваску с хлебцем и пошли в путь-дорогу.

А воротился о ту пору из города старухин сын Аким. Лошадь отпряг, сел обедать.

Стала бабушка потчевать сына, рассказывает старая про свою хитрую увертку.

— Без тебя, сынок, гостили у меня прохожие солдаты, просили поесть-попить. Да загадала я им хитрую загадку.

— Какую же, матушка, ты им загадала загадку? — спрашивает Аким.

— А вот какую: в Пенском-Черепенском, под Сквородным, здравствует ли славный полковник Курухан Куруханович? Где им, серым, знать, что у меня в печи, в черепке, да под сквородкой!

Ползла старуха в печь, открыла черепок, ах — петуха-то под сквородкой нет! Лежит вместо петуха в черепке старый солдатский лапоть.

Заголосила во весь голос старуха:

— Ахти мне, батюшки, обманули меня проклятые солдаты!

А сын от стола говорит:

— Так-то, матушка, солдата не обманешь, солдат — что старый воробей: его на мякине не проведешь.

### МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

Вышло дело по лету.

Вynesли бабы на луга, на светлое солнышко, белить холсты. Расстелили холсты по росе около кустов, а сами промеж себя ведут разговоры:

— Ну, теперь надо смотреть да смотреть за холстами, народ ныне пошел бойкий.

А была на деревне старушонка Федоса — такая говорливая и смешливая, ну мочи нет. Любила старушонка похвастать своим колдовством. На словах куда старушонка востра, а на деле — грош цена.

Расхвасталась перед бабами старушонка:

— Это, у кого другого, а у меня никакой вор не возьмет! Потому — знаю я петушиное слово от всякого вора и от разбойника.

Известно — похвальные речи гнилые.

Села старушонка от других в стороне. «Ну,— про себя думает,— пусть бабы свои холсты глядят, у меня будут целехоньки!»

А проходили мимо из отпуска два солдата, два уда-  
лых молодца, приметили холсты на лугах.

— Что, землячок,— говорит один,— холсты-то, похоже, припасены про нас. Залезай в кусты да гляди в оба! Я пойду с бабкой лясы точить.

Подошел солдат к старухе:

— Здравствуй, бабушка, как живешь-можешь?

— Здравствуй, дружок. Далеко ли идешь?

— Наше дело солдатское,— говорит солдат,— иду туда — незнамо куда, иду за тем — незнамо зачем!

— И-и, родимый, служба-то у вас куда мудрена!

— Мудрена, бабушка, мудрена,— говорит солдат.— А я вот к тебе с запросом, вижу, что ты старушка бывала, знаешь многое. Объясни-ка наш давнишний солдатский спор. Говорят мои землячки, что в вашей стороне звонять не по-нашенски.





— Как можно такое,— говорит старуха,— чай, и у вас и у нас колокола медные, а звон один.

— Так-то так,— отвечает солдат,— да хотелось бы мне для верности выслушать, как у вас звонят.

— Чудак ты, землячок,— как звонят? Да очень просто, слухай: тинь-тинь-тинь — дон-дон, тинь-тинь-тинь — дон-дон!..

Смешно старухе, разошлась старая, не остановить:

— Тинь-тинь-тинь — дон-дон, тинь-тинь-тинь — дон-дон!..

— Невелика разница,— отвечает солдат,— а звон не тот. В нашем краю звон малиновый, чуть пореже, вот этак: тяни-тяги— потягивай, тяни-тяги— потягивай!..

— Как, как, землячок? — покатила со смеху старуха.

— А все так же, бабушка: тяни-тяги — потягивай, тяни-тяги — потягивай!..

Совсем ослабла старуха смеявшись.

А другой солдат тем часом, не будь плох, перетянул из кустов бабкины холсты, сложил в сумку и был таков.

Уж кое-как отдышалась старуха, слова не вяжет.

— Ну, служивый,— говорит,— звон-то ваш куды чуден! Досыта насмеешься.

И опять покатила старуха.

— А вот уж, так досыта и наплачешься,— говорит солдат.— Прощевай, бабушка, да не поминай лихом!

Поднялся солдат и пошел в свою сторону — шапочка набекрень.

Под вечер стали бабы холсты считать, а старухиных холстов нет. Обегала старуха поле, обшарила все кусты, облазила на лугах кочки: нет, пропали холсты! Припомнила старуха солдатское слово и заплакала горько: «Эх, лучше б и не слушать мне солдатов малиновый звон!»

#### ТОРОЧА

За речкой Невестицей, под Веселым Городищем, в деревне Кочаны, жил-поживал дед Артюх с бабкою Просой, и родился у них сын Иван, да таковой продувной малый: ни пахать, ни сеять. Бывало, из-под вороны яйца повынимает, вороне и невдомек.

Под самого Покрова свезли Артюха на погост, и остались на дворе жить вдвоем — старуха да сын Иван.

Напряла старуха за зиму два мотка пряжи, повесила сушить над печкой. И Иван — ни пахать, ни сеять — говорит с печи старухе:

— Эх, матушка, отпустила б ты меня в город, на широкий на торг, продал бы я твою пряжу за хорошую цену,— зажили бы мы с тобою по-богатому.

— Что ты, дитятко, да много ли дадут тебе за мою пряжу!

— Небось, матушка, пустым не ворочусь! — отвечает продувной малый Иван.

Поехал Иван в город на ярманку, повез продавать пряжу. На рубль продал да накрал на девяносто. Накупил себе пряников, меду горшок,— сел на воз, едет по дороге, знай макает в мед пряники да уплетает за обе щеки.

А ехал навстречу Ивану богатый барин Пенский на лихой четверне.

— Стой, стой! Чей таков? — замахал барин апельником, осадил четверню.— Как ты, серый мужик, смеешь так сладко есть! Полагается мужику один черный хлеб есть! Аль захотелось, чтоб я тебе всыпал горячих?

Остановил Иван лошаденку.

— Эх, ваше сиятельство, потому я пряники с медом ем: ездил я на ярманку, на широкий на торг, получил богатые барыши — на рубль продал на девяносто так взял. А с тебя хоть бы двести взять!

— Как так? — стал барин.

Говорит Иван барину:

— А давайте, ваше сиятельство, положим уговор. Расскажу я тебе сказку, ни малу, ни велику, а ты слухай да мотай на свой барский ус. Коли ты мне скажешь: врешь! — то с тебя двести рублей, а коли вытерпишь, промолчишь, так и быть, сам лягу, сам и портки спущу: секи меня вволю, угождай твоей барской светлости.

— Ладно,— говорит барин,— я согласен.

Ударили они по рукам, слез барин с брички, и стал Иван сказывать свою сказку:

— Лет тому ни длинно, ни коротко — а много воды утекло, ходил я у отца-матери без порток, не умел от носу откинуть сопель. Пошел я в те поры в лес по дрова, увидел в дубу дупло, а в дупле — жареные перепелята гнездо свили. Сунул я в дупло руку — не лезет, су-

нул я ногу — не лезет, разбежался с горки и вскочил в дупло. Наелся-накушался, захотел вылезть, — ан не тут-то было: от еды брюхо толсто! Я, добрый молодец, был догадчив, сбегал домой за топором, прорубил дыру и вылез на божий свет...

— Так, так, — говорит барин, — все это правда истинная.

— Вздумалось мне напиться: пришел я к морю, снял с головы череп, зачерпнул воды. Все бы ладно, да уронил я череп в воду, гляжу — а череп средь моря плавает, утки-гуси в нем гнездо свили, яиц нанесли. Что тут делать? Раз топором кинул — не докинул, другой кинул — перекинул, а третий — совсем не попал. Так-то и перебил я всех уток-гусей, поклял в сумку, а яйца за море улетели. Зашел я в конец моря, высек огонь да и подпалил море. Горело море пять ден, на шестой все выгорело. Достал я череп и пошел по белому свету...

— Так, так, — говорит барин, — продолжай, молодец. Все это правда истинная.

— Поехал я в лес за дровами, привязал лошаденку к березе, а сам пошел дрова собирать. А пока там-сям бродил, набежали серые волки, прогрызли у моей лошаденки брюхо. А я догадчив был: кишки собрал, поклял в брюхо и зашил березовым прутом. Наложил воз дров и стал собираться в путь, — тронул лошаденку, ан ни с места! Что за диво? — смотрю, а березовый прут за облака задевает. Полез я по пруту на небо, все выглядел, все высмотрел, пора и назад. На беду, дернула лошаденка, и повалился прут. Как мне быть, чем пособить горю? Набрал я на небе пыли-копоти, что с дымом на небо летит, свил из пыли-копоти потуже канат, зацепил за облака и давай спускаться. Уж я лез-лез, лез-лез, чуть было до земли не добрался, да малость не хватило канату. Полез я назад — сверху от каната отрезал и на низ надвязал. Стало меня ветром качать, бросать во все стороны. Упал я на землю, на зеленый луг, а луг не выдержал, и повалился я в тартарары на тот свет...

— Что же на том свете? — спрашивает барин.

— А на том свете жизнь распрекрасная: наши деревенские мужички чай-кофей пьют, а господа им самовары раздувают, да еще видел, как мой батюшка на твоём батюшке воду возит!

— Что ты врешь, дурак! — закричал, разгневался на Ивана барин.

А Ивану того и надобно: взял он с барина двести рублей, да и был таков. Привез на двор денежки, наварила бражки, созвал на пир мужиков со всех соседних сел и деревень.

### ДОРОГОЙ СОКОЛ

У вдовой старушки Авдотьи было два сына — Семен и Микита. Микита в холерный год помер, а Семен пошел по хожалой части, ходил торговать в город, в краснорядье. Раз зашел к той старушке Авдотье отпускной солдат, продувная голова, попросился переночевать.

Пустила старуха солдата:

— Откудова, служивый, идешь, куда путь держишь?

— Иду, бабушка, ни с далека, ни с близка, — отвечает солдат, — с того света иду.

— Ах, золотой ты мой, — говорит старуха, — видно, тебя ко мне сам господь послал. Помер у меня сынок в холерный год, не случилось ли, не видал ли ты его на том свете?

— Как же, бабушка, — отвечает солдат, — как не видеть, много раз виделась. На том свете мы с твоим сынком три года журавлей пасли. Наказывал сынок тебе кланяться.

— Ах, родненький, — затужила, заплакала бабка, — то-то, чай, он с журавлями замаялся.

— Еще как замаялся, — отвечает бабке продувной солдат, — журавли-то на небе все по шиповнику да колючему розогнику бродят.

— Чай, и обносился сердешный?

— Еще как обносился: без порток по небу ходит.

Подумала старушка, поковырялась в добришке, солдату говорит:

— Послушай-ка, землячок, есть у меня кусочек холста аршин сорок да денег две красненьких. Сделай старухе такую милость: отнеси на тот свет, на небо, передай сынку подарочек.

— Изволь, бабушка, почему не отнести!

Свернул солдат бабкин холст, положил деньги в карман, попрощался — и был таков.

А приехал из города, с краснорядья, другой бабкин сын, Семен. Стала ему бабка рассказывать про солдата:

— Ну, сынок, гостевал у меня человек с того свету, принес поклон от Микиты. Послала я с ним Миките на небо подарочек: кусок холста да денег две красненьких.

— А кто таков был у тебя?

— Был человек прохожий, отпускной солдат.

Положил ложку старухин сын, отказался щи хлебать.

— Ну, матушка, много ходил я по свету, знал про-  
стаков, а проще тебя не видывал. Жить с тобой — пос-  
леднее проживешь. Пойду лучше в люди, коль найду  
кого простоватее, буду тебя кормить и поить, а не най-  
ду — домой меня не жди, не ворочусь, живи сама, как  
знаешь!

Надел Семен шапку, стукнул дверью и пошел из род-  
ного дома в белый свет.

Зашел как-то Семен на господский двор, остановился  
перед господским домом, под самыми окнами. А ходили  
по господскому двору рябая свинья с поросятами. Стал  
Семен перед свиньей на колени и давай свинье в землю  
кланяться.

А сидела у окна барыня, поглядывала от безделья на  
свой господский двор. Увидала барыня незнакомого му-  
жика.

— Эй, Марья, ступай на двор да спроси: для чего  
мужик свинье кланяется?

Побежала дворовая девка на двор, спрашивает му-  
жика:

— Скажи, мужичок, для какой надобности ты свинье  
земные поклоны бьешь?

Отвечает Семен девке:

— Ах, милая моя барышня, для того я свинье покло-  
ны бью, что ваша свинья моему деду приходится крест-  
ницей. А прошу я свинью на мою свадьбу. Не отпустит  
ли ваша добрая барыня свинью ко мне в свахи, а поро-  
сят в поезжане?

Побежала девка в дом, доложила барыне, как объяс-  
нил мужик.

Говорит барыня:

— Экий мужик дурак! Слыхано ли, видано ли, чтобы  
свиньи на свадьбах гуляли? Ну, так и быть, скажи ду-  
раку, что отпускаю на свадьбу нашу свинью. Наряди  
свинью в новую лисью шубу да вели запречь тройку ло-  
шадей в господскую бричку, — пусть посмеются над ду-  
раком люди!

Запрягли конюхи тройку господских лошадей, поса-  
дили в бричку свинью с поросятами в барыниной шубе.  
Сел Семен рядом со свиньей, ударил по лошадям и был  
таков.

О самую ту пору вернулся с охоты барин. Встретила его на крыльце барыня.

— Ах, душенька, была у нас без тебя здесь потеха! Приходил к нам на двор незнакомый мужичок, кланялся нашей свинье земно, просил меня отпустить ее на свадьбу в свахи, а поросят — в поезжане.

— Где же теперь свинья? — спрашивает барин.

— Нарядила я, душенька, свинью в мою лисью шубу, приказала запретить в бричку тройку лошадей, — пусть посмеются над дураком люди!

— Да откудава мужик тот? — закипел на барыню барин.

— Не знаю, не спрашивала, голубчик.

Осерчал барин, затопал ногами:

— Выходит, не мужик дурак, а ты и есть первая дура! Обманул тебя, дуру, хитрый мужик.

Велел барин седлать лучшего жеребца, вскочил в седло, поскакал за мужиком в погоню.

А Семен, как слышал, что нагоняет его барин, спрятал лошадей в лесу, привязал под деревьями. Сам сел на пенек у дороги, положил возле себя свой вальный колпак.

Подскакал к нему барин:

— Эй, борода, не видал ли, не проезжал здесь мужик на тройке лошадей в господской бричке?

— Как не видеть, — давненько проехал.

— А в какую сторону он поехал, как бы его догнать?

— Догнать — не устать, — отвечает Семен. — Да вишь, повороток в лесу много! Тебе, чай, наши дороги неведомы.

Задумался барин.

— Не возьмешься ли, дружок, догнать того мужика?

— Никак нет, ваше сиятельство, — отвечает Семен, — рад бы тебе услужить, да отойти невозможно: сидит у меня под колпаком живой сокол, птица доробая, нельзя мне его оставить.

— Ничего, мужичок, я постерегу твоего сокола.

— Эх, ваше сиятельство, и рад бы оставить сокола, да боюсь, как бы не выпустил ты его, — хозяин мой за такое меня со света сживет.

— А дорого ли стоит сокол?

— Да что стоит? Говорил мне хозяин, что за пятьсот рублей не отдаст.

— Ладно, — говорит барин, — я буду твоего сокола стеречь, — а коли упушу, заплачу пятьсот рублей.

— Нет, ваше сиятельство, не будь во гнев сказано: сулишь ты заплатить, а что будет потом — неведомо.

— Ах ты, невежа, дурак! Разве станет обманывать барин! Если барскому слову не веришь, вот тебе деньги, получай в заклад пятьсот рублей!

Взял Семен в заклад господские денежки, сел на баринова жеребца, поскакал в темный лес.

Долго ждал мужика барин,— уж и солнышко закатилось, а мужика нет и нет.

«Ну-ка,— думает барин,— погляжу, что за сокол под мужицким колпаком».

Поднял барин колпак, а под колпаком пусто. Плюнул барин с досады, пешком пошел на свой барский двор.

А Семен прискакал домой на господской тройке и господского жеребца на поводу привел. Старухе говорит:

— Ну, матушка, не хотел я тебя кормить и поить, думал, что нет тебя проще на свете, да, видно, не без дураков белый свет: нашлись поглупее тебя. Живи у меня, ешь хлеб-соль да поминай нашего барина-дурака да нашу барыню-дуру.

#### ЧЕРЕПАН

Собрались раз поп, царь да пузатый барин за город погулять, посмотреть на простых людей, на безделье по клубить дорожную пыль. Идут так по дороге, промежду себя ведут разговоры.

Спрашивает царь у попа:

— Скажи мне, батя, что, по-твоему, на земле всего дороже?

Подумал поп и говорит:

— На земле всего дороже то, у кого баба толста да грудаста.

Говорит барину царь:

— Ну, а ты, господин, чего скажешь?

— Я то скажу,—отвечает барин,— то всего дороже, у кого денег мешок да земли на сто верст округ.

Идут так, топчут пыль, а встречу им горшечник-черепан,— везет из дальней деревни продавать на базар горшки, понукивает на сивую кобыленку.

Остановил царь черепана.

— Постой, мужичок! Не подвезешь ли нас до городских ворот, до первого повороту? А то, вишь, наши ноги прикрыл хворостом.



Осадил черепан кобыленку, горшки в канаву свалил, прикрыл хворостом.

— Отчего не повезти,— садитесь, добрые люди!

Сели царь, поп и пузатый барин в телегу,— на мужичьей телеге-то им непривычно! — толкают друг дружку, а черепан знай на свою кобыленку понукивает да пошвыстывает, вожжами трясет:

— Но, но! Пошла, милая, не ленись!

Шла, шла кобыленка, дошла до середины большой лужи, остановилась по своей нужде. Взял черепан кнут, начал обхаживать кобыленку. Сечет кнутом да приговаривает:

— Эх, дурная, где надумала статьи! дурней ты нашего царя-дурака!

Вышла кобыленка из лужи, а царь у черепана спрашивает:

— Скажи мне, мужичок, разве царь у вас дурак?

— Дурак не дурак,— отвечает черепан,— а вот у царских больших бояр полны погреба денег лежат, да всё их, бояр, жалует. А у нашего брата, темного мужика, с зубов кожу дерет, за всякую пустяковину подати лупит.

«Ну,— думает царь,— мужичок-то, видно, не прост, попытаю его хорошенько».

Спрашивает у черепана царь:

— Скажи-ка, мужичок, отгадай мне загадку: кому на земле дороже, чтобы баба была толста да грудаста?

— А это, надо быть, поп либо монах: они до баб лакомы.

Опять спрашивает царь:

— А ну, скажи, мужичок, отгадай другую загадку: кому на земле всего дороже, чтобы денег мешок, да на сто верст округ?

— А это, видать, барин али барский сынок: они, баре, до денег да до земли жадные.

Доехали так до городских ворот, остановил черепан кобыленку. Стали все трое с телеги слезать. На прощанье говорит черепану царь:

— Поезжай теперь, мужичок, забирай свои горшки да привози в город — завтра в городе горшки будут дороги. Да гляди не ошибайся — дешево не продавай. Будет у царя пир на весь мир, много знатных гостей съедется. Приходи сам на званный пир да не забудь в подарок царю горшок принести.

Вернулся черепан, навалил на воз горшки, привез в город. Поутру разложил на базаре свой товар, сам сел покупателей ждать. А царь в тот день созвал знатных гостей, и вышел от царя строгий указ всем званым гостям и боярам нести во дворец по горшку в подарок царю. Вот едут знатные гости-бояре к царю на пир, по дороге заворачивают на базар за горшками к черепану. Продавал черепан горшки по пять, потом по десять рублей пустил, дошло до пятидесяти, а уж под конец и по сту рублей за горшок брал. Остался у него один шербатый, худой горшок. Вот скачет на пир к царю самый главный царский министр Аракчей. Припоздал к царскому пиру, заворачивает к черепану:

— Продай, мужичок, горшок!

— Не осуди, милый человек, нет у меня боле горшков, остался один шербатый, да себе надобен.

— Сделай милость, уступи,— говорит Аракчей.— Сколь потребуешь, столько и заплачу. Я — первый царский министр.

Подумал черепан.

— Пожалуй, уступлю тебе горшок. Денег мне от тебя не надобно, только сделай так, как я скажу.

— А что такое сделать?

— А вот я сору-мусору наложу в горшок,— если съешь мой мусор, будет горшок твой, а не съешь, не получишь горшка, не гневайся.

Покрутился министр и так и сяк.

— Ну что ж,— говорит,— отведаю, авось и съем.

Наложил черепан полный горшок сору. Весь сор съел царский министр. Прикрыл полою горшок и скорей на царский двор.

А черепан и сам скоро там, как ни в чем не бывало. Увидел его на пиру царь.

— Что же ты, мужичок, поскупился? Пожалел принести мне в подарок горшок, а был у тебя горшков полный воз.

— Помилуй, царское величество,— говорит черепан,— оставался у меня для тебя один горшок, да отбил его твой первый министр.

— Сколько же ты денег взял за тот горшок? — спрашивает царь.

— Помилуй, царское величество, не взял я и одного гроша.

— Даром, что ли, горшок отдал?  
— Не даром отдал. А за что отдал, боюсь сказать твоей милости.  
— Не бойся, мужичок, говори чистую правду.  
— За то я тот горшок отдал, что твой министр мой сор-мусор съел.  
— А можешь ли узнать того министра? — говорит грозно царь.  
— Посмотрю, так узнаю.  
Приказал царь черепану осмотреть всех своих гостей.  
Осмотрелся черепан, показал пальцем на главного министра.  
— Вот тот самый мой сор съел!  
Подзывает царь министра к себе:  
— Ты взял у черепана горшок?  
Оробел, затрясся главный министр:  
— Так точно, ваше величество, я взял горшок...  
— И съел сор?  
— Так точно, съел, ваше величество.  
— Почему же ты сор съел?  
— Не смел нарушить царский указ, ваше величество.  
— Ах, ты этакой-растакой, — затопал ногами, закричал на министра царь. — Гоните его с моего царского двора!

Подхватили слуги царского министра под бока, вытолкали за ворота. А черепан походил вокруг царского стола, везде ему тем сором пахнет, — плюнул и пошел домой в свою деревеньку обжигать горшки.

### ДУРЬ-МАТУШКА

У старика со старухой было трое сыновей: двое работнички-молодцы, прилежные пахари, а третий ни в колоду, ни в пень — вышел Иванушка-дурачок. Умные семью кормят-поят, а Иванушке чего ни попадет в руки — все промеж пальцев посеет. Сидел себе на печи да мух ловил.

Напекла раз старуха ржанных пирогов и говорит дураку:

— Ну-ка, Ванюша, ступай, снеси в поле братьям.

Взял Иван пироги, пошел в поле.

Только вышел дурак за околицу, глядь-поглядь, а за ним его тень бежит.

«Эка,— думает Иван,— какой парень тощий, видно, изголодался бедняга. Дам-ка ему пирожка!»

Бросил Иван на дорогу пирожок, а тень не отстаёт, все за ним бежит.

— Ах ты,— говорит Иван,— утробушка ненасытная! На, бери все мои пироги!

Разбросал Иван все пироги по дороге. Пришел в поле с пустыми руками.

— Ты, дурак, чего? — спрашивают братья.

— А принес вам обедать,— говорит Иван.

— Где ж обед? Подавай сюда.

— Ах, братцы,— отвечает Иван,— такое у меня дело вышло: шел я к вам дорогой, и привязался ко мне чужой человек, поел ваши пироги.

— Каков-таков человек? — спрашивают братья.

— А вот он, и сейчас тут!

Рассердились, побили Ивана братья, а ему, дураку, и кулак в благодарность: стоит да почесывается.

Так-то раз вышло: послали братья Ивана в город на базар, закупить кой-чего по хозяйству. Всего закупил Иван: стол новый, дубовый, ложек кленовых, чашей липовых расписных, глиняных горшков, калачей, мяса и соли, навалил полный воз всякой всячины. Едет помаленьку домой, а кобыленка у Ивана лядащая,— не столько везет, сколько хвостом мух отгоняет.

«Ну,— думает Иван,— у моей кобыленки четыре ноги и у стола четыре, авось и сам добежит!»

Снял Иван с воза стол, поставил на дорогу, ударил кнутом по столешне:

— Н-но, не отставай, догоняй нас!

Едет дальше, а над дорогой вороны вьются, покаркивают:

— Калач, калач, калач!

«Эх,— думает Иван,— вишь, разлетались сердешные, калачика просят. Видно, не евши давно».

Вынул дурак калачи, мясо достал, побросал все на дорогу воронам.

— Кушайте, сестрицы, на доброе здоровье!

Едет дальше, по подлесью, а кругом пни торчат обгорелые.

«Эка,— думает Иван,— какие ребята-молодцы стоят, и все без шапок, озябнут так-то!»

Достал дурак с воза все новые горшки и расписные чашки, понадевал на обгорелые пни, на каждый пень по горшку да по чашке.

— Ну,— говорит,— теперь есть в чем ребятам гулять!

Доехал так Иван до реки, остановил лошадь поить, а кобыленка пугливая — боится, не идет к воде.

«Видно, вода в реке несоленая, оттого нейдет кобыленка,— думает Иван,— надо посолить воду маленько».

Снял дурак с воза куль с солью, высыпал соль в реку, посвистывает кобыленке:

— Фью, фью, матушка, пей — и свежа водица, и солона, и прохладна!

Остались на возу у Ивана одни ложки в лыковом кошеле. Поехал Иван дальше, а ложки в кошеле побрякивают: бряк да бряк! Послышалось Ивану, будто про него говорят ложки:

— Дурак да дурак!

Рассердился Иван, выкинул ложки из кошеля, стал лаптями топтать:

— Вот вам за дурака, негодные!

Воротился Иван домой, въехал во двор с пустым возом.

— Ну, братики, накупил я всего, как вы приказывали.

— Спасибо, Ваня. А где ж твои покупки?

— Стол у меня позади бежит, нас догоняет,— говорит Иван,— калачи и мясо голодные вороны-сестрицы кушают на дороге, горшки я ребятам в лесу вместо шапок отдал, а солью в реке воду солил, чтобы пила лошаденка.

Ахнули братья, выслушав Ивана. Кинулись на дорогу собирать добро. Остался Иван один в избе, залез на печь мух ловить. А утворялась к празднику на печь в большой кадке бражка. Слышит Иван, что в кадке побулькивает: буль, буль! буль, буль! Показалось ему, что это его, дурака, дразнят. Опрокинул Иван кадку, выпустил бражку на пол. Сам сел в корыто — сидит в корыте, на всю избу дурацкие песни поет.

Вернулись братья, увидели Ивана посереде хаты в корыте, осерчали:

— От тебя, дурака, и нам, умным, житья нету!

Посадили братья дурака в рогожий куль, поволокли в воду сажать. А пока искали прорубь в реке, остал Иван один. Сидит Иван в рогожном куле да знай себе поет веселые песни.

А на ту пору ехал по большому тракту барин на тройке вороных коней. Увидел барин рогожий куль, остановился.

А Иван кричит из куля:

— Ой, ратуйте меня, добрые люди! Садят меня на воеводство, хотят воеводой сделать, мужиков судить-рядить! А я ни судить, ни рядить, только мух ловить!

— Постой,— говорит барин,— я барин, я умею рядить и судить, вылезай из куля!

Выпустил барин Ивана, а сам залез в куль. Оставил Иван барина, сел на тройку, да и был таков.

А пришли Ивановы братья, поволокли куль к проруби, спустили под лед. Забулькало подо льдом в куле.

— Ишь ты,— говорят братья,—это, видно, выходит душа из нашего дурака.

Пошли братья домой, а навстречу им скачет Иван на тройке горячих вороных.

— Эва, каких я поймал лошадушек!— кричит во весь голос.

Задумались братья.

— Вот она, глупь да дурь-матушка! из воды сухим вывела дурака!



**П. П. Бажов**

### **ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА**

**Ж**ил в заводе мужик один. Левонтьем его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горé держали, на Гумешках то есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное,— гора. Сырость, потемки, дух тяжелый. Ослаб человек. Приказчик видит — мало от его толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу — на Поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел, да и говорит:

— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай,— говорит,— на себя старается. Отпустить его на вольные работы, без оброку.

Это в ту пору так дельвали. Изробится человек, никуда его не надо, ну и отпустят на вольную работу.

Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-ни-

будь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет. Подумал-подумал, пошел стараться, золото добывать. Привычное дело с землей-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам:

— Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживем без милостины.

А ребятишки у него вовсе еще маленькие были. Чуть побольше десятка годов им.

Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребятишки — мал мала меньше — за ним поспешают.

Тогда, слышь-ко, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Как без этого. Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Заместо разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами все больше тайным купцам стуряли. Много их было, этих купцов-то. До того, слышь-ко, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-от шариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было.

Левонтию, однако, не потаили — сказали честь честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится.

Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники? Все ж таки стараются. Поробили так-то с неделю либо больше, видит Левонтий — пустяк дело, на хлеб не сходитя. Как быть? А самому все хуже да хуже. Исчах совсем, но неохота по миру итти и на ребятишек сумки надевать. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам наказал:

— Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то его назад-вперед ни к чему нам.



Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусову-реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надергал пескозобишков, окунишков, и давай они ушку себе гоношить. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.

Только видят — идет старик, заводской же. Семенычем его звали, а как по фамилии — не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером значился, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарную отправить — пороть, значит. А этот Семеныч не стал даваться, рожи которым покарябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, все ж таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпорол, значит, Семеныча и за буйство в солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришел в завод-от вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать. Шибко некорыстна была. Тут он и объявился. Подпрашил свою избушку и живет потихоньку, один-одинешенек. Только стали соседи замечать — неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ними сидит. Думали, — может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал: «Не знаю, говорит, этого дела. И какое тут может леченье быть, коли такая ваша работа». Думали, — может, веры какой особой. Тоже не видно. В церкву ходит о Пасхе да о Рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся — работы нет, а чем-то живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кое-кому и давал. И чудно этак. Иной просит-просит, заклад дает, набавку, какую хошь, обещает, а не даст. К другому сам придет:

— Возьми-ка, Иван или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, и подняться, видать, не можешь. — Одним словом, чудной старик. Чертознаем его считали. Это больше за книжки-то.

Вот подошел этот Семеныч, поздоровался. Ребята радехоньки, зовут его к себе:

— Садись, дедушко, похлебай ушки с нами.

Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай нахваливать — до чего-де навариста да вкусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломочками пору-

шал и перед ребятами грудкой положил. Те видят — старику ушка поглянулась, давай уплетать хлебушко-то, а Семеныч одно свое — ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот знай похмыкивает:

— Давно так-то не едал.

Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семеныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо да охо-хо. Под конец спросил:

— Сколь намыли?

Ребята говорят:

— Золотник, а может, поболее,— так тятенька сказывал.

Старик встал и говорит:

— Ну, ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте. Чтoб ни-ни. Ни одной душе живой, а то...— и Семеныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семеныч это. Потом опять усмехнулся и говорит:

— Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидаетесь, а я схожу — покучусь кому надо. Может, он вам поможет. Только, чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько.

И вот ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько:

— Смотри, братко, не забудь, чтобы не бояться,— а у самого губы побелели и зубы чакают. Младший на это отвечает:

— Я, братко, не боюсь,—а сам помучнел весь.

Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечка, а никого нет, у ребят испуг и отбежал. Навалили они в костер хвои, еще веселее стало. Вдруг слышат — в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало.

И вот подходят к огню двое. Один-то Семеныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на ем, штаны — все желтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана

широкий пояс с узорами и кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зеленые и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семеныч, и не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно, они и бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семенычу шуткой так:

— Это вольны-то старатели? Что найдут, все заберут? Никому не оставят?

Потом прихмурился и говорит Семенычу, как советует с им:

— А не испортим мы с тобой этих ребятишек?

Семеныч стал сказывать, что ребята не балованные, хороши, а тот опять свое:

— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет.

Постоял, помолчал и говорит:

— Ну, ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так ребятки ладненьки, жалко будет, ежели испортим. Маленький-то вон тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй сам, Семеныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство—тоже испортится.

Разговаривает так-то с Семенычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:

— Теперь, ребяташки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.

И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли всё кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костер-то потух, а на полянке светло стало. Толь-

ко свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло. Дошел змей до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит:

— Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте!

Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто все еще озябла, как иней ее прихватил.

Семеныч и объяснил ребятам:

— Это есть Великий Полоз. Все золото в его власти. Где он пройдет — туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле и под землей, как ему надо, и места может окружить сколько хочет. Оттого вот и бывает — найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это, значит, Полоз побывал тут и отвел золото. А то вот еще... Найдут старатели хорошее, рассыпное золото, ну и питаются. А контора вдруг объявит — уходите, мол, за казну это место берем, сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют, и во все стороны лезут — нету, будто вовсе не бывало. Это Полоз окружил все то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось все по его-то кольцу. Попробуй найди, где он лежал.

Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда, вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.

Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают:

— Ты, братко, видел вчера что-нибудь?

Другой ему:

— А ты видел?

Договорились все ж таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать,

и стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечко говорит:

— Надо за Рябиновкой у березы начинать. На том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал.

Младший уговаривает:

— Не годится так-то, братко. Тайность живо наружу выскочит, потому — другие старатели сразу набегут любопытствовать, какой, дескать, песок пошел за Рябиновкой. Тут все и откроется.

Поспорили так-то, пожалели, что Семеныча нет, посоветовать не с кем, да углядели — как раз по середке вчерашнего огневища воткнул березовый колышек.

«Не иначе это Семеныч нам знак оставил», — подумали ребята и стали на том месте копать.

И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилося. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.

## ЗМЕИНЫЙ СЛЕД

Те ребята, Левонтьевы-то, коим Полоз богатство показал, стали поправляться житьишком. Даром, что отец вскоре помер, они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили. Не то, чтобы дом затейливой, а так — избушечка справная. Коровенку купили, лошадь завели, овечек до трех голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может, что хоть в старости свет увидела.

А все тот старичок — Семеныч-то — наставал. Он тут всему делу голова. Научил ребят, как с золотом обходиться, чтобы и контора не шибко примечала и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь с золотишком-то! На все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель подглядывает, купец, как коршун, зорит, и конторско начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся! Одним-то малолеткам где с таким делом управиться! Семеныч все им и показал. Одним словом, обучил.

Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть некорыстно, а намывают, видно... Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали.

Только заводское начальство углядело — неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка:

— К приказчику ступайте! Велел немедля.

Пришли, а приказчик на них и накинулся:

— Вы до какой поры шалыганить будете? Гляди-ко — в версту вымахал каждый, а на барина единого дня не рабывал! По каким таким правам? Под красную шапку захотели али как?

Ребята объясняют, конечно:

— Тятеньку, дескать, покойного, как он вовсе из сил выбился, сам барин на волю отпустил. Ну мы и думали...

— А вы,— кричит,— не думайте, а кажите актову бумагу, по коей вам воля прописана!

У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало, они и не знают, что сказать.

Приказчик тогда и объявил:

— По пяти сотен несите — дам бумагу.

Это он, видно, испытывал, не объявят ли ребята деньги. Ну, те укрепились.

— Если,— говорит младший,— все наше хозяйство до ниточки продать, так и то половины не набезит.

— Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет куда. Да, глядите, не опаздывать к разнарядке! В случае — выпорю для первого разу!

Приуныли наши ребяташки. Матери сказали, та и во все вой подняла:

— Ой, да что же это, детоньки, подеялось! Да как мы теперь жить станем!

Родня, соседи набезали. Кто советует прошение барину писать, кто велит в город к горному начальству идти, кто прикидывает, на сколь все хозяйство вытянет, ежели его продать. Кто опять пугает:

— Пока, дескать, то да се, приказчиковы подлокотники живо схватят, выпорют да и в гору. Прикуют там цепями, тогда ищи управу!

Так вот и удумывали всяк по-своему, а того никто не домекнул, что у ребят, может, впятеро есть против приказчикова запросу, только объявить бояться. Про это, слышь-ко, и мать у них не знала. Семеньч, как еще в живых был, часто им твердил:

— Про золото в запасе никому не сказывай, особливо женщине. Мать ли, жена, невеста — все едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набезит, примерно, гор-

ная стража, обыскивать станут, страстей всяких насулят. Женщина иная и крепкая на слово, а тут заботится, как бы сыну либо мужу худа не вышло, возьмет да укажет место, а стражникам того и надо. Золото возьмут и человека загубят. И женщина та, глядишь, за свою неустойку головой в воду либо петлю на шею. Бывало это дело. Остерегайтесь! Как потом в годы войдете да женитесь — не забывайте про это, а матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на языке-то — похвастать своими детоньками любит.

Ребята это Семенычево наставленья крепко помнили и про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец, только много ли и в котором месте хранят — не знали.

Посудачили соседи, потужили да с тем и разошлись, что утречком, видно, ребятам на разрядку выходить. — Без этого не миновать.

Как не стало чужих, младший брат и говорит:

— Пойдем-ка, братко, на прииск! Простимся хоть...

Старший понимает, к чему разговор.

— И то, — говорит, — пойдем. Не легче ли на ветерке голове станет.

Собрала им мать постряпенек праздничных да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку.

Идут — молчат. Как дорога лесом пошла, старший и говорит:

— Прихоронимся маленько.

За крутым поворотом свернули в сторону да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили по стакашку, полежали маленько, слышат, идет кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим струментом по дороге шлепает. Будто спозаранку на прииск пошел. Старанье на него накатило, косушку не допил! А этот Сочень у конторских в собачках ходил: где что вынюхать — его подсылали. Давно на заметке был. Не один раз его бивали, а все не попускался своему ремеслу. Самый вредный мужичонко. Хозяйка Медной горы уже сама его потом так наградила, что вскорости он и ноги протянул. Ну, не о том разговор... Прошел этот Сочень, братья перемигнулись. Мало погода шегарь верхом на лошадке проехал. Еще полежали — сам Пименов на своем Ершике выкатил. Коробчишко легонький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал.

Этот Пименов по тому времени в Полевой самый отчаянный был — по тайному золоту. И Ершика у него все знали. Степнячок лошадка. Собой невеличка, а от любой тройки уйдет. Где только добыл такую! Она, сказывают, двухколодешная была, с двойным дыхом. Хоть пятьдесят верст на мах могла... Догони ее! Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну, и хозяин тоже намятыш добрый был, — один на один с таким не встречайся. Не то что нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут.

Ребята, как увидели этого рыбакова, так и засмеялись. Младший поднялся из-за кустов да и говорит, негромко все ж таки:

— Иван Васильевич, весы-то с тобой?

Купец видит — смеется парень, и тоже шуткой отвечает:

— В эком-то лесу да не найти! Было бы что весить. Потом придержал Ершика и говорит:

— Коли дело есть, садись — подвезу.

Такая у него, слышь-ко, повадка была — золотишко на лошади принимать. Надеялся на своего Ершика. Чуть что: «Ершик, ударю!» — и только пыль столбом либо брызги во все стороны.

Ребята отвечают: «Нет с собой», — а сами спрашивают:

— Где тебя, Иван Васильевич, искать утром на свету?

— Какое, — спрашивает, — дело — большое али пустяк?

— Будто сам не ведаешь...

— Ведать-то, — отвечает, — ведаю, да не все. Не знаю, то ли оба откупаться собрались, то ли один сперва.

Потом помолчал да и говорит, как упреждает:

— Смотрите, ребята, — зорят за вами. Сочня-то видели?

— Ну, как же.

— А щегаря?

— Тоже видели.

— Еще, поди, послали кого за вами доглядывать. Может, кто и охотой. Знают, вишь, что вам к утру деньги нужны, вот и караулят. И то поехал вас упредить.

— За то спасибо, а только мы тоже поглядываем.

— Вижу, что понаторели, а все остерегайтесь!

— Боишься, как бы у тебя не ушло!



— Ну, мое-то верное. Другой не купит — побоятся.

— А почему?

Пименов прижал, конечно, в цене-то. Ястребок ведь. От живого мяса такого не оторвешь!

— Больше,— говорит,— не дам. Потому дело заметное.

Срядились. Пименов тогда и шепнули

— На брезгу по Плотинке проезжать буду — подсажу...

Пошевелил вожжами: «Ступай, Ершик, догоняй щегаря!» На прощанье еще спросил:

— На двоих али на одного готовить?

— Сами не знаем — сколь наскребется. Полишку все ж таки бери,— ответил младший.

Отъехал купец.

Братья помолчали маленько, потом младший и говорит:

— Братко, а ведь это Пименов от ума говорил. Неладно нам большие деньги сразу оказать. Худо может выйти. Отберут — и только.

— То же и я думаю, да быть-то как?

— Может, так сделаем! Сходим еще к приказчику, поклоняемся, не скинет ли маленько. Потом и скажем,— больше четырех сотен не наскрести, коли все хозяйство продать. Одного-то, поди, за четыре сотни выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.

— Так-то ладно бы,— отвечает старший,— да кому в крепости оставаться? Жеребьевкой, видно, придется.

Тут младший и давай лебезить:

— Жеребьевка, дескать, чего бы лучше! Без обиды... Про это что говорить... Только вот у тебя изъян... глаз поврежденный... В случае оплошки, тебя в солдаты не возьмут, а меня чем обракуешь? Чуть что — сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я бы тебя живо выкупил. Году не пройдет — к приказчику пойду. Сколь ни запросит — отдам. В этом не сумлевайся! Неуж у меня совести нет? Вместе, поди-ко, зарабатывали. Разве мне жалко!

Старшего-то у них Пантелеем звали. Он пантюхой и вышел. Простяга парень. Скажи — рубаху сымет, другого выручит. Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал,— ровно все-то его больше да умнее. Слова при других сказать не умеет. Помалкивает все.

Меньший-то, Костька, вовсе не на эту статью. Даром что в бедности с детства рос, выправился, хоть на выставку. Рослый да ядреный... Одно худо — рыжий, скрасна даже. Позаглаза-то его все так и звали — Костька Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали: «У Костьки не всякому слову верь. Иное он и вовсе проглотит». А подсыпаться к кому — первый мастер. Чисто лиса, так и метет, так и метет хвостом...

Пантюху-то Костька и оболтал живехонько. Так все по-Костькиному и вышло. Приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто нисхождение выхлопотал. Ему приказчик на Крылатовский прииск велел отправляться.

— Верно, — говорит, — твой-то брат сказывает. Там тебе знакомее будет. Тоже с песками больше дело. А людей, все едино, что здесь, что там, недостачка. Ладно уж, сделаю тебе нисхождение. Ступай на Крылатовско.

Так Костька и подвел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. Избу и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Так только вид делал.

Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать наймовать, а боится — узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашел все ж таки недоумка одного. Мужик большой, а умишко маленький — до десятка счету не знал. Костьке такого и надо.

Стал с этим недоумком стараться, видит — отоштал песок. Костька, конечно, заметался повыше, пониже в тот бок, в другой — все одно, нет золота. Так мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Костька и придумал на другой берег податься — ударить под той березой, где Полоз останавливался. Получше пошло, а все не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад, да еще думает — перехитрил я Полозѧ.

На Костьку глядя, и другие старатели на этом берегу пытаться счастья стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяцу не прошло — полно народу набилось. Пришлые какие-то появились.

В одной артелке увидел Костька девчонку. Тоже рыженькая, собой тончава, а подходяшенька. С такой по ненастью солнышко светует. А Костька по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то

и сам барин. Из отецких не одна девка за того Костьку слезами умывалась, а тут что... приисковая девчонка. Костька и разлетелся, только его сразу обожгло.

Девчонка ровно вовсе молоденькая, справа у ней некорыстна, а подступить непросто. Бойкая! Ты ей слово, она тебе — два, да все на издевку. А руками чтобы — это и думать забудь. Вот Костька и клюнул тут, как язь на колобок.

Жизни не рад стал, сна-спокою решился. Она и давай его водить и давай водить.

Есть ведь из ихней сестры мастерицы. Откуда только научатся? Глядишь — ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Костька сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел.

— Замуж,— спрашивает,— пойдешь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно-благородно, по закону... Из крепости тебя выкуплю.

Она, знай, посмеивается:

— Кабы ты не рыжий был!

Костьке это нож вострый — не глянулось, как его рыжим звали,— а на шутку поворачивает:

— Сама-то какая?

— То,— отвечает,— и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты — красный, ребятишки пойдут — вовсе опаленыши будут.

Когда еще примется Пантелея хвалить. Знала как-то его. На Крылатовском будто встретила.

— Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На примете он у меня остался. Любой парень. Хоть один глазок, да хорошо глядит.

Это она нарочно — Костьку поддразнить, а он верит. Зубом скрипит на Пантелея-то, так бы и разорвал его, а она еще спрашивает:

— Ты что же брата не выкупишь? Вместе, поди, наживали, а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место.

— Нету,— говорит,— у меня денег для него. Пусть сам зарабатывает!

— Эх ты,— говорит,— шалыган бесстыжий! Меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял в забое, поди?

Доведет так-то Костьку до того, что закричит он:

— Убью стерву!

Она хоть бы што.

— Не знаю,— говорит,— как тогда будет, только живая за рыжего не пойду. Рыжий да шатоватый — нет того хуже!

Отшибет так Костьку, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала да поласковее поглядела. Ну, подарков она не брала... Даже самой малости. Кольнет еще, ровно иголкой ткнет:

— Ты бы это Пантелею на выкуп поберег.

Костька тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает:

«Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда, поглядим, что на другой день запоет...»

Люди, конечно, примечают:

— Что-то наш Рыжий распыхался. Видно, хорошо попасть стало. Надо в его сторону удариться.

Думают так-то, а испировать на даровщинку кто отпрется? Она — эта девчонка — тоже ничего. Плясать против Костьки вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Костьку тут и вовсе за нутро взяло.

Думки своей все ж таки Костька не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку, а она уставилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Тогда она и говорит:

— Ты, рыжий-бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?

Костьку как обварило этими словами. Разозлился он.

— И не подумаю,— кричит.— Лучше все до копейки пропью!

— Ну,— говорит,— твое дело. Было бы сказано. Пропивать пособим.

И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами уперлась — не смигнет. С той поры и стал Костька такие гулянки чуть не каждую неделю заводить. А оно ведь не шибко доходно — полсотни человек допьяна поить. Приисковый народ на это жоркий. Пустяком не отойдешь, а то еще на смех поднимут:

— Хлебнул-де из пустой посуды на Костькиной гулянке — неделю голова болела. Другой раз позовет, две бутылки с собой возьму. Не легче ли будет?

Костька, значит, и старался, чтоб вино и там протча в достатке было. Деньжонки, какие на руках были, скорехонько умыл, а выработка вовсе пустяк. Опять отощал песок, хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит:

— Что-то, хозяин, ровно вовсе не блестит на смывке-то.

Ну, а та девчонка, знай, подзуживает:

— Что, Рыжий, приуныл? Каблуки стоптал — на починку не хватает?

Костька давно видит — неладно у него выходит, а совладать с собой не может. «Погоди,— думает,— я тебе покажу, как у меня на починку не хватает».

Золотишка-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хранили. В своем же огороде, во втором слое. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глиной... Тут и бросали. Ну, место хорошо замечено было, до вершков все вымерено. В случае, и горной страже приискаться нельзя. Ответ тут бывалый: «Самородное, дескать. Не знали, что эдак близко. Вон какую даль отшагивали, а оно вон где — в огороде!»

Кладовуха эта земляная, что говорить, самая верная, только вот брать-то из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банешкой посажены были, камни кучкой подобраны. Одним словом, загорожено.

Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху. Снял, где надо, верхний слой, нагреб бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыв окошко, зажег фонарь, стал смывать, и ничем-ничего — ни единой крупинки. Что, думает, такое? Неуж ошибся? Пошел опять. Все перемерял. Нагреб другую бадью — даже виду не показало. Тут Костька и остерегаться забыл — с фонарем выскочил. Оглядел еще раз с огнем. Все правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай еще нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. Костька еще глубже взял — та же штука: чуть блестит. Костька тут вовсе себя потерял. Давай дудку, как на прииске, бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось, — камень-сплошняк оказался. Обрадовался Костька, через камень, небось, и Полозу золота не увести. Тут оно где-нибудь, близко. Потом вдруг хватился: «Ведь это Пантюшка украл!»

Только подумал, а девчонка та, присковая-то, и появилась. Потемки еще, а ее всю до капельки видно. Высоконьякая да пряменькая, стоит у самого крайчика и на Костьку глазами уставилась:

— Что, Рыжий, потерял, видно? На брата приходишь? Он и возьмет, а тебе поглядеть осталось.

— Тебя кто звал, стерва пучешарая?

Схватил ту девчонку за ноги да что есть силы и дернул на себя в яму. Девчонка от земли отстала, а все пряменько стоит. Потом еще вытянулась, потончала, медяницей стала, перегнулась Костьке через плечо, да и поползла по спине. Костька испугался, змеиный хвост из рук выпустил. Уперлась змея головой в камень, так искры и посыпались, светло стало, глаза слепит.

Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит, где каплями, где целыми кусками. Много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень. На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровно и не сильно разбил, а умер отчего-то Костька.

На похороны с Крылатовского Пантелей пришел. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул — с золотом что-то случилось. Беспokoйно Пантелею стало. Надеялся, вишь, он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а все верил — выкупит брат. Пошел поглядеть. Нагнулся над дудкой, а снизу ему ровно посветил кто. Видит — на дне-то как окно круглое из толстого-претолстого стекла, и в этом стекле золотая дорожка вьется. Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит. Сама рыженька, а глаза чернехоньки, да такие, слышь-ко, что и глядеть в них страшно. Только девчонка та ухмыляется, пальцем в золоту дорожку тычет: «Дескать, вот твое золото, возьми себе. Не бойся!» Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух.

Пантелей испугался сперва: наваждение, думает. Потом насмелился, спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень — скварец. На казенном прииске Пантелею приходилось с камнем-то этим биться. Попривык к нему. Знал, как его берут. Вот и думает:

«Дай-ко попытаю. Может, и всамделе золото тут».

Притащил, что подходящее, и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел. И верно — в камне золото и не то что искорками, а большими каплями да гнездами сидит. Богатимая жилка оказалась. До вечера-то Пантелей чистым золотом фунтов пять либо шесть набил. Сходил потихоньку к Пименову, а потом и приказчику объявился.

— Так и так, желаю на волю откупиться.

Приказчик отвечает:

— Хорошее дело, только мне теперь недосуг. Приходи утречком. На прохладе об этом поговорим.

Приказчик по Костькиному-то житью, понятно, догадался, что деньги у него были немалые. Вот и придумывал, как бы Пантелея покрепче давнуть, чтобы побольше выжать. Только тут, на Пантелеево счастье, расылка из конторы прибежал и рассказывает:

— Нарочный приехал. Завтра барин из Сысерти будет. Велел все мостки на Полдневную хорошенько уладить.

Приказчик, видно, испугался, как бы все у него из рук не уплыло, и говорит Пантелею:

— Давай пять сотенных, а по бумаге четыре запишу.

Сорвал-таки сотнягу. Ну, Пантелей рядиться не стал.

«Рви,—думает,—собака,—когда-нибудь подавишься».

Вышел Пантелей на волю. Поковырялся еще сколько-то в ямке на огороде. После и вовсе золотишком заниматься перестал.

«Без него,—думает,—спокойнее проживу».

Так и вышло. Хозяйство себе завел, не сильно большое, а биться можно. Раз только с ним случай вышел. Это еще когда он женился.

Ну, он кривенькой был. Невесту без затей выбрал, смиренную девушку из бедного житья. Свадьбу попросту справили.

На другой день после венца-то молодая поглядела на свое обручальное кольцо и думает:

«Как его носить-то. Вон оно какое толстое да красивое. Дорогое, поди. Еще потеряешь».

Потом и говорит мужу:

— Ты что же, Пантюша, зря тратишься? Сколько кольцо стоит?

Пантелей и отвечает:

— Какая трата, коли обряд того требует. Полтора рубля за колечко платил.

— Ни в жизнь,—говорит жена,—этому не поверю.

Пантелей поглядел и видит — не то ведь кольцо-то. Поглядел на свою руку — и там вовсе другое кольцо, да еще в серединке-то два черных камешка, как глаза горят.

Пантелей, конечно, по этим камешкам сразу припомнил девчонку, которая ему золотую дорожку в камне показала, только жене об этом не сказал.

«Зачем, дескать, ее зря тревожить».

Молодая все-таки не стала то кольцо носить, купила себе простенькое. А мужику куда с кольцом? Только и поносил Пантелей, пока свадебные дни не прошли.

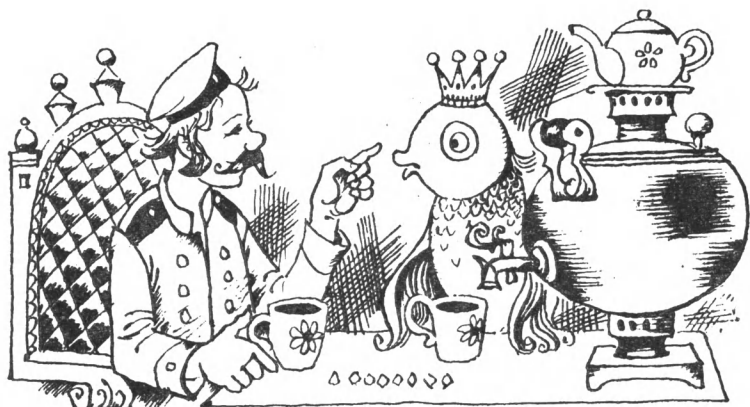
После Костькиной смерти на прииске хватились:

— Где у нас плясунья-то?

А ее и нет. Спрашивать один другого стали — откуда хоть она? Кто говорил — с Кунгурки пристала, кто — с Мраморских разрезов пришла. Ну, разное... Известно, приисковый народ, набеглый... Досуг ему разбирать, кто ты да каких родов. Так и бросили об этом разговор.

А золотишко еще долго на Рябиновке держалось.





**Андрей Платонов**

## МОРОКА

**С**лужил один солдат на службе двадцать пять лет. Службу свою вел он честно и верно, а с товарищами любил шутки шутить: скажет чего — незнаемо чего, а на правду похоже, другой-то и верит, пока не опомнится. Солдатская служба хоть и долгой была, да не все время солдат службу несет: и солдату надо себя потешить. Семейства у солдата нету, об обеде с ночлегом старшой заботится; отстоял солдат время на часах — и сказки рассказывает. Чего ему!

Такой и этот был, Иван-солдат. Получил он отставку вчистую, пора ему домой к родным идти, а дом его далеко где, и от родных Иван давно отвык.

Вздохнул солдат.

— Эх! — говорит. — Вся жизнь, считай, на солдатскую службу ушла: двадцать пять лет отслужил, а царя не видел! Спросит у меня родня в деревне, каков-таков царь, а чего я скажу?

Пошел Иван к царю. А в том государстве царем был Агей, и любил Агей сказки слушать. Покуда царь сказки не послушает, он и весел не бывал. Сам Агей-царь

тоже любил сказки и загадки говорить; и любил он, чтобы слушали его, а еще больше любил, чтобы в сказки его верили, а загадки не разгадывали.

Приходит Иван к Агею-царю.

Агей говорит:

— Чего тебе, земляк?

— А лицо ваше царское поглядеть! Я двадцать пять лет прослужил, а вас в лицо не видал!

Царь Агей велел солдату на стул сесть из резного дерева, что против царя стоял.

— Гляди! — говорит. — Посиди, солдат, на стуле, покуда тебя черти не вздули, — а сам тут смеется.

Ну, Иван сидит на стуле, робеет перед царским лицом и думает: «Уж не дурной ли царь Агей? Чего такое радуется — неужто тому, что черти солдата вздуют!»

— А что, солдат, загану я тебе загадку! — Агей-царь говорит: — Сколько свет велик, как ты думаешь?

Иван с лица сурьезным стал.

— А не дюже велик, государь, ваше царское величество! В двадцать пять часов без малого солнышко кругом всего света обходит.

Царь сказал Ивану:

— И то, солдат! А сколько от земли до неба вышины будет? Много ли, мало?

— Да тоже, государь, не дюже: там стучит — здесь слышно.

Видит царь Агей, правду говорит солдат, да обидно ему, что солдат на ум скорый такой, не скорее ли самого царя будет.

— А теперь скажи, служба: сколь морская глубина глубока?

— А чего глубока! Про то неизвестно! Служил на море мой дед, утонул в воду, тому уж сорок лет, и теперь его нет.

Понимает Агей-царь, простою загадкой старого солдата не одолеть. Велел ему денег дать на домашнее обзаведение и за стол его посадил чай пить.

— Представь себе, служивый, теперь историю, а потом я домой тебя отпущу.

А солдат богатым не бывает, он куда как деньгам обрадовался. Стало Ивану и у царя скучно, и чаю ему не надо.

— Дозволь мне, государь, погулять пойти. Двадцать пять лет я службу служил, дозвожь своеволью пожить. А историю я тебе после представлю.

Ушел Иван от царя и пошел в трактир. Сутки солдат гулял, все царские деньги прогулял, остался у него один старый грош. Выпил он вина на последний грош, да своего, видно, не допил, и еще ему захотелось.

— Подавай,— говорит,— еще мне вина и угощенья, купец!

А купец обмана боится, он и спрашивает:

— А у тебя золото либо серебро?

— Золото: серебро солдату носить тяжело.

Дает купец солдату угощенья, а сам садится против него.

— Куда, служба, идешь теперь? — спрашивает.— Родня-то жива иль умершая?

— От царя иду,— солдат говорит,— откуда же! А родня солдату не нужна, ему и так все свойственники. Пей, купец, я тебя угощаю!

Выпил купец с отставным солдатом.

— Я тебе,— говорит,— сбавку сделаю, дешевле возьму.

А солдат Иван ему:

— Сочтемся! Пей еще, купец, угощайся!

Купец к угощенью привык, он сыто живет, а беседу он любит!

— Скажи мне,— говорит,— служивый, был какую ни есть.

— А какую тебе был сказать, купец?

— А скажи, что хошь: где ты жил, куда по земле ходил...

— А чего я тебе скажу: был я до службы в медведях да в лесу жил — и теперь медведь и тож в лес иду.

Купец услышал такое и по первости оробел: у него ведь свое заведение, в заведение добра-товару много, а от медведя убыток может быть — чего с него спросишь?

— Ну,— говорит купец,— аль правда?

— А нет ли? — отставной говорит.— Погляди-ко, кто мы? Я-то медведь, да и ты-то медведь!

Купец и вовсе обомлел: с кем, дескать, это я торговать стану, в медведях-то будучи.

Поглядел купец на отставного солдата, ощупал себя и видит: солдат-то медведь, да и сам-то он, купец, тоже теперь медведь.

— Чего будем делать, служивый? Неужто нам в лес бежать?

А отставной Иван отвечает:

— Не надобно. Смотри-ка, в лесу нас охотники побьют. В лес мы успеем.

— А чего ж нам ныне надобно? Головушка наша горькая! Медведи мы!

Отставной не оробел:

— А чего нам надобно? Медведей в купцах не бывает! Зови гостей со всех волостей, гулять будем, не пропадать твоему товару-добру!

Видит купец: правду говорит Иван отставной. Велел он слуге позвать гостей со всех волостей.

Явились гости — и те, кого звали, и те, кто про зов издалека услышали. Поели гости, попили, ни крошки, ни капли в трактире не оставили и чашки-ложки домой подобрали: к чему медведю посуда?

Остался купец без добра, без товара. Залез он с отставным солдатом на полаты.

— Как мне быть? — говорит.

— А мы ночью в лес уйдем, — говорит отставной. — В городе, в посаде ли медведям жить не полагается, закону нет, штраф будет.

Проснулся ночью Иван и велит купцу:

— Прыгай, медведь! Нам в лес пора. А я за тобой побегу, а то ты отстанешь от меня.

Купец наладился, прыгнул с полатей и ушибся животом об пол. Полежал он, очнулся, видит — ничего нету в трактире, всю торговлю гости даром проели, и того отставного солдата нету, и сам он не медведь, а опять купец, да победнее, чем был.

Стал купец искать по суду отставного Ивана. А где его сыскать, когда Иван на волю ушел! Да и народ солдата везде привечает, в наказание его не отдаст.

Пожаловался тогда купец царю Агею. Царь позвал купца и спрашивает его:

— За что ты в обиде на старого солдата?

— За что, государь, — купец говорит, — ведь он меня в медведя обратил! Я сглупу-то и поверил, а солдат твой весь товар мой, и снедь и напиток, как есть все гостям даром скормил и сам досыта ел.

Царь Агей посмеялся над купцом.

— Ступай, — говорит, — наживай добро сначала, противу ума закону нету, а от глупости всегда убыток.

И захотелось тут царю — пусть солдат представит ему историю, чтобы то, чего нету, было бы как по правде. Царь-то думал: «Авось солдат не умнее меня! Раз

я царь, сказкой он меня не одолеет, а я над ним посмеюсь».

Велел царь Агей найти отставного солдата Ивана, где он ни есть, где попусту ни гуляет.

Услышал Иван — царь его кличет, и сей же час явился.

— Я вот он, государь! — говорит. — Чего тебе?

Царь сперва велел самовар на стол поставить и чай пить велел Ивану. Налил Иван чаю в серебряную кружку, отлил из нее в блюдце и хотел было опять сесть на стул из резного дерева, да сел на тубаретку. Царь тогда говорит ему:

— Ты, Иван, молодец. Слышал я: ты купца в медведя обратил. А может, ты и мне штуку представишь, мороку какую.

— Могу, государь, я привыкши, да боюсь.

— Не бойся, служба, я люблю сказку-мороку.

— Знаем, — сказал Иван. — Да тут я тебе буду сказку рассказывать, а не ты мне... А который нынче час, государь?

Царь ответил:

— К чему тебе час? А первый будто.

— Стало быть, время! — сказал отставной солдат.

Сказал он так и вдруг воскликнул еще:

— Вода, государь, потопление! Бежим отсюда скорей, а сказку я после тебе скажу, где сухо будет! Видишь, водополье во дворец нашло!

Не видит царь потопления и воды нигде нету, а видит: отставной солдат тонет, захлебывается и ртом воздух поверху хватает.

Кричит ему царь:

— Опомнись, служба!

Глядь, а и самому дышать уже нечем: в грудь воды набралось, и в желудке полно ее, в кишках переливается.

— Спасай меня, солдат!

Иван-солдат схватил царя.

— Агей, плыви бодрей!

Поплыл царь Агей. Видит он — спереди его рыба плывет. Рыба обернулась к нему.

— Не бойся, — рыба говорит. — Агей, это я, служба твоя!

Глянул царь на себя: и он рыбой стал.

Обрадовался царь:

— Теперь не утонем!

— Нет, никак нет! — отвечает ему рыба Иван.— Живы будем!

Плывут они далее. Из дворца уплыли, по вольной воде плывут. И вдруг перед царем прочь пропала рыба Иван. Слышит только царь: кричит ему со стороны отставной солдат.

— Эй, Агей, плыви левой, а то спереди сеть, будут в ухè тебя есть!

Услышал царь солдата, а подумать не успел — и попал он в рыбацкую сеть. Глянул царь — и рыба Иван тут же.

— Чего теперь, служба, делать будем? — спрашивает царь.

— Помирать, государь, будем.

А царю жить охота. Забился он в сети, выскочить захотел, да сеть крепка.

Вытащили рыбаки сеть наружу. Увидел царь Агей, как один рыбак схватил Ивана-рыбу, ободрал с нее ножом чешую и в котел бросил. «Ну,— подумал царь,— с меня чешую драть не будут».

Схватил рыбак царя-рыбу, отсек ей голову и ту голову прочь забросил, а туловище в котел положил. И слышит тогда царь голос отставного солдата:

— Государь ты наш батюшка, а где же твоя голова?

Захотел царь Агей ответить солдату: «А кожа твоя где? С тебя чешую всю содрали! Чего же ты не спас меня, окаянный?» — да ни сказать, ни крикнуть царь не мог: вспомнил он — головы у него нету.

Ухватил царь руками свою голову. Тут опомнился он и озираться начал. Видит царь — сидит он во дворце, как всегда бывало, сидит он на мягком стуле, а против него на тубаретке отставной солдат Иван сидит и чай из блюдца пьет.

— Это ты, Иван, рыбой был?

— Я, государь, кто же еще?

— А кто думал, когда у меня головы не было?

Иван говорит:

— Опять же я, государь. Некому было.

Вскричал тут царь на Ивана:

— Вон из моего царства иди! И чтоб духу твоего слышно не было, и чтоб люди мои не помнили тебя, а забыли!

Ушел от царя отставной солдат и чаю только полблюдца выпил. А царь Агей тотчас по всему своему



царству приказал, чтоб никто не смел принимать в свой дом Ивана, отставного солдата.

Пошел Иван ходить. Куда ни пойдет, куда ни попросится: «Царь пускать тебя не велел!» — говорят и ворот ему не отпирают.

Оплошал сперва Иван. Дошел он до своей родни, и родня его не признает: царь, дескать, не велел тебя привечать. Пошел Иван далее. Что же там?

Просится Иван в избу ночевать:

— Пусти, добрый человек!

— Пустил бы, да не велено! — хозяин говорит. — А коли пущу, так разве за сказку. Умеешь ты, нет ли сказки рассказывать?

Подумал Иван:

— Умею, пожалуй!

Пустил его крестьянин ночевать.

Рассказал ему Иван сказку. Сначала хозяин слушал без охоты: «Чего, — думает, — скажет солдат! Солжет да каши попросит». Глядь — в середине сказки хозяин улыбнулся, потом задумался, а под конец сказки и во все себя забыл, кто он такой, — думает, что и сам он уж не мужик, а разбойник, мало того: и царь он морской, а не просто бедный, да премудрый прохожий человек либо дурак. А ведь и нет будто ничего: сидит один отставной солдат, губами шевелит и слова бормочет. Опамятовался хозяин и просит еще сказку у солдата. Тот еще рассказал, другую сказку. На дворе уже светить начало, а солдат с хозяином спать еще не ложились. Иван-солдат уж которую сказку говорит, а хозяин сидит против него и плачет отрадными слезами.

— Будет! — сказал тут Иван. — Ведь я тебе всего дела — сказку сложил. Чего зря слезы тратишь?

— Да от сказки от твоей, — отвечает хозяин, — душе счастье и уму разумье.

— А вот царь Агей рассерчал на меня, — вспомнил Иван, — прочь велел мне уйти куда глаза глядят.

— Так тому быть и полагается, — сказал хозяин, — что царю в обиду, то народу в поученье.

Поднялся Иван с места, стал прощаться с хозяином, а тот ему говорит:

— Бери в избе что хочешь. Мне ничего теперь не жалко, а тебе в дороге, гляди, понадобится что.

— А у меня все есть, хозяин, мне ничего не нужно. Спасибо тебе!



— А не видать того, что есть у тебя!

Отставной солдат ухмыльнулся:

— А вот же и нет ничего у меня, а ты любое добро свое отдаешь. Значит, есть на что со мной меняться!

— И правда твоя,— согласился хозяин.— Ну, прощай. Да впредь заходи, гостем будешь.

И пошел с той поры Иван по дворам, по чужим деревням. Повсюду его за обещанье, что сказку скажет, и ночевать пускали и ужином кормили: сказка-то оказалась сильнее царя. Только, бывало, если до ужина он сказку начнет, то ужинать уж некогда было, и люди, кто слушал его, есть не хотели, поэтому отставной солдат прежде сказки всегда щи хлебал.

Так оно было вернее. С одной-то сказки, не евши, тоже не проживешь.



*Ефим Честняков*

## ЧУДЕСНОЕ ЯБЛОКО

*Сказка*

**Ж**или-были дедушко да бабушка, мужик да баба, и у них много ребят,— парнёков и девонек. Пошел дедушко в лес дрова рубить и видит: стоит старая-старая яблоня, а на ней большущее яблоко.

«Мне не унести»,— подумал дедушко. Яблоко росло не совсем высоко,— дедку по плечи,— а сучок, на котором оно выросло, был очень толст. Упирается дедушко обеими руками в яблоко, хочет покачнуть и плечами старается приподнять хоть немножко: нет,— тяжело...

— Ха-ха! — ровно что в лесу засмеялось.

— Мне не унести,— говорит сам себе дедушко,— лучше и не отшибать: пожалуй, на земле и мыши огложут или другие какие зверьки. Домой пойду, запрягу лошадь да и приеду сюда за яблоком. А созрело хорошо,— гляди, какое румяное, особенно с полуденной стороны.

И ходит кругом, любитесь, осматривает.

— Ха-ха-ха! — опять захохотало в лесу.

— Да что это? ровно кто засмеялся, и давеча послышалось мне,— говорит дедушко. Глядит: стоит старая дуплистая осина, а в дупле сидит птица сова, и глаза круглые светятся.

— Не ты ли это подшучиваешь? — спрашивает старичок.

— Ха-ха! — засмеялась сова.

А тетерев на березе:

— Кво-кво, не унести тебе яблока.

— Я на лошади приеду,— говорит дедушко.

— И на лошади не увезти,— говорит тетерев.

А дедушко:

— На́ вот, али на паре приезжать мне?

— Хоть на тройке, на четверке; сколь хочешь запрягай лошадей — не увезти тебе яблока... кво-кво...

— Али уж такое тяжелое?

— А так... кво-кво... впрягайтесь сами все, до-выгреба, сколь вас найдется в избе.

— Ха-ха! — засмеялась сова.

Дедушко не поверил, ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал и домашним — разбрыкают-де все раньше времени, соберется народ. Приехал и подъезжает близко под яблоню, чтобы яблоко упало прямо в ондрец\*. Привязал лошадь, взял ядреную дубину отшибать яблоко и ходит, любуется, со всех сторон рассматривает: уж больно румяно да красиво, жаль потревожить... И захотелось дедушку потрогать его рукой. И только прикоснулся лишь пальцем,— яблоко упало прямо в ондрец. «Созрело, видно, свалилось чуть не само»,— думает дедушко. Отвязал лошадь и нукает: не трогают. Сам подсобляет, и лошадь старается — ни с места ондрец.

— Ха-ха-ха! — засмеялось в дупле.

— Я тебе говорил,— квохчет тетерев.

— В самом деле, на лошади не увезти,— сказал себе дедушко,— лошадь неплохая, есть сено хорошее, ставь тут хошь колоколо,— увезла бы не хуже пары... здесь дело не в том.

Закрыв яблоко ветками на ондрец, чтобы не так приметно было, ежели бы кому случилось мимо идти, выпряг лошадь, сел верхом и поехал без ондрца домой. Приехал и говорит старухе да сыну с женой:

— Пойдемте со мной в лес, нашел диковину, сами увидите.

\* Так называют телегу в Костромской губ. (Прим. автора.)

Пришли и не могут тронуть, как ни стараются.

— Ха-ха-ха! — засмеялось в дупле...

— Я говорил, все-де до-выгреба,— квохчет тетерев.

— Мы и то все пришли, дома только ребята остались.

— Нужно и их... кво-кво...

И пошла баба в деревню, привела всех ребят — парнёков и девонек. И только нянька с самым маленьким дома осталась... Все запряглись и стараются... Но ондрец не идет.

— Ха-ха! — сова засмеялась.

А тетерев квохчет:

— Кто дома остался?

— Да маленький с нянькой там.

— Нужно и их.

Ушли за теми. И нянька пришла в лес, на руках держит маленького. Сама наваливается на ондрец и свободной рукой помогает везти, и маленький ручонками прикасается. Все подсобляют,— и поехал ондрец...

— Ха-ха-ха,— засмеялось в дупле...

А тетерев на березе:

— Кво-кво...

Привезли домой яблоко, и вся деревня сбежалась, глядит:

— Кто вам дал? — спрашивают.

— Бог дал,— отвечает дедушко.

Почали. Стали пробовать: сладкое, душистое, рассыпчатое. «И мне,— просят,— и мне!» Дедушко дает всем. Вся деревня наелись, похваливают: такого-де дива не слыхивали. И ели дедушко и бабушка, мужик и баба и ихние ребята — парнёки и девоньки... Кушали сырым, и печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму до самого Христова дня.

## ИВАНУШКО

(Сказка)

Вышел Иванушко на крылечко красной весной. Сияет солнышко... травы зеленеют, цветочки цветут, пташки поют. И слышит: «Кирлы-мурлы, кирлы-мурлы...» — высоко в небесах летят веревки гусей-лебедей.

— Гуси-лебеди! Спуститесь на землю к нашей избушке... унесите меня, куда желаю.

Услыхали гуси-лебеди; ниже и ниже, ближе и ближе подлетают к Иванову дому... и опустились у самого крыльца.

— Ка-ка-ке... садись к нам на спину... куда тебе надо?

— Да охота побывать, где вы живете...

— Садись, унесем.

Сел Иванушко на гусей-лебедей, и полетели...

Выше и выше... Прощай, деревня!.. все дальше и из виду вон пропала. Летят высоко, а внизу видно деревни, поля, горки-пригорки, речки-ручьи и река широкая в зеленых берегах. Идут плоты по реке, гребки скрипят, огоньки горят, плотовики меж собой перекликаются. И сидят у шалашек девицы да бабы, песенки распевают. И видят гусей-лебедей, а не знают, что гуси-лебеди несут парнёка: далеко — не различить, ровно точка какая темнеет; и не догадаются, что такое, незнаючи.

Дальше и дальше летят. Лес пошел гуще: елки да сосны, березы, осины, деревья разные. Пролетели волок большой. Опять видит Иванушко избы с дворами... житницы, овины и бани, всякие лачуги, мякинницы, соломенники, погребушки... и церкви. Народ ходит. Малые ребята указывают пальцами на гусей-лебедей. А они тут летели не совсем высоко. И увидали люди Иванушка:

— Ай, ай!.. глядите-ка...

А гуси-лебеди скорехонько пропеслись над деревней, уже над лесом летят; и дальше все лес, кажется, и конца ему нет.

Долго так над лесами летели...

— Скоро ли ваши-то дома? — спрашивает Иванушко.

— Скоро... вон за этим перелеском большое озеро... там мы и живем...

Прилетели на озеро,— и видимо-невидимо плавают всякой водяной птицы: лебеди, утки, гуси, гагары:

— Ка-ка-ка... ке-ке... вот какого гостя к нам принесли...

И посадили парнёка на зеленый бережок, на сухих кочёчки...

Там ягодки растут — князенички\*, морошинки да клюковки... И там гнезда гусей-лебедей и всяких птиц водяных.

---

\* Князеницей называют в Костромской губ. ежевику. (Прим. автора.)

Сидит Иванушко на хорёчке\* да ест ягодки-князенички... Его окружили мамушки-нянюшки птицины, ягодками кормят, всяко забавляют, в красивых шапочках, шляпках, платочках... Мительки\*\* летают, коростели кёркают, кулички куликуют... чайки кричат, соловейки поют. Ходят и летают пташки разряженные... в разных сарафанах, рубашках: в беленьких, сереньких, пестреньких, красеньких, синеньких, голубеньких, желтеньких, аленьких, зелененьких — всяких разноцветных... Походят и побегают, постоят и посидят и полетают... В тени и на солнышке... по земельке гуляют... На озере плавают... ныряют в воде, и на крыльях летают...

Играет Иванушко с ребятами-лебедями да с девицами-лебедицами, гуляет по садам и цветочкам, в ягодках разных...

Забыл и про дом... А когда вспомнил — и говорит: — Хорошо мне у вас, да стосковался по доме...

Простился со всеми, и понесли его домой гуси-лебеди. Летят-летят: опять внизу леса да деревни.

И говорят гуси-лебеди:

— В тот раз мы забыли побывать у дедушка-медведюшка — знакомый, тут живет в лесу... не желаешь ли к нему ночевать?

— Ладно... — говорит. И осередь дремучего леса опустились на землю. Елки и сосны стоят толщиной чуть не с избу.

А медведюшко сидел в черничнике, ел ягоды.

— А... здорово, здорово... а это кто?

— Да вот носили к себе в гости... Ночевать не пустишь ли?

— Просим милости... ко мне залетайте во всякое время...

И повел в свою избушку, накормил-напоил, ягод нанес — потчует.

— А старуха твоя, медведица, где?

— Ушла по ягоды... скоро придет...

Пришла медведица, полный кузов ягод ставит на лавку:

— Ух, как устала... Али гости у нас?.. вот и ладно. Мы попотчuem сыроехой из свежих ягод да черничным киселем... и еще испеку пшеничных лепешек.

---

\* *Хоречек* — кочка поляны или островок среди болота. (Прим. автора.)

\*\* *Мительки* — мотыльки, бабочки. (Прим. автора.)

— Мы уже все пробовали,— сказал медведь,— только лепешек не пекли.

А медведица говорит:

— Я сейчас затоплю печку — живочко напеку — поедят горяченьких, в ягодках вареных.

Скоро затопилась печка, ясно загорелись дровца сухие. Напекла лепешек и всех накормила.

Ночевали у медведишковых, а утром отправились в путь.

Прилетели в Иванову деревню, посадили его на крыльцо и сказали:

— Ежели будет нужно когда, выйди на крыльцо, кликни нас: «гуси-лебеди»,— мы и прилетим.

Иванушко стал останавливать:

— Останьтесь да погостите...

— Нет, пора нам...

Сказали и улетели. Увидали Иванушка дымящие — все обрадовались.

А он стал рассказывать, где был.

## СЕРГИЮШКО

*Сказка-бывальщина*

Жил-был парнёк Сергиюшко. Все ушли на работу, остался один дома. Сидит у окошечка. На улице было красно: травка зеленела, цветочки расцветали, и солнышко пригревало.

Прилетела пташечка, села на прутьшек в листочках перед окошком и чивиликает. И говорит пташечка:

— Дай мне крошечку хлебца, может, я тебе и сама пригожусь.

Парнёк положил крошечек на окошко. Птичка поклевала и улетела.

Пришла ватага с работы, принесла парнёку ягодок из лесу.

— Это тебе баушка береза послала.

— А где она живет?

— В лесу. Велела тебе приходиться по ягоды.

На другой день большие опять пошли работать на кулиги\*. И Сергиюшко просится:

---

\* Кулиги — прогалина, поляна среди леса. (Прим. автора.)

— Возьмите и меня к баушке березе.

— Да ведь мы далеко пойдем, устанешь, и комары в лесу заедят.

Заплакал Сергиюшко.

— Ну, ладно, пойдем!

Обули в маленькие лапотки и пошли на кулиги. Пришли и стали работатъ. А Сергиюшко спрашивает:

— Где баушка береза?

— А вот тут коло лесу... Ищи ягод у пеньков да далеко не отходи, не заблудися,— покрикивай нас.— Сделали ему берестяную коробичку:— Клади тут ягоды.

Ходит коло пенечков, ягоды забирает, а домашние воят:

— Сергиюшко, тут ли ты, не заблудися!

— Тут, тут! — откликается.

А сам все подальше отходит и очутился на тропочке. Идет и видит: стоит избушка, и гриб вырос выше крыши. Сергиюшко отворил дверки и вошел в избушку. Никого нет, а на шестке у печки лук да галанка\* печеная. Он съел луковку — хороша показалась,— сладкая. И галанки попробовал... Вдруг вошел старичок, маленький сам, а борода до полу долгая.

— Зачем,— говорит,— ешь мое доброе без спросу?

Испугался парнѣк.

— Тепереча не отпущу и домой. Забирай мне ягоды,— говорит старичок, подал ему большую\_коробицу и вывел из избушки.

Делать нечего, стал Сергиюшко брать ягоды в старикову коробицу. А старичок сел на скамеечку коло избушки, лапоть плетет и с виду парнѣка не отпускает. Долго брал Сергиюшко ягоды и как-никак набрал чуть не полную коробицу. Подошел старичок, поглядел и говорит:

— Ну, ладно, будет с тебя... пожалуй, ступай и домой.— И дал большую ягоду — с горшок.— Этот тебе за труды, получай. Ягоду ешь, а семечки посади.

Парнѣк обеими руками в обхватку взял ягоду и пошел по тропочке. Идет, идет, а по сторонам ягод так и усыпано. Сошел с дорожки, от хорѣчка к пенечку перебегаёт, срывает ягодки... да и заблудился. Вдруг видит: чивить-чивить, пташечка та самая, которая прилетала к нему на окошечко.

\* Галанка — так называют в Костромской губ. брюкву. (Прим. автора.)



— Что пригорюнился? — говорит.

— Да вот не знаю, как выйти.

— Иди за мной, — сказала пташечка и перелетела на другое деревце.

Пошел за пташечкой, — а она с кустика на кустик перелетывает да чивиликает:

— Вот близко кулиги, здесь и живу коло краю. Тут что-то делают ваши, они уж давно ищут тебя.

И слышит парнёк, вопят:

— Сергиюшко, у-а!

— Ээй! Я здесь-а! — откликнулся, обрадовался.

И видит: идут ихние, увидали его. И побежал к ним. Прощай, пташечка!

— Ну, слава Богу, — говорят, — а мы напугались. Ищем, думали, что уж медведь съел тебя... Долго ли до греха. Говорили тебе: «не отходи, парень, далеко да откликайся». Ладно, нашелся. А ежели бы совсем заблудился, съели бы звери или с голоду умер... Пропал бы Сергиюшко наш.

Пришли к шалашке.

— Ешь, вон каша в котле, тебе оставили. А это что у тебя? Глядите-ка, какая ягодаина у него. Где ты нашел? Мы никогда не видывали.

И стал рассказывать, что с ним приключилось. Домой пришли — всем казали ягоду. Стали есть и другим давали пробовать.

А семечки Сергиюшко посадил — и растут ягоды величиной, как самые большие горшки. И весь народ стал садить от этих семян. Но случились весной морозы, а лето сухое и жаркое; все засохло, ничего не уродилось. Только в одном местечке, в ложбинке возле ручейка, сохранился кустик Сергиевых ягод. Зеленцы\* были уже большие, как шоргунцы\*\* Но огороды плохо загорожены, вошли коровы да овцы и лошади — все съели да затоптали и копытами выбили. А семян этих ни у кого в запасе не было. Всем понемножку досталось — и рассадили всё. Так и перевелись Сергиевы ягоды. Горевали люди, а Сергиюшко больше всех.

---

\* *Зеленцы* — незрелые зеленые ягоды. (Прим. автора.)

\*\* *Шоргунцы* — большие бубенцы, которые привешивают на шею лошади или к узде. Шоргунцы — шерготят, то есть позвякивают. (Прим. автора.)

Стал подрастать и с ребятами ходить в лес по грибы да по ягоды коло кулиг по тропинкам. Ищет избушку под грибом — ровно пропала, как увидел во сне. Не знает, где живет и баушка береза.

## РУЧЕЕК

Ручеек вытекает из колодца под Михайловой горой. Это самый низкий колодец во всей деревне. С небольшим широким обрубом. Вода в нем так близко, что бабы черпают прямо с коромысла. Он не глубок, и сквозь прозрачную воду видно песчаное дно. Летом всегда полноводен. А зимою родник не поспекает копить воду, и под конец дня бабы вынашивают ее чуть не до дна. И вода бывает тогда мутноватой, потому что, черпая, задевают ведрами дно. От колодца и до самой реки ручеек зимою протекает под снегом. И только у самого колодца явственно слышит он, как говорят и смеются бабы промеж себя да на лошадей покрикивают, что прогонят поить на колодец. А дальше — худенький да маленький, едва переливаясь под снегом, чуть-чуть слышит, как ребята кричат на Михайловой горе, на коньках да на санках катаются. Дальше течет он между гор: на одной стоит деревня, на другой — старая часовня, вся занесенная снегом, и поле под снегом лежит. Течет-течет ручеек — вот встретились колья какие-то — изгородь, видно — и жерди конец опустился к земле — и некуда створотить ручейку — пробирается промеж кольев, смачивая конец жерди студеной водой. И дальше под снегом бежит.

Но что это? Свет божий блеснул, и морозный зимний день, и голубое небо, и яушины в овраге стоят все заиндевели. И на горе стоит деревня, и от деревни по крутой горе тропинка спускается. А сам ручеек течет по обмерзлой лоханке, как по желобу, и по бокам лоханки все лед да лед, толстый да гладкий, и намерзает все больше. И видит — из деревни по тропочке баба с девонькой идут и на плечах несут коромысло с рубахами да сарафанами.

Пришли к колоде, разложили, что было на коромыслах, заткнули рубахой в колодце окошечко, в которое вода вытекала, и стали полоскать в свежей воде рубахи

да сарафаны. Не понравилось это ручейку: да делать нечего, он было назад, да нет — там бегут все новые струйки и назад не пускают. И стала копиться в колодце вода все больше и больше, даже из колодца пошла кверху. А они полощут рубахи: вынут, положат на широкий обмерзлый конец колоды и давай колотить гладким вальком по рубахе — только брызги летят да пыль водяная во все стороны. «Вот тебе и светлые струйки мои, летят да замерзают», — думает ручеек. А того не знает, что все равно — придет весна, прогреет солнышко, и все ледяные капельки растают и потекут ручейком вместе все... Оттого, что мыли грязное белье в колодце, вода стала мутной, но вот оттолкнули в колодце окошечко, обрадовался ручеек и сразу бросился бежать большим валом из окошечка дальше, так что и снег прихватил, который поближе лежал, и понес с собою.

Бежит дальше, все дальше оврагом ручеек. Местность становится ниже да ниже, камешков больше, попадаются и коренья яушин, и не видно под снегом ручейку, что уже под шабалой яушинником протекает. И вот под горой, уже на ровном месте, он опять выбежал на свет: опять голубое небо, и снег, и мороз, и яушины, покрытые инеем, как серебряной бахромой с хрустальными да бриллиантовыми звездочками. Блеснуло солнышко и золотом отразилось в холодных струйках ручейка. «Ага, здесь можно и отдохнуть — это место, видно, не замерзает», — подумал ручеек. И в самом деле, это место — солотина — и зимой не замерзает.

По земле ржавчина, и сюда прилетают пташки попить воды, побегать по мокрой земле и поклевать ржавчины. Клесты и снегири сидели у ручейка. «Кто вы такие?» — прожурчал по камешкам ручеек. Снегирь ответил задумчиво: «рю... рю». Слепушки на яушинах: «ци... ци». Клест что-то прочевкал, а остальные молчали. «Пинь-пинь... пинь-пинь...» — перелетала синичка с прутика на прутик, слетала к ручью, набрала насоком воды, подняла головку, зажала глазки, заморгала и стала глотать... А ручеек поджидал воду сверху: бабы в лоханке опять заткнули рубахой окошечко и задержали воду. Но вот слышит — бежит вал опять, прибежал к этому месту и пролепетал: «Беги дальше, а я отдохну здесь». И побежал ручеек к истоку. Когда струйки втекли в исток, они грустно что-то журчали, может быть: «Прости,

прости, родной родничок, теперь мы попадем в реку и в реке потечем дальше. Красное солнышко паром подымет нас на воздух, вольный ветер понесет нас облаками, куда только захочет. И если велит ему бог, может опять принести нас сюда, на родину, и опять упадем мы дождевыми капельками на землю и соберемся в родной родничок. Прости... прости...» И потекли струйки истоком, вместе с водой Согри Чернявы стали втекать в речку. А в реке много-много воды течет — все из разных ручьев да речек. «Добро пожаловать... добро пожаловать... — говорят нашим ручейкам воды реки, — воды у нас много, у нас будет привольно. Смотрите, какие разные рыбы плавают здесь. Только вот жаль — подо льдом темно-то и глухо. А вот подождите — весна: лед унесет, и увидим красное солнце, всякие птицы: кулики, лебеди, гуси и серые утки к нам прилетят. Плоты и барки пойдут. И малые ребята станут ходить по берегам орехов искать. А летом все здесь купаются, плавают в лодках. Ах, хо-рошо! Побежим... побежим!..»

Вот наступила масленица. Ребята катаются на санках да на рогожах — живмя живут на хозолковой горе от утра и до вечера. Наступил и великий пост... середина поста... Солнышко стало припекать, прилетели и жаворонки. Дороги раскоровели. И потекли везде ручьи да потоки. И привольно стало нашему ручейку. Только вода мутная да навозная попадает в колодец, и бабы стали жаловаться на воду. А ручейку хоть бы что — зажурчал и раскинулся. Гулом бежит под горой, только пена летит. Все с собой несет: и палки, и снег, и даже камешки поворачивает — знай наших. Будто люди и не видят, откуда эта прыть взялась, что стали таять снега да сугробы.

Поля еще снегом покрыты, а на припеке уже растаяло, и слышит ручеек, ребята у часовни играют в шляки, смеются и друг с другом препираются. А по пригорочкам, где солнышко пригревает, приталинки. И лоханка давню уж обтаяла вся. Когда ручеек притекает на луг, там еще нет никакого разлива — белым снегом покрыты еще луга, только лед посинел на реке.

Время идет. Солнышко припекает все сильнее, и вот уже снег сошел со всех полей и пригорков. Зазеленели

лужки и озими, и на травных местах закрасовались первые цветочки. А на шабале уже говор, и смех, и веселые речи, песни поют и играют. Шумит под горой ручеек, и любо слушать ему молвь молодую. А когда прибежал на широкий луг, весь луг был уже залит водою. И над разливом носились пикушки-утки да травники. И ребята катались на плотиках. Эх, раздолье какое!

Вливается наш ручеек в широкий разлив. «Здравствуй, здравствуй,— сказала в разливе вода.— Вот нас стало больше. Нужно удобрить луга илом, чтобы росла трава лучше и чтобы в калужинеросло больше желтых цветочков, а на песке— стопцов и кислицы. И нужно подольше на лугу постоять, чтобы мужики успели сплотить вот те деревья и плоты и на реку выгнать из разлива. Рыба будет метать икру, и нужно, чтобы маленькие рыбки успели из икры выйти. А потом мы вместе с разливом уйдем отсюда и потечем вниз речкой. А пока здесь поживем, погуляем. Утки будут плавать и купаться в разливе. Кулики на тоненьких ножках станут бродить у бережков, а травники над нами летать и просить: «тлавы... тлавы... тлавы...» «Завтра Егорьев день,— продолжали говорить водяные капельки,— девоньки да бабы погонят вербой скотину и будут бросать в разлив вербу. А смотрите-ка, вон там, на горе, мужики уже начали поле орать под овес...» Как только спал снег и зазеленели поля да луга, присмирел опять ручеек, тихо да ровно журчит по камешкам разноцветным. Только разве после дождя погуляет да расшумится.

И уж хорошо ручейку красной весной. Под Михайловой горой ходит скотина — вязко и грязно, набросаны разные палки. Зато когда дальше за изгородь он утечет — травка зеленая растет по берегам, желтенькие фиалки и голубые машины глазки глядят в ручеек. Незабудки и кашка растут, украшая пригорки. Мать-и-мачеха бело-зелеными лопушками устилает лужок и лоханки. Там рассыпаны мелкие камешки и желтенькие горошинки на пепелище после кузницы, она давным-давно была там, да сгорела.

После красной весны настало теплое лето. И увидел ручеек, как вся шабала от самого Афанаськина дома покрылась цветами. И всякие там были цветы: красная и белая кашка, желтые и белые попки, машины и аютины глазки, синины ножки, настины сапожки, гусиный

и мышинный горошек, петушки и курочки, коровьи сердечки, барашки, золотые сердечки, олины носики, дунины ушки, танины звездочки, одуванчики и балканчики, бурачки, одарьины бусы, аленушкин пальчик, иванушкино копытце, дид и ладо. Незабудки, маргаритки, козлиные ножки, овечьи хвостики, бараньи рожки, петушинный гребешок, алоцвет и белоцвет, сосунки, иван-дамарья, кукушкины слезы... И всякие, всякие там были цветы.

И ручеек застенчиво прятался в тень от улыбок цветов, и опять появлялся, украдкой глядя на цветы, и по камешкам мирно журчал, играя на солнце струями.

Течет ручеек по оврагу, и тенисто ему и прохладно. То в залежне пропадет или убежит под корень, то опять выбежит и засмеется на солнышко. Солнышком проблестят хрустальные струйки и опять пропадут в тени широких лопушек да высокой травы. Вот большой камень лежит в ручейке: сверху сухой и горячий от солнышка, а снизу мохом оброс, и пьет мягкий зеленый мох воду из ручейка, цепляясь за камень. Тут много камешков всяких: и больших и маленьких, кругленьких и некругленьких, черненьких, беленьких, красненьких, зелененьких — и всяких разноцветных. Бежит, бежит ручеек — то поворотит недовольно, когда встретит большие камешки, то зажурчит сказочным лепетом по камешкам мелким. Это он разговаривает с цветочками, которые растут у самого ручейка на солнышке. Они глядятся в его маленькие струйки, как в зеркальце, и вместе с солнышком ему улыбаются.

— Здравствуйте, здравствуйте, цветочки. Пьют ли ваши маленькие корешки мою светлую воду? Посылает ли солнышко золотые лучи?

— Благодарим, благодарим, ручеек. Нам хорошо здесь. И корешки наши пьют твою светлую воду, и солнышко нам улыбается золотыми лучами.

— Только вот пчелка немножко попортила мой цветочек,— сказала маргаритка,— но мне уже лучше...

Когда же ручеек падает с маленькой ступеньки, он громче тогда говорит, и его слышат и дальние цветочки:

— Эй, вы! Слышите ли, я теку-у-у... я теку-у-у...

— Слышим... слышим,— отвечают цветы.

А в яшиннике, на полянке, играя лучами солнца, сидят две девоньки, и за поясом у них по берестяному рожку. Они срывают цветы да венки завивают. Вот одна сделала венчик и надевает на подружку. А другая стала примеривать свой на шее. «Ах, хорошо тебе идет этот веночек»,— сказали обе разом и запели песенку:

Песенка, ты песенка,  
А к ручью-то лесенка.  
Мы по лесенке сойдем,  
Мы по камешку возьмем  
Во хрустальном ручейке,  
Поиграем на песке.  
Камешки разноцветные,  
Девушки разодетые,  
Песенки непропетые.  
На песочке поиграем  
Да водички изопьем.  
Ах, и радость где — не знаем.  
Где не чаем — там найдем.  
Ох, вы гой еси, цветы,  
Несказанной красоты,  
Травки милые, былинки  
И жемчужные росинки.  
Каменистый ручеек.  
Говорливый наш дружок.

Мы венки себе плетем  
На зеленом на лужке,  
Сказки, песенки поем  
Да играем на рожке:  
Ту-ру-ру, ту-ру-ру  
Рано-рано поутру...

На горе у Афанасьиной избы появились маленькие ребята — смеются, разговаривают. И как легкие мячики перескочили через изгородь, сбрасывают штаны и рубашки, бегут на речку купаться по тропочке склоном горы. Только пыль стоит да ноги мелькают. Вот добежали до ручейка. Кто перескочил, кто ноги мочит да бродит в студеной воде и выбирает камешки позанятнее. Другие остановились на минутку и булькают воду ногами.

- Гляди-ка, Паш, какой красненький камешек.
- А у меня-то ровно яичко.
- А у меня какой — чертов палец, чертов палец?
- Глядите-ка, ребята, какая раковина...

И забродили все по ручью. «Ах вы,— думает ручей,— вам бы только воду мутить, а песенок моих не слышите вы. Ну, бегите, бегите...» Прибежали ребята на речку впереди ручья и прямо с берега бросились в воду.

Когда прибежал ручеек, они уже купались у истока, на мели, в маленькой курье. Одни плавали на животе и булькали воду, другие на спине. Кто нырял, фыркая и отдуваясь, кто спускался к курье и доставал дно. Умывались, кувыркались, брызгались водой. Выплывали к берегу, бегали и садились на теплом песке и грелись на солнышке. Пересыпали руками песок, из утошника делали уточек и пускали плавать по реке.

А немного повыше истока на мели в белых да пестрых полотняных рубашках стоят маленькие рыболовы с удами в руках. У одного засучены штаны выше колен, у другого совсем сняты и висят на плечах по обе стороны головы штанинами наперед, вроде башлыка. «Экие ребята, разогнали всю рыбу», — жалуются на купальщиков, напряженно глядят на песчаное дно, не схватит ли какой простофиля-пескарь. Пескари ходят стадами по дну. И вот оболонули весь крючок, клюют наперехват — и совсем потащили — поплавок укурнулся — дернул за удочку мальчик и вытащил пескаря. И жаль ему рыбки, думает: «Тоже ведь больно ей и охота бы плавать и жить в светлой воде». Снята с удочки рыбка и положена в бурачок, привешенный за поясом. А в бурачке налита вода, пусть хоть немножко еще поживет рыбка. Поправлена удочка, и брошена леска в речку, и опять мальчик за удой следит. Пониже истока тоже паренек стоит удит, и тепленка тут же разложена. Горит красненький золотой огонек, потрескивают сухие дрова яудиновые, и дымок поднимается.

Не понравилось ручейку, что пареньки удят рыбу. Ему стало грустно, и будто он хотел им робко сказать, что грех обижать божью тварь. Но они не слышали. Только те, что сидели без удочек и любовались, как плавают рыбки, будто слышали что-то: как грустил и лепетал ручеек.

Перевези... перевези... перевези... — пролеела пташка речная дугой около берега, над самой водой, и замолкла опять. За то, что она чивиликает так, ее перевезихой зовут. Вот сверху возле того берега на лодке плывут два мужика — в город за хлебом поехали. Тихо и мерно плещутся весла, погружаясь в реку, и мужики что-то промеж себя разговаривают. Проехали... Тихо опять... Ребята оделись в рубашонки, домой убежали. Все стало тихо... Солнце печет, и стрекозы и мухи звенят над водой.



День клонится к вечеру. В овраге стало прохладнее. Понесло сыростью. Вытягивались тени от горы и от яушинника. В деревне стало шумнее. Западная сторона неба разукрасилась розовой вечерней зарей. Послышалась песня. Бабы и девичьи голоса выводили: «Как на нашей на сторонке хорошо, привольно...» Спокойная радость и грусть бесконечная слышались в песне протяжной, как века, знакомой, как жизнь родная, и заунывной и примиряющей.

Солнышко закатилось. Стали замолкать голоса. Выплыла на небо луна и осветила деревню, гору, яушинник, ручей. Запел соловей: чок-чок-чок-чок, вить-вить... чок-чок-чок-чок, вить-вить... и все стало тихо — деревня заснула.

Вот где-то пролаяла собака, промычала корова, стукнуло дверь, жук пролетел, и тихо опять. А соловей: чок-чок-чок-чок, вить-вить... И ручеек журчит и лепечет. Луна отражается в его струйках. Где-то в овраге и за избами кто-то таинственно откликается на то, как журчит ручеек и как поет соловей... Ух... ух... — слышалось в лесу. И опять все замолкло.

Вот белый туман поднимается над рекой и над оврагом. Месяц играет таинственным светом. В волнах тумана... что это? Облако ли, одежды воздушных созданий. Вот они веют и вьются, резвясь при луне. Русалки. Волосы их струятся серебряным светом над самой водой, над оврагом. Вот будто прорвался туман на песке. Русалки сидят и при месяце волосы чешут. Вот они вышли на луг и кружатся в овраге, по склону горы. Лепечет ручей и журчит по камням. Это русалки поют серебром. Аааа...ааа...ааа... ла-ла-ла... ла-ла-ла... слышится где-то. Плеснуло в речке. Прошумело в лесу. Ух... Ух... уа... уа... заплакало там.

Туман поднимается все выше и выше. Вот уж у самого Марына дома клубится и стелется близко к траве. Кикирики — запел петушок. Кикирики! — другой услышал и ответил. Кикирики! — третий запел. Туман исчезает. Русалки пропали. Восток зарумянился, и скоро покажется солнце.

Накануне Афанасьева дня часовенный староста через ручеек положил дощечки, прошел в часовню и там что-то устраивал. И какая-то девушка брала воду в колод-

це и примывалась в часовне. Ручеек догадался, что завтра Афанасьев день и часовню готовят к празднику. Прошла ночь. Наступил жаркий солнечный день, и, когда солнышко поднялось до полудня, через ручеек проходили нарядные люди: мужики и бабы, старики и старушки, девицы, ребята и малые дети — все нарядно одетые. Красные, алые, голубые, белые платочки, фартуки и сарафаны — во всяких нарядах стояли на лужке лицом к часовне, и все без шапок. Скоро собралась вся деревня и те, которые пришли в гости на праздник, — все стояли нарядные и молились богу. Потом вынесли из часовни крест, иконы, хоругви и пошли вокруг полей и вдоль деревни ходом. Носили иконы по домам, и в домах пели молитвы. Потом опять принесли все и заперли в часовню до будущего года. Два дня в деревне гуляли и веселились: играли гармони, слышались песни, смех и веселые речи, пьяная молвь и шумные разговоры...

Время идет. Лето к концу подвигается. Пришел Ильин день, была и Смоленская. Вот уж и Спасов день. Скотина давно уже гуляет по скошенному лугу. Рано утром в Спасов день ребята ходили с лукошечками ловить лошадей на лугу. В деревне позванивали шергунцы, бубенчики и колокольчики. Слышались голоса и покрякивания: «Карько, Рыжко, тпру... стой...» Лошади ржали, топали. Мужики и ребята смеялись, разговаривали. Вот приехали бурдовские, глебовские, пора и нам, ребята. Засвистали, загикали, замахали плетками, затопали лошади — только пыль стоит и летит земляная ископыть. И скоро уехали все. Мало-помалу в деревне собираются в кучки девки, ребята и малые дети: скоро от Миколы поедут и будут вдоль деревни разганивать.

Вот и пыль запылилась — по деревне от Миколы и полем скакали на лошадях. Веселые окрики ребят и мужиков мешались с топаньем и ржанием лошадей — карих, сивых, вороных, рыжих, чалых, пегих. И вот отделились вперед несколько лошадей, вскачь вдоль деревни несутся, развеваются рубашки и волосы у лихих ездовых. Народ высыпал на улицу — на угородах, на бревнах, на амбарушках сидят, из окошка глядят на веселое зрелище. Гей-гей!.. Вот и отставшие скачут гурьбой по деревне. А одна лошадь, понуря голову и поднявши хвост, побежала в сторону, к своему двору. Другая что-то замаялась: вертится кругом и не хочет

идти — голову кверху и голову вниз. Седок покраснел, застыдился. «Слезай да веди его на луг, накатался», — говорит один из мужиков, его батька. И парень сходит с лошади и, раскорячившись, с трудом переставляя ноги, ведет лошадь отпустить в луг.

И не один раз вдоль деревни проедут — разганивают. Вот едут и бурдовские, за ними глебовские. Остановившись в деревне, топчутся лошади. Ржут, машут головами, развеваются гривы, хвосты разукрашенные, звонят шоргунцы, колокольчики, и седоки лихо сидят, закручивая головы взнузданных лошадей. Лошади пятятся, пляшут на месте, трясут головой и грызут удила. А бубенчики-колокольчики звонят, звонят, и поют, и играют. Вот выделяется пара: рыжий горячий и пегая кобыла. Вырвались и разом помчались. Горячий объехал сначала, но в конце деревни замялся, и пегая опередила. «Пегая, пегая взяла!» — пегию одобряют.

«Сшибла... сшибла...» — слышались голоса. И лошадь бежит без седока. Растрепалась узда, и хвостец по земле потащился. А сшибленный парень, без шапки, встает — один бок в земле да песке и на одну ногу прихрамывает. «Ну что, больно убился?» — «Ничего», — с трудом выговаривает и неровно бежит за лошадью, словно ни в чем не бывало, стараясь не показать виду, что больно ушибся. Лошадь изловили другие — сел и ровнехонько поехал, сдерживая лошадь.

Уехали глебовские, бурдовские — наши остались одни. Еще поразганивали и стали в луг уводить лошадей. Скоро народ разошелся. Затихло в деревне.

После обеда молодежь заиграла в гармонь и пошла гулять в поле, по горохам (по обычаю только в Спасов день).

Настал и успенский пост. Молоко не дают. Пироги пекут постные, намазанные. Рожь уже сжата. Горох косят. Воздух свежеет... Ребята перестали купаться ходить: стало не жарко — вода холодна. Дни короче, и по вечерам уже приходят с работы в темень. Красненькие огоньки зажигают в избушках. Похоже на осень. Скоро идут две недели поста. Недолго уж ждать и Фролова дня (18 августа). В этот праздник гуляют три дня, а то и четыре. В управные годы ко Фролову дню кончают овсяную жниву. Рожь и овес, ячмень и пшеница — все сvezено на гумно и сложено в кучи.

Закурились овины...

Еще накануне Фролова дня натопили жарко печи и поставили пиво. И вечером поздно горит лучина в светце, потрескивает: если ровно горит и светло, то к хорошей погоде, если дует огонь синенькими, то к дождю, поет — это к ветру. Малые ребята, девоньки и пареньки ждут не дождутся, когда старые бабушки и матери будут вынимать корчаги из печи да сладкое сусло спускать. А спустильницы — доски прожелобленные — уже приготовлены: один конец на столе, а другой — пониже, на кадке. Вот вынесли большие корчаги из печи — тут солод варился с мякиной — и поставили на спускальницы, ототкнули деревянные затычки — и потекло сусло по желобочкам в кадку. Падает сусло сладким ручейком и поет и позванивает разными голосами (как в сказке): я, сусло, теку-у-у... сладкое сусло, теку-у-у-оо-аа-уу. Раздается в кадке сладкая музыка.

Ребята стоят дожидаются: «Баушк, как сусло-то?» Бабушка нацедила в деревянный ковш горячего сусла и поставила на залавок. «Подождите, остынет, а то не ожгитесь», — сказала. И когда оно поостыло, ребята пили теплое сусло. Потом легли спать. Ребята уснули, и губы и щеки у них были запачканы в сусле. А бабушка долго еще возилась около корчаг.

Накануне закурились бани, понесло пряжем и сладеньким пивом. К Фролову дню поспевают хлеба, капуста, галань. Скотина сыта. Молоко, то-се — все свое... Этот праздник самый сытый и обильный в году. Все от стара до малого ходят в гости друг к дружке по домам. Ребята-женихи и подростки и маленькие ходят по домам вопить коляду:

Коляда, коляда  
К Николаю на двор.  
У Миколая на дворе  
Стояло три терема —  
Столбы точеные,  
Верхи золоченые.  
Что в первом-то терему?  
Сидит сам господин.  
Во втором-то терему  
Сидит сама госпожа.  
А в третьем-то терему  
Малы деточки.  
Чисты звездочки.  
Что не просит коляда  
И ни пива, ни вина.  
Только просит коляда  
По пяти яиц с двора.  
Коляда, коляда...

Фролов день на краю осени, и красным девушкам не всегда бывает тепло ходить с песнями в кругах на улице: дни покороче. Гулянье захватывает уже вечер. И вечерами девушки сходятся на беседки.

После Фролова дня свежая сытая осень. Курятся овнины. На гумнах молотят. Еще до свету, утром, во всех сторонах: туки-туки-туки-тук. Хлопают мялки: тяф, тяф... Это мнут лен. А в избе слышен запах от теплого льна...

Как во нашем во лесочке  
Спелы ягодки на кусточке.  
Сладки ягодки собираю,  
Звонко песенки распеваю.  
Во берестяну коробочку  
Кладу ягоду земляничку.  
Вышла девушка на долинку,  
Встала ноженькой на былинку,  
«Ой ты, гой еси, свет былинка,  
Легка травинка ты лесная,  
Ты взыграй-ка, моя тростинка,  
Моя дудочка пояная.  
Заиграй-ка ты песней звонкой  
Над родимую над сторонкой.  
Уж и даль ты, ширь голубая,  
Быстра реченька ты лесная,  
Младе девушке улыбнитесь,  
Звонкой песенке отзовитесь...»

## ЛЕТУЧИЙ ДОМ

Жила-была деревня порядочная — дворов эдак 30 или 25. Стояла в лесу, от жилых мест неблизко. Названия никакого не имела. Окрестные же селения звали ее Выскирихой от слова «выскирь» (пласт земли вместе с корнями сваленного ветром дерева). Пробираться в эту деревню из других мест было затруднительно — хорошей дороги совсем не было. Сообщались больше зимой, когда болота замерзнут, колоды, кочья и выскири будут засыпаны снегом. А летом возможно было проехать только в самое сухое время, да и то не в каждое лето, а в особенно жаркое, если высохнут болота и ляжбины — те топкие вязкие места, через которые нельзя иначе пробраться, если вода в них не иссохнет. Деревня расположилась по склону горы с полдневной стороны к солнышку. По дну оврага бежит всегда полноводная ричка со свежей водой из снегов. По другую сторону то круто, то изподвольно подымается другой

склон, покрытый смешанным лесом с преобладанием елки и сосны. По горе, ближе к ричке, столпились, по-разному покосившись, закоптелые бани с обветшалыми потемневшими тряпичками на крыше и маленькими дымовыми окошечками, тоже почерневшими от дыма.

От бань идут тропочки к ричке. Она протекает от них совсем уж близко. Пovyше на склоне горы начинаются деревенские постройки — избы, сараи, амбары, мекинницы, мельницы, овины. Построены просто: бревна толстые, окошки волоковые маленькие и навряд нашлись бы со стеклами во всей деревне, просто были натянуты пузыри от животных. Они пропускали немножко свету во внутренние покои избышки, но сквозь них не видно было, что на улице, разве что в худое местечко. Кругом деревни поля и новины. Там сеяли пшеницу, рожь, горох, ячмень, овес, репу, лен, коноплю. Около домов росли черемухи, яблони, ягодные кусты и овощи в огородах. Жители этой деревеньки не видели городов, железных дорог и пароходов. Немногие из них бывали только в ближних деревнях. И что кому приходилось слышать о таких диковинках, то им казалось совершенно чудесным, как сказка. В тот год уродилось много всякого, и вообще деревня ничем не маялась. Старики не помнили неурожайных годов. Всяких ягод наносили, засушили. Разные ягодные кисели варили да ели. Год был управный, погода ведренная. Дождички освежали, а не мешали работать — все шло чередом. И ко Фролову дню все поля яровые да озимые были опростаны и все перевезено в гумна. Перемолотили, а впереди была еще целая осень. Солнышко красит и пригревает, дождички мочат, грибы растут близехонько. Носят, солят и сушат, чтобы в досталь вполне было.

Но вот в один день случилось что-то необыкновенное. Слышат жители какие-то чудесные музыки и напевы и не знают, что, где и откуда. Всем казалось, что это на небесах поют и играют. И видят, невдалеке от деревни летит немного повыше леса похожее на дом, но гораздо больше избы с сараем и в разноцветных украшениях. И во сне такого не видывали. И напев играют в этом летучем доме, сидят и гуляют необыкновенные люди, так нарядно одеты — никогда таких не видели. Пролетает дом дальше. И будто опустился где-то на кулигах, версты за 3—4 от деревни. Или пролетел дальше. Не могли выскриевцы решить то достоверно. Все

стоят как зачарованные, и долго не могли опомниться. Наконец стали переговариваться, что это такое.

. А в деревне больше половины народу не было дома — ушли по грибы. Время идет. Свечерелось, и ночь наступила, а грибников нет, не приходят. На другой день рано утром пришли бабы, у которых дома были грудные детки, без грибов, безо всего и в цветных нарядах. И сами стали ровно не такие, веселые какие-то, ровно в царстве каком побывали. Взяли своих ребят и говорят: «Мы-де опять пойдем туда. Летучий дом оставился на наших кулигах. Пойдемте и вы все. Все равно не дождетесь своих. Все там. Забавляют и кормят хорошей едой (варят и наши грибы). А нарядов наложены целые комнаты». Пришли эти бабы и за ними часть народу отправилась: няньки и мамки с детками, малыши. «Смотрите, не подвох ли какой», — говорили которые постарше. «Полноте, тут все позабудешь, кабы не наши ребята, и мы не пришли бы. Забыли мы все, ровно и не было дому». И ушли. Долго поджидали их те, которые остались дома, и наконец решились и сами идти.

И пошли все — старые и малые, ребят всех забрали. Во всей деревне осталась только одна молодая девица, невеста уже по летам: она была хвора, хоть и выздоравливала, но едва бродила.

Приходят на кулиги. Слышат, поют и играют чудные музыки, и видят, стоит середь луговины чудесный дом. А кругом его, как табор цыган, выскиревский народ — сидят и разгуливают, и люди невиданные в красивых нарядах гуляют, с народом разговаривают. Народ ходит в их дом: все осматривают, примеривают платья, нарядами любят.

Подходят эти, которые после пришли. Их приветливо встречают свои и приезжие, все показывают и рассказывают, что и к чему, потчуют кушаньями. И вот приглашают всех в дом занять места, будет-де красный стол. Все с детками входят, рассаживаются. Столованье начинается. Кушанья все так хороши. Поют и играют музыки настолько очаровательно, что забыли совсем про свое прежнее жило. Больше-де нам ничего и не требуется, здесь бы жить оставаться... Тогда летучий дом подымается и летит. И все в восторге. Глядят сверху на свои кулиги. И полетели над лесом все дальше. Видят, места пошли все новые, незнакомые. Прощай, Выскирево!

А дело вот в чем. Летучий дом был из такой богатой заморской страны, что самый бедный жил там, как царь

все равно — во дворцах и было у него всякое имение. Население было очень людно, но все-таки не хватало для новых городов, потому что там города стоят так часто, как наши деревни. А самые большие города покрывали землю верст на сто, со всякими садами, купальнями, оранжереями. Да и в воздухе над городом находились дома. Когда прилетел летучий дом с выскривцами в свою страну, там поселили их в новый город. Стали они жить в прекрасных домах, во всем хорошем. Вспомнили, что в деревне осталась хвора я девица Варвара. Да ничего не поделаешь, далеко... «Она поправлялась,— говорят между собой,— верно, уж совсем оздоровела, а у нас там и хлеба и добра всякого ей хватит надолго».

Осталась Варвара одна и ждет, долго ли не придет народ с кулиг, уж, верно, ей принесут гостинца невиданного. День прошел, а никто не приходит, и другой — а нет никого. И скушно, тоскливо стало девице. Чует сердцем, что-то неладное. «Что-нибудь случилось», — думает Варвара, а сама оздоравливает. Стала из дому выходить и по уллице помаленьку похаживать. Стоит целая деревня спокойнехонька. Мосты будто что заперты. Ворота которые отворены, которые нет. Скотина приходила в растворенные дворы и, переночевавши, уходила сама. Где ворота были затворены, там коровы и овцы ночи стояли у своих дворов. А иные совсем не приходили, ночевали вдаль от деревни, там, где гуляли. И может быть, им нравилось, что их не тревожили. Лошади немногие лишь приходили в деревню.

Варвара отворила все дворы, которые были затворены, чтобы скотина могла входить и ночевать там. Пробовала и доить. Ходит с одного двора на другой. Надоила множество подойниц и разливала в каждом доме по крынкам, ставила, где след, в амбары. Крышечками или чем иным закрое т, чтобы хозяева, когда придут домой, нашли все, что им принадлежит, в том же рас порядке, как шло у них. Но дворов было много, дойных коров было, может быть, не один десяток. Пожалуй, и всей ночи не хватало Варваре, чтобы с доеньем управиться. Да и посуда уже была занята. Крынки и горшочки во всех избах были заполнены. Хлеба ть было некому. Варить негде, печки нетоплены. И вообще на все не хватало рук. Наконец, она доила только коров на своем дворе, да разве у родни, но которые были поближе. Молоко у коров запустилось, и домой стали хо-



дить иные не каждую ночь, стали привыкать ночевать, где гуляли, и постепенно одичали.

Кроме овец, коров, лошадей, в деревне жили еще курицы с петухами и, конечно, кошки. Свиной совсем не было, и собак не было. Курицы пока что кормились сами: в огородах, в полях, на гумнах им было привольно. Иные даже перестали ходить и домой на наседали. Кормятся, гуляют где-нибудь около поля, никто там их не пугает, ястреба разве только. И ночевать стали устраиваться поблизости от своего корма на черемухах, в овинах на колосниках — и дичали, стали похожи на тетеревы.

Варвара в некоторых домах и куриц покармливала. Только у ней не хватало сил и досуга. Еще собирала Варвара яйца и оставляла их в посудине с яйцами в тех домах, кому гнезда принадлежали. Часто осматривать все куриные гнезда в деревне ей было некогда, и она оглядывала в неделю или в две недели раз. И потому, когда приходила, клетушки были полнехоньки. Стали нестись курицы и в других местах по своему выбору: на дворах, в сараюшках, в соломенниках, за завалинкой где-нибудь, на костричке за соломой, если тут дождичком не мочило и солнышком просушивало.

Не одна неделя прошла так. И Варвара стала кормить всех куриц вместе, и курицы стали знать время и место. Слетаются к одному месту, сбегаются со всех сторон, стадо, может, больше сотни. Появлялись самосадки и цыплята разных возрастов. Иные же курицы отвыкли совсем и жили вдали от своего двора. Только ястреба обижали их без народу. Без народу они стали смелее. Садилась на стожары и таскали куриц. Варвара старалась: пугала их всяко. Но все-то они в деревню прилетали.

С кошками Варвара не знала, что делать. Там, где доила коров, наливала, нацеживала молока и кошке в черепеньку. А в остальных домах они предоставлены были сами себе: ловили мышей, поблуживали, хлебали молоко без спросу, если которая криночка плохо закрыта, а то сами пошевелият за крышечку, чтобы она упала. Иные, может, убежали в лес и там одичали.

В деревне не слышно было человеческих голосов. Только курицы почеркивали или мычали коровы. Когда приходили домой лошади, ржали, но те уже редко появлялись в деревне и ночевали неведомо где. Может, которые ушастились совсем уж далеко. Только слышен

был изредка голос Варвары. Кликала, разговаривала с курицами: «Ти... ти... ти... Бежите, рябушки, ешьте овес, вот насыпала вам, али сами найдете, теперь везде есть, а вот уже будут холода, тогда как станете вы?» Или выганивает из угородцев: «Кишруй! Ишь тако привольно им, везде разгребают!..» На ястребов вопит: «Кишруй! Кишруй! Ах ты, когтяч! Повадились без народу! Вот уж небошь долетаетесь! Придет народ, вам зададут!» Коров приговаривала: «Телонька, тела...», на лошадей: «Тпрууды... я вам дам...» Вот и разговор весь!

Сначала Варвара и не думала, что никого нет в деревне совсем. В тот дом, в другой — везде заперто. Наконец она и в запертые избы стала входить, через двор или как было возможно, а то в окошко глядит (где пройти было затруднительно). Ходит и звонит: «Дядя Иван... тетка Одарья... дедушка Дорофей!» Или подружек, ребят: «Анют! Парань! Бориск!..» Нет никого. Скучно и тосливо стало Варваре. Когда входит в чужие избы, побаивается чудалов разных. Особенно где потемнее. Стукнет ли где, зашорютит, и вздрогнет она. Походила, да и заревела, заплакала: «Что мне теперь делать? Куда девался народ? Хуже всякой сироты стала!»

Была избышка с одним окошечком. Старая. Деревянный ягель трубы был приделан сбоку. Тут жила бабушка Фиела. Почти совсем слепая и редко ходила куда. Идет Варвара, думает: «Не дома ли бабушка?» Подходит. В угородичке нет бабушки. Курицы разгребают, что посажено. Мост заперт. Стук-стук в двери: «Баушка Фиела!» Стук в окошко: «Баушк!» Тихо. Только кошка пыркнула, соскочила отколь-то. Открыла окошко и выпустила кошку, чтоб с голоду не умерла. «Неужели никого нет! Батюшки! Видно, и баушка с народом ушла. И что это там случилось, неужели все пропали? Хоть кто-нибудь не придет ли? Наши-то где? Что с ними сделалось?» И опять девица заплакала.

Погода стояла теплая. Лист еще на деревьях мало желтел. Варвара почти совсем уже оздоровела. Едой было привольно: молока только от своих коров каждый день по многу кринок. И старого накоплено. Горшки и подойницы с маслом, сметаной. Ягод засушено. Крупы овсяной, ячной, пшеничной, оржаной, гороху, коноплю, льняного масла — всего полные житницы. Мельница на ричке стояла своя и маслобойка, и еще в каждом почти доме были ручные мельницы — жернова для муки

и для крупы, и станки для битья постного, льняного и конопляного масла.

На гумнах все было перемолочено. И все житницы в деревне полнехоньки всяким зерном, крупой, мукой. У которых было даже не по одной житнице. И много было в остатке мук и семян от старых годов. Капусты росли большие угородцы. И в сушеном виде много еще хранилось от прошлого года. Варвара топила печку почти каждый день, хоть и было тепло на улице: варила себе, что нужно для еды. Она любила больше: каши ячную, пшеничную, овсяную; пшеничный или овсяный, ягодный или гороховый кисель с ягодами; ячные, гороховые, пшеничные опаровые лепешки, голницы, луковки. Пшеничные пироги с ягодами и с капустой, крупнички и с творогом, и с грибами,— да всего не переберешь, что она любила. Огонь она уже умела высекать из кремня. А чтобы часто не высекать, угольки в загнете она не переводила.

Дни идут за днями. Варвара живет во всей деревне одна и все испроводит по дому, как было. Лен был околочен еще при народе и послан. Варвара ходила поднимать, а он еще не вылежался, снимать было рано. Сметану пахтала, шила и пряла старые изробы. Жила и все поджидала, что вот кто-нибудь не придет ли. «И вдруг,— думает она,— явятся все и такие нарядные... Да хоть бы в худой-то одежке пришли. А как не придут совсем...» И опять станет тоскливо и грустно. Выходит в деревню, походит на улице, там посидит, тут постоит, в гуменники сходит, под горушечку к баням. И вот изба, погребушки, мекиненки будто с нею разговаривают. Вспоминает: вот на этом дворике мы сидели с подружками, осенью лен трепали, на гумнах недавно был народ везде — молотили. Тук-тук, тук-тук, смеются, разговаривают. И посейчас ровно дымом несет. Стога, копны, соломы — ровно город какой. Бывало, в прятки играли, за копнами спрятывались. Изба деда Трифона. На беседах сидели у них. Парашка ихняя зимой вышла замуж. Тутько с Попеткой наряжались тогда больно. Занятно. И улыбается Варвара, ровно все видит. «Перестань,— говорю,— Тутько, не надо, а то мамка бранит». А он выбирает ее. По письням пошла с наряженными.

Еще тут Преженевич,  
Да Потий Лепеневич.  
Сваты ходят по кругам,  
Кормят девок пирогам.

Полиарве луксвик,  
А Одарье муковик,  
Предыке с земляничкою,  
Светое с черничкою,  
А кому с малинкою,  
Ту зову Оринкою.  
Парнеки в малых годах  
Губы-щечки в ягодках,  
Вам и девиц выбирать.  
Только губ не замарать.

И засмеялась Варвара. Они наряжались пирожниками. А пирожки те — ошметки деревца да все такое, и продают перемазанные в чернике да в саже. И за пироги целуй этаких, да не один раз... Вдруг курица закеркала. Ястреб потащил. «Ах ты! Ах ты! — очнулась Варвара, — кишруй, кишруй!» И видит, унес уже в когтях к лесу. Пожалела курочку, а сама опять вспоминать стала, что было. А в бане зашорютело. Варвара испугалась, не чудо ли какое: лизун либо кикимора или еще что-нибудь. Только те ведь в избах живут, а не в банях, тут — мохнатушки да рогулюшки. И видит — кошка выскочила из окошечка... Не сходить ли к кому-нибудь в избу. Вот — к Одарьке. Боязно. Чего бояться, ведь день, а не ночь. А ежели из голбца что выйдет? И не осмелилась, лучше в другой раз.

На другой день она пошла в Одарькину избу двором. Вошла в избу — так вот и кажется, что на лавке Одарька сидит, матка за переборкой, дедушко лапти плетет, Потька тоже что-нибудь делает. А нет никого. И воздух такой нежилой. Не пахнет хлебом и пирогами. Шаги раздаются, и босая-то ходит она, а кажется слышно. На лавках, на полатах, на крюках одежда и разные вещи: курточки, кафтаны, платья, сарафаны, шапки, штаны — все было так, ровно сейчас только вышли куда-то хозяйева ненадолго. Вот плетущечка: тут разные пуговики, завязочки, лоскуточки, наперстки — именье Одарькино да тетки Офы. На мутовке шляпа старикова да руковицы. А наряды в горнице либо в сеннике. Туда глядеть не пошла: боязно, робко. Села на лавку к окошечку. Зыбка пустая висится. Поглядела на улицу, никого нет, тихо, и куриц не видно, где-то гуляют. Пошла назад, и кажется, ровно чудалы какие сзади хватают, и оглянуться боязно. Вышла опять через двери. Мост она не отпирала, чтобы все было так, как хозяйева оставили.

Варвара слышала, что за лесом есть деревни. И были там выскиревцы, только не все. Дороги совсем не было. Она там не бывала и не знала, как можно туда пробраться. Да и, нигде не бывшая, она не смела. Она собралась на кулиги, версты за три от деревни — народ ушел в ту сторону. И еще там, на кулигах, жил в избушке старый старичок по имени Фотей. Не тут ли он? Найти бы ей хоть одного человека, и не знает ли он чего про народ. И народ-то где, не там ли живет? Все поразузнать надо. Взяла кузов и лукошко грибовое и пошла.

Приходит на кулиги — нет никого. Лошади ходят, побежали, затопали, как увидели ее, — одичали, видно. Она идет по тропиночке к той избушке, где жил старичок. Избушка стояла за кулигами дальше, на другом краю, за лесочком за выскирем у ключика, и маленький ручеек начинался с того места из родничка. Вода бежит по желобку, проложенному так, что можно ставить под струю ведро, и оно скоро наполнялось холодной водой. Подходит девица к избушке и видит, что-то серо-бурое пониже коровы, толстоголовое, мохнатое покосолапило от избушки. Видит, что не корова. Это медведь, видно, услышал, что идут, и заперекувыркивался по лесу. По лесу затрещало, побежало, ровно на ондреце поехали.

Видит Варвара избушку — вся заросла мохом, и на крыше грибы, ягоды и деревца мелкие. Дворец половинки, щепки. Дверца маленькая и неплотно затворена. Подходит робко к дверце, постучала — тишина. Еще прытче поколотила — не откликаются. «Дедушко, дома ли ты?» Отворила дверцу и видит — сидит старичок спиной к печке, лицом к окошечку — лапоть починивает.

— Я больно рада, дедешинько! Уж не знала, что мне и делать, куда деваться — никого у нас нет.

— Ну, они все улетели в хорошем доме далеко на жительство. Все имение тебе оставили. Меня звали. Да плохо вижу и слышу. Не к чему мне. Я лучше уж тут...

А сам куда-то собирается: по лыко, говорит — все вышли. И ушел в лес, видно, лыко рубить. Варвара поела пирога и пошла домой. А на другой день она пришла опять к избушке еще порасспросить старичка. Его в избушке не было. Ждала-ждала — не могла дожидаться, так домой и ушла. И еще приходила, а старичка все нет, куда-то пропал видно, и не живет уж тут: печка не топлена, и ничего не прешевелено, все, как где было, лежало, так и находится. «Что-нибудь

с ним случилось, либо умер в лесу — звери съели, — так думает Варвара, — либо пропал с народом».

Лес стал наряжаться: желтеют и краснеют листья на березах да осинах. Стали опадать, ветром их носит по лужкам и тропинкам. Воздух стал светлее и чище, небо голубое. По утрам стали инейки появляться. Грибы перестали расти, ягоды опадают. Брусница стала темнеть и водениться, черница, малина опала, только на редких кустах едва лепятся перезрелые кисти смородины: дотронешься до ветки — ягоды упадут.

В деревне много росло больших рябин и черемух выше домов и овинов, много было яблонь. Ягоды черемухи стали еще виднее, на ветках без листьев. На рябинах — одна крась, кисти, как шапки, и одною, пожалуй, наешься. Дроздов было видимо-невидимо, чиркают, летают по рябинам, наедаются перед отлетом. На яблонях лист тоже опадать стал, а яблоки так и облепили, хрусткие и румяные, — только тряхнуть — и посыплются. Пташечки из лесу стали прилетать в деревню, по дровам, по черемухам, по сеникам перелетывают, ищут корму. Дятлы стучают в старых осколках дров, которые не изрублены. Летают сороки. «Дело, видно, к зиме подвигается», — думает Варвара. Дров у ихнего дома много напасено: две большие поленицы, да старая не вся переношена, только начата — у погреба да под крыльцом сухая, дождем не мочит. Да и в избе полные гряды, эти уже сухонькие. У других домов поленицы дров да лучины. И еще в лесу у всех поленицы и ослоны сырых и перелетовых, есть забытые уже, сгнили наполовину. А на гумнах подовники наложены коло овинов. Только у Гарьки Фараевкина нет, тот, как овин затопить, так и в лес ехать.

Дни стали короче. Один раз встала Варвара утром с постели, подходит к окошку, на улице совершенная тишина, и куриц не слышно. День ясный, теплый, солнышко взойшло, золотисто-розовый свет на домах и лужайках. И видит: бегают на лужках по деревне какие-то: ноги, как у овец, коров или лошадей (в шерсти с копытами), а туловище человечесье. На двух ногах, а на голове будто бы маленькие рожки. Уши большие, и пошевеливают ушами, нюхают носом, фыркают. И слышно: переговариваются, похоже, по-человечьи и ровно по-овечьи. И убежали в лес. Варвара испугалась «Это лесные, — подумала она. — Вишь, народу-то нет, тихо в деревне — им и смело. Али это только мне пока-

залось совстатки?» Вышла на улицу. На овине, поближе к лесу, сидят, ровно курицы, шеи вытягивают. Вон куда забралась. Пошла в гуменик, птицы с овина полетели в лес: кво... кво... И догадалась, что это тетери. Стала отпирать; затворницы брякнули, и видит: из гумна побежали два зайца, гуляли тут на луговине. Взяла соломы охапку, унесла домой, париться вечером в печке.

Время идет, день за днем. Были и дожди, иные дни совсем холодны, особенно по утрам, вода стала мерзнуть. Пошла девица лен глядеть. Кажется, лен уже вылежался, нужно снимать, чтобы не перележался или снегом не завалило — тогда плохо. Снимает... Две вязаницы на веревке через плечо вперекидку унесла домой, на лошади бы можно сразу весь перевезти, а где она гуляет, неизвестно. Лошадь ведь и на зиму застаивать бы пора, а то и не найдешь, пожалуй. Совсем зазимует. А без лошади будет совсем неловко. Насыпала овса в лукошко, хлеба взяла и пошла искать. Ходит в полях — нет, в лужках — нет. Коло пол — тоже не слышно: на многих лошадях, если не на всех, колокольцы коровьи, подзвончики шоргунцы. Пошла на кулиги. Ходит там и видит лошадиные и коровьи следы на снежку. Услыхала колокольцы, нашла стадо коров. Но не все были тут. Потом нашла и лошадей — ходят у леса, где ветром ночным не хватает. Лошади тоже были не все. Видно, остальные коровы и лошади ходили в других местах или уже далеко ушли, если не пропали совсем от зверья или другого чего. А если живые, то ведь где-нибудь ходят на луговинах: эта травка им слаще. А что взять скотине в большом лесу? Лошади шарахнулись, испугались, когда увидели ее. Тпрро... тпрро... Пегушка... Пегушка... Мало-помалу стали подпускать ближе. Пегушка ихняя была очень смиренная и ручная. Хоть она поотвыкла и не сразу подошла к лукошку с овсом, но все-таки Варваре удалось взять ее за гриву и надеть узду. «Тпруды... тпруды...» — попробовала она — не пойдут ли лошади домой. Нет, побежали прочь дальше. Тоже и коровы. «Идите домой, идите, нагулялись, нынче холодно будет, или не стосковались по дворам-то своим?» Но коров было людененько, и ей неловко с лошадью заганивать их, на кулиге и остались.

А Варвара пошла по тропинке к стариковой избушке, лошадь вела за повод. Привязала лошадь за березу у избушки. Вошла — никого нет, все по-старому: не переставлено, не взято, не положено — видно, что никто

не был. Постояла, посидела, погоревала. Села на лошадь и поехала в деревню, домой. А Пегушка была поводлива, хоть и долго гуляла в дичи. Но скоро привыкла к Варваре, не баловала — ровно узнала ее. Отгулялась, как печь, и не чувствовала на спине ноши. Шла ступисто по тропинкам лесным и дорогам, за коренья не запиналась, перешагивала колоды, валежники и рывины перескакивала, только прутья и ветки мешали Варваре.

Как приехала домой, ввела Пегушку на двор, дала ей хорошего сена и больше на улицу, в поле не выпускала, кормила на дворе. На другой же день съездила по лен, а вскоре выпал и снег. Она занялась льном. Сушит в печке, мнет, треплет, чешет.

Если бы посмотреть на деревню рано утром, она похожа на жилую. В Варвариной избе огонь, слышно, хлопает мялка — там-де уже встали, а больше огня ни у кого нет — все еще спят. Дни идут. На улице холоднее. Снег валит — сухой, мокрый, крупой и градом, мелкий и шапками. Коровы, овцы и лошади прибежали в деревню, но не все: много пропало неизвестно где — волки ли съели, медведи, сами заблудились да умерли, или которые живы и скитаются где-нибудь в лесу. Девица не знала, что со скотиной делать. Она не могла кормить всех по дворам. Отперла затворы и угородцы к стогам — пусть сами едят и живут, как хотят. А для питья была ричка, и зимой местами почти не замерзала.

Куриц всех деревенских она привадила к одному дому, рядом со своим. Изба была большущая. Варвара отворила дверь в избу и не затворяла. Много куричьих корыт снесла в эту избу, поставила на полу. Делала тут всем курам общую завару, сыпала и овес изредка. И наклала жердочки: одним концом на полатах, другим — на поллицах, а пониже — с лавок на лавки и на скамейки, чтобы курицам невысоко было взлетать на верхние жердочки. На сарае, на дворе, на мосту — везде настроила жердочек. Куриц уцелело, пожалуй, побольше сотни. Стали жить в этом доме и садились, где пожелают.

Со скотиной и курицами Варваре было очень хлопотливо и не хватало ни сил, ни времени, чтобы всех уладить. Тоже нужно было устраивать коло себя: припасать пищу, одежду, обдирать лен, пряхать, а потом и ткать, холсты да полотна шить.

Снегу навалило порядочно. Если бы не утапывали снег коровы да лошади, трудно было бы ходить Варва-



ре по деревне. Она уж мало куда и ходила. Запрягала в сани Пегушку и еще двух лошадей в трое саней, съездила много раз на кулиги по сено, пока снег неглубок. А после-де навалит и наметет: нельзя будет выезжать из деревни — никакой дороги не будет. Трудно было по три воза накладывать, но она не очень торопилась. Полный сарай навозила и еще навозила четыре сарая у соседей. Скотина, пока нет больших холодов, наживается около стогов. А который стог подъедят и доставать больше нельзя, Варвара подрубала стожары и роняла стог, и стадо около него наживается до тех пор, пока не съедят все до клочочка, даже и втопанное копытами вырывали. Варвара все-таки поберегала, чтобы хватило надольше, и разгораживала все стога сразу, чтобы зря не топтали, а съедали все начистую. От стогов из гуменников, по деревне ко дворам и к ричке скотина ходила, утаптывала снег, и образовались тропы. В некоторые дворы, где больше животных наживались, Варвара привезла свежей соломы. Но на всех рук не хватало. Овец же на самое холодное время заманила на два двора в тех домах, куда навозила полные сараи сена. Этим сеном они и кормились. Овцы бегают, коровы мычат, лошади ржут. Стали телиться, а овцы в конце зимы ягнились. Много было страдания для животных и для Варвары, потому что она много трудилась для них и хлопотала и не могла глядеть равнодушно на их мучения и от жалости плакала.

Приближалось самое глухое время. Дни коротесенькие, солнышко взойдет ненадолго, невысоко и уже опускается ниже, к закату. Вечера такие длинные, что кажется, и конца им нет. Нащиплет лучины, положит в печку сушить, и на печке сохнет. Зачинается вечер, лучина сухая горит ясно, светло. Уж не один раз вынимала лучину из печки, сумерничала, чуть не весь кужель опряла, не один простень уж клала в печурку, а петухи еще не пели: видно еще рано спать ложиться. Вышла на крыльцо. Холодно, ночь не совсем светла, месяц закрыли густые облока. Тихо в деревне. А вдали темно-синий лес. Сходила в сарай, спихнула Пегушке сена, поглядела у коров: овсяная солома в яслях еще не съедена. Пришла в избу садиться за пряжу. Ки-ки-ри-ки — поют петухи дома и в соседнем доме, много петушиных голосов чуть не за раз. «Кто знает, который раз поют, может, петухи пели, как я сумерничала. А вот уж опряла порядочно, не пора ли спать». Разные

думы в голове бродят, больше про беседки. Распеваает в уме песенки, да вслух запоеет — и ровно испугается. чтобы кто не услышал. «Пусть слышат, да и некому здесь... Розан-розан-розанок, розан — аленький цветок. Ой люли, ой люли, есть и ричка, есть и мост, за риченьку перевоз...» Посидит еще и ложится спать.

Дома, житницы, амбарушки, мекинецы, бани завалило и замело, так что к ним трудно было пройти. Ходила Варвара только в свою житницу да в те места и дома, в которые скотина ходила и торила дорогу. Еще она ходила на лыжах, если нужно было пройти куда по глубокому снегу. Около гуменников, к баням — а дальше ходить она боялась волков. И вот раз, уже в полужиме, вечером, слышит, кто-то воет нехорошо-нехорошо, звери какие-то. Это волки. До того жутко, что так и мутит, боязно, страшно. А через неделю услышала коровий рев на гумне. Она так и положилась, что волки разорвали скотину, которая у стогов ночевала.

Утром не смеет и выйти. Поглядела из сарая в окошечко на гуменник (к тем стогам, у которых в те дни кормилась скотина) и видит: волки скалят зубы, растаскивают мясо и кости, и там лежат туши животных, которых заели. Она завопила на них, забрякала, застучала в сарае: это было неожиданно — испугались и побежали. Отворила ворота, они заскрипели — волки испугались еще больше, а она выбеж...

## БЫВАЛЬЩИНА

Бабушка пахтает сметану; внучка сидит мочит кусочком.

— Пахтус пахтайсь — пахтус-от робятам... пахтанье собакам...

— Ой, бабушка, иди домой, лизун пришел, муку слизал овсяную, оржаную, пшенишную, лапшинную... А язык-от у лизуна как терка...

— Большой язык-от... Большой...

— А где лизун-от живет, бауш?..

— В овине, в трубе... за квасницей... в голбце... Соседушко и кикимора тоже в голбце да подполье... и на подволоке... под подволокой...

— А какая она?

— Седая.

— А соседушко?

— Домоведушко кикиморин муж — такой старой... Оброс весь... маленькой, ровно кужель отрепей... и в избе они живут, на дворе у скотины... везде ходят... К лошадям... Ежели которых лошадей любит — сена подкладывает... да расчесывает, гладит. Кикимора... тоже ходит везде, на наседаде куриц ошипывает... Когда керкают курицы ночью — а это кикимора... А ежели пряхи оставят не благословясь — кудель прядут, только шорготак стоит: шур-шур... Я видела сама... И соседушко видела ночью... никого не было в избе... Тихо так... И слышу, на голбце коло печки ровно шарготит что-то. Благослови, Христос... думаю... А сама на полатах лежала... Как повернула голову-ту... а с брусу соседушко — спрашивают к добру или к худу... Я насилу спросила — язык не ворочается, вздохнуть не могу... «К добру», — прошептал кто-то неясно... чуть слышно... Оооо... Кысанька... на молочка, дурочка... где бегал схохлапился весь.

— Бауш, а что это в трубе-то? У-ду...

— Витер-от.

— А где, бауш, он живет — витер-от?

— В лесу... это там-то. (Указывает рукой.)

— А какой он, бауш?

— Дует... всё дует... у-у.

— Какой он?

— Кто его знает?.. Вот вихра видали... Сказывают, мужик бросил ножом в вихра... а вихорь-от и унес... да... Мужик пошел в лес по лыка... Заблудился и видит — избушка вся в моху старая-расстарая... Вошел... а там сидит какой-то и стонет — нож из пяты вынает и говорит: «Кто-то бросил в меня ножом... вот мне в пяту попал...» Мужик гледит и узнал свой-от нож...

— Чего ему сделал вихорь-от, бауш?..

— Мужик-от испугался... скорее и вышел... Ну, тебя... Лепешки-ти забыли... Пригорели совсем (вынает их). Экая диковина...



**Василий Белов**

### **РЫБАЦКАЯ БАЙКА**

*Современный вариант сказки про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, услышанный недалеко от Вологды, на Кубенском озере во время бесклевья*

**Т**ы вот едешь широко и про Ерша не знаешь. Думаешь, почему одни ерши клюют? Потому что хорошую рыбу выжили. Раньше лещей в озере было невпроворот. Такие ляпки гуляли — по лопате. Жили и в ус не дули. На беду, в реке Уфтюге зародился один Ершишко. Плут такой — из воды выходит сухим. Голова большая, брюхо круглое. Он фулиганил сперва возле берега. Осмелел и давай шастать по всей Уфтюге. Ребятишек наплодил видимо-невидимо. Жонку, дак эту всю измолол. Говорит: «Сам дивлюсь, что такое? Только штанами потряс — опять маленькой!» Ладно. А такую компанию прокормить, не одной головой. Ерш физического труда недолго любил. Что делать? Манатки сложил, избушку на клюшку. Со всей оравой к лещам на озеро. «Корысти, — думает, — не добыю, а шуму наделаю». Явился.

- Здравствуйтѐ!
- Здравствуйтѐ! Проходитѐ.
- Покушать чего нет ли?

— Пожалуйста.

Бедного человека как не накормить? Ерш Ершович со всей семьей хорошо поел. Отпыхкался, говорит:

— Товарищи лещи, спасибо за суп, за щи, ночевать нельзя ли? Я на одну ночь.

— Ночуй, места хватит.

Ерш ночь ночевал, утром выходит в озеро. Забыл, что на одну ночь просился, руки в брюки, озеро оглядел. Увидел Рака, подскакивает:

— Почему назад пятитесь?

— А ты кто такой? Рыло вытри, потом указывай.

— Я тебя привлеку!

— Привлекальщик... Я век прожил, рыбу не на- смешил.

Ерш наскакивает с другой стороны:

— Какая ты рыба, ты и на рыбу не похож!

— Дурак.

— Я тебе обломаю усы-то!

— Мало каши ел.

Разругались в первый же день.

Рак не стал связываться: задом, задом да в нору. В норе одумался, стало тоскливо. Карася увидел, на Ерша жалуется:

— Ерш-Новожил меня обругал ни за что ни про что.

Карась говорит:

— Я ему, килуну, морду начищу. Он у меня пощеперится, узнает, как плавники распускать, костистая рожа!

Ерш эти слова услышал, выныривает:

— Где-то что-то кто-то сказал! Прошу повторить!

— Ну, сопливое рыло...

Ерш дрожмя дрожит, а марку держит:

— Только и знаешь пузыри из грязи пускать! Мало вашего брата в сметане-то жарили.

— Ах ты голодранец! Ты у меня доругаешься, я тебе уши-то оборву.

— Мозгляк! Заморыш! — захорохорился Ерш.— Выходи один на один! Мне жизнь не дорога, кто кого!

— Давай!

— ...вот только домой сбегая, радио выключу!

Карась Ерша ждал до обеда. Не дождался. Драки не было. На другой день рыба сгрудилась. Слушают. Ерш шумит на все озеро, как он Карасю оплеух навешал.

— Будет знать!

Ударился к Устью, полы нараспашку, ругается. Тут навстречу плывет Окунь. Ерш и на того:

— Остолоп, серые глаза! Глистобрюхой!

Окунь глаза выпучил, не знает, что и подумать. Очнулся да и давай Ерша почем зря трепать. Трепка получилась дородная, еле-еле Ерш ноги унес. Ночь переспал, опять за свое:

— Все ваше озеро — не озеро! Лужа поганая, одне колы! Культуры не знаете, только бы брюхо набить. Обормоты!

— Чего ругаисси? — Сорога включилась.

— Марш! Тебя буду спрашивать.

— Нахал. Я Налиму с Язем пожалуюсь.

— Видел я твоих налимов!

Сорога плюнула да в сторону от греха.

Тут Язь выплыл на шум, начал Ерша стыдить:

— Ты чего, Новожил, шумишь? Сейчас же извинись перед Сорогой — она женщина.

— Женщина! Хорошая бы женщина молчала, а она красноглазая, знаешь, как говорит? Нет, ты не знаешь, что она говорит!

— Чего говорит?

— А то и говорит, что Окунь у тебя бабу отбил, а Налим в этом деле сводничал.

— Это точно?

— Провалиться на этом месте! «Этого,— говорит,— Язя давно обманывают, а он дурак полоротый! Дальше носа ничего не видит».

Язь — ныром вглубь. Ударился искать Окуня. В это время Налим свое имя учуял, из-под коряги всплыл:

— В чем дело, Щетинников?

— А ни в чем! Вон Сорога говорит, что Язь у тебя бабу отбил, а Окунь сводничал.

Налим так и взвился:

— Я этому Язю жабры выдеру.

Запахло в озере смертоубийством. Вся вода сбунтилась, не найти чистого места. Муть со дна поднялась, ничего не видать. Налим с Окунем напилась дозела, позгаются. Карась на Сорогу, Сорога на Карася.

Рак с Язем сцепились, друг дружку волочат, все озеро пошло ходуном. Одна Щука стоит на месте, на бузу не обращает вниманья. Ерш совсем обнаглел, налетает и на нее:

— Обжора, лягух приела! Обжора, лягух приела!

— Что?

— Думаешь, зубы остры, дак и испугались тебя? Белое брюхо, косорылая! Лягух приела!

Щука, много не говоря, на Ерша ракетой. Он от нее, она за ним. Ерш Щуку заманил в сеть. Ячея была крупная: сам проскочил, Щука запуталась. Только ее и видели.

Вот что за неделю наделал!

Месяц живет, год. Сыновей женил, дочек замуж по-выпихивал. Начал и лещей крошить. Сперва по одному в Пучкаса вытурил, потом вытесняет в мох, в болото. Пикнуть бояться, а кто и заикнется:

— Товарищ Щетинников, пусти на струю! Который день в стоялой воде, надо и совесть иметь. Пришел не-весть откуда и хозяйничаешь. Озеро наше было испокон веку.

— Это кто пришел? Это про какую ты совесть говоришь? Это с какого ты голоса поешь?

Так прищучит, что иной раз и не рад, что из моху вылез. А тут вроде бы и попривыкли. А Ерш их же, лещей, за это страмит:

— Вам бы только в болоте сидеть. Тупорылые, одна темнота. Учишь вас, учишь, а толку нету.

Лещева артель духом упала, стала чахнуть. Которые поумнее собрались на собрание, воровски от Ерша. Послали заявление рыбе Нельме на Белое озеро: «Три года хорошо не едали, хорошей воды не пивали. Белого света от Ерша не видим, совсем нас мало осталось. Нас Ерш-Новожил бьет и колет, бока меж ребрами порет, рыбнадзором кажин день страшает. Рыба Нельма, выручи! Наведи, пожалуста, архивные справки. Кубенское озеро наше испокон веку. Ершишко Щетинников пришел с чадами на одну ночь с Уфтюги да зажился и озеро у нас, лещей, хитростью отнял, а мы, лещи, сироты несчастные, остались с таким. Матушка рыба Нельма, не дай сгинуть, приведи Ерша под присягу закона!»

Нарочный с заявлением в Белое озеро день и ночь. Вода бурлит, как от катера. Через шлюзы зайцем на парходах, потом опять шпарит своим ходом. Денег на командировку собрать не догадались. Добрался до Белого озера, сошло сто потов.

Рыба Нельма лежит в ростяг. Керосину в канаве пазобалась, вся угорела. Нарочный к пей:

— Бюллетенишь или болеешь?

— Болею.

— Срочное дело!

- Без меня разбирайтесь, и так еле жива.
- Сига отпусти!
- Ну вот! Будет он из-за Ерша суды разводить.
- Терпенья не стало, отпусти самого!
- Ладно, уговорили. Пусть едет.
- Рыба Сиг говорит:
- Отступитесь, ребятушки, лучше не связываться.
- Нет никакого терпенья!
- Уговорили-таки Сига, собрал он народный суд. Ерша вызвали, а тот на дыбы:
- Меня судить не имеете права!
- Это почему?
- Потому, что окончание на «у»! Это подкоп власти.
- Ему вслух зачитали лещевскую грамоту. Спрашивают:
- Ты почему лещей обижаешь? Они на озере старожилы, а ты, новожил, их в Пучкаса загонил и выселил.
- Нет, я старожил.
- А какие есть доку́менты?
- Доку́менты все сгорели. Все сгорело. У меня одних коров сколько было. Два телевизора.
- Тут слово взяла малая Нельмушка:
- Всё врет! В озере не живал, да и в Уфтюгу-то приплыл из душного ручья. Его и в реку-то не надо пускать, а не то что в озеро!
- Ах ты, потаскуха, чего говоришь? Не слушайте ее.
- Рыба Сиг голос повысил:
- Гражданин Щетинников, где вы находитесь? Ведите себя прилично.
- Я ее, потаскуха, сгною в болоте, я в Москву напишу...
- Вишь, гражданин судья, что он выделявает! — это Судак вступился.
- Ерш на него:
- А ты чего, полоротый? Твое какое пятое дело? В зале шум. Встает белозерский Налим:
- Вывести! Судить заочно.
- Ах ты, лягушечья порода, зимний бабник, вяленица!
- Гражданин Щетинников, не выражайтесь!
- Нет, выражусь! Вас тут как сельдей в бочке, а я один. Подавайте защитника! Я на чистую воду вас выведу, я в рыбнадзор заявлю, я...



Дали Ершу десять суток да и отступились. Всех одолел. Срок отсидел, говорят: «Сматывай удочки!»

Ерш из казематки выскакивает:

— Остаюсь тут! В Белом озере!

Рыба Нельма схватилась за голову...

Ерш полетел по озеру, как новенькой. У половины домов стекла выхлестал:

— Судить вздумали! Я на ваш суд... с высокой колокольни! Я сам кого хошь упеку! Никого не боюсь, в три попа!..

Тс... Тащи его, стерву, вроде клюет. Ну вот, опять того же калиберу.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ



*Марко Вовчок*

### СКАЗКА О ДЕВЯТИ БРАТЬЯХ-РАЗБОЙНИКАХ И О ДЕСЯТОЙ СЕСТРИЦЕ ГАЛЕ

#### I

**Ж**ила одна вдова около Киева, на Подоле, и самое несчастное было ее житье. Терпела она великую нужду и убожество. Жила вдова при большом городе, где громоздились богатые дома, где сияли и сверкали церкви с золотыми крестами, где люди с утра до ночи копошились тьмой-тьмушей, а такого беспомощного убожества, какое у вдовы было, хоть бы поискать в самой глухой глуши, где человеческого жилья не отыщешь, человеческого образа не встретишь и голоса не услышишь, а живешь с зверями да с птицами, с деревьями да с камнями, с горами да с реками: звери рыскают себе на добычу, птицы поют, деревья шумят, камни лежат, горы высятся, реки текут, и некому тебе помочь, ни poradеть; некому посоветовать, ни пожалеть.

Было у вдовы девять сыновей и десятая дочь, Галя. И уродились все девять сыновей один в одного: голос в голос, волос в волос; только самый меньшой сын был

чуточку побелей да понежней; все свежие, смелые, чернявые мальчики и все любили и лелеяли свою сестрицу Галю, а больше всех меньшей. И всех любила и ласкала сестрица Галя, а больше всех меньшого. Случается, пойдут братья по ягоды в бор или по грибы и возьмут сестру с собой, то уж никому не уступит меньшей нести усталую Галю на руках и ни к кому Галя не пойдет на руки с рук меньшого брата. А когда братья одни ходят и гуляют и воротятся домой — всем обрадуется Галя, а в первого в меньшого брата так и вопьется губками, как пиявочка, так и обовьется ручками, как хмелинка. А когда не угодят ей в чем братья, Галя поплачет и погорюет и пожалуется в слезах и в горе, да и конец; а если меньшей брат что не по ней сделает, так Галя и словечка не сможет вымолвить, и убежит от всех, и спрячется от всех, и найдут ее потому только, что громко рыдает она, и никто ее слез унять, ни ручек от личика отцепить не сумеет и не сможет, кроме все того же меньшого брата.

Жила вдова с детьми в хатке — и хаткой-то назвать нельзя, в хижинке, и стояла вдовина хатка на углу под горою, вдалеке от всякого другого жилья; стояла на широком зеленом лугу. С одной стороны над хатой нависла каменная гора, поросшая лесом, и точно грозила: «Вот захочу — один камень покачу и тебя, хатку, совсем придавлю». Направо мимо хатки вилась дорога в город — и как была тиха и пуста эта дорога мимо вдовинной хатки и как, чем дальше к городу, все людней и живей, пылит и стучит, а там — там, где взбегает она на гору и где улицы домов толпами к ней приступают, как она шумна, пыльна и людна? Та же дорога вилась налево по лугу, все по лугу, по мягкой зелени, и завивалась из глаз все по тому же мягкому лугу. От самой хатки узенькая дорожка перекрещивала эту дорогу и бежала к самому Днепру.

И, верно, всякий, кто мимо ехал и видел хатку, думал: что за маленькая хатка стоит, как она в землю вошла и покривилась, как окошечко покосилось и как крыша убралась в зеленый и серый мох! И не огорожена хатка, и без сеней и без коморы, и ни садика, ни огородчика около, только старая, тихая груша со сломанною вершиною. И сколько детей вокруг! А если бы кто свернул с дороги и вошел в хатку, так увидал бы, что, как ни мала хатка и сколько в ней ни живет душ, совсем она пустая. Ничего там не было, кроме лавки да узкой

полочки, где стояла миска с ложками. Печь растрескалась и осела, на запечке опрокинуты горшок, два колышка в стене, на которых ничего не висело, стол с щелью во всю длину посередине, на котором ничего не стояло; в углу образ со стершимся ликом, обвитый сухими и свежими цветами,— вот и все. А если бы кто спросил детей: «Где же ваши рубашонки? где ваша одежда?», дети бы показали тому, что рубашонки сушатся на берегу, а другой одежды нет у них никакой. А зимой? и в холод, морозы? Зима, холод, морозы? О, это нехорошее время! Только она начинает подходить, зима,— мать пуще плачет и все повторяет: «Как-то мы перебудем, как-то мы перебудем!» И скучно всегда перебивать: холодно, надо сидеть на печи, поджавши ноги, а если выбежишь на луг и потанцуешь по снегу, так скоро, как обожженный, бросаешься в хату, на печь, опять сидеть поджавши ноги. Игра в докучную надоедает и только еще одну Галю немножко смешит, а всех сердит; знакомая сказка об Иване никого не трогает, только Галю немножко. День такой коротенький, быстро вечер наступает, и в хатке делается темно. И сидят они в темноте на печи, ждут мать с поденщины и молчат; только Галя иногда оробеет и шепотом спрашивает: «Что, если волк придет?» — «Не придет»,— отвечают ей все. «А что, если бука придет?» — шепчет опять Галя. Все ближе друг к другу придвигаются и говорят Гале: «О, трусиха!», а меньшей берет ее за руки. «А как придет волк?» — опять-таки пристает Галя, и все ею недовольны, кроме меньшого — меньшей ее потихоньку успокаивает. И Галя успокаивается и иногда песенку запоеет про журавля, что «длинноногий журавль на мельницу ездил, диковинку видел», и меньшей брат чует, как длинноногий журавль ездил и диковинку видел, потому что Галя под пенье треплет брата обеими ручонками по лицу. Песенка как-то незаметно обрывается: длинноногий журавль остается на дороге, и Галя засыпает у меньшого брата на руках. Скучно-скучно! холодно-холодно! темно-темно! В покосившееся окошечко виден луг под белым снегом. Белый снег то заблестит, то потеряет блеск — это значит: месяц ныряет в облаках. Что-то дальше будет: заблестит ли белый снег еще ярче при месяце и звездах или повалит снег свежий, метель разыграется, забьет покосившееся окошечко, занесет дорожку, задержит мать дольше? И что мать принесет им?

Вот по снегу скрип поспешных, слабых и неверных шагов, дверь в хату отворяется — мать пришла. Она пришла измученная, измерзшая. Что она принесла? Принесла хлеба, картофелю, а если еще немножко круп на кулиш, так уж и хвалится детям, что вот мы себе сварим кашу. И все ждут кашицы, а Галя загодя-загодя усядется с ложкой в руках и время от времени окликает: «Мама?» — и окликает так, словно она храбро решается спросить о том, что всех томит, и эти храбрым вопросом дает всем сил терпеливей ждать. После каждого оклика она припадает к меньшому брату, будто говоря: «Какова твоя Галя?» И брат гладит ее по головке и дает понять ей, что славная она, Галя.

Затопленная печь разгорается и трещит, красное пламя играет на окошечке, из печных щелей выходят струйки дыма — хатка в одно время и освещается огнем и наполняется дымом; ясно видна измученная фигура, что хлопочет у печки, но нельзя разглядеть, что за думы у ней на лице, что за лицо; то покажется, что она усмеяется и заботливо спешит и хлопочет, то покажется, что ее душит какая-то печаль и боязнь чего-то, и от этой духоты она так суетится около печи; что не от дыму у ней слезы бегут.

Наконец ужин готов; Галя смеется, и все ужинают и спать ложатся.

Огонь в печи мало-помалу потухает, точно сам начинает дремать, тухнет совсем — в хатке темно, и все засыпают.

Утренний холод никак не хочет дать поспать, принимает и во что бы то ни стало хочет разбудить — и будит. Уж мать печь затопила; опять дрова трещат и дымно в хатке, в окно яркое солнце светит и блестит снег. Готов им и завтрак их, и мать спешит идти на поденщину и наказывается быть умницами, и уходит.

В воскресные дни им бывало лучше: мать не шла на работу, можно было влезть в ее заплатанные чоботы, вернуться в ее худую кожуханку и хоть трудно, а все можно было погулять около хаты, — и они гуляли все поочередно, даже Галя, что была сама вся немногим побольше чобота. Потом мать им разные сказки часто рассказывала и были разные. И что за славные сказки иногда, что за смешные такие! И они б много смеялись и тешились, если б не мешало им материнское лицо, такое лицо измученное и тоскливое, даром что она не жаловалась и сама вместе с ними улыбалась смешному и веселому в сказке.

Один раз мать пришла домой и, входя, окликнула старшего сына.

— Что, мама? — отвечал старший сын и соскочил с печки навстречу ей.

— Что? что? что? — закричали другие сыновья и посыпались с печи, как спелые груши. А Галя, протягивая ручонки с печи меньшому брату, уж кричала:

— Кулиш, пшенный кулиш!

— Нет, — отвечали братья, — нет! — И сами тесно толпились около матери.

— Погодите, погодите, мои голубчики! — говорила мать, едва дух переводя и сбрасывая обсыпанную снегом одежду.

— Бублики! — закричала Галя с некоторым сомнением и будто страхом.

— О! о! о! — слышалось между братьями, и в каждом «о!» то-то удивленья и радости было!

— Бублики, наверно! — закричала Галя смело и захлопала ручонками.

— Галя! Галя! послушай: мама чоботы принесла, — сказал меньшей брат.

— О, чоботы! — вскрикнула Галя и сцепила ручонки в восхищенье.

Да, это были чоботы, старые, поношенные маленькие чоботы, с большими заплатами на обоих. Как переходили чоботы из рук в руки, как чоботы разглядывали, как чоботами любовались! А Галя так чуть их не поцеловала — она уж и губки сложила бутончиком, да засмеялась — и, не медля минуты, пожелала в чоботы нарядиться, и протянула обе голенькие ножки, и на всех глядела радостно и жалостно, так что ее сейчас же убрали в чоботы и поставили середь хатки, как хорошую картинку; да, наверно, отроду не было картинки с таким смеющимся личиком, с такими танцующими глазенками! А братья дивились, что ж за пригожая Галя в чоботах, и мать хвалила ее. Изморившись стоять, Галя села, но чоботы не сняла и заснула в них, собираясь на другой день рано-рано-рано-ранехонько идти далеко-далеко-далеко гулять; пошла б она и сейчас, если бы не боялась волка из лесу, и еще больше трезожил ее противный бука. Она даже не знала, где этот бука, собственно, живет — в лесу ли, под горой ли, на лугу ли, или в Днепре, в пучине, и не знала, с какой стороны его опасаться и откуда его остерегаться. И он мог вдруг выскочить нежданно-негаданно...

С сонной Гали тихонько снял меньшей брат чоботы, и все поочередно их стали тогда примерять, и всякий говорил, что ему в самую пору, хоть впору-то были чоботы только самому старшему брату. Ему их мать и принесла, и принесла для того, чтобы взять его с собой завтра в город и отдать хозяину в наймиты.

— К хозяину! в наймиты!

Все глаза на него обратились, все сердца дрогнули: кто удивлен, кто смущен был, кого надежда на что-то чудесное волновала, а кого боязнь — что-то будет? — затомила; один мысленно уж провожал его, другой уж встречать собирался и слушать неслыханное, иной задумался, как жить без него они все будут... Мать тревожна и грустна. А старший сын ответил матери на это спокойно:

— Хорошо, мама!

— Будешь хорошо служить, дитя мое, заслужишь ласку, заслужишь плату,— говорила мать.— Бог даст, потом себе и кожушок справишь... Хорошо, сыночек?

— Хорошо, мама! — отвечал ей опять сын.

— Хозяин твой, кажется, очень добрый человек будет; а если что там и выпадет тебе в службе лихого, ты, коханий... какое-нибудь горе-лихо, то прими за добро... ты перетерпи... Хорошо, сыночек?

— Хорошо, мама! — отвечал сын.

Больше вдова ничего не могла говорить — голосу у нее не хватало, словно тяжелая рука ее душила. Она сидела уж молча и только глядела на старшего сына, и все тесней-тесней душила ее тяжелая рука.

А старший сын задумался и рассеянно отвечал братьям, что толпились, хлопали дверями, поочередно надевали чоботы и выходили в них погулять около хатки и толковали про братнину будущую службу. Месяц светил полный, звезды горели одна одной ярче; мороз был сильный, и снег хрустел под чоботами удивительно. Даже сам старший брат — на что мальчик не легкомысленный, а и то, когда надел их и вышел, так все оглядывался и останавливался, точно его кто-то спрашивал поминутно: «Что ты за парубок в чоботах? Эй, парубок в чоботах! Чей же ты? скажи, пожалуйста!»

На другой день мороз был такой, что деревья трещали на горе и сыпали с себя иней; солнце бледно сияло, словно побледнело от стужи, тоже озябло, а вся братья выбежала из хатки провожать старшего брата. Вот он, наряженный, в чоботах и в материнском большом платке, идет в город.

— Пойдем, мое дитя,— промолвила мать старшему сыну.— А вы, голубчики, оставайтесь здоровы,— сказала она другим детям.

И пошли они, а вслед им кричали голоски и «будь здоров», и «воротися», и «поскорей воротися». А Галя только покрикивала: «Братец милый! милый братец!» Все танцевали они на морозе, пока скрылись из глаз мать и брат; а потом вскочили в хатку на печь, и так стало всем пусто-пусто без старшего брата! Все закручинились, а у Гали уж слезки капали.

— И я пойду в наймиты,— сказал один брат.

— Вот так! — промолвила Галя, и слезки закапали быстрее, одна за другой.

— И я! и я! и я! — сказали все братья вместе.

У Гали слезки уж закапали по три, по четыре вдруг, перегоняли одна другую.

— Ой, лихо! — вскрикнула она.— Все уйдете! Все меня покинете! И ты! И ты меня покидаешь! Покид...

Но уж меньшому брату она не могла ничего больше сказать, а закрыла личико обеими ручками и горько зарыдала.

— Полно, Галя, полно! — сказали братья.— Послушай, что тебе скажем.

Галя не слушала.

— Не плачь, Галя! — сказал меньшой брат и взял ее на колени.— Я наймусь в службу и заработаю тебе чоботы. Открой личико!

— Не хочу чобот! — рыдает Галя, не хочет чобот и личика не открывает.

— Слушай, Галя... Галечка! — говорил меньшой брат.— Вот ты какая для меня недобрая! Вот ты меня как сокрушаешь!

Одна Галина ручка отнялась от личика и один глазок, полнехонький слезой, зирнул на брата, и рыданье остановилось.

— Подумай-ка, Галя, если мы все пойдем в наймиты, так все себе чоботы купим, а тебе наилучшие; все мы себе кожухи купим, а уж тебе...

— И я пойду в наймички,— вымолвила Галя, и другая ручка отпала от личика, и глазки уж весело блестели в слезах.

И так порешили они все — идти в наймиты; а пока ужасно было им скучно сидеть на печи, и мочи нет жалко старшего брата. И все глядели то по сторонам, то друг на друга, точно что потеряли, без чего не знали, не



умели как быть. Коротенький день быстро бежал, но им казалось, что он несколько раз ворочался назад, пока наконец вечера дождались, и мать пришла. Сердца у всех выскочить хотели, пока мать рассказала, что старший брат у хозяина, что ему там славно будет спать, он в теплой хате и кормить его будут хорошо.

— Слышишь? слышишь? — говорили друг другу братья. — Вот ему как будет! Вот как чудесно!

И Галя покрикивала:

— О, славно! о, любо!

Но у братьев упали как-то их живые, звучные голоса, и Галя как-то слабо ударила в ладошки, только раз, и потом притихла. И мать, хвалючи житье его, запиналась, слова замирали на дрожащих устах у ней...

На ужин был пшенный кулиш, но никто до него не дотронулся и никого сон не брал.

— Вы, деточки, не скучайте о брате... — начала было вдова, но голос оборвался и замер; она залилась горькими слезами и, как ослепленная, точно ловила детей около себя, схватывала их и осыпала поцелуями и все рыдала громче да громче.

Горько и тихо плакали мальчики, а Галя так совсем от плачу обомлела...

Пошли дни за днями и часы за часами; попривыкли дети, что нет старшего брата, но не перестали о нем думать и почти ежечасно его вспоминали то тем, то другим. Теперь и сказки всякие по праздникам были брошены, а толковали с матерью о брате; по праздникам мать ходила его проводить и приносила от него вести все те же — что здоров, что служит... и это на разные лады брали и на разные лады об этом толковали; представляли себе его хозяина, о котором знали, что он тучный седой человек, портной, и ходит в синих шароварах и в черной чуйке, шьет всякие кожухи и свитки; хату хозяйскую себе представляли, о которой знали, что она в три окна, крыта тесом, а внутри на белых стенах развешаны картинки, что изображают яркоперых птиц, морского разбойника, турку в красной чалме, с кинжалом в руках; представляли себе хозяйку, о которой знали, что она молодая и все вышивает, сидя под окном, себе очипки шелками и золотом. И черную корову хозяйскую они себе представляли с рыжим теленком, а когда речь заходила о хозяйских санках и серой лошади, так Галя начинала раскачиваться из стороны в сторону, словно она сидела в санках и белая лошадь шибко везла санки

по неровной, ухабистой дороге. Они собирались, как лето придет, часто ходить к брату; как только весна дохнет, пойти его проведать. Да, они пойдут к нему, увидят его и наговорятся с ним. То-то хорошо будет увидеться! то-то ждать досадно! то-то зима стоит студеная и лютая! Вот как в хатке на лугу думали о старшем брате и больше всего на свете желали свиданья с ним, и Галя так часто говорила: «Хоть бы одним глазком поглядеть на него!», что уж только поминала «хоть одним глазком» — все знали, на что «хоть один глазок» хочет поглядеть, и вздыхали.

А между тем хозяйева старшего брата смотрели на него только затем, чтобы видеть, исправен ли он, не проказит ли, и ни одного слова ему не промолвили, кроме приказаний, наказа, грозьбы да выговоров. И на площади, у колодца, куда он ходил брать воду и где по утрам и по вечерам собиралось много народу, редко кто замечал серьезного, тихого мальчика, что с каждым утром и вечером становился угрюмее, в худенькой полотняной рубашке, в ветхой свитке, сшитой не по нем, и в плохонькой шапке, который терпеливо на трескучем морозе стоял, ждал своей очереди зачерпнуть воды; никто с ним не заговаривал.

Главная почти у хозяина работа ему была — таскать воду из колодца. До света его посылали к колодцу, когда еще весь город стоял в сизой мгле, люди не показывались, дымок не вился и когда у колодца было пусто; иногда разве встречалась наймичка или две, да и то редко. Его ведро пробивало замерзший за ночь колодец, и он тащил полные ведра на гору. Притащивши два ведра, которые хозяйка тут же расплескивала на умыванье своего чернобрового личика и белых ручек к туда и сюда по хозяйству, он опять шел за водою. Сизая мгла редела, дымок вился, кое-где попадались люди, и около колодца уже толпилось много народу — надо было ждать очереди. Он стоял и смотрел, как проворные, хлопотливые горожанки, заспавши долго, спешили и перегоняли одна другую к колодцу и от колодца, как шли наймички, подбегали и отбегали бочки. Сизая мгла совсем исчезала, всходило солнце и сияло. Какими блестящими, холодными, недружелюбными утрами он ворочался опять с полными ведрами к хозяевам! Тут надо ему было чистить двор, носить дрова из сеней в хату, сбегать к соседке Мотре спросить: когда будет день мученика Лаврентия — в среду или в четверг, потому что хозяйка собира-

лась на именины к шведу Лаврентию; или сбежать занять у соседки Меласы дрожжей немножко, потому что хозяйка собиралась ставить пироги; или сбежать на базар купить на грош иголок, если у хозяйки ломалась иголка,— и много было, вдоволь было ему побегушек и тукманок. Но хозяйке можно было угодить — хозяйка была веселая, беспечная женщина, которая если не хозяйничала, так шила у окна, и напевала, и поглядывала на проходящих, и поглядывала на себя в зеркальце, что нарочно и повешено тут было против нее на гвоздике.

Но хозяину угодить нельзя было. Хозяин был придиричивый и капризный и вместе с тем жестокий человек. Жену свою он любил очень, а только утром глаза откроет — уж почнет придираться к ней, и до тех пор не отстанет, пока жена не заплачет или хоть не сберется плакать; тогда и доволен он, и скажет ей, что она ему милей всего на свете, и приласкает ее, и обещает какую-нибудь обнову купить. А маленького наймита он просто заедал без милосердия. Только стоило хозяину завидеть наймита, уж у хозяина было готово за что прикрикнуть на него, было за что пригрозить, было за что и толкнуть... Мальчик никогда не ответил ему грубого слова, никогда оправдания своего не привел, никогда не повинился — все принимал молча. Безответность раздражала хозяина, кажись, еще сильнее, и он целый день не больше работал над кожухами и свитами, чем над тем, как бы получше донять этого терпеливого мальчика. Проходил день — какой холодный, блистающий, неприязненный день! Вот свечерело. Хозяин понес работу готовую, хозяйка — к соседке посидеть или к вечерне помолиться — наймит опять с ведрами за водой к колодцу приходил. Вечерами толпа у колодца была шумней, чем утром. После дневного труда, и работы, и заботы поднимался смех, заводились громкие разговоры... Тут видал мальчик, как иная веселая и резвая девушка, не усмирная ни трудом, ни работою, от души пела и подтанцовывала — танцевала и подпевала с ведрами в руках для всеобщего удовольствия и утехи; как кучера боролись друг с другом или брызгали водой и пугали девушек, как иногда развеселившиеся наймички тоже смеялись и играли. Шумела толпа, пока солнце не закатывалось. Солнце закатывалось, багровая вечерняя заря бросала на весь город свой багрянец, и мороз крепчал — звонко и резко отдавались все шаги по снегу, стук ворот, удар колокола, захлопнутая дверь, визг полозьев

и бег санок, человеческий голос и собачий лай. И вечер потухал. Какой холодный, алый, одинокий вечер!

В хате свеча горит. Хозяин шьет — строчит какую-то полу, хозяйка вышивает цветок на очипке — сидят около стола оба. Наймит ведет лошадь на водопой, задает лошади и корове корму на ночь, загоняет упрямого кабана в закуту, приносит дров в хату на завтра, щепает лучину на поджогу, выгребает золу из печи, смазывает хозяйские чоботы... Все это время хозяин шил, хозяйка вышивала и что-нибудь хозяину рассказывала о том, что видела на базаре, что слышала от соседки. Хозяин слушал молча, но часто оглядывался на наймита, прикрикивал, грозил; случалось и то, что хозяин вставал от работы и карал наймита то за худо припертую будто бы дверь в сени, то будто бы за небрежность к чоботам, за которые он дал немалые деньги... Потом снова хозяин садится за работу, а хозяйка, глянувши на мальчика, иногда вздохнувши, опять начинает рассказывать. В хате душно и жарко; развешанные по белым стенам яркоперые птицы, кажется, обезумели от этой духоты и жары: они растопырили в отчаянии крылья и так остались, без сил лететь, без сил крылья сложить; другие в том же отчаянии свернулись и нахохлились. Но морской разбойник, турок, всегда важно и смело глядел в своей алой чалме, держась за кинжал... Сколько раз, когда тушили огонь и хозяин с хозяйкой засыпали спокойно и крепко, истомленному, разбитому наймиту грезилось, что все яркоперые птицы срываются со стен и шумно, отчаянной стаей вьются, бьются, кружатся над его изголовьем, все быстрее, все тяжелей, все жарче машут яркими, цветными крыльями — все душней от них... Вдруг, словно вейные ветра, словно вода плещет, исчезают все птицы, широкое и глубокое море колыхается и плещет в берег, на берегу сидит турок в алой чалме, держась за кинжал, глядит на наймита смелыми и важными глазами и словно о чем-то спрашивает и вдаль показывает... Сколько раз ему снилось, что поднимался на воздух с птицами, падал и разбивался! Сколько раз во сне он плывал по глубокому морю и тонул!

Зима шла к концу, но холода еще стояли сильные, и братья с Галей сидели на печи, поджавши ноги. Дело было к вечеру. Вдруг шаги, и мимо окошечка мелькнуло что-то.

— Мама! — вскрикнула Галя.

— Нет, это не мама, — отвечали братья.

— О! — прошептала Галя, глазки у нее вдвое увеличались, а бровки вдвое выше поднялись.

— Не бойся, Галя,— проговорил меньшей, и все выглядывали с печи, вытянувши шею.

Дверь отворилась, и вошел старший брат.

Господи, какой крик раздался при его виде! Как к нему бросились! Как за него ухватились! Как не знали, что сказать и о чем спрашивать! Быстрая, неожиданная радость так захватила их, что в голове кружилось, в глазах прыгало все кругом... все обступили, все схватили старшего брата и больше чувствовали, что он тут с ними, чем видели его; их не поразило вдруг, что старший брат смертельно бледен, что волосы у него спутаны и включены, что ворот рубахи разорван, словно кто-нибудь с силой схватил и разорвал, что лицо старшего брата как-то искажено и что он не промолвил ни слова, обнимаючись с ними, только тяжело дышал. И Галя первая вскрикнула:

— О, какой ты стал белый! О, какой ты стал наймит! Такой точно, как я видела, по дороге хозяйских волов гнал, такой точно! такой самый!

И Галя живыми глазками все спрашивала, правда ли ее?

Правда, правда. Сделался старший брат белый, как снег, и истый наймит... Но отчего ворот рубашки разорван, отчего волосы включены, отчего лицо так исказилось, отчего дышит он трудно и тяжело?

Быстрая радость быстро куда-то делась, все глаза устремились на старшего брата, и смотрели пристально и беспокойно, и видели его ясно.

— Сядь, сядь, братик милый! Ты уморился, милый! — лепетала Галя, дергая тихонько старшего брата за руку, а нежные глаза с тревогой спрашивали, что такое неладно и что делать.

Старший брат сел на лавке, а все другие рядом. Галя стала около него и, глядя на всех, в тревоге забыла, как босым ножкам холодно стоять. Старший брат все молчал и глядел в землю. Средний брат его спросил:

— Как это ты пришел к нам?

— Хозяин меня прогнал,— ответил старший брат.

Долго никто ничего не говорил.

Галя спрятала личико к старшему брату в колени.

— Он тебя бил? — спросил опять средний брат.

— Он меня давно бил, с первого дня,— отвечал старший брат.

— Отчего ж ты не ушел давно от него? — живо и пылко промолвил меньшей брат.

— Ты бы ушел,— чуть слышно лепетала Галя, не поднимаячи головки с братниных колен,— тебе бы надо было к нам скорей прибежать. Любый, любый, любый братик!

— Я хотел еще перетерпеть, хотел еще служить,— ответил старший брат.

Столько-столько собирались при свидании рассказать старшему брату: о том, как все они тоже пойдут служить и зарабатывать; о том, какие у них холода бывали и как средний брат чуть пожару не наделал, взявшись топить печь, и, не послушавшись Гали, навалил дров полную печь; и о том, какая Галя хозяйка стала и как варила им картофель сама; и о том, как Галя раз перепугалась до смерти, принявши старую грушу около хатки за бугу... Столько-столько хотели расспросить у него: как он жил каждый день, что видал и что слышал там, в городе, где таклюдно и шумно всегда... Но теперь не приходило никому в ум ни рассказывать, ни расспрашивать; сидели все молча и тихо, и все глядели, как старший брат, в землю. Галя не раз головку поднимала с братниных колен, не раз вверх протягивала ручки, пока не очутилась у него на коленях сама, не обняла его за шею и не прижалась личиком к его плечу. Тогда Галя утихла, и только время от времени тихонько покрепче прижимали к себе старшего брата нежные ручки.

Так они сидючись дождались матери.

Мать испугалась, увидавши старшего сына, и, схвативши и целуя, она притянула его к окошечку, и в испуге осматривала его, и в испуге спрашивала:

— Что случилось с тобой, дитя мое? Что такое? Что? Когда?

— Меня хозяин прогнал, мама,— ответил старший сын.

Она больше не спрашивала ничего, только дольше поглядела на него, крепче обняла и заплакала.

— Не плачь, мама,— сказал старший сын.— Как найдется хозяин, я опять служить пойду.

— Ох, дитя мое, дитя мое! — промолвила вдова, словно ее сердце разрывалось.

Потом она опять притянула его к окну, опять глядела на него... Потом оторвалась от него, затопила печь, поставила ужин варить и опять к нему подошла. Она рас-

чесала включенные волосы, дала ему чистую рубашонку, подала воды умыться, и когда он сидел умытый, причесанный и в чистой рубашке, она опять глядела на него, и все глядели на него: и она и все видели, как привял он и изменился.

Поспел ужин, все ужинать стали, и все замечали, как он мало есть стал, и всем не было охоты притронуться к ужину. Мать почти с него глаз не спускала, и все тоже смотрели на него. Грустно было, ужасно грустно, а вместе с тем как будто нашлось сокровище, которого было надо и которое было дорого, и хоть грусть сокрушает, а все-таки сокровище-то тут, у нас. Казалось, это говорили все глаза, смотря на старшего брата, и с этой мыслью все спать легли.

В хатке темно и тихо; в окошечко сверкают две яркие, искрометные звезды из голубого неба и белый снег лоснится; в хатке очень тихо и темно. И слышит старший брат, что кто-то неслышно к нему подошел и над ним наклонился; он узнал руку, что прикоснулась к его плечу, и разобрал шепот. Мать его спрашивала.

— Дитя мое,— спрашивала она,— ты много терпел там?

— Да,— ответил он тоже шепотом.

Долго ничего не слышно, словно все замерло.

— Мама! мама! — шепчет Галя; но Галю никто не слышит — такой тихий ее шепот.— Мама! мама! — шепчет она все тише и тише и смолкает.

— Ох, мое любимое дитя! — опять слышен шепот.— Ты мое несчастное дитя!

Потом опять долго все тихо, словно замерло.

— Мама! — шепчет опять Галя, и опять ее никто не слышит и никто не видит любящего огорченного личика.

— Не болит ли у тебя что, сыночек? Скажи мне, мое сердце? — спрашивает мать.

— Нет, мама, у меня ничего теперь не болит, и найдется хозяин, я пойду служить опять. Мы, мама, поищи мне хозяина.

— Душа ты моя, сердце ты мое! — слышится внятней, точно слова, вырвавшиеся из больной души и из больного сердца и последние слова.

Все опять тихо и темно. Напрасно Галя настораживает ушки и долго-долго-долго слушает — все тихо и темно, и, слушая, Галя сама засыпает.

Опять стали жить да поживать со старшим братом. Но замечали, что старший брат стал не тот, что прежде; всегда был он серьезнее их всех, угрюмей, теперь стал еще серьезней и угрюмей. Несколько раз старший брат спрашивал мать, не выскивается ли где служба ему, несколько раз сам ходил, искал, и все очень боялись, что опять уйдет он от них, да хозяина не выскивалось, и по-немножку страх всех прошел.

Дожили до конца зимы и первую весеннюю теплынь встретили с великою радостью. Хатка опустела на целые дни, и как только можно было глазами окинуть по широкому лугу, везде глаза увидали бы вдовиных детей, что бегали и играли и тешились там.

Наступил большой праздник. До света в Киеве затрезвонили в колокола, и народ засновал туда и сюда по разным улицам и переулкам.

Вдовины дети давно уже слышали, что будет большой праздник, и чего-то — сами они не знали чего — от этого праздника себе ждали. Повскакали они в этот день до зари и побежали все впередогонку к Днепру умываться. Чисто-начисто умылись и живо воротились к матери и стали перед ней в струнку, в ожидании. И, право, чудесные это девять мальчишек стояли: чернобровые, кудрявые, щеки, как заря, пылают, очи, как звезды, сияют. И чудесная это была десятая сестра, Галя: хоть в худенькой, да в шитой рубашке, хоть в ветхонькой, да в синей юбочке, хоть в линялой, да в червонной стричке, — босые ножки, того и гляди, затанцуют, а глазки уж танцуют, головка так быстро оборачивается то к тому, то к другому, что, того и гляди, темные кудри выбьются из-под стрички. Она смеется и окликает всех братьев поименно, и братья тоже смеются, особенно меньшей, и сама вдова усмехается.

Прежде всего они пошли в церковь. И весело было идти быстрым шагом по дороге, глядеть и по сторонам и вперед. Из-за гор окружных, из-за темных иглистых сосен, из-за кудрявых дубов пробивались розовые лучи все ярче да алей; росистый луг все дальше и дальше освещался; синий Днепр шумел, и над ним качался легкий, прозрачный туман. Слышно, изо всей мочи трезвонят колокола в городе, и видны, как мурашки, толпы людей по улицам.



Они пришли в маленькую ветхую церковь, что, сбившись, стояла около городской заставы. На паперти росли высокие деревья — клены и березы; из-за них только виден был крест, наклонившийся в сторону, да там, где засох один клен, сквозь ветки виднелось церковное окошечко, узкое и длинное, и часть серой мшистой стены. Они пробрались между деревьями к расшатавшемуся крылечку и вошли в церковь.

Темная, старая церковь. Вся она будто съежилась от старости. Лики образов как-то ужасно печально глядели со стен — древние, потемневшие, потускневшие лики; тоненькие желтенькие восковые свечечки горели с какою-то лихорадочной яростью; несколько старушек молились на коленях — все повязанные черными платками, все с маленькими головками; одна молодая, стройная девушка стояла, прислонясь плечом к стене, заплаканная, и не сводила глаз с яркой, пылавшей свечечки, да думала, должно быть, про свою беду и чужая свою печаль; священник, белый как лунь, невнятно читал что-то и внятно вздыхал — все как-то было скорбно, мирно и тихо. Старший брат задумался, остальные братья присмирели, и сестрица Галя притихла. Мать их опустилась на колени, так и все время молилась усердно. Дети поглядывали на нее, посмотрели друг на друга и усердно начали себе молиться, словно о чем-то прося. Сердце у них упало, мыслей они собрать не могли; они ни о чем не просили, а желали они (как желали!) света, веселой радости, легкой утехи!

Кончилась обедня, и они вышли из церкви на свет божий. Солнце совсем взошло, и скрало росу с травы и с деревьев, и забивалось во все уголки, и все задавало в лицо золотым светом, так что надо было жмуриться. Вдова вздохнула, будто отгоняя от себя тяжкую заботу, а у детей опять сердца заиграли, и опять охватило их ожидание чего-то хорошего. Две старушки сели отдохнуть на церковном крылечке, и слово «ярмарка» поразило слух детей.

— Чудесная ярмарка сегодня, — говорила одна старушка и равнодушно смотрела в даль.

— Да, да, — отвечала другая, кашляя, — народ так и валит еще с вечера туда.

Дети переглянулись и улыбнулись, будто говоря: «Вот оно и есть! Недаром мы чего-то ждали».

Галя вскрикнула:

— Мама, ярмарка! О, пойдем, мамочка, пойдем, сердечко, на ярмарку!

— Пойдем, мама, на ярмарку! Пойдем, мама, на ярмарку! — стали проситься сыновья.

— Пойдемте, пойдемте, мои голубчики,— сказала вдова.

И пошли на ярмарку.

Солнце ярко играло на небе, ветер живо качал попадавшимися деревьями, и шумели городские сады; народ шумно валил по улицам; возы как-то весело скрипели друг за другом; едва можно было продираться между пестрой толпой, голова кружилась. То мелькнет прямо перед тобой расшитый тонкий рукав, то чуть не зацепит тебя колесо, то отшатнешься от пары суровых глаз, то на шее у себя чуешь воловью морду, то рогами задел тебя вол, то ты локтем задел и скатил кочан капусты с чьего-то возу, то ты на кого-то наткнулся, то тебя сунули. Люди, лица, одежда, разноголосые птицы в садках, цветы, лукошки, сено, рыба, овощи, доски, веревки, деготь, ягоды, щетки — перед глазами двигается, мешается, мелькает, исчезает и опять показывается. Поверх всего этого — вьющиеся по ветру разноцветные ленты девушек, белые намитки женские, сивые и черные высокие шапки козацкие, верхушки высоко наложенных возов то бочками, то сеном с торчащими в нем вилами. А голосов тебя оглушает, а слов и криков заставляет тебя оглядываться туда и сюда... Да что! рассказывать так не рассказать, как оно бывает: надо самому побывать и самому увидеть. Немудрено, что у вдовиных сыновей глаза разбегались и сердца от удовольствия шибко бились и что нельзя было разобрать, от испуга или от восхищения Галя вскрикивала поминутно. Наконец они добрались до самой площади на другом конце города, где стояла ярмарка. Тут-то Галя уж просто зажмурилась на время; да и братья не знали, куда скорей глядеть, и даже старший сразу был поражен. Тут ворохи сладких медовых пряников, груды орехов, сушеных груш, бубликов связки, кучи сластен... Вот-вот чоботы с красною оторочкою, такие самые, как надо! Вот глиняная свистулька, которой давно-давно хотелось! Вот смушевая шапка — лучше этой и искать нечего! Вот сивая шапка еще лучше черной!..

— Мама, мама! — лепетала Галя. — Купи мне, ох, купи поскорей вот этот большой пряник! Ох, я хочу этого пряника! Ох, мама, купи мне вот такую косыночку, ох, вот эту, эту пестренькую, славную! Или вот эту крас-

ленькую... ох, красенькую! Вот то наместо мне... ох, наместо мне!

И маленький Галин пальчик показывал туда и сюда, куда восхищенные глазки только обращались, и все больше Галя охала и громче просила и не слыхала, как мать тихонько ей шептала: «Не на что, Галя, не на что купить, дитя мое милое!»

Меньшой сын тоже стал просить: «Мама, купи мне шапку!» И старшие сыновья тоже просят: «Мама, чоботы купи! Мама, свитку купи!» Кто красного пояса просит, кто пояса пестрого хочет; один показывает на сласти, другой тянет туда, где целая кучка детей обступила продавщицу дудок, где сама продавщица, важная женщина в зеленом шитом очипке, играет с важностью на дудке, а уж мальчики все так надули щеки, как пузыри, и откуда слышен свист на все разные тоны и голоса.

— Не могу! не могу! не могу! — прошептала вдова каждому сыну потихоньку. — Не на что, дети! Нету...

Сыновья смолкли и вдруг остановились и поглядели на мать и на старшего брата потом. У матери лицо подергивалось, и дрожащие уста все шептали им: «Не могу, деточки! Не на что!» Старший брат стоял и глядел в землю по своей привычке, точно как тогда, когда прогнанный воротился от хозяина: так же лицо побелело, так точно губы сжались.

Сыновья больше ни о чем не просили и как стали, так и стояли, глядя молча по сторонам.

Галя еще раза два вскрикнула да несколько раз спросила: «Отчего нет? отчего? отчего?» — и ахнула. Меньшой брат унял ее.

— Галя, не проси! — шепнул он ей.

Галины разгоревшиеся глазки перенеслись на меньшого брата, и она опять спросила:

— Отчего?

— Не проси, Галя, — опять повторил меньшой брат, — только ты беспокоишь даром; не на что купить.

Галя притихла, опять вострепенулась, окинула всех глазками и опять притихла.

— Не проси, Галечка, — повторил меньшой брат.

— Я хочу! — прошептала ему Галя в ответ, низко опустив головку.

— Галечка, нету; где ж взять?

Галя подняла головку... у, какие блестели в глазках две крупные слезы! Посмотрела на всех своих, туда-сюда по сторонам, уже едва слышно прошептала: «Ой,

я хочу!» — и в последний раз. Прижавшись к меньшему брату, она смиренно-пресмирно стояла, прикусивши пальчик, потом другой, потом оба их вместе, и все для того, чтобы две крупные слезы не выкатились против воли.

Все они долго стояли между движущеюся толпою, шумящею и пестрою, — стояли и смотрели. Смотрели братья пристально — и словно впервой видели людские наряды и довольство, и словно впервой почувствовали на себе худые рубашонки; словно впервой видели они людскую бойкость, беспечность и веселье и словно впервой распознавали свою заботу и убожество. А мать глядела на них. Она с ними то заговаривала, то без слов гладила по головке рукой, то посылала ближе подойти полюбоваться, то показывала одно, то другое.

— Мама, — сказал старший сын, — пойдем домой.

И все стали проситься: «Мама, пойдем домой!»

Галя только крепче да крепче прикусывала свои пальчики.

— Домой? домой? — повторила вдова. — Уже домой хотите? Не погулять ли вам еще по ярмарке, мои голубчики? Чего ж так рано домой, мои коханные? Вы еще всей ярмарки не видали...

— Мы домой хотим, мама! — сказали в один голос сыновья.

— Домой? Ну, пойдемте домой, мои пташки! — вымолвила вдова, и едва вымолвила. — Ну, домой пойдемте, мои деточки! Галечка, дай ручку. Может, понести тебя, моя дочка?

Галя протянула ручки, и когда была на руках у матери, так обхватила ее за шею крепко и спрятала личико у ней на плече. И все они пошли домой.

Толпа все редела, все явственней отделялся голос от голоса, звук от звука, все свободней было проходить по улицам. Вот и конец городу, и уж с горы виден весь зеленый луг, и плескающийся синий Днепр, и за Днепром горы — вблизи одна одной зеленее, вдали одна одной синее.

— Скажите, деточки, отчего вы так невеселы? — промолвила вдова. — Погодите, мои милые, вот бог даст...

И не договорила вдова, что бог даст; или вдруг она надежду потеряла, что бог даст что-нибудь, или уж очень тяжело ей стало до того времени ждать.

— Чем бы вас мне развеселить хоть крошечку, мои дорогие! — промолвила вдова опять. — Ах, боже мой, боже ты мой милосердный!

И опять молча все шли. Все шире раздавался луг перед ними, все слышней плескался синий Днепр, а горы за горами уходили все выше и дальше — высоко-высоко и далеко-далеко! И, ворочаясь с ярмарки, из живой толпы, с пустыми руками, братья глядели на высокие и далекие горы и думали: что там, за теми высокими и далекими горами, что там?

— Мама,— спросил меньшей брат,— что это за дорога вон там, по горе, в лесу, и куда она ведет?

— Дорога-то? Ах, голубчик, ведет она туда, где я не бывала,— в далекие города и села. Покойный ваш отец ездил по ней, как служил в войске, и от него слыхала, что эта дорога опасная. При этой дороге разбойники разбой держат, идет она по дремучему бору, вьется между каменных гор... и страшно слушать бывало, как ваш отец рассказывает.

— На отца нападали разбойники? — спросил меньшей брат.

— Нет, дитя мое, нет, бог миловал. А вот на товарища его, на какого-то Ласуна, так напали и полонили его. И жил он, этот Ласун, у них в каменной пещере, в горе, три дня.

— И что ж он там у них видел и слышал? — спросил средний брат.

— Дивные богатства там он видел, моя детина. В пещере у них было полным-полно золота и серебра и дорогих камней. С золота и серебра его там сладко кормили, с золота и серебра хмельно поили и спать его клали под золототканые одеяла, на мягком пуху. И кони у них были залиты в серебре да в золоте, сабли и ножи обсыпаны дорогими камнями. Отроду никому и не снилось такого богатства и роскоши, какое у них, сказывал Ласун вашему отцу-покойнику. И звали они Ласуна жить с собой. «Оставайся, Ласун, жить с нами,— говорили ему,— хорошее и привольное житье тебе будет у нас».

— Что ж Ласун? — спросил старший сын.

— А Ласун было и согласился и остался у них, да сейчас же взяла его тоска. Жалко стало жену, деток, свою хату, своего покою. Стал у них проситься: «Отпустите меня, будьте милостивы!» — «Ну, иди». Набросали ему полну шапку золота и серебра и отпустили его. «И как пошел я от них,— сказывал Ласун вашему отцу,— вот как мне их жалко стало покидать, хоть плачь!»

— Что ж, опять воротился? — спросил старший брат.

— И было воротился опять он к ним. Да как повернул назад, опять его жалость одолевать стала по своему прежнему житью и удержала его. Да так мало ли время бедовал тот Ласун, что и тянет в пещеру и домой призывает...

— Что ж, сколько раз он ворочался и куда пришел, где остался? — спросил старший брат.

И по нем видно было, что он бы уж не воротился, если б раз куда пошел.

— Да под конец кинул шапку об землю, бросил все золото и серебро и домой пришел.

— Лучше б он не кидал, а домой бы принес, — сказал средний брат.

А меньшей на Галю посмотрел, словно думал: «То-то бы утех тогда Гале!» И Галя словно поняла, что думал меньшей брат. Она и улыбнулась так, как улыбаются, видя в уме своем что-нибудь очень хорошее.

— Не следовало бросать, — промолвили братья с сожалением.

— Либо не брать, либо не бросать: одно что-нибудь, — сказал старший брат.

— Потом, деточки, этот Ласун был при Днепре рыбаком и потонул в половодье, сказывал ваш отец.

Они пришли домой и уселись все около хатки под грушею.

— И что ж, мама, — спросил средний брат, — до сих пор эти разбойники там разбой держат?

— Теперь не слыхать ничего об них, — отвечала вдова.

— Куда ж они девались, мама?

— Кто их знает, мой голубчик! Перевелись, что ли, они или дальше ушли, на большое приволье. Ох, измучилась я, деточки мои! Лягу, не засну ли около вас.

Вдова легла на гробе и закрыла было глаза, но сон не сейчас пришел: глаза все открывались и устремлялись на детей, пока Галя своих ручонок не положила ей на лицо и не запела баюканья и упала сама подле в крепком сне.

Братья сидели да смотрели на высокие лесистые далекие горы — глаз не сводили. Только старший брат взглядывал иной раз на город, тот веселый и шумный город. И так они загляделись, так они задумались, что сумерки наступили, а они не заметили и очнулись, толь-

ко когда проснувшаяся Галя вскрикнула: «Ой, как темно! Где ж солнце?»

Дни приходили и уходили. Много еще праздников отпраздновалось, не одна ярмарка становилась еще, только вдовины дети уж больше никогда так праздника не ждали и на ярмарки не просились и не ходили. Они росли себе, бродючи по лугу, глядя на шумный и живой город да в другую сторону — на тихие высокие лесистые горы, на вьющуюся заглохшую и пропадающую там дорогу. И чем больше вырастали они, тем пристальней глядели туда. И рано утром, при светлом солнце, и поздно вечером, при искрометных звездах, все туда обращались их глаза.

Время же шло, и они росли и вырастали один одного лучше. И когда они вошли в лета, то старший брат стал еще молчаливей, угрюмей и задумчивей, средний брат стал еще пытливей, а меньшей еще пылче — и все братья стали беспокойны и недовольны. Мать убивалась, их приголубливая да жалея; Галя падала, развлекая их да лаская, а нужда и убожество придавливали все тяжелей, да тесней, да круче. Ходили все братья, искали себе работы и службы в городе и по селам, да или уж божья воля, или такая несчастная доля, только не находилось им ни службы, ни работы и за малую плату. И ворочались они домой из этих поисков все печальней да мрачней.

Как вдруг и счастье посетило: нашлась служба вдруг двум братьям — старшему и среднему. Оба они пошли в наймиты. Старший брат пошел служить к молодому зажиточному хозяину-огороднику, а средний брат служить пошел у вдовца, у старого хлебопашца; оба брата недолго запропастились: тут же таки под городом нанялись.

Молодой огородник был человек веселый да гордый, да счастливый, да жесткий, себялюбец и самонавец. У него хата белая, и жена милая, и родня значительная, и всякий достаток. Огород у него большой, славный, людей полным-полно беспрестанно всяких — и горожан и поселян. Он с женою ходит да расхаживает, да продает, да деньги считает и шутит с покупщиками своими и покрикивает на своего наймита. На огороде все уродило: желтеют дыни, зеленеют арбузы и всякие овощи; около шалаша хозяйского мелькает и пестреет кучка людей — наймит всем услуживает, подает, носит, возит, метет, складывает; хозяин шлет его — он идет, и вороча-

ется — хозяин еще нарекает; хозяйка торопит — он бежит, и спешит назад — хозяйка еще бранит; покупщикам угождает, чужим людям прислуживает, а те даже не ценят ничего, может, и никогда не скажут спасибо, никогда про его душу живую не вспомнят.

Ясное утро минуло, смерк жаркий день, стемнел вечер свежий, а сон не берет, нету покою, тяжело, да тоска давит. Когда ж отпустит тоска? Когда прояснится? Уничтожится ли когда-нибудь эта неровная напасть на свете? Будет ли облегчение? Хоть немного уменьшится ли время испытанья? Будет ли что-нибудь когда-нибудь?

Хлебопашец был человек тихий, работающий, заботливый и осторожный; знал уж он, как надо жить на свете простому человеку между князей и вельмож, — так и жил он, и все у него благополучно шло: он никого не трогал, и его никто не обижал; он век вековал свой приятно и спокойно с дочкою: у него была дочка, единственное дитя. Хозяйство хоть не бог знает какое роскошное — можно бы его и оценить, — да такое порядочное и славное, что лучшего и желать не надо.

«Будет ли он добрый? — думал средний брат, идя рядом со своим хозяином в первый раз в хозяйский двор да толкуя с ним о том, как хлеб уродит, добрый ли. — Похоже на то. В свете не без добрых людей, говорят».

Очень ему понравилась вся хозяйская усадьба, как он на нее взглянул: очень приятно ему было, что в хате пел голосок, а ветерок теплым веяньем доносил и слова и напев.

«Жить бы так до смерти! Если бы мне так бог дал!» — подумал он, входя в хату за хозяином, где песенка не смолкала, а все громче слышалась и внятней, пока двери отворились, и где их встретила девушка — точная краля девушка! Она и поздоровалась, и завтрак подала, и кое-что промолвила, и кое о чем спросила, и взглянула, и поблагодарила за все как-то небрежно, невнимательно, словно госпожа, словно начальница, и немножко этим запечалила она молодого наймита.

Да еще не то ему досталось, когда он послужил дольше да когда сделалась ему девушка и светом и мраком в жизни — что если она тут, так все сияет и блестит, а нет ее, то будто кто солнце снял и звезды собрал да в карман спрятал. Дознал он и то, что когда спешил, меряя три шага в один, спешил истомленный, скорей с поля пожелать ей доброго вечера — а она отвечала: «Добрый вечер!» и не оглядывалась на него. Попробовал



он и того, что, идя утром на работу, приостановится, дожидая, надеясь, дрожа, что промолвит она ему слово какое-нибудь,— а она, проходя мимо, прикажет: «Иди на работу!» Принял он и то, что когда вечером сядет где-нибудь, приютится, да затужит, да заглядится на нее — она его пошлет куда-нибудь, измороженного, одинокого, грустного, пошлет за какой-нибудь своей прихотью.

Перемучившись дни, не поспавши ночи, один раз наймит дождался встречи со своей госпожою любимою и признался, сказал ей всю истинную правду. Как же она удивилась, как она свое личико хорошенькое отвернула! Как услышала его слова неласково, как обидно ответила! «Не затрагивай меня никогда больше, наймит,— промолвила.—Разве я тебе ровня? Если хочешь у нас служить, так веди себя как добрый слуга. Не говори, не заговаривай со мной».

А он таки затронул, а он таки заговорил, да и должен был навеки проститься — потерял место и воротился домой к матери, в хатку на лугу. Такой он воротился, словно в цвету прибитый.

Развлекала его, уговаривала мать, ласкала Галя, братья силы поддерживали; и со всеми этими добрыми лекарствами он жил и не вылечивался и дождался, пока другая где-нибудь служба ему отыщется.

А между тем на огороде много продавали всякой всячины огородной, и хозяин своего наймита иногда посылал в город с возом — развозить проданное да собирать незаплаченные деньги.

Один раз наймит или хорошо не счел, когда брал, или дорогой как потерял, только хозяин недосчитался своего счету и поднял бурю: назвал и вором, и пройди-светом, и голышом; а хозяйка себе подсказывает, да покрикивает, да пищит, да верещит.

— Я больше у вас выслужил: возьмите из моих заработанных, да не бранитесь больше,— говорит наймит.

— Иди вон и не показывайся никогда! — гонит его хозяин.

— Чтобы и духу мы твоего не слышали! — кричит хозяйка.

— Заплатите мне,— говорит наймит.

— Заплатить? Да я тебе, вору, щербатой копейки не дам! Иди вон! прочь! — пхает хозяин.

— Я на вас суда буду искать! — промолвил наймит.

— Суда на меня? Ты? — вскрикнул хозяин и захохотал от великой потехи.

— Смотри! — вскрикнула хозяйка, и хозяйкин хохот раскатился мелким и веселым звуком.

Наймит пошел от них, да и сам засмеялся, издеваясь над самим собою, что собрался было хозяина засудить.

Вопросов да сожалений было вдоволь дома, а еще больше убожества да тоски.

Опять все вместе собрались ждать, терпя да надеяться не смея. Неспокойны, мрачны ходили братья; всех мрачней старший, всех грустней средний. Мать их развлекать не бралась. Галя уж их не трогала, а у меньшого брата так сердце жалостью просто исходило.

Раз вечером старший брат говорит всем братьям:

— Житье наше горькое и убогое; что вы думаете делать? Я присягаю дремучему лесу. Будете ли вы, братья, товарищами?

И все братья согласились и сказали: «Хорошо!»

— А мать? А Галя? — спохватился меньшей.

— Да разве мы много помогаем им? — сказал старший. — Братья-товарищи, не отступайте!

Все ответили: «Не отступим!»

Вошли они в хатку. Мать и Галя уже спали.

Мать сейчас проснулась, услышала и промолвила:

— Где вы так, деточки, замешкались?

И Галя проснулась, почувавши, что ее крепко обняли: то меньшей брат ее обнял.

— Что? — спросила Галя. Сердце забилося у ней, почувало — что-то есть.

Но меньшей брат ничего не ответил и отошел.

Старший брат сказал тогда:

— Мама, идем мы счастья искать; будь здорова да нас не поджидай! Прощай, сестра!

С этим словом пошел он, а за ним все братья вслед.

Вдова только всплеснула руками и упала в горе и в ужасе. Галя вскочила, догнала, уцепилась было за меньшого брата, не пускала и рыдала, но и любимый брат вырвался от нее и убежал за другими, и только издали она еще услышала его голос: «Прощай, Галя, прощай!»

Все ушли. Ушли и не возвращаются.

— Кличь их, Галя! кличь громче, зови! — твердила вдова как безумная.

И Галя кликала их громко и звала; но даром раздавался свежий, отчаянный голосок: в ответ только между гор звонко откликалось.

— Слышишь, Галя, слышишь шум? Они идут, идут! — говорила вдруг вдова.

Но это Днепр шумел, деревья шелестели: никто не шел..

— Видишь, видишь, Галя, вон там, там — кто-то стоит! Это Ивась стоит, а подле него, видишь?.. видишь Грицька? Беги, беги туда, Галя!

Галя бежала то в ту, то в другую сторону, где тешили их и обманывали ночные тени и мгла.

И рассвело. Рассвет показал им, как пуст зеленый луг и безмолвны горы кругом. Они всё ждали возврата и обращали усталые глаза во все стороны. И солнце взошло — такое ясное, будто хотело для них нарочно лучше осветить пустые дороги кругом. Они все-таки ждали возврата. Но с той поры никто не воротился домой.

### III

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много прошло дней, недель, месяцев, и лет прошло немало, что вдова с Галей еще прожила и прогоревала в убогой хатке на лугу, все ожидаючи, что возвратятся милые сыновья, что воротятся милые братья: то все слышался им шум шагов по мягкому лугу ввечеру, то перед рассветом пробуждал их шум у дверей — спешили они, и трепетали они... Но на лугу все пусто ввечеру, и перед рассветом у дверей нету никого. Пусто! никого!.. Напрасно Галя летала туда и сюда, как ласточка, и вдова из сил выбивалась, чтобы поспеть себе за ней: пусто! никого!

Да, да, пусто и никого. И переставали они на время рваться туда и сюда, будто успокаивались немножко, набирались терпенья.

— Галя,— говорит опять вдова,— слышишь, шумит?

— Это Днепр шумит.

— Нет, нет, Галя, слушай!

— Деревья шелестят, мама!

— Всё Днепр шумит! всё деревья шелестят! — промолвит вдова и вздохнет и прошепчет: — Боже мой! Боже мой!..

И немного погода вдова опять начинает:

— Галя! Галечка! выйди, погляди, послушай!

И Галя выходит, глядит и слушает. Не слышно ничего, не видно никого — только Днепр шумит да деревья шелестят.

Галя, что подрастала, то все становилась разумней. Уж она не боялась буки, ни волка, усердно работала, в когда теперь плакала горько, где-нибудь пританцываясь, никто бы ее не нашел по плачу: она тихонько-тихонько уж теперь умела плакать.

Жили они все так же бедно. Все так же ходила вдова на поденщину, но все меньше ей платили, потому что она все старилась и слабела, все становилась непроторенней и бессильней. Галя тоже ходила поденщицей, и ей платили тоже немного, потому что Галя была еще чересчур молода и неvyкля. Рано-рано поднимались они и шли в город на работу. И скажу вам, никогда не уходили они, не поглянувши на дорогу, что вилась по лесистой горе, не постоявши на лугу, напрасно не подождавши. Не дождавшись никого, кроме иногда пропорхнувшей мимо птицы, не увидавши ничего, кроме знакомых тихих высоких деревьев, они шли, приходили в город и брались за работы, какие бог им посылал: носить воду, полоть огороды, мыть белье, рубить капусту, белить хаты — брали, что в какое время бог посылал. Целый день они работали, изредка вместе в одном доме, всегда почти врозь, и ввечеру сходились на дороге домой. И тут-то Галин свежий голосок звенит: Галя рассказывает, что видела, что слышала, что там хорошо и что дурно ей показалось; вдова слушает и время от времени сама что-нибудь скажет о виденном и слышанном. И приходили домой, в свою хатку. В хатке они огня не зажигали, как и прежде; как прежде, светили им только месяц да звезды. И после дневного труда сон не часто осенял их. Особенно вдову мучила бессонница, и она принималась плакать какими-то скудными старческими слезами, от которых, кажись, разрывалось ее искрушившееся сердце. Галя обнимала ее, и обе говорили, и обе печалились, в обе надеялись на лучшие времена, пока вдова не была утешена и не забывалась сном, а Галин сон не разгуливался и мысли не начинали бродить и роиться около хорошего и радостного впереди далека-далека... Там, в этом далеке, братья виделись с какими-то сияющими лицами, в каком-то блеске, и все кругом сияло и блестело... Жили они, жили, пока дожили до того времени, что вдова захворала и слегла.

Вот тут-то пришло самое трудное: и работать надо, и больную одну оставить нельзя. Тогда-то Галя показала резвость своих ножек. Она нанималась за самую малую плату с уговором проведывать мать и раза по три в день

прибегала в хату и возвращалась в город. Но чем дальше, вдова все слабей становилась да слабей, и Галя уже не отходила от нее.

Больная лежала тихо, безмолвно, вся почти с закрытыми глазами, и было похоже, будто она отдыхала от тяжелой-тяжкой-тяжкой усталости и работы.

Раз она спросила:

— Галя, что это, Днепр шумит?

— Нет, мама, Днепр не шумит: зима, и он подо льдом.

— Галя, деревья шелестят?

— Нет, мама, зима, деревья в инее.

Тогда зима была белая, лютая, крепкая зима.

Долго лежала больная, не открывая глаз и не молвя слова. И все бледнела, и все слабела. И чуть слышно опять спросила:

— Галя, Днепр ведь не шумит? Я не слышу... Шумит или нет?

— Нет, мама.

— Так деревья шелестят?

— Нет, мама.

Вдова поднялась, словно исполнилась сил:

— Галя, я слышу, я слышу! Отворяй двери скорей! Встречай скорей!

И, потерявши вдруг все последние силы, вдова упала и закрыла глаза. Галя припадала к ней и звала ее, но она не откликнулась, и глаза ее навеки закрылись.

Добрые люди кое-как помогли Гале похоронить мать, и стала жить Галя одна-одинешенька в своей хатке.

#### IV

Прожила Галя так целую студеную зиму, сидючи вечером под скосившимся окошечком, смотрячи на луг в снежной пелене, гладкой и белой, без дорог и следов кругом, кроме той тропинки, что проложила сама Галя, ходючи на работу.

Иногда Галя запевала какую-нибудь песенку, что переняла, работаючи вместе с другими веселыми девушками. Запевала песенку Галя и долго пела, подперши усталую рукою свою одинокую головку.

Иногда ей вдруг казалось, что вот кто-то заглянул в окошечко, вот кто-то стукнул в двери, вот кто-то пробежал мимо: это или месяц вынырнул из-за облака, или

вальный ветер пронесется по лугу, или мороз ударит. И Галя стала ждать одинокими вечерами, когда месяц заглянет в окошечко, ветер пробежит мимо хатки или мороз постучится, и привыкла ждать и принимать их, как дорогих гостей.

И так прошла вся зима, и за зимой весна пришла теплая, свежая и цветущая. Луг зазеленел, груша с сло-манною верхушкою около хатки оделась листвою и на-чала тихонько шелестеть по утрам, при утреннем ветер-ке, и зашумел лес по горам кругом, и засинел, разлился Днепр и далеко забежал в луг разливом, и налетели птицы из теплых краев, запели и защибетали.

Одним весенним вечером сидела Галя у окошечка в своей хатке и пела. Она рада была теплой весне с цве-тами и пахучими травами и оттого громче и веселей то-гда пела. Вдруг что-то мелькнуло перед окошечком... Га-ля взглянула на небо — на небе мерцали слабо звезды; опять что-то мелькнуло и уж совсем заслонило окошечко. Галя увидела человека, встрепенулась и испугалась и глядела на него во все глаза. Перед ней стоял моло-дой и хороший козак. Стоял и спросил:

— Девушка, тою ли дорогою в город идти? — и пока-зал на дорогу.

— Тою самую,— отвечала Галя.

— И хорошо,— промолвил козак.

Но хоть было хорошо, однако он все еще стоял под Галиным окошечком и то на нее заглядывался, то зази-рал в хатку. Галин испуг прошел, но сердце билось от удивленья и неожиданности.

— И я прямо этою дорогою войду в город? — спросил опять козак постоявши.

— Прямо войдете.

Узнал козак и то, что войдет прямо в город, а все еще его не несли ноги от Галиного окошечка.

— Не будет ли ваша ласка дать мне напиток? — попросил козак.

— Сейчас,— ответила Галя; и сейчас подала ему во-ды в окошечко.

Козак напился.

— Спасибо, девушка,— сказал он.— Какая славная вода! Из Днепра берете?

— Нет, из колодца.

— А где же тут у вас колодец?

И козак принялся осматриваться в вечерней тьме и искать колодца.

— Далекo, на лугу, вон там, под горою,— показывала ему Галя.

— Чудесный у вас луг какой: и Днепр шумит, и деревья кругом, и горы; свежо, благодатно! Хорошо вам, верно, жить!

Гале самой вдруг почему-то показалось, что тут вправду житье несравненное, и она ответила козаку:

— О, жить тут славно!

— А в город вы часто ходите? — спросил козак.

— Каждый день хожу.

— Каждый день? на работу?

— Да, на поденщину.

— Что ж, работы вволю всегда? Хорошая работа?

И Гале опять почему-то показалось, что вправду работа хорошая, и она ответила козаку:

— О, хорошая работа!

— И родня у вас в городе есть? — спрашивал козак, до того любознательный!

— Нет, у меня никого нету в городе родного. Я сирота:

— И одни живете тут?

— Одна живу.

Кажись, так мало они говорили и сказали друг другу, а времени много прошло. Звезды, все слабей и слабей мерцая, словно уходили все дальше в лазурь; стало свежей; с Днепра ветерок потянул и с другого берега перенес запах цветущих там тополей. Не козак и не Галя спохватились, что рассвет близко, а наднепровская чайка его почуяла и пронеслась с криком над Днепром.

— Прощайте! — промолвил козак.

— Прощайте! — промолвила Галя.

И козак ушел по дороге в город. И Галя, проводивши его глазами, еще долго провожала мыслями, пока забылась кратким сном до утра, тут же, у окошечка, склонившись головой на сложенные руки.

Когда она проснулась, яркие солнечные лучи задали ей светом в глаза неожиданно: она проспала утреннюю зарю — вот тебе раз! И Галя засмеялась небывалому случаю, и стала спешить на работу, и, умываясь, уронила кувшин с водой нечаянно, и опрокинула ведро нарочно, и все смеялась сама с собой: потому что все, видите, выходило как-то неожиданно, вдруг...

Шибко шла Галя на работу, еще шибче билось у ней сердце, а еще шибче роились мысли... Ей представлялся одинокий-одинокий весенний вечер у окошечка, своя

одинокая песня, весеннее тепло, мгла, и свежесть, и мерцание звезд... И вдруг заслоненный свет: в окошечке и молодой козак... так вдруг... вдруг... так неожиданно!

В этот день Гале случилось работать на огороде вместе с другой женщиной, с которой она и прежде иногда вместе работывала и толковала о людских бедах и напастях, печаль делила, лихо тешила.

— Хоть ложись да умирай! — сказала эта женщина Гале, когда они принялись полоть.

— О, что это вы говорите, любочка! — вскрикнула Галя.

— Что ж я говорю? Что есть, то и говорю.

И вправду, женщина была не жилица на свете: худа, бледна, изможденна.

— Нет, нет, — сказала Галя, — вы не горюйте. Как знать, что впереди будет!

— Что же будет? — возразила женщина. — Ничего, кроме беды да лиха!

— Ой, нет! — вскрикнула Галя. — Все может быть, все! Не ждешь совсем, не чаешь — и вдруг неожиданно-нечаянно.

И Галя бросила полоть и оглянулась кругом, словно готова была встретить что-то неожиданное-нечаянное...

— Да будет тебе: лиха да еще с лихвою! — проговорила женщина.

— Чего-чего не случается! — зашебетала опять Галя. — Все случается! Все может быть!

И Галя поглядела с улыбкой на играющее солнце, будто думая: «Скатись ты сейчас на землю, ясное солнышко, так я не удивлюсь теперь; даже руки подставлю — не боюсь!»

А женщина промолвила:

— Полно тебе, Галя! Ты наскажешь такое, что на вербе груши, а на сосне яблоки растут!

И ввечеру дома, сидючи под своим окошечком, Галя думала о том, что все может быть и случится, всего надо ждать нечаянного, и улыбалась и, кажется, смело и весело ждала всего; но когда показалась высокая фигура на дороге к хатке, Галю обдало жаром и холодом. И чем ближе подходила фигура, тем жар жарче, а холод холодней ее обдавал. И когда вчерашний козак подошел к окошечку и сказал ей: «Добрый вечер!», Галя ему в ответ едва вымолвила свой «добрый вечер!»



В этот раз козак не спрашивал о дороге, а подошел как знакомый, гуляя, и завел речь о том, что за город Киев; красив и велик, и рассказал, что он недавно сюда приехал с товарищами на разные дива поглядеть и очень рад тому, что приехал...

И в самом деле видно было, что козак рад. И Галя рада была:

Потом он рассказал, как забрел на луг в первый раз: товарищ, видите, назначил ему свиданье под городом, и он товарища искал, не нашел; увидел луг, Днепр, захотелось ему над Днепром по лугу пройтись — он и пошел, и видит — хата, и подумал: чья эта хатка стоит? И услышал Галину песню; слушал-слушал и подошел под окошечко...

И хоть козак не прибавил, что он рад, что подошел; только это и без козацких слов было видно. И Галя рада была.

Потом он рассказал, что он тоже сирота, тоже без роду и племени; что он козак из далекого села Глибова, зовут его Михайло Нарада. Тут он спросил, как зовут девушку, и девушка ему сказала: «Галею». Рассказал, что село его большое и богатое: там две церкви, и у них хаты все славные, сплошь сады; село на горе, а под горою тот же самый Днепр шумит, что и под Киевом; что люди у них все хорошие и девушки мастерицы вышивать сорочки.

Галя слушала-слушала-слушала, они поздно расстались.

И Галя не уснула в эту ночь, а просидела до утра под окошечком, и ей так же отчетливо, как бы во сне, грезилось большое село на горе, в зеленых садах, две высокие церкви с золотыми крестами, синий Днепр под горой; грезились люди с такими привлекательными лицами, каких она никогда еще не встречала; девушки такие разряженные и милые, каких она никогда не видела. И будто весенний тихий, душистый вечер и далекое село грезилось ей бесшумно, беззвучно, хоть живо, — и ничего не слышно было нигде, кроме своего сердечного биенья.

Козак стал приходиться каждый вечер, и у них велись речи чуть не до зари утренней. Галя уже знала, что козакова хата стоит недалеко от церкви, из окна виден Днепр и далеко окрестные горы и леса; что у него сад большой и пасека. И узнала Галя тоже разные многие тревоги, радости, тоску и блаженство, неведомые ей до

тех пор. С того времени, как она неожиданно познакомилась с козаком, Галя все ждала чего-то особенного, и ждала смело и весело, но вместе с тем дало себя знать ей ожиданье ожидаемого. Сначала она сживала под окошечком и ждала, а потом несносно стало ей сидеть спокойно, когда душа вся волновалась, сердце колотилось и дух захватывало; она начинала ходить по лугу, рвала попадавшиеся цветки, страстно впивала их запах, будто лекарство от нетерпенья; то она шла в одну сторону, то в другую, то стояла на одном месте, пока козак Нарада не показывался на дороге.

Раз она воротилась с работы и застала козака уже на лугу около хатки, и он сейчас же сказал ей:

— Я ехать собираюсь домой.

Галя побелела, вспыхнула и опять помертвела. И ничего не могла ему ответить.

— Галя, будь мне женою и поедем со мной,— сказал козак.

И тут Галя ничего не могла ему ответить.

Но зато, погодя, как она щебетала, плакала и смеялась, краснела и бледнела от своего счастья!

И в первое воскресенье после этого вечера Галя в свежем венке, рука об руку с козаком Нарадою пошла в церковь — рано-рано поутру, без дружек и сватов, без родни и друзей, вдвоем — и перевенчалась с ним.

И в тот же воскресный вечер из Киева выехал славный новый воз, запряженный двумя могучими волами. На возу сидел красивый молодой козак, которому, видно, хорошо было жить на свете, и около него сидела близко молодая козачка в белой намитке — о, какая прелестная, счастливая козачка! Поехали они по дороге в село Глибово

## V

В горах над Днепром есть много каменных пещер, и в одной такой пещере собралось девять братьев-младцев. Кто лежал, кто сидел; несколько трубок курилось... У, какие утесы кругом! Днепр врывается между них и гремит по камням и высоко брызжет, перелетая через них. Отраженье ясного неба вертится в скачущих и бьющих волнах; кроме ясного неба вверху да гремящего Днепра внизу, за окружными утесами видны в вышине далекие темные леса, позлащенные искрящим солнцем.

Старший брат и всем им воевода сидит с потухшей трубкой и смотрит в землю, и на лице его ничего не видно, кроме обычной угрюмости и силы.

Но другие не так, один деньги считает, а подле него другой смотрит словно с гневом, словно с презрением на них; третий тоже смотрит и не то в чем-то сомневается, не то раскаивается; один, кажется, спит, отвернувшись от всех к стене; другой лежит с открытыми глазами, закинув руки под голову, точно порешивши с докучными всякими думами; двое курят трубку за трубкой — только искры вылетают и дым вьется и обвивает невеселые их лица; самый младший из них сидит при входе в пещеру, и с первого на него взгляда ясно, что полна его кудрявая голова грустных мыслей, а бедное сердце полно горечи и тоски.

А в пещере ни золота, ни серебра, ни дорогих каменьеv. Голая, серая эта пещера — и больше ничего. Холодно, жестко там преклонять голову.

Вечер наступил тихий и розовый. И все порозовело: кремнистые утесы, гремющий Днепр внизу, далекие темные леса на вершинах и быстро пролетевшая птица над Днепром. Лесная повилика слабо откуда-то запаха, и глаза не находили, где бы мог вырасти нежный цветок тут, на диких камнях.

Средний брат, что, казалось, спал, вдруг поднял голову и проговорил: «Не пора ли?»

Все оглянулись, и два голоса ему ответили: «Еще не пора! Еще рано!»

Средний брат умолк и опять отвернулся, опять будто уснул.

Розовый вечер разгорался ярче, потом начал темнеть и темнеть; месяц вырезывался из-за горной вершины, и засверкали звезды на небе.

— Пора! — говорит старший брат и встает.

В одну секунду все были на ногах, пещера опустела. Легко и быстро пробираясь по утесам, братья скрылись за ними.

## VI

Едет козак с козачкой домой. О, веселая, веселая дорога! Куда ни глянешь — все цветет и благоухает, о чем ни вздумаешь — все ясно и любо! Как все теперь хорошо: и вспоминать прежние напасти и лихо и забежать мыслью в радостное будущее! Говорили они о том, что

теперь жить будут вместе, как хозяйничать станут вместе.

— Будем жить одни вдвоем,— сказала козачка.— Ведь у нас с тобой никого нету.

И две пары счастливейших глаз обратились друг к другу.

Вдруг что-то больно кольнуло в сердце козачку; она в лице переменялась и проговорила:

— А где мои братья теперь? Живы ли?

И слезы так и побежали по ее счастливому лицу. Теперь было на чье плечо головкой припасть, было к кому прильнуть. И, наплакавшись горячими слезами, козачка подняла голову и промолвила:

— Никогда я их так хорошо не оплакивала, как теперь. Как-то их бог милует, Михайло коханий, а? — спросила она и ждала козакова ответа, как их бог милует.

Пошли у них речи о братьях и разные предположенья удачные, разные надежды верные явились... И в будущем пылкая козачка устроила и уладила все, как хотелось ее душе, как желалось ее сердцу. А козак на все согласен и всем доволен.

В таких речах они без внимания ехали по дороге, не глядя кругом, пока их не поразил шум мельничных колес где-то поблизости; оглянулись они — и увидали темные леса со всех сторон, заходящее за них солнце и справа какой-то хуторок бедный.

— Да мы с дороги сбились, Галя! — сказал козак усмекаясь.— Вот так-то гляди в ясные очи, так и дорогу проглядишь!

Ясные очи таким взглядом ему ответили, что он опять забыл о дороге.

— А вот дорога впереди,— сказала Галя, указывая вперед.

Впереди лежала дорога узкая, малоезженная, на которую они попали сами не знали когда и как.

— Дорога-то есть, да куда она ведет? — сказал козак.— Надо подъехать к этому хутору и спросить.

И козак, зарекаясь наперед глядеть в ясные очи, повернул волов к хутору.

Это был маленький, бедный хуторок, везде, где только можно, заросший красным ярким маком: мак сплошь укрыл огороды около каждой хатки, снопочиками выростал у дороги, то взбирался на крыши одним пышным цветком, то целой семьей, то, словно бахромой, обнизы-

вал кругом, прерываясь кое-где как оборванное коралловое ожерелье, и издали бедный хутор, казалось, горел в огне несгораемом.

— О, какой мак! — вскрикнула Галя. — О, что за пышный мак! Я себе заведу такой!

Подъехавши к первой хуторской хатке, они встретили женщину с ребенком на руках и спросили, где дорога в село Глибово.

— Не знаю, такого села нету, — отвечала женщина.

— А какие же около вас села? — спросил козак.

— Хрумово, Иваньково, Кривушино...

— Далекое Кривушино?

— О, далеко. Считают больше сорока верст.

— А как туда проехать?

— Да вот эту дорогою; прежде вы приедете в Хрумово, потом... Да только эта дорога теперь не безопасная.

— Отчего?

— Да слышны разбои и убийства стали. Слышно, недавно убит богатый хозяин в яру... Ну-ну! — унимала она ребенка, что тянулся к волам. — Ну-ну, не шали, а то сейчас занесу в яр, брошу к разбойникам.

Но ребенок был, видимо, смелый, козачьей породы: он в ответ на это только засмеялся и схватил вола за рога.

— Мал козак, да смел! — сказал Михайло.

Мать взглянула на малого и смелого и усмехнулась. А Галино сердце, которому все, что ни виделось, ни встречалось, придавало счастья и приполюняло радости — Галино сердце всем и всему отзывалось.

— Ну, прощайте, спасибо вам! — сказал Михайло женщине. — Прощай, козак, да расти! — сказал он ребенку.

— Расти, милый, расти! — говорила Галя.

— Спасибо, счастливой дороги! — отвечала женщина. — Поклонись, сыночек, поклонись.

Сыночек не хотел кланяться и упорно драл вверх голову, которую мать наклоняла.

— Видите каков! — промолвила женщина смеясь.

И Михайло и Галя ответили ей улыбкой.

— Так точно это дорога в Хрумово? — спросил еще раз Михайло.

— Эта, эта самая. Только как это вы не боитесь ехать? Говорят, опасно...

— Мало ли что говорят! — ответил Нарада. — Не страшайте взрослого козака, коли малый не боится!

Еще улыбки, еще поклоны и пожеланья добрые — и вот хуторок скрылся из виду со своим алым маком, и мельница не шумит, и они едут по лесу, то спускаясь к Днепру и чуя его прохладу, то поднимаясь высоко и слыша только шум и плеск волн.

## VII

— Коханый, — говорит Галя, — а что если и вправду разбойники на нас нападут?

— Боишься, Галя? — спрашивает козак.

Галя не боится, но если разбойники нападут?

— Не бойся, мое сердце, это все сказки, — говорит козак. — Будь спокойна, Галя.

— О нет, я не буду бояться, милый. Я не боюсь, — отвечала Галя.

И они ехали дальше по темному лесу и все, счастливые, говорили про счастье.

А лес все темнел, и Днепр все быстрее шумел. Сначала дорогу лес обступил, и, едучи, они слышали запах лесных цветов; потом лес вдруг будто снялся — и по обеим сторонам высятся голые камни, и на них, как натканые стрелы, редкие сосны, и внизу навстречу им бьется Днепр, вдруг повернувши свое течение круто в ущелье...

Только успело все это мелькнуть у них перед глазами, как на них бросилась шайка людей. Мощные руки остановили воз, схватили козака. Галя могла только вскрикнуть; козак стал бороться...

Недолгая борьба, кто-то упал со стоном; затем яростный крик — и козак зашатался и упал подле Гали. В ужасе схватила она его и прижала к себе; в ужасе чувствовала, что теплая кровь обливает ее руки.

Шайка хлопотала около сраженного товарища, и слышались слова: «Не дышит! мертв!» И страшный плач слышался и глухие вопросы: «Где схоронить?», и шаги в ту и другую сторону, поиски и рытье земли, и выбрасываемая земля из ямы...

Ночь проходила, все светлело кругом. Кровь, обливавшая руки, останавливалась и холоднела; вдали, за деревьями, копали яму и мелькали люди, вблизи никого...

Но вот кто-то приблизился. Еще в большем ужасе Галя крепче прижала к себе своего козака и взглянула...

Около нее стоял молодой парубок с убитым лицом, и, казалось, ему было жаль ее; но когда глаза их встретились, он вдруг весь затрепетал и быстро спросил:

— Откуда ты? Чья ты?

— Я сирота,— отвечала Галя.— Я живу одна около Киева в хатке на лугу... Нет, нет, не то: я замуж пошла, и вот мой козак...

— Галя! — промолвил парубок, почти падая подле нее.— Галя, сестра! Узнала ли ты своего брата меньшого?

— Ох, братец милый, это ты? Здравствуй, здравствуй! Отчего ты долго так не приходил?

Она наклонилась к нему и много раз его с жаром поцеловала, все не выпуская из рук Михайлу своего, и потом спросила:

— А где ж другие братья? Отчего вы так долго не приходили? Где ж братья?

Ужас ее будто уменьшился; она пристальнее поглядела кругом. Меньшой брат покликнул остальных братьев, и они пришли.

— Это сестра наша, Галя,— сказал меньшой брат.

— Это я, я, братцы! — промолвила им Галя.

Но они никто не подходили к ней, и старшего брата совсем не было, и лица у них у всех такие страшные, странные... Ужас опять напал на Галю.

— Где старший брат? — спросила она.

Ужас все больше и больше охватывал и подавлял ее, и сначала она ничего не могла понять, потом поняла все, все увидела и узнала.

Она видела старшего брата мертвого под дубом и знала, что его убил ее Михайло. Она была при похоронах и видела, как старшего брата вместе с ее Михайлой опустили в глубокую яму, усыпанную листьями, и она просталась с ними... Но странно как-то все перемешалось у нее в уме, и даже видели странно глаза, и странно уши слышали: то она думала об играх с братьями на лугу, о покойнице-матери — и внезапно являлась в мысли улыбающаяся женщина со смелым, веселым ребенком на руках, в бедном хуторке, заросшем алым маком; то шла она из церкви и слушала Михайлов голос, то шум Днепра все заглушал, то стоны слышались, голые камни виделись, темные леса — и вместе вечер весенний, пленительная, цветущая свежесть и вдали большое белое

село на горе; то все живое, радостное и дорогое, то все дорогое мертвое, похороненное... Она ждет-ждет к себе жениха, выглядывает его, высматривает, ловит звук его голоса, а около нее меньшей брат является. Вдруг перед ней это возмужавшее, но знакомое милое лицо — и она ему улыбается и очень рада... А вот и все братья сидят рядом на земле, только недостает старшего... Вдруг какой-то свет — и память, и разум, и ужас опять нападает на нее — и в ужасе она бросается бежать, и бежит-бежит к Днепру, и в ужасе бросается в Днепр. За ней по следам братья бегут, зовут... но днепровская пучина уж далеко унесла сестру и разбила по острым камням; и напрасно братья ходят по диким берегам: в быстрых волнах ничего не видно, кроме отраженья ясного неба, окрестных утесов и лесов...

## НЕВОЛЬНИЦА

Б. А. М

Давно когда-то, в Овруче, если знаете, родился у одного козака мальчик Остап, и как только этот мальчик Остап стал на свои ножки, сейчас пошел по Овручу, всюду поглядел, посмотрел, да и говорит: «Ге-ге! нехорошо людям в Овруче жить! Надо б этому помочь!»

А тогда, видите ли, делали набеги на Украину всякая бусурманщина, турки, татары — не так, как теперь, что теперь хоть бывает тоже попуст, да уж иначе, христианский — по-христиански — что почему-то не так, должно быть, обидно... Так вот, говорю вам, тогда делали набеги всякая бусурманщина, турки и татары жгли, грабили, совсем уничтожали прекрасные города; мало ли козачества с свету божьего согнано преждевременно, побито, позамучено, много девушек и жен в плен забрано.

Приходит Остап домой, а отец и мать его спрашивают — известно, единственное дитя, так в глаза ему глядят и сейчас же подстерегут все, все заметят, — спрашивают:

— Чего это ты, сыночек, задумался?

— А того я, — говорит Остап, — задумался, что нехорошо людям в городе Овруче жить.

— Ге-ге-ге! — говорит отец, а мать тяжелешенько вздохнула.



— Надо этому помочь! — говорит Остап.

— Ge-ge-ge! — опять промолвил отец. — Рад бы в рай, да...

А мать еще тяжче вздохнула.

На том разговор и кончился, что отец и мать запечалились, каждый по-своему: отец омрачился, повесивши голову, а мать, склонивши голову, загрустила, а Остап снова пошел по городу Овручу прохаживаться, да свою думу думать и свой совет держать.

А между тем время бежало своим чередом, как всегда, и Остап рос своим порядком. Только, как запало ему в мысль и в душу, что в Овруче нехорошо людям жить, что надо бы тому пособить, то как зернышко какое принялось, развилось, пустило корни: он уже не успокоился с того часу и все только думал, да гадал, да замышлял. В то время, как другие мальчишки дрались между собой, словно петухи, за какую-нибудь свою обиду, или как медведи друг друга одолевали за какую-нибудь цацку, или играли, да шалили, да резвились наилучшим образом, Остап все ходил, да глядел, да замыслы замышлял.

Как все те, которые себе очень голову ломают, или заботят, или вполне чему-нибудь преданы, Остап иногда, как пойдет прохаживаться, так и зайдет далеко, пока что-нибудь приведет его в себя, — и вот один раз очень далеко он зашел, погруженный в свою заботу, как вдруг шуркнуло что-то, будто птица пропорхнула, звякнуло что-то, будто две стрелы пролетели, встретившись — едва его с дороги не сбросило, едва успел он увидеть вооруженного турка на легком вороном коне, а у турка девушку с русою косою, что протянула руки к нему и вымолвила: «Спасай, козак!», и все исчезло, будто бы и не бывало никогда.

— Если бы сила моя да лета мои! — промолвил Остап, и очень горько ему стало, что еще не могуча его сила, не совершенны его лета.

Вот если бы нам с вами, вам да мне, встретилось что подобное, так мы бы, я да вы, ахнули да вздохнули (к чему мы станем тут поминать, что тоже и страшно бы перепугались?) пришли домой, рассказали все соседям да и забыли, — а Остап нет — не забывал.

Опять тоже один раз послал его отец в лес за дровами. Сами, может, знаете, каково веселешенько ехать веселым утром в лес — сам лес будто смеется, шумя на-

встречу вам зелеными ветвями;— кажись, всякое сердце радуется, всякий глаз тешится.

Остап, что глянет вокруг, то глаз его опечалится пуще, сердце больше занует.

Как вот небольшой овраг на дороге и только что в этот овраг спустились, конь как шарахнет в сторону — видит Остап, лежит козак убитый, молодой, в самом цвету своем, мощный, в самой силе своей, загубленный навек. Остап наклонялся, припадал к нему, прислушиваясь — не дышит, — нет!

Если бы такое нам встретилось, вам да мне, так что ж делать — разве первый это случай несчастный? Мы бы, вы да я, потужили, может бы и всплакнули, да и дали бы себе покой — а Остап нет — себе покою не давал.

В третий раз случилось ему проникнуть в самую страну свою от востока до запада, с севера на юг, и такая страна всюду и повсюду разоренная, разграбленная, уничтоженная ему представлялась, что Остап, охая, за голову схватился.

Если бы это мы, вы да я, так бы мы, пожалевши сердечно, да загородивши себе какой-нибудь приют в уголку, сидели бы там смирно и тихо — а Остап нет — не бросил на произвол.

Не было Остапу ни сна, ни отдыха; не было покою, ни отрады. Какое страданье, какая тоска и кручина его одолевала, вы, деточки, того не можете и не в состоянии знать. Словно голос какой-то его кликал, словно целая страна родная стонаючи звала, будто все лихо людское и горе молило: «Спасай! спасай!»

Разве каждого такой голос хоть иногда, хоть раз в жизни не покликал? О, да — почему же нет? Да видите ли, иных тоже много голосов кричит: «А что тебе будет? А как тебе удастся?» Кричат эти осторожные голоса сильно и заглушают тот...

Начали добрые люди поглядывать на Остапа странно, почали немножко посмеиваться над ним, подшучивать, кто с горечью, а кто благодушно, а кто, то и запечалился, а кто, то и испугался...

Я знаю, что если бы над нами, над вами да надо мною, почали люди так или иначе подсмеиваться да подшучивать, так мы бы страх застыдились, покраснели, красней яркого пиона, все бы это покинули, и убежали, и спрятались; я знаю, деточки, что если бы мы, вы да я, кого таким образом опечалили или перепугали, так бы

мы екоренько и успокоили — да Остап, видите ли, не такой был, то не так он и делал.

Вот тогда зато и начались для него всякие напасти, беда да лихо. Вот как в сказке, что бабушка когда-то рассказывала нам, козаку надо было горы крутые переходить, реки быстрые переплывать, через палящий огонь перепрыгивать, — помните, мы еще тогда с вами в мыслях совет давали тому неугомонному козаку все оставить и выкинуть из головы да домой воротиться — пропади оно совсем все! — тогда же, помните мы с вами в душе зареклись и дали обет, что сами никогда в такие хлопотливые, ужасные дела не впутаемся — помните? Ну вот, Остап впутался, упорный! И возвысились перед ним горы крутые, такие, что и не приступить, будто стены голые; и поплыли перед ним реки глубокие да быстрые, что каменные берега рвут, сияют, как алмаз, и плещут, и мечут волнами, как бы насмехаясь над пловцами; и запылал огонь перед ним, сжигая все кругом себя, будто поедаячи поедом.

Деточки! что если бы нам подобное? Ножки наши резвые! было бы вам тогда работы! Однако думаю, что не пустили бы нас на беду и пагубу, а разве занесли бы на другой конец света божьего, где нет огня, кроме чтобы только кашу варить, или в хате засветить, где на реках ловкие перевозчики поставлены, а через горы удобные дороги проложены, где смиренному, осторожно-му лакомке жить не нажиться...

Вот уж вы и замечтались, что за славная та страна — ну, полно вам — теперь главная речь идет про Остапа, как он взбирался на крутые горы, срывался, катился вниз, опять снова цеплялся, снова срывался, да снова-снова-снова, пока взобрался на вершину; как он плыл через реки, через пучины, захлебывался, тонул, вынырял и снова-снова-снова, пока на берегу стал; как он на огне обжигался, прижаривался, горел на большом и на медленном, и на маленьком, пока очутился на свежем местечке. Вспомните, что только птица скоро гору перелетает, рыба быстро реку переплывает и только через *купальский* огонь можно вмиг перескочить, — так Остап немалое время побился, — я так и не могу точно вам определить, сколько раз солнышко всходило и закатывалось, и снова, и снова, и снова, и тоже сколько раз месяц показывал золотые рожки свои на небе, пока Остап отбыл и покончил свои труды...

Тяжкие были! Я вижу, вы помните каковы были, потому что вздыхаете и не желаете ни себе, ни мне...

Вот после всех трудов, да после всех напастей Остап ворочался домой... Вы просите рассказать вам всякую его напасть подробно — полно! Это теперь, днем ясным, да и то покуда еще не слышали и начала, так вы просите и храбритесь, а придет ноченька — спать не будете — прах ему! Лучше про это и не поминать!

Так вот, говорю, после всех трудов, после всех напастей, ворочался Остап домой, ехал с вороным конем. Остап покинул свою хату, отца и мать совсем юноюшей — в таких летах один мой родич еще пишу в ухо проносил, неискусен еще был, мое сокровище, в роток вправить — а ворочался Остап уже мужественным козаком, на той поре... вот на той поре, как наш сосед, знаете — тот, что возлеял себе такие прекрасные усы, носит перстень с изумрудом и ищет, с таким томленьем ищет! купить себе пегих лошадок... Настоящий козак, истый козак был Остап, и когда он ехал на вороном своем коне, так посмотреть было мило... Не могу я его хвалить, потому что если хвалить статью, так надо с чем-нибудь и сравнять, а с чем же я козака, настоящего козака, сравню, с чем на свете?

Ворочался Остап домой и уже близко было до города, уже знакомые места со всех сторон открывались и его приветствовали, уже город мрежился невдалеке. Он подъезжал к нему очень рано, — тогда, когда мы с вами еще спим крепким сном.

Утро только зарумянилось и зазолотилось: только еще самые ранние птички щебетали, только еще самые заботные люди просыпались.

Подъезжал ли кто из вас, деточки, к родным местам когда-нибудь ранним утром, вспоминая все вместе: и тогдашние мысли свои и надежды, и упования, и где тут плакалось, где тут радовалось, как прощались, покидали, расставались, все доброе и лихое время тогдашнее; чувствуя вместе все: и какое-то сожаленье, какую-то легкую печаль, которою ваше сердце трогается, и живую радость, которая сердце наполняет? Не были ли вы в таком состоянии, что, как говорится, один глаз смеется, а другой плачет, когда вы видели перед собою родные места? Да! случалось вам. А случалось ли вам вести с собой избавленье, освобожденье своему народу? Нет? Нет? Нет? Все нет? Ну так и не знаю, хорошо ли вы почувствуете, хорошо ли поймете то, что Остап чувствовал

и испытывал, подъезжая, потому что Остап вез с собою такое освобождение, такое избавление.

В тех напастях да трудах, что мы про них не хотели очень много толковать к ночи, Остап собрал себе хорошее войско козацкое понемножку и уж был наготове, чтобы идти на турок. Войско уж и подвигалось прямою дорогою туда, в Туречину, вели его полковники храбрые... Не такие, может, как наш дяденька полковник, от которого так сильно пахнет жасминными духами и который с таким — *с таким!* удовольствием глядит всегда на свои желтые перчатки, когда наденет их, нарядившись куда-нибудь на пир, — не такие, может, говорю, как дяденька наш, храбрые полковники это были, а такие порядочные... Так войско вели полковники прямым путем в Туречину, а Остап сам частехонько свертывал в сторону и повсюду забирал с собою молодежь. Вот это и в свой родной городок завернул, где тоже, вероятно, у него не без знакомых людей было.

Тихо было и рано, когда Остап въехал в город, так еще тихо, что его конь вороной своим топотом разбудил многих — отворялись окошечки и выглядывали лица — некоторые знакомые Остапу, а некоторые незнакомые — те, верно, которые без него выросли, или переселились сюда из чужих мест. Подъехал Остап к своим воротам, к отцу, к матери. Мать от великой радости, от великой своей любви заплакала, увидавши его; отец от великой радости и любви даже усмехнулся... Потом соседи близкие и далекие прибежали, столпились, расспрашивали... А Остап со всеми здоровается и всем одно говорит:

— Полно, полно, братья, в ярме ходить! Полно, полно, братья, в неволе жить!

И всех кличет и зовет:

— Идем, братья, за край родной воевать! Идем, братья, освобождаться!

Иногда людей на одни только красные слова ловят, что ж после того собственный пример, деянье собственное может! В один миг около Остапа живыми толпами заройлись молодые и старые козаки и козачки, и дети малые, и все слушали, все соглашались.

Еще солнышко хорошенько не взошло на небе, уж повсюду в городе вооружались чем кому бог послал, всюду коней выводили, седлали — кому чего недоставало, тот бежал, спрашивая, ища, отыскивая; козачки помогали, как только в силах были; надо сказать, что они и любили тогда как только в силах были: не раз вы,

верно, деточки; замечали сами, что вас с большей нежностью гладили по головке, когда вы, по детской неосмотрительности, падали, например, в грязь — каково же должно быть чувство к тому, кто идет честно на смертный бой? Дети хлопотали и суетились, словно им приходилось самим в передовом отряде на турок идти... Остапов отец, что всех прежде только говорил: «Ге-ге! рад бы в рай, да...», теперь точно в самом деле в рай собирался — помолодел, повеселел... Козак Пампушка, что уж десять лет лежал зимой на печи, а летом на лавке, раздулся как бочка, а жена его иссохла как щепка, едва поспевая лепить для него смачные вареники, тот самый козак Пампушка теперь стоял на ногах, подобно горе, и как иногда на горе сидит птичка, так у него за плечами виднелась маленькая сумочка с сухариками, такая самая, что и у иных постников.

Говорю ж вам, что еще солнышко не совсем запало за могилу Кривуху, что за городом зеленеет, а уже отряд козацкий двинулся — кони играли, оружие блестело, очи козацкие сверкали отвагою, сердца козацкие кипели гневом и мщеньем... Только представить себе, так уж за сердце берет, а что ж бы это было, если бы увидеть то войско козацкое, когда оно все собралось да двинулось за Остапом на врага!

Ведет Остап свое войско день все степью зеленою и безбрежною; степная трава колышется, степные пташки щебечут и поют — щебетнет пташка раз-другой голосисто и точно потеряется ее голосок в этом степном бесконечном раздолье — и уж другой голосок защебетал, и этот точно так же пропал, — и бесчисленно таких голосков услышится и пропадет, услышится и пропадет... В первый день ничего не встретилось, ничего не приключилось козацкому войску, и спокойный был отдых ему ночью в степи.

На другой день все так же было тихо и спокойно и все степью подвигались до самого вечера.

Вот и вечер...

Тогда весна во всей красе царствовала, и такой был тот вечер ярко-розовый, что даже все козаки, молодые и старые, притомленные долгим походом, все порозовели, как зори — молодые, как зори ранние, утренние, а старые, как вечерние, поздние, и уж солнышко спряталось, а мгла в степи не темнела, а только все так розовела, что звезды, высыпавшись на чистом небе, казались будто из лучистого серебра. Стало войско на отдых, и

так тихо сделалось, когда движение и ход войска прекратился, что, может, каждый козак почувал, что за вечер тихий, хоть никто того не сказал. Все козаки закурили люльки; кое-кто всматривался в даль, как атаман; кое-кто еще хлопотал около своего коня, недалеко в степи, где кони паслись...

Как вот послышался Остапов голос и все козацкие головы поднялись, все козаки насторожили уши и открыли глаза, кто дремал.

— Панове-молодцы! — промолвил Остап. — Что-то от востока словно туча надвигается?

Все очи козацкие уже смотрели в ту сторону.

В самом деле, оттуда, как будто, находила туча.

— Это турчин, атамане! — говорит один старый козак и идет своего коня брать, вот как иногда, увидя стадо овец, говорят: «Это наши» и идут за шапкой и за хворостиной их загонять.

А молодые козаки в один миг очутились на конях; войско сровнялось и стало; полковники давали приказанья; Остап выехал вперед и стал впереди войска.

Турчин приближался, и уже зоркие глаза разглядели в той розовой мгле, при тех серебристых звездах, турецкие чалмы и знамена и полумесяц на них.

И козаков увидали турки... Вот крик, вот восклицанье... И полетел турчин на козаков, будто саранча на пышный цвет... Козаки тоже пустили коней... И началось... Иной бьется и рубится, не отступая, точно стена каменная, пока или сам упадет, или чисто около себя вырубит и двинется дальше; иной словно птица — и отлетит, и налетит, и опять отлетит, и опять налетит; иной загнался в самую середину врагов рубячись; несколько коней уже одни без седоков скачут по степи... Бьются, да бьются, да бьются, да все с пущим рвением, с пущим жаром, как будто бы что дальше, то живой жизни прибавлялось в войске, а не уменьшалось!

Прошлого году приезжал ваш братец старший из полку, да рассказывал, как он в баталии был, что как в него самого, в него одного только и целено, в него все пули летели, в него все пушки палили и все ружья стреляли, и не мог он умом постичь, как это, дивом каким, он цел и невредим выскочил... Вот же, может, в тот вечер в степи и козацкая баталия была немножко не так же страшна, как братцева... Сложила тогда голов всякая вера — турецкая и козацкая; старый и молодой век

погасал, быстро и легко, как свечи от одного дуновенья погасают...

Бьется Остап и рубится так, что даже правая рука млеет — отбился он далеко от своих — кругом его все только чалмы: вот под ним убит вороной его конь — еще Остап бьется и рубится, соскочивши на землю. Как вороны налетели на него со всех боков турки с саблями, с мушкетами; как горох из мешка сыплется, так посыпались смертные удары на Остапа; оружие у него уж исчербилось — вот оно зазвенело в последний раз и распалось, как перегорелое — вот он остался с пустыми руками середь врагов — вот его схватили — вот крепко и мучительно он связан и скручен — вот его перекинул через седло и помчал его бородатый турок по степи: все исчезло у Остапа из глаз, ничего он более не слышит. В темно-розовой мгле, при серебристых звездах Остап видит только бородатое лицо с большими блестящими глазами, и слышит только, как быстрый легкий конь, мчась степью, касается земли звонким копытом.

Дальше Остап ничего уж хорошо, явственно не помнил, а что помнил он, то все словно во сне, в дремоте, смутно, — вот как будто конь где-то остановился; вот как будто его, Остапа, раскрутили и развязали, и по изнемогшему его телу пробежала холодная дрожь и жар палящий; вот, будто, какие-то узенькие улочки и в каждой улочке девическая фигура, вся завернутая, закутанная тонким кисейным покрывалом с головы до ног; вот, будто, над ним, над самую его голову то желтая чалма и черная борода, то черная борода и зеленая чалма, или красная, то все около него переливает семью цветами, то жаркий день, то теплая ночь тихая, то солнце яркое, то звезды рассыпчатые...

Он опомнился и совершенно пришел в себя в какой-то тесной, темной келье, на соломенной рогожке. Свет божий западал кружком и словно лампада освещала только часть одного уголка; когда этот кружок света был яркий, веселый, значило для Остапа, что у людей день, а когда свет западал, легкий и бледный — значило, что ночь обняла землю. Потом, через несколько времени Остап так изловчился и научился, что знал, в который час, в котором уголку стать, чтобы увидеть частичку ясного неба и блеск солнечного луча днем, а ночью десяток-другой звездочек, или кончик месячного рожка, или краешек полного месяца. Главное же дело было у Остапа думать, да гадать, да выискивать, как бы выр-



ваться из заключения, убежать, добраться до Украины, как снова войско собрать, да на врага двинуть.

А какая тоска его одолевала и сокрушала иногда, так и не сказать словами, а хотя б кто и мог словами сказать, то вчуже не постичь! Сколько раз он толкал и пробовал каменные стены и низкий потолок, и серой пол в своей темнице! Если бы хотя долото какое-нибудь завалящее, если бы хоть какой негодящий кусок железа! Не было ничего.

Вот Остап своими собственными руками каждый день, каждую ночь, может, каждый час, толкая стену, словно поколебал ее в одном месте немножечко. Вот дождал он и того часу, что уж из стен был в состоянии вынуть два или три камня, вот шесть, десять — вот он уже и на воле...

Это, видите, бусурманщина, так и темницу как след не умеет выстроить, — не то, что христиане...

Вот Остап на воле. Ночь. Видит он каменные стены кругом, да деревья темные; слышит плеск и журчанье бесчисленных фонтанов поблизу. Под стенами он тихонько крадется, еще и сам не зная хорошенько, куда путь держит. Все стены, все темные деревья, все журчанье воды. Иногда он приостанавливается, прислушиваясь, приглядываясь. Как вот месяц ему освещает женскую фигуру, что спешит в ту сторону, откуда он идет — и она его увидела: сначала будто испугалась, потом словно узнала и вот она уже около него и отбрасывает покрывало с лица, и слышит Остап родные слова и узнает козачку, девушку с русою косою, невольницу турецкую.

— Куда ты, дивчина? — спрашивает Остап. — Беги вместе со мною!

— Я шла тебя освобождать, козаче! — говорит девушка. — Вот кинжал, пила, вот деньги, вот наместо... Беги! Беги скорее!

И она давала ему все: кинжал и пилу, и деньги, и наместо с своей шеи...

— Убежим вместе! — говорит Остап.

— Нет! нет! — отвечает козачка. — Нет! Дивчина тебя свяжет по рукам, по ногам — беги ты один! Беги! А меня приходи после освобождать! Беги!

— Только скажи мне, девушка, давно ли ты в неволе? — спрашивает Остап.

— О, давно, давно-давнешенько! Девочкою почти заплонили меня — до сих пор служу неверному турку...

— Я вспомнил тебя, девушка! — говорит Остап. — Это ты когда-то руки ко мне протянула, это...

— А я и не забывала тебя, козак, — промолвила девушка, — и не забуду! и ждать буду! Приходи спасать! Приходи освобождать!

— Приду, освобожу, мое сердце! — говорит Остап.

— Туда, туда — туда тебе лучше идти, — научала девушка. — Я провожу... Я провожу тебя, козак!

И оба вместе перебегали они темные сады, где розы цвели и благоухали, где журчала и плескала вода, и вместе крались мимо жилищ турецких. Наконец вот уже дорога — за ними остались жилища и сады.

— Туда, туда! — показала девушка вдаль, и даже пошатнулась от страданья и муки.

— Дивчина, бежим! — говорит Остап. — На руках тебя донесу до Украины!

— Нет! нет! — ответила девушка. — Я буду дожидать — приходи, спаси! Я буду ждать! Я буду ждать! И легко и быстро исчезла с глаз козака.

Бежит и бежит Остап. Бежит и битую дорогою и местами, где следу ничего нету; иногда день целый в горе, в пещере лежит, прячется; иногда на дереве сидит, высматривая, нет ли погони, или какой опасности, или высматривая себе путь вперед; не ест, не пьет, не спит... Вот как сестрица меньшая, неженка, всплеснула руками три раза, услышавши про эти три напасти; не ест, не пьет, не спит! Вот как ужаснулась она! Она, что либо спит, пьет да кушает мило! Да, Остап всего дознал и изведаль — словно весь путь его полынем порос — знаете полынь, деточки? Горький, горький, горький такой... Всего Остап дознал и все изведаль, пока родная и любимая, свежая и зеленая Украина открылась перед ним. Должно быть, и вздохнул легко козак, когда ступил на свою родную землю.

Тихо в турецком городе, вечер поздний, месяц ясный. Кто почивает, а кто не спит, нежится. Невольница козачка не спала и не нежилась. Стоит она у окошка да глядит, очей не сводит, все в ту сторону, откуда султан бородатый опасается козаков молодцов. Не с кем слова перемолвить молодой невольнице и слова не промолвят алые уста, да и без разговору сердечного читаются на девичьем личике все девичьи мысли и думы, вся тоска и грусть, и сомневающаяся надежда, и утешающее упование, и тяжкое и любое страданье... Козак! козак! когда ж к тебе прильнет девушка? Где ты? Девушка

в неволе ждет да тоскует, а ее господин безбожный над девичьей тоскою глумится. О, козак! где ж ты замешкался? Донес ли тебя господь до Украины? Где ты, козак? где замешкался? Помнишь ли девушку?

В который уж это раз бедная невольница спрашивала и побивалась, и желала себе крыльев орлиных полететь... полететь... иногда — тихую могилку — отдохнуть.

Тихо-тихо в турецком городе. Вечер поздний, месяц ясный; розы благоухают, свежие фонтаны журчат; бедное девичье сердце все так же просит и требует, томится и занывает, и мысли девичьи так же роятся и одолевают...

Почему это вдруг пробудились турки, ленивые и изнеженные? Зачем бегут и толпятся испуганные? Козаки! Козаки осадили город!

Палят ружья, курится дым, горят крыши и разрушаются зданья, стонут люди. Роскошной тишины будто не бывало; не слышно журчанья воды, пропал запах роз; месяц ясным светом освещает горящий, в дыму и пламени, город турецкий...

А когда солнце заиграло и заблестело в небе над глубоким морем, по морю плыли чайки козацкие, ворочаясь домой. Раненые, больные козаки лежали или сидели, а те козаки, которые избегли всякого лиха, работали около чаек или поправляли простреленное, перерубленное оружие. Молодой атаман сидел задумчив и глядел в воду — много, должно быть, имелось у него мыслей, много дум передумывал!

А девушка с русою косою глядела на атамана милыми карими очами, и, видно, тоже мысль лелеяла, тоже думу думала...

Вот уж и конец...

Атаман Остап благополучно воротился на этот раз с козачеством и с девушкою на Украину... Вот уж и конец... Разве дело нам вспоминать о тех козаках и турках, что сложили в бою головы? Что за печаль нам думать о том, как плакала там какая-нибудь турчанка или козачка? К чему нам допускать, что, может, иной убитый в бою, если бы век свой дожил, так много бы, может, полезного сделал? Кое-чему, может бы, доброму научил? Кое-чему, может, много бы помог? Что, может, огромное благо от него бы далось людям? Что злой или добрый, худой или хороший, он жил своей жизнью, а теперь сражен? Да, все те, которые полегли в бою, как их теперь ни жалея, не встанут — им царство небесное, место покойное!



**Иван Франко**

## РУСАЛКА

*Летняя сказка*

**Г**андзя, Гандзюля! Посиди, голубка, дома, а я схожу в лес по грибы!  
— Возьмите и меня с собой, мамуня! — говорит маленькая Гандзя, чуть не плача. — Мне одной страшно в хате!

— Ай-ай-ай! Такая большая девка выросла, и ей белым днем в хате страшно! Скоро замуж пора, а в хате остаться боишься! Стыдись! И как я возьму тебя в лес? Разве сможешь ты ходить по лесу?

— Ой, смогу, мамуня, смогу, не бойтесь, — говорит Гандзя, повеселев.

— Нет, нет, сиди дома! Там, в лесу, русалки, знаешь, такие, с зелеными косами! Они забирают маленьких девочек.

— О, я русалок не боюсь, мамуня! Мне недавно приснилась одна... мы так славно играли! А она все смеялась... правда, мамуня, ведь русалки смеются, так звонко-звонко!.. да и говорит: «Гандзя: ку-ку!». А я говорю: «Я тут!». А она говорит: «Приходи, Гандзя, в лес, там у нас такие качели, у-у! у-у!» Возьмите меня, мамуечка,

возьмите, может, ее увидим! Я так бы хотела покачать-ся с нею!..

— Ай-ай, глупая! Что ты такое говоришь! Посиди в хате, я запру двери, никто сюда не войдет. А я скоро вернусь, не бойся!

Мать ушла. Железный ключ звякнул в дверях, поворачивая деревянный засов. Гандзя заплакала.

— Почему мама не захотела меня взять? Я бы увидела русалку! А там в лесу так хорошо, тихо, зелено, тепло!.. Ой, эта мама! Меня заперла в хате... а сама в лес пошла, одна!

Хата, где жила Гандзина мать, стояла на самой околице. С трех сторон подступал к ней издали густой, темный, вечно печальный лес, он неумолчно шумел и заводил какую-то таинственную песню. Странная песня! От иных звуков ее щемит на сердце как свежая, еле зажившая рана; иные уносят за собой мысль в темную благовонную бездну, в какие-то бескрайние, непроницаемые для глаза просторы; иные затрагивают самые глубокие и сильные струны в человеческой душе, будят жажду жизни, энергию, стремление к неутомимому труду, к светлому будущему, а еще иные навевают какую-то непонятную, глубокую тоску. Гандзя родилась под шум этой песни; с тех пор как стала различать звуки, слышала ее чаще всего, и не диво, что песня эта зачаровала всю ее нервную натуру. Во сне и наяву прислушивалась она к ней зимними вечерами, когда ревели буря и лес стонал, как тысячи раненых на поле боя; радовалась ей весной, когда теплый ветер едва-едва шевелил влажные, еще безлистые, но уже свежим соком налитые ветки; прислушивалась к ней в жаркий летний полдень, когда не чувствуешь ветра, а между тем по вершинам ходит какой-то таинственный шепот, не то вздох, не то сонный лепет задремавших на солнцепеке деревьев. Детская фантазия день и ночь блуждала по лесу, в голосах его находила отклик на свои крошечные, однако такие важные и большие для нее радости и огорчения. Вот потому и неудивительно, что эта лесная песня завожила нежную, впечатлительную Гандзю. Во сне и наяву у нее только одно на уме — лес и его тайны. Все лучшее, самое прекрасное, что запомнила она за свою коротенькую жизнь (а ей всего пять лет), все это неразрывно связано было с лесом. Ах, как охотно, с каким восторгом слушала она сказки о лесных духах, об этих и страшных и привлекательных созданных народной

фантазии, а особенно о русалках с белым, как березовая кора, личиком и с длинными зелеными косами! Она не могла понять, почему другие дети боятся русалок. Ведь они такие красивые, такие добрые к хорошим детям, так рады поиграть с ними в зеленой зелени, покачаться на длинных, тонких березовых ветвях (ах, Гандзя так любила качаться!) и смеются так весело, поют так чудесно! Их голоса, точно серебряные колокольчики, нередко звенели в Гандзиных снах, и она была так счастлива; слушая их издалека... Но она никогда не видела русалок своими глазами. Как жалко, что мама не захотела сегодня взять ее с собою в лес! Сегодня она непременно увидела бы русалку, непременно! Ведь недаром ей снятся русалки, вот уже несколько ночей, поют, смеются так звонко-звонко, качаются на ветках и все зовут ее к себе, в лес...

— Гандзя, ку-ку! Гандзя, ку-ку! — кричали они, маня ее к себе своими беленькими ручками. — Иди к нам, в лес! У нас так тепло, так весело, так славно! Гляди, какие у нас косы! И у тебя такая будет! Гляди, какие у нас качели!.. И ты на таких будешь качаться! У-у! у-у!.. Иди, иди!..

Гандзя заплакала. Она оглядела хату. Как здесь убого, сыро, сумрачно! В углах тени стоят — страшно! Ей вспомнилась присказка, которою успокаивали ее, когда она, бывало, заплачет:

Лізе кусіка  
З-за сусіка!  
Зуби зазубила,  
Очі заочила,  
Руки заручила,  
Ноги заножила!  
В сердці їй острый ножище,  
В плечах їй дубовий колище! \*

Она задрожала; с опаской поглядела на потолок, где торчал забитый туда черный толстый деревянный крюк, весь в диковинной резьбе. Крюк этот в ее воображении был «кусакой». Лежа в постели, она не раз подолгу вглядывалась в него, испытывая тайный страх; все жуткие истории, которые рассказывала ей бабка, она связывала с этим крюком. И сейчас она в немой тревоге нача-

---

\* Лезет кусака / Из-за сусека! / Зубы наточила, / Глаза навострила. / Руки заручила. / Ноги наножила! / В сердце бы ей острый ножище. / В спину бы ей дубовый колище! (укр.).

ла: вглядываться в кусаку, и чем дольше смотрела на нее, тем больше казалось ей, что кусака эта жива, что это старая, гадкая, сморщенная баба с огромным мешком, куда она бросает маленьких детей. Вот она выпрямляется, топает своими деревянными ногами, лезет, лезет все ближе к Гандзе!.. Гандзя завизжала от страха и соскочила с печи на пол, оттуда забралась на лавку, к окну. Там было светлее. Она обернулась к хате — ничего; робко взглянула на кусаку: не двигается, но такая же черная, горбатая, страшная, как и была. А на дворе, ах на дворе такое солнышко, так тепло! Из окна виден лес — ах, там, наверно, русалки качаются, поджигают ее. Нет, не в силах она сидеть в этой гадкой хате со страшной кусакой, она вылезет через окно во двор и побежит в лес, на минуточку, пока мама вернется, поиграть с русалками. А если не успеет? Если мама раньше придет, тогда прибьет ее. Нет, мама не придет раньше, ведь она, Гандзя, останется здесь, на опушке, увидит маму, когда та пойдет из лесу с грибами.

Гандзя выбралась через окно из хаты. Легкий, летний ветерок овеял ее теплом, растрепал ее короткие, белые, как лен, волосенки, вызвал краску на бледное личико; только глаза, как прежде, пылали каким-то лихорадочным огнем. Побежала через загон к плетню. Почувствовала себя такой легкой и сильной среди этого тепла, на свежем воздухе, напоенном ароматом цветущих нив. Ворота были чуть приотворены, открыть их было бы Гандзе не под силу, — куда ее маленьким, слабым ручкам справиться с такой тяжестью! Она, как мышка, пролезла в узкую щель, сквозь которую разве что коту в пору было проскользнуть, и с радостной улыбкой на губах, дрожа всем телом, выбралась на выгон, к полю. Ветер резче дунул ей в лицо. Гандзя была в одной сорочке, длинной, до щиколоток, подпоясанной красною тесемкой. В первую минуту ей стало как-то холодно. Да нет, это ей только кажется, ведь солнышко вон как греет, где ж тут холодно!..

Через поле тянется узенькая тропка в лес. Гандзя хорошо знает эту тропку, она по ней больше всего любит бегать, отсюда так хорошо виден лес!.. Вот он, большой, сумрачный, говорливый! У Гандзи дух захватывает от радости, что вот еще чуть-чуть пробежать, и она будет в лесу, одна!

Она бежит, но почему-то ей не удается бежать так быстро, как раньше. Рожь важно кивает колосьями, ког-

да она на бегу проведёт ручкой по стеблям. Как она любит сейчас эту рожь, эти васильки и цветочки куколя, тут и там вспыхивающие, как синие и розовые звезды, среди леса золотистых стеблей!

— Русалка! Русалка! — бежит по тропке и радостно кричит Гандзя. — Я уже иду, бегу, гляди, как быстро! Будем с тобой играть.

Все громче и явственнее звучит лесная песня. Гандзя слушает ее, упивается ею. Среди шума и гомона листьев она ясно слышит еще что-то, словно звонкий плеск рыбок в чистой хрустальной воде: это смех и радостные крики русалок. Она слышит даже, как они зовут ее к себе:

— Гандзя, ку-ку! Гандзя, ку-ку!

Да как же они близко! Вот здесь, сразу за опушкой, ну да! Милые русалочки, они, наверно, пришли сюда за мной! И не побоялись! Ведь если бы люди их поймали, то забрали бы в мешок, а как же!.. Отдали бы этой гадкой кусаке в мешок! Но нет; она не дала бы русалок в обиду, они такие добрые, такие красивые!..

— Русалка! Русалка! — кричит Гандзя что есть мочи. — Я уже здесь, я сейчас добегу, еще чуточку подожди.

Ах, вот уже и лес! Какой тихий, огромный, угрюмый. Березы греются на солнце и красуются издалека своей белой корой. Их длинные ветви, как зеленые косы, свесились до земли и колышутся от ветра. Вот здесь где-нибудь и русалки сейчас покажутся. А, верно, спрятались от Гандзи, но она их позовет, они сразу выбегут, засмеются звонко...

— Русалка! Русалка! Я уже здесь, здесь, здесь! Выходи, будем играть!

Ай! Вон засмеялась одна, но как далеко! Ах, вторая, третья!.. Ведь Гандзя знала, что они долго не вытерпят в своих тайниках. Ах, как чудесно звонок их смех! Как ласково зовут они Гандзю с собою. Здесь темно, а там дальше так ярко, там столько зелени, красивой, пахучей! Там такие легкие качели! Ох, Гандзя побежит за ними, не так уж это далеко!

### Вечерело.

Гандзина мать давно уже возвратилась с грибами домой и весь день ходила по селу, искала Гандзю. Девочку никто не видел. Бедная мать чем ближе к ночи, тем с большей тревогой бегала от хаты к хате, но Гандзи и след простыл.



— Вот, видите, какое несчастье! И родилась-то она слабенькая да худенькая, а теперь уже с месяц, как начнет иной раз говорить, так словно в горячке! Наплели ей глухие бабы про каких-то русалок, а она только о них и думает, и во сне все русалки да русалки! Наказание мое! А теперь куда девалась, один господь ведает. К тому же не привыкла она далеко бегать никуда, все смотрю за ней, не пускаю...

Но Гандзи нет как нет. Вечером мать со слезами упросила соседей, чтоб пошли в лес поискать. Но прошла ночь, а Гандзи не нашли. Еще день прошел, Гандзи все нет! Как убивалась, куда только не бегала за этот день бедная мать, и сказать нельзя! Только на третий день, рубя деревья в лесу, селяне нашли под березой маленькую девочку. Она лежала, крепко обняв ствол заочневшими ручонками. Открытые глаза уже не блестя, только на губах застыла блаженная улыбка; видно, Гандзя только что перестала играть с русалкой.



*Ион Крянгэ*

### ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК



или-были в одном селе два брата, оба женатые. Старший был трудолюбив, бережлив и богат, и за какое дело ни брался, господь за него заступался, но детей у него не было. А младший брат был беден. Не раз бежал он от счастья и счастье от него, потому что был он ленив, неповоротлив в хозяйстве и неудачлив в делах; да и детей имел целую кучу! Жена у бедняка была женщина работающая, добрая, а у богатого — скупая и злая-презлющая.

У бедного брата — был бы он беден грехами! — все же пара волов имелась, да еще каких: сизых, молодых, высоченных, рога острые, на лбах отметины, а сами ширококостные, жирные, лучше не сыщешь — хоть в телегу впрячь, хоть на люди показаться, хоть землю пахать. Зато ни плуга, ни бороны, ни телеги, ни саней, ни тынжалы, ни косы, ни вил, ни граблей — ничего нужного в хозяйстве и в помине не было у этого непутевого человека. Всякий раз, когда была в них нужда, шел он к другим, особенно к брату, у которого всего было вдвойне. А тому жена покою не давала:

— Брат не брат,— говорила она,— а денежки не родня.

— Так-то так, жена, да ведь кровь не вода. Уж если не я, то кто и поможет?

Жена, не зная, что сказать, умолкала и губы себе кусала. И все бы ничего, кабы не телега. Двух-трех дней, бывало, не пройдет, как снова Данила на пороге, просит телегу одолжить: то дров из лесу привезти надо, то муку с мельницы, то копны с поля, то еще невесть что.

— Слышь, брат,— сказал однажды старший меньшому.— Уже воротит меня от родства-то нашего! Есть у тебя волю, почему телегу не справишь? Мою ты вконец искалечил. Трах сюда, тарарах туда — пропадает телега. И потом знаешь, как говорится: отдай, поп, шпоры, сам кобылу пятками гони.

— Так-то оно так,— отвечал меньшей, почесывая голову,— но что же мне делать?

— Как что делать? Ты меня послушай. Волю у тебя рослые да красивые. Ступай на ярмарку, продай их и других возьми, поменьше и подешевле. На остаток телегу купишь и станешь хозяином.

— А ведь совет-то неплох. Так я и сделаю.

Побежал домой, вывел волов на веревке и побрел на базар. Но, как уже сказано, был он одним из тех, у кого собаки на ходу кусок из котомки тянут, и все дела свои делал навыворот. Город был недалеко, ярмарка подходила к концу. Но Даниле Препеляку сам черт не брат! Недаром же его Препеляком прозвали — только и было добра у него во дворе, что кол, сделанный его руками. Нахлобучил он кушму на голову, натянул на уши, и море ему по колено:

К дяде Ване —  
Ноль вниманья;  
К дяде Сене —  
Пуд презренья!

Идет он, идет с Думаном и Телешманом на ярмарку; как стал подыматься по холму пологому, видит — шагает навстречу человек, перед собой новую телегу катит, только-только на рынке купленную: в гору толкает, под гору осаживает.

— Постой, приятель,— говорит Данила, у которого волю так и рвались с веревки к сочной и пышной гречихе, что у самой дороги росла.— Придержи-ка свою телегу, словом с тобой перекинусь.

— Я бы постоял, да она стоять не хочет. А о чем речь-то?

— Ишь, телега у тебя словно сама идет?

— Да вроде... Почти что сама. Не видишь разве?

— А знаешь что, приятель?

— Буду знать, если скажешь.

— Давай меняться: ты мне телегу, я тебе волов. Хватит мне с ними мороки: то сена им подавай, то загон ставь, то как бы волк не задрал, то еще чего... Уж как-нибудь ухитрюсь телегу толкать, особенно если сама идет.

— Шутишь, человек, или вправду говоришь?

— Не шучу,— отвечает Данила.

— Однако вижу, ты малый себе на уме...— говорит хозяин телеги.— Твое счастье, что я добрый сегодня; что ж, в добрый час! счастливо тебе телегой владеть, а мне волами!

Оставил ему телегу, сам с волами к лесу свернул и вскоре пропал из виду. А Данила про себя думает:

— Здорово же я его подковал... Только бы он не раздумал. Но вроде не цыган, не пойдет на попятный.

Впрягся в телегу, под гору домой топает.

— Го, телега чудная, го! Вот когда нагружу доверху, повезу мешки с мельницы или сено с поля, тогда не хуже катись!

А телега все вперед, вперед, словно обогнать его хочет.

Вот окончился спуск, подъем начинается. Толкай ее в гору, кто может! Данила туда, Данила сюда — обратно телега катится.

— На! Вот и вышла мне боком телега!

С большим трудом подал он телегу в сторону, подпер на месте, присел на дышло, думу думает:

«Вот так так! Коли я Препеляк Данила, то волов загубил, а коли нет, то телегу нашел. То ли я Препеляк, то ли нет...»

Глядь — человек мимо шагает, гонит козу на ярмарку продавать.

— Слушай, приятель,— говорит Данила.— Не отдашь ли козу взамен телеги?

— Да видишь ли... Коза у меня не попрыгунья какая-нибудь, к тому же и молочная.

— Что толковать впустую? Молочная-немолочная, бери телегу, отдавай козу!

Тот, конечно, спорить не стал: отдает козу за телегу. Потом попутных телег дождался, к одной из них свою привязал и отправился восвояси, а Данила с разинутым ртом на месте остался.

— Ладно,— сказал себе Препеляк.— Его-то, по крайности, здорово я обставил...

Поташил он козу на ярмарку. Но коза козой остается! Так во все стороны дергает, что вовсе ему опостылела.

— Поскорей бы до базара добраться,— говорит Препеляк.— Отделаться от такого добра.

Идет он, идет, а навстречу человек с базара возвращается с гуской под мышкой.

— Здорово, добрый человек,— говорит Данила.

— Дай боже здоровья!

— Не хочешь ли поменяться? Бери у меня козу, давай взамен гуску.

— Вот и не угадал. Не гуска, а гусак. Я на семя его купил.

— Давай сюда! Я тебе тоже доброе семя дам...

— Коли еще добавишь чего, может, и уступлю. А нет, так счастье моим гусыням: такое потомство заведут через него, что только держись!

Словом, туда-сюда, один прибавляет, другой уступает — просватал-таки козу Препеляк! Хватает он гусака и дальше шагает, к ярмарке, а гусак у него в руках гочетт всюю: га, га, га, га!!!

— Вот те на! От черта избавился, на батьку его напоролся! Оглохнуть можно. Ничего, сейчас я тебя пожению, негодник этакий!

Рядом человек кошелями торговал. Променял Данила гусака на кошель, что на длинных ремнях на шее носят. Берет он кошель, крутит, вертит в руках, потом говорит:

— Фу ты, пропасть, чего ж я наделал! Была пара волов таких, что любо-дорого посмотреть, а остался с пустым кошельем. Мэй, мэй, мэй! Ведь не впервой я в дорогу пускаюсь. А сегодня словно черт разум отнял.

Походил, походил он еще, глаза на ярмарку пяля, и к дому затопал. До села добрался и на радостях прямо к брату:

— Здравствуй, брат!

Добро пожаловать, брат Данила! Долго же ты на ярмарке пропадал!

— Да вот так, брат; туда поспешил, обратно людей насмешил.

— Ну, а вести какие с базара несешь?

— Не ахти какие. Волы мои, бедняжки, как в воду канули.

— А что, зверь какой напал или выкрали их у тебя?

— Какое? Своей рукой их отдал, брат.

Рассказал Данила все, как было, по порядку, от начала до конца.

— Словом,— говорит,— чего там долго болтать? Была пара волов, а теперь один кошель, да и в том ветер свищет, дорогой брат.

— Ну, по правде сказать, большой ты простака!

— Что ж, брат, зато теперь набрался я ума-разума. Хотя и то сказать, толк-то какой?

Коль есть умишко,  
То нет излишка.  
Коль мед есть сладкий,  
То нету кадки.

На, бери себе кошель, нечего мне с ним делать. Но Христом богом тебя заклинаю, в последний раз одолжи мне телегу с волами: дровишек из лесу привезу жене и детям, а то у них, бедняжек, ни искры в печи! А уж дальше — будь что будет, не стану тебя больше тревожить.

— Тьфу! — молвил брат, выслушав его до конца.— Видать, господь населил эту землю кем смог. Ступай, бери телегу, только знай, что это в последний раз.

Даниле только того и надо. Сел в телегу, погнал волов. Приехал в лес, приглядел дерево потолще, вплотную подал телегу. Не выпряг волов, стал дерево рубить, чтобы сразу оно в телегу свалилось. Уж таков был Данила Препеляк! Стучит он по дереву, стучит и — пырр! валится тяжелый ствол, телегу в щепки, волов насмерть!

— Ну вот! Насолил же я брату! Что теперь делать-то! Я так думаю, что хорошо, то не худо: Данила напутал, Данила и распутай. Может, уломаю брата, даст он мне кобылу. Убегу с нею, куда глаза глядят; жену с ребятишками оставлю на милость всевышнего.

С этими словами пошел он и, по лесу идучи, заблудился. Долго плутал, пока, наконец, не найдя дороги, набрел на какой-то пруд; увидев лысух на воде, запустил в них топором, чтобы хоть одну птицу убить, отнести брату в подарок... Лысухи, однако, не будучи ни

слепыми, ни мертвыми, улетели; топор пошел ко дну, а Препеляк стоит на берегу, рот разинул.

— Эх! Не везет мне сегодня! Вот так денек! Видать, кто-то за мной по пятам ходит!

Пожал он плечами и дальше пошел. Брел, брел, еле дорогу отыскал. Приходит в деревню к брату и такую околесицу несет — ни в какие ворота не лезет.

— Брат, пособи мне еще и кобылой, верхом волов погонять! Ливень большой прошел по лесу, и такая теперь грязь да гололедь — на ногах не устоишь.

— Мэй,— отвечает брат,— видать, в монастырь тебе идти надо было, а не среди людей жить, всем досаждать, жену и детей мучить. Вон с глаз моих! Ступай, куда глухой колесо отнес, а немой кобылу погнал, чтоб духу твоего здесь больше не было!

Кобылу! Уж Данила-то знает, куда ее гнать — волам поклониться и с телегой попрощаться. Вышел он во двор, схватил топор, вскочил на кобылу, и поминай как звали! Когда спохватился брат — ищи ветра в поле! Уже Препеляк у пруда, топор свой ищет, и тут-то припомнились ему слова брата, что, дескать, ему бы, Даниле, монахом быть.

— Поставлю-ка я монастырь на этой лужайке, да такой, чтобы слава о нем по всему свету пошла,— сказал он. И тут же взялся за дело. Сперва крест смастерил и всадил в землю — место отметить. После в лес отправился, стволы подходящие высматривать: один для столба пригоден, другой для фундамента, третий на балку, четвертый на сваю, пятый на било; а пока он про себя бормочет да бормочет, вылезает из пруда черт и прямо к нему:

— Ты чего тут строить собрался, человече?

— Сам не видишь разве?

— Да ты погоди! Не валяй дурака. Пруд, и лес, и все это место — наше.

— Может, скажешь, что и утки на воде тоже ваши, и топор мой, что на дне озера? Вот я вас научу все на свете к рукам прибирать, отродье рогатое!

Что было черту делать? Бултых в воду, докладывает самому Скараоскому про человека божьего с норовом чертовым. Затревожились черти, посовещались между собой, и Скараоский, чертов начальник, отправляет к отшельнику Даниле одного из них с буйволовым бурдюком, полным золота, только бы Данила убрался с этих мест.

— На, бери деньги! — говорит чертов посол Даниле, — сматывайся подобиру-поздорову.

Глянул Препеляк на крест, глянул на черта, на золото... пожал плечами и говорит:

— Ваше счастье, нечисть поганая, что деньги мне дороже отшельничества, а то бы я вам показал!

Отвечает черт:

— Не противься ты, человек, владыке ада; бери лучше деньжата и уходи восвояси.

Оставляет черт деньги и возвращается в пруд, а там Скараоский вне себя от утраты денег таких огромных, на которые множество душ купить можно.

Препеляк между тем думу думает, как бы деньги поскорее домой переправить.

— Ладно, — говорит Данила. — Как-никак деньги такие на дороге не валяются. Монастыри надо строить, коли охота, чтобы черти тебя уважали, сами золото к ногам тебе клали.

Пока прикидывал он, как бы деньги домой свезти, является к нему из пруда другой черт и говорит:

— Слышь, человек! Передумал мой господин: надо сперва силами померяться, а уж потом деньги возьмешь.

«Вот так так!» — вздохнул про себя Препеляк. Но, как говорится: молодой красив, а богатый сметлив. Навхватался уже Данила ума-разума.

— Померяться? А как же нам меряться-то?

— А вот как: перво-наперво, кто из нас двоих кобылу твою на спину взвалит и трижды пруд обежит, не передохнув и на землю ее не поставив, тому и деньги достанутся.

Сказал, кобылу себе на плечо вскинул, мигом трижды пруд обежал. Стало Препеляку от чертовой прыти не по себе, однако взял он себя в руки и говорит:

— Ну, Микидуца, я думал, ты посильнее будешь. Ты кобылу себе на спину взвалил, а я ее меж ногами держать буду. — Вскочил на кобылу и сразу, без передышки, трижды вокруг пруда объехал. Подивился черт и — что было делать? — другое придумал:

— Напергонки давай побежим.

— Микидуца, Микидуца! Ты с кем же это вздумал бежать напергонки?

— А что?

— Иди-ка сюда, покажу тебе...

Пробрался он с чертом в кустарник, а там заяц спит.



— Видишь, маленький такой, спит, в клубок свернулся?

— Вижу.

— Это сынок мой меньшей. Ну, держись! Я его вспутну, а ты догоняй! — И как закричит: — У-лю-лю! На-на-на!..

Вскинулся заяц, а черт за ним. Скачут, скачут, пока не потерял черт зайца из виду. Давно ли все над Препеляком смеялись, а теперь стал он над самим чертом потешаться. Стоит Данила, за живот держится, хохочет над чертовой глупостью, а тут и черт прибегает, весь запыхался:

— Ну, и проворен же твой сынишка, правду сказать! Только его поймать изготовился, а он возьми да исчезни из виду, поминай как звали!

— В батьку своего пошел, маленький,— говорит Данила.— Ну, так как же не прошла охота со мной тягаться?

— Держи карман шире!.. Лучше давай в борьбе померяемся.

— В борьбе! Что ж, давай, коли жизнь надоела. Мэй! слышал я от стариков, что, мол, черти себе на уме, а погляжу на тебя, ну чем не круглый дурак? Слушай. Есть у меня дядя, старый-престаренький. Девятьсот девяносто девять лет ему и пятьдесят две недели. Сможешь его побороть, тогда и со мной потягаешься. Только я так считаю, что утрет он тебе нос.

С этими словами пошел он, сделав черту знак следовать за ним.

Отшельником будучи, в поисках диких кореньев и малины, обнаружил как-то Данила в глубине леса, под большими камнями, медвежью берлогу. Вот подходят они к той берлоге, и говорит Данила:

— Здесь живет мой дядюшка. Входи смело. Он там в зле дрыхнет, нос в головешку уткнул. Говорить только не может, зубы у него выпали лет тыщу с лишним назад.

Черт, когда делать ему нечего, известно, что делает... входит в берлогу, хвостиком закрученным перед носом у дядюшки водит. Этого не хватало Топтыгину! Как взъярится, как выскочит из берлоги, хватя чертяку подмышку и так прижал, что из бедного черта едва дух не вылетел, глаза на лоб вылезли, словно две луковицы.

— Ну, вот! Не искал беды, а нашел,— говорит Данила, поглядывая издали и давясь со смеху.

Извернулся чертяка, изловчился невесть как,— выскочил из лап Топтыгина. Как увидел Данила черта живым-невредимым... кинулся вызволять его.

— Оставь, человече; оставь, не прикидывайся. Знал ведь, какой грубиян у тебя дядя, зачем послал меня с ним бороться?

— А что? Не понравилось? Теперь со мной давай!

— С тобой, и только с тобой, в гиканье тягаться будем. Кто громче гикнет, тому и деньги достанутся.

«Ладно,— думает Данила,— ужо я тебе гикну!..»  
А сам говорит:

— Мэй, Микидуца, гикни-ка ты сперва, послушаю, как у тебя получается.

Раскорячил чертяка ноги, одну на восток упер, другую на запад, руками намертво за хляби небесные ухватился, разинул рот шире ворот и как гикнет — содрогнулась земля, ахнули долины, заклокотали моря и рыбы в них переполошились; чертей из пруда высыпало видимо-невидимо, и еще немного — раскололся бы свод небесный. А Данила сидит себе верхом на бурдюке, набитом деньгами, и в ус не дует.

— Ишь ты! Неужто громче не можешь? Почти тебя не слышно. А ну, гикни еще разок!

Гикнул чертяка еще страшнее.

— Теперь еще меньше тебя слышу. Еще разик давай!

Гикнул черт в третий раз, да так, что едва не надорвался.

— А теперь и вовсе не слышно... Мой, что ли, черед пришел?

— Вроде твой...

— Мей, Микидуца! Теперь, когда гикну я, непременно оглохнешь, мозги из черепа выпрыгнут. Понятно? Но поскольку я тебе друг, послушай моего совета.

— Какого совета?

— Дай-ка завяжу тебе полотенцем глаза и уши, коли еще пожить охота...

— Что хочешь и чем хочешь вяжи, только бы не умереть мне!

Стянул Данила черту накрепко глаза и уши повязкой, будто в жмурки играть, схватил дубовую толстую палку (потому что, хоть он и отшельник, Данила, а все-таки больше в дубину верил, чем в святой крест) и бац его, черта, по правому виску!

— Ой, хватит, больше не гикай!

— Нет, Сарсиала, шалишь! Ты разве не трижды ги-  
кал?

И трах его по левому.

— Ой, ой, довольно!

— Нет, не довольно! — и еще разок во имя отца дает.

— Ай, ой! — истошно завопил черт. И как был, с за-  
вязанными глазами, жалобно стеная, извиваясь змеей,  
кинулся в пруд, а там уж поведал самому Скараоскому  
обо всем происшедшем и что, мол, с таким колдуном  
шутки плохи.

А Данила сидит у своего бурдюка и тяжело вздыха-  
ет. Ума не приложит, как бурдюк тот домой доставить.  
Но вот к нему третий черт является. В руках у него бу-  
лава огромная, грохнул он булавой о землю и говорит:

— Мэй, человек! Теперь погляжу на тебя, каков ты  
есть. Кто из нас булаву эту выше подбросит, тому  
и деньги достанутся.

«Ну, Данила,— говорит Препеляк сам себе,— тут те-  
бе крышка». Но, как говорится, нужда возчика учит.—  
Что же, бросай ты первый, чертяка!

Взял черт булаву и так высоко подбросил, что и не  
видать ее; лишь через три дня и три ночи упала она со  
страшным гулом и вошла в землю до самых недр, сотря-  
сая опоры вселенной.

— Теперь ты бросай,— хвастливо сказал черт.

— Брошу, небось, только вытащи ее сперва на по-  
верхность земли, чтоб и я кидал, как ты кидал.

Послушался черт и вытащил.

— Ну, теперь живее давай, некогда мне ждать.

— А ты потерпи, сатана, маленько, детишки тебя за  
полу не тянут.

Терпит чертяка, что ему делать? Немного времени  
прошло, вот и день погас. Небо стоит ясное, звезда со  
звездой переглядывается; высунул голову из-за холмов,  
месяц, слегка покачиваясь, озаряет землю.

— Ты чего же, человек, не бросаешь?

— Сейчас брошу, только заранее тебе говорю, по-  
прощайся с булавой.

— Как так?

— Видишь, пятна вон там, на луне?

— Вижу.

— Это братья мои, что на том свете. До зарезу им  
железо требуется, лошадей подковать. Видишь, как мне  
руками машут, булаву подкинуть просят.

С этими словами берется Данила за булаву.

— Стой, голова безмозглая! Булава-то нами от прадедов в наследство получена, не отдадим ее ни за что на свете!

Выхватил черт булаву из Даниловых рук и во весь дух — к пруду. Бухнулся в воду, рассказал Скараоскому, как едва булаву не загубил. Разгневался Скараоский, вызвал к себе все сатанье, топнул ногой.

— Сейчас же,— кричит,— пусть отправляется один из вас и одолеет заклятого врага нашего!

Предстал перед ним один из чертей, весь дрожит.

— Слушаюсь, ваша низость! Иду выполнять нечистый ваш приказ.

— Ступай! И знай, если справишься, в должности повышу.

Понесся черт сломя голову, в один миг к отшельнику Даниле примчался.

— Слышишь, человеке,— говорит черт.— Ты своими делами бесчестными все сатанье растревожил, но уж теперь от расправы не уйдешь. Давай будем клясть друг друга, и кто из нас в проклятьях искусней окажется, тому и достанутся деньги.

И как начал бормотать, заклинать да клясть, тут же лопнул глаз у Данилы. Бедный Препеляк! Видно, на роду ему было написано искупить грехи и кобылы братниной, и козы, и гусака-жениха, и волов, в лесу загубленных. Отозвались бедняге слезы гусынь обездоленных!

Господи, немало приходится выстрадать отшельнику праведному, когда удаляется он от суеты мирской, о божественном помышляя. Препеляк-отшельник вовсе теперь рассорился с чертом... И то сказать, есть ли что на свете чувствительней глаза? Скривился Данила от боли! Но как ни страдал, а взял себя в руки и говорит:

— Не запугаешь такими уловками, сатанинская нечисть! Будешь пальцы себе кусать, всю жизнь меня поминать будешь.

— Ладно, будет тебе языком трепать; проклинай давай, увидим, каков ты мастер.

— А ты взвали-ка бурдюк с деньгами на спину себе и ступай ко мне домой: не захватил я с собой отцовских проклятий. Понятно?

Сказал и уселся верхом на бурдюк; взвалил его черт вместе с бурдюком на плечи, быстрее мысли прилетел к дому Данилы Препеляка. Видят жена и дети Данилы — буйвол летит по воздуху. В страхе пустились на-

утек. Стал их Данила по имени кликать, и они, узнав его голос, остановились:

— Сынки мои милые, бегите скорее, несите сюда проклятия отцовские: чесалку да гребни для пакли!

Стали ребятишки со всех сторон сбегаться, проклятья отцовские несут. Пришел и на Данилову улицу праздник.

— Хватайте, ребятки, сударика этого, кляните его, сколько влезет, чтоб и ему по вкусу пришлось!

А с детьми, сами знаете, и черту не сладить. Навалились всем скопом и давай его драть. Завопил черт во все горло. Еле-еле из их рук вырвался. И как был, избитый, изувеченный, о деньгах и думать забыв, наутек пустился.

А Данила Препеляк, ни от кого больше обид не видя, распроставшись с нуждой, ел да пил, да горя не знал до глубокой старости за одним столом с сынами сынов своих.

## СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ

Жила-была старуха и было у нее трое сыновей, высоких, как дубы, и очень послушных, но не очень-то умных.

Немалая усадьба крестьянская, дедовский дом со всем его скарбом, виноградник да отличный плодовый сад, скотина и множество птицы составляли хозяйство старухи. К тому же и денежек белых отложила она про деньки черные, ибо десятью узлами вязала каждую денежку и тряслась над каждым грошем.

Чтобы не отпустить от себя сыновей, поставила старуха еще два дома рядом — один справа, другой слева от дедовского. Но тут же накрепко решила сынов своих и будущих невесток возле себя держать, в дедовском доме, и никакого раздела не учинять до самой кончины своей. Так и сделала; и сердце ее смеялось и радовалось при одной только мысли о том, как счастлива будет она, когда станут ей сыны помогать, а будущие невестки ласкать ее да нежить. Нередко так про себя думала: «Буду за невестками приглядывать, за работу их засажу, в узде держать буду, а в отсутствии сыновей ни на шаг не позволю отойти от дому. Моя-то свекровь — да будет

ей земля пухом! — так же со мной поступала. И мой муженек — упокой его, господи! — не мог пожаловаться, что я ему неверна была... или добро его по ветру пустила... хоть и были иногда подозрения... и корил он меня... но теперь это дело прошлое».

Все три старухины сына занимались извозом, зарабатывали немало денег. Но вот пришла пора старшему жениться: почуяла это дело баба, волчком завертелась, ища ему невесту. Пять ли, шесть ли сел обшарила, еле-еле невесту себе по вкусу нашла — не больно молодую, высокую, сухопарую, зато работающую и покорную. Не послушался сын матери, справили свадьбу, и надела старуха свекровью рубаху, да еще с неразрезанным воротом, а это значит, что не должна быть свекровь сварливой и с утра до вечера всех поедом есть.

Как сыграли свадьбу, отправились сыновья по своим делам, а невестка со свекровью дома осталась. В тот же день принялась старуха невесткину жизнь налаживать. Считала она, что новому ситу не на полке место. «Зачем я ухват себе сделала? Чтобы не обжигаться», — говорила она. Залезает она проворно на чердак, спускает оттуда кадку с перьями, несколько связок конопли и четверик-другой проса.

— Вот я, невестушка, придумала, что тебе по ночам делать-то. Ступку возьмешь в кладовой рядом, веретена в кубышке под лавкой, а прялку за печкой. Когда наскучит перья щипать, будешь просо толочь, а муж с дороги вернется — приготовим пилав со свиными копчеными ребрышками и на славу полакомимся! Теперь же, чтобы передохнуть, сунь себе прялку за пояс, до утра пряжу спряди, общипи перья и проса истолки. Сама я прилягу маленько, а то все кости трещат после свадьбы вашей. Знай, однако же, что сплю я по-заячьи и, окромя этой пары глаз, есть у меня еще на затылке и третий, который всегда открыт и видит днем и ночью, что в доме творится. Понятно, что я сказала?

— Да, маменька. Вот бы только поесть чего...

— Поесть? Одной луковицы, головки чеснока, куска холодной мамалыги с полки за глаза хватит для такой молодухи, как ты. Молоко, брынзу, масло и яйца лучше соберем да на рынок отнесем, чтобы хоть сколько денег сколотить; в доме одним едоком больше стало, того и гляди, не на что будет поминки по мне справить.

Когда наступил вечер, улеглась баба в постель, лицом к стене, чтобы свет от коптилки не мешал, не забыв

еще раз напомнить невестке, что будет за нею присматривать; но сон ее тут же сморил. Пока баба храпела, бедная невестка трудилась не покладая рук: то перья ощипывала, то на пряжу поплывывала, то проса толкала, шелуху веяла. Когда же сон ей глаза туманил, умывала она лицо студеной водой, чтобы не заметила чего недреманная свекровь да на нее не прогневалась. Помаялась бедняжка далеко за полночь, а к рассвету одолел ее сон, и заснула она посреди перьев, конопля, веретен с пряжей и просяной шелухи. Старуха же, поскольку с курами спать легла, поднялась ни свет, ни заря и давай по дому топать да дверьми хлопать — бедная невестка и задремать не успела как следует, а волей-неволей пришлось встать, руку у свекрови поцеловать, показать, что за ночь наработала. Мало-помалу притерпелась невестка, и баба осталась довольна своим выбором.

Через несколько дней воротились сыновья домой, и молодая жена при виде мужа позабыла свои печали!

Вскоре пристроила баба и среднего сына. Невестку себе выбрала по образу и подобию первой. Правда, чуть постарше и немного косую при этом, зато работягу на редкость.

После свадьбы снова уехали сыновья в извоз, и опять остались невестки со свекровью дома. Как повелось, задала она им работы полной мерой, а сама, как свечерело, так и улеглась, наказав невесткам быть прилежными и не заснуть ненароком, ибо видит их око ее недреманное.

Старшая невестка рассказала другой про всевидящий глаз свекрови, стали они друг дружку подгонять, и с тех пор работа так и горела в их руках. А свекровь как сыр в масле каталась.

Однако не все коту масленица. Много ли, мало ли прошло, — наступает время и младшему жениться. Очень хотелось старухе неразлучную тройцу невесток иметь, и приглядела она заранее девушку. Но не всегда сбывается, как желается, выходит и так, как случается. Почесала старуха затылок, туда-сюда, а делать нечего; хочешь не хочешь, справили свадьбу — и все тут!

После свадьбы снова разъехались мужья по своим делам, а невестки со свекровью дома остались. Опять задает им старуха работу и, лишь наступает вечер, спать укладывается, как обычно. Старшие невестки, видя, что молодая к работе не льнет, говорят:

— Ты не отлынивай, а то ведь маменька видит нас.

— Как так? Ведь она спит. И потом разве это дело... нам работать, а ей спать?

— Ты не смотри, что маменька храпит,— говорит средняя.— На затылке у нее недреманное око есть, которым видит она все, что мы делаем, а ведь ты маменьку нашу не знаешь, рассола ее еще не хлебала.

— На затылке?... Все видит? Рассола ее не хлебала?.. Хорошо, что напомнили... Чего бы нам, девчата, поест, а?

— Жареных слюнок, золовушка милая... А уж коли вовсе невтерпез, возьми из шкафчика кусок мамалыги с луковицей и ешь.

— Лук с мамалыгой? Да в нашем роду испокон века такого никто не едал. Разве нету сала на чердаке? Масла нет? Яиц нет?

— Как же, все есть,— отвечают старшие,— да только маменькино это.

— Я так думаю,— все, что маменькино, то и наше, а что наше, то и ее. Золовухи, ну-ка, шутки в сторону. Вы работаете, а я что-нибудь вкусенького настряпаю и вас позову.

— Да что ты в самом деле?! — испугались старшие.— Думаешь, нам жизнь надоела? На улицу баба выгонит...

— Ничего с вами не станется. Если начнет вас спрашивать, все на меня валите, я за всех отвечать буду.

— Ну... если так... делай, как знаешь; только нас, смотри, в беду не впутывай.

— Перестаньте, девчата, замолчите. Ни к чему мне мир, дорогá ссора.

И вышла, напевая:

Не горазд бедняк умом —  
Держит дом своим горбом.

Не проходит и часу — полная печь пирогов настряпана; куры на вертеле подрумяненные, в масле жаренные, полная миска брынзы со сметаной и мамалыжка на столе. Зовет младшая невестка старших в бордей, за стол усаживает.

— Ешьте, золовухи, на здоровье и бога хвалите, а я живехонько в погреб сбегая, ковшик вина принесу, чтобы пироги в горле не застревали.



Когда пели они изрядно и выпили, захотелось им спеть!

Ой, свекруха, кислый плод!  
Сколь ни зрей, а груд пропащий,  
Все равно не станешь слаще,  
Хоть всю осень зрей, уродина,  
Будешь кислой, как смородина,  
Зрей хоть год, хоть не один —  
Будешь горькой, как полынь.  
Зло, свекровь,  
Хмуришь бровь,  
Входишь в дом,  
Как с ножом,  
Смотришь колко,  
Как иголка.

Ели они, пили и пели, пока не заснули на месте. Когда же поднялась старуха на рассвете — невесток и духу нет. Выбежала в испуге, ткнулась туда-сюда, в бордеи заглянула — и что видит? Бедняжки-невестки свекровь свою поминуют... Перья по полу разбросаны, тарелки, объедки повсюду, кувшинчик с вином опрокинут — дерзость неслыханная!

— Это что такое? — в ужасе закричала она.

Вскочили невестки, как ужаленные; старшие, как осиновый лист, дрожат, головы со стыда опустили. А виновница говорит:

— Разве не знаете, маменька, что отец мой с матерью сюда приезжали, мы им еды настряпали, ковшик вина поставили и заодно уж повеселились и сами маменько. Только-только уехали они.

— Неужели они меня спящей видели?

— А то как же, маменька?

— Вы меня почему ж не разбудили, чума вас возьми?

— Да мне, маменька, девочки сказывали, будто вы и во сне все видите. Я и подумала что, верно, рассердились вы на отца моего и мать мою, если вставать не желаете. И до того они, бедные, запечалились, что даже еда им впрок не шла.

— Хорошо же, разбойницы, достанется вам теперь от меня!

С той поры дня спокойного не имели они у свекрови. Стоило ей вспомнить про хохлаток своих любезных, про вино выпитое, про добро ее, на ветер пущенное, про то, как застали ее свояки в неприглядном виде, во сне, — так и лопалась со злости и грызла невесток, как червь дерево точит.

Даже старшим невесткам невольно стало от ее языка, а младшая думала, думала, да и придумала, как расквитаться со свекровью и заодно так сделать, чтобы наследством своим распорядилась старуха, как никто никогда не распоряжался.

— Золушки,— сказала она однажды, когда остались они одни на винограднике.— Не будет нам житья в этом доме, пока не избавимся раз навсегда от ведьмы евекрови.

— Как же нам быть?

— Делайте, как научу вас, и ни о чем не тревожьтесь.

— Что нам делать? — спрашивает старшая.

— Все ворвемся в комнату к старухе; ты ее за патлы хватай и двинь что есть мочи головой о восточную стенку; ты ее таким же порядком — о западную; а уж я что сделаю, сами увидите.

— А когда мужья вернутся, что будет?

— Вы тогда и виду не подавайте; мол, знать не знаем, ведать не ведаем. Я сама говорить буду, и все как нельзя лучше обойдется.

Те согласились, побежали в дом, схватили старуху за волосы и давай ее головой о стены колотить, пока голову не расшибли. А младшая, самая озорная, как швырнет старуху посреди комнаты и ну ее ногами топтать, кулаками месить; после язык изо рта у ней вытянула, иглою проткнула, солью и перцем посыпала, до того вспух и вздулся язык — пикнуть свекровь не может. Побитая, растерзанная, свалилась старуха — вот-вот ноги протянет. По совету зачинщицы, уложили ее невестки в чистую постель, чтобы вспомнила она то время, когда невестой была; потом стали из ее сундука горы полотна вытаскивать да друг дружку локтями подталкивать, меж собой говорить о привидениях и прочих ужасах, которых одних хватило бы бедную старуху в могилу вогнать.

Вот и сбылось то счастье, о котором она мечтала!

А тут со двора скрип возов доносится — мужья приехали. Выбежали жены навстречу, по наущению младшей кинулись им на шею и ну целовать да миловать, одна пуше другой.

— А маменька что? — спросили хором мужья, распрягая волов.

— Маменька наша,— выскочила младшая вперед других,— маменька захворала, бедняга; как бы не приказала нам долго жить.

— Что? — всполошились мужья, роняя из рук притыки.

— Да вот, дней пять назад погнала она телят на выгон и, видать, ветром дурным ее продуло, бедную!.. Злые духи язык у нее отняли и ноги.

Бросились сыновья опрометью в дом, к постели старухиной; несчастную, как бочку, раздуло, и было ей не под силу даже слово вымолвить; однако не вовсе она сознание утратила. С трудом шевельнула рукой, показала на старшую невестку и на восточную стену, потом на среднюю невестку и на западную стену, после на младшую невестку и на пол посреди комнаты, через силу поднесла руку ко рту и впала в глубокий обморок.

Сыновья рыдали навзрыд, не понимая ее знаков. А младшая невестка, тоже делая вид, что плачет, спрашивает:

— Вы, что же, не понимаете, что маменька хочет?

— Нет,— отвечают те.

— Бедная маменька последнюю волю вещает: велит, чтобы старший брат в том доме поселился, что на восточной стороне; средний— в том, что на западной, а мы, самые младшие, чтобы здесь оставались, в дедовском доме.

— Правильно говоришь, жена,— ответил муж.

И так как другим возразить было нечего, то и осталось завещание в силе.

Старуха кончилась в тот же день, и невестки, распустив волосы, так причитали по ней, что село гудом гудело. Через два дня схоронили ее с большим почетом, и среди женщин того села и всей округи только и разговоров было, что про свекровь и ее трех невесток, и все говорили: счастлива она, что умерла, ибо есть кому ее оплакивать!

## СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ

Сказывают, жили когда-то дед да баба; деду сто лет исполнилось, а бабе девяносто. И оба они были белее зимы и пасмурнее ненастья оттого, что детей не имели. Очень уж хотелось иметь им ребенка, хоть одного, ибо дни и ночи напролет проводили они, как сычи, одиноко, даже в ушах от тоски звенело. Да и жили они не бог весть в каком достатке: лачуга никудышная, рваные тряпки на лапцах — вот и все их добро. А с некоторых

пор и вовсе тоска их загрызла, ибо ни одна душа к ним, беднякам, как к зачумленным, не заглядывала.

Однажды вздохнула баба тяжело и говорит деду:

— Дед, а дед! С каких пор себя помним, никто нас «отцом-матерью» не назвал! Не грех ли этак и жить на белом свете? Потому я так думаю, что в доме, где нет детей, и благословения божьего быть не может...

— Так-то оно так, баба, да что против воли божьей поделаешь?

— Верно, старче, твоя правда. Только знаешь, что я ночью надумала?

— Буду знать, баба, коли скажешь.

— Завтра, как день забрезжит, встань и ступай, куда глаза глядят. И кто бы ни вышел первым тебе навстречу, человек ли, змея ли, другая ли тварь какая, клади в котомку и домой носи. Вырастим его как сумеем, и быть ему нашим дитяткой.

Дед, которому тоже одиночество опостылело, и детей иметь хотелось, встал на другой день чуть свет и с котомкой на палке пошел, как баба сказала... Идет он, идет по оврагам, пока не набрел на большую лужу, а в той луже свинья с двенадцатью поросятами барахтается, на солнце греется. Приметила свинья деда, захрюкала, прочь побежала, а поросята за ней. Только один, поплотнее, шелудивый весь, увязнув в грязи, на месте остался.

Схватил его дед, сунул в котомку каким был — полным грязи и прочих прелестей — и домой.

«Слава тебе, господи, — думает дед, — что смогу моей бабе утешение доставить. Кто знает, бог ли, черт ли ее надоумил?..»

Вернулся дед домой, говорит:

— Вот, баба, какое дитятко я тебе принес! Пусть будет жив и здоров! На славу сынишка, чернобровый, ясноглазый, лучше некуда! Весь в тебя, просто вылитый! А теперь готовь корыто и обмой его, как ребят обмывают, потому что, сама видишь, запылится малость малютка...

— Старче, старче, — говорит баба, — не смейся. Тоже это тварь божья, как и мы. Может, еще и безвиннее нашего...

Проворнее девчонки разводит она щелок, баньку готовит и, зная толк в повивальном деле, обмывает поросенка, маслом из копилки хорошенько суставы смазывает, за нос его тянет, щекочет, чтоб от глаза загово-

речь. Шетинку потом расчесала и так за ним ухаживать стала, что через день-другой и вовсе его выходила. На очистках, на отрубях стал здороветь и расти поросенок на глазах, так что глядеть было любо-дорого. А баба не знает, куда деваться на радостях, что такой у нее сыночек — пригожий, упитанный, свежий, как огурчик. Хоть бы весь свет говорил, что некрасив он и груб, она одно заладила: мол, другого такого нет и быть не может! Одну только обиду носила баба на сердце: что не может сынок отцом-матерью называть их.

Собрался однажды дед в город купить кой-чего.

— Старче, — говорит баба, — не забудь стручков сладких для нашего мальчика купить, очень уж он их любит, малышенька наш.

— Ладно, старуха, — отвечает дед, а сам думает: «Леший его возьми, рыло свинячье, житья от него не стало. На себя хлеба и соли не хватает, а тут откармливай его сластями... Если стану старухе во всем потакать, дом прахом пойдет!»

Отправился дед в город, все дела свои сделал, вернулся домой, а баба спрашивает:

— Ну, старче, что в городе слышно?

— Да что слышно, старуха, не больно хорошо; хочет царь дочь свою замуж выдать.

— И что же в этом, старче, дурного?

— Погоди маленько, старуха, не об этом одном речь. От того, что услышал я, волосы на голове дыбом встали. Думаю, когда тебе все как есть расскажу, тоже дрожня задрожит!

— В чем же дело-то, старче? Ишь, беда какая!

— Ты же слушай, старуха. Послал царь по всему свету гонцов: кто от своего дома до царского дворца золотой мост проложит, камнями драгоценными вымощенный, по обеим сторонам деревьями обсаженный, на которых бы всевозможные птицы распевали, каких больше нигде на свете нету, тому он дочь свою в жены отдаст да еще полцарства в придачу. А тому, кто осмелится руки царевниной просить, а моста такого, как велено, сделать не сможет, — на месте голову рубить будут. И как слышно, немало королевичей и царевичей невесть откуда понаехало, но ни один с тем не справился; и никому от царя пощады не было, всех казнить велел, и стонет народ от жалости к ним! Что ж ты, старуха, скажешь? Добрые разве это вести? Да еще говорят, сам-то царь заболел с горя!

— Ох, старче, ох! Болезни-то царские нашего здорьвья здоровей! А вот царевичей жалко мне; сердце разрывается, когда подумаешь, как страдают и горюют матери ихние! Хорошо, что наш сынок говорить не умеет и до всех этих страхов ему и дела нет.

— Это, конечно, неплохо, баба. Но еще лучше тому, чей сын тот мост построит и царскую дочку в жены получит; уж он-то нужду оседлает и славу большую добудет.

Пока старики вели беседу, поросенок лежал на подстилке под печкой, задрав рыльце кверху и не сводя с них глаз; слушал и только пофыркивал. И вдруг из-под печки донеслось: «Отец, мать, я тот мост сделаю». Баба от радости языка лишилась. А дед, испугавшись нечистой силы, стал оглядываться, ищет, откуда тот голос. никого не увидев, пришел он немножко в себя, а свиненок снова кричит:

— Не бойся, отец, я это... Успокой мать и ступай к царю, скажи, что я тот мост сделаю.

— А сумеешь ли сделать, дитячко милое? — изумился дед.

— Положись на меня, отец. Ступай да скажи царю, что я тебе велел.

Старуха, очнувшись, стала сынка целовать, уговаривать:

— Сыночек милый, родной! Не лезь головой в петлю! На кого нас покинешь? Останемся мы одни среди чужих людей, с разбитым сердцем, без опоры на старости лет.

— Не печалься, мать, не тревожься. Если буду жить и не умру, увидишь, кто я таков.

Что было старику делать? Расчесал он бороду волосок к волоску, посох свой стариковский взял и пошел. Как прибыл в город, не мешкая во дворец явился. Один из стражников, увидев его, спрашивает:

— Чего тебе, старче, надобно?

— Да вот, дело у меня к царю. Сын мой берется мост ему сделать.

Стражник, зная приказ, без долгих слов доставляет деда к царю. Спрашивает царь у деда:

— Зачем, старче, ко мне пожаловал?

— Долгие годы жить тебе в счастье, великий и пресветлый государь! Сын мой, прослышав, что дочка у тебя на выданьи, отправил меня к твоёму царскому величеству доложить, что может он тот мост сделать.

— Если может, то пусть делает, старче. Достанется ему тогда дочь моя и полцарства в придачу. А не сможет, пусть тогда на себя пеняет... Слышал ведь, что с другими случилось, познатнее его? Так вот, если с руки тебе, то ступай, приводи сына. А нет, уходи подобру-поздорову, дурь из головы выкинь.

Поклонился дед до земли, пошел домой за сыном. Обрадовался поросенок, узнав о царских словах, стал играть и резвиться, под лаицами пробежался, рыльцем горшок-другой перевернул, говорит:

— Пойдем, отец, я царю представлюсь!

Заохала баба, запричитала:

— Видать, нет у меня счастья в жизни! Сколько натерпелась, пока сына вырастила, выходила. А теперь?.. Чует мое сердце, что без него останусь.

И со страху и горя чувств лишилась.

А старик, недолго думая, шапку на уши нахлобучил, взял свой посох и говорит:

— Пойдем, сынок, матери невестку добудем!

Поросенок от радости как пробежится по лаицам и за дедом следом. Бежит, визжит, землю нюхает, свинья-свиньей. Добрались они до дворцовых ворот, а стражники, как завидели их, меж собой переглядываются, со смеху покатываются.

— Это что же такое, старче? — спрашивает один из них.

— А это сынок мой, что берется для царя мост положить.

— Господи боже, — говорит один из стражников, постарше других, — не горазд же ты, старик, умом. Или жизнь тебе надоела?

— Да уж что суждено человеку, то на лбу у него написано. Двум смертям не бывать, одной не миновать.

— Ты, старик, видать, беды себе ищешь днем с огнем, — сказал стражник.

— До этого вам дела нет, — ответил дед. — Держите лучше язык за зубами и дайте знать царю, что явились мы.

Снова переглянулись стражники между собой, пожали плечами, и один из них отправился к царю доложить о старике и его поросенке. Вызывает их царь к себе. Дед, как вошел, в ноги поклонился, смиренхонько стал у двери. Поросенок же пробежался по коврам, захрюкал, весь дом обнюхивает.

Стало царю от этой дерзости смешно, а потом рассердился он и сказал:

— Ладно, старче, когда пришел ты в тот раз, вроде бы в своем уме. Да знаешь ли ты, куда свиней приводят? Кто, скажи, тебя надоумил над своим царем шутки шутить?

— Упаси господи, великий государь, и подумать мне, старику, об этом? Уж ты не прогневайся, великий государь, но только это сынок мой, который, ежели помнить изволишь, прислал меня однажды к тебе.

— Уж не он ли мне мост построит?

— Так мы с надеждой на бога думаем, великий государь.

— Тогда бери свинью твою и вон отсюда. А если до завтрашнего утра мост не будет готов, то быть голове твоей, старче, там, где пятки твои теперь. Понял?

— Милостив бог, великий государь. Зато если выполним повеление твое, государь, то уж не прогневайся, дочь свою шли к нам домой.

С этими словами поклонился старик низко, забрал поросенка и пошел домой. А за ним несколько солдат увязалось, ибо приказал царь взять его под стражу до утра, разузнать, как да что?.. Потому смех, да толки, да расспросы пошли по дворцу и повсюду про такую неслыханную дерзость.

К вечеру явился дед с поросенком домой, и старуха так и затряслась со страху, заохала, застонала:

— Ой, старче, старче, что за беду ты мне в дом принес! Солдат мне только не хватало!

— Еще ты смеешь шуметь, старуха? Твоих это рук дело. Послушался я глупой твоей головы, пошел по оврагам приемыша тебе добывать. Вот и в беду попали! Потому не я привел солдат, а они меня привели. И голове моей, пожалуй лишь до утра суждено там быть, где теперь она.

Между тем поросенок по хате бегает, ищет, чем поживиться, и никакого дела ему нет до всего, что натворил. Спорят старики меж собой, спорят, а под утро, как ни встревожены были, уснули. Поросенок тогда на лаицу тихонько взобрался, в окошке бычий пузырь выбил, дохнул — и словно два огненных вала потянулись от лацуги до самых царских ворот. И в один миг чудо-мост был готов со всем, что ему полагалось. Лачуга же дедова превратилась во дворец, куда лучше и краше царского. Вскинулись старик со старухой — а на них одежды цар-



ские пурпурные, и все сокровища мира — во дворце у них. А поросенок играет себе да резвится, да на мягких коврах нежится.

По всему царству разнесся слух про столь великое чудо. Сам царь и советники царские до смерти перепугались. Созвал царь совет и, решив дочь свою за старикова сына выдать, тут же и отослал ее. Потому что хоть и был он царь, а про все на свете забыл, кроме одного — страха!

Свадьбу не справляли, ибо с кем было справить? Царевне, когда к жениху приехала, по душе пришлось и дворец, и родители мужнины. Зато как жениха увидела — сама не своя стала. А потом повела плечами и подумала:

— Если так рассудили родители мои и господь бог, пусть так и остается!

И стала она хозяйничать в новом доме.

День-деньской поросенок, как и раньше, по дому рыскал, а к ночи свиную кожу с себя сбрасывал и становился прекрасным царевичем. Вскоре привыкла к нему молодая жена, и не так уж ей было тоскливо, как прежде.

Через неделю-другую соскучилась она по родителям и решила навестить их, а мужа дома оставила — не показываться же с ним на людях! Обрадовались ей отец с матерью, стали о хозяйстве, о муже расспрашивать, и рассказала она им все как есть. Тогда ей отец такой совет дал:

— Дочь моя милая! Упаси богу мужу вред какой причинить, а то навлечешь на себя беду! Кто бы он ни был, а власть имеет большую, непостижимую, коли сумел дела совершить прёвыше сил человеческих.

Немного спустя вышли обе царицы в сад на прогулку, и тут-то и научила старая царица молодую совсем по-иному:

— Доченька милая! Никакой у тебя жизни не будет, если не сможешь с мужем на людях бывать. Вот тебе мой совет: прикажи огонь большой в печи развести, и когда муж уснет, возьми ту кожу свиную и швырни в огонь, чтобы раз навсегда от нее избавиться!

— Верно говоришь, маменька. А мне вот и в голову не пришло...

И лишь только вернулась домой, сразу же велела большой огонь в печи развести. Когда же уснул молодой супруг крепким сном, схватила она свиную кожу и

швырнула в огонь. Затрепала шетина, зашипела шкура, искорежилась, в золу превратилась. И таким страшным духом наполнился дом, что сразу же пробудился молодой муж, вскочил в испуге. Бросился к печи, заглянул в нее, и увидев, какая стряслась беда, залился слезами и сказал:

— Женщина неразумная! Что ты натворила? Если кто надоумил тебя, плохую он тебе службу сослужил; если же по своей голове поступила, то мало проку в такой голове!

И вдруг железный обруч опоясал ее стан, и сказал ей муж:

— Когда обниму я стан твой правой рукой, рассыплется этот обруч, и только тогда родишь ты младенца, ибо послушалась ты дурного совета, обездолила и несчастных стариков моих, и меня, и себя заодно. Если же когда-либо будет нужда во мне, знай, что зовут меня Фэт-Фрумос и искать меня будешь в Ладан-монастыре.

Только сказал, и ветер возник внезапно; страшной бурей подняло его в воздух, и исчез он из глаз. А мост чудесный тут же пропал и сгинул, будто его никогда и не было. Дворец же, в котором старики с невесткой среди всех богатств и сокровищ мира жили, снова бедной лачугой обернулся. Увидев, какая беда с ними стряслась, стали старики, плача и стоная, невестку корить и велели ей идти на все четыре стороны, потому что при себе держать ее было им не под силу.

В таком несчастье что ей было делать, куда деваться? Вернуться к отцу-матери? Страшно было отцовского гнева и насмешки людской. На месте оставаться? Не на что было ей жить, да и опостытели упреки стариков. И решила она по свету идти, мужа искать. Сказала «господи, благослови!» и пошла, куда глаза глядят. Шла она, шла все вперед да вперед и приходит в дикое, неведомое место. Увидела одинокую избушку, покрытую мхом, свидетелем древних лет, и постучалась в калитку.

— Кто там? — откликнулся старушечий голос.

— Откройте бесприютной страннице.

— Если добрый ты человек, приди в келью мою; а если нет, то прочь ступай отсюда, ибо стальные клыки у пса моего; коли спущу с цепи, на куски тебя разорвет!

— Добрый я человек, матушка!

Отворилась тогда калитка, и впустила старуха странницу.

— Каким ветром занесло тебя, женщина? Как смогла ты проникнуть в эти места? Сюда и жар-птица не залетает, а человек и подавно.

Горько вздохнула странница и сказала:

— Грехи тяжкие привели меня сюда, матушка. Иду я в Ладан-монастырь, а в какой стороне он, того и сама не ведаю.

— Видать, есть еще у тебя маленько счастья, коли попала ты прямо ко мне. Я — святая Серeda; слыхала, может, обо мне?

— Слыхать-то слыхала, матушка, а что на этом свете живешь, никогда бы не подумала.

— Видишь? А еще люди на судьбу жалуются!

Кликнула святая Серeda громким голосом, и вмиг собрались твари живые со всего ее царства. Стала их святая Серeda спрашивать про Ладан-монастырь, но все как один ответили, что и названия такого не слыживали. Огорчилась святая Серeda, но что было делать? Дала она страннице просфору и чарку вина на дорогу, и прялку-самопрялку золотую. Сказала ей ласково: «Береги, в нужде пригодится», и отправила ее к старшей своей сестре святой Пятнице.

Снова пустилась бедняжка в путь, и шла она год напролет по диким, неведомым местам, пока не добралась, наконец, до святой Пятницы. И случилось здесь то же, что и у святой Середы, — только дала ей святая Пятница еще одну просфору и чарку вина на дорогу, и мотовило золотое, что пряжу само наматывало; с такой же лаской и кротостью отослала ее святая Пятница к старшей сестре своей, святой Троице. В тот же день отправилась путница дальше, и брела она снова год напролет по местам, еще более пустынным и страшным, чем прежде. И будучи тяжелой на третьем году, с большим трудом добралась она до святой Троицы. Приняла ее святая Троица с тем же радушием, что и сестры ее. Пожалела несчастную, кликнула клич что было мочи, и все твари на клич тот примчались — водяные, и земные, и небесные. Стала их святая Троица спрашивать, в какой стороне света Ладан-монастырь стоит. Но все как один отвечали, что слышать не слышали и видать не видели. Вздохнула святая Троица от всего сердца, глянула грустно на странницу и сказала:

— Видать, божье проклятие лежит на тебе, коли не дано тебе найти то, чего ищешь! Ибо здесь край света, даже мне неведомого. И дальше идти никому невозможно.

Вдруг, откуда ни возьмись, жаворонок кроменький ковыляет: ковыль, ковыль, ковыль! прямо к святой Троице. Спрашивает его святая Троица:

— Не знаешь ли, жаворонок, где Ладан-монастырь стоит?

— Как не знать, госпожа моя? Туда я по зову сердца летал, ногу сломал.

— Если так, что хочешь делай, а доставь эту женщину в Ладан-монастырь и научи, как ей дальше быть.

Вздыхнул жаворонок и ответил смиренно:

— От всего сердца выполняю твою волю, госпожа моя, хоть и очень трудна дорога до того места.

Подарила тогда святая Троица несчастной страннице просфору и чарку вина в дорогу, чтоб хватило ей до самого Ладан-монастыря, и еще золотой поднос, и наседку из чистого золота, драгоценными камнями усыпанную, с цыплятами тоже из золота. Поручила странницу жаворонку, и тот, ковыляя, сразу в путь пустился. Когда уставала бедняжка и не под силу ей было брести, брал ее жаворонок на свои крылышки и нес по воздуху. Так странствовали они год напролет с большим трудом и великими опасностями, пересекли бесчисленные моря и страны, шли по лесам и гибельным пустыням, кишевшим драконами, ядовитыми змеями, василисками, чей взгляд убивает, гидрами о двадцати четырех головах и другими ужасными гадами без числа, с широко разверстыми пастьями, готовыми проглотить их, среди чудищ, чью непомерную алчность, хитрость и свирепость не в силах описать язык человеческий!

Наконец, после всех препятствий и опасностей, добрались они до какой-то пещеры. Снова села женщина на крылья спутника своего; едва шевеля ими от усталости, полетел он, и очутились они вдруг на другом свете, где райская благодать — да и только!

— Это Ладан-монастырь, — сказал жаворонок. — Здесь находится Фэт-Фрумос, которого ищешь ты долгие годы. Уж не знакомо ли тебе что-нибудь здесь?

Разбежались глаза у нее от такой красоты и блеска, но, всмотревшись внимательнее, узнала она чудо-мост и дворец, в котором так недолго прожила с Фэт-Фрумсом, и слезами радости наполнились ее глаза.

— Погоди! Не спеши радоваться. Еще недостойна ты этих мест, и не все еще испытания позади, — сказал жаворонок.

И показал ей колодец, к которому велел приходить три дня кряду, рассказал, с кем она там встретится и что говорить должна и что делать ей с прялкой, мотовилом, подносом и золотой насадкой с цыплятами — подарками трех сестер: святой Середы, святой Пятницы и святой Троицы.

Потом попрощался со своей спутницей и полетел без оглядки обратно, страшась, как бы не оторвали ему еще и другую ногу. А бедная странница, проводив его глазами, полными слез, побрела к колодцу.

У колодца достала она прялку, села на землю отдохнуть. Немного погодя приходит по воду служанка. Как увидела незнакомку с дивной прялкой, что сама золотую пряжу в тысячу раз волоса тоньше прядет, кинулась к своей госпоже — поведать про диво-дивное.

Госпожой служанки была ключница Фэт-Фрумаса — та ведьма, от которой сам черт поседел и которая воду в камень превращать умела и знала все бесовские уловки. Одного не умела она — мысли отгадывать. Как проведала она про диво-дивное, сразу же шлет служанку за незнакомой странницей. Когда же та во дворец явилась, сказала ей ведьма:

— Говорят, есть у тебя прялка золотая, что сама прядет. Не отдашь ли мне эту прялку и что за нее про- сишь?

— Позволь мне ночь провести в той комнате, где царь почивает.

— Почему бы и нет? Давай прялку и жди здесь до вечера, пока царь с охоты вернется.

Отдала странница прялку и ждет. А беззубая ведьма, зная про царев обычай каждый вечер чашу молока перед сном выпивать, такого ему молока приготовила, чтобы спал он как мертвый до самого утра. Вернулся царь с охоты, лег в постель, — шлет ему молоко ведьма. Как осушил он чашу, так и заснул на месте мертвым сном. Позвала тогда ведьма странницу в царскую опочивальню, как было меж ними условлено, а сама ушла, сказав:

— Оставайся тут до рассвета, пока не приду за тобой.

Говорила ведьма шепотом и ступала тихонько. Опасалась, как бы не услышал ее из соседней комнаты верный царский слуга, что каждый день с царем на охоту хаживал.

Как только удалилась колдунья, бросилась бедная странница на колени перед спящим супругом, стала руки ломать и так говорить:

— Фэт-Фрумос! Фэт-Фрумос! Протяни руку твою, обними мой стан, чтоб рассыпался проклятый обруч, чтоб явилось на свет дитя твое!

Так стонала бедняжка и терзалась до самого утра, а царь словно и неживой — ничего не слышит. На рассвете пришла ведьма туча-тучей, вытолкала несчастную, велела тотчас же убираться. Пошла бедная странница, вне себя от горя и обиды, снова у колодца уселась, мотовило достаёт. Когда же снова явилась служанка по воду и новое чудо увидела, опять кинулась к своей госпоже, рассказала, будто есть ещё у незнакомки мотовило золотое, много чудеснее золотой прялки, само пряжу наматывает. Снова послала жадная баба за нею служанку, той же уловкой прибрала золотое мотовило к рукам, а наутро снова прогнала бедняжку.

В ту ночь услышал верный слуга царский, что происходит у царя в опочивальне, сжалился над несчастной странницей и решил перехитрить коварную ведьму. Когда встал с постели царь и отправились оба на охоту, рассказал он подробно царю обо всем, что случилось в последние две ночи. Встрепенулся царь, словно сердце в нем пробудилось. Потом потупил взгляд и заплакал. А пока из глаз Фэт-Фрумоса ручьями слезы катились, убитая горем жена его сидела у колодца, а рядом стояла на подносе золотая наседка с цыплятами — последняя надежда! И снова приводит господь ту служанку к колодцу. Увидев новое, ещё большее чудо, не стала она воды набирать, кинулась к своей госпоже, говорит:

— Госпожа, госпожа! Новое диво-дивное! Есть у той женщины золотой поднос и золотая наседка с цыплятами тоже из золота, такие прекрасные, что глаз не отвести!

Посылает колдунья, не мешкая, за странницей, а сама думает:

«Чего она ищет, не видать ей как своих ушей...»

И так же коварно завладела золотым подносом и золотой наседкой с цыплятами.

Когда же вернулся царь с охоты и принесли ему молока, решил он того молока не пробовать, выплеснул его украдкой и сразу же притворился глубоко спящим.

А колдунья, видя, что царь заснул, и вверившись силе своего зелья, снова привела странницу в царскую опочивальню с тем же уговором, что в прошлые ночи, а сама удалилась. Снова пришла несчастная к царской постели и, заливаясь слезами, воскликнула:

— Фэт-Фрумос! Фэт-Фрумос! Сжался над двумя неповинными душами, что вот уже четыре года страшной карой терзаются. Протяни правую руку твою, обними меня, чтоб рассыпался обруч железный и явилось бы на свет дитя твое, ибо не под силу мне больше это бремя!

Сказала, и словно во сне протянул Фэт-Фрумос руку. Лишь коснулся стана ее — со звоном рассыпался обруч и без всяких страданий разрешилась она младенцем.

Поведала царица мужу, какого горя она натерпелась с той поры, как он покинул ее.

Не дожидаясь рассвета, поднялся царь, весь двор на ноги поставил, велел колдунью к себе привести со всеми сокровищами, обманым путем у царицы отобранными. И еще велел привести кобылу необъезженную и мешок, полный орехов, привязать к хвосту кобыльему тот мешок и ведьму и отпустить кобылу на все четыре стороны. Как велел, так и сделали. Поскакала кобыла, и где орех падал, там и от ведьмы падал кусок; когда же совсем отвалился мешок, то и ведьмина голова отвалилась.

А была эта ведьма той самой свиньей, которая с поросятами в луже барахталась и от которой старику Фэт-Фрумос достался. Колдовскими чарами превратила она Фэт-Фрумоса, господина своего, в поросенка сапного, шелудивого, с тем чтобы поженить его на одной из одиннадцати дочерей своих. За это и казнил ее Фэт-Фрумос ужасной казнью. А слугу своего верного великана дарами одарили царь с царицей и от себя не отпускали до конца его дней.

А теперь припомните, люди добрые, что не справил Фэт-Фрумос свадьбу в свое время. На этот раз отпраздновал он сразу и свадьбу и крестины такие, каких никогда еще не бывало и, верно, не будет. И лишь только подумал Фэт-Фрумос, тут же явились и родители молодой царицы, и дед со старухой, взрастившие его, снова в царский пурпур одетые, и посадили их во главе стола. Кого только не было на богатой и пышной свадьбе! И длилось веселье три дня и три ночи, и еще и поныне длится, если не кончилось.

## ИВАН ТУРБИНКА

Сказывают, жил когда-то русский человек по имени Иван. Сызмальства оказался этот русский в армии. Прослужив несколько сроков кряду, состарился он: и начальство, видя, что выполнил он свой воинский долг, отпустило его, при всем оружии, на все четыре стороны, дав еще два рубля денег на дорогу.

Поблагодарил Иван начальников, попрощался с друзьями-товарищами, хлебнув с ними глоток-другой водки, и отправился в путь-дорогу, песню поет.

Идет Иван, пошатываясь, то по одной, то по другой обочине, сам не зная куда, а немного впереди идут по боковой тропинке господь со святым Петром. Услыхал святой Петр позади себя чье-то пение, оглянулся, видит — идет по дороге солдат, качается.

— Господи,— испугался святой Петр,— давай-ка поспешим или в сторону отойдем; как бы не оказался этот солдат забиякой, не попасть бы нам с тобой в беду. Ты же знаешь, уже случилось мне однажды от такого же забулдыги тумачков отведать.

— Не тревожься, Петр,— сказал господь.— Путника поющего бояться нечего. Этот солдат — человек добрый и милосердный. Смотри, у него за душой всего два рубля денег. Давай испытаем его. Сядь, как нищий, на одном конце моста, а я на другом сяду. Увидишь, что оба рубля свои отдам тебе, бедняга! Вспомни, Петр, сколько раз говорил я тебе, что такие-то и унаследуют царствие небесное.

Сел святой Петр на одном конце моста, господь на другом, милостыню просят.

А Иван, взойдя на мост, достает из-за пазухи оба свои рубля, отдает один святому Петру, второй — господу и говорит:

— С миру по нитке — голому рубашка. Нател! Бог мне дал, я даю, и бог мне снова даст, потому имеет откуда.

Опять запевае песню Иван и дальше идет.

Удивился тогда святой Петр и сказал:

— Господи, поистине добрая у него душа, и не следовало бы ему без награды от лица твоего уйти.

— Ничего, Петр, уж я позабочусь о нем.

Прибавили шагу господь со святым Петром, и нагоняют они Ивана, а тот все песни горланит, словно он всему миру владыка.



— Добрый путь, Иван,— говорит господь.— Однако, поешь-поешь, не сбиваешься.

— Благодарствую,— ответил Иван с удивлением.— Но откуда тебе известно, что Иваном меня зовут?

— Уж если мне не знать, то кому же и знать-то?— сказал господь.

— А кто ты таков,— в сердцах спрашивает Иван,— что хвалишься, будто все знаешь?

— Я — тот нищий, которому ты милостыню подал, Иван. А кто бедному подаст, тот господу займы дает, как говорится в писании. Получай обратно заем, ибо нам не нужны деньги. Я только Петру показать хотел, как велико милосердие твое. Знай, Иван, что я господь и всё могу тебе сделать, чего ни попросишь, ибо человек ты великодушный и праведный.

Задрожал Иван и вмиг отрезвел; бросился на колени перед господом, говорит:

— Господи, коли и вправду ты господь бог, благослови, будь добр, эту турбинку, чтобы кого ни захочу, мог сунуть в нее; и чтобы не мог никто выйти из нее против воли моей.

Улыбнулся господь, благословил турбинку и сказал:

— Когда наскучит тебе скитаться по свету, Иван, приходи служить у моих ворот, и будет тебе неплохо.

— С великой радостью, господи; обязательно приду,— ответил Иван.— А теперь хочу посмотреть, не упадется ли что в турбинку.

Сказал и пустился по полю — напрямик к большим дворам, что едва виднелись впереди, на вершине холма. Шел Иван, пока не добрался под вечер к тем дворам. А добравшись, явился к боярину, у него пристанища просит. Боярин скуповат был, но видя, что Иван — царский солдат, понял, что делать нечего. Волей-неволей велел он слуге своему дать Ивану поесть, а после уложить в нежилом доме, куда он всех непрошенных гостей спроваживал. Слуга, выполняя боярский приказ, дал Ивану поесть и вывел его на ночлег.

«Уж тут-то и выйдет ему отдых боком,— подумал боярин, отдав распоряжение.— Будет у него ночью хлопот полон рот. Посмотрим, кто кого? Он ли чертей, черти ли его одолеют?»

Ибо нужно вам знать, что дом тот стоял на отшибе и обитала в нем нечистая сила. Там-то и приказал боярин уложить Ивана.

А Ивану и невдомек было. Как только доставил его

боярский слуга на место, привел он в порядок оружие, сотворил, как обычно, молитву и улегся, одетый, как был, на диване, мягком, как вата, положив турбинку с двумя рублями в изголовье и собираясь задать храпка, ибо ноги едва держали его от усталости. Но куда там! Не успел бедняга погасить свечу, как кто-то хватъ у него подушку из-под головы и как швырнет ее в дальний угол! Схватил Иван саблю, проворно вскочил, зажег свечу и давай шарить по всему дому, но не нашел никого.

— Мэй! Что за притча? То ли дом заколдован, то ли земля ходуном ходит, если вылетела подушка у меня из-под головы и брожу я, как полоумный. Что за встряска такая? — сказал Иван, осеняя себя крестом и кладя земные поклоны, и снова лег спать. Но только задремал — слышит вдруг голоса, один другого отвратнее: кто по-кошачьи мяучит, кто хрюкает, как свинья, кто квакает по-лягушечьи, кто по-медвежьи ревет; словом, такой поднялся галдеж, что хоть святых выноси! Тогда Иван смекнул, в чем дело.

— Ну, погодите же! Сейчас посчитаюсь с вами.— И вдруг как заорет: — Марш в турбинку, черти!

Кинулись бесы один за другим в турбинку, словно их ветром несло. Когда все позалезли, начал их Иван по-русски дубасить. Потом завязал турбинку крепко-накрепко и положил себе в изголовье, отпустив чертякам напоследок таких русских пинков, что сердце у них зашло. После того улегся Иван, положив голову на турбинку, и, никем более не тревожимый, уснул сном праведника...

Уже незадолго до петухов видит Скараоский, начальник чертячий, что не вернулся кое-кто из его слуг, и бежит к знакомому месту искать. В один миг примчался, влетел, неведомо как, к Ивану в комнату и как даст ему, спящему, затрещину изо всех сил. Вскочил Иван, как ужаленный, заорал:

— Марш в турбинку!

Скараоский без лишних слов залезает в турбинку, на головы других, ибо некуда деваться.

— Ладно, сейчас я с вами разделаюсь, нечистая сила; выбью из вас дурь, — осерчал Иван. — Вздумали со мной тягаться. Да я вас так проучу, что собаки смеяться над вами будут.

Одевается Иван, натягивает на себя оружие и, выйдя во двор, подымает такой переполох, что весь двор сбегается.

— Что с тобою, служивый? Встал ни свет ни заря и этакий шум поднимаешь? — спрашивают боярские слуги, спросонок тычась один в другого, словно на них куриная слепота напала.

— Да вот,—говорит Иван,—наловил зайцев, ободрать их желаю.

Проснулся от такого шума сам боярин, спрашивает:

— Что за галдеж во дворе?

— Всю ночь не давал нам спать этот русский. Черт его знает, что с ним... Мол, наловил зайцев и ободрать их хочет, не во гнев вашей милости!

Тут и сам Иван к боярину является с турбинкой, полной чертей, а те, словно рыбы в мешке, мечутся.

— Вот, господин, с кем я ночь напролет воевал... Зато очистил твой дом от чертей. С утра бью тебе ими челом. Прикажи сюда палок подать, я их сквозь строй пропушу, чтобы помнили, сколько жить будут, что напорились на Ивана, раба божьего.

Боярин и струхнул, и обрадовался, ибо немало сариндаров роздал он попам, чтобы только изгнали чертей из его дома, но так ничего и не добился. Видать, на этот раз пришел им конец от Ивана. Нашла коса на камень!

— Ладно, Иван,—сказал боярин, довольный.— Принесут тебе палок, сколько хочешь, и делай свое дело, как можешь, по крайней мере вздохну свободно!

Спустя немного подъезжает к Ивану воз, полный палок, как душа его пожелала. Берет он палки, связывает по две, по три вместе, по всем правилам.

Меж тем столпилось вокруг Ивана все село; кому не охота посмотреть на бесовы муки! Не шутка ведь! Развязывает Иван перед всеми турбинку ровно настолько, чтобы руку просунуть, одного за другим чертей за рожки достает и давай их палками колотить,— аж шкура горит. Учинит расправу и отпустит, однако с условием больше сюда глаз не казать.

— И не подумаю, Иван, сколько жить буду,—говорили нечистые, корчась от боли, и вылетали, как из пушки. А люди смотрели и особенно ребятишки так и покатывались со смеху.

Под конец вытащил Иван самого Скараоского за бороду да как задал ему русскую порку!

— На ж тебе! Драки захотелось, получай драку, господин Скараоский. Пройдет охота другой раз людей мучить, бесово отродье. А теперь ступай! — и побежал Скараоский вслед за другими, только пятки засверкали...

— Дай тебе боже долгой жизни,— сказал боярин, обнимая и целуя Ивана.— Отыне живи у меня; за то, что избавил дом от чертей, будешь у меня как сыр в масле кататься.

— Нет, хозяин,— говорит Иван.— Пойду господу богу служить, владыке нашему.

С этими словами опоясался он саблей, прицепил турбинку к бедру, вскинул ранец за спину, ружье на плечо — и пошел к господу богу. А люди, сняв шапки, пожелали ему доброго пути, куда бы он ни направился.

— Скатертью дорога,— сказал боярин,— кабы остался, был бы мне как брат; а не останешься — будешь как два.

Сдается мне, что самого боярина турбинка в страх вогнала, и не так-то уж он сожалел об Иване, сделавшем ему столько добра.

А Ивану и горя мало; шел он себе да шел, вопрошая в пути каждого встречного, где господь проживает. Но все как один пожимали плечами, не зная, что и ответить на такой чудной вопрос.

— Только святой Николай это знает,— сказал Иван, вынул образок из-за пазухи, облобызал с обеих сторон и — чудо! оказался у райских врат! Недолго думая, стал он в ворота стучать, что было мочи, а святой Петр изнутри спрашивает:

— Кто там?

— Я.

— Кто я?

— Я, Иван.

— А чего тебе надобно?

— Табачок есть?

— Нету.

— Водка есть?

— Нету.

— Женщины есть?

— Нету.

— Музыканты есть?

— Нет, Иван, что ты мне голову морочишь?

— А где их найти-то?

— В аду, Иван, не здесь.

— Мэй! Хоть шаром покати тут, в раю,— говорит Иван. И, без лишних слов, отправляется в ад. Кто знает, где бродил, но только спустя немного постучался он во врата вдовы, кричит:

— Эй! Табачок есть?

— Есть, — отвечают оттуда.  
— Водка есть?  
— Есть.  
— Женщины есть?  
— А то как же?  
— Музыканты есть?  
— Сколько душе угодно!  
— Вот хорошо. Это как раз по мне. Открывайте живее, — говорит Иван, притоптывая и потирая руки.

Черт, стоявший у ворот, думая, что это всегдашний их посетитель, открывает, видит — перед ним Иван Турбинка!

— Ой, беда, ой, беда! — захохали черти, почесывая головы. — Не сдобровать нам теперь!

А Иван велит поскорее подать водки и табачку и музыкантов привести, ибо охота ему «гуляя» задать.

Переглядываются чертяки, видят, что против Ивана им не устоять, и давай нести, кто откуда, водку, табак, музыкантов зовут, словом, все делают, что только его душе угодно. Мечутся во все стороны, волчком кружатся, угодить Ивану во всем стараются, ибо нагнала на них страху турбинка, пожалуй, больше святого креста.

Между тем напивается Иван вдрызг и давай по всему аду гикать, пляшет городинку и казачинку, хватает чертей и чертенок с собою в пляс; опрокидывает стойки, все по сторонам разбрасывает — лопнуть можно со смеху. Что было чертям делать? Думают, гадают, и так и этак прикидывают, а никому невдомек, как от него избавиться. Адова Пятка, однако, — ведьма побашковитее других чертей, — говорит самому Скараоскому:

— Дурни безмозглые! Не будь здесь меня, не знаю, что бы с вами и случилось! Несите сюда живее кадку, собачью шкуру и две палки; я из этого такую игрушку смастерю, в два счета духу Иванова здесь не будет.

Принесли все, что она хотела, и тут же сколотила Адова Пятка барабан; тихонько пробралась мимо Ивана за ворота и давай барабанить будто в поход: там-тарарам!

Опомнился Иван, одним прыжком выскочил за ворота с ружьем на плече.

Адова Пятка тогда — прыг внутрь, черти ворота за Иваном захлопнули, засовы задвинули прочно, радуются — не нарадуются, что от турбинки избавились. Колотит Иван по воротам, что есть мочи, ружьем дубасит, а нецет — научились теперь черти уму-разуму.

— Ладно, рогатые! Попадетеся мне в руки — не даст вам турбинка спуску!

А черти на это — ни гу-гу.

Видит Иван, что ворота адские — за семью засовами, железом окованы, и не думают черти открывать, — пропала у него охота и к музыке, и к табачку, и к водке, и ко всему, отправился снова в рай, господу богу служить.

Приходит он к райским воротам, становится на страже, стоит не смыкая глаз, дни и ночи кряду, с места не тронется.

Немного погодя является Смерть, хочет к господу богу пройти за приказаниями.

Приставляет Иван шпалу к ее груди, говорит

— Что ты, ведьма, куда?

— К богу, Иван, за приказаниями.

— Нельзя, — говорит Иван, — сам пойду, ответ тебе принесу.

— Нет, Иван, сама я должна.

Видит Иван, что Смерть на него нахрапом лезет, как осерчает, как заорет:

— Марш, ведьма, в турбинку!

Смерть тогда, волей-неволей, в турбинку лезет, стонет, вздыхает, хоть плачь от жалости к ней. А Иван и в ус не дует, завязал турбинку, на дерево повесил и давай в ворота стучаться. Открывает святой Петр, смотрит — перед ним Иван.

— Что, Иван, — говорит, — еще не наскучило тебе по свету бродить, дурака валять?

— Еще как наскучило, святой Петр.

— И чего тебе надобно?

— К богу хочу пройти, два слова сказать.

— Что ж, Иван, иди, путь тебе не заказан, ты же у нас теперь свой.

Проходит Иван прямо к господу, говорит ему:

— Господи, известно тебе или нет, только я уже долгое время у райских ворот служу. А теперь Смерть пришла, спрашивает, что ты прикажешь?

— Передай ей, Иван, такой от меня приказ: чтоб три года кряду только такие, как ты, старики умирали... — говорит господь с доброй улыбкой.

— Хорошо, господи, — говорит Иван призадумываясь. — Пойду, передам твой приказ.

Пошел Иван, выпустил Смерть из турбинки, говорит:

— Приказал господь, чтобы питалась ты впредь три года подряд только старым лесом, а молодого не трогай! Понятно? Ступай, выполняй свой долг!

Пошла Смерть по лесам, злая-презлая, и давай грызть старые стволы, только челюсти трещат.

Ровно через три года пускается она снова к богу за приказаниями, но как вспомнит, что опять ей с Иваном дело иметь — ноги подкашиваются, спину сводит от страху.

— Турбинка! Турбинка проклятая в гроб меня вгонит, — охает Смерть. — Однако делать нечего, надо идти.

Идет она, идет, наконец до райских врат добирается. А там опять Иван стоит.

— Ты все тут, Иван?

— А то как же, — отвечает Иван, делая налево кругом и вставая прямо перед Смертью. — Где же мне быть-то, коли тут моя служба?

— Я думала, ты по свету шатаешься, дурака валяешь.

— Да ведь я от света бежал. Знаю, до чего он сладкий и горький, чтоб ему пусто было! Тошно от него стало Ивану! Но ты почему исхудала так, ведьма?

— По твоей милости, Иван. Но больше, надеюсь, не станешь терзать меня,пустишь к богу, важное у меня к нему дело.

— Еще бы, держи карман шире! Что за спешка, не пожар ведь! Уж не вздумала ли с господом лясы точить!

— Э-ге, слишком уж ты зазнаешься, Иван.

— Вот как? Еще передо мною нос задираешь? Марш в турбинку, ведьма!

Лезет Смерть в турбинку, а Иван колотит ее, приговаривает:

— Шутила с кем шутила, а с Иваном не шути!

Господу все это было ведомо, но желал он, чтоб и по воле Ивана было, а не все по воле Смерти, потому и она тоже немало на своем веку бед натворила.

— Ну-ка, святой Петр, отвори, — сказал Иван, постучав в ворота.

Открывает ему святой Петр, снова является к госпо-ду Иван и говорит:

— Господи, спрашивает Смерть, какие приказания будут? И, не во гнев твоей милости, очень уж она жадна и неугомонна, ждет не дождется, ответа требует.

— Передай ей, Иван, приказ, чтобы отныне три года кряду одни молодые умирали; а другие три года одни только непослушные дети.

— Слушаю, господи,— говорит Иван, кланяясь до земли.— Пойду, скажу, как ты повелел.

Идет, выпускает Смерть из турбинки, говорит:

— Приказал господь, чтобы впредь питались три года кряду только молодым лесом; а затем три года лишь молодыми ветками, ракой, лозняком, побегами всякими; старого леса не трогай, а то худо будет! Слышала, ведьма! А теперь живее уноси ноги — выполняй приказ.

Проглотив обиду, понеслась Смерть по рощам, дубравам, кустарникам,— злая-презлая. Но нечего делать, то погрызет молодые деревца, то лозу и побеги пожует, да так, что челюсти стучат, бока и затылок ломит — высоко к тополям тянуться, а за корнями кустарников и молодыми побегами нагибаться приходится. Утоляла голод, как могла. Промучилась три года кряду, и еще три года, и отбыв все шесть лет наказания, снова к господу за повелениями отправилась. Знала она, что ее ждет, но делать было нечего.

— Турбинка, огонь ее возьми! — говорила Смерть, отправляясь в рай, как на виселицу.— Не знаю, что уж и сказать про господа бога, чтоб не согрешить. Совсем, видать, впал он в детство, прости господи, если уж Ивану полоумному власть такую надо мною дал. Хотелось бы мне увидеть самого господа бога, великого и всемогущего, в Ивановой турбинке; или хоть святого Петра; уж тогда бы они мне поверили.

Идет она, бормоча и неся околесицу, доходит до райских врат. Как Ивана увидела, в глазах у нее потемнело, и говорит она со вздохом.

— Что ж, Иван, неужто снова мне жизни не будет от турбинки твоей?

— Эге-ге, имей я побольше власти, скажу по правде, глаза б тебе выколочил, как черту, и на вертеле бы тебя изжарил,— отвечает Иван с досадой,— из-за тебя ведь столько народу погибло от Адама и до наших дней. Марш в турбинку, ведьма! А господу богу даже и не заикнись про тебя, старую каргу! Ты да Адская Пятка — два сапога пара! Зубами бы вас растерзал, ласковых да пригожих. Но теперь продержу тебя взаперти, сколько влезет, сгною в турбинке!

Вздыхает, охает Смерть, да что толку? Словно и не видит, не слышит ее Иван. Но вот через сколько-то вре-



мни выходит к воротам господь — посмотреть, что еще вытворяет Иван со своей турбинкой.

— Ну, Иван, как живешь-можешь? Больше сюда Смерть не приходила?

Опустил Иван голову, молчит, только в лице меняется; а из турбинки Смерть говорит глухо:

— Вот я, господи, тут, взаперти. Выдал ты меня, бедную, Ивану полоумному на поругание!

Развязал господь турбинку, выпустил Смерть и говорит Ивану:

— Ну, Иван, хватит! Свой хлеб съел, свою песню спел! Конечно, милосердный ты, сердце у тебя доброе, ничего не скажешь. Но с каких-то пор, с того дня, пожалуй, как благословил я твою турбинку, стал ты вроде не тот. Чертей боярских в бараний рог скрутил. В аду такого гуляя задал, что слава о тебе пошла, как о поперасстриге. Со Смертью пустил я тебя вытворять все, что только вздумается. Но все до поры до времени, сынок. Пришла и тебе пора умирать. Что поделаешь? Каждому свое воздать следует, и у Смерти ведь свой расчет; не так уж попусту ей воля дана, как ты думаешь.

Иван, видя, что дело нешуточное, падает на колени перед господом, молит его слезно:

— Господи! Прошу тебя, дай мне хоть три дня, о душе своей позаботиться, гроб себе слабой рукой изготовить и самому в него лечь, а тогда уж пусть делает со мной Смерть, что захочет, потому вижу я, что конец мне приходит: на глазах таю.

Согласился господь, отобрал у Ивана турбинку и ведьме велит через три дня за душой его прийти!

Остался Иван один, горем убитый, и задумался.

— Ну-ка, вспомню да подсчитаю, сколько радости имел я от всей моей жизни,— говорит сам себе Иван.— В армии — одно беспокойство: Иван туда, Иван сюда! После болтался без дела, наломал дров — будь здоров! В рай пошел, из рая в ад, оттуда опять в рай. И как раз теперь, значит, никакого мне утешения! Рай мне в такое время приспичил? Ну, и бедность же в этом раю! Как говорится: слава большая, котомка пустая; денег полный карман, а душу утолить нечем. Хуже наказания не придумаешь. Водки нет, табачка нет, музыки нет, гуляя нет, ни черта нет! Три денька всего жить осталось, и все, Иван, конец. Не схитрить ли как-нибудь, пока не поздно?

Сидит Иван задумавшись, лоб рукой подперши, и вдруг мысль его осеняет:

— Стой! Нашел, кажется, выход. Будь что будет, но только зря не будет... Все равно один мне конец!

Покупает Иван на свои два рубля плотницкий инструмент, два горбыля толстых, четыре дверные петли, гвоздей, два кольца и замок здоровенный. Раз-два, смастерил себе гроб на славу, хоть царя в него клади.

— Вот, Иван, последнее твое убежище,— сказал он.— Три локтя земли — все, что тебе осталось! Видишь теперь сам, сколько проку от всей этой жизни!

Не успел Иван слова эти вымолвить, глядь — Смерть тут как тут:

— Ну, Иван, готов?

— Готов,— отвечает Иван, улыбается.

— Если готов, то хорошо! Живее в гроб ложись, а то мне некогда. Меня, может, еще и другие ждут, чтобы благословила я их в дорогу.

Лег Иван в гроб лицом вниз.

— Не так, Иван,— говорит Смерть.

— А как же?

— Ложись, как мертвому подобает.

Повернулся Иван набок, ноги свесил.

— Ты что ж это, Иван? Тебе стрижено, а ты брито; долго ли меня держать будешь? Ложись, брат, как следует!

Повернулся Иван снова лицом вниз, голову — набок, ноги свесил.

— Ой, беда мне с тобою! Неужто и этого не умеешь? Видать, только на бесчинства всякие и был ты годен на этом свете. Ну-ка, вылезай, покажу тебе, безмозглая твоя башка!

Вылезает Иван из гроба, стоит пристыженный. А Смерть, решив по доброте своей научить Ивана, ложится в гроб лицом вверх, ноги вытянула, руки на груди сложила, закрыла глаза, говорит:

— Вот так и ложись, Иван.

Тут Иван, недолго думая,— хлоп! — крышку закрыл, запер на замок, взвалил гроб на плечи и пустил его по широкой и быстрой реке, приговаривая:

— Тут-то я тебя и прикончил. Катись, пропадай! Выйдешь из гроба, когда тебя бабушка из могилы выкопает. Отобрал у меня господь турбинку из-за тебя, так и я ж тебе удружил.

— Видишь, господи боже,— сказал апостол Петр, смеясь,— чего еще надумал Иван, любимчик твоей милости? Хорошо сказал, кто сказал: дай дурню волю, заведет в неволю.

Узрел господь дерзость Иванову, забеспокоился. Приказал он тот гроб отыскать, открыть и выпустить Смерть; а она пускай отомстит Ивану. Сказано — сделано, и когда уже и не снилось Ивану, что придется еще повстречаться со Смертью, выходит она к нему, лицом к лицу, и говорит:

— Что ж, Иван, разве таков был наш уговор?

Опешил Иван, слова не может вымолвить.

— Еще дурачком прикидываешься? Эх, Иван, только долготерпение и бесконечная доброта господня могут превозмочь твои преступления и упрямство твое. Давно бы ты сгинул и стал у чертей посмешищем, кабы не любил тебя господь, как сына родного. Знай же, Иван, что отныне сам ты будешь смерти желать, на четвереньках за мною ползать, умолять меня будешь душу твою прибрать, а я прикинусь, будто вовсе и забыла про тебя, оставлю тебя жить, сколько жить будут стены Голии и город Нямц, чтоб увидел ты, как несносна жизнь в глубокой старости!

И оставила его Смерть неприкаянным жить.

С той поры, как создан свет,  
На полотах ветра нет.

А когда увидел Иван, что конец ему не приходит, сказал он сам себе:

— Неужто ж я колом себе голову прошибу из-за ведьмы? И не подумаю. Пускай она себе это делает, коли охота.

И с той поры, сказывают, пустился он, Смерти назло, махоркой дымить и цуйку с горелкой тянуть, словно его огонь сжигал.

— Гуляй да гуляй, Иван, не то с тоски свихнешься! — говорил он.

И что было делать бедняге, когда Смерть будто ослепла, его не примечает?!

Так вот и жил Иван, не знающий Смерти, век за веком без числа, и может, и поныне живет, если не умер.

## СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ

Жил-был в одном селе человек ужасно ленивый, до того ленивый, что даже пищу не разжевывал. И село, видя, что человек этот не хочет работать, хоть убей, решило повесить его, чтоб и другим неповадно было. Выбрали двух поселян, пришли они к лентяю домой, схватили его, взвалили на телегу с волами, как чурбан бесчувственный, и повезли на виселицу.

Так уж было заведено в то время.

Повстречалась им по дороге барыня в коляске. Увидела барыня в телеге человека, похожего на больного, пожалела его и спросила у провожатых:

— Люди добрые! Видно, человек у вас в телеге больной и везете вы его, беднягу, в больницу на излечение?

— Все нет, барыня,— отвечал один из крестьян.— Не во гнев твоей милости, уж это такой лентяй, которому равного, верно, в целом свете нет; а везем мы его на виселицу, чтобы избавить село от лодыря.

— Ай-ай-ай, люди добрые,— сказала барыня, содрогнувшись.— Не жалко разве, если погибнет бедняга, как бездомная собака? Отвезите-ка лучше его ко мне в имение; вот она, усадьба, на откосе. Есть там у меня амбар, полный сухарей. Так, на черный день припасено, избави боже! Пускай себе ест сухари и живет при моем доме. В конце-то концов не обедняю я из-за кусочка хлеба. Должны же мы помогать друг другу.

— Эй, ты, лентяй, слышал, что барыня сказывает? — спросил один из крестьян.— Посадит тебя на откорм в амбар с сухарями. Экое счастье тебе привалило, побей тебя гром, пакость ты этакая! Скорее слезай с телеги, кланяйся барыне, ведь она тебя от смерти спасла; будешь теперь жить припеваючи у нее под крылышком. Мы-то думали тебя мылом да веревкой наградить, а барыня в милосердии своем приют тебе дает и сухари в придачу; век живи, не умирай! Заступиться за такого и кормить как трутня — чудеса в решете! Хорошо сказал, кто сказал: волы пашут, а лошади жрут. Да ну же, отвечай барыне либо так, либо этак, потому нет у нее времени с нами тут толковать.

— А сухари-то моченые? — спросил лодырь, едва раскрывая рот и не двигаясь с места.

— Что он сказал? — спрашивает барыня.

— Да что сказал, милостивая барыня,— ответил второй крестьянин.— Спрашивает, сухари моченые ли?

— Вот тебе и на,— удивилась барыня,— еще такого никогда не слыхала. А сам он мочить их не может?

— Слышь ты, лодырь: берешься ли сам сухари мочить?

— Не берусь,— отвечал лентяй.— Везите лучше дальше. Уж больно много хлопот ради брюха поганого!

Говорит тогда один из крестьян:

— Ваша воля, милостивая барыня, только зря вы ячмень на гусей переводите. Сами видите, неспроста, не за здорово живешь мы его на виселицу везем. Вы как думаете? Разве не взялось бы все село дружно, как один, кабы можно было его на путь наставить? Но кому помогать-то? Лень — сударыня знатная, локти у ней заплатаны...

У барыни тогда, при всей ее доброте сердечной, пропала охота к благодетельству, и сказала она:

— Люди добрые, делайте, как бог на душу положит!

А крестьяне повезли лентяя на место и повесили. Так избавился лентяй от крестьян и крестьяне от лентяя.

Пусть теперь пожалуют другие лентяи в то село, если с руки им и если духу хватит.

А я на седло сел, сказку сказал, как сумел.

## ПЯТЬ ХЛЕБОВ

Как-то шли по дороге двое знакомых. У одного в котомке было три хлеба, а у другого два.

Проголодавшись, уселись они в тени ветвистой раки-ты, у колодца. Достал каждый свой хлеб, и собрались они вместе пообедать, чтоб веселее было. Только вынули хлеб из котомок, подходит к ним незнакомый прохожий, здоровается и просит его попотчевать: очень ему есть захотелось, а с собой съестного из дому не прихватил, и купить негде.

— Садись, добрый человек, и кушай с нами,— сказали путники.— Где двое едят, там и на третьего еды станет.

Не заставил себя незнакомец долго упрашивать, рядышком сел, и стали они все трое голый хлеб уписывать, студеной водой колодезной запивать, ибо другого питья у них не было.

Ели они, ели втроем, пока не исчезли все пять хлебов, словно их и не было. Вынул тогда незнакомец из кошелька пять лей, протянул их — наугад — тому, у кого три хлеба было, и сказал:

— Возьмите, люди добрые, в благодарность за то, что накормили меня досыта; выпейте в пути по стаканчику вина или делайте с этими деньгами, что заблагорассудится. Не знаю, как и отблагодарить вас за услугу, у меня ведь от голода в глазах темно было.

На первых порах не хотели они брать денег, но тот настаивал, и в конце концов они согласились. Вскоре попрощался с ними незнакомец и пошел восвояси, а те остались еще немного отдохнуть в тени под ракитой. Слово за слово, говорит один другому:

— На тебе, брат, два лея. Это твоя доля, делай с ней, что хочешь. Было у тебя два хлеба, значит два лея тебе по праву и следует. А себе я три лея оставлю, потому что у меня три таких же хлеба было.

— Как это? — возмутился второй. — Почему мне только два лея, а не два с половиной, сколько причитается каждому из нас? Он ведь мог ничего нам не дать, и как бы тогда было?

— Тогда, — ответил первый, — моя часть услуги равнялась бы трем долям, а твоя только двум, и все тут. А этак мы и поели бесплатно и деньги у нас в кошельке с избытком: у меня три лея и у тебя два — каждому по числу его хлебов. Думаю, сам господь бог не поделил бы справедливее.

— Нет, дружище, — возразил второй. — Я так считаю, что ты меня обижаешь. Давай лучше в суд обратимся, и как скажет судья, так тому и быть.

— Что ж, давай судиться, — сказал первый, — если ты недоволен. Я уверен, что суд будет на моей стороне. Правда, от роду не таскался я по судам.

Так и продолжали они путь, решив судиться; прибыли в город, где находился суд, явились к судье и рассказали ему подробно, один за другим, все, как было: как шли они вместе, как сели в дороге обедать; сколько хлебов было у каждого, как поел незнакомец наравне с ними, как в благодарность оставил им пять лей и как решил один из них поделить деньги.

Судья, выслушав внимательно обоих, сказал тому, кто был недоволен разделом:

— Ты, значит, считаешь, что тебя обидели?

— Да, господин судья, — ответил тот. — Мы и не ду-

мали брать у незнакомца деньги за еду; но раз уж так случилось, то надо было поровну поделить подарок нашего гостя. Так, по-моему, следовало поступить по справедливости.

— Если уж поступить по справедливости,— сказал судья,— то, будь добр, верни один лей, раз у него было три хлеба.

— Вот уж этого никак не ожидал я от вас, господин судья,— возмутился истец.— Я пришел в суд справедливости добиться, а вы, блюститель закона, еще хуже меня обижаете. Если таков будет и божий суд, то недобровать нам всем.

— Так тебе кажется,— хладнокровно возразил судья,— а на самом деле вовсе не так. Было у тебя два хлеба?

— Да, господин судья, два у меня было.

— А у спутника твоего было три?

— Да, господин судья, три.

— Питья ни у кого из вас не было?

— Ничего, господин судья, кроме хлеба и студеной воды из колодца, да вознаградит господь того, кто выкопал его прохожим на радость.

— Ты, кажется, сам говорил, что все поровну поели, не так ли?

— Да, господин судья.

— Давайте тогда подсчитаем, сколько каждый хлеба съел: предположим, что каждый хлеб был разрезан на три равных куска. Сколько кусков получилось бы из твоих двух хлебов?

— Шесть кусков, господин судья.

— А у спутника твоего, из трех хлебов?

— Девять, господин судья.

— А всего сколько бы кусков получилось? Шесть и девять?

— Пятнадцать кусков, господин судья.

— Много ли человек съело эти пятнадцать кусков?

— Три человека, господин судья.

— Так! По сколько же кусков пришлось на каждого?

— По пять кусков, господин судья.

— Теперь припомни, сколько было у тебя кусков?

— Шесть кусков.

— А съел ты сколько?

— Пять кусков, господин судья.

— Значит, сверх того сколько осталось?

— Один только кусок, господин судья.

— А теперь перейдем к твоему спутнику. Вспомни, сколько кусков получилось бы из его трех хлебов?

— Девять кусков, господин судья.

— А сколько из них он съел?

— Пять кусков, как и я, господин судья.

— А лишку сколько осталось?

— Четыре куска, господин судья.

— Верно! Давай теперь разберемся. Выходит, что у тебя один только кусок остался, а у товарища твоего — целых четыре. А всего у вас у обоих пять кусков осталось сверх того, что сами съели.

— Именно пять, господин судья.

— Верно ли, что пять кусков этих гость ваш поел и в благодарность за это пять лей вам оставил?

— Верно, господин судья.

— Ну, значит, тебе только один лей причитается за тот кусок, что у тебя лишку остался, а товарищу твоему за четыре его куска четыре лея причитается. Так что будь добр, верни ему один лей. Если же ты считаешь мой суд неправильным, то ступай к самому богу, и пусть рассудит он справедливее меня.

Истец, видя, что крыть ему нечем, вернул, скрепя сердце, один лей и, пристыженный, ушел восвояси.

А товарищ его, восхищенный столь мудрым решением, поблагодарил судью и вышел, разводя руками и приговаривая:

— Если бы повсюду были такие судьи, которые себе очки втереть не дают, на веки вечные закаялись бы неправедные люди по судам таскаться.

Пустобрехи, именуемые защитниками, утратив возможность жить одним обманом, либо за дело бы взялись, либо всю жизнь горе бы мыкали.

А добрые люди от этого бы только выиграли.





*Ибрай Алтынсарин*

## КАРАКЫЛЫШ

*Сказка*

**Н**екогда жили пять родных братьев. Все пятеро посеяли полдесятины хлеба. Когда урожай начал поспевать, братья заметили, что ночью кто-то приходит и травит хлеб.

После этого они стали караулить свой посев. Первым караулил старший брат, но он никого не видел. Так все четыре старших брата караулили четыре ночи. На пятую стал караулить самый младший из братьев. Звали его Каракылыш.

В ту ночь, когда охранял Каракылыш, с неба слетела вороная кобыла и начала было есть хлеб. Каракылыш поймал ее. Тогда вороная кобыла и говорит:

— Эй, мальчик, отпусти меня. У меня есть пять жеребят, я отдам их всех — по одному каждому из вас.

Каракылыш отпустил ее. Вслед за тем вороная кобыла привела пять жеребят и самого маленького отдала Каракылышу, а других четырех — четверем остальным братьям.

И вот, когда братья бывало начнут скачку, то Каракылыш обгонял всех на своем жеребенке.

Однажды Каракылыш увидел, что из земли тонкой струйкой идет дым, и подъехал туда. Смотрит — стоит избушка, принадлежавшая Старухе-Ненасытной. А у этой старухи было пять дочерей. Комнаты у девиц для отдыха, игр, для приема пищи были отдельные.

Каракылыш проник в комнату для игр и лег под ковер.

Как только девицы стали входить в комнату, он поднял ковер. Девицы закричали с испугу и побежали к матери. Мать поругала их, велела идти обратно. Когда девицы вернулись, сели и начали играть, Каракылыш поймал их всех. Четырех взял под мышки, а пятую закинул за спину, сел на свою лошадь и пустился было вскачь, но старуха заплакала и говорит:

— Дочерей моих я завтра провожу с тобой, а сегодня ты заночуй у нас.

Каракылыш вернул дочерей старухе, а сам остался ночевать.

Наступил вечер. Она постелила постель и попросила Каракылыша ложиться спать. Каракылыш перед сном вышел на двор и видит, что конь его плачет — из одного глаза бежит слеза, а из другого — кровь. И говорит ему конь:

— Ты сегодня не спи. Если уснешь, тебя старуха убьет. Она отковывает себе железные зубы.

Каракылыш, вернувшись в комнату, лег, но не уснул. Старуха заглянула в дверь и сказала:

— Спи, милый! — и ушла.

Через некоторое время она опять пришла. Пока она так ходила, занялась заря. Утром старуха дала большое приданое и, провожая своих дочерей, сказала:

— Недалеко по пути есть три перевала. На двух перевалах не останавливайтесь на ночлег, а на третьем — заночуйте.

Наступил вечер. Четыре старших брата расположились на ночь на среднем перевале, а Каракылыш один заночевал на третьем перевале.

Поднявшись утром, Каракылыш услышал, что его четыре брата плачут и кто-то говорит им:

— Если приведете ко мне Каракылыша, я отпущу вас.

Услышав такие слова, Каракылыш подъехал и увидел айдахара. Айдахар отпустил всех четырех братьев, а Каракылыша не отпустил и говорит ему:

— Привези мне бессмертную дочь Бермес-хана.

Каракылыш согласился и поехал. Ехал он, ехал и увидел человека, который соединяет одну гору с другой, а потом разъединяет их. Каракылыш спросил его:

— Что ты тут делаешь?

Человек сказал в ответ:

— Хочу быть товарищем Каракылышу.

И они вместе поехали дальше. Встретился им по пути еще один человек, который забирал воду из озера и переливал ее в другое озеро. Его они тоже взяли к себе в товарищи. Дальше им повстречался стрелок и бегун. Бегун бежал так быстро и был так проворен, что успевал у двух рядом сидящих сорок у одной отрезать хвост и прикрепить его к хвосту другой.

Вот они поехали на одном коне. Едут и видят: стоят две горы. Из-под одной горы течет кровь, а из-под другой — гной, а под горами расположен был аул.

Каракылыш пришел в аул к хану и говорит:

— Я приехал, чтобы взять твою дочь.

А хан ему в ответ:

— Пять условий тебе поставлю. Если все пять выполнишь, то отдам дочь, а не выполнишь — убью.

Сперва решили устроить байгу и пустили коней. Конь Каракылыша прискакал первым. После этого хан решил устроить пешие бега. Каракылыш пустил своего товарища-бегуна, а хан — одну старуху. Старуха взяла с собой ведро медового напитка.

Перед началом бега старуха напоила бегуна медом допьяна, а когда он уснул, побежала одна. Слухач, приложив ухо к земле, сказал: «Только один человек бежит». Тогда Каракылыш крикнул стрелку: «Стреляй!» Стрелок, прицелившись, выстрелил и попал в ведро, которое находилось у изголовья бегуна. Бегун, проснувшись от дребезжания ведра, схватил горсть песка и побежал. Догнав старуху, он крикнул ей: «Бабка!», и когда старуха оглянулась, он бросил ей песок в глаза, и та с криком остановилась. Так бегун пришел первым. Затем хан запер Каракылыша с товарищами в железный дом и, разложив вокруг горящие угли, начал раздувать их мехами. На этот раз человек, который мог забирать воду целого озера в рот, стал брызгать водой.

После этого хан проводил с ними свою дочь.

Дорогой товарищи Каракылыша остались каждый на своем прежнем месте. Когда в награду Каракылыш давал им одежду, они не взяли.

Девушку Каракылыш доставил айдахару, а сам ехал, ехал и доехал до своих братьев.

## КАРА-БАТЫР

Легенда

Когда отважный герой Кара-батыр был еще мальчиком, его захватили при набеге на аул разбойники и заставили пасти овец. Он ходил в отрепьях, голодный, и питался лишь молоком овец, которых выдаивал в степи.

Однажды, когда мальчик печально сидел в одиночестве, к нему подлетела и села рядом с ним ворона. Мальчик обратился к ней со словами:

— Эй, ворона, птица моя!  
Твоя пища — крови струя!  
Амулет я с себя сниму —  
Долети в мой аул родной.  
Там отец мой скован тоской,—  
Амулет тот отдай ему!

Ворона каркнула и улетела. Немного погодя прилетела сорока. Мальчик к ней:

— Эй, сорока, птица моя!  
Падалью ты живешь одной!  
Амулет, что дам тебе я,  
Отнести в мой аул родной!

Сорока прострекотала и улетела. Затем прилетели и сели рядом журавли. А мальчик им:

— Журавли, мои господа!  
Длинной шеей славен ваш род.  
В мой аул направьте полет,  
Амулет снесите туда!

Журавли прокричали «тыррау-тыррау» и тоже улетели. Прилетели гуси. И мальчик просит:

— Эх, вы гуси, гуси друзья!  
К вам спешу я с моей мольбой!  
Амулет, что отдам вам я,  
Отнесите в аул родной!

Гуси, гогоча, улетели. Прилетели лебеди. Мальчик снова:

— Лебедей озерных семья!  
Господа, вы дородны собой!  
Амулет, что отдам вам я,  
Отнесите в аул родной!

Обернулись к нему лебеди, подождали немного и также улетели. Через некоторое время прилетела ласточка. А мальчик:

— Ах ты ласточка, птичка моя!  
У врагов я в неволе злой!  
Амулет, что дам тебе я,  
Отнеси в мой аул родной!

Ласточка поднялась, полетала вокруг, но, наконец, пожалев мальчика, вернулась и села к нему на руку.

«Отец, если даже и узнает мой амулет, не будет знать, среди какого народа я живу. Надо на амулете сделать какой-нибудь знак», — подумал мальчик и, взяв ножик, сделал укол в руку и кровью начертил на амулете тамгу туркменов. После этого он привязал амулет на шею ласточке, рассказал ей, какого рода и племени его отец и мать и где они живут, и отпустил.

Ласточка все летела по указанному мальчиком направлению.

Через цепи высоких гор,  
Над пучиной темных озер,  
Над безлюдьем пустынь и болот.  
На неведомый край земли  
Ее крылья несли, несли,  
А по крыльям струился пот.

Если сверху она замечала опасность, то скрывалась, прячась за неровности почвы.

Пролетела через много земель,  
Много стран легло позади,  
Но конец наступил пути.  
Встало солнце в тридцатый раз,  
И внизу промелькнул аул,  
Тот, что мальчик просил найти.

Достигнув аула, ласточка, перелетая, садилась на верхушку то одной, то другой юрты. Рассматривала людей аула и, сколько ни приглядывалась к ним, не могла найти таких, которые были бы похожи на тех, о которых говорил мальчик.

Наконец, усталая, она задремала. И ей послышался жалобный стон старухи. Ласточка стала внимательно прислушиваться. А старуха жалобно пела:

— Ой, дитя, жеребенок мой!  
Прядь моих несчастных седи!

У озер камыш молодой —  
Мой единственный милый сын!  
Где найти мне твои следы?  
Враг ли злобный тебя увлек,  
Или бурный унес поток,  
Или дикий зверь уволок?  
Если жертвы требует рок,  
Пусть погибну я, но не ты!  
Год прошел, за ним и другой...  
Тяжко жить без сына, одной!

— Ты погоди,— прервал вдруг старуху старик, а сам стал причитать:

— Как былинка, рос одинок,  
Мой единственный, мой сынок!  
Твой отец обошел весь свет,  
Но о сыне весточки нет!  
Худ, как тощий бура, я стал.  
Мои кости, что крепче скал,  
Опаляет и рушит жар.  
Где ты, мой надежный тулпар?  
Иль мой сокол попался в сеть?  
Я б тебе одного желал:  
Повидав тебя, умереть!

Тут молодая девушка, попросив старика и старуху помолчать, запела:

— На отточенный меч стальной  
Походило тело твое,  
Брат, рожденный вместе со мной!  
Мне казалось, до склона дней  
Моя доля будет легка!  
У меня одежды — шелка,  
А мои табуны коней —  
Чистокровные скакуны!  
У меня не редет круг  
Молодых веселых подруг,  
Верных спутниц моей весны!  
Но пропал ты — судьба так зла!  
И душа моя замерла,  
На лице румянец потух,  
Вянет цвет моих вешних дней,  
Не успев раскрыться пышней!  
Старики мои, старики!  
Слез не лейте, горькой реки!  
Я сегодня видела сон,—  
Если б счастье принес нам он!  
Разгадайте сон, старики!  
— Сокол мой, что скрылся давно,  
Прилетел обратно ко мне;  
Конь пропал у меня в табуне —  
Он во сне вернулся ко мне;

Брат мой милый во сне моем,  
Снова смело вошел в наш дом!  
Милость нам куда-то подарит!  
Только мертвых нам не видать!  
Я клянусь, о Баба-Тукты,  
Я клянусь, о Азиз-Шашты,  
Вижу: ласточка к нам летит  
От родного весть передать!

Услышав такие слова, ласточка слетела и села перед стариком и старухой. Бедные, рыдая, они сняли амулет, разглядели тамгу и по тамге узнали, что Кара-батыр находится у туркменов; после этого, подготовив коней, собрав людей, они поехали. Старик, одарив туркмен большими подарками, вернулся в аул с сыном.

## ЗОЛОТОЙ ЧУБ

*Сказка*

Жил некогда один хан, и было у него двенадцать жен, но ни от одной из них не было детей.

Однажды хан собрался в дорогу и спрашивает своих жен:

— Какой подарок вы мне приготовите к моему приезду и кого мне родите?

Старшая жена отвечает:

— К твоему приезду я велю построить золотые чертоги.

А самая младшая жена сказала:

— К твоему приезду я рожу сына и дочь. Имя мальчика будет Золотой Чуб.

После этого хан уехал в далекий путь, пробыл в отсутствии два-три года и вернулся домой.

К тому времени его старшая жена построила дворец, младшая же родила мальчика с золотым чубом и девочку. Однако старшая жена из зависти пригласила старуху колдунью, украла с ее помощью детей, велела бросить их в колодец, а к матери положила двух щенят. Мать же она обвинила в том, что та родила щенят. Бедная мать поплакала и поневоле подчинилась своей участи. Обоих детей старуха колдунья бросила в коло-

дец. Хан приехал, поверил клевете и велел прогнать младшую жену.

В то время, когда дети падали в колодец, ангел в образе птицы подлетел, подхватил детей, улетел с ними в город и передал их одной старушке, проживающей на окраине города. У этой старушки не было ни сына, ни дочери. Оба ребенка жили у нее три-четыре года. Вскоре старушка умерла. Мальчик, когда подрос, стал стрелять из лука коз и куланов. Мясо их дети употребляли в пищу, а в шкуры одевались. Затем они нашли в горе пещеру, приспособили ее под жилье и поселились там.

О том, что дети живы, стало известно старшей жене хана, которая причинила им зло и несчастье. И она снова послала ту же старуху колдунью, приказав ей убить мальчика с золотым чубом.

Когда старуха колдунья в поисках ребят пришла к пещере, то мальчика не застала. Он был на охоте. Сестра же была дома. Старуха колдунья и говорит ей:

— Скажи брату, что в той стороне живет Угрюм-хан. У него имеется кобыла, которая приносит каждый день по жеребенку, и жеребята эти — аргамаку-тулпары.

Сказала так и ушла.

Старуха колдунья думала таким образом погубить мальчика, так как кто пускался на поиски этой кобылы, погибал, заблудившись в дороге.

Вечером, когда пришел брат, сестра рассказала ему все, что говорила ей старуха. Услышав об этом, брат отправился в путь искать кобылу.

По дороге ему встретилась большая река. Человек, который осмеливался переплыть ее, тонул. Когда Золотой Чуб переправился на другой берег, дочь одного пери подняла волны и ухватилась было за лодку, чтобы опрокинуть ее, но Золотой Чуб схватил ее за руку, снял кольцо, браслет, взял их себе и, благополучно переправившись через реку, продолжая свой путь, доехал до Угрюм-хана.

У Угрюм-хана в то время начала жеребиться кобыла. И Золотой Чуб говорит Угрюм-хану:

— Господин, если позволите, то я возьму вашего жеребенка.

Угрюм-хан ответил:

— Возьми.



Родившихся жеребят никто не мог взять, потому что, как только жеребенок родится, дочь пери уносила его. Мальчик стал караулить; как только кобыла принесла жеребенка, дочь пери, появившись в виде облака, хотела было унести его, но Золотой Чуб замахнулся мечом, и она, оставив башмаки и жеребенка, улетела.

Золотой Чуб пришел к хану и показал ему башмаки и жеребенка. Хан благословил его. Мальчик благополучно вернулся домой, отдал сестре башмаки, кольцо, браслет и жеребенка, а сам пошел на охоту.

Спустя некоторое время опять приходит та же старуха колдунья. Увидела кольцо, жеребенка и говорит сестре:

— Вот видишь, я желаю вам добра. Брат принес тебе кольцо, а теперь пошли его в другое место — пусть он принесет оттуда золотой сундук.

Сказала эти слова старуха колдунья и ушла.

Когда брат вернулся, сестра говорит ему, что есть где-то золотой сундук и чтобы он принес его. Брат сел на своего жеребенка-тулпара и поехал.

По дороге встретил он старуху, которая латала трещины в земле. Подъехав к ней, он спросил:

— Бабушка, что ты делаешь?

А старуха отвечает:

— Я латаю эту трещину в земле. Если спросишь зачем, то я скажу тебе, что сюда приезжают такие же богатыри как ты, лезут сюда в трещину из-за какого-то сундука и погибают там.

Тогда мальчик говорит:

— Мне тоже нужен сундук.

И, подойдя к трещине, спустился в нее. Под землей появилась перед ним пери и закричала:

— Низенький камень, если ты дома, то отзовись!

Лишь только она прокричала эти слова, как мальчик Золотой Чуб, превратившись в камень, замер на месте. Его крылатый конь ждал день, ждал два и, не дождав-шись, вернулся домой и заплакал. Девушка догадалась, что брат погиб, села на тулпара и приехала к старухе, которая все еще продолжала латать трещину в земле. Старуха сказала ей:

— Брат твой погиб. Не спускайся в трещину, если же спустишься, то и ты погибнешь.

— Я готова умереть, но перед смертью желаю видеть брата, хотя бы мертвого, — ответила сестра.

Тогда старуха посоветовала ей:

— Ты иди туда и в слезах причитай: «На земле я, горемычная, под землей ты, горемычный».

Когда девушка, причитая так, стала спускаться под землю, ее встретила дочь пери и спросила, о чем она горюет, пожалела и оживила брата.

Выйдя на поверхность земли, брат и сестра доехали до густого леса. Оставив коня и сестру на опушке леса, Золотой Чуб отправился в чашу. Так, идя по лесу, он добрался до белой Малой юрты, вошел в нее и сел. Когда он там сидел, прилетели две дочери пери и уселись на верх юрты. Одна из них говорит:

— Ой, однажды я сильно испугалась. Если спросишь отчего, то скажу тебе. Это было на реке. Когда я пыталась перевернуть лодку, у меня джигит отобрал кольцо. Если бы увидела его снова, то стала бы его женой.

А другая, младшая, сказала:

— И я тоже один раз испугалась. Если спросишь отчего, скажу. Я имела обыкновение у одного хана ежедневно уносить жеребенка. Когда однажды я прилетела туда, один джигит подкараулил меня, и только я было хотела унести жеребенка, как он отобрал его у меня. Если бы я нашла этого парня, я сделалась бы его женой.

И только она успела кончить рассказ, как обе пери услышали в ответ:

— Вот я тот самый джигит, женами которого вы хотите быть.

Это крикнул, поднявшись с места, Золотой Чуб.

После этого обе девушки вышли за него замуж. Он же девиц вместе с их юртой перенес на опушку леса, где оставались его сестра и конь. Затем они все вместе приехали на старое место. На том месте они еще прожили четыре-пять лет.

Проходил день за днем. Золотой Чуб каждый день отправлялся на охоту. Однажды во время охоты встретился ему человек, с которым он стал охотиться вдвоем. Когда они вместе охотились, появилось перед ними крупное животное и пошло спокойным шагом. Лишь только Золотой Чуб вместе с напарником собрались было выстрелить, как оно заговорило вдруг, обращаясь к товарищу Золотого Чуба:

— Вот это твой сын!

И, обращаясь к Золотому Чубу:

— Вот твой отец. Вас разлучила старуха.

Животное сказало это и исчезло. Отец и сын, узнав друг друга, обнялись и заплакали. Отец позвал сына к себе в гости. Он велел привести старшую жену и старуху колдунью и приказал их казнить. Затем велел найти самую младшую жену, которую он прогнал за то, что она не рожала ему детей и которая теперь где-то бродяжничала, выпрашивая милостыню. Когда ее привели к нему, он снова стал жить с ней. Золотой Чуб стал ханом. Затем привели его сестру и двух жен. Когда собрались все вместе, то устроили большой пир, конские скачки. И потом стали счастливо жить, и все желания их исполнились.



## *Газарос Агаян*

### АНАИТ



авно-предавно столицей агванской земли был город Партáв, от которого остались одни развалины, и называется он теперь Бардá.

Город этот располагался между Гандзáком и Шушóй, на реке Тартáр.

Там высился чудо-дворец царя Ваче, окруженный густой рощей, раскинувшейся вдоль берегов Тартара. Этот старый насаженный лес превосходил природные леса своими исполинскими чинарами и тополями, возвышавшимися даже над самыми высокими башнями города. Ограда вокруг рощи нисколько не стесняла быстроногих серн и оленей, стадами носившихся и резвящихся тут, как на свободе.

Однажды юный Вачагáн, единственный сын царя Ваче, стоял на дворцовой веранде и, опершись на перила, глядел на рощу.

Было погожее весеннее утро. Певчие птицы словно со всех концов земли сюда слетелись — так их было много, разливались на всех деревьях. Одни как на свирели играли, другие как в дудочки дудели. Но победу над всеми одерживал соловей, пернатый певец Агвáна, утешитель

всех любящих в мире сердец. Как только он начинал выводить свои рулады, остальные птицы тотчас замолкали, прислушивались к его многозвучным трелям, учились мастерству. Одни пытались щебетать, как он, другие — щелкать, свистеть. Потом все сливалось в хор, вторя напевам непревзойденного виртуоза.

Не к ним ли прислушивался так сосредоточенно и молчаливо Вачаган?.. Нет. Иная забота, иная тоска переполняла юношу. И пение птиц только растравляло его душевные раны и углубляло печаль.

От грустных раздумий Вачагана оторвала мать, царица Ашхен. Она незаметно подошла к нему, села рядом и спросила:

— Я вижу, сын мой, тебя гнетет какая-то боль. Скажи мне, о чем кручинишься, не скрывай от нас свое горе.

— Ты права, мама,— отвечал ей Вачаган.— Мне все опостылело, и почести и наслаждения. Хочу удалиться от мира, уйти в наш милый Ацик, пожить в сельской тиши.

— Понимаю, тебя тянет в Ацик, чтобы свидеться там с мудрой Анаит?

— Откуда ты знаешь это имя, мама?

— Соловьи нашего сада открыли мне его,— улыбнулась царица Ашхен.— Дорогой, не забывай, что ты сын агванского царя. Царевич может жениться только на царевне или на дочери родовитого князя, а не на простолюдинке. У гугарского князя дочь-красавица и единственная его наследница, единственная в будущем владелица богатых поместий. И у сюникского князя тоже чудесная дочь. Ну и, наконец, чем не хороша дочь нашего военачальника, Варсеник? Выросла у нас на глазах, и воспитана нами...

— Мама, если вы хотите, чтобы я когда-нибудь женился, то знайте, желанна мне только Анаит!..

Сказав это, Вачаган покраснел от смущения и, словно сбросив тяжелую ношу, убежал в сад.

\* \* \*

Вачагану едва исполнилось двадцать лет. Высокий и стройный, как тополь в царской роще, он, однако, был очень изнеженным, болезненным юношей.

«Сын мой,— часто говаривал отец,— ты знаешь, что с тобой связаны все мои надежды, ты должен сохранить

огонь в нашем очаге, поддержать славу нашего имени. Тебе надо жениться. Так ведется испокон веков».

Сын только краснел при этих речах отца и не знал, куда глаза девать. Он не думал о женитьбе, но отец не оставлял его в покое и снова и снова все настойчивее говорил о том же.

Чтобы избавиться от отцовских уговоров и чтобы реже с ним видеться, Вачаган занялся охотой, хотя по природе был домоседом, любил провести время за книгой.

С некоторых пор он стал подниматься чуть свет, целыми днями бродил по лесам и долинам, возвращаясь домой только поздним вечером. Иногда пропадал и по три, по четыре дня к великому беспокойству своих родителей. Сыновья многих князей искали с ним дружбы, вызывались сопровождать его в походах, но он избегал общения с ними и всюду брал с собой лишь преданного и храброго слугу Вагинака и собаку Занги — молодого, но уже громадного пса. Встречным трудно было бы отличить царевича от слуги: оба одеты в простые охотничьи одежды, у обоих за плечами лук и стрелы, к поясу пристегнуты широкие мечи. Только мешок с провизией носил Вагинак.

Часто они останавливались в том или другом селе, и Вачаган, выдавая себя за чужеземца, знакомился с жизнью крестьян, с их заботами, нуждами, примечал и хорошее и плохое, видел, кто справедлив, а кто нет. Потом многих мздоимцев вдруг отстраняли от дел, а на их место ставили людей честных и праведных. Вылавливали и наказывали воров, помогали семьям нуждающихся. Как по волшебству, неведомая сила сеяла добро.

А народ, наблюдая все это, думал, что царь Ваче так заботится о своих подданных, знает, кого надо наказывать, а кого наградить. В стране перевелись и воровство, и всякая несправедливость. И никто не видел, что все это доброе от царевича.

Путешествия Вачагана и ему самому послужили на пользу. Он окреп, повеселел, стал бодр и ловок. Узнав ближе нужды народа, он почувствовал, как много добра может сделать царь для своей страны.

А сердце юноши уже жаждало любви. Нужен был только случай.

Этот случай скоро представился.

Однажды, как обычно охотясь, Вачаган и Ваганик добрались до какой-то деревни и сели отдохнуть у родника. Они были очень усталые, вспотевшие. Пришедшие

по воду деревенские девушки поочередно наполняли свои кувшины и убегали.

Вачагану хотелось пить. Он попросил воды, и одна из девушек протянула ему полный кувшин, но другая тут же выхватила кувшин у нее из рук и вылила воду. Потом она уже сама снова наполнила кувшин и снова вылила его. У Вачагана душа горела, он с нетерпением ждал, когда же ему наконец дадут напиться, но незнакомка словно забыла о нем. Как бы забавляясь, она раз пять наполняла и опорожняла кувшин и только после этого подавала охотнику напиться.

Утолив жажду, Вачаган передал кувшин Вагинаку, а сам заговорил с девушкой, спросил, почему она не сразу дала им напиться, может, шутила над ними?..

— У нас не принято шутить с незнакомцем, а тем более если его томит жажда,— ответила девушка.— У меня на уме было совсем другое: я увидела, что вы очень устали и потные. В таком состоянии от студеной родниковой воды можно и заболеть, вот почему и медлила — хотела, чтобы вы немного остыли.

Мудрость девушки поразила Вачагана, но еще больше она поразила его своей красотой. У нее были огромные черные, горящие глаза, тонкие, точно кистью наведенные, брови, точеный нос и красиво очерченные губы. Голова непокрыта, по плечам струятся роскошные косы. Одета она в пунцовое шелковое платье, свободно ниспадающее до пят, а поверх него шитый гладью казакин, обхватывающий тонкий стан и высокую грудь. Босые, омытые водой ноги сверкают молочной белизной. Во всем облике девушки, в ее глазах такое очарование, но при этом и такая сила, что Вачаган был ошеломлен и испуган.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Анаит,— ответила девушка.

— А кто твой отец?

— Отец? Пастух этой деревни, Арán. Но зачем тебе знать, чья я дочь и как мое имя?

— Просто спрашиваю, греха ведь в этом нет?

— Коли спрос не грех, тогда скажи, кто ты и откуда?

— Соврать или правду сказать?

— Как считаешь достойным для себя.

— Понятно, что я считаю для себя достойным сказать правду, а правда сейчас та, что я не могу пока признаться, кто я на самом деле, но обещаю через несколько дней дать искренний ответ.

— Хорошо, а теперь дайте мне кувшин, и, если хотите, я еще принесу вам воды.

— Нет, спасибо. Ты дала нам хороший урок, мы всегда будем помнить его и тебя не забудем.

Анаит взяла кувшин и ушла.

\* \* \*

Когда наши охотники, снова пустившись в путь, ехали домой, Вачаган спросил Вагинака:

— Видал ли ты у нас таких красивых девушек?

— Красоты ее я не разглядел, — сказал Вагинак, — а только слышал, что она дочь пастуха.

— Красоты не приметил, но слышал все хорошо? Это оттого, что ухо у тебя острее глаза, только слышит оно все же не так, как надо.

— Ну, нет, все нужное слышит. Девушка сама сказала, что отец ее — деревенский пастух.

— И прекрасно. Что из того? Красоты ее это не убавило, а достоинства лишь возвысило.

— Что ж, когда станешь царем, придумай какую-нибудь пастушью медаль и награждай ею всех своих князей.

— Боюсь только, ни один князь не будет достоин этой пастушьей медали, Вагинак. Она очень высокого достоинства. Ее смогут носить только цари и патриархи. Разве тебе неведомо, что посох, вручаемый царям и патриархам, есть пастырский символ?

— Пастырский, но не пастуший.

— Между пастырем и пастухом та и разница, что у пастыря одна паства, а у пастуха в стаде и овцы, и козы, и коровы, и буйволы, и лошади, и ослы, и мулы, и даже верблюды. И, скажем, царь скорее похож на пастуха. Его паства тоже очень разная. Я думаю, все пастухи, от Авеля до отца этой прекрасной мудрой девушки, были праведниками.

— С тобой невозможно спорить, царевич. Так и быть, пусть она красива, эта дочь пастуха. Раз пришлась тебе по сердцу — значит, хороша. Но я думаю, что, если бы эта девушка оказалась дочерью землепашца, ты бы не стал так говорить, что Каин был землепашцем, а сказал бы, что лучшие в мире люди были землепашцами.

— Нет, в самом деле, скажи правду, Вагинак, кто красивее — Анаит или дочь нашего военачальника Варсепик?



— Я думаю, что для княжны красивее дочь военачальника, а для пастушки — эта крестьянка. Одна другую не заменит.

— Ну, а кто из них умнее?

— Я не испытывал ума ни у той, ни у другой. И все же думаю, Варсеник знает, что вода нашего Тартара не может никому принести вред, и, если бы ты у нее попросил воды, она не стала бы, как твоя Анаит, томить тебя жаждой.

— Вагинак!..

— Слушаю, царевич...

— Ты не любишь меня, Вагинак.

— Я понимаю, царевич, ресницы этой чаровницы Анаит вонзились в твое сердце, и мне жаль тебя, потому что я чувствую, рану не излечить.

Вачаган замолчал и погрузился в свои думы. Замолчал и Вагинак. Только Занги привычно резвилась, словно почувяла добычу.

\* \* \*

Спустя несколько дней царь долго беседовал с Вагинаком о Вачагане.

— Ты малым ребенком был взят к нам в дом, — сказал царь, — и я заботился о тебе как о родном сыне. Прошли годы, теперь ты и сам стал отцом и знаешь, каково оно, чувство отцовства, сколько за ним забот и тревог. Вачаган любит тебя, как брата родного, и только тебе открывает свои тайны. Выведай, что у него на сердце, и расскажи нам, чтоб мы могли понять, как нам поступать и что предпринять.

— Государь, Вачаган настолько скрытен, что он и мне не открывается. Но в последние дни я и сам ощущаю в нем какую-то перемену. Думаю, ему приглянулась девушка по имени Анаит.

— Кто это такая, Анаит?

— Дочь пастуха из Ацика.

— Дочь пастуха?! Да она, должно быть, богиня, раз сумела околдовать Вачагана и смягчить его закаменевшее сердце.

— Государь, я уж как только ни старался отвлечь его от мыслей о ней — и наговаривал на девушку, и над самим Вачаганом посмеивался, — но все безуспешно. Потому что эта Анаит и в самом деле — богиня. Красота ее необыкновенна, а об уме так просто чудеса расска-

зывают. Говорят, в трудных делах даже сельские старейшины к ней за советом обращаются. Ни один юноша не сравнится с ней отвагой и ни одна из девушек не искусна столь в рукоделии, как Анаит. Когда у кого-нибудь что-то из добра пропадет или ограбят кого-то, она тотчас вскакивает на лихого коня и пропадает в горах и ущельях до тех пор, пока не разыщет и не вернет пропажи хозяину. Я все это вызнал тайком от Вачагана и ему ни словом ни о чем не обмолвился, чтобы не будоражить его еще больше, но он, я вижу, и без того от нее ни за что не откажется. Однако я надеюсь, что если он вам ничего не расскажет, то уж от матери своих чувств не скроет.

— Я и сам все расскажу царице. А тебе, друг мой, спасибо, что подготовил меня.

Вагинак и в самом деле хорошо подготовил царя. Он, как ему казалось, преувеличил достоинства Анаит на случай, чтобы желание Вачагана обязательно сбылось, если он будет стоять на своем, чтобы родители непременно уступили.

\* \* \*

Царица, услышав от сына о твердом намерении взять в жены Анаит либо вовсе не жениться, поведала обо всем царю.

Вскоре все во дворце знали эту новость. А через день-другой о ней говорил с изумлением весь город. Крестьяне обрадовались тому, что царицей может стать крестьянская дочь, и при ней тогда, может, и им улыбнется счастье. А князья в себя не могли прийти от досады, что царевич предпочел простую пастушку их знатным дочерям. Купцы потешались, что, мол, не с ума ли царевич сошел, выбрал в невесты безродную нищенку, когда вокруг столько девиц с богатым приданым.

О многом судачили остряки.

— Э-эй, говорят, царевич на дочери пастуха жениться решил, слышали?..

— Э, нет. Пастух этот вовсе и не пастух. Просто в подданстве у него скотина, вот его и называют пастухом. Кум нашего царя поистине мудрый царь. Он знает язык всякой скотины. Таким мудрецом был еще только царь Соломон.

— У скотины нешто бывает царь?..

— А как же? Царь птиц — лебедь, царь лесов —

тигр. С того, верно, и повелось, что у людей, когда они разумели не более зверья, и появились цари-правители.

— Это-то верно, но у стада царь — человек?..

— Ну, если бы он не был человеком, откуда бы ему иметь дочь-красавицу? А вообще-то, говорят, она вовсе и не собирается замуж. Даже за царевича едва ли пойдет...

— Неужто?..

— Вот так-то!..

\* \* \*

И царь и царица, убедившись, что царевич стоит на своем, решили не противиться его выбору. Царь даже радовался, что для сына все подданные равны. Только одно тревожило царя: как князья примут решение Вачагана. Зато, узнав, что крестьяне радуются выбору царевича и что Анаит славится разумницей, царь даже стал уговаривать царицу, успокаивать ее.

На другой день призвали они Вагинака, сообщили ему свое решение и вместе с двумя почтенными людьми, снабдив их богатыми дарами, послали в Ацик сватать Анаит.

Пастух Аран принял сватов с подобающим радушием. Анаит дома не было.

Усадив гостей на ковре, Аран и сам примостился рядышком.

Поначалу разговор повели о ковре, который привлек внимание гостей чудесным узором, неповторимостью красок и тонкостью выделки.

— Невиданный ковер! — сказал Вагинак. — Наверно, жена твоя соткала его?

— Нет, жена у меня померла. А ковер соткала дочь Анаит, да сама она почему-то им не очень довольна. Говорит, не таким, как ей хотелось, получился. Уже вон для нового ковра основу натянула, видите там, у стены?..

— А по мне, так очень хороший ковер. Такого украшения и в царских палатах нету, — сказал князь, один из сватов. — Чудо, как искусна твоя дочь. Слава о ней дошла до царя и царицы, и вот они прислали нас сватами. Царь просит руки твоей дочери за сына своего, Вачагана, наследника престола.

Сказав все, князь ждал, что Аран не поверит его речам, а поверив, конечно же, онемееет от радости. Но нет, Аран молча опустил голову и стал произвольно гладить узоры ковра.

Молчание нарушил Вагинак.

— О чем задумался, брат Аран? Мы принесли тебе радость, а не печаль. Насильно твою дочь не уведем. Все в твоей воле. Захочешь — отдашь, не захочешь — как знаешь. Только скажи все прямо.

— Уважаемые гости! — начал Аран. — Я безмерно благодарен нашему царю и властелину, что украшением своих пышных палат он избирает дочь ничтожного слуги своего. Да вот беда, не волен я выдать или не выдать Анаит за царевича. Подождем, вернется, пусть сама скажет. А уж если согласится, я перечить не стану.

И только Аран умолк, вошла Анаит. Она была в саду. Вернулась с полной корзиной винограда, персиков, груш и яблок. Ей уже успели сообщить, что в доме неожиданные гости. Анаит поклонилась, разложила фрукты на медном луженом подносе, поднесла их гостям, а сама пошла к станку, сняла с него покрывало и села за работу. Гости с интересом следили за ней и были поражены необычайной ловкостью и проворством ее пальцев.

— Анаит, почему ты ткешь одна? Я слышал, что у тебя много учениц, — спросил Вагинак.

— Да, человек двадцать, — ответила Анаит. — Но сейчас сбор винограда, и они там. Да и этот ковер мне хочется соткать самой.

— Говорят, ты и грамоте их учишь?

— Учу. Ведь каждый должен уметь читать. У нас теперь в селе все учат друг друга.

— Это прекрасно. А наши горожане ленивы, до ученья не горазды. Но вот ты приедешь к нам и их приохотишь к трудолюбию и грамоте. А пока, прошу, оставь ненадолго свою работу, подойди, нам надо кое-что тебе сообщить. Вот, взгляни, это царь наш шлет тебе...

И тут Вагинак развернул узелок, достал из него золотые украшения и шелковые наряды.

Однако богатые дары не удивили Анаит. Она на них почти не взглянула даже, только спросила:

— А можно узнать, за что царь оказывает мне такую милость?

— Царевич наш, Вачаган, повстречал тебя у родника, где ты дала ему напиток. С тех пор он лишился покоя. Очень ты ему понравилась. Вот царь и послал нас сватать тебя за царевича. Это кольцо, браслет, ожерелье, серьги — словом, все царь шлет тебе в подарок.

— Значит, охотник у родника это был царевич?.. Славный юноша. Только знает ли царевич какое-нибудь ремесло?

— Зачем ему ремесло, Анаит? Он царский сын, повелитель страны, а все мы — его слуги!..

— Знаю это. Но жизнь сложна, и кто может предугадать, как она повернется. Сегодняшний повелитель завтра и сам может стать слугой, будь он даже царем. Ремеслом должен владеть каждый человек: слуга или хозяин, князь или царь.

Гости в изумлении переглянулись при этих смелых речах Анаит. Посмотрев на Арана, они увидели, что отец, напротив, очень доволен словами дочери. Делать нечего, сваты снова спросили у Анаит:

— Значит, ты не хочешь идти за царевича только потому, что он не знает никакого ремесла?

— Да. И все, что вы привезли, забирайте назад. Скажите, он мне очень понравился, но пусть простит, я зареклась — не выходить замуж за человека, не владеющего ремеслом. Если он очень хочет, чтобы я стала его женой, пусть прежде всего обучится какому-нибудь ремеслу.

Сваты, видя, что Анаит тверда в своем решении, отступились. Эту ночь они провели под кровом Арана. Анаит была очень гостеприимной и радушной хозяйкой. Она рассказала сказку о мудром царе, который, овладев многими ремеслами, обучил им и свой народ, сделал его богатым. Гости уже стали осознавать правоту Анаит и даже устыдились того, что не знают никакого ремесла. Только Вагинак с гордостью сказал, что он обучен ремеслу ювелира, дворцовый мастер его учил.

На другой день сваты вернулись во дворец и поведали царю обо всем, что видели и слышали.

Царь с царицей, узнав, что ответила Анаит, даже обрадовались, считая, что Вачаган обидится и откажется от намерения жениться на ней. Но когда они сообщили все сыну, он вдруг сказал:

— Анаит права. Каждый должен владеть каким-нибудь ремеслом. Царь такой же смертный, как все, ему тоже полезно знать ремесло.

— Значит, ты станешь учиться ремеслу?..

— Да, непременно.

— Скажи, зачем тебе это? Ты осознал необходимость владения ремеслом или все только для того, чтобы добиться согласия Анаит?

— И то, и другое... Не буду таиться!..— отвечал Вачаган и поспешил удалиться, чтобы скрыть от родителей свое смущение.

Царь, поняв, что намерение сына непреклонно, созвал совет князей. И порешили они, что царевичу хорошо бы научиться ткать парчу, которую в их стране пока еще никто не выделяет, а привозят из-за тридцати земель по очень дорогой цене.

Послали в Персию за искусным мастером, и стал он обучать Вачагана.

За год царевич настолько овладел ремеслом, что сам выткал из тонких золотых нитей кусок отменной парчи и послал его с Вагинаком в подарок Анаит.

Получив подарок, красавица сказала:

— Теперь я согласна. И вот вам в дар для Вачагана мой новый ковер.

Вагинак взял ковер, вскочил на коня и помчался в Барду сообщить Вачагану радостную весть о согласии Анаит.

Стали готовиться к свадьбе.

Семь дней и ночей справляли свадьбу, и было это невиданным для страны ликованием. Радовались все. Но особенно радовались крестьяне: и потому, что любили Анаит, высоко ценили ее добрую славу и надеялись на ее милосердие, и еще потому, что царь в день свадьбы приказал освободить на целых три года крестьян от всех податей.

И от радости той все славил молодую царевну:

На свадьбе Анаит золотое солнце сверкало,  
На свадьбе Анаит золотым дождичком блистало.  
Нивы наши золотятся, закрома полны зерном.  
Вот и дань теперь скостили, ох как заживем.  
Долгих лет тебе, царевна, нам на радость  
И стране на славу!

\* \* \*

Вагинака на свадьбе Вачагана и Анаит не было. За несколько дней до того царь отослал его с важным поручением в город Пербж, что неподалеку от Барды. Дело было недолгое, он должен был поспеть к свадьбе. Но, странная история, уехал и как в воду канул. Искали его долго, всех спрашивали, не видал ли кто. Но Вагинак исчез бесследно.

Люди, искавшие Вагинака, привезли царю весть, что, кроме него, пропал еще кое-кто и неведомо, куда все подевались.

Царь думал-думал и решил, что, верно, завелись какие-то разбойники-работорговцы, которые похищают людей и продают их в рабство. Разослал он повсюду своих приближенных, пытливых и ловких. Ходили они, ходили из села в село, из города в город, но так и не нашли следов пропавших и, отчаявшись, вернулись назад.

Исчезновение Вагинака было для царя большим горем, и не только потому, что он любил его, как сына. Ужасало и то, что в стране творится такое и никто не может докопаться до причины беды.

Горе ли подкосило или годы преклонные тому причиной, но вскоре один за другим умерли и царь и царица.

Целых сорок дней оплакивал их народ, а потом все собрались и провозгласили царем и царицей наследника престола Вачагана и жену его Анаит.

Вачаган, воцарившись на троне своих предков, решил править так, чтобы в стране не было недовольных и все были бы счастливы.

Анаит стала ближайшей советницей мужа во всех его многотрудных делах. Что бы он ни решал, всегда сначала советовался с ней, а уж потом призывал мудрецов из народа и сообщал им о своих намерениях. Анаит, однако, считала, что не все еще делается как надо. И как-то она сказала Вачагану:

— Вижу я, государь мой, что ты не имеешь полных и верных сведений о своей стране. И призываемые тобой люди не открывают тебе всей правды. Чтобы успокоить и порадовать царя, они убеждают тебя, что все хорошо и все довольны своей жизнью. Но в стране наверняка творятся и такие дела, о которых они тебе ничего не говорят. Хорошо бы тебе самому время от времени, переодевшись, попутешествовать по стране, походить в разном обличье среди разных людей, чтобы разузнать, как народу живется.

— Верно говоришь, Анаит,— ответил царь.— Покойный отец мой, когда был молодым, так и делал. Я во время своих охотничьих скитаний тоже многое узнал. Но как мне теперь уехать, кто за меня страной будет править?..

— Доверься мне. И пусть никто не знает о твоём отсутствии.

— Вот и прекрасно. А я хоть завтра тронусь в путь. И если не вернусь через двадцать дней, то знай: либо меня уже нет в живых, либо угодил в беду.

На другой день царь Вачаган переоделся простым крестьянином и отправился в самые дальние окраины своей страны.

Многое он повидал, многого понаслышался, но ничто не сравнится с испытанием, пережитым им в Пероже.

В самом центре города простиралась огромная площадь, на которой размещался рынок. Вокруг площади громоздились лавки купцов и ремесленников.

Как-то, сидя на этой площади, Вачаган вдруг увидел людей, ведущих под руки величественного старца с длинной белой бородой.

Старец ступал медленно, перед ним расчищали дорогу и под ноги подкладывали кирпичи. Вачаган спросил, кто этот человек. Ему ответили:

— Да кто же его не знает? Это наш верховный жрец. Настолько свят, что на землю ногой не ступает — не дай господь раздавить какое-нибудь насекомое.

Но вот на площади расстелили ковер, и старец опустился отдохнуть.

Вачаган подошел поближе и стал напротив, чтобы слышать, о чем будет говорить, и видеть, что будет делать этот человек.

Верховный жрец тоже посмотрел на Вачагана и понял сразу, что он нездешний и его, жреца, видит впервые.

Старец поманил Вачагана к себе, и тот подошел.

— Кто ты есть и чем занимаешься?

— Работник я. Из чужих краев сюда занесло в поисках заработка.

— Очень хорошо, пойдешь со мной, будет тебе работа и щедрый заработок.

Вачаган поклонился в знак согласия и отошел в сторону, к людям, пришедшим на площадь вместе со жрецом.

Верховный жрец что-то шепнул своим людям, и они разошлись в разные концы площади, а вскоре вернулись с носильщиками, нагруженными тюками.

Когда все жрецы собрались, верховный жрец поднялся и, также торжественно ступая, двинулся к своему пристанищу. Вачаган последовал за ним, чтобы узнать, чем занимаются эти жрецы и что за человек верховный жрец, за что его чтят, как святого.

Так они дошли до городской стены. Там верховный



жрец благословил всех шедших за ним людей и велел им возвращаться в город. С ним остались только жрецы, носильщики и Вачаган.

Они продолжали свой путь и, отойдя версты на две от города, достигли какого-то здания, обнесенного высокой оградой, и остановились у железной двери. Верховный жрец вынул из кармана довольно большой ключ, отпер дверь и, впустив всех, снова запер ее за собой.

Вачаган, поняв, что по своей воле отсюда не выберешься, заволновался. Пришедшие с ним люди, видно, тоже впервые попали сюда. Они перегадывались между собой, не понимая, куда их привели. Наконец, пройдя под аркой в ограде, вышли на просторную площадь, посреди которой высилось капище с круглым куполом, окруженное маленькими кельями. Носильщикам велели сложить ношу у этих келий, и затем всех их, вместе с Вачаганом, верховный жрец повел в капище, открыл там вторую, внутреннюю дверь и сказал:

— Проходите, там вам дадут работу.

Ошеломленные, они все молча вошли туда, куда им указали, и верховный жрец запер за ними дверь. Только тут наши чужеземцы (а они все были чужеземцы) пришли в себя, огляделись и поняли, что находятся в каком-то подземелье.

— Люди, куда это мы угодили?! — спросил Вачаган.

— Наверняка в ловушку для простаков. И нам уж отсюда не выбраться! — отозвался кто-то.

— Так говорят же, он святой? Неужели причинит нам зло?..

— Может, этот святой знает, что мы грешники, потому и привел нас в чистилище, чтобы искупили свои грехи...

— Сейчас не время для шуток,— прервал остряков Вачаган.— Я думаю, этот старик просто чудище с личиной святости и мы сейчас на пороге его ада. Смотрите, как здесь темно и жутко, кто знает, какие муки нас ожидают. Что же стоять окаменелыми. Дверь, закрывшаяся за нами, больше не откроется. Давайте продвигаться вперед, посмотрим, куда ведет эта дорога.

Они шли довольно долго, и вдруг впереди блеснул слабый свет. Пошли на этот свет, и перед ними предстало просторное, вымощенное камнем помещение, которое наполнилось какими-то криками. Они огляделись и поняли, что находятся вроде бы в пещере. Похоже, прямо в скале ее вырубили. И оттого что долбили сверху, кни-

зу пещера все расширялась, вот и образовалось такое большое куполообразное помещение.

Наши узники оглядели свою темницу, из которой не видели выхода, и прислушивались, пытаясь различить, откуда доносятся стоны и крики. И тут появилась какая-то тень. Она приближалась, сгущаясь, приобретала очертания человека.

Вачаган пошел навстречу тени и громко спросил:

— Кто ты, дьявол или человек? Подойди к нам и скажи, где мы находимся?

Призрак приблизился и, дрожа, остановился перед пришельцами. Это был ходячий мертвец: глаза провалены, скулы торчат, волосы вылезли — голый скелет, все кости которого можно пересчитать. Еле ворочая заострившимися челюстями, живой труп глухо выдавил из себя:

— Идите за мной, я покажу вам, куда вы попали.

Они прошли через узкий проход и оказались в помещении, где прямо на земле хрипели и корчились в судорогах обнаженные люди. Прошли дальше, в другую пещеру, где стояли в ряд огромные котлы и вокруг них копошились какие-то тоже люди — не люди, тени — не тени: они что-то варили.

Вачаган любопытствовал, что там варится, заглянул в один из котлов и с омерзением отвернулся, не сказав своим спутникам, что он увидел. В следующем помещении работали разные ремесленники: одни вышивали, другие плели кружева, третьи шили, некоторые золотили какие-то изделия. Около сотни полускелетов работали здесь при тусклом освещении.

Показав все, проводник повел пришельцев обратно в первое помещение и сказал:

— Нас тоже заманил сюда всех старый дьявол, который вас одурачил. Я уж и не знаю, сколько времени здесь нахожусь. Тут ведь вечная тьма, нет ни дня, ни ночи. Знаю только, что все угодившие сюда вместе со мной уже поумирали. Сюда заманивают и мастеров, и тех, кто не знает никакого ремесла. Мастеров принуждают работать до самой смерти, а не обученных ремеслу отправляют на бойню, а там и в те самые котлы. Вот такое это страшное место. Старый дьявол действует не в одиночку. У него сотни помощников. Они все живут наверху, над этим адом.

— Ты вот скажи лучше, что теперь с нами сделают? — спросил Вачаган.

— То же, что и с другими. Кто владеет каким-нибудь ремеслом, будет работать — так здесь и промается до конца своих дней, а кто ни на какое дело не способен, попадет на бойню. Меня уже бросили в мертвецкую, не могу больше работать — нет сил. Но бог никак смерти не дает. Может, еще вызовет отсюда, ха-ха... Неспроста же мне явилась во сне женщина верхом на огненном коне. «Не отчаивайся, Вагинак, — сказала она, — я скоро освобожу вас всех». Вот и вселила в меня надежду. Ах, мой Вачаган, как ты мог забыть своего Вагинака!..

Вачаган, который до того, пребывая в оцепенении от ужаса перед увиденным, не вникал в смысл речей этого человека, на последних его словах словно от глубокого сна пробудился.

«Вачаган... Вагинак... Выходит, это наш Вагинак?!» — подумал он и чуть было не кинулся обнимать несчастного, но, не веря своим ушам, снова спросил, кто он, этот человек, и как сюда попал.

Вагинак начал рассказ издалека, с незнакомых Вачагану событий. Слушая его, Вачаган вдруг решил, что сейчас не следует открываться Вагинаку. Радость, смешанная с горем, может внезапно оборвать тонкую нить его жизни.

— Ты сказал, что тебя зовут Вагинаком? — прервал он его рассказ.

— Вагинак? Да, я... был раньше...

— Брат Вагинак, тебе вредно так долго говорить. Ты очень слаб. Живи, пока не исполнится твой вещий сон. Я тоже верю в него и благодарю, что ты поделился с нами своей надеждой. Теперь и мы будем жить ею. Хорошо бы пересказать твой сон и всем другим. Я умею разгадывать сны. Уверяю тебя, твой сон обязательно сбудется. Но чу! Слышишь шаги? Ступай сейчас от нас подальше.

...Угодивших в подземелье вместе с Вачаганом было еще шесть человек.

Вачаган спросил, знают ли они какое-нибудь ремесло. Один сказал, что он ткач по полотну, другой оказался портным, третьему приходилось ткать шелк, остальные ремеслом не владели.

Шаги, гулко отдаваясь в тишине подземелья, слышались уже совсем рядом, и вот перед узниками предстал свирепого вида жрец в сопровождении нескольких вооруженных людей.

— Это вы новоприбывшие? — спросил жрец.

— Да. Мы готовы служить тебе,— ответил за всех Вачаган.

— Кто из вас владеет каким-нибудь ремеслом?

— Все,— опять ответил Вачаган.— Мы умеем ткать отменную парчу. За нее дают во сто раз больше золота, чем она сама весит. У нас была большая мастерская, но случился пожар, и мы разорились. Оттого и пошли в город на заработки. А там вот встретили верховного жреца, и он привел нас сюда.

— Это хорошо. Но неужели ваша парча в самом деле так дорого стоит?

— Мы не лжем. Да это ведь можно и проверить.

— Конечно. Я скоро узнаю, правду ли вы говорите. А теперь скажите, какие вам нужны материалы и инструменты, чтобы я добыл вам их.

Вачаган пересчитал то, что ему было необходимо.

Через несколько часов все было готово. Жрец приказал им идти в мастерские работать, сказал, что и питаться они будут там вместе со всеми, из общего котла.

— Так у нас дело не пойдет,— сказал Вачаган,— нам нужно отдельное просторное помещение, вот как это. Тонкость нашей работы требует освещения: в темноте мы ничего не сможем сделать. И еще я должен сказать, что мы не едим мяса. Непривычны. Можем даже помереть от него, и вы лишитесь большой прибыли, которую могли бы иметь с нашей работы. Я истинную правду говорю, наша парча впрямь стоит дороже золота.

— Хорошо,— вынужден был согласиться жрец,— будете получать хлеб и овощи, будет у вас и яркий свет, но, если ваше изделие окажется не таким, как вы его расписываете, все угодите на бойню, а перед тем еще пройдете через пытки.

Им прислали свечи, прислали хлеба, овощей, квашеного молока, сыру, фруктов. Вагинак стал питаться с ними. И другим узникам иногда перепадало что-нибудь.

Вагинак постепенно окреп и стал снова приобретать человеческий вид.

Вачаган начал работать со своими подручными. В короткое время он соткал кусок замечательной парчи, в узорах которой, если внимательно приглядеться, можно было увидеть письма. Ими Вачаган поведал про эту адскую обитель.

Жрец, увидев готовую парчу, пришел в восторг.

— Я говорил, что за изготовленную мною парчу тебе дадут в сто раз больше, чем она сама весит,— сказал Вачаган, передавая жрецу ткань.— Но эта парча и того дороже: она — талисман, будет доставлять обладателю ее радость и веселье. Но продать ее надс истинному ценителю. Скажем, царице Анаит. Она наверняка сумест оценить эту парчу, да и кто, кроме нее, может носить одежду из такой дорогой ткани.

Корыстолюбивый жрец от удивления глаза выпучил, узнав, сколько стоит парча. Но решил хитроумному верховному жрецу ничего не говорить, даже не показывать парчу. Он надумал сам явиться к царице Анаит, а потом и присвоить полученное от нее золото.

\* \* \*

Анаит прекрасно управлялась с делами страны. Все были довольны и даже не подозревали, что правит она. Все было бы хорошо. Но Анаит очень беспокоилась. Прошло уже десять дней сверх назначенного Вачаганом срока, а его нет и нет. Ночами она не знала покоя. Ей снились страшные сны: вокруг творилось что-то невообразимое — жалобно стенала река, пес Занги все время выл, кидался царице в ноги; конь Вачагана непрерывно ржал, метался, как жеребенок, потерявший мать, и, не притрагиваясь к корму, день ото дня хирел; куры кричали петухами, а петухи пели не как обычно, на заре, а по вечерам и не своими, а фазаньими голосами. Соловьи перестали заливаться в саду, и вместо их пения слышались стонущие уханья сов. Волны Тартара не журчали, как прежде, весело перескакивая с камня на камень, а с тихим плеском печально несли свои воды вдоль ограды замка...

Необычайная тревога надломила мужественную Анаит. Даже собственная тень казалась ей страшным драконом. От малейшего стука, возгласа она вздрагивала и замирала в ужасе. Иногда ей хотелось созвать князей и сообщить им об отсутствии царя, о его необъяснимом исчезновении, но она боялась, как бы это не вызвало беспорядков в стране, мятежей и бунтов.

Как-то утром Анаит, снедаемая тревогой, бродила по своим покоям, когда вдруг вошел слуга и доложил, что прибыл купец-чужеземец и привез диковинный товар для царицы. Сердце Анаит забилося в тревожном предчувствии. Она приказала немедленно ввести купца.

Вошел человек свирепого вида, низко поклонился царице и поднес ей на серебряном блюде кусок золототканой парчи. Анаит взяла парчу и, не глянув на ее узор, спросила о цене.

— Эта ткань стоит золотом в три раза больше того, что она сама весит, царица. Такова цена ее выделки и затраченного материала, а мои труды пусть оценит твоя милость.

— Отчего же она такая дорогая?

— О царица, в этой парче особая сила. Вытканые на ней узоры не простые украшения, а талисман, и тот, кто наденет платье из нее, будет всегда счастлив и весел.

— Что же это за диво? — сказала Анаит и, развернув парчу, стала внимательно рассматривать узоры, которые на самом деле оказались письменами.

Анаит прочла про себя следующие слова:

«Моя несравненная Анаит, я попал в ад. Доставивший тебе эту парчу — один из наших здешних мучителей. Тут со мной и Вагинак. Ад этот находится к востоку от города Перож, в подземелье капища, обнесенного высокой неприступной оградой. Поспешите нам на помощь, и поскорее, не то мы погибнем. Вачаган».

Анаит читала снова и снова, не веря своим глазам. Не отводя взгляда от парчи, она стала думать, как ей быть.

Наконец Анаит обратилась к жрецу, переодетому купцом, и, скрывая печаль, как можно веселее проговорила:

— Ты правду сказал, узоры твоей парчи и в самом деле способны принести радость. Я с утра была очень грустна, а сейчас мне весело. По-моему, этой парче вообще нет цены. Если бы ты потребовал у меня за нее полцарства, я бы и тому не удивилась. Но знаешь, ничто сотворенное не может сравниться со своим творцом, не может возвыситься над ним. Не так ли?

— Истинная правда, царица. Творение несравнимо с творцом.

— Ну, а коли тебе это ведомо, приведи ко мне того, кто выткал такую парчу, чтобы я вознаградила и его и тебя, не обделив никого из вас. Ты, надо думать, слышал, что я ценю ремесло и готова наградить каждого искусного мастера столь же высоко, как и храброго воина.

— Но, царица, я не знаю, кто выткал эту парчу. Я купец. Ткань эту мне продали в Индии, а где и кем она произведена, как знать?..

— Но ты же говорил о стоимости затраченного на нее материала и работы, а это значит, что сам ее заказывал, потому и знаешь, сколько чего затрачено. Ты ведь сначала не сказал, что купил парчу?..

— Милостивая царица, про то, как она выделяется, мне еще в Индии говорили, вот я и...

— А твоя Индия не близ Перожа ли находится?

— Ну как же так? Перож ведь совсем рядом, а до Индии несколько месяцев пути...

— А не боишься ли ты, что стоит мне пожелать, и твоя Индия окажется в Пероже? Не заставляй меня прибегать к силе и власти, скажи-ка лучше, кто ты и откуда, какого роду-племени, какой веры, кому и чему служишь?

— Милостивая царица!..

— Нет, к тебе я не могу быть милостивой. Талисман поведал мне, кто ты! Эй, слуги, бросьте его в темницу!

\* \* \*

Вачаган уже терял надежду на спасение, но продолжал вселять в своих отчаявшихся товарищей по несчастью веру в то, что они вырвутся из этого ада.

— Я тоже видел сон, похожий на твой,— сказал он как-то Вагинаку.— Не сегодня-завтра мы должны освободиться. Но знаешь ли, если нам удастся выбраться из этого мрака на свет божий, то он, этот свет, чего доброго, ослепит нас. Поэтому помните все, что поначалу надо будет зажмуриться, пока глаза не привыкнут к свету...

— Только бы из ада этого выбраться, а там пусть и ослепнем. Но знаешь, мастер, твои слова напомнили мне одну историю. Были мы как-то с моим царевичем на охоте и, усталые, разгоряченные, присели отдохнуть у родника. Тем временем девушки из ближнего села пришли по воду. Царевич попросил напиться, и одна из девушек подала ему воды, но другая выхватила у нее кувшин и вылила воду. И сама еще несколько раз наполняла кувшин и выливала. Я не понимал, зачем она это делает, и очень рассердился, а царевичу даже понравилось, когда девушка, подавая ему наконец воду, сказала, что, видя, какие мы усталые и разгоряченные,

намеренно медлила, пока мы не остынем. Твои речи напомнили мне предусмотрительность той девушки. А она, между прочим, стала теперь нашей царицей. Вачаган, как увидел ее, больше ни о ком и слышать не хотел. Делать было нечего, царь послал меня к ней сватом. Но девушка не сразу согласилась, сказала, что не выйдет замуж за человека, не владеющего ремеслом. Я тогда про себя даже посмеялся, но царевич мой и на этот раз счел, что она говорит разумное, и за год научился ткать чудесную парчу, похожую на ту, какую выткал ты. А я, только оказавшись в этом аду, понял, какая же она мудрая...

— Скажи, брат Вагинак, отчего во сне нам снится царица, а не царь?

— Тебе лучше знать, ты же у нас толкователь снов. И прости, это не лесть, а истинная правда, мне ты кажешься очень мудрым человеком. Если в этом аду тебе удалось добыть нам человеческую пищу, то ты еще многое можешь. Я не удивлюсь даже, если ты вдруг взорвешь эту преисподнюю и освободишь всех нас. И клянусь, коли нам удалось бы избавиться милостью божией от мук, царь призвал бы тебя и сделал своим ближайшим советником!

— Только если благодаря тебе. Царь ведь меня не знает. Да и кому ведомо, где сейчас сам царь? Может, и он угодил в какой-нибудь ад и ткет там свою парчу, вроде меня...

— Твои слова пугают меня, кажутся вещими!.. Но нет, лучше умереть, чем узнать, что Вачаган в беде, да еще в такой!..

— Ничего в моих речах нет вещего, дорогой Вагинак. Просто царь тоже смертный, как мы, и также может попасть в беду. Может заболеть, оказаться в плену, погибнуть от руки врага, утонуть, сгореть при пожаре. Он ест такой же хлеб, как и мы...

— Верно говоришь, мастер. Но Вачаган — человек благоразумный, он не поддастся, как мы, любопытству, не увяжется за верховным жрецом, а потому и в эдакий ад не попадет.

— И мы с тобой не простаки, но так уж случилось. И царю откуда узнать, что святой жрец вовсе не святой, а чудовищный злодей? Нет, Вагинак, всяк смертный может угодить в беду. Счастлив тот, кто сегодня не знает, что завтра его подстережет несчастье. Другое дело, когда опасность явная. Рассудительный человек,



встретив на своем пути бурную реку, не бросается в нее очертя голову, а ищет брод. Чует мое сердце, что и царь твой в беде и освобождение его связано с нашим освобождением...

— И конечно, освободит он нас благодаря своему ремеслу. Мне тоже чудится. Чудится, что сейчас я слышу голос моего царя. С первой минуты нашей встречи казалось, только страшно было подумать. Верить ли мне моим ушам?!

— Нет, нет, не верь! Ты лучше поверь тому голосу, который услышишь извне. Слышишь, вон доносятся голоса, много голосов? Шум!.. Что-то грохочет!.. Это, наверно, двери ада разверзлись, похоже, спасение близко!.. Созывайте всех, чтобы собрались и были готовы.

\* \* \*

Анаит, повелев бросить в темницу переодетого жреца, тотчас приказала трубить тревогу. Внезапный клич боевых труб был зна́ком нависшей над страной грозной опасности. Вскоре весь народ собрался на площади перед дворцом. Люди взволнованно спрашивали друг друга, что стряслось, но никто ничего не знал.

На дворцовом балконе появилась Анаит, вооруженная, в доспехах. Обращаясь к народу, она сказала:

— Жизнь нашего царя в опасности. Он отправился в странствие по своим владениям, чтобы лучше узнать, как живет народ, в чем нуждается. В пути ему встретились злые оборотни, и он попал в беду, угодил в какую-то страшную преисподнюю. Я только что узнала об этом. Мне больше нечего вам сказать. Кто любит своего царя, кому дорога его жизнь, седлайте коней и следуйте за мной. Сегодня же до полудня мы должны быть в Пероже. Ступайте по домам и скорее возвращайтесь во всеоружии, я жду вас.

С возгласами «Да здравствует царь, да здравствует царица!» все мгновенно разошлись и меньше чем через час собрались снова, вооруженные и на конях.

Узнав, что войско поведет сама царица, многие отважные женщины тоже последовали примеру Анаит, примкнув к ее свите.

В полном воинском облачении, на огневом коне, в золоченых доспехах, со щитом в руке, с волосами, забранными под шлем, с ярко горящими глазами, Анаит была чудо как хороша, величественна и грозна.

Когда войско было уже в открытом поле за пределами города, Анаит объехала свою конницу, осмотрела порядок рядов, затем, возглавив войско, скомандовала: «Вперед!», прищипорила коня и вмиг скрылась из виду, оставив за собой шлейф густого облака пыли.

Только на широкой площади Перожа она осадила коня. Перожды приняли ее за богиню, сошедшую к ним с небес, и все повалились перед ней на колени.

— Где властитель вашего города? — грозно крикнула Анаит.

Один из коленопреклоненных поднялся и задавленно прохрипел:

— Я городской голова.

— Ты знаешь, что творится в храме твоих жрецов?

— Мне ничего не ведомо...

— Может, ты и не знаешь, где ваш храм находится?

— Знаю. Как не знать?..

— Тогда иди вперед, показывай дорогу.

Все последовали за Анаит.

Когда были уже у ограды капища, жрецы, решив, что это пришли на поклонение, поспешили раскрыть ворота. Но едва толпа хлынула в ворота, жрецы увидели грозное лицо вооруженного рыцаря, и их обуял страх.

Анаит быстро нашла дверь в преисподнюю и, обращаясь к городскому голове, приказала:

— Отвори эту дверь!

Пока несколько человек пытались взломать дверь, верховный жрец, видя грозящую опасность, вышел в торжественном облачении, надеясь посеять ужас в народе своим появлением и отогнать всех. Толпа со страхом расступилась перед ним, когда он появился весь в белом, в двурогой короне на голове и с посохом в руке.

Верховный жрец направился прямо к Анаит и грозным голосом проговорил:

— Что тебе надо? Что ты творишь?! Изыди!

Анаит, с трудом сдерживая гнев, сказала:

— Я повелеваю открыть эту дверь!

— Кто смеет повелевать здесь, кроме меня? Эта дверь ведет в наше святилище. Там покоятся наши предки, горит наш неугасимый жертвенник. Взгляните на дым, что поднимается к небу. Не гневите богов. Разойдитесь! Сгиньте! Как вы смеете своими нечестивыми стопами осквернять нашу священную обитель!

Неистовый рев верховного жреца ужаснул суеверную толпу, и все, опустив головы, молча отступились.

Однако несколько человек остались стоять на месте. Они закричали:

— Откройте, откройте дверь в подземелье!

Верховный жрец, видя, что не все ему подчинились, воздел руки к небу и воскликнул:

— О всемогущие боги, святой храм ваш оскверняют нечестивцы, придите на помощь!

При этом возгласе двери капища вдруг приоткрылись, и оттуда выбежали вооруженные люди с перекошенными лицами. Это были жрецы. Почувяв опасность, они приготовились к защите.

Разгневанная Анаит потеряла терпение. Обернувшись и увидев, что над городом нависла туча пыли, она поняла, что ее войско на подходе. Это придало ей решимости, и, обнажив меч, со щитом в другой руке, Анаит сказала:

— В последний раз я приказываю вам открыть двери этого ада и сложить оружие!

Жрецы приготовились к отпору.

Чуткий конь Анаит угадал намерение своей госпожи. Едва она слегка пришпорила его, он ринулся вперед, подмял верховного жреца и раскидал всех других.

С быстротой молнии Анаит снесла головы трем жрецам и тут же повернула коня. Жрецы окружили ее и поранили коня. Анаит защищалась, а конь тоже держался: он рвал зубами врагов и бил их копытами. Жрецы наседали. Жизнь Анаит была в опасности — вот-вот одолеют. Видя все это, люди из толпы кинулись на жрецов и тем отвлекли их внимание на себя.

Воспользовавшись моментом, Анаит вновь устремилась на противников и опять снесла несколько голов, а одного-другого подмяла конем.

Увидев, что Анаит помогают христиане, язычники решили, что причиной схватки стала борьба за веру, ринулись в поддержку жрецам, стали закидывать христиан камнями. Вот камнем сбило шлем с головы Анаит. Ее длинные густые волосы рассыпались по плечам. Горящие огнем глаза царицы метали молнии. Ее вид устрашил толпу. Все перестали кидать камни. Анаит воспользовалась замешательством толпы и снова налетела на жрецов, ранила еще нескольких. И тут подоспело ее войско.

Увидев свою царицу, насмерть схватившуюся со жрецами, все с громкими возгласами тоже ринулись в бой. Минуту спустя оставшиеся в живых жрецы бросились

бежать. Толпа отхлынула, и на площади осталась Анаит, окруженная своими людьми. Кто-то подал ей шлем. Анаит спешила, подобрала волосы и надела шлем.

Она приказала своим воинам окружить капище, в котором укрылись жрецы, затем, обращаясь к толпе, сказала:

— Подойдите ближе, чтобы всем было видно, что скрывается в святилище вашего верховного жреца.

И Анаит приказала взломать двери.

Ужасающая картина открылась народу. Из адского логова выходили люди, похожие на мертвецов, восставших из могил. Многие не стояли на ногах, так они были обессилены. Слезы радости, крики и стоны, которыми огласилось все окрест, надрывали сердца.

Последними вышли Вачаган и Вагинак с поникшими головами. Царица узнала Вачагана и подала знак своим людям, чтоб его проводили в специально раскинутый шатер.

Вачаган вел Вагинака за руку, как слепого,— помня предостережение царя, тот шел с закрытыми глазами.

Усадив всех освобожденных на площади, Анаит приказала воинам спуститься в подземелье, посмотреть, не остался ли там кто-нибудь.

Воины вынесли тела умерших, какие-то немыслимые орудия пыток.

Приверженцы жрецов содрогнулись, увидев все ужасные злодеяния своих идолов. Поднялся невообразимый крик:

— О небо! Это же ад! Не жрецы, а изуверы! Дьяволы! Смерть им! Передушить всех!..

Толпа ринулась к жрецам.

— Нет, нет! — воскликнула царица.— Не подходите, не трогайте их. Наказывать этих извергов — мое право. Но сначала надо позаботиться о несчастных страдальцах.

И она стала спрашивать каждого, кто он есть и откуда. Один назвался Арнаком, сыном Бабика. Городской голова громко повторил имя, и какой-то старик, весь дрожа, подошел и с рыданием в голосе спросил: «Где, где мой сын?» У другого тут оказалась мать, без чувств упавшая на грудь своего единственного сына, у третьего — сестра, у четвертого — брат... А тех, о ком позаботиться было некому, царица взяла под свое покровительство. В их числе были и люди, работавшие с Вачаганом.

Определив несчастных мучеников, царица пожелала сама все осмотреть.

С несколькими воинами она спустилась в подземелье и при свете факелов все осмотрела. Всюду были следы кровавых злодеяний жрецов.

— Этот подземный ад возводили долго,— сказала она городскому голове.— Тут полегло немало людей. И наверняка каждый из них, попав сюда, больше уже не видал света божьего.

— Милосердная царица, я виноват, что не ведал о здешних злодеяниях. Но чтобы раскрыть такое дело, надо было обладать твоей мудростью. Каждый год в городе бесследно исчезало до ста человек, но я всегда думал, что они попали в плен к горцам. А мерзких жрецов этих мы не только святыми почитали, но думали, что они и трудолюбивые, мастеровые люди, живущие заработком от своих ремесел, а уж никак не за счет народа и его крови. Кто мог подумать, что все те дорогие ткани, которые они каждый день выносили на продажу, ткали не они, кто мог заподозрить, что почитаемый наш верховный жрец — это сам дьявол в человеческом обличье, упивающийся кровью невинных жертв?..

Наконец Анаит и сопровождающие ее воины выбрались из подземелья и направились к храму. Ударив в дверь, они предложили жрецам выйти и сдаться, но ответа не было. Воины взломали дверь, вошли и удивились: внутри никого не было. Взглянув наверх, они увидели страшную картину: все жрецы во главе с верховным раскачивались под потолком.

Когда об этом доложили царице, она сказала:

— Смерть эта для них незаслуженно легкая, но теперь уж ничего не поделаешь. Пусть остаются висеть, а народ пусть войдет, подивится на своих идолов.

Толпа, как бурный поток, хлынула в храм и разорвала, истоптала все, чему еще вчера поклонялась. Поручила всю утварь, всех деревянных богов и божков. Потом взломали тайники, нашли там много золота, серебра, но ничего не тронули, снесли все сокровища на площадь и сложили перед царицей, а она повелела раздать их спасенным мученикам.

Когда в капище все уже было порушено, народ излил свой справедливый гнев на удавившихся жрецов. Их спустили вниз и выбросили за ограду на съедение зверям.

Царица тем временем удалилась в шатер, где ее с нетерпением ждал Вачаган. Они сели рядышком и не могли наглядеться друг на друга. Вагинак подошел к Анаит, поцеловал ей руку и заплакал от счастья, как ребенок.

— Ты не сегодня спасла нас, моя несравненная госпожа, а много раньше, когда я увидел тебя во сне, точно в таком одеянии.

— Ошибаешься, Вагинак,— сказал Вачаган,— царица спасла нас тогда, когда спросила у тебя, знает ли царевич какое-нибудь ремесло. Помнишь, ты еще тогда посмеялся над этим?

— Да, верно, что и говорить. Я прежде мало чему верил. Только теперь стал понимать многое из того, что слышал раньше.

— Дорогой Вагинак, мы еще обо всем наговоримся,— сказала царица, вдруг ощутившая, как сильно она устала.

— Ты измучилась, моя Анаит,— сказал Вачаган,— теперь отдыхай, об остальном я позабочусь сам.

Царица скрылась в другой половине шатра, за пологом, где женщины уже приготовили ей мягкое ложе. Здесь она сняла с себя доспехи и отправила их Вачагану, а сама прилегла, рассчитывая заснуть, но была так взволнована, что не могла отдохнуть. То ее переполняла радость, что нашелся Вачаган, то вдруг казалось, что она вновь в окружении разъяренных жрецов. Видения одно страшнее другого сменялись чередой, не давая царице покоя.

Вачаган знал, что Анаит так же добра, как и отважна. Знал, что, охваченная чувством справедливой мести, она способна беспощадно сражаться с врагом, но сердце ее при этом переполнялось страданием и болью. Вот почему он с радостью забрал ее оружие и доспехи, сам облачился в латы, приладил к поясу меч и, выйдя из шатра, предстал перед войском, которое уже с нетерпением ждало его.

Едва Вачаган появился и поприветствовал воинов, все вокруг огласилось криками радости. В это время к царю приблизился городской голова, пал перед ним на колени, поздравил с избавлением и сказал, что для войска неподалеку на лугу приготовлено угощение.

Царь объявил воинам, что их ждет обед и веселье, а сам вернулся в шатер к Анаит, где его уже тоже ждал уставленный яствами стол.

Тут были и женщины из свиты царицы, и Вагинак, успевший переодеться в богатые одежды.

Никогда еще Вагинаку не доводилось обедать в таком радостном настроении. Ему казалось, что он в раю: так веселились женщины, так светилось счастьем лицо Анаит.

После обеда протрубили сбор в обратный путь. Царь с царицей, окруженные свитой, выехали вперед, за ними последовало войско с громкой победной песней. Когда проезжали через Перож, все горожане от мала до велика в один голос кричали:

— Да здравствует царь и царица! Да сгинет зло и все его обители!

\* \* \*

Вернувшись домой царя и Вагинака первым встретил пес Занги. Он, как ошалелый, с визгом метался от Вачагана к Вагинаку и обратно.

На другой день из темницы вывели судить при всем народе того жреца, который принес парчу на продажу.

Уже были в сборе судьи, когда Вагинак вдруг попросил царицу отдать злодея ему на расправу.

— А как ты собираешься его наказать? — спросил царь.

— Мы сделаем это вместе с Занги. Только месть извергу избавит меня от воспоминаний о страшных муках. Те преступники отделались легко, но этому так не пройдет.

— Хватай его, хватай, Занги! Раздери зверя! — кричали со всех сторон.

И царь не отказал Вагинаку.

— Бери его, Занги! — вскричал Вагинак. — Разорви проклятого на куски!

Собака одним скачком бросилась на жреца, вцепилась клыками ему в горло и, в мгновение удавив злодея, с урчанием отошла прочь.

— Ах, Занги, Занги, какую легкую смерть ты ему подарила. Не бывало палача милосердней, — вздохнул Вагинак.

Рассказы о том, что довелось пережить царю Вачагану, разнеслись по городам и селам. Даже в дальних странах прослышали об этом. И всюду восхваляли Анаит и Вачагана.

Гусаны, слагая об этом песни, разносили их из села в село, из города в город. Жаль только, до нас песни не дошли. Но сделанное Анаит и Вачаганом живет и сейчас в сказке о том, как ремесло спасло царю жизнь. И народ, храня освященное временем предание, высоко ценит ремесло и трудолюбие, от которых главным образом зависит счастье.

С тех давних времен и повелось в народе, что каждый человек учился какому-нибудь ремеслу. Девушки рукодельничали. Землепашцы сами мастерили себе плуг, телегу, ковали латы и мечи на случай войны, изготовляли домашнюю утварь, строили жилища.

Так и шло: летом пахали да сеяли, а зимой каждый занимался своим ремеслом. И работали всем миром, сообща. Монахи и те тогда не сидели без дела. Изготавливали пергамент, писали книги, переплетали их, все себе сами делали и добывали — от хлеба до одежды.

«Ученье и мастерство должны быть сплетены между собой, как узоры на парче Вачагана с талисманами-письменами!» — говорили в те времена

Так и жилось народу при мудрой Анаит. Потому и славили ее.

«Анаит перекинула мосты через наши реки,— говорили люди,— наполнила моря нашими кораблями, оросила наши поля, одарила родниками наши города и села, построила дороги для наших телег, наделила нас землей и плугами. Всю нашу жизнь изменила, из ада раем ее сделала. Да будет вечной память о мудрой Анаит!»





**Ованес Туманян**

## **УМНЫЙ И ГЛУПЫЙ**



или-были два брата. Один умный, другой глупый. Умный только и знай заставляет младшего работать на себя. Так его загонял, что младший брат не выдержал и как-то говорит:

— Я больше не желаю с тобой жить, брат. Хочу отделиться. Отдавай мне мою долю, будем врозь жить.

— Хорошо,— отвечает умный.— Вот сегодня ты еще отведи скотину на водопой, после того как я корм ей задам, а когда с водопоя обратно приведешь, сколько голов в хлев войдет — то мое, сколько на дворе останется — все твое.

А время было зимнее.

Глупый брат согласился. Отвел скотину на водопой и обратно пригнал. День стоял холодный. Замерзшие животные едва до хлева добрались, все и ринулись в него. Во дворе остался только один хворый шелудивый бычок. Он стоял и чесал бока о бревно. Этот-то единственный бычок и достался глупому брату.

Набросил глупый веревку на шею злополучного бычка и повел его продавать.

Ведет и покрикивает:

— Эй, бычок! Иди, эй!..

Дорога шла мимо развалин какого-то древнего строения. Эхо в развалинах подхватило выкрики глупого и гулко повторило:

— Э-эй!..

Глупый остановился.

— Это со мной говоришь? Да?..

— Да!..— повторило эхо.

— Деньги есть?..

— Есть...

— Денег дашь — бычка продам.

— Дам...

— Идет за десятку?

— Десятку...

— Сейчас заплатишь или нет?

— Нет...

— Ладно, приду за деньгами завтра.

— Завтра...

Глупый обрадовался, что так быстро и выгодно продал бычка, привязал его у дверного проема за камень и, посвистывая, вернулся домой.

На другое утро чуть свет поднялся он и пошел получать деньги. А ночью тем временем волки съели бычка.

Приходит глупый, видит, у развалин только косточки разбросаны.

— Ну что,— говорит,— зарезал и съел?

— Съел...

— Жирный был или нет?

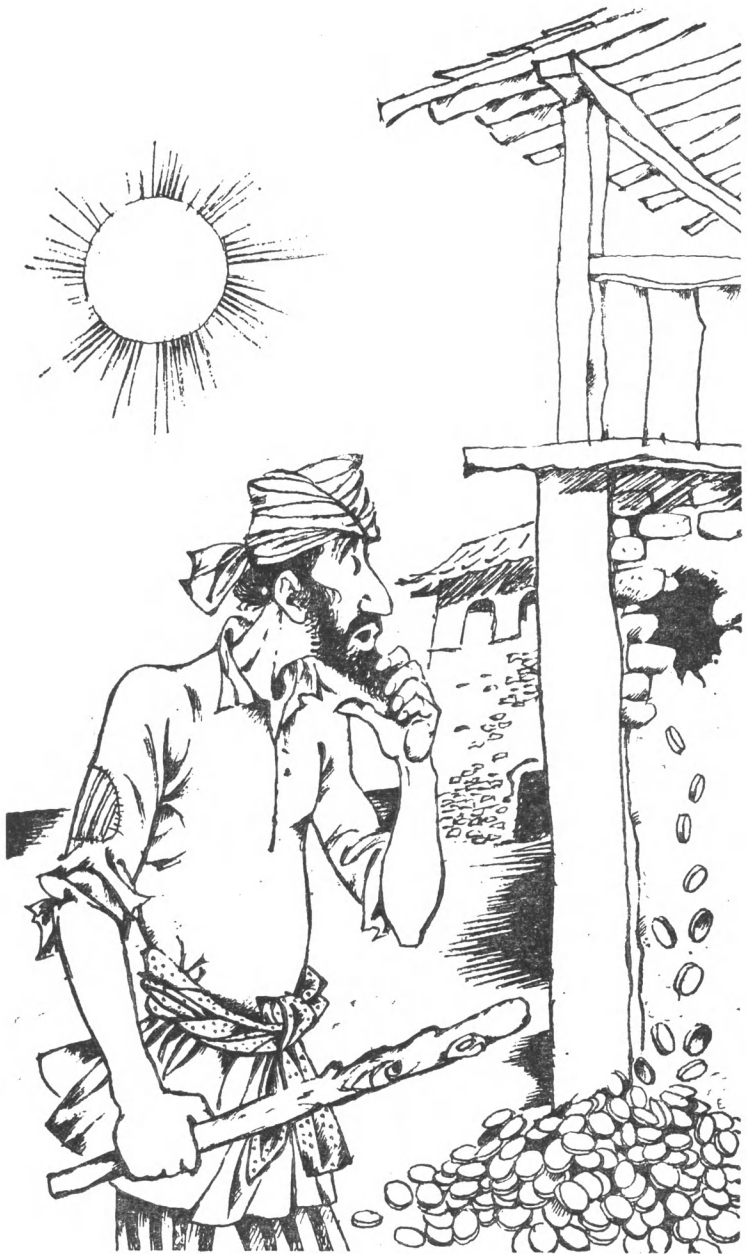
— Нет...

Глупый струхнул: а вдруг не захочет платить, раз бычок не по вкусу пришелся.

— Это уж не моя вина. Видел, что покупал. А мне плати, как условились — десять монет.

— Нет...

Услыхал глупый это «нет», рассердился ужасно, размахнулся палицей, что была у него в руках, и давай колотить по старым стенам. Бил, бил и выбил из шатких стен несколько камней. А под ними, оказывается, был спрятан клад. Золотые монеты и посыпались к ногам нашего горемыки,



— Вот так-то лучше... Да, но зачѣм же так много? Ты должен мне всего десять рублей. Отдай свой долг, а остальные деньги твои. Зачем они мне?

Взял глупый один золотой червонец и вернулся домой.

— Продал своего бычка? — смеясь, спросил старший брат.

— Продал.

— Кому же?

— Строение там, разваленное...

— И деньги получил?..

— Конечно, получил. Сначала было заартачилось. Пришлось пустить в ход мою палицу. Видно, здорово я пуганул: целая гора золота к ногам моим вывалилась. Но я взял свою десятку, а остальное так там и лежит — это ведь не мое.

И глупый показал брату золотой червонец.

— Где же это было?

— Э, не скажу. Ты алчный, столько на меня взвалишь, что спина от тяжести переломится.

Умный побожился, дескать, сам все понесет, только пусть место ему покажет.

— Давай,— говорит,— мне и тот золотой, что у тебя, и покажи, где все остальное лежит. Ты ведь совсем раздет, я куплю тебе обнову.

Глупый, как услышал про обнову, и золотой свой отдал, и повел брата, показал ему, где все остальное лежит. Умный собрал все золото, принес домой, разбогател, а новой одежды брату не купил.

Глупый не раз напоминал ему про обещание, но видит, дело не ладится, пошел к судье с жалобой.

— Господин судья,— говорит,— был у меня бычок, я продал его развалинам...

— Хватит, хватит! — оборвал его судья. А сам думает: откуда такой дурак взялся? Как это можно развалинам продать бычка?..

Посмеялся судья да и прогнал глупого. Пошел глупый дальше с жалобой, но к кому ни придет, все только смеются.

Говорят, и по сию пору горемыка-глупый ходит не одет, не обут, не сыт и не голоден. Ходит и жалуется каждому встречному. Но никто ему не верит, все только посмеиваются. И умный брат посмеивается со всеми.

## БРАТЕЦ-ТОПОР

Поехал как-то человек в поисках заработка в далекий край. Попал он в безвестное село. И видит, в этом селе люди руками дрова ломают.

— Братцы,— удивился он,— да что же это вы мучаетесь — руками дрова ломаете, разве нет у вас топора?

— А что это такое — топор? — спросили сельчане.

Вытащил человек свой топор из-за пояса, наколол дров, сложил их в сторонке.

Увидали такое сельчане, кинулись по деревне с криками, оповещают всех окрест:

— Э-эй, посмотрите, что братец-топор наделал!

Собрались все вокруг владельца топора, стали просить-молить отдать им топор. Много добра ему насобирали и взяли себе топор.

Получили они топор и решили каждый по очереди колоть дрова.

В первый день топор унес староста. Как уж он топором орудовал — неведомо, но только хватил себя по ноге. Завопил староста во весь голос и побежал по селу.

— Э-эй, люди, идите сюда, братец-топор сбесился, по ноге меня ударил!

Сельчане сбежались, схватили каждый по полену и давай дубасить по топору.

Били, били, видят, ничего с ним не делается. Закидали топор поленьями и подожгли.

Пламя распалилось, охватило всю грудку дров. А когда все прогорело, люди подошли, разворошили угли и видят: топор красный, как огонь.

Все заголосили пуще прежнего:

— Вай, вай, люди! Братец-топор разгневался, видите, как он побагровел! Не миновать нам беды из-за него. Что теперь делать?

Подумали, подумали и решили убрать топор с глаз долой.

Снесли его к старосте на сеновал и зарыли поглубже. Едва управились, а над сеновалом уже пламя в небо взвилось.

Охваченные ужасом сельчане кинулись догонять хозяина топора.

— Вернись! — кричат ему.— Братец-топор совсем сбесился. Вразуми его.

## ЛЖЕЦ

Было ли, не было — жил на свете царь. Объявил этот царь по всей своей стране:

— Кто сумеет так мне соврать, что я скажу: да, это ложь, — тому отдам полцарства.

Приходит один пастух и говорит:

— Долгие лета тебе, царь! У моего отца была такая дубинка, что он, бывало, поднимет ее и до самого неба достает — все звезды в нем перемешает.

— Всякое случается, — отвечает царь. — У моего деда была такая трубка — одной рукой в зубах ее держит, а другою от солнышка прикуривает.

Пастух почесал в затылке и ушел.

Приходит портной:

— Прости меня, царь, — говорит он, — я еще вчера должен был прийти, да задержался. Дождь вчера лил, гроза гремела, небо молниями разорвало, пришлось мне отправиться его зашивать.

— Очень хорошо ты поступил, — отвечал царь, — только не крепко зашил, утром опять дождило.

И этот ушел ни с чем.

Является крестьянин-бедняк. Под мышкой у него большая мера.

— Эй, человек, чего тебе надо? — спрашивает царь.

— Ты должен мне меру золота, вот я за ним и пришел.

— Мера золота?! — удивился царь. — Лжешь ты, не должен я тебе золота.

— Ну, а коли я лгу, отдавай мне обещанные полцарства.

— Нет, нёт, — спохватился царь, — ты правду говоришь.

— Что ж, если правду сказал, насыпай меру золота.

## ГОВОРЯЩАЯ РЫБКА

### 1

Было ли, не было — жил на свете бедняк. Нанялся этот бедняк к рыбаку в работники. В оплату за труд хозяин давал ему каждый день по нескольку рыбин. Приносил бедняк их домой, тем они с женой и кормились.

Поймал как-то рыбак пеструю красивую рыбку, отдал ее работнику и велел беречь как зеницу ока, а сам опять полез в воду.

Сидит работник на берегу, смотрит на рыбку и думает: «О господи, неужели и эта рыбка, которая, как и мы, живет и дышит, тоже имеет родителей, друзей, тоже что-то понимает, радуется, испытывает боль?..»

Едва работник все это подумал, как рыбка вдруг заговорила:

— Послушай,— говорит она,— братец-человек. Мы с друзьями резвились в волнах реки, мне было очень весело, я забылась и вот угодила в сеть рыбака. А родители мои теперь, наверно, ищут меня, плачут. И друзья тоже печалются. Да и сама я, видишь, как страдаю: задыхаюсь уже совсем без воды. Мне хочется вернуться к друзьям, снова жить и играть с ними в студеной прозрачной воде. Уж так мне этого хочется, так хочется!.. Пожалей меня,пусти! Дай уплыть...

Она говорила тихо, очень тихо, с трудом шевеля пересохшим ртом.

Работнику стало жаль рыбку. Он взял да и выпустил ее в реку.

— Плыви, красивая рыбка. Пусть больше не плачут твои родители. Пусть не печалются друзья. Возвращайся к ним, живи и играй себе на радость.

Рыбак вернулся, узнал, что рыбка уплыла, и ужасно рассердился.

— Ну и безрукий же ты! — раскричался он на работника.— Я ловлю рыбу, а ты мою добычу выпускаешь обратно в реку. Убирайся с глаз. С этого дня ты мне больше не работник. Пропадай теперь с голоду!

— Куда же мне теперь идти, что делать, как жить?..— сокрушался бедняк, направляясь домой.

## 2

Идет он печальный своей дорогой, вдруг видит, откуда ни возьмись, человекоподобное Чудище. Идет Чудище и погоняет перед собой пеструю красивую корову.

— Добрый день, братец! Отчего ты такой грустный, что тебя заботит? — спросило Чудище.

Бедняк рассказал обо всем, что с ним приключилось, о том, что опять остался без дела, без заработка и не знает, чем теперь им с женой жить и кормиться.

— Послушай, дружище. Забирай-ка ты себе эту молочную корову на три года. Она станет давать вам каждый день столько молока, что и ты и твоя жена будете сыты. А ровно через три года, в полночь, я приду и задам вам один вопрос. Если вы ответите на него, корову оставите себе, а не ответите — обоих вас с женой заберу и сделаю с вами что захочу. Согласны?

«Что уж тут раздумывать, все одно с голоду помирать,— прикинул про себя бедняк.— Возьму-ка я корову, три года проживем, а там, бог милостив, может, нам и удастся ответить на вопрос, кто знает...»

— Согласен,— сказал он и погнал корову к себе домой.

### 3

Три года доили они корову. Досыта ели-пили и не заметили, как пролетело время. Но вот пришел тот день, когда к ночи должно было явиться Чудище.

С наступлением сумерек муж с женой уселись у порога своего дома и стали думать, о чем Чудище будет спрашивать и как ему отвечать.

— Вот ведь как получается. С Чудищем шутки плохи... Добра от него не жди!—сокрушались муж и жена.

Однако что было — то миновало, и ничего уже не изменишь. А злополучная ночь надвигалась.

Нежданно к ним вдруг подошел пригожий юноша.

— Добрый вечер! — поприветствовал он.— Я странник. Уже темно, и усталость меня одолела, не приютите ли на ночь?

— Как же не приютить, братец. Только у нас этой ночью не безопасно... Мы взяли у Чудища корову с условием доить ее три года и тем кормиться. А через три года оно грозило вернуться и задать нам один вопрос. И если мы ответим ему — корова останется нам, а не ответим — Чудище и корову заберет, и нас возьмет пленниками. Срок миновал. Этой ночью Чудище должно явиться. Мы не знаем, что оно будет спрашивать и что ему отвечать. Куда теперь денешься, поделом нам. А тебе бы не пострадать ни за что...

— Ничего, как вы, так и я,— сказал пришелец.

И гость остался ночевать.

В полночь раздался стук в дверь.

— Кто там?

— Я это, Чудище. Пришло время, отвечайте на мой вопрос.



Где уж тут отвечать. У мужа с женой от страха языки отнялись. Они окаменели на месте.

— Не бойтесь, я буду вместо вас отвечать,— предложил юноша-гость и приблизился к двери.

— Я пришло,— сказала Чудище из-за двери.

— И я пришел,— ответил изнутри гость.

— Откуда ты пришел?

— С того берега моря.

— На чем приехал?

— Оседлал хромого комара, вскочил на него и примчался.

— Выходит, море было маленькое?

— Вовсе нет. И орлу не перелететь с берега на берег.

— Это если орел — не орел, а птенец.

— Какой там птенец! Тень от его крыльев укроет целый город.

— Это если город очень маленький.

— Да какой же маленький! Зайцу не одолеть его из конца в конец.

— Это если заяц — не заяц, а зайчонок.

— Какой там зайчонок! Из его шкуры можно выкроить и шубу и шапку мужчине.

— Ну если мужчина — не мужчина, а крошечный карлик.

— Какой уж там карлик! Сядь ему петух на колени и закукарекай — не услышит, так он высок.

— Это если глухой.

— Какой там глухой! Он слышит, как олень траву в горах щиплет.

«Видно, там, за этой дверью, поселилась какая-то великая сила, и она непобедима»,— подумало Чудище и, не зная, что еще сказать, тихо отступило и исчезло в ночной темноте.

Хозяева будто вновь родились, от радости не знали, что и делать. А тут заря занялась, гость собрался в дорогу и стал прощаться.

— Нет, нет, мы тебя не отпустим,— преградили ему путь и муж и жена.— Ты спас нам жизнь, скажи, чем мы можем отплатить тебе за добро?

— Ничего я такого не сделал. Спасибо вам за приют. И прощайте, мне надо спешить.

— Ну хоть имя свое назови, будем помнить его и благословлять, чтоб добро не исчезло и не забылось.

— Добро, коли сделаешь его, хоть в воду кинь — не исчезнет. А я — та самая говорящая рыбка, которую ты пожалел.

И гость словно растворился на глазах у изумленных мужа и жены.

## НЕПОБЕДИМЫЙ ПЕТУХ

Было ли, не было — жил на свете петух. Однажды он, как обычно, ковырялся в земле и вдруг нашел золотой.

Взлетел петух на крышу и закричал:

— Ку-ка-ре-ку, я деньги нашел!..

Услыхал это царь и приказал своим придворным-назирам-визирам пойти и отнять у петуха деньги.

Пошли они, отняли и принесли золотой царю.

— Ку-ка-ре-ку, царь мною жив!.. — весело заголосил петух.

Царь вернул золотой назир-визирам и велел отдать его петуху.

Назир-визири пошли и отдали.

Петух опять взлетел на крышу и закричал:

— Ку-ка-ре-ку, царь меня испугался!..

Царь разгневался и говорит своим назир-визирам:

— Подите изловите этого негодника, отсеките голову, сварите его, подайте, я съем, и делу конец.

Назир-визири пошли, поймали петуха, чтоб царю отнести... Несут они его, а петух кричит:

— Ку-ка-ре-ку, царь меня в гости позвал!..

Принесли назир-визири петуха, зарезали, положили в котел варить, а петух снова голосит:

— Ку-ка-ре-ку, царь мне горячую баньку устроил!..

Сварили его, принесли, подали царю, а петух опять кричит:

— С царем в застолье восседаю, ку-ка-ре-ку!..

Царь скорей, скорей заглотнул петуха, а петух в глотке кричит:

— Узкой-преузкой улочкой прохожу, ку-ка-ре-ку!

Царь вконец растерялся: уж и проглотил его, а все не унимается. И приказал царь назир-визирам обнажить сабли и стоять наготове.

— Если петух еще раз закричит — рубите его! — сказал он.

Назир-визири обнажили сабли и стали один по правую, другой по левую сторону от царя.

Петух, едва оказался в царевом желудке, тут же и закричал:

— Жил на белом свете и вдруг угодил во тьму.  
Ку-ка-ре-ку!

— Рубите! — скомандовал царь.

Назир-визири ринулись с саблями и вспороли царю живот.

Петух выскочил, взлетел на крышу и залился:

— Ку-ка-ре-ку!.. Ку-ка-ре-ку!

## ХРАБРЫЙ НАЗАР

### 1

Жил да был бедняк по имени Назар. И был он, этот Назар, ни к чему не способный и очень ленивый человек, да еще трус. Такой трус, что один из дому шагу не сделает, хоть убей его.

С утра до вечера он все за женой ходил: она из дому — и он за ней, она в дом — и он опять за ней. Поэтому и прозвали его трусливым Назаром.

Как-то ночью вышел трусливый Назар с женой на порог. Вышел и видит, ночь ясная-преясная, лунная. И говорит он:

— Эй, жена, какая ночь, а? Самое время караваны грабить... Сердце мое шепчет: поднимайся, иди грабь шахский караван, что следует из Индостана, добудешь полон дом добра.

А жена ему в ответ:

— Сиди лучше да помалкивай! Тебе только этого не доставало — грабитель караванов!..

А Назар ей:

— Ах негодница, ты почему не отпускаешь меня ограбить караван и дом добром заполнить? Какой же я после этого мужчина и зачем тогда ношу папаху, коли ты смеешь так со мной разговаривать?!

Назар все ругался, а жене надоело его слушать, вошла она в дом и закрыла дверь.

— Пропади ты пропадом, трусливая голова, иди теперь, грабь караван!

И остался Назар за порогом. От страха у него внутри все задрожало. И как он ни просил, как ни молил, чтобы жена открыла дверь, она и слышать не хотела — не открывает, и все тут.

Делать нечего, притулился Назар к стенке и так, дрожа от страха, провел всю ночь до рассвета.

С первыми лучами солнца обиженный Назар стал ждать, что жена сама придет звать его домой.

День летний, жаркий, злые мухи покоя не дают, а Назар до того ленив, что и нос утереть ленится.

Облепили мухи ему все лицо. Когда совсем стало немоготу, потянулся он рукой — и хлоп себя по лицу. Как хлопнул, мухи замертво и посыпались перед ним.

— Вах, что же это?..— удивился Назар.

Попробовал он посчитать, сколько мух убил. Считал, считал и решил, что не меньше тысячи будет.

— Вах,— сказал он себе,— до сих пор и не знал, что такой я отважный... Видано ли, одним махом тысячу мух прибил! Чего же я, глупец, сижу при этой женщине...

Поднялся Назар и зашагал напрямик к сельскому попу.

— Благослови, святой отец!..

— Бог благословит, сын мой.

— А знаешь, батюшка, я-то ведь?..

И он рассказал о своих подвигах, а в довершение объявил, что уходит от жены, только надо, чтобы батюшка записал все совершенное и сказанное Назаром, чтоб не сгинуть ему в неизвестности, чтоб люди читали и знали, каков он.

Поп шутки ради взял тряпицу и написал на ней:

Непобедимый наш Храбрый Назар,  
Тысячу уложил за один удар!

И отдал это Назару.

Назар приладил тряпицу на конец длинной палки, привязал к поясу обломок ржавой сабли, забрался на соседского осла и выехал из села.

## 2

Выехал он из села и пустился в путь по дороге. А куда эта дорога ведет, Назар не знал.

Ехал он, ехал, оглянулся — видит, село уже далеко. И тут страшно ему стало. Чтоб подбодрить себя, начал Назар напевать под нос, разговаривать сам с собой,

прикрикивать на осла. Чем дальше он отъезжал, тем больше одолевал его страх, а чем страшнее ему было, тем громче он пел, потом совсем уже начал горланить, а вслед за ним и осел заревел.

От эдакого крика и рева все птицы с деревьев поразлетались, зайцы из кустов поразбежались, лягушки попрыгали в воду.

А Назар горланит все громче и громче. Когда же он в лес вошел, ему почудилось, что за каждым деревом, за каждым кустом, из-за каждого камня грозит нападением какой-нибудь страшный зверь или разбойник. И тут уж Назар так испугался, так заорал, не приведи бог никому услышать.

И поди же, в то самое время шел по лесу крестьянин и мирно вел за собою коня. Услыхал крестьянин этот ужасающий крик и остановился.

— Вай,— говорит,— неужто конец мне пришел? Ведь это, похоже, разбойники!..

Бросил он коня, сошел с дороги и лесочком, лесочком — две ноги свои и две взаймы у страха взял — пустился бегом удирать.

На зависть ты везуч, Храбрый Назар!

Горланя изо всей мочи, едет Назар и вдруг видит, стоит посреди дороги оседланный конь, словно его дожидается. Слез Назар с осла, взобрался на оседланного коня и дальше в путь.

### 8

Долго ли ехал, мало ли — о том только сам Назар знает,— но вот приехал в село. Он селу не знаком, и село ему — тоже. Куда ехать, куда не ехать?.. Из-за одной двери вдруг голоса послышались. Направил Назар коня на эти голоса и угодил прямо на свадьбу.

— Добрый вам день!..

— Тысячекрат пусть будет добрым! Милости просим! Пожалуйте!..

Пожалуйте, так пожалуйста. Гость, говорят, от бога.

Провели Назара, усадили вместе с его флагом на почетное место во главе застолья.

Вам бы все то увидеть, что перед ним разложили — и кушаний и напитков.

Гостям свадьбы интересно узнать, кто он, этот необычный незнакомец. Один из стариков, что поодаль сидел, подтолкнул соседа, спросил, а тот толкнул

и спросил другого, так все подряд толкали и спрашивали друг друга, пока очередь не дошла до сидевшего чуть ли не во главе стола сельского батюшки.

Батюшка с грехом пополам разобрал надпись на знамени гостя:

Непобедим наш Храбрый Назар,  
Тысячу уложил за один удар!

Прочитал и в ужасе пересказал соседу, а тот другому, потом третьему, четвертому — и так до самой двери дошло, и уже все гости на свадьбе только о том и говорили, что новый гость — не кто иной, как:

...Наш Храбрый Назар,  
Тысячу уложил за один удар!

— Храбрый Назар? Ну конечно же!..— воскликнул один из гостей.— Как он изменился, я не сразу узнал его...

И нашлись люди, которые стали рассказывать о геройских подвигах Храброго Назара, о том, как они проводили с ним время.

— Но как же это при таком человеке нет никаких слуг?! — с недоумением спрашивали иные.

— Так уж он привык, не любит путешествовать со слугами. Как-то спросили его об этом, а он говорит, зачем мне слуги, когда весь мир у меня в услуженье.

— Да, но почему у него нет хорошей сабли, какой-то ржавый обломок железа болтается на поясе?..

— В том-то и хитрость, чтобы вот эдакой ржавой железякой раз ударить и сразу тысячу уложить, а с хорошей-то саблей всякий не оплошает.

И изумленные гости поднялись, стоя выпили за здоровье Храброго Назара. А тот, кто считался самым мудрым из собравшихся, произнес речь.

— Мы,— сказал он,— давно слыхали о твоей отваге, Храбрый Назар, и сегодня рады, что ты среди нас.

Назар только вздохнул и махнул рукой.

Люди переглянулись, по-своему поняв этот вздох.

И ашуг, бывший на свадьбе, тут же сложил песню и спел ее:

Добро пожаловать, тысячекратно добро!  
Отважный орел наших гор!  
Слава и гордость нашей страны,  
Непобедимый наш Храбрый Назар,  
Тот, что тысячу уложил за один удар.

Бедным и слабым опора —  
Освободишь всех от бед.  
Спасешь нас от несправедливых  
Нелобедимый наш Храбрый Назар,  
Тот, что тысячу уложил за один удар.

Встанем под знамя твое,  
Веди нас, мы верой и правдой  
Будем служить тебе,  
Непобедимый наш Храбрый Назар,  
Тот, что тысячу уложил за один удар.

И захмелевшие гости разошлись, разнося во все концы, что, мол, ждите, едет

Непобедимый наш Храбрый Назар,  
Тысячу уложил за один удар!

Всюду рассказывали о необыкновенных геройских подвигах Храброго Назара, описывали его грозный вид. И всюду стали нарекать новорожденных младенцев именем Назара.

#### 4

Покинув свадебное пиршество, Назар тронулся в дальнейшую дорогу.

Ехал он, ехал и выехал на зеленую поляну. Расседлал коня, пустил его на травку, а сам воткнул палку со знаменем в землю, прилег рядышком да и заснул.

И не знал, не ведал Храбрый Назар, что попал он во владения семи братьев-великанов, семи разбойничьих атаманов. А крепость этих братьев была на горе. Они сверху сразу увидели, что какой-то незнакомец расположился у них на поляне, и очень удивились, подумали: какой же, должно быть, это храбрец и о скольких он головах, коли без спроса явился сюда, в их владения, пустил коня пастись и сам как ни в чем не бывало разлегся!

У каждого из братьев было по пудовой палице. Взяли они эти свои пудовые палицы и пошли. Приходят — и что же видят? Пасется конь, неподалеку лежит и спит человек, а над головой у него развевается знамя, и на нем написано:

Непобедимый наш Храбрый Назар,  
Тысячу уложил за один удар!

— Вай, сам Храбрый Назар!..

Великаны так и остолбенели. Оказывается, молва, которую разнесли захмелевшие гости свадебного пирше-

ства, дошла и до них. И вот стоят братья-разбойники в испуге и ждут, когда Назар проснется.

Назар проснулся, протер глаза и видит — над ним стоят семь страшных великанов с пудовыми палицами в руках. У бедняги с перепугу душа ушла в пятки. Сжался он в комок у своего знамени и дрожит, словно осенний лист. А великаны увидали, как он в лице изменился да задрожал, решили, что Храбрый Назар сердится и вот-вот одним махом прибьет их, всех семерых.

Повалились они ему в ноги и взмолились:

— Непобедимый Храбрый Назар, имя твое мы слышали и очень хотели увидеть тебя. Счастливы, что ты посетил наши владения. Мы, семь братьев, все — твои верные слуги, а там на горе наша крепость, и в ней наша красавица сестра. Просим тебя, окажи нам честь, раздели с нами хлеб-соль.

Назар только на этих словах наконец перевел дух, успокоился, влез на коня, а братья-великаны подняли его знамя и, идя впереди него, торжественно проводили Храброго Назара в свою крепость. Там они оказали ему царские почести. И столько рассказывали о его подвигах, так хвалили за храбрость и отвагу, что их красавица сестра влюбилась в Назара.

Нечего и говорить, что почет и уважение к Назару возросли еще больше.

## 8

А тем временем в этих местах объявился тигр и нагнал на всех ужас.

Кому другому, как не Храброму Назару, избавить народ от эдакого бедствия и у кого еще найдется отваги схватиться с тигром?

Люди с надеждой взирали на Назара — на небе бог, на земле он, Храбрый Назар.

А Назар, услышав про тигра, ринулся было бежать, убраться подальше от греха, назад к себе домой. Но люди вокруг решили, что это он спешит скорее убить тигра. Невеста остановила Храброго Назара. Куда же, говорит, ты так, без оружия? Надо вооружиться.

И принесли ему оружие, чтобы Храбрый Назар схватился с грозным тигром и прибавил к своей славе еще один подвиг.

Взял Назар оружие и отправился в путь. Пришел он в лес, забрался на дерево и спрятался в кустах, чтобы ему тигра не видеть и тигр бы его не увидал.



Съежился Назар на ветке — сам не свой, а душа стала с просяное зернышко.

И как назло, проклятый тигр притащился и разлегся именно под этим деревом.

Увидел Назар тигра — кровь в жилах заледенела, в глазах стало черно, руки-ноги онемели и — бух! — свалился он с ветки прямо на зверя.

Тигр в ужасе вскинулся и помчался куда глаза глядят. А Назар, вконец обезумев, вцепился ему в спину.

Так они и неслись: очумелый тигр и вцепившийся в него обезумевший от страха Назар. Неслись, не разбирая куда, через горы и долины, через скалы и кручи.

А люди смотрели и дивились:

— Э-эй, глядите-ка, Назар оседлал тигра, как коня!.. Ай да храбрец! Давайте за ним!..

И, осмелев, отовсюду кинулись люди с криками, с гиканьем — кто с кинжалом, кто с мечом, кто с ружьем, а кто с камнем и с палками — и прибили тигра.

Назар пришел в себя и развязал язык.

— Жалко,— говорит.— Зачем тигра убили? Я с таким трудом его укротил. Только бы и покататься на нем...

Весть донеслась до крепости. Мужчины и женщины, старый и малый — все высыпали встречать Назара. И все пели песню, которую про него сложили:

В этом мире,  
Среди людей,  
Кто сравнится с тобой,  
О Храбрый Назар?

Как коршун,  
Как молния и огонь.  
С высокой крепости  
Слетел и тигра настиг,  
О Храбрый Назар!

Настиг и сделал своим конем,  
Взнуздal его и помчался  
С горы и на гору,  
О Храбрый Назар!

Избавил ты нас  
От лихой беды,  
Хвала и слава тебе в веках,  
О Храбрый Назар!

И поженили Храброго Назара с красавицей сестрой семи великанов.

Семь дней и ночей справляли свадьбу и песней славили молодоженов.

— Новый месяц над горой взошел,  
На кого похож?

— Новый месяц над горой взошел,  
Это — Храбрый наш Назар.

— Выходит ясное светило,  
Это его нежная Яр.  
Красив наш царь  
И солнцелика его суженая.

Его корона ой красна!  
Его наряд ой красен!  
Храброму Назару слава!  
Его нежной Яр слава!  
Всему свету мир и слава!

6

А надо сказать, что еще раньше к сестре великанов сватался царь соседней страны. И когда он узнал, что великаны ему отказали, а выдали сестру за другого, поднял этот царь свое войско и пошел войной на братьев.

Семь великанов кинулись к Храброму Назару, поведали о том, какая их ждет беда, поклонились ему в ноги и стали ждать приказаний.

Едва услышав про войну, Назар содрогнулся от страха и опять решил бросить все и бежать к себе в село. А люди вокруг подумали, что он собрался тотчас выступить навстречу вражьему войску. Преградили они Назару дорогу, стали уговаривать: дескать, куда же он один, без оружия, без снаряжения. Или головы ему своей не жаль?..

Принесли оружие, приготовили снаряжение. И жена Назара заклиняет своих братьев, чтобы не оставляли Назара одного в сражении с врагом.

А тем временем во всех концах — и в народе, и в воинстве, а через лазутчиков и во вражьем стане — разнесся слух, что, мол, Храбрый Назар, в одиночку, без всякого оружия, уже было ринулся на врага и что его насилу остановили и теперь он идет с большим войском.

Привели на поле боя лихого скакуна, уважительно подсадили Назара в седло, и, приободренные, подстроившись к нему, все ринулись вперед с криками:

— Слава Храброму Назару! Смерть врагу!..

А конь под Назаром, почувяв неумелого седока, заржал, закусил удила и помчался напрямик на врага. Войско, решив, что Храбрый Назар бросился в атаку, тоже ринулось с криками «ура!» за ним.

Назар видит, что ему не сладить с конем, что, того и гляди, конь его сбросит, на ходу схватился за дерево, хотел повиснуть на нем, а дерево, как назло, оказалось гнилым, ветка толщиной с хорошее бревно надломилось и осталась в руках у Назара.

Вражьи войска, уже наслышанные о подвигах Храброго Назара, без того были в страхе.

А как увидали его своими глазами, совсем растерялись. И такое тут поднялось.

Стали все кричать наперебой:

— Спасайся кто может! Храбрый Назар несется на нас, на скаку вырывая деревья с корнями.

В тот день врагов было перебито видимо-невидимо. А те, кто жив остался, сложили оружие к ногам Храброго Назара и поклялись отныне служить ему верой и правдой.

И Храбрый Назар с победой возвратился с поля битвы в крепость братьев-великанов.

Народ встречал его с несказанной радостью, с песнями и музыкой. Девушки осыпали его цветами.

Говорили речи. Все славил, возносили Храброго Назара. Да так, что он совсем растерялся.

С такими-то почестями и хвалой нарекли Храброго Назара царем и возвели его на трон.

И стал Храбрый Назар царем, а каждого из братьев-великанов наделил чинами. И не успел оглянуться, а мир у него в кулаке!

Говорят, и по сей день живет и царствует Храбрый Назар. И когда при нем заходит разговор о храбрости, об уме и великих способностях, он посмеивается:

— Какая там храбрость, какой ум, какие еще способности?! Пустое все это. Дело в везении. Везуч человек — и пируй себе!..

И говорят, по сей день Храбрый Назар пирует себе и посмеивается над миром.



### *Аветик Исаакян*

## САМАЯ НУЖНАЯ ВЕЩЬ



ил-был некогда в одной из чудесных стран Востока справедливый и мудрый царь. И было у него три сына.

Случилось так, что царь этот состарился и пожелал он еще при жизни передать бразды правления тому из своих сыновей, кто окажется более способным к этому нелегкому делу.

Призвал царь сыновей и говорит:

— Дорогие мои сыновья! Вы видите, что отец ваш уже стар и не может больше править страной. Я уж давно бы отрекся от трона, если б увидел воплощенной в жизнь мою давнюю мечту, которая никогда не дает мне покоя. Вот я и надумал: кому из вас по силам исполнить мою мечту, тот и унаследует корону, станет править моим народом.

— Пусть здравствует наш любимый отец, воля его священна для нас! Что же это за мечта, исполнить которую не смог наш мудрый родитель?

— Видите вон то огромное и вместительное хранилище, построенное мною уже давно? Я мечтал заполнить его чем-нибудь таким, что было бы самым нужным на этом свете, чем я сумел бы осчастливить весь свой на-

род. Хранилище это пока пусто. И вот теперь тот из вас, кто сумеет заполнить его до отказа — все углы из конца в конец — этой самой нужной в мире вещью, пусть и удостоится трона. Возьмите из моих сокровищ сколько пожелаете и отправляйтесь каждый сам по себе, из города в город, из страны в страну, отыщите ту самую нужную вещь и заполните мое хранилище. Даю вам срок три раза по сорок дней.

Сыновья поцеловали руку отцу и пустились в путь.

Три раза по сорок дней ходили и ездили они из города в город, из страны в страну, навидались людей диких, рассмотрели обычаев неведомых и в назначенный день явились — предстали перед отцом.

— Добро пожаловать, бесценные мои сыновья. Ну и как, удалось вам найти и доставить ту самую нужную в мире вещь?

— Да, нашли, дорогой наш отец! — отвечали царю сыновья.

И отец тотчас повел сыновей к двери хранилища. А там уже собрались все придворные и народу видимо-невидимо.

Царь отворил двери и подозвал старшего сына.

— Чем ты заполнишь это огромное хранилище, дорогой мой сынок, какой такой самой нужной в мире вещью?

И старший сын вынул из кармана горсть зерна и, протягивая отцу, сказал:

— Хлебом заполню я это огромное хранилище, дорогой отец! Что в мире нужнее, чем хлеб? Кто сможет прожить без хлеба? Много я постранствовал, много навидался, ничего не нашел я нужнее хлеба!

И тогда отец подозвал среднего сына.

— Чем ты заполнишь это огромное хранилище, дорогой мой сынок, какой такой самой нужной в мире вещью?

И средний сын вынул из кармана горсть земли и, протягивая отцу, сказал:

— Землею заполню я это огромное хранилище, дорогой отец! Что в целом мире нужнее, чем земля? Без земли нет и хлеба! Кто может прожить без земли? Много я постранствовал, много навидался, ничего не нашел нужнее, чем земля.

Тогда отец подозвал младшего сына.

— Чем ты заполнишь это огромное хранилище, дорогой мой сынок, какой такой самой нужною в мире вещью?

При этих словах младший сын решительным шагом подошел к хранилищу, переступил его порог, вынул из кармана маленькую свечку и огниво, высек о кремень искру, запалил трут, а потом и свечу.

Все решили, что он хочет при свете свечи получше рассмотреть хранилище, увидеть, сколь оно необъятно.

— Ну, говори, сын, чем заполнишь? — с нетерпением в голосе спросил отец.

— Светом заполню я это огромное хранилище, мудрый отец, только светом! Много я постранствовал, много навидался, ничего не нашел нужнее, чем свет. Свет — самое нужное в мире. Без света земля не уродит хлеба. Без света на земле не было бы жизни. Много я постранствовал, повидал множество стран и понял, что свет знаний — самая нужная вещь. Только светом знания можно управлять миром!

— Многие лета тебе, мой сын! — воскликнул обрадованный отец. — Ты по праву заслуживаешь и трона и скипетра, потому как хочешь самого прекрасного, хочешь наполнить светом и знанием свое царство и души людей.

— Да здравствует наш молодой светоносный царь! — возгласили воодушевленные придворные и весь народ.

## УМНИКИ ГОРОДА НУКИМА

Был некогда город по названию Нуким. Название осталось, только где он был, этот город, неведомо и по сию пору.

В городе Нукиме было очень холодно — две зимы, одно лето.

Вот как-то народ с шумом-гвалтом собрался у домов почтенных горожан.

— В этом городе невоготу больше жить. Заморозились мы, братцы, вконец заморозились! Собирайтесь, идите посланцами к царю. Идите и скажите ему, если не сделает так, чтобы было у нас два лета и одна зима, — не жильцы мы больше в этом городе.

Собрали они совет и решили идти к царю с просьбой. А чтобы расположить его к себе, взяли мешочек с золо-

том в подарок от народа. Изготовили специально длинное-длинное копьё и навесили мешочек на конец этого копьё. «Где ты, царь? Идем к тебе!» — сказали почтенные горожане и пустились в путь.

Проходят селом, видят: у одного из лавочников продается нечто красное, похожее на языки пламени. Очень это завлекло посланцев города Нукима.

— Что ты такое продаешь, брат? — спрашивают они.

— Перец,— отвечает лавочник.

В первый раз видят перец, в первый раз слышат это название.

— И съедобная штука? — спрашивают у него.

— Съедобная, а как же,— отвечает лавочник.

— Коли так, взвесь нам.

Старший из посланцев надкусил один перец — рот огнем обожгло, из глаз полились слезы. Передал другому, и тот куснул, передал следующему.

Так все до последнего отведали.

С горящими губами, слезящимися глазами, на чем свет стоит понося лавочника, они продолжали свой путь.

Проходя другим селом, видят: и тут у лавочника на подносах лежит что-то неведомое.

— Что это ты продаешь, брат?

— Виноград.

В первый раз видят виноград, в первый раз слышат это название.

— И съедобная штука?

— Еще какая! — отвечает лавочник.

— Ну, так взвесь нам.

Уплатили. Взяли, поели, приятный вкус так и остался во рту.

Облизывая губы и благословляя лавочника, они продолжали свой путь.

Проходя еще одним селом, видят — у лавочника что-то белое, кусочками.

— Что это ты продаешь?

— Сахар.

Сахар?.. И не видели и не слышали.

— И съедобная штука? — спрашивают они.

— Еще какая!..

— Ну, так взвесь нам.

Уплатили. Взяли — крт-крт,— поели, вкус так и остался во рту.

Шли они, шли. Но вот ночь их настигла. Воткнули в землю копьё, улеглись вокруг него и безмятежно заснули. Что, мол, тревожиться, как вору на такую высоту дотянуться, чтобы мешочек с золотом с копья снять? Да и немислимо эдакое...

И надо же, будто назло, шел ночью этой дорогой путник. Идет и видит: лежат вокруг воткнутого в землю шеста люди и безмятежно спят. Глянул он вверх, на шесте что-то висит. Пригнул шест, развязал мешочек, а в нем золото поблескивает.

Ссыпал он золото в хурджин, а вместо него наполнил мешок щебнем да песком и снова выпрямил шест.

Утром умники города Нукима пошли своей дорогой. Шли, расспрашивая, и добрались до стольного города.

У ворот города присели ненадолго,— подсчитать все расходы, чтоб по чести, по совести поделить их между собою.

Старший из посланцев и говорит:

— Та красная штука, что я попробовал, отдал тебе, ты попробовал, передал другому,— один серебряный. Та штука, что самим богом сотворена, а нами съедена,— один серебряный. И та штука, что была белее снега и слаще материнского молока,— два серебряных.

Подсчитав все расходы и с этим покончив, пошли они к царскому дворцу.

Подошли к воротам и стали.

Стражники дали знать царедворцам, что прибыли посланцы города Нукима.

Царь повелел позвать их.

Посланцы поклонились царю и стали перед ним.

Старший из посланцев протянул царю мешочек с золотом и говорит:

— Да приумножит господь твои годы, великий царь, мы прибыли с просьбой от имени жителей города Нукима. Этот мешочек с золотом — подарок тебе от них. Город наш очень холодный — две зимы, одно лето. Если не соизволишь сделать нам два лета, одну зиму, мы не жильцы в этом городе, так и знай!

Другие посланцы кивком головы подтвердили сказанное им.

А тем временем царский казначей, принявший мешочек, шепчет на ухо царю, что, мол, вместо золота в мешочке щебень и песок.



Царь задумался: «Что бы это значило? С умыслом они вместо золота принесли щебень и песок или по простоте душевной?» И чтоб испытать их, повелел подать прибывшим блюдо с черносливом вперемешку с черными жуками.

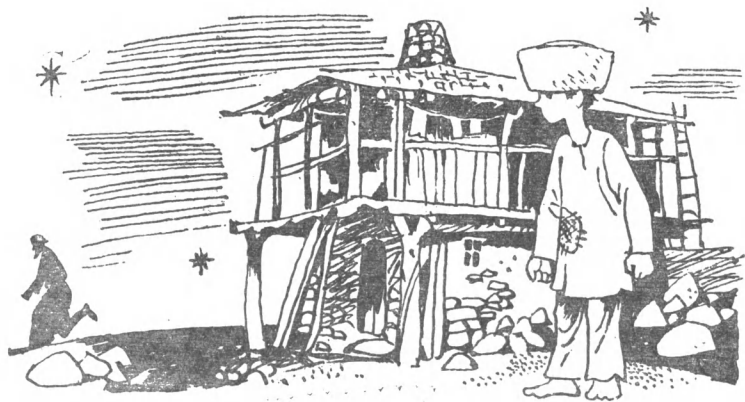
Посланцы накинулись на угощение. А старший из них и говорит:

— Давайте-ка, братцы, сначала те, что с ножками, поедим, пока не разбежались, а безногие и так наши.

Царь увидел меру их ума и говорит:

— Возвращайтесь-ка к себе домой. Пока дойдете до места, там уже будет второе лето.

— Да оставайся непоколебимым на своем троне! — сказали посланцы и, довольные, пустились в обратный путь.



## *Нико Ломоури*

### РУСАЛКА

#### I

**П**омню, когда я был еще совсем маленьким и не мог уверенно держать в руке не то что пастушеский бич, но даже прут, которым погоняют волон; в пору, когда мне не доверили бы не только стадо, но даже поросенка в поле,— у меня было одно заветное желание: мне хотелось побывать в лесу. Все, кому я решался высказать свое желание, неизменно подымали меня на смех.

— Экая подумаешь невидаль — лес! Ты что же, малыш, клад там зарыл или зерна жемчужные посеял?

Клад! Жемчужные зерна! В ту пору я даже не понимал значения этих слов. Мои желания не простирались тогда так далеко.

Обычно мой отец и три моих дяди привозили мне из лесу то голубиные яйца, то зайчонка, то маленьких пискливых перепелят; они дарили мне пригоршни лесных орешков с плотными сочными ядрышками — мое любимое лакомство; привозили они мне и пучки красноватых гибких ивовых прутьев, из которых я плел потом маленькие запруды для рыб, водившихся в нашей речушке. Каждую весну я получал в подарок маленькую звонкую дудочку, искусно вырезанную из тростника.

Я чувствовал себя в ту пору безгранично счастливым.

Если иметь в виду, какое впечатление производили на меня, маленького мальчика (звали меня Симоном), все эти подарки, привезенные из лесу,— могло ли показаться смешным и необычным мое желание увидеть лес.

Не удивительно, что тогда я не мог и не решился бы задать этот вопрос. Но я отлично чувствовал, что родные были неправы, подымая меня на смех. Вместо того чтобы выполнить мою неприхотливую просьбу, они, как я уже сказал, потешались надо мной, думая тем самым отбить у меня охоту увидеть лес.

Они, конечно, ошибались... Произошло как раз обратное: насмешки взрослых только подогрели мое желание, и вскоре оно стало неодолимым! В каком бы веселом настроении я ни был, стоило мне вспомнить лес — веселье исчезало бесследно.

Однажды, когда я, сидя верхом на палочке, играл в кругу своих сверстников, меня вдруг с новой силой охватило желание увидеть лес. Незаметно от товарищей я погнал своего скакуна к деревне, посреди которой и поныне стоит полуразрушенная церковь. К этой церковушке я и направил своего коня. Не знаю, что на меня нашло, но только помню хорошо, что, войдя в церковь, я приблизился к образу Божьей Матери, опустился на колени и стал молиться. Я горячо просил ее исполнить мое заветное желание.

— Это ты, Симон? Ты что тут дурачишься, пострел? — раздалось за моей спиной.

Я тотчас же узнал голос моей бабушки,— вскочил и опрометью выбежал из церкви. Мне показалось, что я совершил недостойный и смешной поступок... и решил не возвращаться домой до ужина. И в самом деле, было уже совсем темно, когда я скрипнул дверьми нашего хлева. Мне хотелось узнать, дома ли бабушка. «Что говорят обо мне?» Я притаился за дверь, прислушался. До меня донеслись голоса собеседников. Один из них был наш сельский дьякон Захарий, корчивший из себя дворянина.

— Поверь мне, Георгий,— говорил дьякон,— поверь! Не годится тебе, братец, жить рядом с церковью! Ведь святой Георгий видит каждое твое деяние.

— Да славится его святое имя! — прервал дьякона отец.— Пусть видит! Богу ведомо, что в моем роду никто человека не убивал, краденого в дом не приносил.

— Эх, Георгий, Георгий,— продолжал дьякон,— кто из нас безгрешен перед господом богом? Ты, может, и не знаешь всех прегрешений своей семьи, а всевышнему они открыты, дорогой! И потому добрый мой тебе совет — снимись отсюда да переселись поближе к саманнику.

Отец что-то ответил Захарю, но что — я не расслышал; я только понял, что он рассердился на нашего пройдоху дьякона, так как тот сразу же заспешил домой. Он прошел мимо меня, бормоча что-то себе под нос, и юркнул в дверь. Я переждал немного, потом тихонько приоткрыл дверь и вошел в комнату. Вся семья была в сборе: бабушка, мать, отец и три моих молодых холостых дяди. Сначала они как будто не обратили на меня внимания. Я незаметно проскользнул к очагу и сел, прикорнув у ног матушки.

— Ну что, монашек? — раздался вдруг насмешливый голос младшего дяди.— Замолил свои грехи?

— Монашек, а монашек, о чем ты молился в церкви? — закричали со всех сторон, и вслед за этим грянул дружный взрыв смеха.

Я прижался головой к матушкиным коленям и замер.

— Вздор вы говорите! Грешно смеяться над молитвой дитяти! — раздался вдруг голос моего отца.

Я, ободренный этими словами, поднял голову.

— Ну, скажи мне, внучек, о чем ты просил давеча Матерь Божию? — ласково спросила бабушка.

Поощренный ее лаской, я тем не менее ответил не сразу.

— Я просил: «Боженька и святой Георгий, покажите мне лес!» — пролепетал я.

И снова комната огласилась раскатами веселого смеха.

— Вот заладил — лес да лес! Скажи пожалуйста — какая невидаль! — весело заметил мой старший дядя.

— Ну а вам-то что? Хочу — и все тут! Вы только возьмите меня в лес, а я потом, ей-богу, буду целый день быков стеречь.

— Ладно, ладно, сынок! Вот поедем на днях в лес за хворостом, тогда и возьму тебя с собой,— пообещал отец.

— Как бы не так! — живо возразила матушка.— То-го и гляди с арбы свалится парнишка и расшибется. Нет, родненький, не ходи в лес! Там шакалы бродят и волки. Тут же набросятся на тебя и съедят живьем.

— Не ходи,— поддакнула и бабушка,— не ходи, внучек! Там русалку повстречаешь,— она, проклятая, вцепится тебе в горло и задушит.

— Да ведь русалка маленькая девочка. Как же она может одолеть меня?

— Нет, родной, русалка не девочка,— пояснил мне дядя,— а женщина. Красивая, краше самого солнца. По плечам у нее струятся пряди дивных волос. Сядет она в лесной заводи, распустит свои косы и примется их чесать золотым гребешком. Но боже упаси, если она увидит человека: тут же вскочит, окаянная, кинется на него и задушит!

— Сильная она! Ой, какая сильная! — добавил мой младший дядя.

И все наперебой заговорили о русалках, каждый рассказывал о них, что знал. Смех и шутки умолкли. Родные мои то и дело крестились да поминали имя святого Георгия. Все это заставило меня крепко призадуматься. Я почти не прикоснулся к ужину и всю ночь, до самых петухов, не смыкал глаз. Я все думал о русалках. В воображении рисовался лес, посреди которого протекал быстрый хрустальный ручей, а в ручье — там, где он образует небольшую заводь, сидит женщина чудной красоты, с распущенными волосами. Женщина озирается по сторонам своими лучистыми черными глазами, высматривает человека, чтобы броситься на него и задушить. Такая картина рисовалась мне всю ночь. После первых петухов я заснул, но уж лучше не засыпал бы вовсе! Во сне мне приснилась русалка, и я проснулся с бьющимся сердцем...

Лес и русалка теперь уже были неотделимы в моем представлении. Я хотел увидеть лес, но боялся русалки. «Как же сделать так, чтобы, побывав в лесу, не встретиться с русалкой?» — вот что сделалось предметом моих неотступных размышлений. Долго я бился над этой мыслью, но лес и русалка слились в моем воображении. Под конец желание видеть лес все же взяло верх. Я решил отправиться в лес, но не отходить ни на шаг от отца и дядюшек. С этим решением я встал на другое утро, и хотя у меня болела голова и я то и дело зевал,— все же ничем не выдал себя и стал молча дожидаться дня, когда мои родные отправятся в лес за хворостом.

Мне не пришлось долго ждать. Через два дня, к вечеру, отец принес из дому топор и стал снаряжать арбу. Немного погодя дяди мои подкатили к дверям хлева и другую арбу.

Я понял, что они завтра собираются ехать в лес. Я напомнил отцу о его обещании. Он сказал, что возьмет меня с собой. Но я все же недоверчиво отнесся к его словам и ночью лег около младшего дяди, под опрокинутым дзари; я решил сторожить, чтобы не пропустить время отъезда.

На другое утро солнце еще не взошло, а я, лежа в постели, уже тарасил глаза на арбы, стоявшие во дворе. Вот пригнали волов и стали их впрягать. Тут я вскочил, надел чоху, обулся в кожаные лапти и побежал навстречу отцу, выходящему из дому с караваями хлеба, завернутыми в полу чохи.

— Пойдем, пойдем, сынок! — сказал он мне, направляясь к запряженной арбе. Я, сам не свой от радости, побежал за ним вприпрыжку. В лес ехали трое — отец и два моих дяди. Отец посадил меня на передок арбы, а сам пошел рядом. Арбы тронулись. К полудню мы въехали в лес. Лес, правда, показался мне не таким, каким я его себе представлял, но после зноя полей прохлада, царившая здесь, огромные, вековые, таинственно шелестевшие деревья, многоголосый звон и щебет птиц так подействовали на меня, что я первое время совсем забыл о русалке. Я спрыгнул с арбы и весело побежал к кустам орешника, из-под кудрявых листьев которого выглядывали плоды. Рядом я увидел такой же куст, а дальше — дерево, на ветвях которого заметил птичье гнездо, наискось — черенок ясеня, прямой и гибкий, годный на хворостину... Так, незаметно для самого себя, перебегая с одного места на другое, я отходил все дальше от арбы. Но вот я подошел к маленькому рокочущему ручейку — и тут остановился как громом пораженный. Безотчетный страх овладел мною. Однако мало-помалу я стал приходить в себя. Мысли мои сосредоточились на двух одновременно и заманчивых и страшных для меня вещах — на лесе и русалке.

— Что это со мной случилось? — пробормотал я и стал, замирая от страха, озираться вокруг. С трех сторон меня обступили густые заросли орешника и крушины. Сверху свисали ветви огромных дубов. Я был так

поражен этим зрелищем, что перестал слышать шелест листвы и птичий гомон. Мне казалось, что вокруг царит могильная тишина. Я стал прислушиваться, но ни одного голоса не доносилось до меня, только где-то вдали время от времени слышался перестук топоров.

«Ширр!» — раздалось вдруг со стороны реки. Я вздрогнул, обернулся и — колени у меня подкосились: я увидел русалку. Она сидела посреди речки и чесала золотым гребешком пышные пряди волос. Что было дальше, я уже не помню. Как я повернулся, как добежал до арбы и крикнул: «Помогите, русалка!» — ничего этого я уже не помню. В сознании запечатлелись лишь слова отца:

— Симон, сынок! — окликнул он меня, когда я немного пришел в себя. — Скажи, родимый, где русалка?

— В маленьком ручейке, вон там! — пролепетал я.

— А ну-ка, ребята, — закричал отец, — забирайте топоры и бегом к речке! Авось настигнем ее, анафему, и зарубим в воде!

Тут все вскочили и бросились в ту сторону, откуда я прибежал. Отец держал меня на руках.

Вот дяди с шумом и гиком добежали до берега. Вот и мы с отцом подошли к тому месту, откуда я увидел русалку.

— Ну-ка, скажи, родимый, где была русалка?

Я посмотрел в сторону, где сидела русалка, но ее уже и след простыл: вместо нее среди ручья торчал из воды поросший желтым мхом большой дубовый пень.

— Вон на том пне сидела, кажется!

— Э-э! Да ведь мы не то делаем! Надо было подкрасться к ней да отрезать ей косы, — тогда уж она бы в нашей власти!.. А этот пень и впрямь что-то несуразно торчит из воды. Вот на такой пень и садятся русалки, чтобы расчесывать себе волосы. Ну-ка, топором его!

Тут отец спустил меня наземь, схватил в руки топор и бросился к обомшелому пню. Дяди — за ним. Окружив пень, они стали рубить его изо всех сил.

— Да этот пень отлично и на дрова пригодится! — весело воскликнул один из моих дядей.

Вдруг мой отец упал. Смотрит старший мой дядя и видит: топор соскочил у него с рукояти и угодил прямо отцу в лоб.

— Помогите! — закричал отец.

Дяди мои бросились к нему и вытащили его на берег.

Из разбитой головы ручьем текла кровь. Дяди старались остановить ее, но тщетно. Наконец с трудом удалось покой архалука приостановить кровь.

— Горе мое! Семья, дети! — простонал отец. — Везите меня скорей домой!

С плачем впрягли мои дяди волов в арбы, уложили на одну из них раненого. Вечером мы привезли домой мертвого отца: по дороге он испустил дух.

Легко себе представить, какой переполох поднялся у нас в доме. Событие это взбудоражило всю деревню. Да и не удивительно. Всех поразила неожиданная смерть отца. Человек он был такой добрый и отзывчивый, что все в деревне относились к нему с величайшим уважением. Меня только удивляло, почему люди говорили, будто отца моего убила русалка, запустив в него камнем.

Нашей семье пришлось пережить много неприятного из-за этих разговоров. Священник отказался хоронить отца по христианскому обряду под тем предлогом, что его, дескать, убила русалка. И он упирался до тех пор, пока не содрал с нас красненькую. После похорон слух о том, что отца убила русалка, дошел до благочинного. Он нагрянул в наш дом, начал угрожать, что расправится с нами и отправит всех нас в Сибирь. И так он грозил до тех пор, пока мы и ему не сунули десятку. Я в ту пору мало что смыслил в разговорах почтенных духовных отцов и потому очень удивлялся всему, что говорили о смерти моего отца священник и окружающие нас сельчане. «Как же так? Разве моего отца убила русалка?» — спрашивал я сам себя и отвечал: «Нет, не русалка, его убил нечаянно мой дядя».

### III

Мы похоронили отца. Но русалка продолжала преследовать нас. Сначала ее видели в лесу какие-то путники. Потом прошел слух, будто она вытащила труп отца из могилы и уволокла в лес: об этом сообщил нам дьякон Захарий и тут же посоветовал отслужить молебен за спасение души покойного и освятить его могилу. Совет дьякона мы в точности выполнили, но какую тяжелой ценой! Наша семья, никогда раньше не знавшая тягот денежного долга, после совершения всех этих треб задолжала ростовщику более ста рублей. Долг наш постепенно рос, дошел до четырехсот, пятисот и шестисот рублей. Так, исподволь, стал прибираться нашу семью к ру-



кам этот ростовщик. Но все это произошло позднее. Другая беда нависла над нами в то время. Хотя мы и потратились, чтобы выполнить все предписания духовных отцов, но от русалки все же избавиться не могли. Вскоре она повадилась ходить к нам в дом.

Однажды ночью все в доме мирно спали. Удрученные всем пережитым, мы понемногу начали оправляться и бодрее смотреть на будущее. Но в эту ночь нас подстерегло новое несчастье. Уже порядком рассвело, когда вдруг громадный камень с грохотом упал прямо к нам в очаг. Мы все вскочили.

— Кто ты, разрази тебя господняя немилость?! — закричал мой старший дядя.

— Это я, русалка, посланная святым Георгием! Уходите с этого места, не то истреблю вас всех! — послышался сверху тонкий голос.

Нас обуял смертный страх, и все мы в один голос закричали, что непременно-де, непременно уйдем отсюда!

Наутро еще никто из нас не успел переступить порог дома, а уже вся деревня знала о случившемся. И пошли, покатались по деревне всякие сплетни-пересуды.

— Слыхала, милая,— говорила одна кумушка другой,— русалка забралась нынче прямо в хату к этим Арешендашвили, да как ухнет им в очаг бо-ольшущую глыбу, да как закричит: «Передушу вас всех, огнем спалю, если не уйдете с этого места!»

— Да это, матушка, что! — отзывалась та.— Иные просто брешут! А я вот знаю, и это верно, как бог свят, что русалка пришла к нехристи этой, к бабке ихней, к Майе-карге, и говорит: «Сестрица моя Майя, пособи мне, как раньше пособляла, детей твоих со свету сжить».

— А она, что же, старуха-то? Что она ей ответила?

— Да ничего не ответила. Сидела, говорят, как воды в рот набравши да крестилась не по-людски, а навыворот — слева направо.

— У-у-у, нехристь она! Не зря наш батюшка говорит, что Майя знаетса с нечистой силой.

— Видать, что нечисть, коли ее в Иванову ночь дома не застать никогда.

И много такого и худшего еще говорилось в тот день о нашей семье. А больше всего доставалось нашей бедной бабушке Майе. Люди избегали заговаривать с ней и, завидя ее издали, бежали от нее прочь. Слухи эти

дошли до нас к вечеру. Бабушка моя плакала и причитала. В тот день словно покойник был в нашем доме. На другое утро бабушка встала, по обыкновению, чуть свет, но вскоре опять легла: у бедняжки поднялся такой жар, что она впала в беспамятство. Так провела она целый день; но к вечеру, слава богу, ей немного полегчало, и она уснула.

Мы поужинали и легли. Вдруг в самую полночь раздался душераздирающий вопль. Мы вскочили и кинулись к больной. Она лежала с остекленевшими глазами, вся желтая, как мертвец. Мы стали обливать ее холодной водой, растирать ей нос и уши; она пришла в себя.

— Что такое, что с тобой было? — наперебой спрашивали мы.

— Русалка! Русалка! Задушила было, проклятая! — ответила бабушка.

— Да где же она? И что ей надо от нас, разрази ее святой Георгий всемилостивец?! — воскликнул мой младший дядя.

После этого зажгли лучины и стали искать русалку по всему дому: заглянули на полку, в кадку, в круглую корзину, в печь — словом, перевернули вверх дном весь дом, но русалки и след простыл. И хотя в доме не удалось обнаружить ее следов, все же наши приняли решение: «Завтра же выселимся отсюда, завтра!», не подозревая, что завтра у них появится такая забота, которая волей-неволей заставит отложить задуманное. В полдень другого дня не стало нашей бабушки Майи. После ее смерти пришла в смятение вся деревня; когда мы хоронили бабушку, за ее гробом шло не более трех человек.

— Выселяйтесь, люди! Выселяйтесь отсюда! — твердили нам со всех сторон.

Мы и сами желали того же, но останавливало то, что у нас не было бревен для постройки дома. Туго пришлось бы нам, если б не наши родичи, дай бог им здоровья! Как прослышали о нашей беде, тут же сообщая на своих волах привезли нам из лесу столбы и бревна, помогли распилить и острогать их, после чего мы, выбрав место рядом с нашим бывшим подворьем, неподалеку от кладбища, принялись рыть землю. Врыли в ямы столбы, скрепили их балками и покрыли сверху крышей. Перекрытую землянку мы разделили на две части — одну под наше жилье, другую под хлев — и, перетащив туда все наше имущество, обосновались на новом месте.

Пословица говорит: «Если колесо твоей судьбы хоть раз повернулось вспять, то потом уже нет тебе удачи в жизни». Так случилось и с нами. Мы переселились на новое место, но не смогли избавиться от бед. Переселение наше совершилось осенью, день ото дня становилось все холоднее; зима, по всем приметам, предстояла ранняя, с морозами, а наша новая землянка совсем не была приспособлена к холоду. У нас не было досок и песку, не говоря уже об извести, чтобы закрыть голые земляные стены и тем оградить себя от пагубного холода. В доме у нас все время стоял запах промозглой сырости и было очень холодно. В первое время мы не придавали этому значения; две-три недели мы провели даже весело. Но в конце четвертой недели моего младшего дядюшку стало лихорадить; ночью он жаловался на сильный жар и головную боль. На другой день уже не мог встать. Прошел еще день — и у больного открылись все признаки болотной лихорадки. Понятно, что эта болезнь опечалила нас, но мы все же не отчаивались. «Конечно, лихорадка все равно что холера для сельчан, но как бы то ни было, она все же привычна человеку. Лишь бы нам уберечься от всякой нечисти, а уж с лихорадкой... мы как-нибудь да справимся». Так думали мы, стараясь в душе утешиться. А больному становилось все хуже и хуже...

Раз как-то мы сидели у очага и мирно беседовали в ожидании ужина.

— Спасите! — завопил диким голосом больной, вскакивая с постели.

Мы бросились к нему, но не успели подбежать, как он уже перепрыгнул через очаг и залез под лавку.

— Алекси, милый, что с тобой! — крикнул ему старший дядя.

Эти слова, казалось, отрезвили больного; он вылез из-под лавки и уже спокойно и внятно произнес:

— Помогите, родные, русалка меня душит!

Трудно описать наше изумление, у всех разом точно язык отнялся... В землянке слышался лишь тихий, жалобный стон, на всех лицах читалось: «И сюда забралась, окаянная, — нет, значит, нам спасения». Долго стояли мы так, не в силах прийти в себя, как вдруг снова раздался отчаянный вопль больного: «Русалка, русал-

ка!» — и дядя, размахивая руками, снова перескочил через очаг и бросился к своей постели.

— Не бойтесь, родимые, это он в жару бредит, — сказала нам матушка.

— Что же это он все русалкой бредит? — в тяжким вздохом вырвалось у моего среднего дяди.

Вопрос этот остался без ответа. В землянке царило тягостное молчание. Каждый думал о постигшей нас новой беде. «И впрямь, — думал я, — чего же он все о русалке твердит? Да и не похожи на бред его слова, он так спокойно и разумно говорил. Нет, нет, это не так! Видно, и впрямь она переселилась сюда и не будет нам от нее теперь житья, от проклятой!» И тут я вспомнил лес и русалку. Вспомнил своего отца и те слухи, которые ходили в деревне о русалке и нашей семье. Потом ясно представилось мне и нынешнее наше положение... И от этих мыслей меня вдруг начало трясти, да так, что зуб на зуб не попадал.

— Помогите! Русалка идет! Вот она открыла двери! — закричал опять больной, привскочив с постели.

Я оглянулся на дверь. В ушах у меня зазвенело, колени подкосились: в дверях я и впрямь увидел русалку!

— Русалка, русалка! — закричал и я, бросаясь к матери.

Что произошло потом — отчетливо вспомнить не могу. В ту же ночь у меня поднялся сильный жар, я потерял сознание, начал бредить и в бреду все поминал русалку. Целых двадцать два дня я находился в таком состоянии, на двадцать третий у меня появилась испарина — и к вечеру я немного пришел в себя. На другой день ко мне вернулось сознание; я открыл глаза и оглянул нашу землянку. Я не сразу сообразил, где я и что со мной происходит. Потом всплыло в памяти наше переселение, я вспомнил, что к нам в новую землянку забралась хворь, что всех раньше одолела она младшего дядю Алекси. Я медленно перевел взгляд в ту сторону, где стояла его постель, — вижу, она пуста, но немного дальше кто-то лежит. Матушка моя сидела у очага и приглядывала за пищей, варившейся в котле. По временам до меня доносились ее тихое заунывное пение, по щекам ее текли слезы.

— Мама! — позвал я слабым голосом.

— Что, сынок? Что, родной? — радостно вскрикнула мать и бросилась ко мне.

— Где Алекси, мама? — спросил я.

— Алекси поправился, сынок, и сейчас только вышел из дому, — ответила мать.

— А это кто там лежит? — указал я взглядом на лежавшего.

— Это, сынок, твой дядя Ниника. Сегодня его немного знобило, и он лег.

Когда дня через четыре мне стало лучше, я узнал от матушки, что все это она говорила для моего успокоения. А на самом деле произошло вот что: Алекси, пролежав в постели с неделю, отдал богу душу; в день его похорон заболел средний брат, Ниника. К вечеру Ниника несколько раз выкрикнул: «Русалка, русалка!» — и уже после ничего нельзя было от него добиться. Только днем по временам он садился на постели и смеялся чему-то, по ночам же бормотал не переставая, а то вдруг ни с того ни с сего начинал брыкаться в постели.

— Ну, как ты себя чувствуешь, Ниника? — спросил я дядю.

Больной словно и не слышал моего вопроса, потом стал медленно приподниматься с постели и, как бы сейчас только узнав меня, тихо рассмеялся.

— Ниника, ты рад, что наш Симон поправился? — спросила его матушка.

— Ха-ха-ха! Рад! Ха-ха-ха! — залился вдруг громким смехом Ниника, потом снова лег — и уже больше не отзывался, как мы ни старались вызвать его на разговор.

— Что это с Ниникой, мама? Отчего он такой? — спросил я тихо маму.

— Не разделаться нам с бедой нашей, вот и приключилась с ним эта напасть, дитяtko, — горестно ответила матушка. — Нечистый дух овладел им однажды ночью, и с той поры повредился умом, бедняга. Ничего у него не болит, и жар его не томит, а все лежит так; если скажешь ему: «Вставай», — встанет; а нет, лежит молча. Я уж думала, что у бедняги язык отнялся.

— А где Датуа? — спросил я матушку.

— Он, сынок, переселился, чтобы за виноградником лучше присмотреть, — ответила мама.

Такая беда страшась с нами чetyрьмя. Алекси отдал богу душу, Ниника стал полоумным, я переболел лихорадкой, и только одна матушка убереглась от напасти.

Прошло два месяца. А как минул этот срок и никто из нас больше не заболел, то и соседи стали к нам ис-

подволь наведываться. Вернулся на старое насиженное место и дядя Датуа. И стали мы по-прежнему тянуть лямку нашей трудовой жизни.

## V

Прошло несколько лет. Много воды утекло с той поры в нашей речушке, многое изменилось и в жизни нашей семьи.

Дядя мой Ниника так и остался дурачком. Он жил в своем, одному ему понятном и ведомом мире. Если к нему обращались с вопросом, он не отзывался, но сам с собой беседовал постоянно; на лице его — и то в редкие минуты — мелькала едва приметная улыбка; смеха и шуток он не терпел вовсе, — но оставаясь один, начинал размахивать руками и то и дело посмеивался. На людях он мог стерпеть любую обиду, даже пальцем не шевельнет, чтобы наказать обидчика, — но упаси боже потом встретиться с ним один на один: Ниника тут же сгребал обидчика своими огромными ручищами и, бросив наземь, не выпускал свою жертву до тех пор, пока, бывало, не подомнет ее, как медведь. Мужчина ли, женщина ли, стар или млад — ему было все равно. Но работник Ниника был хоть куда, прилежный и упорный; зимой и летом работа спорилась в его руках. Особенно любил он виноградник и с наступлением весны проводил в нем целые дни, заботливо ухаживая за лозой. Наша семья теперь почти целиком держалась его трудами. Старший мой дядя, Датуа, женился, в семье пошли дети, мал-мала меньше; под конец и он занедужил. Что же до моей матери, то она поистине была удивительным существом. Происходя из зажиточной семьи, она, выйдя замуж, попала в не менее состоятельную крестьянскую семью и потому не знала, что такое нищета, голод и холод, тяжелый, беспросветный труд. Когда же на нее обрушились все эти беды, она приняла их так, словно всю жизнь была привычна к ним. Невзгоды и тяжелые обстоятельства, постигшие нашу семью, не смогли сломить ее. Не покладая рук изо дня в день работала она, терпеливо и стойко боролась с нуждой, проникнутая какой-то смутной надеждой на лучшее будущее.

Таково было в настоящее время положение каждого из нас. Что же касается общего положения семьи, то оно было более чем прискорбно. Как я уже сказал выше, наша семья билась в тисках нужды и все возрастающего

неоплатного долга. У нас в округе хорошо было известно имя ростовщика Хахама Габриела. Своими векселями, словно железными клещами, держал он в руках судьбу неимущих сельчан. Подкупая чиновников и выжимая последние соки из крестьян, этот прожженный плут и выжига за несколько лет стал одним из видных богачей округи. Крестьяне хорошо знали безбожный нрав кровопийцы Габриела: у всей деревни на глазах долг одного бедняка — стоимость трех фунтов соли — превратился у него в течение нескольких лет в триста рублей. Не получив с должника денег, Хахам подал жалобу в суд, отнял у крестьянина дом и виноградник и пустил его по миру. Эта и многие другие проделки Габриела были хорошо известны нам, сельчанам.

Но что мы могли поделаты! В минуту нужды мы все же вынуждены были обращаться к нему, ибо иного выхода у крестьян не было.

Так случилось и с нашей семьей. Сто рублей, взятые в долг, превратились в течение пяти лет в шестьсот. Габриел заставил нас переписать вексель, и вскоре житья нам от него не стало: «Как хотите, а выкладывайте мне мои шестьсот рублей». Откуда нам было взять эти деньги? Как могла наша разоренная вконец семья уплатить не то что шестьсот, даже сто рублей? Хахам приходил к нам, грозил, ругался и, накричавшись до хрипоты, убирался восвояси. Однако он недолго так ходил... Почему-то вскоре Габриел перестал к нам навещаться. Это обстоятельство очень радовало нас всех, кроме матушки. Ее лицо чем дальше, тем становилось все мрачнее и озабоченнее.

— Этот нехристь не иначе как в суд собирается подать на нас, хочет отнять у нас дом и виноградник,— говорила мама с горестным вздохом.

## VI

Наступила чудесная прохладная весна. Зазеленевшие поля зыбились и сверкали под лучами весеннего солнца, деревья одевались в свежую, нарядную листву. Чистая, словно умытая лазурь неба глядела на землю, будя в сердце человека какие-то светлые, неясные надежды. Прохладный влажный воздух вливал в грудь силы, радость, желание трудиться. И крестьяне наши взяли за лопаты, топоры, садовые ножницы. В виноградниках немолчно стучали топоры, которыми строгают подпорки

для лоз, звучали веселые песни. Началась весенняя страда. Мои дяди, разумеется, не отставали от других. Они вспахали землю, подрезали лозы, укрепили их на подпорках, вырыли по обочинам виноградника каналы для стока воды, подправили местами покосившийся плетень, обвив его, где нужно было, колючим кустарником, — словом, выходили виноградник, как невесту. Прошла неделя, другая, прошел месяц. Лозы оделись листвою. Кисти винограда стали расти, наливаясь соком. Виды на урожай были самые лучшие.

Раз в воскресный день, в час обедни, сельский старшина скрипнул дверьми нашего дома и крикнул в сени:

— Датуа, выйди-ка к церкви, дело есть к тебе небольшое!

Датуа тотчас же встал и вышел. Вслед за ним и Ниника взял в руки топор и отправился в виноградник. Было уже за полдень, а дяди все не возвращались. Мама заправила фасоль, достала из рундука куски черствого чурека и уже поставила было миски на стол, как вдруг послышались шаги и голоса. Спустия немного в комнату вошел дядя Датуа, вслед за ним — старшина с двумя помощниками и Хахам Габриел. Проживи я тысячу лет, и тогда не забуду выражения лица дяди Датуа. Этот молодой тридцатипятилетний мужчина превратился за несколько часов в шестидесятипятилетнего старика. Жалкий, согбенный, пожелтевший, с застывшими от ужаса глазами, он шатался, как подгнившее дерево, и, споткнувшись, чуть было не упал на очаг. У матушки при виде непрошенных гостей вырвался из груди горестный стон.

— Что это с тобой, разрази тебя господня немилость? — сказала дяде его жена. — Того и гляди разобьешься об очаг.

Голос тетушки, казалось, вывел Датуа из глубокого сна. Он остановился у очага, оглянул всех нас и закричал истошным голосом:

— Невестка моя, Кетеван! Погибла семья! Погубил, этот нехристь, и впрямь погубил нашу семью! В суд пожаловался! Жена моя, детки — пропали мы!

Мать вскочила и, шатаясь, подошла к очагу.

— И что же? И что же? — спросила она.

— Виноградник продали... Погибли мы. Жена, дети!..

— Чуяло мое сердце! Нехристь он! — простонала мать со слезами на глазах. При виде ее слез мы все, дети и взрослые, начали плакать и кричать. Можно было



подумать, что у нас в доме покойник. Плакали все, а Датуа — Датуа метался по комнате и ревел, как раненый медведь.

— Это что такое? Клянусь моей верой, мне здесь больше нельзя оставаться,— воскликнул Хахам Габриел и направился к двери, а его товарищи принялись увещевать дядю Датуа.

— Эх, брат, вместо того чтобы плакать, ты бы лучше накормил нас, мы проголодались,— заметил старшина.

— Ишь чего захотели! Чтоб вам подавиться, света не взвидеть божьего, изверги проклятые!

— Мне за труды выкладывай — живо! — приказал судебный пристав.— Я же не к вам одним пришел, у меня и другие дела есть!

— Сколько им предписано, уважаемый Соломон? — спросил, хитро сощурившись, старшина.

— Двенадцать рублей пятьдесят пять копеек! — отчеканил пристав.

— У нас и двенадцати копеек нет! Что я могу вам дать? Вы забрали у нас виноградник, отняли последнее, и мы должны еще платить? Погибели нет на вас, ироды проклятые! — воскликнула матушка.

— Я с бабами не разговариваю! — заорал на маму пристав.

— А поднеси я тебе турашаульских яблок, как Саломэ Хепериани, посмотрела бы тогда, как ты не стал бы разговаривать со мной! Или же, как лавочник Михаил, рыбка бы попотчевала свежей! Сразу же сменил бы гнев на милость! — бросила с горячностью матушка прямо в лицо приставу.

— Бабьему слову грош цена. Мир-то видит, слава богу, что я взятку не беру, простой народ жалею,— гордо ответил пристав.

— Да, на словах оно так, на словах ты жалеешь бедняков, а вот на деле — скажи нам по чести, с какого это ты бедняка не содрал три шкуры? — спросила пристава мать.

— Знай, глупая баба, не спущу я тебе этого навета! — рявкнул пристав и, подойдя к старшине, шепнул ему что-то на ухо. Тот напружинил шею, приосанился и грозно приказал:

— Какое вы имеете право не давать? Выходит, пристав, уважаемое должностное лицо,— слуга вам, что ли? Эй, судьи! Пошли выводить буйволицу из хлева!

— Буйволицу не отдам никому, пока я жива! — заволела мама, бросаясь к дверям.

В это время со двора донесся какой-то вопль и потом прерывистый крик:

— Караул! Убивают! Помогите!

— На помощь! — закричал старшина.— Это, верно, Ниника полоумный заграбастал Хахама Габриела! На помощь! Я же говорил ему, не связывайся с этим сумасшедшим!

Все бросились к хлеву. В дверях стояла навзничь лежал на земле Габриел, Ниника сидел на нем верхом. Одной рукой Ниника вцепился Габриелу в горло, другой в бороду и с такою силой колотил его головой о землю, что из нее лилась кровь.

Старшина со своими приспешниками бросились к Нинике, оттащили его от Габриела и начали дубасить. Тот стоял молча, лишь жалко поеживаясь. Три человека колотили Нинику до тех пор, пока моя мать не стала между палачами и жертвой. Старшина тотчас же оставил Нинику и, оглянувшись по сторонам, закричал:

— Выводите, ребята, буйволицу! Выводите скорее! — и сам направился к стойлу; помощники за ним.

Матушка, схватив в руки рукоять лопаты, бросилась к дверям стояла.

— Умру, а буйволицу не отдам! — крикнула она, ставшая в дверях стояла.

— Прочь, баба! — закричал старшина, стараясь отбросить матушку от дверей, но она твердо стояла на месте.

— Что же вы смотрите? — набросился на улыбающихся помощников старшина.— Отбросьте прочь эту осатаневшую бабу!

Все трое бросились к матушке, завязалась потасовка, раздались крики, проклятия. Вдруг высоко в воздухе взметнулась рукоять лопаты и с размаху тяжело опустилась на голову старшины. Тот, схватившись за голову, попятился. Рукоять продолжала вращаться в воздухе с необычайной быстротой. Помощники отступили к дверям. Матушка, с сумасшедшим лицом, преследовала их шаг за шагом, по-мужски ловко и сильно вращая рукоять лопаты над головами своих мучителей.

— Кетеван, на помощь! Помогите мне, ради бога! — раздался вдруг отчаянный вопль Хахама.

Мама кинулась к нему. В тот момент, когда все побежали к стойлу вслед за матушкой, Ниника снова на-

бросился на Габриела и подмял его под себя. Он сел на него верхом и стал душить его.

— Брось, Ниника, этого басурмана! Отпусти, не бери греха на душу,— закричала ему мама.

Дядя с возгласом «эх-хе-хе!» отошел от Габриела, а тот, вскочив на ноги, торопливо бросился к дверям хлева, но матушка крепко заперла его на засов. Избитый Габриел присоединился к своей свите, стоявшей поодаль от хлева. Члены почтенной компании оглядели друг друга: лица у Хахама и у старшины были залиты кровью.

— Ах боже ты мой! — восклицал старшина.— Вы только поглядите, что с нами сделала взбесившаяся баба! Истинный бог, нам нельзя будет теперь показаться на селе!

— А будь она трижды проклята святым Георгием! — вторил старшине один из его помощников.— Что же она с нами сделала, люди милые? И чего это мы побежали от нее? Надо было тут же в дверях сшибить ее с ног и вывалить ее косынку в грязь.

— Недаром сказано, братец: разойдется баба, так ее уж на привязи и девять пар буйволов не удержат. А эта баба, клянусь святым Георгием, водится с нечистью. Расшибла мне голову, будь она трижды проклята!

— Иди-ка завяжи мне лоб,— позвал одного из помощников Габриел.— Я непременно подам на нее в суд.

— Надо подать... а то как же. Это ей так не пройдет,— подтвердил старшина.

— Я же сказал вам,— заявил судебный пристав,— что деньги должен уплатить Габриел, а не они! А вы заладили: надо, мол, с них взыскать! Вот и взыскали! Ради бога, никаких жалоб! А то потом придется мне же самому расхлебывать кашу. Все же лучше по-семейному, тишком да ладком обделать это дело.

Пришедшие погалдели еще немного, и потом вся свита обступила Хахама Габриела и стала требовать вознаграждения за свои услуги. Габриел долго отнекивался, но под конец ему все же пришлось раскошелиться и выложить старшине пять рублей, а его помощникам по трешке,— пятнадцать рублей положил в карман судебный пристав! После этого они покинули наш дом.

Вскоре после ухода Габриела и его свиты у Датуа начался приступ лихорадки. Целую неделю его трясло; через неделю он хотя и встал с постели, но был худой и желтый — ни дать ни взять покойник.

Однажды вечером Датуа сидел у дверей нашего дома и печально глядел в сторону кладбища; страдальческое выражение его лица говорило о душевной подавленности. Глаза больного, глубоко запавшие в орбиты, глядели в сторону кладбища и словно завидовали тем, кто уже лежал в могиле.

Долго сидел так Датуа, потом поднял голову, осмотрелся и, вздохнув глубоко-глубоко, произнес громко (словно он мог быть услышан теми, к кому были обращены его слова):

— Счастливые! Счастливые! — потом снова поник головой и отдался своим безысходным думам.

Солнце давно уже метнуло стрелы своих лучей на запад, за кряжи гор; их красновато-желтый отблеск лишь кое-где лежал на пестревших цветами полях и лугах, уже покрытых тенью от высоких отрогов.

Вечерние сумерки медленно опускались на долину, между тем как увенчанные снегами высокие вершины еще горели и преливались вдали в лучах заходящего солнца. Ветерок, напоенный ароматами полей, чуть приметно колыхал стволы молодой кукурузы и вздымал на нивах изумрудную зыбь, наподобие морской волны. Веселый щебет птиц, мычание скотины, шум человеческих голосов еще более оживляли эту полную движения и жизни картину. Однако... к черту все это! Что значит красота природы, когда сердце человеческое кипит возмущением, когда истинный труженик из-за невыносимых условий жизни исстрадался до такой степени, что завидует мертвецам. Наш Датуа словно и не замечал всех этих красот природы. Он все сидел, тоскливо понурясь, и, вероятно, просидел бы так еще долго, если бы его не вывел из задумчивости шум возвращавшегося домой стада. Датуа поднял голову и глянул в сторону проселочной дороги. Он увидел, что по ней шел человек — это был Захарий, наш деревенский дьякон. Еще несколько минут — и Захарий, с притворно-скорбным видом, плутовски скосив глаза и пофыркивая носом, подошел к Датуа.

— Добро пожаловать, Захарий,— произнес с глубоким вздохом Датуа.

— Какая еще напасть на вашу голову, скажи мне, братец? — заговорил с напускным сочувствием Захарий, присаживаясь рядом с Датуа.— Бог свидетель, ваше такое положение удручает всех нас. Все же мы христиане, одним миром мазаны. Думаю, дорогой мой, думаю — и в толк не возьму, в чем у вас дело?

— В чем дело, говоришь? — уныло переспросил Датуа.— Одним словом, погибаем. Виноградник отняли у нас. После этого, сам понимаешь, семья — уже не семья. Бог лишил нас своей милости. Все наши беды начались с того дня, как у нас в доме появилась русалка. Она, окаянная, теперь преследует нас незримо. О господи, боже мой, да славится имя твое! Смилуйся над нами и прости нам прегрешения наши! Положи конец нашим мукам!

Датуа устремил к небу затуманенный слезами взор, но выражение его лица говорило, что в душе его утрачена всякая надежда на то, что спасение может прийти оттуда, с неба.

Как ищейка наостряет уши, учуяв нюхом зверя, так и Захарий весь обратился в слух, услышав из уст Датуа слово «русалка». В его узких, как семечки, глазах вдруг вспыхнуло выражение тайной радости и удовлетворения; но Захарий не дал проявиться этому чувству и снова придал лицу удрученное выражение.

Печально вздохнув, он начал снова:

— Датуа, ты человек толковый, умудренный жизненным опытом, и не мне давать тебе советы. Но вот ты сам сказал, что все ваши несчастья начались с того дня, как у вас в доме появилась русалка. Я тоже так думаю, но ведь русалка уже не появляется, а ваша семья все на убыль идет. Русалка, милостью святого Георгия, уже отстала от вас, но вы все никак не можете оправиться. С чего бы это, хотелось бы мне знать, а? — Тут дьякон выпучил глаза и, поджав губы, испытующе посмотрел на своего собеседника.

— Я же сказал тебе, что эта окаянная, быть может, незримо преследует нас.

— Правильно говоришь, Датуа! Так оно и есть! Я еще от блаженной памяти покойного дяди моего Иорамы слышал, что ежели она, окаянная, привяжется к кому-нибудь, то сначала делает это явно, а уж потом дей-

мет тайно, незримо. Это ты правильное слово сказал, Датуа.

Больной тяжело вздохнул. Дьякон многозначительно помолчал, потом вдруг вскочил с места и, став прямо напротив Датуа, заговорил восторженно:

— Знаешь, что я тебе скажу, Датуа? Сходи-ка ты к гадалке! Ты, наверно, слышал, как гадает ворожея из Эшмакеули? Диву дается народ!..

— Я тоже думал об этом, признаться. Так и сделаю. Завтра же пошлю невестку к гадалке.

— А знаешь что, Датуа? Пусть это останется между нами, но только советую тебе — пошли лучше жену! Как бы там ни было, а невестка никогда не будет так болеть за тебя душою, как жена. Сам понимаешь...

— Правильно, родной, правильно говоришь! Невестка моя женщина хорошая, такую еще поискать другую, — но лучше, конечно, послать мою жену.

Датуа помолчал, потом, обернувшись снова к дьякону, спросил:

— А что, братец, слышно о Караязах об этих... Одно время народ наш туда валом валил, а нынче что-то не слышать стало об этой местности.

— Ну, как не слышать! — с живостью отозвался дьякон. — Дай бог долгой жизни нашему императору! Большую милость явил он нашему неимущему народу. Ты, верно, слышал, что царь издал приказ, чтобы всю Караязскую степь возделать как нельзя лучше, провести туда воду, выстроить каменные дома, привезти туда земледельческие орудия, скотину самую отборную, а потом оповестить грузинских неимущих крестьян и сказать им: государь-де приготовил все это вам на свой счет, и у кого из вас есть желание — отправляйтесь и поселяйтесь там. Будете освобождены от всяких расходов и хлопот. Ты только подумай, что это за местность, Датуа! Степь такая, что на коне ее не объедешь, — не видать ей ни конца ни краю. Посеешь, скажем, три меры пшеницы, а снимешь урожай сам-десять. И лес тут же рядом, рукой подать. В одном только нехватка: нет рабочих рук. Будь уверен, что случись там ваш Ниника, он каждый год по двести-триста мер пшеницы ссылет в закрома. — Тут дьякон, прервав поток своего красноречия, так и впился взглядом в лицо своего собеседника.

— Что и говорить, это истинное благодеяние для народа! Одно уж, что люди освобождаются от налогов, —

одно это чего стоит! Если так, братец, то туда, наверное, народ повалит теперь.

— Все это сообщил мне мой брат Андукапар. Ты ведь знаешь, что он получает вести прямо от царя? Оно правда — туда, в эти степи, собирается ехать тьма народа, но большинство поедет будущей весной. А кто поедет нынче, скажем этой же осенью, тому будет полное раздолье — получит и дом, и виноградник, и поле, и орудия, и скотину, — словом, сумеет выбрать все, что понравится. А когда придут другие, он будет уже устроен на новом месте.

Помолчали.

Видно было, что больной весь ушел в какие-то приятные для него мысли. Дьякон кашлянул и, усмехнувшись себе в ус, встал с камня.

— Ну, прощай, Датуа! Молю господа бога и святого Георгия, чтобы ты поправился и стал опять таким же молодцом, каким был прежде. Унывать не надо, дорогой! Господь бог милостив! Он пошлет долгую жизнь нашему доброму царю, — а нам больше не о чем и тужить. Всего у нас будет вдоволь! — И Захарий, распроставшись с Датуа, поплелся своей дорогой.

— Дай тебе бог долгих, долгих лет жизни! А уж я не забуду твоего благодеяния, дорогой Захарий! — крикнул ему вслед растроганный Датуа.

— Ты про знахарку не забудь! — отозвался ему с дороги дьякон.

Вернувшись домой, дьякон торопливо оседлал лошадь, дождался полных сумерек и, вскочив в седло, поехал по направлению к деревне Эшмакеули.

А Датуа все продолжал сидеть на месте и раздумывать. Он думал о том, что сообщил ему нынче дьякон Захарий. Печаль и радость боролись в его сердце и отражались попеременно на его исхудавшем лице. Перед его мысленным взором встала его юность, дорогие сердцу места и те люди, среди которых протекала его юность. Он вспомнил мать, отца, братьев, родственников, их могилы — и тяжкий стон вырвался из его груди. «Нет, нет, братец, где ты родился — там пусть и упокоятся твои кости», — сказал сам себе Датуа, вставая с камня. Оглянулся кругом и снова сел. С новой силой обступили больного думы все о той же русалке; ему опять представлялось ее появление в родном доме и постепенное обнищание зажиточной некогда семьи. Он вспомнил смерть матери и братьев, болезнь других своих братьев, вспом-

нил виноградник, отнятый властями за долги, падеж скота, свою болезнь и тысячи других, менее значительных бед, постигших нашу семью. Все эти воспоминания отчетливо и неторопливо прошли перед мысленным взором Датуа и пролили не одну каплю яда в его и без того истерзанное сердце... Потом в его воображении встали картины жизни в Караязах, нарисованные ему красноречивым собеседником.

— А ей-богу, это же сущее благо божие для таких бедняков, как мы,— пробормотал про себя Датуа.— Но вот беда, что я болен,— добавил он тут же со вздохом.— Боже, смилуйся надо мной! Боже великий и святой Георгий, помогите мне стать на этот новый путь жизни! «Не позабудь, говорит, про знахарку». Да-да, никак нельзя забыть! — сказал сам себе Датуа, вставая с камня, и, нащупав свою палку, медленно заковылял домой.

— Жена, а жена! — закричал Датуа, придя домой.— Пойди-ка ты в Эшмакеули к знахарке. Пусть погадает тебе. Говорят, она очень хорошо предсказывает будущее. Авось нагадает и нам?

— Я пойду, дорогой деверь! — вызвалась моя матушка.— Саломэ недосуг, у нее грудной младенец на руках и девчонка нездорова.

— Да нет же, нет! — закричал Датуа.— Пусть идет моя жена.

Матушка умолкла, а жена Датуа, Саломэ, вызвалась пойти к ворожее в Эшмакеули:

— Завтра же с восходом солнца пойду и поведу Нинику.

Потолковали о том, что хотели бы они узнать от знахарки и как должна была вести себя с ней Саломэ, поужинали и улеглись спать.

## VIII

На другой день мы тщетно прождали Саломэ до сумерек. Вечером, сидя у очага, мы ломали голову над тем, почему запаздывает Саломэ. Уже пригнали домой стадо, на дворе совсем стемнело — вдруг раздалась чьи-то шаги. Все прислушались. «Кажется, идут»,— сказал кто-то. Скрипнула дверь, и вошли Саломэ и Ниника. Сначала мы обрадовались, но при виде мрачного лица Саломэ радость наша мигом рассеялась.

— Где вы были до сих пор? — раздался в тишине голос Датуа.



— У черта на рогах! Где я могла быть? — холодно отрезала Саломэ, словно вылила нам на голову ушат воды. Несколько минут царило тягостное молчание.

— Народу к этой ворожее привалило видимо-невидимо! — продолжала тетушка уже более спокойно. — Кто только там не был! Осетин, еврей, армянин, грузин — и не знаю кто еще! Когда мы пришли, дом уже был битком набит. Уж мы проталкивались, проталкивались вперед, да зря все... не пропустили нас... Сели и стали ждать своей очереди; к вечеру с трудом дождались. Вошли. Сидит на тахте молодая женщина, держит в руках зажженные свечи, перед ней лежит бычья лопатка. Люди подходят к женщине, кланяются ей, кладут перед ней свечи и деньги, а потом спрашивают о том, что хотят у нее узнать. Я тоже так поступила. Но, родные мои, что она мне сказала!.. Что она мне сказала, бог ты мой!

— Что же она сказала, говори скорей? — кинулась к Саломэ моя мать.

— Все наши беды и несчастья выложила мне. И так подробно все описала, что я диву далась, право! «Вы, говорит, лет десять назад были состоятельной семьей, но потом привязалась, говорит, к вам окаянная русалка, убила у вас старшего в семье, потом старуху, потом парня молодого, а у другого разум отняла. Но и на этом, говорит, не успокоилась, окаянная. Стала донимать одного человека, которому вы должны были как-то деньги, заставила его увеличить долг со ста рублей до шестисот и так его доняла, что он подал в суд и у вас отобрали виноградник».

— Боже милостивый, святой Георгий-победоносец! — прервал рассказ Саломэ Датуа, возведя глаза к потолку и осенив себя крестным знамением.

— «Но вы, говорит, не очень-то унывали... думали, раз она не подает больше голоса, стало быть, и отстала от вас. Да нет, куда там отстала; она поселилась у вас в доме. И ваш старший в семье занемог после этого».

— Да она ясновидящая, эта женщина! — воскликнул взволнованный Датуа.

— «А теперь, — продолжала Саломэ, — подбирается она, говорит, к женщинам и детям. И спасение ваше только в том, чтобы сойти с этого места и переселиться куда-нибудь подальше. А то сживет она, анафема, со свету всю вашу семью».

Саломэ умолкла. Матушка сидела бледная как мертвец, но лицо Датуа не выражало ни страха, ни смуты.

— Не хочет отстать от нас, окаянная! — тихо произнес Датуа, — придется нам переселиться отсюда.

— Что ты, Датуа! Куда же мы можем переселиться? — воскликнула с ужасом мама. — Какая-то негодная баба, обманщица, сбрехнула что-то с чужих слов, а мы из-за этого должны сниматься с места и переселяться куда-то за тридевять земель?

— Ой, что ты! Не гневи бога! Как можно называть божьего человека негодным? Ты что же, не слыхала, как она подробно пересказала судьбу нашей семьи? — укоризненно заметила моей матери Саломэ.

— Нашу судьбу, милая, не то что эшмакеульская ворожея, а и вся округа знает. К нам даже с окраин города приходили узнавать о русалке. Ворожея тоже, верно, знает о нас понаслышке — вот и пересказала тебе.

— Послушай меня, невестушка, — начал снова Датуа, — в словах знахарки много правды. Ежели, скажем, нас не донимает русалка, так почему же наша семья так захирела? Виноградник у нас отняли, скотина почти вся пала, я болен, дети все время хворают... С чего же тогда все это? Еще и то скажи, что мы лишились земли. Семья наша держалась, потому что нас было четверо братьев, — мы обрабатывали с исполу чужие участки, тем и кормились. А было-то у нас всего — выгон, два бывших подворья да вот этот приусадебный клочок... Виноградник и другой участок получше у нас отняли. Что же у нас осталось? Если бы не Ниника, погибли бы мы от голода. Соберем пожитки и выселимся отсюда. Сойдем с этого заклятого места — даст бог, найдем где-нибудь на стороне новое подворье.

— Надо переселиться! Надо! А то, клянусь именем святого Георгия, дети перемрут у нас от голода и хвори, — добавила Саломэ.

— Куда же, куда мы, голубушка, можем переселиться? И где, какой полоумный подарит нам землю? — упорствовала матушка.

— Куда переселимся? Да в Караязскую степь! — заявил Датуа.

— Ой, родимые! Сегодня только и было разговору у гадалки, что о Караязах. Хвалили это место, так хвалили, что и сказать нельзя! Жарко там, говорят, малость, да это ничего. Урожай, говорят, там не успевают

убирать! Гадалке самой довелось побывать там. И не так, говорят, это далеко — за два дня можно обернуться, — сыпала без передышки Саломэ.

— Места, говорят, урожайные на диво, — подтвердил Датуа, — хотя не два, а целых четыре дня езды. Царь наш, говорят, заставил выстроить там дома — приходи и селись! Тут же тебе и землю отмерят и дадут. Но самое лучшее то, что освобождаешься от всех расходов и налогов. И сказывают, что там ни судей, ни приставов не будет.

— Кто это тебе сказал? Кто присоветовал? Бог еще ведает, правда ли все это, — недовольно произнесла мама.

— Ведь вот не втолкуешь ей ничего, этой упрямой бабе, бог ты мой! — рассердился Датуа. — Да зачем мне, матушка, чужие советы слушать? У меня своих ушей нету, что ли? Вот уже год, как только и разговору у нас в округе, что о Караязах. Из Хепрети уже переселились туда несколько семей.

— И мы переселимся, родимые! — весело воскликнула Саломэ.

— Я отсюда никуда ногой не ступлю! Вот и весь мой сказ! — решительно заявила мама.

Разговор на этом прекратился. Датуа хотел, чтобы мы с мамой тоже поехали в Караязы, но мама отказалась наотрез. Наконец, решили, что Датуа с женой, детьми и Ниникой, с запасом провизии на зиму отправятся в Караязы. Деньги на дорогу и на покупку двух буйволов они выручат, продав участок земли. Мы с мамой останемся в деревне, а в пользовании у нас будут приусадебная земля и выгон.

## IX

Осенью наша и без того обнищавшая семья призвала в исполнение свое решение. Дьякон Захарий за полцены купил у Датуа приусадебный участок. На вырученные деньги дядя приобрел двух буйволов и, присоединив к ним двух домашних волов, впряг их в арбу, посадил на арбу жену и детей, нагрузил ее снадью — и пустился в путь.

Мы с матерью остались одни. Дьякон Захарий очень старался выпроводить и нас вслед за семьей Датуа в Караязы. Он то действовал ласковым уговором, то неприкрытой угрозой, подсылал к нам людей. Но моя мать

твердо стояла на своем: «Покуда я жива, с этого места никуда не двинусь!»

Мама хорошо знала грамоту и славилась также как искусная швея на всю округу. Она собрала деревенских девочек и мальчиков и стала обучать их тому малому, что сама знала. Я собирался стать пастухом. Так жили мы тихо, мирно, покойно. Однако нашему спокойствию скоро пришел конец.

Однажды на рассвете раздался отчаянный стук в дверь. Мы вскочили.

— Кто там? — закричала мама.

Стук прекратился, но ответа не последовало.

Мы снова легли и только погрузились в дремоту, как снова раздался стук. Мы снова вскочили, подали голос. Никто не откликнулся.

— Давай откроем дверь и выйдем наружу, — сказал я матери. Она согласилась.

Я схватил топор, матушка — палку, и мы направились к двери. Стали открывать ее; слышим чьи-то торопливые шаги. Открыли дверь и увидели, что какой-то рослый человек перескочил через забор и пустился по проселку.

— Кто бы это мог быть? — спросил я маму, когда мы снова легли в постель.

— Не иначе, сынок, этот супостат — дьякон Захарий!

На другой день вся деревня знала о случившемся. Пустили слух, будто русалка снова повадилась ходить к нам в дом. Пошли по соседям сплетни и пересуды. Беда вся была в том, что сплетни эти имели под собой некоторую почву. Каждую полночь, в течение целой недели, раздавался стук в двери. Но это было еще не все! Дьякон Захарий стал поносить нас на все село... Дошло до того, что он вслух заявил при людях, что подошлет двух-трех осетин к этой очумелой бабе (моей матери), чтобы убить ее сына. Об этом тайно сообщили нам соседи и посоветовали быть настороже. И многое другое передавали нам люди. Но что мы могли поделать? Этот пройдоха дьякон явно прибрал к рукам деревню, стал ее господином. Никто из сельчан не осмеливался перечить ему, все лебезили перед ним. Ну что могла поделать бедная вдова с распоясавшимся пройдохой?

— Надо что-то придумать, сынок, а то этот злодей учинит над нами расправу.

— А что же придумать, матушка? — спросил я. — К Датуа поехать, что ли?

— Нет, родной! Мы просто-напросто оставим этот дом. Тебя я пошлю к дяде, а сама перейду к куму своему Тэдорэ. Мне нельзя уходить отсюда, а то этот негодяй приберет к рукам и остатки нашего добра. Будь они прокляты, нынешние законы! Если он в течение трех месяцев будет пользоваться нашим участком, то потом уже вовсе присвоит его и оставит нас ни с чем.

Я очень любил дядюшек своей матери, радовался, что мне вскоре предстоит отправиться к ним, и не удержался — поделился с соседскими ребятишками своей радостью. Вскоре вся деревня узнала о намерении моей матери. Однако этому намерению не суждено было сбыться. К нашей радости, стук по ночам в доме прекратился. Дьякон тоже как будто утихомирился. Матушка поначалу удивилась этому обстоятельству, подозревая, что за этим затишьем последует новая гроза. Но прошли месяцы, а нашего покоя никто больше не нарушал. Мама тоже успокоилась. Наша жизнь вошла опять в мирную колею.

В ту пору к нам в деревню приехал на богомолье из города один плотник со своей семьей. Увидя меня однажды вечером у дверей церкви, плотник воскликнул:

— Какая жалость, что такой паренек сидит зря в деревне. А ведь он бы мог учиться какому-нибудь ремеслу.

Я передал эти слова матери. Мама очень обрадовалась.

— А может, он, сынок, возьмет тебя в ученики?

— Подойдем попросим! — ответил я.

Мы так и сделали. Поднесли плотнику молодой фасоли, свежих огурцов и еще кое-чего и попросили его взять меня в обучение. Тот обрадовался, взял меня. После этого я оставался в деревне еще два дня. За это время мама собирала меня в дорогу, и когда плотник, сев на арбу, тронулся в путь, я попрощался с матушкой и побежал за арбой; но невольно я все оборачивался и смотрел назад, в сторону нашего двора, у калитки которого стояла мама. Сердце мое словно предчувствовало, что я в последний раз вижу свою дорогую, бедную, многострадальную матушку.

## Х

Прошло два года с той поры, как я поступил к плотнику. Я часто получал письма от матери. Она писала о себе все одно и то же: «Нет мне покоя от Захария, он

всюду ругает и поносит меня; соседи, боясь его гнева, не решаются даже зайти ко мне занять хлеба», и так далее. В последнем письме матушка повторяла свои жалобы. Потом письма перестали приходить. Вскоре после этого я распрощался с плотником и отправился домой.

На землю уже спускались сумерки, когда я вышел на проселочную дорогу и перед моим взором открылись поля и прибрежные заросли — те места, где я, деревенский парень, преследуемый невзгодами крестьянской жизни, провел свое детство и юность. Сердце мое забилось. Одна за другой, с лихорадочной быстротой, пронеслись в моем сознании горькие и радостные мысли. В памяти моей промелькнуло все мое детство. Вот наша всегда непролазная грязная и все же любимая мною проселочная дорога. Мир вам, незабвенные изгороди, сливовые деревья и птичьи гнезда! Мир вам! Так приветствовал я родную деревню, медленно шагая по дороге, уже утопавшей в вечерних тенях. Я свернул с проселка и увидел наше старое подворье. Никаких следов, что здесь когда-либо стояло жилье человека! Участок этот дьякон Захарий присоединил к своему наделу. Я обогнул это место и потом пошел напрямик к своему дому. Я шел и представлял себе маму, сидящую с носком и спицами в руках у очага: она вяжет и бормочет что-то себе под нос. Вот я открыл дверь. Матушка услышала скрип двери.

— Кто там? — спрашивает она. — Это ты, Кадуа? — окликает она нашу соседскую девочку.

Я молчу и тихонько подхожу к моей дорогой, ласковой матушке.

— Родной мой! Сыночек ненаглядный! — восклицает она, бросаясь ко мне.

Так шел я, представляя себе эту картину. Вот и наш дом. Вот входные двери. Но какое кругом запустение! Мама ведь так любила чистоту и порядок! Двери? Двери крепко-накрепко заперты. Тут смутное подозрение закралось в мою душу. Сердце тоскливо заныло, внезапные слезы навернулись на глаза.

— Чего я плачу? — спросил я насмешливо самого себя. — Наверное, мама отлучилась к соседям.

И я направился к дому нашего соседа, вошел в сени. Предо мной стояла, опершись на палку, старая Талиа. Она не узнала меня.

— Кто ты, сынок? — прошамкала она.

— Не узнала меня, бабушка? — ответил я. — Я Симон Арешендашвили.

— Ах ты родной мой! — заголосила печально старуха. — Ослепни глаза мои! Ничего я не вижу, стара я стала! Ковыляю еще по земле, а твоя бедняжка мать лежит в земле! Где же, смерть, твоя справедливость? — и старая Талиа принялась голосить и плакать. На ее плач из дому выбежали дети и невестки и ввели нас обоих в комнату. Я окаменел, чувствуя, что на меня обрушилось огромное несчастье. Ни слез, ни стонов. Не в силах вымолвить ни слова, я озирался по сторонам, как сумасшедший. Миновала ночь. На другой день я немного пришел в себя и стал осмысливать свое положение. Я стал спрашивать соседей и близких о причине смерти моей матери. Большинство утверждало, что виновницей ее смерти была русалка. Иные же говорили, что это дьякон Захарий отравил матушку.

— А что о Датуа слышать, не знаешь? — спросил я одного из наших родственников.

— Как не знать! — ответил он. — Приехал он в эти степи Караязские и ровнехонько ничего там не нашел, да падут его беды на дьякона, только пустошь одну. Приютился с семьей на зиму в какой-то хижине. Весной Датуа захворал и через две недели отдал богу душу. Двое малых ребят умерли еще раньше отца: местность там нездоровая. Остальных подобрал и взял к себе какой-то кахетинский князь. Ниника в батраках теперь служит у этого князя, а Саломэ — пекаркой. Двое старших сыновей убежали от отца и поселились в Тифлисе. Наш Гигола видел их там: разбойничают, говорят, тем и живут.



## *Нико Лордкипанидзе*

### БОГАТЫРЬ

**П**рангулашвили издавна славились по всей Нижней Имеретии своей богатырской силой. Недаром их часто называли Вешапидзе. И в самом деле они обладали столь же чудовищной силой, сколь и чудовищной прозорливостью. В боях Вешапидзе никогда не притязали на первенство, но кинжалом, величиною с буйволиное ярмо, орудовали так, словно то был легкий прутик.

И применяли они это оружие своеобразно. Если вражеский отряд приближался гуськом, Прангулашвили разили противника прямо в грудь или живот, не разбирая, в кость или мякоть, одним ударом насаживали на острие кинжала по два-три человека и потрошили их, точно поросят. Если же враг наступал развернутым строем, они били наотмашь от правого уха к левому бедру, сокрушали одним ударом двоих противников, а третий сам валился на землю, то ли от ужаса перед сверкающим лезвием, то ли опрокинутый воздушной волной.

На войну Прангулашвили обычно посылали только одного воина, ни больше, ни меньше, поскольку весь их род состоял из одной семьи.



Кого-то из Прангулашвили так искромсали в бою, что на нем живого места не осталось. Монах Гогия долго глядел на бездыханное тело, лежавшее перед ним в пыли и крови, и, наконец, пробормотал: «Не жилец он на белом свете!» И все-таки монах решил попытаться счастье и не покинул брата во Христе на поле брани. «Такому воину и сам святой Георгий не откажет в помощи», — думал он, обмывая раны Прангулашвили и вливая ему в рот вино.

Ран на нем было так много, что не стоило перевязывать каждую в отдельности. Монах наложил сорок тампонов, обсыпал все тело раненого мелко нащипанной корпией и запеленал его в большую простыню, оставив открытыми только ноздри и рот, чтобы он мог свободно дышать.

Монаху долго не удавалось вынуть гигантский кинжал из судорожно сжатой руки Прангулашвили. Пришлось смазать рукоятку салом и полить пальцы маслом. Высвободив, наконец, кинжал, старик вложил его в ножны.

— Что же это со мною приключилось? — с недоумением воскликнул Прангулашвили, придя в себя на третий день.

— Ты ранен, сын мой.

— Где я?

— У меня в келье.

— Дай пить...

— Вот вода, сын мой.

— Спасибо. А давно я ранен?

— Три дня прошло с тех пор.

— Освободи-ка меня от повязок.

— Я и сам хотел осмотреть твои раны.

Монах впал в изумление, увидев вместо зияющих ран едва заметные красноватые рубцы.

Только две раны чуть кровоточили — рассеченное топором плечо да кинжальная рана от лба к носу.

— Дай снова перевяжу, — сказал монах.

— Не стоит, святой отец, присыпь солью, и все.

— Что ты, сынок? Соль ведь жжет, боль такая — не стерпишь!

— Пустяки! Схвачусь с врагом и забуду.

Прангулашвили легко вскочил с ложа, — казалось, вздремнув после обедни, он спешит теперь на веселую пирушку.

— Слава тебе, господи! — воскликнул монах. — Ты создал человека-скалу, и ты же сотворил человека-былинку...

Прангулашвили долго хранили диковинный кинжал легендарного предка.

Кинжал стоял в углу, и нужно было обладать богатырской силой, чтобы извлечь его из ножен.

Лемех сохи, мотыга, лопаты и топоры, поныне еще принадлежащие семье Прангулашвили, выкованы из чистой стали этого кинжала.

Прангулашвили размножались.

Один из них обеднел до того, что иной раз и пообедать было нечем. И пришлось бедняге много работать, да мало есть,— недаром говорят: «По одежке протягивай ножки».

Как-то приказал он жене приготовить обед на двенадцать человек.

— Хочу за один день промотыжить арендованную землю, потом уйду в лес, авось удастся немного заработать.

Жена приготовила обед и понесла в поле.

— Где же твои помощники?

— Мы только что кончили, разбрелись кто куда. Приготовь-ка ужин получше.

— Благослови их бог... На славу поработали,— сказала жена и ушла.

Вечером муж воротился домой один-одинешенек. Жена спросила:

— Где же остальные?

— Скоро подойдут. Выкладывай на стол что настряпала!

Хозяйка вынесла на балкон все, что у нее было. Прангулашвили уселся за стол.

— Слава господу богу, да благословит сн Глахуа Прангулашвили и жену его Сидонию,— произнес он и опорожнил кувшин вина, разбавленного водой.

— Что ты, что ты! Неужели не подождешь своих помощников?

— Какие помощники! Я сам себе и хозяин и помощник. Угости чем можешь!

— Ох, ослепнуть мне! — воскликнула Сидония и горестно хлопнула себя по щеке.— Наказание господне, зарезала последних двух гусей, ничего в доме не осталось... мерку муки у соседей заняла...

— Начнешь теперь куски считать! Поработал я за двенадцать человек, а то и больше, не все ли тебе рав-

но, кто съест твоих гусей — двенадцать чужих или собственный твой муж?

— Ох, ох, что за человек, ослепнуть мне, на тебя глядячи!

\* \* \*

Богатый помещичий дом. На кухне суетятся слуги, бранятся повара, покрикивает моурав.

— Нарезь баранину! Живее, ишак!

— Жуешь да жуешь, неси гоми к столу!

— Где серебряные ложки?

— Переворачивай, чего зеваешь!

— Блюдо, блюдо мне!

— Барин вина требует!

— Передайте пустой кувшин!

— Просят оджалеси. Черт бы его взял, поналивали во все кувшины этого белого!

— Слей в котел, парень, сами разоъем!

— Некуда! Здесь корка от гоми, там харчо; и достанется же мне от барина за то, что замешкался! Вылью проклятое — и все!

— Дай, братец, кувшин, я его мигом опорожню...

— Будь другом... Смотри-ка, смотри, что он делает? Пьет и пьет... Нет, брат, не осилишь... До дна! Вот так молодец!

Слуга схватил огромный пустой кувшин и кинулся с ним в погреб.

— Как звать тебя, братец? — спросил дворецкий незнакомца.

— Глахуа Прангулашвили... У меня письмо к барину, сделай милость, передай.

— Ладно, а пьешь ты, брат, здорово, клянусь жизнью барина! Садись, успеешь пообедать, пока напишут ответ на письмо.

— Спасибо, путь мне предстоит дальний, не задерживайте...

— Сейчас передам.

\* \* \*

— Вам письмо, батоно.

— Давай! Что случилось с моим свояком? Просит охапку сена?! Эй, моурав!

— Прикажите, батоно!

— Угости как следует того человека и дай ему сена, сколько подымет... Да из лучшего стога...

— Слушаюсь, батоно.

\* \* \*

— Батоно, помилуйте, он весь стог забрал, не то что охапку.

— Полно врать!

— Клянусь твоей милостью. Это сено я берег для коня госпожи. Он опутал стог веревкой и тянет. Мы не позволили. Как быть, прикажите?

— Что за черт! Кто он такой?

— Прокляни его господь, кто бы он ни был! Выдул, не переводя дыхания, целый кувшин, сожрал поросенка, котел гоми и двенадцать мчади, потом со всеми вместе уплел говядину, каравай хлеба и, вставая от стола, выпил еще кувшин вина — во здравие, говорит, барина!

— Отдай, брат, отдай, а я погляжу, как он стог на спину взвалит. Неужели унесет?

— Унесет, батоно, хоть бы кто врагов твоих так унес...

Хозяин, гости, прислуга — все от мала до велика высыпали полюбоваться удивительным зрелищем.

Прангулашвили крепко встряхнул стог, затем повернулся к нему спиной, захватил на груди концы веревки, которой стог был перевязан, пригнулся, и... стог двинулся в путь.

Человека не было видно.

Хозяин не удержался и крикнул вдогонку:

— Скажи барину, чтоб не держал тебя в доме, разоришь, брат, семью.

— Скажу, батоно,— отозвался стог.

Таковы были Прангулашвили, которых многие называли Вешапидзе.



## *Сулейман Сани Ахундов*

### **АХМЕД И МЕЛЕКЕ**

**Б**ыла глубокая зима. Спасаясь от стужи, все попрятались по домам. В жарко натопленной комнате собралась за столом на ужин семья Гаджи-Самеда: старушка-мать, жена, двенадцатилетний сын Мамед и семилетняя дочка Фатьма. Ждали отца.

Гаджи-Самеду было пятьдесят лет. Это был добродушный, чистосердечный и щедрый человек. Не в пример другим правоверным мусульманам он сам следил за учебой и воспитанием своих детей. Сынишку своего, Мамеда, он отдал в городскую начальную школу, а в этом году стала учиться в женской школе и маленькая Фатьма.

Закончив свои дела, Гаджи-Самед вошел в столовую, занял свое место за столом, и все принялись ужинать.

У Гаджи-Самеда вошло в привычку — после еды пить чай. В это время он обычно читал вслух книгу или газету, рассказывал детям интересные случаи из своей жизни или страшные истории. Как только отец брался за очки, все затихали и с нетерпением ждали, когда он начнет читать.

Но в этот вечер Гаджи-Самед молча углубился в газету. Сгорая от желания услышать какой-нибудь новый рассказ, Фатма попросила бабушку:

— Расскажи мне страшную сказку.

Услышав слова сестры, Мамед рассмеялся:

— Если ты так любишь страшные сказки, почему же в прошлый раз, когда бабушка рассказывала о Мелик-Мамеде, ты, как только услышала, что появился див, побежала прятаться к маме?

— Ничего подобного, и вовсе я не испугалась!

Тут Гаджи-Самед отложил в сторону газету и сказал:

— Хорошо, доченька, сегодня я вместо бабушки расскажу тебе страшную сказку, но с условием, чтобы ты не боялась.

— Нет, папочка, не буду, расскажи!

Гаджи-Самед отпил глоток чаю и начал:

— Так вот, в некотором царстве, в некотором государстве, среди дремучего леса, на берегу тихой реки раскинулось село Татарджык. Жители его занимались земледелием и извозом. И жил в этом селе, доченька, человек по имени Нуреддин. Были у него десятилетний мальчик Ахмед, дочь Мелеке шести лет и жена Хадиджа.

Нуреддин был бедным земледельцем, и единственным достоянием его была лошадь. Случилось как-то, что весна и лето выдались в том краю без дождей. Хлеб от засухи сгорел на корню и пропал. Немного спустя начался голод. Осенью Нуреддин запряг свою лошадь в арбу и направился в город грузы возить. Все, что он там зарабатывал, каждые четыре-пять дней отсылал домой. На это семья и кормилась.

Ахмед учился в сельской школе и умел хорошо читать. Он всегда читал письма, приходившие от отца. Как-то Ахмед написал отцу и попросил купить ему башлык, а сестренке Мелеке — перчатки. «Только ты побыстрее пришли нам эти вещи», — просили дети. Но прошло пять дней, неделя, десять дней, а от Нуреддина не было никаких вестей. Хадиджа очень волновалась. Деньги у нее кончились, хлеб в доме был на исходе.

И вот, дорогие мои ребята, однажды, в такую же, как сегодня, снежную морозную ночь кто-то постучался в дверь.

— Отец приехал! — разом воскликнули дети и побежали открывать.

Но в комнату вошел в овчинном тулупе и башлыке, в рукавицах их сосед Шахабеддин. Вместе с Нуреддином он уезжал в город на заработки. Когда Хадиджа увидела его, сердце ее сжалось от страха.

— А где же папа? — спросили дети, но Шахабеддин не ответил. Он попросил Хадиджу выйти с ним и рассказал, что ее муж вместе с лошастью и арбой свалился в ущелье и погиб. Отдав Хадидже шесть рублей — все, что было в кармане покойного, Шахабеддин ушел.

Побледневшая, онемевшая от горя Хадиджа вернулась в комнату и, обняв детей, горько заплакала. Стоны и рыдания слились с завыванием метели за окном. Потом, когда они немного успокоились, Ахмед спросил:

— Мама, как же мы будем жить без папы в этот голодный год?

— Не бойся, сынок, если надо будет, я и волосы свои продам, но не допущу, чтобы вы голодали!

Хадиджа раздела детей, уложила их в постель. Немного погодя они заснули. А сама она в ту ночь до утра не смыкала глаз. Тяжкие мысли овладели ею. Беззащитная женщина осталась одна с детьми. Как же жить?

Прошло некоторое время. У Хадиджи кончились деньги. Она начала продавать вещи. Но вот наступил день, когда в доме уже больше ничего не было, а дети сидели голодные. В чьи бы двери она ни стучала за хлебом, возвращалась с пустыми руками — у всех дела были не лучше. Несчастные дети обессилели, изнемогали от голода. Бедной Хадидже не на что больше было надеяться. Часами сидела она в углу на старой циновке, обхватив руками колени; тайные рыдания теснили ей грудь, а слезы уже не шли из глаз.

Наступил, доченька моя, вечер. Румяные щечки Мелеке побледнели от голода...

— Ой, папочка, не рассказывай дальше, мне страшно, не рассказывай! — вскричала вдруг Фатьма, вскочила с места и прижалась к отцу.

Гаджи-Самед ласково погладил девочку по голове:

— Не бойся, родная, все будет хорошо, вот послушай. На чем же я остановился? Да... Хадиджа раздела Мелеке, уложила ее в постель. Но бедная девочка не могла уснуть, все ворочалась с боку на бок. Хадидже хотелось как-то успокоить ее, и она сказала:

— Спи, Мелеке. Закрой глазки, доченька, и спи. Ночью прилетит ангел и сбросит нам в трубу хлеба.

Мелеке закрыла глаза, и вскоре послышалось ее ровное дыхание.

А Ахмед с матерью долго не могли заснуть. Вдруг они услышали сильный шум и увидели, как что-то тяжелое со стуком упало из печной трубы на пол. Мать и сын испугались, а потом встали посмотреть, что же это такое свалилось к ним. Возле печки лежал туго завязанный мешок. Дрожащими руками Хадиджа развязала узел, и они увидели, что мешок полон хлеба, сушеных дынь, жареных цыплят и прочей снеди. На самом дне они обнаружили какой-то круглый сверток. Развернув его, они увидели целую кучу денег. Мать и сын застыли от изумления. Тут Ахмед заметил, что на бумаге, в которую были завернуты деньги, что-то написано.

— Мама,— воскликнул он,— послушай!

И, подняв бумагу, мальчик прочел:

«Доченька моя Мелеке, я — старый путешественник. Возвращаясь в город, я проезжал через ваше село. У самого вашего дома с оси моего фаэтона соскочило колесо. Пока его чинили, я решил немного отдохнуть и погреться и подошел к вашим дверям. Так я услышал, как мама уговаривала тебя уснуть. Тогда я вернулся к фаэтону, уложил в мешок немного продуктов и деньги и бросил его в трубу. Живи, доченька, будь счастлива и не забывай меня, старого деда. Прощай! Путешественник Джамаледдин».

В этот миг проснулась Мелеке.

— Мама, ангел уже бросил нам в трубу хлеба? — спросила она.

— Да, доченька, но не ангел, а дедушка Джамаледдин,— ответила мать, поднося девочке множество вкусных вещей.

В ту ночь мать и дети не знали, что делать от радости. Потом они спокойно заснули.

А сейчас и вы, мои родные, ложитесь спать, ведь утром вам нужно идти в школу.





## Змитрок Бядуля

### ПАНАС НА НЕБЕ

*По народной сказке*



омер старый Панас.

Тело его похоронили на кладбище, а душа, как все человеческие души, жаворонком в небо полетела.

Попав в незнакомое место, Панас огляделся по сторонам и скоро уразумел, что к чему: «Эх, язык до Киева доведет! Кто спросит, тот не заблудится».

И давай у встречных-поперечных допытываться: — А где же тут, пане-добродзею, дорога в рай?

Крылатые ангелы пялили глаза на простую душу, а все-таки показывали дорогу, уверенные, что тут никаких хитростей нет; ведь коли человек смолой в глаза лезет, так это не хаханьки какие-нибудь.

Боком-скоком добрался Панас до райских врат.

— Эй! — крикнул Панас снаружи. — Пусти, дядька, в рай!

— А кто это там горло дерет! — отозвался за воротами ключарь Петр.

— Это я!

— А кто ж ты?

— Ну, я ж! Отвори, дядька, ворота!

— Ишь ты, какой ловкий! А что ты там на земле поделывал? Будь ласков, скажи!

Тут у Панаса на душе тошновато стало. Вспомнил он, как однажды перед попом шапку не снял. Вспомнил, что когда мать померла, так он долго креста на могиле не ставил, покуда не удалось стащить сосну из господского леса. Еще много чего припомнил он, и давай затылок почесывать.

— Как тебя зовут? — спросил ключарь Петр и чуть высунулся из-за ворот, оглядывая Панаса с головы до ног.

— Панас... — боязливо, будто он перед урядником стоит, ответил Панас и опустил глаза.

— Молился? — сурово спросил Петр.

— Часом, — бормочет Панас, озираясь по сторонам как бы в поисках спасенья.

— Почему «часом»? — строго кричит Петр.

— Потому, знаешь, паночек, бо...бо...бо... не умею, — захлебывался Панас словами, будто горячие клецки глотал.

— Ага, значит, неаккуратно молился, — отчеканивает Петр каждое слово, как заседатель. — А выпивал аккуратно? А жену бил? А за хозяйством смотрел как следует?

Словно дробью, засыпал его Петр вопросами. Панас так корчился, будто его крапивой стегали.

— В ад! — сказал Петр и хотел было затворить ворота.

Панас, увидев этакое дело, чмокнул руку Петру и давай молить-просить, точно так, как научила его на земле старая пани, когда за потраву забирала Панасову кобылу в панский сарай.

— А я ж неученый... а я ж простой, темный мужичина... — запричитал и захныкал он на все небо. — Разве ж я виноват, что не знал, как жить на свете? Разве ж я виноват, коли не...

— Ну хватит! хватит! — перебил его Петр и, с усмешкой поглядывая на Панаса, поглаживал свою седую бороду. — Хорошо, Панас, может, и попадешь в рай, потому что знаем: ты неученый. Но вот какое дело — не пушу тебя в рай, покуда не научишься хоть немножко грамоте. По крайней мере станешь сидеть да «Отче наш» читать. А то худо, коли ты на всех святых глупой

вороной смотреть будешь и никто голоса твоего не услышит.

Горько стало на душе у Панаса.

«Лихо его знает! Это легко сказать: научиться грамоте! Мой Габрусь пять зим учился, а еле-еле по складам читает. А мне, старому хрену, где уж тут уразуметь?»

Даже мурашки поползли по его спине.

Тем временем Петр затворил ворота, дав Панасу Псалтырь, по которому приказал учиться.

Панас ткнул книжку за пазуху и, печально опустив голову, побрел куда глаза глядят. Он и надежду потерял в рай пробраться. Ему казалось, что куда легче головой вниз ходить, чем научиться грамоте. Но, «коли на дно покатишься, то и за бритву схватишься», — говорят люди. И бедный Панас, не видя другого спасения, раскрыл Псалтырь и, как аист, скосился на непонятные буквы. Ох, как же ему не хотелось попасть в ад на закуску. «Купил — не купил, а поторговаться можно», — подбадривал он себя и уселся на камень у большака. Уткнулся глазами в Псалтырь и давай у каждого встречного-поперечного допытываться:

— Паночек, родненький, что это за буква? А что означает этот выкрутас? А как читается эта дуга? А как выговаривается это мудреное топорище? А как все вместе выходит?

Как ангелы ни спешили по своим делам, но, увидев, что человек просто из кожи вон лезет, что с лысины у него пот градом катится, стали охотно ему объяснять.

Там ведь не такие дурные, как на земле.

Панас сначала бекал-мекал, а через неделю уже ничего себе, читал. Через две недели Панас так наловчился, что потрафил бы читать Псалтырь на добрых поминках за чарку горелки. На земле его похоронили без попа и дьяк не читал, потому что жене нечем было ему заплатить.

В счастливой улыбке Панас разинул рот чуть не на все небо. Смело отправился он к святому Петру.

— Эй! — крикнул Панас с одной стороны ворот.

— Кто там? — спросил с другой стороны Петр.

— Я! Панас!

— Ну что, научился?

— Научился!

— А ну, попробуй почитай! — Петр заскрипел воротами и вышел послушать.

Панас откашлялся раз, другой, раскрыл засаленный Псалтырь и стал читать преважно, словно ксендз в костеле.

Петр кивал головой и удивлялся.

— Ну что, — говорит Панас, — хорошо?

— Гм, хорошо. Теперь, Панаска, иди смело в... ад.

— Что?!

Панас приставил руку к правому уху. Ему показалось, что он что-то недослышал.

— В ад иди! — гневно крикнул Петр. — Видишь, какой ты неученый, какой ты «темный мужичина»! Вот и твои оправдания никчемные. Человеку нужно только захотеть. Смотри, как ты быстро научился читать, когда подступило, как говорится, с ножом к горлу! Небось кабы захотел, так и на земле много чего хорошего сделал бы. А теперь убирайся в пекло, душа гулящая! Не мозоль мне глаза, плутяга!

Панас от удивления и страха так разинул рот, что чуть все небо не проглотил. Однако полещука не так-то легко сбить с панталыку. Не успел Петр затворить ворота, как Панас смело крикнул:

— Погоди!

За то время, что Панас околачивался на небе, он освоился тут, как на собственном покосе.

— Чего ты? — строго уставился на него Петр, нахмутив седые брови.

— «Чего ты?» — передразнил его Панас. — Разве ж так можно?

— Что «разве так можно»?

— Думаешь, полещука голыми руками возьмешь? Разве можно так насмехаться над старым хлеборобом? Сказал бы сразу, что, мол, кабы хотел, так все бы успел на земле сделать. Я б тогда и не спорил. Что ж, либо пан, либо пропал! А то Псалтырь в руки тычешь: на, учись! Сколько пота мне стоило это мое образование! Чем же ты мне заплатишь за труды, коли и ломаного гроша на небе нету! Что же мне теперь делать?

Пожалел его Петр:

— Иди, шельмец, в рай. Тебя не переспоришь.

Живется Панасу в раю, как сыру в масле. Усердно Псалтырь читает, прислуживает святым, трубки подает. Но вскорости заскучал: привык полещук к работе, без нее ему невмоготу. Подмазался он снова к ключарю Петру:

— Давай-ка, дядька, помогу тебе около ворот копошиться, а то одному-то небось тяжелько?

Согласился Петр.

И сделался Панас помощником ключаря при райских вратах. Коли душа какая в ворота стучится, Петр только ключ повернет, а Панас открывает, Петр глянет, стоит ли в рай пускать, а Панас тем временем высунет лысину, смотрит, может, знакомый повстречается. Частенько болтал он таким образом со своими односельчанами, допытывался новостей. Полещук нигде не пропадет...

Однажды высунул он, как обычно, голову, чтобы посмотреть, где что делается, и вдруг вздрогнул, словно кто его укусил:

— Боже мой! Кого ж это я вижу? Это ж Тэкля! Женка моя! Она, лопни глаза мои, она...

Петр долго Тэклю не допрашивал, потому что знал, как ее мучил Панас на земле, и сразу впустил в рай.

— А! И ты тут как тут! — загремела Тэкля, завидев Панаса.— Вот уж не думала, не гадала! Уж не заблудилась ли я? Ведь твое-то местечко в аду!

— Боженька мой, мне теперь рай горше ада станет! — застонал Панас, стремительно перескочил высокую ограду, да и наутек.

— Панас! Панас! — звал его Петр.— Вернись!

Панас ударил во все лопатки. Он уже хорошо знал разные закоулки и глухие уголки на небе, нашел еще скитальцев-полещуков и заделался их старостой.

Поделил им Панас небо на полоски и приказал работать. Вот так работают и по сегодняшний день. И впрямь весело им живется. Какое жито там растет, какие леса шумят, так только дивись!

Бросил Панас старушку Тэклю, она ведь ему еще на земле достаточно опостылела, и взял себе двух женок. Только пусть вас это не удивляет, люди добрые,— на небе можно иметь много женок, потому что в другой раз уж в могилу не вгонят!

Панасовы жены, как и все бабы на свете, страшно любопытны, хочется им знать, где что делается.

Высунет одна голову на землю, усмехнется, глаза сияют...

— Солнышко взошло! — говорят люди на земле. Радуются деревенские, легко да весело становится у них на душе.

— Чего ты? Куда глаза вылупила? Может, парня молодого высматриваешь? — злится Панас на жену, как рванет ее за косы, как примется драть, так бедная от боли аж покраснеет.

Другая жена, тайком от сердитого мужа, тоже высывает свое лицо на землю, такая же любопытная, как первая.

— Месяц светит,— говорят люди,— пора на ночлег!

Грустно глядит на землю Панасова жена и слушает, как маленький хлопчик на жалейке играет около речки.

— А, чтоб тебя,— злится Панас,— срам! Я тебе покажу, распутница, как на хлопцев глаза пятит!

Как двинет ей в плечо, так бедная аж повалится и волосами длинными лицо свое красивое закроет.

И плачут Панасовы женки, а люди на земле думают, что это дождь.

В усадьбе Панаса хлопотливые бабы всю ночь кудель прядут при лучинах.

— Звезды горят,— говорят люди на земле.

Порой Панас начинает огонь выбивать из трубки на току, где батраки цепами жито молотят.

— Гром гремит, молния сверкает,— говорят люди на земле.

А мельница на небе большая-пребольшая! Мелет себе и мелет. От завозу просто отбоя нет.

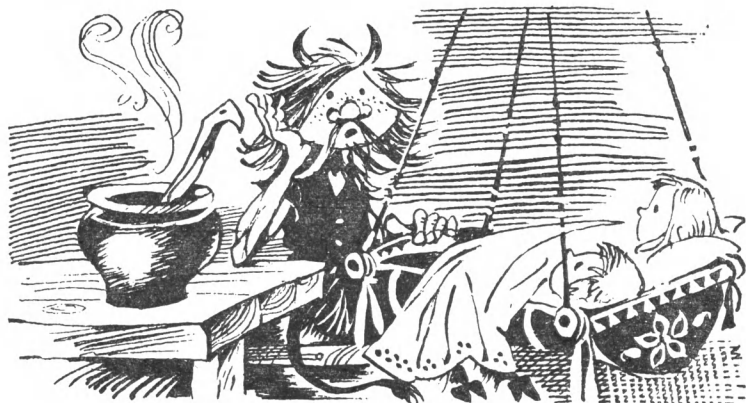
А как станет мельник муку из бороды вытряхивать, так все небо запылит.

— Снег валит! — говорят люди на земле.

Борух там корчму заложил на большаке. Пошла торговля, ярмарки, доходы — прямо не нахвалятся! Больше всего торгуют там дурнями. Этот товар повсюду ходкий.

Вы спросите, на что в раю деньги? Как же без них, коли и корчмарю и попу они потребны. Без них ни шагу! Даже и на небо выбраться с пустыми карманами трудновато: не будут звонить в колокола, не станут псалмов петь, не помолятся за грешную душу.

Одно только полещука на небе беспокоит: число ходков от земли растет не по дням, а по часам. Как ни расставляют сторожей на границах, как ни строго с паспортами, а все ж таки никак не могут устеречь. Уж очень ловок народ на земле: круть-верть — и оглянуться не поспеешь, а он уж на небе. А там — делай с ним что хочешь: не идет назад, да и только, хоть ты его колотушкой...



*Владимир Короткевич*

### ЧЕРТОВ СКАРБ

**В** некоем прекрасном крае, немножко поближе к Солнцу и чуток подальше от Луны, в крае, богатом золотыми нивами, прозрачными реками, синими озерами да темными пущами... Словом, в том крае, где мы с тобой живем, стояла, а может, и теперь стоит одна изба.

А жил в этой избе крестьянин по имени Янка. Здоровый, как зубр, добрый и не очень мудрый. Было у него пятьдесят сынов, сорок волов и кошка. Ну, может, не пятьдесят сынов, а три, не сорок волов, а два. Но кошка была, уж можете мне поверить. Рыженькая такая, с белыми пятнышками. С четырьмя лапами. С одним хвостом.

Пахал Янка землю, пас коров и тучи. И жил бы совсем хорошо, если бы не свалилась на него беда.

Было это давно. Так давно, что на Беларуси тогда еще водились черти. И у каждого из тех чертей было свое место работы.

Один жил в воде, пас щук, линей да окуней. Был зеленый и лохматый, очень похожий на кучу тины. Звали его Водяник, или Водяной.

Второй жил в лесу, пас оленей и был похож на обросший мхом пенёк. Если встретишь, то и не отличишь. Звали его Лесовик, или Леший.

Но был и третий, что жил в избах и пас сверчков. Этот был самый вредный. Рожки у него были, как у козочки, зубки, как чесночок, хвостик, как помельце.

И облюбывал этот черт избу Янки. И не то чтобы со злости вредил, а просто был проказник. Только от тех проказ Янке иногда плакать хотелось. И неудивительно! Ты ведь тоже не со злости проказничаешь? Ну вот, а родителей иногда до слез доводишь. Плохо!

Не стало в избе от черта покоя. Заплетет коньям гривы так, что потом не расчешешь, а Янка думает, что это сыновья озорничают. Сметанку с молока слижет, а подозревают бедную кошку. Иногда зимой так завоет в трубе, что у людей мороз по коже и страшно на двор выходить. Или заберется в печную трубу, завозится там и насыплет в щи сажу.

А то утром вынут из печи пирог и удивятся: на пироге небольшой отпечаток. Это черт на горячее тесто отдыхать садился. Грелся с мороза.

Совсем не стало житья. Янка уходил ночевать, даже в холода, на сеновал. Чуть бедных детей не поморозил. И решил, наконец, из-за этих чертовых проделок забить окна и двери в избе досками и подаваться с детьми, лошадыми, волами и кошкой в свет. Оставив свою родину, темные пущи, светлые реки да чистые воды. И стало бы на Беларуси меньше еще на одну крестьянскую семью, если бы не послышались однажды вечером на дороге тяжелые шаги.

Тупу-тупу-тупу,  
Несет Мишка ступу.  
В ступе вперемешку  
Сахар и орешки,  
Изюм и мармеладки,  
Халва и шоколадки  
И всякие конфетки  
Несет Мишка деткам.  
Тупу-тупу-тупу...

Шел поводырь с медведем. Ходили они от села до села, от местечка к местечку.

Поводырь песни пел и играл на цимбалах. А медведь показывал, как бабы воду носят да как дети горюх крадут. И этим они с медведем кормились.

— Здорово, Янка. Непустишь ли нас с Мишкой переночевать? — спросил поводырь.



— Мне что? Ночуйте,— ответил Янка.— Только я сам с семьей на сеновале сплю.

— А что такое?

— Да черт у меня в избе завелся. Так проказничает, что спасу нет. Веришь, на пирогах отдыхает. В трубе воет. А иногда, в темные ночи, что-то в подпечье, как жар, горит. Страшно.

— Э-э,— сказал поводырь.— Не все же такие неумные, как твоего отца дети. Чтобы поводырь, да еще с медведем, какого-то черта испугался?! Не бывало еще такого на свете.

— Тогда иди. Щей поешь. Там еще горшок с пареной репой есть, так, если ничего за ночь не случится, утром подкрепишься. А я на сено. Как стемнеет, я в хату идти боюсь.

Ну вот, похлебал поводырь щей, покормил Мишку и завалился дрыхнуть на лавке. А медведь примостился у печи и тоже засопел на всю хату.

Это было так давно, что тогда еще на Беларуси даже бульба не водилась. Сказать кому — не поверит. Вместо бульбы варили репу или брюкву. И вот спит поводырь, и снится ему, как он завтра вкусно будет репой лакомиться.

Только глухая ночь наступила — черт тут как тут. Скатился по трубе, подняв целую тучу сажу, и начал в печи, воруя этакий, шарить и щупать. Как говорят, ты за порог, а он на пирог. Поднял на горшке крышку. Повеяло сытым духом.

«Ага, репа. Вот это как раз то, что мне надо. Я люблю репу».

Однако же в печи темно, как... в печи. Так черт отодвинул заслонку, выволок горшок на загнетку, сел, свесив ноги, и начал лакомиться сладкой пареной репой, а очистки вниз бросать.

«Ничего, хозяйка завтра подметет. Надо же, чтоб и ей работа была».

Упало несколько очисток медведю на нос, и тот проснулся. Слизнул с носа — сладко. И начал Мишка во тьме нюхать, находить очистки и чавкать.

Черт услышал, что кто-то внизу чавкает. А он ведь знал, что в избе, кроме кошки, никого нет. И вот какая-то там кошка чавкает и сопит, и не дает ему, черту, чужой репы спокойно поесть.

Развернулся он да и толкнул кошку ногой.

— Апсик! Апсик, гадость такая!

Ну вот. А медведь — это тебе не кошка. Я тебе никогда не советую давать медведю пинка.

Обиделся Мишка. Сгрел черта в охапку, стянул с загнетки и давай его мять, давай его гладить, давай его лапами волтузить да колошматить, давай охаживать, лупцевать, молотить да дубасить, давай его за рога крутить, драть, как сидорову козу, да бить смертным боем.

Черт едва вырвался из медвежьих объятий. Взлетел на загнетку. Кое-как выкарабкался через трубу. Скапился с крыши и со всех ног бросился подальше от избы. В пушу, как ошалелый.

А медведь, задав черту взбучку, вновь уснул, как пшеницу продавши.

Утром все проснулись и подумали, что это медведь репу ел. Удивились, что не побоялся лезть в горячую печь, и обрадовались, что съел совсем мало. Что же, медведь не первый и не последний в мире отвечал за чужие грехи.

Потом все доели то, что оставалось в горшке. Медведь даже еще поплясал детям. И пошли они с поводырем опять, от местечка до местечка, от села до села. Под солнцем и дождем.

Тупу-тупу-тупу,  
Несет Мишка ступу...

Но с того времени чертовы проказы как ножом отрезало. Кони здоровы, сажи во щях нету, на пирогах никто не отдыхает. В печной трубе, правда, кто-то временами воет, и в подпечье часто что-то светится, но это уже терпеть можно. Раздумал Янка оставлять свою хату.

Только на этом история не закончилась, не думайте. Как-то осенью пахал Янка свой клин под озимь. Мокро, косой дождь, низкие темные тучи. И вдруг видит, из-под туч, от самого горизонта кто-то идет к нему по пашне. Пригляделся — ага, старый знакомый черт.

Идет весь мокрый, а на каждом копыте по пуду глины налипло. Под носом от простуды висит огромная капля. А носового платка ведь у него нету. Как у тебя иногда бывает, когда дома забудешь. А копытом не очень-то высморкаешься. Идет такой несчастный, такой жалкий и убогий, что даже Янка его пожалел:

— Ты куда это?

— А так,— сказал черт.— Куда глаза глядят.



Помолчали. Потом черт спрашивает:

— А скажи ты мне, у тебя все еще живет та кошка?

Янка был человек не очень мудрый, да и не знал, о какой кошке разговор.

— А как же,— отвечает Янка.— Ясно что у меня. Да еще и шестерых котят родила.

— И все похожи на мать?

— Ага. Все рыженькие с белыми пятнышками, с четырьмя лапами, с одним хвостом.

— С лапами, с лапами,— сказал черт.— Дались мне те лапы.

— Ей-богу, шестеро!

— Ну так я, наверное, никогда к тебе не приду,— вздохнул черт.— А надо было бы. Очень надо.

— А что такое?

— Ат! Закопал я у тебя под печью казан с золотом. Скарб. И надо было бы выкопать, но как твою кошку вспомню — бр-р-р! — ну его. Пускай пропадает.

— Ты, когда совсем замерзнешь, приходи. Глядишь, репу сварить, детей покачаешь.

— Н-не-е-т. Кошки боюсь. А репы этой я теперь до самой смерти видеть не смогу.

Да и пошел себе полем, под дождем, едва переставляя пудовые ноги. Такой несчастный бедолага.

А Янка вспахал клин и пошел домой. И только тогда вспомнил, что под печью что-то светилось, и черт о каком-то скарбе говорил.

Начали копать под печью и — на тебе — выкопали большой закуранный казан с золотом и червонцами. Будто жар, разлился свет в хате.

Так уж светило, так пекло, что все аж раздеваться начали.

Черт после того в сильные морозы все же приходил. Только просил кошку в кладовку выносить. Щи Янке варил и детей качал. С того времени и пошла поговорка, что «счастливому и черт детей качает».

А на тот чертов скарб поставил Янка себе и всем в округе новые избы, хлевы, амбары, новые стайни. Сады посадил, мельницу построил.

У всех крестьян по сорок сынов и дочерей, по сорок коней и волов. И все избы, как звон. И в каждой избе на окне, на солнышке, стоит лукошко. А в каждом лукошке кошка. И у каждой кошки шестеро котят. Вот счастье, так счастье!

И потому, когда ты живешь счастливо и радостно, никогда не дразни медведя в зоопарке и не бей никогда кошку. Потому что это же они сделали когда-то так, что тебе сегодня хорошо. Да и вообще никого не дразни и не бей.

Тогда всем будет хорошо на этой красивой земле, что лежит немножко поближе к Солнцу и немножко подальше от Луны. Люди будут работать, кошки будут мурлыкать, а медведи носить тебе и всем нашим детям сладкие ступы...

...Тупу-тупу-тупу.

## НЕМОЩНЫЙ ОТЕЦ

Был когда-то — так давно, что Луна только-только появилась на нашем Небе,— у людей на земле такой поганый обычай: не кормить старых родителей.

Дикие были люди. Дикие-предикие. Даже теперь стыдно вспоминать о них, такие дикие. Как увидят, что мать или отец более охотно на солнышке греются, чем косят или жнут, так сразу отвозят их на телеге или на санях в глухой лес, оставляют немного еды и возвращаются домой. А когда старики хлеб съедят, то или умрут с голоду, или замерзнут, или дикое зверье их разорвет.

Такой был Закон. И кто Закон соблюдал — того хвалили. А кто не придерживался, того могли изгнать в дикую пушу.

Ты погоди их до конца винить. Очень тяжело, в голоде и холоде, жили те дикие люди. Случались частые неурожаи, потому запасов никаких не было и быть не могло. А в урожайные годы — появлялись враги. И уж или отдай все им, или ляг в сечи. Потому каждые руки были на учете: могут ли они еще держать косу или меч? А если уже не могут, если только кусок ко рту несут — зачем они?

Отвозил человек в лес старого родителя и знал: его дети сделают то же с ним. Как ты поступаешь, так тебя и благодарят. Потому что жили эти люди по единому закону — закону корысти.

Так вот, жил среди тех людей в одной лесной деревне молодой человек по имени Петро.

— Гляди,— однажды сказал Петру сосед Игнат,— твой отец уже вот-вот начнет короткой косой в миске косить. Готовься.

— К чему? — словно бы не понял Петро.

— Волков кормить.

А Игнат был такой один на всю деревню. Жил он богаче других, поэтому больше других поддерживал Закон. И был тот Игнат самым большим гадом. И влияние имел в общине.

Поглядел Петро на отца — действительно, у того руки-ноги совсем ослабели, за сохой не пройдут, лука не натянут. Совсем немощный человек.

И стало тут Петру как-то не по себе. Ну как будто случайно муху проглотил. Не знает, что с ним такое. Просто плохо. А отец глядит на него и ничего не говорит.

Петро забыл о том разговоре с соседом, да пришла осень, и позвали его под деревенский общинный дуб. Пришел он, а там уже община шумит, бурлит. И больше всех мутит воду Игнат. Кричит, руками размахивает.

— Чего медлишь, Петро?! — орет во все горло.— Гони в лес старую развалину.

— Ты что визжишь, как свинья? — рассвирепел Петро.— Что так жаждешь чужой крови?

— Зачервивел твой старый гриб. А когда зачервивел, надо его рвать с корнем. А то от него и на здоровых зараза перейдет.

Община печалится, но кто громче кричит, того и слушают.

— Ты это, Петро... того...— сказал наконец второй сосед, Максим.— Ты, значит... это...

Ничего не поделаешь. Пошел Петро домой. Отец поглядел на него внимательно и снял с колышка торбу.

— Клади ломоть хлеба. Да поменьше, поменьше...

— Так зачем тогда вообще?

— Подумаю еще какую-то ночь. Но на пустой живот думать грустно... Сала не клади. В доме понадобится. Малышу... Так, Петро, таков Закон. Иди запрягай коня.

Вышел отец из хаты. Тяжеловато ему взбираться на телегу.

— Ты зачем так много соломы положил? Да мягкой, овсяной?

— Но я же ее обратно привезу.

Едут деревней в лес. Редкие встречные глаза прячут. А некоторые и подбадривают старика:

— Ничего, скоро и мы за тобой.

И лишь Игнат у ворот на весь свет дерет горло:

— Правильно, Петро! Нечего в рот волочить, если борону волочить не можешь.

Петро проехал молча.

Принял их вместе с телегой мокрый и черный ноябрьский лес. Все чаще начали попадаться среди деревьев олени, а может, и человечьи кости.

Приехали. Сделал Петро из елового лапника шалаш, положил в солому торбу. Натаскал сушняка, мелко его нарубил. Развел костерок. Достал из торбы хлеб, сало, баклажку с вином.

— Это зачем? — спросил отец. — Бери все обратно. И солому бери.

— Отец, — глухо сказал Петро, — неужели ты думаешь, что я тебя тут оставлю?

— И оставишь. Потому что Закон. Убьют тебя, — сказал отец.

— За меня не бойся, — ответил Петро и уехал. Замигал в чаще за спиной огонек. Исчез.

Ночь в лесу, темно в деревне. Игнат возле хаты поглядел на телегу.

— Солому все же оставил?

Ничего не ответил Петро.

Всю ночь он проворочался в избе. А следующей ночью, оставив в стойле коня, пошел, крадучись, в пущу. Долго блуждал. Нету огня и нету. Все, значит, ясно. Погасил отец огонь, чтобы напрасно не мучиться. Не поверил сыну. Да и на самом деле не было еще такого на свете.

...И вдруг... «Есть он! Есть огонь! Есть!»

Бежит Петро на огонь. Ветви ему глаза выхлестывают. А огонь совсем уже угасает. И словно угасает возле него скрюченная фигура старика.

— Отец! Отец! — кричит Петро и торопится. То отца обнимает, то кости олени собирает и бросает в шалаш. — Умереть захотел. Не поверил мне.

Вскинул отца на спину и понес. А огонь угасает-угасает. Погас. И чувствует Петро — мокрый у него затылок.

— Ты что, плачешь?

— Плачу. О тебе. Теперь можно рассказывать. Знаешь, почему из таких стариков на деревне один я?

— Знаю. Битва была десять лет назад.

— Да. Напали на нас. И мы все старики, кто уже на пороге в лес был — перед дорогой туда — тайно решили: лучше лечь в бою, чем от своих погибнуть... Все полегли, один я остался.

Принес Петро отца в хату, отгородил часть кладовки и сделал там лазы на чердак и в подпол. Оттуда — на подворье. И стал там отец жить. Глухой ночью — в хате, днем — в подполе и на чердаке. А темной ночью и по двору потопает. Как волки жили, от всех скрываюсь. Но жили.

В тот год словно пала на людей какая-то кара. Урожай собрали — едва зиму пережить.

«Ничего, — думали люди, — как-то доживем до шавеля. Отсеяться есть жито в сыпных ямах. А там, может, будет урожай получше, чем в прошлом году».

Однако не получилось. Как раз перед весной напали соседи (у них еще хуже было), начали люди с ними биться. Горели амбары, все семена в ямах пожухли — ни хозяевам, ни соседям, которых отбили. Люди поначалу голосили под общинным дубом, а потом и руки опустили: живым в землю надобно ложиться.

Пришел Петро домой да и говорит отцу: так вот и так, все помирать будем.

— Кара. Закон переступил, — говорит отец. — Не жалеешь?

— Нет. Зиму вместе. И теперь — все вместе. Таков Закон — мой.

— Зачем всем вместе? Иди сюда, что-то скажу.

...И вот появился Петро вновь под дубом, где горела вся община.

— Всё, — только и сказал сосед Максим, — теперь детей убью, а потом и сам. Ни одного зерна не посеять... Ну, Петро, что скажешь?

— Не надо убивать, — громко сказал Петро. — Снимите солому со стрех. От застрехи и до середины покрытия.

— И что? — скривился Игнат.

— Обмолотите. И подметите доски, что внизу подстрешья.

И в самом деле, крыли же стрехи необмолоченными снопами. Кинулись люди на стрехи. Обмолотили солому. Смели вместе с пылью зернышки с подстрешья. Собрали семян, чтобы хоть как-то засеять нивы.



— И поделитесь секретом с соседями,— сказал Петро.

— Что-о? — взвился Игнат.— Да мы их...

— Поделитесь. Иначе худо будет.

На радостях поделились. И — словно от облегчения, от благодарности — жито у всех пошло густое, лохматое, как медведь.

— Почему не до конца стрехи велел оголеть? — спросил Максим.

— А вот если бы вымерзли всходы — тогда б всю стреху оголили, но нашли б, что в другой раз в землю кинуть.

— Ох, не на добро такой ум,— сказал Игнат.— Быть беде.

И словно накаркал. Начало уже красовать, веселиться жито, как однажды появилась над гаем огромная голова. Шел Великан. Был он не из добрых богатей, а из тех, что народу вредят. Ногой ступит — вода в след набегаёт и на том месте остается болото.

— Какое жито! — загремел, как сто перунов.— Тут и поселюсь.

Наломал бревен, смастерил на самой гигантской осине помост, а на помосте построил из валунов себе замо́к.

— Тут буду сидеть. Соберете урожай — съем. Со стрехи все сдерете, засеете — и это съем. А потом вас самих съем.

Попытались стрелы в него пускать — не долетают стрелы до замка. Великан стрельцов поймал и съел, чтобы остальным неповадно было. Смертельно затосковали люди. Пришел Петро в хату.

— Все, отец. Теперь пропадем.

— Не жалеешь, что меня привез?

— И в сотый раз такой Закон я преступил бы. Теперь погибнем вместе.

— Зачем? — спросил немощный отец.— Иди-ка сюда, ко мне поближе...

И вновь сказал Петро людям, что собрались под обштинным дубом:

— Ничего мы с этим Великаном не сделаем силой.

— А зачем силой? — высунулся Игнат.— Я ему подарки ношу. Хвалю.

— Он тебя после всех съест... Нет, люди, не хвалить его надо, а собрать детей, особенно сирот тех, съеденных Великаном, и пускай каждый день они ходят под ту осину да плачут и просят о милости.

— А что из этого получится? — издевательски спросил Игнат.

— Ничего. Только сиротская слеза сильнее всего. А вам, дети, я что-то шепну на ухо, идите сюда.

Те выслушали Петра. А потом каждое утро околица оглашалась плачем детей под огромной осиной. А Великан слушает да только скалит большущие зубы. Так проходят дни, недели. Скоро жатва.

— Ну и заплакали что-нибудь? — спросил Игнат у Петра.

А Великан гогочет на дереве, как жеребец, и не видит, что под помостом пожелтела листва.

Игнат снова баламутит людей. И люди уже обступили Петра, требуют ответа, угрожают. А тот стоит спокойно и поверх голов глядит на дерево.

— А вы терпение имейте,— отвечает.

...И вот подступила ночью дикая туча, начали из нее бить молнии, заворочался мощный перун, налетел ураган. Хрястнуло от детских слез подгнившее дерево, с рокотом и грохотом посыпалась на землю смрадная труха, каменные глыбы, которые похоронили под собой Великана.

И поднялась над этой бесславной могилой радуга.

Люди сжали жито, засыпали богатый урожай в суеки и ямы. Избавились от Великана. С соседями мир. Так нет, вновь мутит людей Игнат. И вот однажды утром подступили все с дубинами да с камнями к порогу Петровой избы.

— Не своим это он разумом до всего дошел,— надсаживается Игнат.— Это он у Черной Силы ума взял взаймы.

— Правда,— сказал и Максим.— У тебя такой же простой разум, как и у нас. Откуда же у тебя такая мудрость?

— Да, не своим умом я до всего дошел,— ответил Петро.— Отцовым.

— Так ты ведь его в пущу завез!

— А ночью обратно привез.

— Не верьте,— ревет Игнат.— Конь и телега во дворе были.

— А я на спине. Как он меня когда-то маленького носил.

— Глядел я,— завопил Игнат,— кости в шалаше.

— Оленьи кости.

Пошел Петро в избу и вывел оттуда отца:

— Жили силой, а разум убивали. Жили сегодняшней корыстью. Уничтожали «вчера» и потому не имели права на «завтра».

— Гнать их в лес! — кричит Игнат.— Закон преступили! Что он такое детям сказал, что дерево с Великаном ухнуло?!

— Забыл ты,— сказал отец,— что «сиротские слезы даром не минают, попадут на белый камень — камень пробивают».

Швырнул Игнат камень в Петра — дверь в щепки разнес.

— Вот что,— сказал тогда Максим,— правильно он сделал, преступив такой Закон. Больше этого не будет. Уважайте доброту, пускай и слабую. Уважайте мудрость, пускай и немощную. Носите на руках родителей... Кланяйтесь этим двум — и отцу, и сыну — до земли, люди.

И те поклонились.

— Ну а ты? — спросил у Игната Максим.

— А я остаюсь при своем,— сказал тот.— Я своего отца, когда настанет время, завезу-таки в пушу.

— А мы не позволим,— сказал Максим.— Наш он теперь, а не твой. И если уж гнать кого-то в пушу, так это тебя. Иди, вой там, как волк.

И тут толпа заревела. Вся ярость на Закон, все отчаяние и все облегчение вылились в этом реве.

— Пусть уходит!

Тот начал отдаляться. Тогда Максим спросил у старика:

— Так неужели только слезы безотцовщины иссушили дерево?

— Ну, не только,— улыбнулся тот.— И еще кое-что.

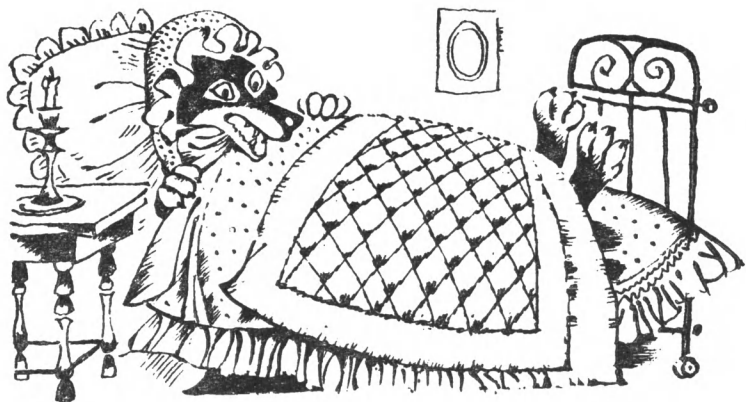
— Что же?

— А этого ни я, ни дети пока вам не скажем,— ответил Петро.— На тот случай, если появится среди вас хоть один на десять тысяч такой вот Игнат. И вот когда он начнет обижать отца, а тут наступит ему на хребет беспощадный Великан,— вот только тогда пусть отец отплатит ему добром за зло. Доброй мудростью за злобную дурь. А мы пока помолчим.

И люди засмеялись. А Игнат отдалялся и отдалялся, как ком былой ненависти.

И так умер Закон старый.

И так родился Закон новый.



*Карлис Скалбе*

## КРАСНАЯ ШАПОЧКА

**Г**лаза у бабушки видели все хуже. Она связала внучке красную шапочку, чтобы лучше видеть, когда девочка идет к ней по заросшей дороге. Бабушка жила на опушке леса в маленьком домике. Она ждала внучку в гости.

Из окна бабушке было хорошо видно, как девочка идет через полевицу, словно красная божья коровка: сама в траве, а головка наружу.

Шапочка для внучки получилась большая, и, кто ни встретит Красную Шапочку, все удивляются — девочка это или красный грибок?

— Если встретишь кого-нибудь, поздоровайся,— говорила Красной Шапочке мама, провожая девочку до дверей.

— Здравствуйте, здравствуйте! — говорила Красная Шапочка каждому, кого встречала на пути. И все люди были для нее добрые дяди и тети.

Однажды она встретила по дороге пса.

— Здравствуйте,— сказала девочка и сделала книксен.

Пес остановился, завилял хвостом и залаял от радости, что на свете бывают такие милые дети. А по доро-

ге домой он припомнил все свои проказы. Как мясо из кладовки воровал и как всегда норовил ухватить хозяйских гостей за ногу. Он устыдился и решил исправиться.

Однажды Красная Шапочка нарвала клубники и задумала отнести ее бабушке.

Мама повязала девочке белый передничек, и та взяла в обе руки зеленый кувшин, наполненный ярко-красной клубникой.

Если под ногами попадались кротовые норы или следы лошадей, девочка придерживала рукой горку ягод, чтобы не рассыпаться.

Так вот и шла она зеленым лесом и каждому, кого встречала, говорила: «Здравствуйте!»

Вдруг из кустов выскочил волк. За ним гнался охотник с собаками. Волк хотел перебежать дорогу, но увидел Красную Шапочку и остановился.

— Здравствуйте! — сказала Красная Шапочка и доверчиво подошла к нему.

— Здравствуй, — прорычал волк, и у него загорелись глаза. — Ты что это несешь?

— Я несу бабушке ягоды, — отвечала Красная Шапочка и приподняла кувшин.

«Что за сладкий ребенок, — подумал волк. — Сейчас ли его съесть или обождать? Нет, успеется...»

— Я соседская собака, — сказал волк, глядя девочке в глаза и виляя по-собачьи хвостом. — Пошли вместе.

— Ладно, собачка, только не толкай меня головой, а то опрокинешь кувшин, — сказала Красная Шапочка, прикрывая рукой ягоды. — И не запачкай мой передник.

— Дай мне ягодку, — попросил волк и разинул пасть.

— Лови! — сказала Красная Шапочка и бросила ему самую красную, и клубника попала волку на самый язык.

— Еще! — потребовал волк.

— Ой, собачка, какие у тебя красные глаза! — воскликнула Красная Шапочка, и ягоды у нее посыпались на землю.

— Это от твоих ягод, — сказал волк.

Красная Шапочка стояла и дрожала.

— Погляди же мне в глаза, там нет ничего, кроме леса и твоих ягод, — уверял ее волк.

— Ой, собачка, не гляди на меня, у меня все ягоды рассыпаются. Я всегда ношу бабушке полный кувшин с горкой. А теперь она подумает, что я все сама съела. Иди лучше один.

— Хорошо, я пойду и скажу бабушке, что у нее бу-

дет гостя, — сказал волк и помчался через кусты можжевельника.

Он видел, что бабушка ушла на берег реки за травами. Комната была пуста.

Волк подошел к домику и три раза стукнул лапой в дверь.

Никто не отзывался.

Волк толкнул дверь мордой и вошел.

В комнате стояла кровать, похожая на башню, — с тремя перинами и шестью белыми, как лебеди, подушками.

Зеленое одеяло было старательно подоткнуто по краям, и в его складках дремали добрые бабушкины Привычки. На стенах висели пучки сушеных трав. Была там и ромашка, и мышехвостик, и коровяк, и многие другие травы.

В комнате пахло, как в амбаре, где волк однажды, скрываясь от охотников, провел ночь, — тмином и сохнувшими листьями.

На стуле, возле кровати, лежал молитвенник и аккуратно сложенный бабушкин чепец.

Волк напялил себе на голову чепец, отдернул одеяло и вскочил в постель.

— Скрип-скрип, — закричала всеми четырьмя ножками кровать. — Волк-волк!

Из постели высыпались перепуганные бабушкины Привычки и разбежались по углам, как робкие серые мышки.

Там была целая вереница самых прекрасных Привычек! Привычка Вязать, Привычка Латать и Привычка Делать Подарки. И еще там была одна Привычка, она походила на белочку с кривым желтым зубом: это была Привычка Грызть Корочки. Она забралась в угол, на корзину с корочками, и дрожала, и трясла лапками.

— Шлеп-шлеп, — прошлепали по плоскому камню перед дверью босые ножки.

— Здравствуйте, бабушка! — сказала Красная Шапочка и вошла.

— Здравствуй, внучка! — ответил волк бабушкиным голосом и простонал: — Ой, как болит спина!..

— А я тебе ягод принесла. — Красная Шапочка подошла и подала кувшин.

— Ой! — коротко вскрикнула она...

А волк схватил ее, втащил на кровать и проглотил — ам! Потом, задрав морду, понюхал воздух: куда девалась девочка? До того он был голодный.

— Тра-ра-ра-ра! — Это по лесу идет охотник и трубит в рог.

Две собаки, высунув языки, мчатся впереди и ищут волка по следу.

Вот они подбежали к дверям домика и, скуля, оглядываются на охотника.

Охотник снимает с плеча ружье и тихонько отворяет дверь. Растянувшись на кровати, там лежит волк, а живот у него огромный, как у двух волков.

«Не проглотил ли он кого, негодяй!» — подумал охотник, прицелился: бац! — и волк опрокинулся в кровати и высунул язык.

А охотник быстро-быстро вытащил из-за пояса нож и рассек волку живот.

— Здравствуйте! — сказала Красная Шапочка и вылезла из волчьего живота.

Она была цела и невредима, только выглядела немножко заспанной и помятой, как ягненок, спавший во мху.

Охотник снял ее с кровати, а волка выволок за дверь. Едва успел он это сделать, как вошла бабушка с охапкой душистых лекарственных трав.

Когда охотник рассказал, что случилось, она всплеснула руками и выпустила конец передника. Листья черной смородины, зверобоя и коровяка рассыпались на полу.

Потом бабушка быстро отыскала зверобой, но на Красной Шапочке не было ни одной царапины: волк проглотил ее целиком.

— Ну, тогда будет довольно и питья от испуга,— радостно сказала бабушка и взяла с полки пучок сушеной травы.

А пока она заваривала травку, охотник вышел и содрал с волка шкуру.

— А дальше, а что было дальше? — кричат дети, когда мама кончает рассказывать сказку.

— Ну, что же может быть дальше? Красная Шапочка выросла большая, и шапочка стала ей мала. Бабушка умерла, и ее добрые Привычки закопали вместе с ней в могилу, и там так спокойно, ни один волк их не потревожит, и они живут себе, как мышки в норке. Все они до сих пор живы, потому что добрые Привычки, как известно, вечны. Только Привычка Грызть Корочки состарилась и потеряла свой единственный зуб.

А Красная Шапочка теперь большая и умная девочка и больше не здороваается с волком.



*Анна Саксе*

### ПРЕДАНИЕ ОБ АЛУКСНЕНСКОМ ЯНИСЕ

**К**огда у скотницы из имения Ласбергов — Мадали — родился сын Янис, она даже никому шепнуть не посмела, кто отец ребенка, а то барин сразу выгнал бы ее. Поэтому Мадаля всем говорила, что ребенка она зачала от святого духа, как когда-то дева Мария. Верили ей или не верили, выяснить теперь трудно, но маленького Яниса люди прозвали сыном божьим, и прозвище это осталось за ним до конца его дней.

Янис свою добрую мать очень любил и верил каждому ее слову. Она никогда не обманывала сына, разве что в тот единственный раз, когда он, уже будучи большим мальчиком, спросил, где его отец.

— На небе, — коротко ответила мать.

Может, она не лгала и на этот раз: к тому времени барон уже умер, и поскольку богатых грешников апостол Петр за щедрые подарки тайком пропускает в рай, а барону в гроб положили пудовый золотой меч, — который потом, при вскрытии склепа, не обнаружили, — то очень возможно, что Мадаля на самом деле не лгала.

Мальчуган уже учил евангельские притчи и знал



о великом чуде рождения Иисуса. А если сам пастор утверждает, что однажды такое чудо на земле свершилось, то пускай никто не вздумает уверять, что оно не могло повториться.

Поэтому, когда его повезли к пастору проверять знания, Янис на вопрос, есть ли у него брат, громко и твердо ответил:

— Да, есть.

— А как же его зовут? — спросил пастор.

— Иисус,— выпалил Янис, подняв к небу голубые глаза.

Шаловливые ребята прыснули со смеху, но тут же прикрыли рты рукой, потому что смеяться в присутствии пастора неприлично.

А пастор погладил льняную головку Яниса и похвалил его.

Иисус каждому брат, объяснил пастор, придя в восторг от разумного ответа, и подарил Янису толстую книгу, какой он не дарил еще никому из детей,— Новый Завет, или Евангелие.

И это Евангелие Янис хранил как зеницу ока, перечитывая его каждую свободную минуту.

Янис твердо решил всегда и во всем поступать, как учил старший брат. Впервые ему представился такой случай в десятилетнем возрасте, когда сынок управляющего имения, за что-то обозлившись или просто, чтобы высказать свое превосходство, вlepил ему увесистую оплеуху. Янис уже было замахнулся, чтобы дать барчуку сдачу, но вспомнил слова Иисуса: «Если кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую». А поскольку сынок управляющего ударил его именно по правой, то Янис подставил левую, попросив ударить также по ней, и, разумеется, получил вторую, не менее увесистую оплеуху.

Вечером он истово молился за драчливого мальчишку, ибо Иисус сказал: «Никому не воздавайте злом за зло...» Вскоре Янис не менее истово молился и за хозяйна, который выпорол его за то, что он полакомился сметаной, хотя съел-то ее хозяйский сын. Янис помолился и за виновного, который смотрел, как его пороли, и при том еще издевался над ним.

Не будем думать, что Яниса, как и его старшего брата, не пытался искушать нечистый. Однажды дьявол явился к нему в образе пастушки Лижел: когда все плясали вокруг костра и прыгали через него, она схватила Яниса за руку и крикнула:

— Прыгнем и мы!

Янис уже сделал несколько шагов, ибо ноги его так и поднимались в такт музыке. Но вдруг он словно услышал предостережение — не предаваться земным радостям, ибо они от дьявола. Янис в последний миг, перед самым костром, вырвал свою руку из когтей Лижел. Она прыгнула через огонь одна, а Янис тихо поплелся в свой угол, на сеновал, чтобы возблагодарить бога за то, что вовремя предупредил его.

В другой раз нечистый приставал к нему в образе соседского мальчугана и хотел совратить Яниса игрой в бабки. Думаете, тому это удалось? Тогда вы не знаете Яниса.

Только раз нечистый все же чуть-чуть не ввел его в искушение. Янис тогда уже был взрослым юношей и батрачил у того же хозяина, у которого раньше пас скот. Может быть, мне и не следовало бы рассказывать об этом, а то вы еще невесть что подумаете о Янисе. Но случай этот весьма назидателен, ибо показывает, на какие коварные уловки способен сатана, когда хочет погубить добродетельного юношу.

В тот день Янис вместе с батрачкой того же хутора Зете работал на лугу. В полдень, пока сено сушилось, она забралась в еще неполный сарай поспать. Легли каждый в своем углу. Янис прочел «Отче наш» и захрапел, как и полагается человеку с чистой совестью, не помышляющему ни о чем дурном.

Его разбудил пронзительный визг Зете.

— Ай-ай!

— Что такое? — спросил Янис, вскочив со сна.

— Ты что, не слыхал? Гром!

И в подтверждение слов Зете за открытой дверью метнулась белая молния и так прогрохотал гром, что сарайчик закачался. Сразу же полил дождь, так что о спасении сена и думать нечего было.

— Янис, я боюсь! — заохала Зете.

— Молись! — посоветовал Янис.

Зете принялась читать «Отче наш», но только начала, как ее перебил ужаснейший удар грома.

— Янис, я пойду поближе к тебе, — сказала она с мольбой в голосе.

Янис ничего не ответил. Зете перелезла через ворох сена и повалилась, как в яму, совсем близко от парня. После следующего удара грома она очутилась уже рядышком с Янисом. Шею его обвили теплые сильные ру-

ки, лицо закрыл кудель волос, а к груди прижались два мягких клубка. Произошло нечто непонятное: от ее рук, волос к особенно от этих клубков на Яниса повеяло такой медовой сладостью, что он не мог да и не хотел противиться ей, и вот-вот случилась бы непоправимая беда, если бы о нем не радел старший брат на небесах. В самую последнюю минуту небесный владыка успел направить молнию в высокую березу рядом с сараем. Дерево со страшным треском переломилось и рухнуло на крышу. Зете взвизгнула и чуть ослабила руки. В этот миг на Яниса нашло просветление. Он оттолкнул Зете, убежал из сарая, бросился перед сраженной березой на колени и стал читать покаянные молитвы.

Ночью Янис нарвал крапивы, залез в кусты, разделся донага и принялся пороть себя, особенно нещадно по местам, которые казались наиболее слабыми перед лицом соблазна.

После этой грозы Зете перестала с Янисом разговаривать, только, встречаясь с ним наедине, шипела:

— Рохля!

Хотя Янис и летом и зимою трудился в поте лица своего, у него не было ничего, кроме залатанного кафтана и холщовых штанов. Весь свой заработок он ссужал хозяину и не только не просил, но даже не брал долга, ибо в молитве сказано: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему».

Мать Яниса, которая была уже в годах и добывала себе хлеб тем, что пряла для людей, не могла видеть, что сын ее ходит, точно последний нищий. Откладывая копейку за копейкой, старушка на скопленные деньги купила у хозяев восемь локтей шерстяной материи. Из нее швец Корнетского имения сшил Янису модный в то время сборчатый кафтан. Возвращаясь от швеца, Янис, чтобы не помять новый кафтан, надел его на себя, а старый завернул и понес под мышкой.

На Псковской дороге ему повстречался молодой цыган в рубахе, без шапки. Тот еще издали, как это принято у цыган, поздоровался с Янисом и заговорил:

— Куда это ты, молодой человек, подался? Знаю, знаю, к своей зазнобушке идешь, а то разве вырядился бы, как баронский сын,— сказал цыган.

Янис густо покраснел от стыда: его заподозрили в таком зорном поступке!

— А что у тебя в узле? Должно быть, пряники своей красотке несешь? — дразнил цыган Яниса.

— Нет, нет, там мой старый кафтан! — наивно оправдывался Янис.

— Поклянись, что не врешь, — не отставал цыган.

— Клясться — грех. Мой брат Иисус сказал, что можно только говорить «да» или «нет», — принялся объяснять Янис.

Цыган свистнул.

— Э-э! Стало быть, ты сын божий! Послушай-ка, сделай доброе дело, отдай мне свой старый кафтан. А то еще пойдет дождь, и я промокну до костей. Всю мою черноту смоет, куда я такой денусь — цыганочки любить перестанут.

Тут-то Янис понял, что для него настал час большого испытания. Не кто иной, как Иисус прислал ему этого цыгана, чтобы проверить, как Янис выполняет наставления брата: «И у кого две одежды, тот отдай одну неимущему». Разве это не чудо, что именно сегодня, когда у него впервые в жизни оказался второй кафтан, ему встретился человек, у которого нет ни одного?

А так как Янис уже давно ждал случая, чтобы выказать свое беспрекословное послушание небесному брату, он немедленно протянул цыгану узел со старым кафтаном. Парень поблагодарил, пожелал Янису большой удачи у девушек, и они разошлись.

Вдруг Янис вспомнил, что ближнего надо любить, как самого себя, а что же сделал он — отдал цыгану старый кафтан, а себе оставил новый. Иисус еще подумает, что Янис любит себя больше, чем своего ближнего.

«Ой, ой, как я опозорил своего дорогого брата! — Янис рвал на себе волосы. — Погоди, это ведь еще можно исправить!» Цыган был еще недалеко, у поворота дороги.

Янис бросился вдогонку, крича, чтоб тот подождал. Но парень, видимо, решил, что Янису стало жаль старого кафтана, и он пустился бежать во всю мочь, и Янису, конечно, было бы не догнать быстрого парня, не случись на дороге урядник. Увидев бегущего с узлом цыгана и кричащего преследователя, урядник не усомнился в том, что беглец — вор, а Янис — пострадавший. Соскочив с брочки, урядник крикнул цыгану: «Стоять! Ни с места, а то стрелять буду!» — и схватил парня за шиворот и не отпускал, пока не подospel Янис.

Запахавшись и заикаясь от волнения, Янис пытался втолковать обоим, что он вовсе не хочет отнимать каф-

тана, то есть он хочет, чтобы ему вернули старый кафтан, но взамен он отдаст новый.

Видя, что на словах ему ничего не растолковать, Янис сорвал с себя новый кафтан, надел на цыгана, развязал узел и сам облачился в старый.

Урядник проворчал, что такого чудака еще не видел, а Янис пошел домой счастливый, напевая по дороге благодарственные песни.

Всю свою жизнь Янис каждое воскресенье ходил в Алуксненскую церковь. Весной и летом, осенью и зимой, сияло ли солнце, шел ли дождь или снег и небо сливалось с землей, Янис мерил дорогу вокруг Алуксненского озера, чтобы попасть в церковь, объявленную святой за то, что сразу же после молебна, отслуженного в ней, русский царь исцелился, в то время как молебны в других церквях не помогли.

В молодости или в зрелом возрасте прошагать такое расстояние для мужчины, да еще в постолах, отнюдь не геройство, но, когда Янису уже стукнуло шестьдесят и ноги скрутил ревматизм, он частенько с тоской поглядывал через озеро в сторону Алуксне и думал, как было бы хорошо, если бы он, точно Иисус, мог ходить по воде, яко посуху. Как легко было бы попасть в церковь, попеть вволю божественных песен и раз-другой вкусить от святого причастия.

В одну туманную ночь, возвращаясь с пастбища, куда отводил лошадей, Янис остановился на берегу озера. Вдруг ему послышалось, будто по озеру кто-то идет: шлеп, шлеп, шлеп...

«Не он ли?.. Не брат ли Иисус? Правда, апостол Петр тоже пробовал сделать это, но сразу испугался и вскрикнул: «Господи, помоги, тону!»

Иисус все приближался, хотя в тумане можно было разглядеть лишь нечто вроде темного столбика величиною с человека среднего роста.

— Иисус, это ты? — спросил Янис дрожащим голосом.

— Да, брат мой, это я, — последовал ответ. — Да будут благословенны очи твои, узревшие меня в темноте, да еще в тумане. За это ты увидишь такое, чего не увидеть никому из смертных. А за то, что ты веришь мне всей душой, я дам тебе все, что пожелаешь. Можешь взять себе хоть имение Ласбергов, можешь попросить хутор, на котором всю жизнь батрачишь, — все, все можешь взять.

— Брат Иисус, я не жажду благ мирских,— отвечал Янис.— Но если бы ты выполнил мою просьбу...

— Проси, и желание твое исполнится,— обещал Иисус.

— Если можешь, то вели, чтоб я, не замочивши ног, ходил через озеро в церковь,— попросил Янис.

— Поскольку ты довольствуешься малым, то я внемлю твоей просьбе. Ты сможешь ходить по озеру, но только в церковь и обратно. Если захочешь сходить на базар или хозяин пошлет тебя за табаком, то пойдешь кругом — божий дар нельзя на мирские дела тратить,— обещал и одновременно предупредил Иисус, и шаги его стали удаляться: шлеп, шлеп, шлеп...

Янис с нетерпением ждал праздника, чтобы впервые перейти озеро. И когда настало воскресенье, он еще дома обул новые постолы, которые обычно, чтобы уберечь от росы, носил до самого Алуksне под мышкой. Вера его была так сильна, что он ни минуты не сомневался в обещании Иисуса.

Какое это было зрелище, когда Янис в солнечное утро шагал по озеру! Рыболовы забыли о своих поплавках и не вытащили в тот день ни одной рыбы, ибо были так ошарашены, что побежали домой рассказать о великом чуде женам. Те, правда, им не поверили и стали искать у них по карманам и торбам пустые водочные бутылки.

А Янис тем временем уже сидел смиренно в церкви, на самой задней скамье, хоть народ еще и не собрался и он вполне мог занять место у самого алтаря.

Вдруг Янис услышал стук шагов — тук, тук, тук,— словно кто-то ступал на деревянных ногах. Поскольку в церкви смотреть по сторонам не полагается, Янис продолжал сидеть неподвижно, косясь одним глазом на проход посередине, между мужскими и женскими скамьями.

На свое счастье, Янис при виде необыкновенного посетителя утратил дар речи. А то бы он вскрикнул во весь голос, ибо это... это был сам черт! На тонких козлиных ногах, с длинными крутыми рогами, весь косматый, безобразный. Под мышкой у него была зажата вяленая телячья шкура, в руке он держал черное воронье перо. Подойдя к алтарю, черт примостился на амвоне, расстелил рядом с собой шкуру и, словно от нечего делать, стал ковырять в зубах вороньим пером.

Вдруг глаза у черта загорелись, и он уставился на женскую половину. Янис тоже глянул туда и увидел, как



Зете шепчется с горничной молодого барона. Черт тут же что-то записал на телячьей шкуре. За всю службу он записал десять человек: еще двух девиц — за болтовню и двух парней, пяливших глаза на красотку Анлизе; старого кучера имения, который тайком сплюнул на пол; двоих хозяев, мирно храпевших во время проповеди; и сына одного из них, который, желая разбудить отца, ткнул его кулаком в бок.

Как только начали вызванивать обедню, черт сунул шкуру под мышку и, виляя между прихожанами, выскочил из церкви. Ну и чудо — ни один человек не заметил сатаны, хотя у самых дверей он так обнаглел, что пролез между ног у церковного старосты, стоявшего там с блюдом для пожертвований в вытянутой руке. Вот что означали слова брата Иисуса на озере: «...и ты увидишь такое, чего не увидит никто из смертных».

Весть о чудесном переходе Яниса через озеро облетела все Алуксне. Огромная толпа стояла на берегу и с восхищением и завистью смотрела, как он шагал по воде, — а он ступал, словно под его ногами простирался гладкий большак.

Слава о Янисе из уст в уста дошла и до дальних округ. Из Белявы, из Леясциема, даже из Пиебалги к алуксненскому Янису начали ездить пожилые и старые женщины, страдавшие разными недугами. Янис, правда, отмахивался от них, говоря, что брат не наделял его даром исцеления, но женщины не отставали — пускай хоть коснется больного места, хоть взглянет на него или нальет в бидон водички, которой умывается. Делал ли там Янис что-нибудь или не делал, но у женщин словно рукой сняло болезни, которые доктора годами старались и не могли вылечить. Чтобы хоть в какой-то мере защитить свою честь, ученые доктора оправдывались, что не сумели вылечить этих больных только потому, что те ничем не болели.

Жаль, что слава Яниса оказалась столь недолговечной, и к старости, после так безгрешно прожитой жизни, нечистому удалось занести его имя в свой список.

Случилось это поздней осенью, в пору молотьбы хлеба. Тугой ветер катил по озеру большие пенящиеся волны, но не мог же Янис из-за этого сидеть дома. Легонько, как гоголек, он просеменил по озеру и вошел в церковь сразу за нечистым.

Неизвестно, что случилось в то воскресенье с людьми: то ли они в овинах или на гумнах выдохлись при



молотье, то ли обожрались на поминках,— но черт прямо выбивался из сил, едва успевал записывать всех, кто спал, храпел. К середине проповеди черт исписал всю телячью шкуру, а люди все не переставали грешить. На секунду он словно растерялся, но тут же нашелся. Встал, вцепился в один край шкуры зубами, а на другой наступил копытом и, выпячивая при этом толстый живот, принялся растягивать ее. Это выглядело так смешно, что Янис не выдержал и засмеялся. Глазастый черт — забоддай его корова! — увидел это и тут же записал Яниса.

Видимо, черт, как только он вышел из церкви, сообщил имена грешников небесным владыкам, те спешно провели у себя заседание и решили, кого как казнить. По крайней мере, Янис понес кару сразу, по дороге домой: посреди озера у него начали промокать ноги, и к другому берегу он подходил уже по щиколотку в воде.

Больше Янису в церкви побывать уже не пришлось. В ледяной воде он так простыл, что к вечеру свалился в лихорадке и через девять дней умер, не приняв даже святого причастия, ибо лошадь пастора испугалась раздавшегося из кустов козлиного крика, понесла и сломала оглоблю. Пока пастор добирался к умирающему с просфорой и вином, Янис уже успел отдать душу высокому судье.

Таков рассказ об алуксненском Янисе, и такой Янис жил только среди алуксненцев. Если вы прочтете в сказках, что и в других округах был такой безгрешный человек, который ходил по воде, яко посуху, и видел в церкви самого нечистого, не верьте.



## *Пятрас Цвирка*

### МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА

**Ж**или-были старичок со старушкой. Ничего у них не было, жили бедно.

Вот раз и говорит старушка:

— Старик, старик, сходил бы ты в лес, авось там какой-нибудь листок либо щавелю стебелек найдешь — шей сварим, все с голоду не помрем. Взял старик лукошко и пошел в лес. Ходил-бродил весь день по лесу, да ничего не нашел. Повернул он к дому, вдруг глянул на кучу хвороста, видит — там медведь лежит. А у старика был с собой нож. Подкрался он потихоньку к косолапому и острым ножом отхватил у медведя добрый кусок ноги. Медведь и не шевельнулся. Положил старик медвежью лапу в лукошко и пошел домой.

— Ничего хорошего не нашел, старуха, — сказал старик, — только вот кусок медвежьей ноги: сварим, все с голоду не помрем.

Старуха обрадовалась, печь затопила, еще шерсть с медвежьей лапы сняла и свила кудель — будут и варежки. А мясо поставила в печь варить.

— Ты, старик, за огнем последи, а я пряхь буду, — говорит старуха.

А медведь тем временем проснулся в лесу, хвать, а ноги-то и нет!

Косолапый топ, топ, топ — пошел по стариковым следам и пришел к его дому. Встал у ворот и затянул песню:

Вся земля спит,  
Все птицы спят,  
Один старик не спит —  
Мое мясо варит;  
Одна старуха не спит —  
Мою шерсть прядет...

Услыхала старушка, как медведь поет, и говорит:

— Старик, старик, медведь за воротами!

— Что тут, старуха, болтаешь, — отозвался старик, а сам все хворосту в печку подкладывает, мясо варит.

А медведь в дверь лапами стук да стук — и опять свое:

Вся земля спит,  
Все птицы спят,  
Один старик не спит —  
Мое мясо варит;  
Одна старуха не спит —  
Мою шерсть прядет...

— Ой, старик, медведь, медведь! — в испуге кричит старуха. — Уж дверь отдирает, уже в избу входит!

Испугался старик, залез под кровать, а старуха за печку, за дрова спряталась. А медведь вошел в избу, оглянулся, вытащил из горшка лапу, приложил, залечил, шерстью обложил. Потом стал искать старика со старухой. Старушку нашел за печкой. Потаскал, потаскал — потом всю целиком проглотил да еще приговаривает:

— Будешь теперь знать, как мою шерсть прядь!

Стал медведь дальше искать, нашел и старика под кроватью. Потаскал его, поворчал, потом проглотил и старика целиком да еще приговаривает:

— Будешь знать, как мою лапу варить!

Очнулись старик со старухой, видят: они в животе у медведя сидят.

Старик не растерялся и говорит:

— Знаешь что, старуха, давай медвежье брюхо сварим. Все с голоду не порем.

## ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАЛЕЦ

Жили-были три брата. Однажды задержались они на охоте дотемна. Домой возвращаться было поздно. Решили братья заночевать в лесу. У них было настролено вдоволь и птиц и зайцев; но беда в том, что нечем было развести огонь.

Младший брат повел носом и говорит:

— Я чую запах дыма.

Старший брат залез на ель, поглядел во все четыре стороны и говорит:

— Братцы, а я прямо на восходе огонь вижу.

Послали братья старшего за огнем. Тот пошел. Долго ли, коротко ли он шел, но вышел, наконец, к костру. А у костра, на большом пне, сидит старик с седой бородой и железным пальцем в костре жар разгребает.

— Отец, дай-ка огонька! — попросил старший брат.

— Ишь ты какой! Так требуешь, как будто огонь этот твой, — отозвался старик.

— Может, тебе в ноги поклониться да еще руку поцеловать?! — насмешливо спросил старший брат.

— А что ж, может, и придется поклониться, — заворчал старик. — Видишь пень, на котором я сижу? Коли ты мне не понравишься, мигом под пень засуну. Если хочешь огня, расскажи мне сказку про то, чего не бывает и быть не может.

Старший брат начал рассказывать:

— Жил да был один кузнец, и денег у него было столько, сколько угольков в его горне. Пошел однажды кузнец бродить по белу свету и повстречал одного человека. А было это летом...

— Замолчи, дурак! — вскричал старик. — Все в твоей сказке давно уже слышано и видно.

Старик поднялся, да как даст старшему брату щелчка железным пальцем по лбу. Тот мигом и растянулся. Взял его старик и под пень засунул.

А младший и средний брат все сидят в лесу, ждут старшего. Ждут-пождут, а его все нет. Тогда средний брат пошел искать старшего.

Долго бродил он по лесу, видит: светит в лесу костер, возле костра на корявом пне старик сидит да железным пальцем жар разгребает. А под пнем старший брат лежит, одна голова наружу.

— Старик, старик! — закричал средний брат.— Сейчас тебе всю бороду вырву! Ты зачем моего брата под пень затолкал?

— Если ты окажешься не лучше, то и с тобой будет то же самое,— ответил старик.

— Эй, ты, старикан! Держи язык за зубами, а не то я тебя сейчас убью.

— Эх ты, дитятко неразумное! Еще не родился тот, кто мог бы меня испугать! Если хочешь, чтобы я твоего брата отпустил, расскажи мне сказку про то, чего не бывает и быть не может.

Стал средний брат рассказывать:

— Жил-был старый воробей. Свил он себе под крышей гнездо. А неподалеку от воробьиного гнезда было ласточкино гнездо, а возле ласточкиного гнезда...

— Хватит, дурак! — перебил старик.— Все в твоей сказке было и может быть. А я тебя просил рассказать про то, чего не бывает. Ну-ка, поди сюда!

И как только средний брат приблизился, старик поднял руку с железным пальцем и как даст ему щелчка. Тот сразу упал. Старик мигом схватил его и — под пень.

Не дождавшись возвращения братьев, отправился их искать самый младший. Долго брел он по лесу, вышел, наконец, на огонек, видит — сидит у костра старик и железным пальцем жар разгребает. А под пнем оба брата лежат, только головы наружу торчат.

Недолго думая, подскочил младший брат к старику и вцепился ему в бороду. Хотел он старика наземь повалить, да не тут-то было. Не успел он и глазом моргнуть, как старик поднял его и тоже под пень засунул. Да еще приговаривает:

— Не горячись, парень, не горячись! Видишь, твои братья тихо, спокойно себя ведут. Ну, и ты успокойся. А если расскажешь мне сказку про то, чего не бывает, тогда отпущу и тебя, и братьев, да еще огонька вам дам.

— Хорошо, расскажу! Дай только с мыслями собраться.

— Ладно, собирайся с мыслями! — согласился старик.

Подумал немного младший брат и начал:

— В прошлом году посеяли мы с отцом на озере бобы. Один боб рос, рос да и вырос до самого неба. Послал меня отец на небо за солью. Ухватился я за бобовый стебель и давай лезть вверх. Начал я лезть вечером, а до неба добрался только к утру. Купил я соли и пустился назад. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил из

хлева козел и перекусил бобовый стебель. Что делать? Прыгнул я вниз, взял копу (шесть десятков) яиц, разбил их, сварил из скорлупы веревку, вернулся на небо, привязал веревку за край облака и стал спускаться. Спускался я, спускался, вдруг вижу, веревки не хватает. Вытащил я нож из-за голенища, и — чик, — отрезал верхний конец веревки, привязал к нижнему и счастливо спустился на самую маковку костела. Посмотрел я сверху, думаю, — спрыгну. Прыгнул и угодил на большой камень. Увяз я в камне по колена, не знаю, что дальше делать. Подумал немного и решил оставить ноги в камне. Побежал я домой за топором. Вернулся, вижу — рыжая собака мои ноги в камне гложет. Замахнулся я топором на собаку, а она — гав, гав! и — бежать! Только со страху свои бумаги оставила...

— А что было в тех бумагах? — нетерпеливо спросил старик.

— Да ничего особенного. Там было написано, что твой отец у моего отца свиней пас.

— Неправда, этого не было, это вранье! — закричал старик и поднял было железный палец.

— Потихе, потихе, дедушка, — сказал младший брат. — Ты ведь и просил рассказать про то, чего не было. Выходит, что моя взяла.

Делать было нечего. Пришлось старику всех трех братьев отпустить и дать им огонька...

## **ШЕСТЕРО БЕЗЗУБЫХ И ОДИН КОСОГЛАЗЫЙ**

В деревне Коротконогих, неподалеку от озера Ложки, под горой Молоток, жили шестеро Беззубых и один Косоглазый.

Только не ладили Беззубые с Косоглазым.

Однажды Беззубые шли лугом и увидели быка Косоглазого. Напали они на этого быка и убили его.

А Косоглазый, не дождавшись вечером быка, пошел его искать. Искал, искал и нашел его убитым. Снял он с быка шкуру, взвалил его на телегу и повез домой.

На другой день он поехал с женой на ярмарку. Там он помог жене забраться в шкуру и научил ее, что надо делать.

Как только на ярмарке собрался народ, встал Косоглазый на телегу и закричал:

— Эгей! Когда баба внутри, мой бык поет и пляшет. А когда баба снаружи, мой бык молчит. Эгей, купите! Народ все побросал и обступил Косоглазого:

— Ну-ка, бычок, попляши! — сказал Косоглазый.

Бык стал плясать.

— Ну-ка, бычок, скажи, что ты ел сегодня?

— Солому... — промычал бычок.

— Ишь ты, диковинка какая! — зашумел народ.

Тут нашелся в толпе кузнец. Не торгуясь отвалил он за говорящего быка тысячу золотых и спрашивает у Косоглазого:

— А что это значит: когда баба внутри, мой бык поет и пляшет, а когда баба снаружи, мой бык молчит?

— Загадка не мудреная, — ответил Косоглазый, — сейчас все поймешь!

С этими словами он велел жене вылезть из бычьей шкуры.

— Сам видишь теперь: когда баба снаружи, бык ничего не смыслит, молчит.

Понял теперь купец, что его обвели вокруг пальца, и ушел несолоно хлебавши.

Узнали Беззубые про удачу Косоглазого, пришли к нему и говорят:

— Слыхали мы, что ты разбогател, лопатой золото загребашь. Расскажи нам, как ты свое богатство добыл?

Косоглазый почесал в затылке и говорит:

— Вы убили моего быка, чтобы мне навредить. Только вышел мне не вред, а польза. Вчера я снял с него шкуру и продал ее на ярмарке за тысячу золотых.

Беззубые вернулись домой, закололи всех своих быков, содрали с них шкуры и на другой день повезли в город.

Когда они стали за шкуры просить по тысяче золотых, народ над ними стал смеяться:

— Да что вы, белены объелись! Виданное ли дело, за дырявую шкуру по тысяче золотых заламывать?

— Гнать их с ярмарки! Приехали только издеваться над нами! — закричали купцы.

Едва успели Беззубые собрать шкуры и рады были целыми вернуться домой. Поняли они, что Косоглазый их обманул, и решили ему отомстить.

Сшили они кожаный мешок, поймали Косоглазого, засунули его в мешок, завязали и потащили в реку топить.

На мосту старший Беззубый говорит:

— Погодите, давайте сначала отдохнем, подкрепимся малость, а потом и утопим его.

Оставили мешок на мосту, а сами в трактир пошли.

А Косоглазый в мешке брыкается и кричит что есть силы:

— Развяжи мешок, покажу занятную вещь. Развяжи мешок, покажу занятную вещь.

Услыхал Косоглазого старый пастух, пожалел его и выпустил из мешка.

— Ну, теперь покажи мне занятную вещь! — сказал пастух.

— Наберись малость терпения, добрый человек, — ответил Косоглазый, — скоро увидишь.

С этими словами Косоглазый выкорчевал из земли старый пень и засунул его в мешок. Вложил еще туда большой камень, завязал, а сам с пастухом спрятался под мостом.

Скоро вернулись Беззубые, подняли мешок, раскачали и швырнули с моста в омут, приговаривая:

— Вот тебе, обманщик! Что заслужил, то и получил!

А Косоглазый, живой да целехонький, выскочил из-под моста, забежал вперед и давай пасти стадо того же пастуха.

Увидели Беззубые Косоглазого и рты разинули от удивления.

— Откуда ты, Косоглазый, взялся? — спрашивают. — Ведь мы тебя в реку бросили!

— Право уж сам не знаю теперь, на небе или в райских лугах я был... — ответил Косоглазый. — Потому что на дне я такую красоту повидал, что и передать невозможно! А больше всего мне понравились эти овечки, которых я сейчас домой гоню.

— А осталась ли там хоть еще одна такая овечка? — спрашивают Беззубые.

Махнул рукой Косоглазый:

— Что вы! Я и десятой доли не взял! Если не верите, могу вам показать!

Пошли Беззубые следом за Косоглазым. Пригнал он на мост все стадо и обернулся к Беззубым:

— Видите, сколько там шелковистых овечек! — и показал отражение овец в воде.



— Видим, видим,— закричали Беззубые.

Раньше всех бросился в воду самый старший из Беззубых.

Его товарищи услышали, как он в воде булькает, и подумали, что это он овечек зовет: «буре, буре»...

— Ох, он самых жирных овец из реки повытаскает! — заволновались Беззубые и, словно лягушки, стали прыгать в воду.

Добрый час они в воде барахтались, насилу выбрались, чуть не утонули.

С тех пор Беззубые перестали мстить Косоглазому.

## ХИТРЫЙ РОМАС

Жил-был человек по имени Ромас. Земли у него было мало. Каждую весну он терпеливо убирал все камни со своей полоски и выкорчевывал все пни. Но те, словно заколдованные, все ломали его соху да борону.

Присел однажды Ромас на груды камней отдохнуть. Сидит и проклиняет свою горькую жизнь.

— Черт бы побрал эти пни да камни! Нету от них житья!

Не успел Ромас вымолвить это проклятие, как вдруг откуда ни возьмись выскочил из оврага барчонок:

— Добрый день, хозяин. Что подельваешь?

Понял Ромас, что накликал нечистого, и говорит:

— Каждую весну дикие гуси на мое поле садятся и по столько яиц кладут, что я и собирать не успеваю.

И Ромас показал на камни, которые были рассыпаны по всей его полоске.

Глянул барчонок на камни и спрашивает:

— А почему ты не кладешь эти яйца под наседок? Подумай только, сколько ты набрал бы перьев да мяса!

— Пробовал! Один раз вылупилось шестьдесят гусят. Накинулись они на поле, склевали весь ячмень и овес, только-то и пользы было от них.

— Продай мне эти яйца,— говорит барчонок.

— Кули.

— А сколько хочешь?

— Соберешь их за ночь да вывезешь с поля, все твои будут,— сказал Ромас.

Барчонок согласился. Вышел Ромас утром в поле, а там уж ни камешка не осталось.

Взялся он за работу, вспахал, заборонил все поле и засеял горохом, овсом, ячменем и пшеницей. Посадил еще репы, картошки и к осени собрал богатый урожай.

Весной Ромас задумал выкорчевать на своей земле все пни. Вышел он в поле, сел на камень и призадумался. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил прошлогодний барчонок.

— Здорово, хозяин! Что так задумался?

— Не пошла мне впрок прошлогодняя торговля. Продал я те яйца, накупил удобрения и так удобрил почву, что теперь не знаю, как быть. Видишь, какая огромная репа выросла? Стали мы ее всей семьей дергать — ни с места! Созвали соседей — не тут-то было! Собрали всю деревню — и то не осилили. Так и не выдернули репы.

Ромас показал на пни: вот, мол, она,— репа!

А черт и говорит:

— Продай мне эту репу.

— Что ж, покупай. Я уж и так надорвался, пока дергал ее.

И порешили Ромас с чертом на том, что тот за одну ночь всю репу соберет и вывезет.

В ту же ночь черт привел на пнистое поле тысячу помощников. До первых петухов шум и гам стоял на поле. Зато с восходом солнца не осталось ни пенька. Недолго думая, засеял Ромас свою полосу рожью.

Осенью он продал урожай, на вырученные деньги приобрел утварь, созвал сапожников, портных да столяров, — нашил для своих трех дочерей приданого, обуви, наделал шкафов да сундуков. Потом всех трех выдал в один день замуж. Никто еще такой веселой свадьбы не видал.

И вот опять пришла весна. Старые черти больно отдрали чертенка за то, что он вместо репы пней накупил. Самый старший черт так беднягу стукнул, что тот с грохотом вылетел из ада и упал на землю.

Пришел чертенок в себя и кое-как добрался до усадьбы Ромаса. Он был очень зол на человека и решил ему

отомстить. Ромас в ту пору сеял гречку. Чертенюк подошел к нему и говорит:

— Здорово, хозяин! Пришел я к тебе покончить с нашими делами. Два раза ты меня обманул. Но теперь-то я от тебя не отстану! Либо ты пойдешь ко мне на три года в батраки, либо я твою землю опять камнями да пнями закидаю.

Понял Ромас, что бесполезно спорить с чертом, и стал думать, как ему из беды выйти.

— А сколько ты, барчонок, мне платы положишь? — спросил он.

— А ты сам скажи, сколько тебе надо.

Подумал Ромас часок и говорит:

— Ладно, пойду я к тебе батрачить. А плата будет вот какая: дам я тебе щелчка по лбу. Коли ты на ногах устоишь — ничего мне платить не станешь, а коли упадешь, плати мне сто золотых.

Черт подумал-подумал и согласился.

Ромас поглядел на небо, понюхал воздух и говорит:

— Приходи вечером вон на тот холм.

Сказано — сделано! Вечером Ромас отправился к назначенному месту. Черт уже там его ждал. На вершине холма стояла ветряная мельница.

— Становись вот сюда, — сказал Ромас и в темноте подвел черта под самую мельницу. Чертенюк уперся копытами в землю, выставил лоб и ждет.

А Ромас в темноте отвязал мельничные крылья, разбежался и толкнул их изо всей силы. Налетел ветер, и тяжелые крылья с грохотом завертелись.

— Эй, что ты там делаешь? — спросил черт.

— Погоди, это я ноготь для щелчка обтачиваю. Чтобы лучше скользил.

Чертенюк даже холод пробрал. Еще крепче уперся он копытами и спрашивает:

— Ну, скоро ты там?

— Скоро, скоро, — отвечает Ромас. — Только, пожалуйста, посторонись немножко. А то мне не видать.

Шагнул черт вперед. Тут крыло мельницы налетело, да как стукнет его по лбу! Чертенюк точно мешок с шелухой подбросило в самое поднебесье — только через час хлопнулся он в болото.

Долго он лежал в тине без памяти. К утру еле очухался, ползком добрался до оврага и провалился сквозь землю. А Ромас еще много лет жил привольно и без хлопот.

## СТРАКАЛАС И МАКАЛАС

Стракалас и Макалас — давнишние соседи. Хорошо между собой соседи жили, с малых лет дружили. Если один свинью заколет или крестины справляет, непременно другого позовет. Недаром в деревне говс или:

— Если бы Стракаласа сделали королем, Макалас был бы королевой.

Но одна беда: оба друга были упрямы, как козлы, да притом еще порядочные хвастуны! Если Стракалас сболтнет, что в Америке коровы летают, то хоть кол у него на голове теши, все будет свое твердить. А если Макалас скажет, что в Турции сверла растут, то, хоть убей, на своем будет стоять.

Вот раз Стракалас с Макаласом собрались в лес за дровами.

Прошли немного, Макалас и говорит:

— Вижу я, сосед, новый топор у тебя!

— Правда! — ответил Стракалас. — Такого топора здесь еще ни у кого не было. Этим топором и хлеб можно резать, и камни раскалывать.

— Что-то не верится, — сказал Макалас. — Но лучше моего топора не найти! Даром что старый, а новому не уступит. Разочек точилом проведешь — и брейся!

— А мой топор и вовсе точить не надо: только подую на него с одной стороны, да с другой и — готово! — ответил Стракалас.

— А я только приложу лезвие к стволу и чирк — вмиг дерево падает, — не поддается Макалас.

— Нет, твой топор с моим и сравнить нельзя, — не уступает Стракалас. — Вчера вышел я дрова колоть, только замахнулся, а береза — трах и раскололась пополам.

Расхваливая свои топоры, соседи приблизились к одной усадьбе. Вдоль дороги тянулся красивый, молодой сад. Макалас замахнулся своим топором и одним ударом срубил яблоньку.

— Видишь? Что я тебе говорил! Только ударил — и дерево готово.

Стракалас тоже размахнулся, сверкнул топором и срубил две яблоньки.

— А я тебе что говорил! Раз рубанул — две лежат! Но тут из дома выбежал хозяин сада с сыновьями.

Они отняли топоры у Стракаласа и Макаласа и здорово поколотили хвастунов.

Осенью Стракалас с Макаласом вычистили ружья и отправились на охоту. Только они вышли, Стракалас и говорит:

— Убьем медведя! Он уж от нас не убежит!

— Что там одного медведя! Пятерых медведей убьем,— бахвалился Макалас.— В молодые годы, помню, бывало, выйду я на часок, а вернусь с десятком зайцев.

— А я, бывало, в молодости выйду поохотиться, столько зайцев настреляю, что приходилось телегу на-нимать,— не уступает Стракалас.

— Правду сказать, свою добычу не всегда и на двух телегах мог я увезти. Я только самых жирных брал, а что похуже — сотни две-три воронам оставлял,— ответил Макалас.

— А я раз одной дробинкой четырнадцать уток в болоте убил! — похвалялся Стракалас.

— Э, братец, это что! Вот раз у меня вся дробь вышла. Загнал я в ствол подковный гвоздь, да как пальну — двух зайцев уложил, да еще лисий хвост к елке прибил этим же гвоздем,— не растерялся Макалас.

— Ну, это все пустяки,— возразил Стракалас.— В прошлом году я в ствол натолкал перцу, лаврового листа, соли и как выстрелил — семь уток упало, причем все они были уже ошипаны, посолены и поперчены.

— Скажу я тебе, сосед,— говорит Макалас,— что такое дело к лицу не охотнику, а повару. Настоящему охотнику нужней всего меткий глаз. Я вот за версту в шапку попаду...

— Если ты уже начал про меткий глаз, то я и замурившись могу в шапку попасть. А если ты такой ловкий, попробуй, попади в пуговицу.

— Что там пуговица! — говорил Макалас.— Я с пятисот шагов в мушиное крылышко попаду.

Расхваставшись, соседи приблизились между тем к одной усадьбе. Во дворе на веревках висела одежда и подушки.

Стракалас снял с плеча ружье, прицелился в тулуп и выстрелил.

— Говорил я тебе, что в пуговицу с пятисот шагов попаду! — вскричал Стракалас.

Макалас прицелился и выстрелил в подушку.

— Говорил я тебе, что мушиное крыло прострелю!

На выстрелы сбежались люди. Они увидели проделки хвастунов, схватили кто полено, кто палку и погнались за охотниками.

У Стракаласа и Макаласа отняли ружья да еще в придачу обоих хорошенько поколотили.

Когда настало лето, Макалас вышел в поле косить рожь. Косит Макалас рожь, вдруг, откуда ни возьмись, и Стракалас тут как тут.

— Что тебе спешить, сосед? Пусть просохнет рожь, хлебушко будет помягче,— говорит Стракалас.

— Нет, надо спешить,— отвечает Макалас,— дождь будет. Тучки собираются.

— Какие тучки? Никакого дождя не будет! — возражает Стракалас.

— Помалкивай! Что ни говори, а уж дождь я лучше твоего угадываю. Если ворон крикнул, значит, быть дождю,— упирается Макалас.

— Что ты, сосед! Если мой петух на навозной куче не копошится, дождя еще долго не будет.

— Погоди ты со своим петухом,— не унимается Макалас.— А я тебе говорю, что нынче вечером будет дождь. Недаром все мои кости заныли!

— Что там кости! Я погоду нюхом чую. Вот сегодня утром понюхал воздух и знаю, что еще три дня ведро простоит.

— Я и без нюха вижу, что собирается дождь!

Соседи спорили до самого вечера. В тот день Макалас так и не убрал своей ржи. На другой день Стракалас все твердил, что после обеда будет дождь, а Макалас стоял на том, что дождя не будет.

Так они спорили несколько дней. Вдруг пошел дождь и шел три дня. После этого друзья опять спорили о погоде и опять пошли дожди. Проросла у соседа рожь, и оба друга остались без хлеба.

Весной зажгло молнией сеновал у Стракаласа. Огонь перебросился на клеть Макаласа. Соседи бросились на помощь. И потушили бы пожар, да оба друга опять заспорили: Макалас стоял на том, что пожар от молнии лучше всего тушить кислым молоком, а Стракалас уверял, что — песком. Пока они спорили, все у них дотла сгорело.

Так Стракалас и Макалас остались без крова. Сшили они себе по большому мешку и пошли по миру.

И до сих пор ходят по миру эти два упрямых хвастуна.

## БАРСКИЕ ПОСУЛЫ

од

Жил в одной стране барин — плут большой руки. Своих слуг он всячески обманывал и обсчитывал. А одному молодому, веселому работнику он даже три года подряд жалованья не платил.

Шел однажды этот работник по берегу реки и повстречал прохожего.

— Откуда идешь? — спросил работник.

— Оттуда, где дорога начинается.

— А плавучий камень видел?

— Видел. Камень плывет, а на нем жернова лежат и не тонут.

— Ну ладно. Вижу, ты парень не промах. Будем товарищами. Пойдем мы с тобой к нашему продувному барину. Первым я войду. А ты подслушивай, как я с баринком толковать буду. Будешь знать, что потом самому говорить.

Прошел работник к барину и сказал:

— Барин, ты мне три года жалованья не платил, хоть бы пива поднес.

— Нет у меня пива, — ответил барин, — ячмень нынче не уродился.

Работник, зная, как жаден и глуп его барин, сказал:

— Был я недавно у родных, в имени барина Алдадрика. Вот я видел там ячмень, так это ячмень! Из одного колоса двенадцать бочек пива наварили.

— Не может быть! — крикнул барин. — Сейчас пошлю слугу проверить, правда ли это.

Вот пошел слуга и встретил товарища этого парня:

— Откуда ты, добрый человек?

— Оттуда же.

— Не знаешь, какой там ячмень был?

— Чего не знаю, того не знаю. Как пиво варили, я не видал. Зато я видел, как ячмень рубили. Десять мужиков топорами три дня его рубили.

Дал слуга тому человеку десять гривен, чтобы он в имение пошел и барину все своими словами пересказал. Вернулся слуга в имение, барин и спрашивает:

— Правда ли, что ячмень такой уродился?

— Истинная правда, барин. Вот я даже свидетеля оттуда привел.

Хочешь не хочешь, а пришлось барину уступить. Для того, чтобы скорее избавиться от непрошенных гостей, он сказал работнику:

— Приходи через год. Я тебе жалованье капустой отдам.

Парень ушел. А через год он передел своего товарища в женское платье и пришел с ним в имение к барину. Сам впереди идет, а товарищ сзади плетется.

— Ну, барин, пришел я за свою работу капусту получать,— говорит парень.

— Нет у меня в этом году капусты, не уродилась,— развел руками барин.

— А в той стране, где я сейчас был, у одного барина такая капуста уродилась, что из одного кочна двенадцать бочек нашинковали.

— Не может этого быть! — вскричал барин.— Пошлю слугу посмотреть.

Пошел слуга и встретил человека, переодетого женщиной.

— Откуда ты? — спросил слуга.

— Оттуда же.

— А какая там капуста уродилась? Велика ли?

— Не знаю, я не была, когда капусту солили. Только я видела, как двенадцать лошадей одну кочерыжку везли.

— А что из нее сделали?

— Через реку перекинули, и мост сделали.

Слуга говорит:

— Вот тебе десять гривен за то, что ты мне путь укорачиваешь. Пойдем к нам в имение. Там барину все расскажешь.

Вернулся слуга в имение, а барин спрашивает:

— Правда ли, что капуста такая уродилась?

— Истинная правда, барин. Вот я оттуда женщину привел.

— Ладно,— сказал теперь барин работнику.— Приходи на другой год, может, куры будут хорошо нестись, я тебе яйцами долг отдам.



Ушел парень. Весь год он кое-как с товарищем промаялся. А как настала весна, пошел снова к барину. Сам впереди шагает, а его товарищ с накладной бородой сзади идет.

— Как куры, барин, несутся?

— Плохо, ни одного яичка не снесли. Нечем было кормить.

— А я был в такой стране, где кур звездами кормят.

— Не может быть! — удивился барин. — Пошлю слугу проверить.

Пошел слуга, встретил бородатого человека и спрашивает:

— Откуда ты?

— Оттуда же.

— А ты не видел кур, которые звезды клюют?

— Кур я таких не видел. Зато видел, как три мужика одно яйцо на сковороду вкатывали.

Слуга дал бородачу десять гривен и велел ему все это барину рассказать. Когда слуга вернулся, барин спрашивает:

— Правда ли про кур?

— Истинная правда, барин. Там куры не только звезды клюют. Они такие яйца несут, что трое мужиков еле-еле одно яйцо поднимают. Вот я и свидетеля оттуда привел.

Видит барин, что трудно ему будет от работника отвязаться, и говорит:

— Приходи через год. И расскажи о самом большом дураке, какого только найдешь. Тогда отдам тебе долг.

Ушел парень, кое-как год прожил, а потом возвращается опять в имение.

Барин спрашивает:

— Ну, что хорошего видел?

— Весь год я странствовал, много диковинного повидал. В одной стране я видел: сидит человек без движения на опушке десять лет. Длиннющая борода его земли касается. А под подбородком и за ушами ласточки гнезда свили. Кругом народ толпится, на дурака любит.

— Зачем же он сидит? — спрашивает барин.

— Хочет разжалобить черствое сердце своего барина. Тот ему, бедняге, десять лет за работу не платил.

— Почему же люди считают этого старика дураком? — спросил барин.

— Потому, что он от бар надеется правды дождаться.

Понял тогда барин намек работника и велел слугам гнать его взаши из имения.

Посулы барина — что подстилка в хлеву. Барская правда — всегда тощая.

## ШУТОЧНАЯ СКАЗКА

Дочка моя вышла замуж и пригласила меня к себе в гости. Я граблями волосы расчесала, ноги жиром смазала, в холстину нарядилась, тряпкой голову повязала и отправилась.

Меня в гостях очень хорошо приняли: за стол посадили, колбасным запахом угостили, из пустого кувшина напоили, на веревку спать положили.

На другой день посадили меня на телегу из репы, запрягли восковую лошадь с конопляным хвостом, разными подарками одарили и домой проводили.

Еду я домой веселая и довольная. Вдруг, откуда ни возьмись, над моей головой закружился ворон:

— Кра, кра, подари мне, тетушка, черную юбку. Меня в сваты зовут, а одеться не во что.

Как тут быть? Подарила я ему черную юбку, еду дальше. Немного проехала, слышу: «кар, кар, кар». Смотрю — ворона летит:

— Подари мне, тетенька, серую телогрею. Мне на свадьбе сватьей быть, а нарядиться не во что.

Подарила я ей телогрею — неловко было отказать. Еще немного проехала, слышу: чик-чивик. Летит рядом с телегой ласточка:

— Тетенька, дорогая, подари мне ножницы. Надо невесте одежду скроить, а нечем.

Отдала я ласточке ножницы. Та их за хвост заткнула и зачирикала — меня благодарит.

Поехала я лесом, думаю: если дело и дальше так пойдет, вернусь я домой голая. Только успела подумать, слышу: — тук, тук, тук... Смотрю, на елке дятел сидит. И говорит он мне:

— Тетушка моя милая, подари ты мне пестрый пиджак. Сегодня у меня свадьба, а одеть нечего.

Как жениху отказать! Подарила я дятлу пиджак.

Еду дальше. А у дороги береза стоит, словно дожидается кого-то. Увидела меня, наклонила свою кудрявую голову и говорит:

— Подари мне, тетенька, белый платок.

Как только я березу белым платком повязала, стала она белая, белая...

Так я все и раздавала. Еду, трясусь в телеге, вдруг слышу — зовут:

— Тетенька, поди сюда!

Гляжу — пастухи свиной пасут и у дороги костер развели. Слезла я с телеги, села у огня, греюсь. Вдруг вижу — подожгли пастухи конопляный хвост моей лошади, а от хвоста разгорелась, растаяла и вся восковая лошадка. Той порой свины сожрали мою тележку из репы. Осталась я ни при чем.

Был у меня еще рожок с медом. Да я его сосала, пока весь не высосала. Вот там на доньшке еще осталась капелька — это вам от меня гостинец.



*Дмитрий Нагишкин*

## ХРАБРЫЙ АЗМУН

**С**мелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет — только крепче станет. О смелом да храбром долго люди помнят. Отец сыну о смелом да храбром сказки рассказывает.

Давно это было. Тогда нивхи\* еще каменные накопечники к стрелам делали. Тогда нивхи еще деревянным крючком рыбу ловили. Тогда амурский лиман Малым морем звали — Ля-ери.

Тогда на самом берегу Амура одна деревня стояла. Жили в ней нивхи — не хорошо и не худо. Много рыбы идет — нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Мало рыбы идет, плохой улов — молчат нивхи, мох курят да потуже пояса на животах затягивают.

Одной весной вот что случилось.

Сидят как-то парни и мужчины на берегу, на воду смотрят, трубки курят, сетки чинят. Глядят — по Амуру

---

\* *Нивхи* и далее встречающиеся в сказках *удэгейцы* (*удэ*), *нанайцы*, *ульчи*, *орочи* — народности Дальнего Севера, живущие по Амуру и его притокам, в Уссурийской тайге и на Северном Сахалине. (Прим. автора.)

что-то плывет. Пять-шесть, а может, и весь десяток деревьев. Видно, где-то буревалом повалило, поляя вода их друг с другом сплотила и так сбила, что и силой не растащишь. Земли на те деревья навалено. Трава на них выросла. Целый остров — ховых — плывет. Видят нивхи — на том ховыхе заструженный шест стоит. В несколько рядов на том шесте стружки вьются, на ветру шумят. Красная тряпочка, на том шесте привязанная, в воздухе полощется.

Говорит старый нивх Плетун:

— Кто-то плывет на ховыхе. Заструженный шест поставлен — от злого глаза защита. Значит, помощи просит.

Слышат нивхи — плач ребенка доносится. Плачет ребенок, так и заливается. Говорит Плетун:

— Ребенок на ховыхе плывет. Видно, нет у него никого. Злые люди всех его родичей убили, или черная смерть всех унесла. Зря не бросит ребенка мать. На ховых посадила — добрых людей искать послала.

Подплывает ховых. Слышен плач все сильнее.

— Нивху как не помочь! — говорит Плетун. — Помочь надо.

Кинули парни веревку с деревянным крючком, зацепили ховых, подтянули к берегу. Глядят — лежит ребенок: сам беленький, кругленький, глазки черные, как звездочки блестят, лицо широкое — как полная луна. В руках у ребенка — стрела да весло.

Посмотрел Плетун, говорит — ребенок богатырем будет, коли с колыбели за стрелу да за весло схватился: ни врага, ни работы не боится. Говорит:

— Сыном своим назову. Имя новое дам. Пусть Азмун называться будет.

Взяли нивхи Азмуна на руки, к дому Плетуна понесли. Только что такое?.. С каждым шагом ребенок все тяжелей становится!

Говорят старику:

— Эй, Плетун, сын-то твой на руках растет! Гляди!

— На родной земле да на родных руках как не расти! — отвечает Плетун. — Родная земля силу человеку дает.

Видно, правду Плетун сказал, что родная земля силу дает: пока до дома старика дошли, вырос Азмун; до порога его парни донесли, а у порога он с рук на землю сошел, на свои ноги стал, посторонился — старшим дорогу уступил, только тогда в дом вошел.

«Э-э! — думает Плетун, на нового сына глядя. — Мальчик-то хорошие дела делать будет: наперед о людях думает, а потом о себе».

А Азмун названного отца на нары посадил, поклонился ему и говорит:

— Посиди, отец. За долгую жизнь устал ты. Отдохни.

Сетки взял, весло взял. На берег вышел — лодки сами собой в воду соскочили. А Азмун в лодку стал; на корму свое весло бросил — стало весло работать, на середину реки выгребать. Пошла лодка. Азмун сетку бросил в воду. Сетку вынул — много рыбы поймал. Домой пришел — женщинам рыбу отдал. В деревне все в этот день рыбу ели. А Азмун названному отцу говорит:

— Мало рыбы в этом месте, отец.

Отвечает ему Плетун:

— Не пришла рыба, Амур рыбу не дает.

— Попросить надо, отец. Как нивхам без рыбы жить? Раньше всегда рыбы просили — Амур кормили, чтобы рыбу давал.

Вот поехали Амур кормить.

На многих лодках поехали. Лучшие одежды надели из пестрых тюленей, собачьи дохи черные надели. Плынут, песни хорошие поют. На середину Амура выехали.

Взял Плетун кашу, юколу — сушеную рыбу, — сохачьего мяса взял. Все в Амур бросил:

— Простые люди просят тебя — рыбу пошли, много хорошей рыбы пошли, разную рыбу пошли! Вот юколу тебе собачью бросаем — больше у нас нечего есть. Голодаем! Животы к спине прилипли у нас. Помоги нам, а мы тебя не забудем!

Кинул Азмун сетку в воду — много рыбы взял. Радуются нивхи. А Азмун хмурится. «Один раз — это просто удача», — говорит. Кинул сетку второй раз — меньше рыбы взял. Хмурится Азмун. Кинул сетку в третий раз — последнюю рыбу взял. Кто из нивхов потом сетки ни бросал — ничего не поймал. Даже корюшка в сетку нейдет. В четвертый раз кинул свою сетку Азмун — пустую вытащил.

Приуныли нивхи. Трубки закурили. «Помирать теперь будем!» — говорят.

Велел Азмун всю рыбу в один амбар сложить — понемногу всех людей кормить.

Заплакал Плетун, говорит Азмуну:

— Сыном тебя назвал, думал — новую жизнь тебе

дам! Рыбы нет — что есть будем? Все помрем с голоду. Уходи, сын мой! Тебе другая дорога. От нас уйди — наше несчастье на нашем пороге оставь!

Стал Азмун думать. Отцовскую трубку закурил. Три амбара дыму накурил. Долго думал. Потом говорит:

— К Морскому Старика — Тайрнадзу — пойду. Оттого в Амуре нет, что Хозяин о нивхах забыл.

Испугался Плетун: никто из нивхов к Морскому Хозяину не ходил. Никогда этого не было. Может ли простой человек на морское дно к Тайрнадзу — Старика — спуститься?

М. Д. — По силе ли тебе дорога эта? — спрашивает отец Азмуна.

Ударил Азмун ногой в землю — от своей силы по пояс в землю ушел. Ударил в скалу кулаком — скала трещину дала, из той трещины родник полился. Глаз прищурил — на дальнюю сопку посмотрел, говорит: «У подножия сопки белка сидит, орех в зубах держит, разгрызть не может. Помогу ей!» Взял Азмун лук, стрелу наложил, тетиву натянул, стрелу послал. Полетела стрела, ударила в тот орех, что белка в зубах держала, расколола пополам, белку не задела.

— По силе! — говорит Азмун.

Собрался Азмун в дорогу. В мешочек за пазуху амурской земли положил, нож, лук со стрелами взял, веревку с крючком, костяную пластинку взял — играть, коли в дороге скучно станет.

Обещал отцу в скором времени весть о себе подать. Наказал: той рыбой, что он наловил, всех кормить, пока не вернется.

Вот пошел он.

К берегу моря пришел. До Малого моря дошел. Видит — нерпа на него глаза из воды таращит, с голоду подышает.

Кричит ей Азмун:

— Эй, соседка, далеко ли до Хозяина идти?

— Какого тебе хозяина надо?

— Тайрнадза, Морского Старика!

— Коли морского — так в море и ищи, — отвечает нерпа.

Пошел Азмун дальше. До Охотского моря дошел, до Пийя-кёркха — так его тогда называли. Лежит перед ним море — конца-краю морю не видать. Чайки над ним летают, бакланы кричат. Волна одна за другой катятся. Серое небо над морем висит, облаками закрыто. Где тут

Хозяина искать? Как к нему дойти?! И спросить некого. Глядит Азмун вокруг... Что делать? Чайкам закричал:

— Эй, соседки, хороша ли добыча? Простые-то люди с голоду помирают!

— Какая там добыча! — чайки говорят. — Сам видишь, еле крыльями машем. Рыбы давно не видим. Скоро конец нашему народу придет. Видно, заснул Морской Старик, про свое дело забыл.

Говорит Азмун:

— Я к нему иду. Да не знаю, соседки, как к нему попасть...

Говорят чайки:

— Далеко в море остров есть. Из того острова дым идет. Не остров то, а крыша юрты Тайрнадза, из трубы дым идет. Мы там не бывали, наши отцы туда не залетали — от перелетных птиц слышали! Как попасть туда — не знаем. У косаток спроси.

— Ладно, — говорит Азмун.

Вышел на морской берег Азмун. Долго шел. Устал. Сел среди камней на песке, голову на руки положил, стал думать. Думал, думал — уснул. Вдруг во сне слышит — шумят какие-то люди на берегу. Азмун глаза приоткрыл...

Видит — по берегу молодые парни взапуски бегают, на поясках тянутся, друг через друга прыгают, с саблями кривыми играют. Тут тюлени на берег вышли. Парни тюленей саблями бьют. Как ударят — так тюлень на бок! «Э-э, — думает Азмун, — мне бы такую саблю!» Смотрит Азмун — стоят на берегу лодки худые...

Стали тут парни бороться. Сабли на песок побросали. Задрались между собой — ничего вокруг не видят, кричат, ссорятся. Тут Азмун изловчился, веревку с крючком забросил, одну саблю зацепил, к себе потихоньку подтянул. Тронул пальцем — хороша! Пригодится.

Кончили парни бороться. Все за сабли взялись, а одному не хватает. Заплакал тут парень, говорит:

— Ой-я-ха! Задаст мне теперь Хозяин! Что теперь Старику скажу, как к нему попаду?

«Э-э, — думает Азмун, — парни-то со Стариком знаются! Видно, из морской деревни парни!»

Сам лежит, не шевелится.

Стали парни саблю искать — нету сабли. Тот, кто саблю потерял, в лес побежал — посмотреть, не там ли обронил.



Остальные — лодки в море столкнули, сели. Только одна осталась на берегу.

Азмун теми парнями — бежать! Пустую лодку в море столкнул — смотрит, куда парни поедут. А парни в открытое море выгребают. Прыгнул и Азмун в лодку, стал в море выгребать. Вдруг смотрит — что такое? Нет впереди ни лодок, ни парней! Только косатки по морю плывут, волну рассекают, спинные плавники, как сабли, выставили, на плавниках куски тюленьего мяса торчат.

Тут и под Азмуном лодка зашевелилась. Хватился Азмун, огляделся — не на лодке он, а на спине косатки! Догадался тут парень, что не лодки на берегу лежали, а шкуры косаток. Что не парни на берегу с саблями играли, а косатки. И не сабли то, а косаток спинные плавники. «Ну что ж, — думает Азмун, — всё к Старику ближе!»

Долго ли плыл так Азмун — не знаю, не рассказывал. Пока плыл, у него усы отросли.

Вот увидел Азмун, что впереди остров лежит, на крышу шалаша похожий. На вершине острова — дыра, из дыры дымок курится. «Видно, там Старик живет!» — себе Азмун говорит. Тут Азмун стрелу на лук положил, отцу стрелу послал...

К острову косатки подплыли, на берег кинулись, через спину перекатились — парнями стали, тюленьё мясо в руках держат.

А та косатка, что под Азмуном была, назад в море повернула. Без своей сабли, видно, домой ходу нет! Свалился Азмун в воду — чуть не утонул.

Увидали парни, что Азмун барахтается в море, кинулись к нему. Выбрался Азмун на берег, парни его рассматривают, хмурятся. Говорят:

— Эй, ты кто такой? Как сюда попал?

— Да вы что — своего не узнали? — говорит Азмун. — Я от вас отстал, пока саблю искал. Вот она, сабля моя!

— Это верно, сабля твоя. А почему ты на себя не похож?

Говорит Азмун:

— Изменился я от страха, что саблю свою потерял. До сих пор в себя прийти не могу. К Старику пойду — пусть мне прежний вид вернет!

— Спит Старик, — говорят парни, — видишь, дымок чуть курится.

В свои юрты парни пошли. Азмуна одного оставили.

Стал Азмун на сопку взбираться. До половины взойшел — видит, тут стойбище стоит. Одни девушки в стойбище том. Загородили Азмуну дорогу, не пускают:

— Спит Старик, не велел мешать!..— Пристают к Азмуну, ластятся: — Не ходи к Тайрнадзу! Оставайся с нами! Жену возьмешь — хорошо жить будешь!

А девушки — красавицы, одна другой краше! Глаза ясные, лицом прекрасные, телом гибкие, руками ловкие. Такие красивые девушки, что подумал Азмун — не худо бы ему и верно из этих девушек жену себе взять.

Зашевелилась тут за пазухой у него амурская земля в мешочке. Вспомнил Азмун, что не за невестой сюда пришел, а вырваться от девушек не может. Догадался он тут — из-за пазухи бусы вынул, на землю бросил.

Кинулись девушки бусы подбирать — тут и увидел Азмун, что не ноги у тех девушек, а ласты. Не девушки то, а тюлени!

Пока девушки бусы собирали, добрался Азмун до вершины горы. В ту дыру, что на вершине была, свою веревку с крючком бросил. Зацепил крючок за гребень горы и по той веревке вниз полез. На дно спустился — в дом Морского Старика попал.

На пол упал — чуть не расшибся. Огляделся: всё в доме, как у нивха, — нары, очаг, стены, столбы, только всё в рыбьей чешуе. Да за окном не небо, а вода.

Плещется за окном вода, зеленые волны за окном ходят, водоросли морские в тех волнах качаются, будто деревья невиданные. Мимо окон рыбы проплывают, да такие, каких ни один нивх в рот не возьмет: зубастые да костястые, сами смотрят — кого бы сглотнуть!..

Лежит на нарах Старик, спит. Серые волосы по подушке рассыпались. Во рту трубка торчит, почти совсем погасла, едва дымок из нее идет, в трубу тянется. Храпит Тайрнадз, ничего не слышит. Тронул его Азмун рукой — нет, не просыпается Старик, да и только...

Вспомнил Азмун про свою костяную пластинку — кунгахкей, — из-за пазухи вытащил, зубами зажал, за язычок дергать стал. Загудела, зажужжала, заиграла кунгахкей: то будто птица щебечет, то словно ручей журчит, то как пчела жужжит...

Тайрнадз никогда такого не слышал. Что такое? Зашевелился, поднялся, глаза протер, сел, под себя ноги поджав. Большой, как скала подводная; лицо доброе, усы, как у сома, висят. На коже чешуя перламутром пе-

реливается. Из морских водорослей одежда сшита... Увидел он, что против него маленький парень стоит, как корюшка против осетра, во рту что-то держит да так хорошо играет, что у Тайрнадза сердце запрыгало. Мигом сон с Тайрнадза слетел. Доброе лицо свое он к Азмуну обратил, глаза прищурил, спрашивает:

— Ты какого народа человек?

— Я — Азмун, нивхского народа человек.

— Нивхи на Тро-мифе<sup>1</sup> да на Ля-ери живут. Ты зачем так далеко в наши воды-земли зашел?

Рассказал Азмун, какое горе у нивхов стало, поклонился:

— Отец, нивхам помощи — нивхам рыбу пошли! Отец, нивхи с голоду умирают! Вот меня послали помощи просить.

Стыдно стало Тайрнадзу. Покраснел он, говорит:

— Плохо это получилось: лег только отдохнуть, да и заснул! Спасибо тебе, что разбудил меня!

Сунул руку Тайрнадз под нары. Глядит Азмун — там большой чан стоит: в том чане горбуша, калуги, осетры, кета, лососи, форели плавают. Видимо-невидимо рыбы!

Рядом с чаном шкура лежит. Ухватил ее Старик, четверть шкуры рыбой наполнил. Дверь открыл, рыбу в море бросил, говорит:

— К нивхам на Тро-миф, на Амур плывите! Быстро плывите, плывите! Хорошо весной ловитесь!

— Отец,— говорит Азмун,— нивхам рыбы не жалеи! Нахмурился Тайрнадз.

Испугался тут Азмун. «Ну, пропал я теперь! — думает.— Рассердил Старика. Плохо будет!» Отца вспомнил, ноги выпрямил, прямо на Тайрнадза смотрит.

Улыбнулся тот:

— Другому бы не простил, что в дела мои мешается, а тебе прощу: вижу, не о себе думаешь, о других. Будь по-твоему!

Бросил Тайрнадз в море еще полшкуры рыбы всякой:

— На Тро-миф, на Амур плывите, плывите. Хорошо осенью ловитесь!

Поклонился ему Азмун:

— Отец! Я бедный — нечем мне отплатить тебе за добро. Вот возьми кунгахкеи в подарок.

---

\* Тро-миф — так раньше назывался остров Сахалин. (Прим. автора.)

Дал он Тайрнадзу пластинку свою; как играть на ней, показал.

А у старого давно руки чешутся, хочется ее взять, глаз от нее отвести не может! Больно понравилась игрушка.

Обрадовался Тайрнадз, в рот пластинку взял, зубами зажал, за язычок стал дергать...

Загудела, зажужжала кунгахкеи: то будто ветер морской, то словно прибой, то как шум деревьев, то будто птичка на заре, то как суслик свистит. Играет Тайрнадз, совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Зашатался дом, за окнами волны взбесились, водоросли морские рвутся — буря в море поднялась.

Видит Азмун, что не до него теперь Тайрнадзу. К трубе подошел, за веревку свою взялся, наверх полез. Пока лез, все руки себе в кровь изодрал: пока гостил у Старика, веревка ракушками морскими обросла.

Вылез, огляделся.

Тюлень-девушки всё еще бусы ищут, ссорятся, делят — и про дома свои забыли, двери в те дома мохом заросли!

На нижнюю деревню Азмун посмотрел — пустая стоит, а далеко в море плавники косаток видны: гонят косатки рыбу к берегам Пиля-керкха, к берегам Ля-ери, на Амур рыбу гонят!

Как теперь домой попасть?

Видит Азмун — радуга висит. Одним концом на остров, другим — на Большую землю опирается.

А в море волны бушуют — пляшет Тайрнадз в своей юрте. Белые барашки по морю ходят.

Полез Азмун на радугу. Едва вскарабкался. Весь перепачкался: лицо зеленое, руки желтые, живот красный, ноги голубые. Кое-как влез, по радуге на Большую землю побежал. Бежит, проваливается, чуть не падает. Вниз взглянул, видит — от рыбы черно в море стало. Будет рыба у нивхов!

Кончилась радуга.

Спрыгнул Азмун на землю. Смотрит — на берегу морском, возле лодки, тот парень-косатка сидит, чью саблю Азмун утащил. Узнал его Азмун, саблю отдал. Схватил парень саблю.

— Спасибо! — говорит. — Я уж думал, век мне дома не видать... Твоего добра не забуду: к самому Амуру ры-

бу подгонять буду. Зла на тебя не храню: знаю теперь — не для себя ты старался, для людей.

Через спину перекинулся — косаткой стал, свою саблю — спинной плавник — вверх поднял и поплыл в море.

Пошел Азмун к Пиля-керкху, к Большому морю вышел. Чаек, бакланов встретил. Кричат те парню:

— Эй, сосед! У Старика был ли?

— Был! — кричит им Азмун. — Не на меня — на море смотрите!

А рыба по морю идет, вода пенится. Кинулись чайки, стали рыбу ловить, на глазах жиреть стали.

А Азмун дальше идет. Ля-ери прошел, к Амуру подходит. Видит — нерпа совсем издыхает. Спрашивает нерпа парня:

— У Старика был ли?

— Был! — говорит Азмун. — Не на меня — на Ля-ери смотри!

А рыба вверх по лиману идет, вода от рыбы пенится. Бросилась нерпа рыбу ловить. Стала рыбу есть — на глазах жиреет...

А Азмун дальше пошел. К родной деревне подошел. Нивхи едва живые на берегу сидят, мох весь искурили, рыбу всю приели.

Выходит Плетун на порог дома, сына встречает, в обе щеки целует.

— У Старика, сын мой, был ли? — спрашивает.

— Не на меня, а на Амур, отец, смотри! — отвечает Азмун.

А на Амуре вода кипит — столько рыбы привалило. Кинул Азмун свое копьё в косяк. Стало копьё торчком, вместе с рыбой идет. Говорит Азмун:

— Хватит ли рыбы, отец мой названный?

— Хватит!

Стали нивхи жить хорошо. Весной и осенью рыба идет!

Про многих людей с тех пор забыли... А про Азмуна и его кунгахкеи помнят до сих пор.

Как разволнуется море, заплещутся волны в прибрежные скалы, седые гребешки на волнах зашумят — в свисте ветра морского то крик птицы слышится, то суслика свист, то деревьев шум... Это Морской Старик, чтобы не заснуть, на кунгахкеи играет, в подводном доме своем пляшет.

## АЙОГА

Жил в роду Самáров один нанаец Ла. Была у него дочка, по имени Айога́. Красивая была девочка Айога. Все ее очень любили. И сказал кто-то, что красивее девочки Ла никого нету — ни в этом и ни в каком другом стойбище. Загордилась Айога, стала рассматривать свое лицо. Понравилась сама себе, смотрит — и не может оторваться, глядит — не наглядится. То в медный таз начищенный смотрится, то на свое отражение в воде.

Ничего делать Айога не стала. Все любит себя собой. Ленивая стала Айога.

Вот один раз говорит ей мать:

— Пойди воды принеси, Айога!

Отвечает Айога:

— Я в воду упаду.

— А ты за куст держись.

— Куст оборвется, — говорит Айога.

— А ты за крепкий куст возьми.

— Руки поцарапаю...

Говорит Айоге мать:

— Рукавицы надень.

— Изорвутся, — говорит Айога. А сама все в медный таз смотрится: ах, какая она красивая!

— Так зашей рукавицы иголкой.

— Иголка сломается.

— Толстую иголку возьми, — говорит отец.

— Палец уколю, — отвечает дочка.

— Напёрсток из крепкой кожи — рóвдуги — надень.

— Напёрсток прорвется, — отвечает Айога, а сама — ни с места.

Тут соседская девочка говорит:

— Я схожу за водой, мать.

Пошла девочка на реку и принесла воды сколько надо.

Замесила мать тесто. Сделала лепешки из черемухи.

На раскаленном очаге испекла.

Увидела Айога лепешки, кричит матери:

— Дай мне лепешку, мать!

— Горячая она — руки обожжешь, — отвечает мать.

— А я рукавицы надену, — говорит Айога.

— Рукавицы мокрые.

— Я их на солнце высушу.

— Покоробятся они, — отвечает мать.

— Я их мялкой разомну.

— Руки заболят,— говорит мать.— Зачем тебе трудиться, красоту свою портить? Лучше я лепешку той девочке отдам, которая своих рук не жалеет.

И отдала мать лепешки соседской девочке.

Рассердилась Айога. Пошла на реку. Смотрит на свое отражение в воде. А соседская девочка сидит на берегу, лепешку жует. Стала Айога на ту девочку оглядываться, и вытянулась у нее шея: длинная-длинная стала.

Говорит девочка Айоге:

— Возьми лепешку, Айога. Мне не жалко.

Совсем разозлилась Айога. Замахала на девочку руками, пальцы растопырѣла, побелела вся от злости — как это она, красавица, надкушенную лепешку съест! — так замахала руками, что руки у нее в крылья превратились.

— Не надо мне ничего-го-го! — кричит Айога.

Не удержалась на берегу, бултыхнулась в воду Айога и превратилась в гуся. Плавает и кричит:

— Ах, какая я красивая! Го-го-го! Ах, какая я красивая! Га-га-га!..

Плавала, плавала, пока по-нанайски говорить не разучилась. Все слова забыла.

Только имя свое не забыла, чтобы с кем-нибудь ее, красавицу, не спутали; и кричит, чуть людей завидит:

— Ай-ога-га-га! Ай-ога-га-га!

## ХВАСТУН

Хвастуну верить — беды себе нажить.

Жил однажды в тайге заяц. По виду он был как и все зайцы: уши длинные, две ноги короткие, чтобы ими еду держать, две ноги длинные, чтобы от врагов бежать. Только был тот заяц хвастун. Таких хвастунов заячий народ еще никогда не видал.

Вот один раз зайчишка маленький корешок сараны съел, а своим родичам рассказывает:

— Бежал я по лесу, еды искал. Вдруг как ударюсь обо что-то! Чуть голову не разбил. Вот, глядите — губу себе разорвал!

Смеются зайцы:

— Да, это верно, губа у тебя раздвоена. У всех зайцев такая губа.

А зайчишка говорит:

— Это у всех зайцев такая губа, а у меня особенная... Хотите слушать — не перебивайте... Ударился я, вижу — сарана стоит, таких еще никто не видал. Стебель у сараны с лиственницу вышиной! Цветок у сараны большой-пребольшой! Корешок у той сараны с медведя толщиной! Стал я землю копать. Зубы у меня острые. Лапы у меня сильные. Две сопки земли я накопал по сторонам. Корень откопал. Такой корень откопал, что десять дней подряд ел, а и половины не съел. Вот, смотрите, какой я жирный стал!

Посмотрели зайцы.

— Да ты такой, как все,— говорят,— не толще остальных зайцев.

— Промаялся я,— говорит хвастун,— сильно бежал, хотел вам тот корень показать. Добрый я! Сам наелся теперь на всю жизнь, пусть, думаю, и братья мои поедят сладкого корешка, какого никогда еще не едали!

Кто из зайцев от сладкого корешка откажется! Потекли у зайцев слюньки. Спрашивают они:

— А как на то место дорогу найти?

— Да я покажу,— говорит зайчишка,— мне не жалко.

Побежали зайцы за хвастуном. Прибежали на ровное место.

Говорит хвастун:

— Вот тут я сарану величиной с лиственницу видал. Вот тут я лапами две сопки земли накидал.

— Где те сопки? — спрашивают родичи у хвастуна.

— Река унесла.

— Где та река?

— В море утекла.

— Где та сарана?

— Появля. Я ведь корень-то подгрыз.

— А где стебель сараны?

— Барсук съел.

— Где барсук?

— В тайгу ушел.

— Где тайга?

— Пожар сжег.

— А пепел где?

— Ветер разнес.

— А пеньки где?

— Травой заросли.

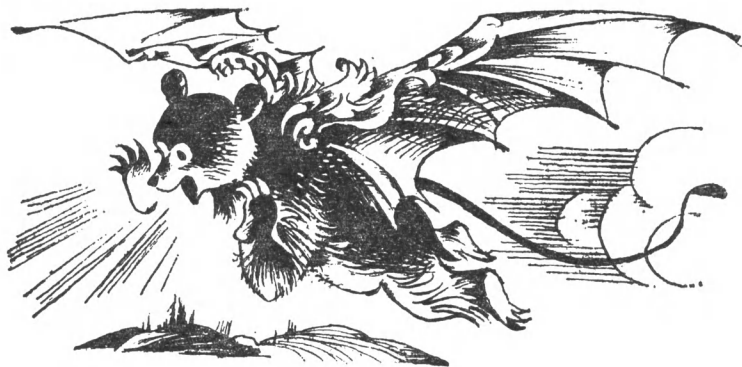


Сидят зайцы, ушами хлопают: разобрать не могут, так ли было, как зайчишка говорит.

А хвастун свое:

— Да такую сарану нетрудно найти! Совсем простое дело такую сарану найти. Надо только вперед бежать да в обе стороны глядеть. Не с одной — так с другой стороны увидишь...

Кинулись зайцы врассыпную! Летят, глаза в разные стороны развели так, что свой хвост видят, а что впереди — не знают. Развели глаза, боятся ту сладкую сарану, с лиственницу величиной, проглядеть... Бегали, бегали, пока с ног не свалились. Тут от голода им и простая трава слаще сараны показалась. Только глаза они и до сих пор свести не могут..



## *Монгуш Кенин-Лопсан*

### КОГДА ЛИСА СТАЛА РЫЖЕЙ



авным-давно жившие на земле животные сами подбирали себе цвет шкуры. И Лиса пожелала быть черной. Она так гордилась своей темной, как ночь, окраской, что ей не терпелось сообщить об этом всему свету. Ранним утром она стала крутиться на берегу реки, поглядывая на себя в воду. Потом решила вызвать Налима, чтобы и он на нее полюбовался.

— Эй! — крикнула она. — Ты здесь, толстый лентяй? А ну-ка, выгляни на минутку.

— Зачем? — неохотно отозвался Налим.

— Давай побежим наперегонки! — предложила хитрая Лисица. — Ты по воде, а я по бережку.

— Неохота! — завздыхал Налим. — Лень. Мне за тобой не угнаться.

— Трус! — сказала Лиса. — Ты просто трус.

— Ладно уж, — согласился Налим. — Что с тобой сделаешь? Но только не сегодня, а завтра. Сейчас мне не вылезти из-под коряги.

— Хорошо, давай завтра, — согласилась Лиса. Взмахнула своим черным хвостом и убежала.

Толстый Налим созвал всех остальных налимов своей реки и сказал:

— Завтра тут появится черная Лиса. Она совсем зналась из-за цвета своей шкуры. Хочу ее проучить. Сегодня я уплыву вниз по течению подальше, а вы постройтесь вдоль речки. Лиса будет меня кликать: «Ты здесь, толстый лентяй?» А один из вас, кто поближе, пусть ей отвечает за меня: «Здесь, здесь! Беги, Лиса, быстрее!»

Рассвело. Лиса примчалась на берег и закричала:

— Эй! Ты здесь, толстый лентяй?

— Здесь, здесь! — слышалось из воды.

— Ну, тогда начали! — скомандовала Лиса и пустилась бежать вдоль реки. Время от времени она спрашивала:

— Где ты, Налим? Здесь?

— Здесь, здесь, — отвечали ей.

— Бежишь за мной?

— А-а! — доносилось из реки. — А-а! Еле за тобой поспеваю...

Слома голову черная Лисица принеслась к назначенному месту, заранее торжествуя победу. «Ну и покрасуюсь же я перед Налимом!» — предвкушала она. Но какво же было удивление Лисы, когда она увидела, что усатый лентяй уже тут как тут.

— Да, Лиса, — сказал Налим. — Не удалось тебе меня обойти. И все потому, что ты слишком задаешься своей черной шкурой. Любишь хвастаться. А это — нехорошо! Ты проспорила.

— Проспорила, — вынуждена была признаться Лиса.

От стыда она покраснела с головы до хвоста. Вот с тех пор шкура ее и порыжела.

## НАКАЗАНИЕ

В давние времена каждая птица выбирала себе окраску перьев такую, какую хотела. Сороке вздумалось быть пестрой. Но однажды она увидела птицу золотисто-желтую, позавидовала ей и стала думать, как бы переменить свое оперение. Начала она преследовать эту птицу. Да вдруг заметила на земле падаль. Спустилась вниз и давай клевать — желудок-то у сороки жадный! Клюет, клюет, потом голову подняла, а золотистой птицы и след простыл, нигде ее не видать.

— Так и не удалось сороке сделаться желтой — осталась она при своих пестрых перьях.

И по сей день зовут ее — Пестрая сорока.

## САМЫЙ УМНЫЙ

Давным-давно земля представляла собой сплошной лес, принадлежавший всем зверям. Но однажды они решили его поделить между собой. Устроили большой сход, пригласили и Человека, ибо в те времена он был быстроног да космат, словно животное. Не успели звери оглянуться, как Человек схватил в охапку весь лес и пустился наутек. Удивились звери, но никто не решился двинуться с места. Так собрание ничем не закончилось.

Бредет Марал обратно. А навстречу ему Налим. Торопится, пыхтит.

— Я слышал, лес делить будут? — говорит он Маралу. — Вот, спешу, опаздываю.

— Не спеши! — покачал рогами Марал. — Все уже без тебя решили.

— Как решили? Кто решил?

— Самый умный из всех нас — Человек! Захватил себе весь лес и умчался. Он же быстро бегаёт, вроде меня. Вот, иду куда глаза глядят. Где мне теперь свои белые рога преклонить? Только в горах, наверное. А тебе, Налим, видно, не судьба из воды вылезать. Сиди, как сидел, под речной корягой!

Сказав так, Марал повернулся и поскакал в сторону горного хребта.

Вздыхнул Налим, трубочку короткую пососал, брюхо топленным маслом набил и поплелся назад к реке. Выбрал омут поглубже да туда и нырнул.

С тех пор, признав человека самым умным и сильным, звери стали его бояться и сходок общих не устраивают.

## ГДЕ БРОДИТ ДРАКОН?

Высоко-высоко в небе, среди золотистых облаков иногда попадается одно — мохнатое и черное. Это Дракон-Медведь. Не многим удается его разглядеть. Когда

наступает зима и в Верхнем мире становится холодно, Дракон-Медведь спускается на землю.

Он заранее примечает для себя подходящее ущелье в горах. Там и зимует, пока снег не стает. От его дыхания и морозы, и метели, и иней на деревьях. Чуть только потеплеет, Дракон-Медведь из своего укрытия вылезет — и снова на небо, в Верхний мир отправляется: до новых холодов...

## ОТЧЕГО ГРОМ ГРЕМИТ?

Весной и летом Дракону-Медведю высоко-высоко в небе, среди золотистых облаков, становится иногда скучно. И он принимается ворчать. Вот тогда люди на земле и слышат отдаленное гроыхание. Бывает, что Дракон разгневается не на шутку, тогда гром грохочет у человека прямо над головой и звучит, как громкая брань. Чтобы умиловить Дракона-Медведя, нужно найти кого-нибудь, кто в год Дракона родился. Еще лучше, если он владеет горловым пением. Медведь к пению прислушается—и утихомирится. Если же такое средство не помогает и Дракон все бушует, хозяин юрты должен выбежать наружу, в небо глядеть и кричать изо всех сил. Пока до Медведя не докричится. А докричаться до него трудно — раз не смолкает, значит, нездоров, простужен, и в груди его драконьей хрипит да бурлит.

А стоит Медведю взмахнуть хвостом,—небо пронзает молния. И тогда гроыхает он еще сильнее. Так сильно, что сам боится: сорвет свой голос, и тогда на земле ничего живого не останется — все в огне и грохоте погибнет! Чтобы такого не случилось, держит Дракон-Медведь во рту девять жемчужин...

## ВЕРБЛЮД, ОБМАНУТЫЙ МАРАЛОМ

Шыяан ам, было это много-много лет назад. Звери на общем совете присудили верблюду красивые ветвистые рога. Все вокруг ему очень завидовали.

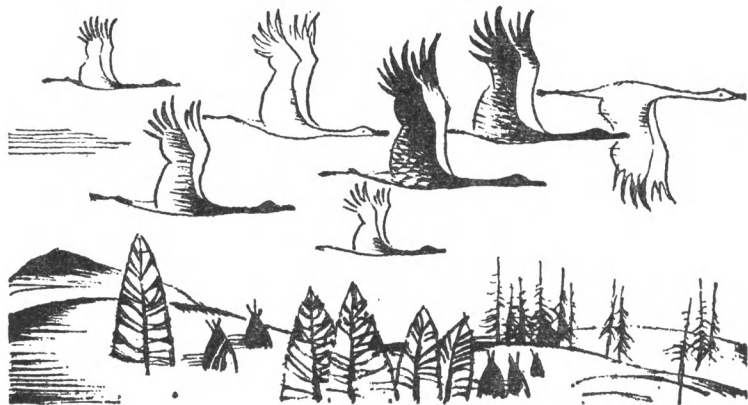
Как-то жарким днем верблюд спустился к реке напиться воды. Вдруг затрещали рядом кусты, и на речном берегу появился марал.

— Здравствуй, верблюд! — сказал он приветливо.— Я спешу на праздник. Хозяйка горы Танды Дангына будет освящать самую высокую вершину. Одолжи мне до завтра свои красивые рога — уж очень хочется выглядеть в праздничный день нарядно! Не сомневайся, утром я тебе твои рога верну в целости и сохранности.

— Разве можно отказать другу? — отвечает верблюд.— Если тебе не поверю, то кому же верить? На, держи! — И он отдал маралу свои разветвившиеся на двадцать восемь отростков рога.

Марал нацепил их себе на голову и ускакал в густой лес.

Проходит день — он не возвращается. Проходит второй — марала нет как нет. Целый год прождал верблюд своего приятеля, надеясь получить обратно рога, но так и не дождался: они остались у марала. Но поскольку рога у него не свои, то каждый год маралу приходится их сбрасывать на землю, а потом ждать, пока отрастут новые. А обманутый верблюд до сей поры одиноко бродит посреди степей и пустынь. Чтобы избежать с ним встречи, марал в эти места не захаживает, бегаёт по таежным лесам.



**Владимир Санги**

### **ДЕВОЧКА-ЛЕБЕДЬ**

**Г**оворят, раньше лебеди были немymi птицами и лапки у них были черными. Теперь всякий знает, что они кричат «кы-кы, кы-кы», за что нивхи прозвали их «кыкык», и лапки у них — красные.

В те давние времена на берегу залива стояло маленькое стойбище, а в стойбище том жила маленькая девочка. Она любила играть на песочной косе, с утра до самого вечера рисовала на ровном песке разные узоры, строила из песка маленькие домики.

Еще она подолгу любовалась красивыми птицами, которые, как молчаливые белые облака, проплывали над ее стойбищем. Девочка ложилась на теплый песок и смотрела вслед стаям, пока они не исчезали вдаль.

Отец и мать очень любили свою дочь. Но однажды летом мать умерла. Отец и дочь сильно горевали.

Прошло время, и отец уехал в дальнее стойбище за новой мамой для своей маленькой дочери.

Отец привел красивую женщину с черными соболиными бровями и ресницами, похожими на кисточки ушей зимней белки, с толстыми, подобно хвосту черной лисицы, косами.

Мачеха сразу вниз посмотрела на девочку и ничего не сказала.

На другой день отец ушел на охоту. Девочка встала с восходом солнца и пошла на берег играть с волнами. У самой воды она строила домик из морского песка. Набежавшая волна смывала его. Девочка смеялась, и, едва волна отходила, она принималась строить новый домик. Девочка играла долго, а когда солнце высоко поднялось над лесом, побежала домой завтракать. Но завтрака не было: мачеха еще спала. Девочка тихо вздохнула, вернулась на берег и вновь принялась играть. Так она увлеклась игрой, что и не заметила, как наступил полдень. Спихватилась, когда солнце стало сильно печь голову, побежала домой.

Мачеха еще спала. Наконец встала, принесла из амбара белую мягкую юколу — вяленую рыбу и стала есть. Она и не замечала стоявшую рядом девочку, макала юколу в нерпичий жир и жадно жевала.

Мачеха прожевала последний кусок юколы, облизала засаленные пальцы и, не глядя на девочку, бросила ей хвост кеты. Девочка съела этот хвост. И ей еще больше захотелось есть. Мачеха зевнула, отвернулась, снова легла спать.

Так настали для маленькой девочки тяжелые дни.

Отец добывал много дичи. Приходил домой только для того, чтобы принести добычу, и снова надолго уходил в тайгу — надо заготовить впрок, ведь зима суровая. Все вкусные места мачеха съедала сама.

Однажды отец спросил у жены:

— Жена моя, что-то дочь сильно похудела. Не больна ли она?

Женщина ответила:

— Нет, здорова. Она уже большая, а по хозяйству ничего не делает, не помогает мне. Только знает целыми днями бегать! Бездельница! Как ни корми ее, будет худой — так много бегает!

Как-то осенним вечером, когда птицы большими стаями улетали в сторону полудня, отец вернулся с охоты и лег отдыхать. Мачеха принесла жирную юколу и стала резать ее на мелкие ломтики. Ломтики ложились ровными рядками, аппетитно поблескивая на срезах.

Девочка не ела с утра. Она подошла к столу, стала просить мачеху дать ей поесть. Мачеха молчала, будто и не видела девочку.



— Дай мне поесть! — просила девочка.

— Отойди! — был ответ.

— Дай мне поесть, — просила маленькая девочка.

— Отстань! — был ответ.

У девочки совсем стянуло животик. Она протянула руку за розовым кусочком. Только дотронулась до юк-лы, мачеха ударила острым ножом. Кончики пальцев так и остались на столе. Девочка выбежала из дома, сбежала на берег и там, на теплом песчаном бугре, заплакала громко. Из пальцев струйками стекала кровь. Девочка всхлипывала:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

В это время над заливом пролетели лебеди. Они услышали голос плачущей девочки и сделали круг. Расправили крылья, опустились рядом. Окружили девочку, стали разглядывать, вытянув шеи и наклоняя головы. Когда они заметили, что из пальцев девочки струится кровь, им стало очень жаль девочку, Лебеди молча заплакали. Слезы капали на песок. И там, где сидели лебеди, песок от слез стал мокрым. Большие белые птицы плакали все сильнее и сильнее. И вдруг у них пробился голос:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Услышав голоса, отец девочки выскочил из дому, увидел, что его дочь окружили большие птицы, бросился за луком и стрелами.

Лебеди взмахнули крыльями. В тот же миг и у девочки из плеч выросли крылья. Девочка превратилась в стройную лебедь с красными лапками.

Когда охотник подготовил лук и стрелы, птицы уже были высоко в небе. В самой середине стаи летела молодая птица.

Все лебеди кричали:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Только молодая птица молчала.

Охотник схватился за голову, крикнул вслед улетающей стае:

— Дочь! Вернись! Ты будешь хорошо жить!

В ответ раздалось только:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Отец долго стоял на бугре и, ссутулившись, горько смотрел вслед улетающей стае. Вот лебеди бисером повисли над морем. Вскоре они растаяли в лазурной дали.

Потом каждую весну над стойбищем у залива пролетали лебеди. И громко кричали: «Кы-кы, кы-кы, кы-кы!»

Только одна птица молчала. И каждый раз, когда лебеди пролетали над стойбищем, далеко внизу они видели фигуру человека, одиноко стоявшего на бугре.

С тех пор прошло много времени. И на том месте, где когда-то стоял человек, выросла кряжистая лиственница. Ни зимние ветра, ни летние ветра не могут сбить это дерево. И стоит оно, воздев в небо свои ветви-руки. И лебеди с красными лапками, пролетая с севера на юг или с юга на север, обязательно завернут к этой лиственнице и громко проплачут:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

## БУРУНДУК

Ты, наверно, видел бурундука — маленького лесного зверька. И заметил: по всей его спине вдоль пять черных полос.

Встав ранним июньским утром, едва солнце коснется своими еще не горячими лучами вершин деревьев, ты можешь увидеть и услышать этого зверька. Он обычно забирается на верхние ветки высокой ольхи и, совсем побеличьи закинув пушистый хвост на спину, негромко зовет:

— Тут... тут... тут.

Если ты не замышляешь ничего плохого, бурундук спустится на нижние ветки, поприветствует тебя наклонном головы.

— Тут... тут... тут.

А если ты вздумаеть поймать его, он пронзительно заверещит и, показав полосатую спину, юркнет в кусты. И вокруг станет настороженно тихо: все лесные жители — зверье и птицы — попрячутся в дуплах, норах, расщелинах. Но стоит тебе уйти, как бурундук, вскочит на ту же ветку и опять возьмется за свое:

— Тут... тут... тут.

Жил в лесу бурундук, пушистый желтенький зверек. Жил один. Всякий знает, что одному в лесу невыносимо тоскливо.

Бурундук и подумал: если мне тяжело, то, наверно, есть еще кто-нибудь, которому тоже от одиночества плохо. И пошел бурундук по лесу искать себе друга.

Скачет бурундук от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывает под коряги и валежины, в расщелины и норы.

Встречает горностая. Спрашивает:

— Горностай, горностай! Тебе не плохо одному? Давай дружить.

Горностай отвечает:

— Нет, бурундук, мне не плохо. А ты все равно умрешь с тоски — ведь ты не можешь один. Приходи ко мне завтра, я тебя съем.

Бурундук подумал: «Чем гнить в земле, уж пусть лучше съест меня горностай».

А так как до завтра было далеко, бурундук снова поскакал от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывая под коряги и валежины, в расщелины и норы.

Встречает лису. Спрашивает:

— Лиса, лиса! Тебе не плохо одной? Давай дружить.

Лиса отвечает:

— Нет, бурундук, мне не плохо. А ты все равно умрешь с тоски — ведь ты не можешь один. Приходи ко мне завтра, я тебя съем.

Бурундук подумал: «Чем гнить в земле, уж пусть лучше съест меня лиса».

А так как до завтра было далеко, бурундук снова поскакал от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывая под коряги и валежины, в расщелины и норы.

Встречает соболя. Спрашивает:

— Соболю, соболю, тебе не плохо? Давай дружить.

Соболь отвечает:

— Нет, бурундук, мне не плохо. А ты все равно умрешь с тоски — ведь ты не можешь один. Приходи ко мне завтра, я тебя съем.

Бурундук подумал: «Чем гнить в земле, уж пусть лучше съест меня соболю».

А так как до завтра было далеко, поскакал бурундук от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывая под коряги и валежины, в расщелины и норы.

И вот бурундук встретил медведя. Медведь спал в тени под кустом кедрового стланика.

Бурундук схватил его за ухо, стал изо всех сил дергать туда-сюда. Кое-как разбудил. Тот недовольно рывкнул:

— Р-р-рази тебя гром! Чего тебе надо?

— Медведь, медведь! Тебе не плохо одному? Давай дружить.

Медведь лениво повернул голову, зевнул и, не глядя на бурундука, спросил:

— А зачем дружить-то?

Бурундук отвечает:

— Вдвоем нам будет лучше. Ты большой и неуклюжий. А я маленький, ловкий. Я буду сидеть на дереве, сторожить тебя, когда ты спишь,— вдруг какая опасность идет.

— Я никого не боюсь,— сказал медведь и сладко зевнул.

— Тогда вместе будем орехи собирать.

Медведь глянул на бурундука:

— Орехи, говоришь?

— Да, орехи. И ягоду будем вместе собирать.

— Ягоду, говоришь?

— Да, ягоду. И муравьев будем вместе ловить

— И муравьев, говоришь? — Медведь окончательно проснулся, сел.— И орехи, и ягоду, и муравьев, говоришь?

— Да, и орехи, и ягоду, и муравьев.

Медведь довольно отвечает:

— Я согласен дружить с тобой.

Бурундук нашел себе друга. Большого, сильного. Во всем лесу никто не мог похвастаться таким другом.

Как-то встретил бурундук горностаю. Тот обрадовался:

— А-а, пришел. Теперь я тебя съем.

Бурундук говорит:

— А я дружу с медведем.

Горностаю испугался:

— С медведем?!

Поскакал бурундук дальше. Встречает лису. Та заплясала от радости:

— Наконец я дождалась. Теперь я тебя съем.

Бурундук говорит:

— Я дружу с медведем.

У лисы дух перехватило:

— С медведем?!

Поскакал бурундук дальше. Встречает соболя. Тот обрадовался:

— А я тебя давно жду. Теперь я тебя съем.

Бурундук говорит:

— А я дружу с медведем.

Соболь так испугался, что птицей взлетел на дерево и уже оттуда спросил:

— С медве-дем?!

Живут себе бурундук и медведь. Быстрый бурундук находит богатые ягодные места и кусты кедрового стланика, сплошь усыпанные шишками.

Медведь радуется не нарадуется таким другом.

Вскоре медведь ожирел настолько, что ему стало трудно ходить. Он теперь больше лежал, отдыхал. И лишь изредка повелевал:

— Эй, бурундук, принеси-ка брусники.

Или:

— Эй, бурундук, почеси мне спину.

Наступила осень. Впереди зима, долгая и холодная.

Бурундук беспокоится:

— Слушай, медведь, скоро зима. Нам надо сделать запасы.

Медведь лениво отвечает:

— Правильно говоришь, бурундук. Давай, делай запасы! — а сам как лежал, так и лежит.

— Как же я один собираю столько орехов и ягод! Ты ведь очень много ешь, — чуть не плачет бурундук.

— Сказано тебе, делай запасы! — сердится медведь. — А я выкопаю берлогу. Просторная она — вот настоящее жилье! Не то что твоя нора.

И бурундук понуро поплелся заготавливать орехи. Но тут в небе появилась снежная туча. И бурундук стремительно поскакал по кустам — надо успеть собрать орехи, а то снег спрячет их.

Бурундук сделал запасы.

А медведь залег, в берлогу, положил под голову лапу и заснул. Спал месяц, спал два — проснулся. Говорит бурундуку:

— Подай-ка мне орехи.

Наевшись досыта, медведь опять завалился спать. А запасов осталось немного. И бурундук стал себе отказывать: съест один орешек, подойдет к выходу берлоги, полижет иней, и ему покажется, что он сыт. Бурундук и не заметил, как он сильно отошал.

Кое-как дотянул бурундук до весны. Когда снег начал таять, медведь проснулся. Он потянулся, довольный, и сказал бурундуку:

— А здорово, братец, мы с тобой перезимовали!

Потом похвалил бурундука:

— Ты настоящий друг. Молодец! — и провел лапой по спине.

Так и остались на желтой спине бурундука пять черных полос — следы медвежьей дружбы.

Когда снег сошел с земли, бурундук ушел от медведя. Медведь и не жалел — вокруг много сладких кореньев и муравьев.

Но в конце лета медведь вспомнил бурундука: пора готовить запасы. Он стал звать бурундука. Но тот не откликнулся.

— Изменник! — на всю тайгу заревел возмущенный медведь.

С той поры медведь всячески преследует бурундука. Он никогда не упустит случая разрыть бурундучью нору, разорить. Все мстит.

Нет, бурундук не умер от одиночества. Я его видел сегодня утром, когда шел опушкой леса. Он сидел на верхней ветке ольхи и, совсем по-беличьи закинув пушистый хвост на спину, призывно кричал:

— Тут... тут... тут.

Наверно, он думал, что кто-нибудь ищет дружбы с ним.



*Михаил Юхма*

## СКАЗАНИЕ О САРРИ-БАТОРЕ

Цветок свой мед отдал пчеле  
И, радуясь, лелеял завязь...  
Себя для друга не жалея  
И счастлив будь врагу на зависть.

*Из народной песни*

**В** этот вечер я засиделся у Ендимера допоздна и услышал от него еще одну историю, которая, по-видимому, родилась вскоре после взятия русскими Казани. Что тут правда, что вымысел — судите сами...

Однажды старейшина чувашского селения по имени Сарри-батор ушел со своими воинами в поход. А в это время напали на село данники казанского хана: дома разграбили, жителей увели в рабство.

На обратном пути Сарри-батор узнал о несчастье и приказал своим воинам догнать ханский отряд.

В темном лесу чувашасти настигли ханских слуг и разбили их, а сельчан своих вызволили.

Дважды в том тяжелом году нападали ханские отряды на села чувашей, несли с собой смерть, плен и разорение.

Решил Сарри-батор идти в Московию, туда, где, по словам купцов, стояли каменные города, а воины имели ружья, поражавшие громом и молнией.

— Попросим у царя помощи, — сказал он послам, — мы готовы перейти в Московское подданство, чтобы жить спокойно, в мире и согласии.

День проходил за днем, ночь за ночью, а от Сарри-батора не было вестей, и сам он не возвращался.

— Не случилась ли какая беда, — качали головами седобородые старцы. — Что-то долго их нет.

— Сам великий Киреметь \* покарал дерзких за то, что осмелились ехать в страну нечестивцев, — говорили те, кто не желал союза с Московией и хотел склонить народ на сторону хана.

— Не может Киреметь покарать ходоков, — стояли на своем старцы. — Боги благословили батора.

Они говорили правду. Перед дорогой жрецы принесли жертву Киреметю: сварили тайын-сыра — священный напиток. Потом отвели быков в священную рощу, где были молельни — Киреметь-карди.

Старшина, жрец и мачавар-смотритель помолились на восток. Потом к ним привели одного из быков. Жрец зачерпнул расписным ковшом воды и плеснул на животное.

— Принимай наш дар, великий и добрый...

Но бык как ни в чем не бывало продолжал перемаывать свою жвачку.

— Уберите его, — сказал шепотом жрец, — не принимает его Киреметь.

Подвели другого быка. Этот, как только на него пала вода, тряхнул головой, замахал хвостом.

Люди облегченно вздохнули.

Вскоре алая бычья кровь залила траву. На нее вылили еще тайын-сыра. Быка освеживали, тушу разрезали на куски.

— Пусть будет у Киреметя, — начал жрец, — пусть будет у Валем-Хози \*\*, пусть будет у Илькумера, Михе-

---

\* *Киреметь* — один из великих богов в древнечувашской мифологии, старший сын верховного бога Тангара и его жены Пюлехсе. (Прим. автора.)

\*\* *Валем-Хозя* — легендарный покровитель простого народа в древнем городе Болгар, живший в XII веке. (Прим. автора.)



бера \*, пусть будет у Вылах \*\* добрый тайын-сыра и наш чюк... Пусть наслаждаются.

К обеду послы съели все мясо, выпили тайын-сыра, снова помолились, встали на колени лицом к востоку. Потом стали разглядывать священное дерево: что им ответит Киреметь? Если он недоволен, на дереве покажутся два пера, а даст согласие — одно. Но бывает, что ему безразлична людская затея, тогда он вообще не даст о себе знать.

Вдруг кто-то крикнул:

— Смотрите, вот, вот! Добрый Киреметь с нами!

И впрямь, на священном дереве белело одно-единственное гусиное перо. Оно говорило людям: боги одобряют начатое дело.

Вот почему мудрые старцы надеялись, что Киреметь побережет послов.

Однако тревожились и стар и мал. Уже подумывали, не послать ли гонцов, пусть разузнают, что там и как. Но тут разнеслась весть:

— Едут!

Воротились послы с подарками и царской милостью. Сарри-батор рассказал старейшинам, что русские рады союзу, потому что сами терпят много бед от ханских набегов.

С этого времени никто больше не уводил насильно юношей на ханскую службу, не увозил чувашских девушек, разлучая с родными.

Но так продолжалось недолго. Однажды пронесся слух, что новый казанский хан, жестокий Едигер, грозит отомстить всем, кто отпал от Казани и перешел к Московии. Несметные полчища хана двинулись на Чувашию.

Сарри-батор собрал было войско, чтобы встать на пути врага, но оно рассеялось, как тополиный пух от порыва ураганного ветра, силен, могуч был Едигер, разбил чувашей, разграбил земли, пожег дома.

Те, кто уцелел, ушли в леса.

Время было весеннее, и люди ставили шатры, шалаши, рыли землянки, не теряя надежды вернуться к зиме на родные пепелища и отстроиться заново. Не оста-

---

\* *Илькумер* — легендарный патша (царь) у древнейших чувашей. *Михенбер* — великий жрец, любимец богов в чувашском фольклоре. (*Прим. автора.*)

\*\* *Вылы* — совет священнослужителей (жрецов) в древней мифологии чувашей, (*Прим. автора.*)

вит их Московия без помощи, не может быть, чтобы хан одолел Грозного царя. Стало быть, надо готовить семена, а заодно и новые срубы.

Между тем послы, ездившие к царю, привезли счастливую весть — москвитяне собирают огромное войско, готовятся идти на Казань, дабы навечно изгнать Едигера. Они просили чувашей и черемисов помочь им людьми и конной тягой.

В начале лета русские войска стали переправляться через Суру. У них были длинные ружья и большие пушки. Чуваши помогали войску чем могли — несли хлеб, мед, вели лошадей. На привалах солдаты пели незнакомые песни, и чувашаи подтягивали им, хотя и не знали слов.

Вскоре войска пошли дальше, а вместе с ними двинулись и чувашские отряды во главе с Сарри-батором.

Русские, чувашаи, черемисы осадили Казань, им помогали аулские татары, которых хан замучил поборами. Осада длилась долго. Гремели русские пушки, стрелы градом сыпались с обеих сторон. По ночам люди грелись у костров, и Сарри-батор веселил воинов песнями, которые пел под шыбыр.

Однажды к осаждавшим прибыли ханские послы. О чем они говорили с военачальниками, никто не знал. Одно стало известно — в конце переговоров попросили прислать им певца-волынщика. Пусть, мол, явится з крепость, хан желает его послушать.

Воины не хотели отпускать Сарри-батара. Видно, мстительный хан надумал заманить к себе чувашского полководца и расправиться с ним. Однако царь, которому доложили о просьбе хана, призвал его к себе и о чем-то долго с ним совещался.

И пошел Сарри-батор в свой последний путь.

Удивительное было зрелище. От землянок чувашского лагеря в сторону крепости не спеша, будто меряя землю, шагал музыкант, наигрывая на шыбыре — волынке. Воины, словно зачарованные, смотрели ему вслед, слушали затихавшую вдали песню. Только несколько человек из царской свиты и сам царь, казалось, ничего не слышали, сосредоточенно считали шаги батара. Вот певец уже у ворот города, вот он скрылся за стенами.

— Большую помощь оказал нам Сарри-батор, большую помощь, — вздохнул царь, лицо его было мрачным.

Кто-то из чувашских военачальников спросил царя:

— Хотел бы я знать, о какой помощи вы говорите,

батюшка? Кто знает, вернется ли Сарри-батор? В лучшем случае песни его ободрят осажденных.

— Пусть,— сказал царь,— пусть приободрятся. Недолго им песни слушать.

Уже потом стало известно, что русский царь решил вести подкоп под стены, а сколько до них шагов, точно никто не знал. Ошибаться нельзя. Пороху маловато. Вот и считал царь шаги батора, чтобы, значит, ошибки не было, взорвать, так уж наверняка, под самой стеной.

Прошло сколько-то времени, и под крепостью загрохотало так, что в небо поднялись глыбы камней, тучи песка, а в стене образовалась брешь. В нее кинулось войско царя. И долго еще над полем брани звучали разномыслия крики победителей.

А Сарри-батора так больше никто и не видел.

## АТЛ

Два платочка беленьких рядышком,  
Два платочка — две половиночки,  
Где ты, милая, синеглазая?  
Иль нам вместе быть не судьба?

*Из народной песни*

Зорька красит восток. Просыпается лес, вздыхает потихоньку, радуясь солнцу и ветру. В шелест листьев вплетается негромкий голос Ендимера.

—...и тронулся Атл со своими тридцатью тремя баторами к хунскому царю...

В эту ночь дед рассказывал без усталости. Такое с ним не часто бывает. Вначале поведал легенду о Ятмане-эмбю, затем о богатыре Мургаш-баторе, а теперь вот вспомнил сказание о храбром богатыре по имени Атл.

— ...Хунский царь ласково принял Атла: нужны ему были служивые из подвластных земель. Но узнав, что с Атлом прибыло лишь тридцать три конника, удивился, а затем впал в гнев.

— Как смели презренные рабы насмехаться надо мной! Я просил у шурсухалов три тысячи, а вас всего тридцать три. Да за такие хитрости я их по миру пущу!

Атл остановил его:

— Стая воробьев не спугнет сокола, а сокол распотрошит воробьиную стаю.

— Что ты желаешь этим сказать? — прошипел хунский царь.

— Не торопись судить, пока не убедишься в моей правоте. Хотя нас всего тридцать три батора, но мы сильнее иной тысячи.

Услыхал это царь, покачал головой и приказал чувашским баторам быть наготове. Они первыми встретят приближающегося врага.

С тем и отправился почивать.

Утром к царю прибежали придворные.

— Измена! — закричали они. — Эти мерзкие чуваша переметнулись к врагам. Едва завидели их, бросили лагерь и поминай как звали. Горе нам!

Царь поспешно оделся, велел войско построить. Сам решил расправиться с изменниками, но снова прибежали стражники.

— Чуваша едут!

Вышел царь на крыльцо. В городские ворота, напевая песню, уже въезжала дружина Атла.

— Где вы были, предатели? — закричал хунский царь. — Я думал, вы честные воины, а вы трусы.

— Пока ты спал, — прервал его Атл, — мы тут поразмялись немного. Погляди на ту сторону горы, все поймешь.

— Посмотрите, что там такое, — приказал царь.

Увидели мурзы, что широкое поле сплошь усеяно трупами врагов. Не чуя ног, вернулись обратно.

— О великий и всемогущий, — запричитали они, — о светлый, несравненный, о солнцеподобный и луноподобный, о...

— Хватит, — закричал царь. — Говорите толком, в чем дело.

Перебивая друг друга, рассказали мурзы обо всем, что видели.

Обрадовался царь, а затем, будто шепнули ему на ухо худое слово, сдвинул брови. «Если эти молодцы такую тьму разгромили, — подумал он, — то моих слуг они вмиг сомнут. Опасные друзья... Страшновато с такими воинами под одной крышей». И решил поскорее от них избавиться.

«Приласкаю их, задобрю, а затем одним махом всех порешу».

Объявил хунский царь пир великий в честь чувашских гостей-победителей.

Узнала об этом и единственная дочь хунского царя — красавица Касьпи. Еще до того была она наслышана об Атле. Это он разбил врагов, требовавших от царя дани, а заодно и ее, Касьпи,— своему вождю в наложницы.

«Хоть бы одним глазком взглянуть на него,— подумала Касьпи,— столько добра сделал и даже награды не просит».

Вышла в сад и спряталась в кустах. В ту пору Атл прогуливался по саду.

«Какой он красивый, статный,— обрадовалась Касьпи, выглядывая из своего укрытия.— Такого и полюбить не грех».

Заметила служанка радость на лице Касьпи, да и шепнула ей на ухо:

— Такой красавец — и погибнет! Жаль...

— Что? — удивилась Касьпи.— Что ты сказала?

— Что слышала,— отвечала служанка,— кому на пиру веселье, а кому слезы. Погубят молодца по цареву указу, умрет он после первого кубка.

Белей цветка степного стала Касьпи.

«Нет, нет,— подумала она с ужасом,— он не должен погибнуть».

А тем временем гости уже собирались на пир. Пришли и чувашские воины. Тогда-то и подбежал к Атлу хунский мальчик и поманил за собой.

— Куда, зачем?— спросил Атл.

— Разве сокол боится воробья?— ответил мальчик.— Ступай за мной.

Удивился Атл и пошел за ним по песчаной дорожке в сад. Там он увидел прекрасную девушку и сразу догадался, кто она.

— Здравствуй,— сказала Касьпи,— я ждала тебя, Атл.

— Здравствуй,— ответил Атл, опустив глаза.— Пусть любят тебя звезды. Чем я заслужил такое счастье?

— Дикий голубь, если пожелает, может каждый день любоваться цветком, одиноко растущим в поле.

— О,— сказал Атл,— ты так же мудра, как и прекрасна. Твое имя означает вечернюю зарю. Разве зря может быть одинокой?

— Да,— вздохнула Касьпи,— если солнце не захочет взглянуть на нее.

— Сколько звезд, больших и малых, посылало ей свои лучи?

— Я ждала солнца.

— Когда же оно появится?

— Уже появилось.

— А не дала ли заря имя этому солнцу?

— Атл,— ответила девушка и зарделась, точно алый цветок.

— О боги,— прошептал юноша,— разве можно взвалить на одного человека сразу столько счастья.

— Солнце мое,— тихо сказала Касьпи,— беда за счастьем ходит, а ненависть за любовью.

Ничего не понял Атл, лишь молча смотрел на девушку. И тогда рассказала Касьпи о нависшей над Атлом беде.

Поблагодарил молодец красавицу и поспешил к своим баторам. В ту же ночь покинули они хунский город.

Но как ни старался Атл — не мог успокоиться. Все о царевне думал. Понял батор, что полюбил добрую красавицу, которая спасла его от верной гибели, и рассказывал обо всем своим друзьям.

Те сразу же остановили своих чудо-аргамаков и поспешили обратно. Въехали в город — и ко дворцу.

Недаром говорят, любящее сердце вещун. Касьпи стояла у окна своей горницы, будто знала, что вернется ее возлюбленный. И как только увидела Атла под окнами, прыгнула прямо к нему в объятия. Ни отца не спросила, ни матери. Только сказала:

— Я с тобой, Атл!

Узнав о побеге дочери, разгневался царь и выслал погоню.

Лучшие воины хунов помчались вдогонку за чувашами. Но не посмели они поднять меч на баторов, спасших их от врагов. Постояли, поглядели вслед конникам и повернули назад.

— Как я счастлива, что мы вместе,— шептала дорогой Касьпи.

— И я счастлив,— отвечал ей Атл.

Но недолгой была их радость.

Плохая весть скакуна обгоняет.

Еще не прибыл Атл к своему царю, а хуны уже известили того о случившемся и пригрозили мстостью. А на храброго Атла возвели напраслину: будто воин он плохой, долга своего не выполнил да еще дочь украл.

Схватили Атла царские слуги и заточили в темницу.

Атл надеялся, что образумится царь, поостынет и рассудит, кто прав, кто виноват.

Но проходил день за днем. Бедный Атл с товарищами все томился в сыром подземелье. А красавицу Касьпи заточил грозный отец в башне. Плакала Касьпи, все глаза выплакала. Слезы ее лились ручейком, и где-то далеко образовалось из них соленое море, которое называли Каспийским.

Храбрый Атл тоже не стерпел позора. И попросил он светлое солнце:

— Помоги мне, солнышко, выручи. Сделай меня быстрой речкой, потеку я по долам, по лесам в ту сторону, где живет моя ласточка.

И тут не оставили Атла друзья.

Обратился Атл в великую реку и помчался в сторону хунской земли, а его товарищи понеслись вслед за ним. Потому-то река Атл, то бишь Волга, не одна течет, а с тридцатью тремя притоками.

...Дед умолк, пососал трубку и посмотрел в сторону речки Карлы.

— И Карлы был другом Атла, вот он и сейчас торопится к Волге.

Над рекой клубился сизый туман, и мне подумалось, прошли века, а человек мало изменился — так же любит и ненавидит, горюет и радуется.



## ПРИМЕЧАНИЯ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**Гоголь Н. В. (1809—1852)**

**Заколдованное место.** Повесть «Заколдованное место» завершает вторую книгу «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вышедшую в 1832 году, но исследователи относят ее к группе ранних повестей 1829—1830 годов, объединенных, как и «Вечер накануне Ивана Купалы» и «Пропавшая грамота», образом рассказчика, дьячка \*\*\*ской церкви.

В основе повести традиционные мотивы украинского фольклора. «Обморочные места по народным понятиям, — отмечал украинский исследователь В. Милорадович, — обладают особой силой потемнять сознание случайно зашедшего на них человека до невозможности найти выход. Случается, что человек кружит на одном и том же месте всю ночь или ищет волов, которые лежат здесь же возле повозки» («Киевская старина», 1897. Т. 58). На эти «обморочные» места наводят полночные духи: полуничка (душа девушки, проклятой матерью) или же мара, черти в различных образах.

С. 22. *Баштан* (бакша, бакча) — огород в степи, на поднятой плугом целине.

С. 24. *Кухоль* (кухлик) — глиняный кувшин, кружка.

*Сировец* (суровец) — белый, неуваренный квас, только налитый кипятком.

С. 25. *Хустка* (хуста) — кусок холста, косынка, платок.

*Пищик* — дудка, свисток.

С. 27. *Кухва* (куфа) — чан, бочка.

Текст публикуется по изданию: Гоголь Н. В. Собрание сочинений. В 7 т. М., 1984. Т. 1.

**Сомов О. М. (1793—1833)**

Писатель, издатель, критик Орест Сомов известен как один из первых теоретиков русского романтизма, призвавший «иметь свою, народную поэзию, неподражательную и независимую от преданий



чуждых». И он не ограничился только декларацией. В конце 20-х и начале 30-х годов Орест Сомов создал целый ряд произведений, основанных на украинских сказках, преданиях, легендах (детство и юность писателя прошли на Украине, а в Петербурге он входил в украинское литературное землячество, поддержавшее *осьмнадцатилетнего стихотворца* Гоголя). В 1826 году появились первые главы исторического романа Ореста Сомова «Гайдамак», в 1827 году — рассказ «Юродивый», в 1829—1833 годах — фольклорные рассказы и повести «Купалов вечер», «Исполнинские горы», «Русалка», «Оборотень», «Бродящий огонь», «Киевские ведьмы», «Сказка о Никите Вдовиниче», основанные на украинской демонологии и народных «страшилках». Порфирий Байский (литературный псевдоним Ореста Сомова) выступил предшественником как «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Рудого Панько, так и «Былей и небылиц казака Луганского». «Созвучие цели,— отмечает современный исследователь Н. Н. Петрунина,— к которой стремился Сомов и которой дано было достигнуть автору «Вечеров...», сделало то, что если первыми из фантастических своих повестей, как и «Гайдамаком», Порфирий Байский подготовил выступление Рудого Панько, то в позднейших он испытал воздействие могучей индивидуальности своего последователя».

Русалка. Впервые: Подснежник на 1829 год. Спб., 1829. С. 59—84. Подпись: Порфирий Байский.

В «Русалке» Ореста Сомова, как и в повести Н. В. Гоголя «Маяская ночь, или Утопленница», в рассказе Ивана Франко «Русалка», использованы мотивы украинского фольклора. А в украинском фольклоре в отличие от русского русалки предстают нежными, веселыми и привлекательными существами. С. В. Максимов писал по этому поводу в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903): «Поэтический образ фантастических жилиц подземных вод, вдохновлявший поэтов всех стран и соблазнявший художников всех родов изящных искусств, еще живет в народном представлении, несмотря на истекшие многие сотни лет. В качестве наследия от языческих предков славян, принесенного с берегов тихого Дуная на многоводные реки славянского востока и на его глубокие и светлые озера, этот миф значительно изменился в Великороссии. Из веселых, шаловливых и увлекательных созданий западных славян и наших малороссов русалки, в стране угрюмых хвойных лесов, превратились в злых и мстительных существ, наравне с дедушкой водяным и его сожителями, вроде «шутовок» и «берегинь». Таким образом, между малороссийскими «ма́вками» или «майками» и «лешачихами» лесной России образовалась большая пропасть, отделяющая древние первобытные верования от извращенных позднейших. Русалок, поющих веселые песни восхитительными и заманчивыми голосами, заменили на лесных реках растрепы и нечёсы: бледнолицые, с зелеными глазами и

такими же волосами, всегда голые и всегда готовые завлекать к себе только для того, чтобы без всякой особой вины зашекотать до смерти и потопить». См. также: Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1987. Часть I. Былички и бывальщины о духах природы.

С. 29. ...*Киев был во власти поляков*...— с 1569 г. до воссоединения Украины с Россией в 1654 году.

С. 36—37. Примечания в конце сказки принадлежат О. М. Сомову.

Текст публикуется по изданию: Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984.

Оборотень. Впервые: Подснежник на 1829 год. Спб., 1829. Подпись: О. Сомов.

С. 37. ...*Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры*...— «Гяур» (1813) и «Корсар» (1814) — поэмы Дж. Байрона (1788—1824); «Пират» (1821) — роман Вальтера Скотта (1771—1832); «Ренегат» (1822) — роман французского писателя-романтика Шарля д'Арленкура (1789—1856); повесть «Вампир» (1819) — замысел Байрона, реализованный его личным врачом и секретарем Д. В. Полидори (1795—1821).

С. 40. *Торговая казнь* — публичное наказание преступника кнутом (обычно на торговой площади) в России до 1845 года.

С. 43. «*На море Океане на острове Буяне*...» — типичная «формула» народного заговора. Этот охотничий заговор использован Алексеем Ремизовым в сказке «Медведчик».

С. 47. *Потазать* — потузить, поколотить, потаскать.

С. 48. ...*челышко изо всех умных баб* — самая умная из умниц. *Антидот* — противоядие.

*Я басню... не бываю*.— Цитата неточная, у М. В. Ломоносова: «Могу вам, господа, сказать».

Текст публикуется по изданию: Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984.

Сказание о храбром витязе Укроме-табунщике. Впервые: Невский альманах на 1830 год. Спб., 1829. Подпись: Сомов.

Текст публикуется по изданию: Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984.

Сказка о медведе Костоломе и об Иване, купцом сыне. Впервые: Царское Село на 1830 год. Спб., 1829. Подпись: О. Сомов. Датировано 17 сентября 1829 г.— днем рождения жены А. А. Дельвига, которой посвящена сказка.

С. 50. *Истрощить* — расщепить на мелко.

С. 51. ...*к Макарьеву на ярманку*.— Знаменитые ярмарки у Макарьева монастыря на левом берегу Волги; происходили с середины XVI в. по 1816 г., затем были перенесены в Нижний Новгород.

...красной александрийской своей рубашки.— То есть сшитой из александрийской (красной бумажной, с пропиткою другого цвета — белой, синей, желтой) ткани.

С. 52. *До пологу* — до упаду.

В поле съезжаются, родом не считаются. Впервые: Русский альманах на 1832 и 1833 годы. Спб., 1832. Подпись: Сомов.

С. 55. *Шатры мурзовецкие* — татарские, восточные (от *мурза* — татарский феодал).

*Смирное платье* — смиренное, печальное, жалевое, траурное.

Бродящий огонь. Впервые: Альциона на 1833 год. Спб., 1833, с подзаголовком «Из Малороссийских былей и небылиц». Подпись: П. Байский.

С. 55. ...*касожских* — касоги: предки современных черкесов. В «Повести временных лет» под 1022 годом описывается поединок князя Мстислава с касожским князем Редедей. В «Слове о полку Игореве» говорится о том, что Боян пел славу «храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред полки касожскими». Этому поединку посвящена одна из дум К. Ф. Рыльева.

Текст публикуется по изданию: Русская романтическая повесть (Первая треть XIX века). М., 1983.

Киевские ведьмы. Впервые: Новоселье. Ч. 1. Спб., 1833. Подпись: Порфирий Байский.

С. 56. *Тарас Трясила* (Трясило, наст. фам. Федорович) — запорожский гетман, вождь казацкого крестьянского восстания 1630 года против польского ига. В трехдневном бою 15 мая под Переяславцем повстанцы разгромили войско польского коренного гетмана Станислава Конецпольского (1591—1646). Тарас Шевченко воспел эту победу в стихотворении «Тарасова ночь».

С. 57. *Брюховецкий* (ум. 1668) — гетман Левобережной Украины и запорожский кошевой атаман.

*Летописец Малороссии* — Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788—1850), историк, автор «Истории Малой России» (1822).

С. 66. *Намитка* — украинский головной убор замужних женщин, покрывало из кисеи.

С. 68. *Пещеры* — подземные катакомбы Киево-Печерской лавры, где находились кельи, часовни и гробницы умерших подвижников Киевской Руси, среди них — мощи Ильи Муромца.

Текст публикуется по изданию: Русская романтическая повесть, М., 1980.

Сказка о Никите Вдовиниче. Впервые: Русский альманах на 1832 и 1833 годы. Спб., 1832. Подпись: Сомов.

С. 70. *Царево кружало* — питейный дом, кабак, где народ «кружит».

*В запол* — под полу.

- С. 71. *Шкнуть* — подать голос.  
 С. 72. *Почтись* — приложи усилие, постарайся.  
 ...не применно будучи... — от применять, сравнивать,  
 С. 74. *Совок* — здесь: толчок.  
 С. 75. *Загуло* — загудело.  
 С. 78. *В сугорбок* — здесь: в спину.  
*Присенок* — чулан в сенях.  
 С. 79. *Калита* — сумка, киса, подвесной карман.  
 С. 80. *Полстяный* — валяный, войлочный.  
*Кармазинные* — здесь алые.  
*В пологу* — на кровати под пологом.

С. 83. ...*в смуром кафтане* — С м у р о е с у к н о — крестьянское некрашеное сукно из темной (*смурой*) шерсти.

Текст публикуется по изданию: Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984.

### Даль В. И. (1801—1872)

«Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приуроченные и поговорками ходячими украшенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый», впервые вышли в 1832 году, а в 1833—1839 годах к ним прибавились еще четыре книжки «Былей и небылиц казака Владимира Луганского» (город Луганск — родина В. И. Даля). Детские сказки В. И. Даля вышли значительно позже — в 1860—1870-е годы: Два сорока бывальщинок для крестьян. Спб., 1862. Часть 1—2; Первая первинка полуграмотной внучке. Сказки, песенки, игры. М., 1870. В. И. Даль — крупнейший собиратель фольклора, не только пословиц (в его знаменитое собрание «Пословицы русского народа» вошло более тридцати тысяч образцов этого жанра), но и песен, сказок, легенд, народных лубочных картинок. Все свое собрание уральских и оренбургских казачьих песен В. И. Даль передал П. В. Киреевскому, став *вкладчиком* его общенационального песенного свода; богатейшее собрание народных сказок, в которое вошло, по свидетельству А. Н. Афанасьева, «более тысячи списков», он передал в афанасьевский сказочный свод. А издание «Русские народные легенды» (1860) того же А. Н. Афанасьева почти целиком состоит из записей В. И. Даля. Точно так же произошло и с его уникальнейшей коллекцией народных лубков, переданной В. И. Далем в Императорскую публичную библиотеку и ставшую основой знаменитого издания Д. А. Ровинского «Русские народные картинки». Себе же Владимир Даль оставлял только пословицы и поговорки, а также материалы для «Толкового словаря живого великорусского языка».

Сказка о Шемякином суде и о воеводстве и о прочем; была когда-то быль, а ныне сказка будничная. Впервые: Русские сказки. Пяток первый. Спб., 1832. В основе сказки — популярная сатирическая повесть второй половины XVII века «О Шемякином суде», связанная с народной сказкой о богатом и бедном братьях. Повесть обличает взяточничество судей, произвол богатых, с сочувствием рисует образ находчивого бедняка.

С. 86. *Проторь, протора* — издержки, расходы (здесь и далее в примечаниях используется материал «Толкового словаря» В. И. Даля).

С. 88. *Свищ, свищик* — сквозная дыра в чем-либо.

С. 90. ...с изящными изображениями, не то Суздальского, не то Владимирского художника...— Имеется в виду популярнейший народный лубок «Шемякин суд», сохранившийся в собрании Д. А. Ровинского (№ 55). Этот многосюжетный лубок XVIII века начинается словами: «В некоторых Палестинах два брата живаще: один богатый, а другой убог...»

Сказка о воре и бурой корове. Впервые: Были и небылицы казака Владимира Луганского. Книжка III. Спб., 1836. В основе сказки В. И. Даля — лубочная сказка «О воре и бурой корове» (Д. А. Ровинский, № 63).

С. 92. *Супонь* — ремень, коим стягивают хомутные клешни, под шеей лошади.

*Мочка* — повислый лоскуток, тесьма, ремешок.

С. 93. *Маковник* — засушенный маковый пряник, лепешка из толченого маку с медом.

С. 94. *Валенец* — ситный или пшеничный хлеб, сайка, обваленная сверху мукою.

С. 95. *Мутовка* — всякий снаряд для взбалтывания жидкости.

С. 96. *Сказка эта вырезана в лицах, на лубке, не то на дереве...*— Народные лубочные картины первоначально вырезались на деревянной доске (отсюда и название — лубок). «Лубочная картина, суздальская, резалась встарь на липовых досках, затем на латуни» (В. И. Даль). С XVIII века лубки прорезались или протравлялись на металле. Наибольшей известностью пользовались суздальские лубки, продававшиеся в Москве на Никольской улице.

*Шельмовать* — оглашать мерзавцем, мошенником, обесчестить, поругать.

С. 97. *Постолы* — поршни, кожанцы, калики, сандалины.

Текст публикуется по первому изданию.

Сказка о нужде, о счастье и о правде. Впервые: Были и небылицы казака Владимира Луганского. Книжка IV. Спб., 1839.

С. 98. *Табарган* — земляной заяц.

С. 99. ...*Чурилья-игуменья, про которую поется* — В. И. Даль цитирует

тирует сатирическую скоморошину «Чурилья-игуменя» из Сборника Кирши Данилова.

С. 100. ...*мерлушечью шапку сымите, да бекешку-то скиньте*...— Имеются в виду шапка из *мерлухи* (ягнячьей шкурки) и *бешка* (по-лушубок).

С. 101. ...*белой избе*...— Имеется в виду изба, топящаяся по-белому, а не по-черному.

С. 102. *Кутник* — задний бабий, второй (по старшинству) угол в избе; прилавок.

*Шипец* — конек кровли.

С. 104. *Макитра* (макотра) — большой широкий горшок, в котором трут мак, табак.

С. 105. *Чапура, чапля* — долгоногая болотная птица (цапля).

С. 109. *Шуйца* — левая рука; *шуйство* — кривда, неправда, обида, ложь.

С. 117. *Жупел* — горячая сера; горячая смола, жар и смрад.

Сказка о бедном Кузе Бесталанной голове и о переметчике Будунтае. Впервые: Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1836, № 17. Подпись: В. Луганский.

С. 122. *Шабер, шабёр* — сосед.

С. 123. *Ногавка* — повязка или нашивка на ноге дворовой птицы, кур, для приметы.

*Клюшва, клюшевки* — две боковые лопасти, образующие башмак, сшитые вместе на пятке.

*Ускорнячок* — вырезанный углом, клином лоскуток; треугольная вырезка, метка на ухе лошади, животного.

С. 125. *Караковый конь* — темно-гнедой, почти вороной.

*Тавро* — клеймо, знак, метка; *таврить коней* — клеймить жегалом.

С. 126. *Смурый* — темный.

*Иверень* — черепок, осколок, отломочек.

*Оброт* — недоуздок, конская узда без удила и с одним поводом, для привязи.

• Текст публикуется по изданию: Даль В. И. Полное собрание сочинений. Спб., 1897. Т. 9.

Сказка о кладе.

С. 130. *Косная лодка* (коснушка) — легкая лодка для переездов, а не для промыслов; *расшива* — большое парусное судно; *досчанник* — речное перевозное судно с мачтой; *кладное судно* — грузовое парусное судно. Все эти названия судов чисто волжские и каспийские.

*Мурья* — на Волге: пространство между грузом и палубой, где укрываются в непогоду бурлаки, трюм.

С. 131. *Мар* — одинокий бугор, курган, насыпь. Мары, как и камешные бабы (из одного камня), ставились на сторожевых высотах, чтобы из-за них высматривать.

*Пробовать* — испытывать, искушать.

С. 132. *...пугачовский клад...* — В «Воспоминаниях о Пушкине» В. И. Даля есть упоминание об этом кладе. В бывшей столице Пугачева станице Берды казаки «указали» [Пушкину] на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугача, зашитый в рубаху, засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвести всякое подозрение и обмануть кладоискателей, которые, дорывшись до трупа, должны подумать, что это — простая могила.

*Крестовик* — петровский рубль, с крестом из четырех букв П.

С. 133. *Спрыг-трава* — сказочная, кудесная трава, от которой замки и запоры сваливаются и клады даются.

С. 134. *Ледащий* — плохой, негодный, дрянной, хилый.

*Смушчатая шапка* — шапка из шкурки ягненка.

*Комли* (комола, комолка) — шишка, твердый нарост вместо рогов.

С. 136. *Гарнец* — мера сыпучих тел, особенно хлеба, осьмая доля четверика,  $\frac{1}{64}$  четверти. Самая посудина в эту меру, деревянная или железная.

Текст публикуется по изданию: Даль В. И. Полное собрание сочинений. Спб., 1897. Т. 9.

### **Вельтман А. Ф. (1800—1870)**

Писатель пушкинской поры Александр Вельтман известен своими воспоминаниями о Пушкине, романом «Странник» (1831), многотомной эпопеей «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (1846—1863), а также произведениями историческими, фантастическими, утопическими. В романах «Кошечей бессмертный. Былина старого времени» (1833), «Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира» (1835), «Сердце и Думка» (1838), «Новый Емеля, или Превращения» (1845) он широко использовал фольклорные образы, сюжеты, мотивы. «Солдатская» сказка «Лихоманка» была впервые опубликована в «Литературной газете» (1841, № 5) как самостоятельное произведение, а затем введена в роман «Новый Емеля, или Превращения». «Повесть о Змее Горыныче» тоже включена в этот роман, что вполне соответствовало традициям романтической литературы, ее приему «вставных» сюжетов.

Тексты публикуются по изданию: Вельтман А. Ф. Новый Емеля, или Превращения. Роман. М., 1845. См. также: Вельтман А. Ф. Избранное. М., 1989.

### **Одоевский В. Ф. (1804—1869).**

Писатель, философ, издатель, исследователь музыки В. Ф. Одоевский дебютировал в литературе своими «Пестрыми сказками» (1833),

соединившими самые разнообразные традиции, едва ли не всю пестроту идей и стилей русского и европейского романтизма. Но рассказ «Игоша» (1833) и повесть «Необойденный дом» (1840) созданы на материале русского фольклора. «Посылаю вам «Необойденный дом» в роде русских легенд, чего еще у нас не пробовали, и совершенно характерную русскую»,— писал он Я. Н. Гроту. «Одоевский,— отмечает современный исследователь В. И. Сахаров,— как и многие русские писатели XIX века (И. Козлов, Н. Некрасов, Н. Лесков, Л. Толстой, Ф. Достоевский), взял религиозную народную легенду о великом грешнике и праведнице. В «Необойденном доме» с помощью традиционного религиозного мотива показано духовное возрождение человека из народа, что сближает повесть Одоевского с знаменитой некрасовской балладой об атамане Кудеяре и двенадцати разбойниках, ставшей любимой народной песней и увековеченной бессмертным голосом Шаляпина: «Вдруг у разбойника лютого совесть господь пробудил». Этот чисто народный мотив пробуждения совести, воскрешения павшей души Одоевский воплотил в форме и традициях русского фольклора. Эта интереснейшая повесть-легенда представляет собой особую страницу в творчестве В. Ф. Одоевского и заставляет нас иначе, по-новому, взглянуть не только на его творчество, но и на пути русской романтической прозы; и не случайно Белинский заметил эту повесть еще при первой публикации и находил ее «прекрасно рассказанной».

Тексты публикуются по изданиям: Сочинения князя В. Ф. Одоевского. Спб., 1844. Часть третья; Одоевский В. Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1981. Т. 2.

### **Аксаков С. Т. (1791—1859)**

Сказка написана С. Т. Аксаковым в 1856—1857 годах во время создания автобиографической книги «Детские годы Багрова-внука». О процессе воссоздания сказки он писал сыну Ивану 23 ноября 1856 года: «Я теперь занят эпизодом в мою книгу: я пишу сказку, которую в детстве я знал нанзуть и рассказывал на потеху всем со всеми прибаутками сказочницы Палагеи. Разумеется, я совсем забыл о ней; но теперь, роясь в кладовой детских воспоминаний, я нашел во множестве разного хламу кучку обломков этой сказки, а как она войдет в состав «Дедушкиных рассказов», то я принял за реставрировать эту сказку. Я написал уже 7 листов, и, кажется, будет еще столько же». Иван Аксаков писал в ответ: «Как я рад, что вы пишете дедушкины рассказы и сказку Палагеи. Я уверен, что это будет превосходная вещь, которой сужден огромный успех». Но, закончив работу над «реставрацией» сказки ключницы Палагеи, С. Т. Аксаков не стал вводить ее в повествование, а издал отдельно как приложение к «Детским годам Багрова-внука». В самих же «Детских годах



Багрова-внука», в главе «Первая весна в деревне», о Палагее рассказывается так: «Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстраивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Палагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Палагея, немолодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас, грешных»,— села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В неким царстве, в неким государстве...» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек». Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись, через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Палагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Палагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровленья, то есть до середины Страстной недели, Палагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жарптицу» и «Змея Горыныча».

Текст публикуется по изданию: Аксаков С. Т. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1986. Т. 1.

### **Толстой Л. Н. (1828—1910)**

Чем люди живы — рассказ был впервые опубликован в журнале «Детский отдых» (1881, № 12). «Мне до страсти хотелось сказать вам,— писал Толстому В. В. Стасов в январе 1882 года,— до какой степени я пришел в восхищение от Вашей легенды «Чем люди живы» в «Детском отдыхе». Уже один язык выработался у Вас до такой степени простоты, правды и совершенства, какую я находил еще только в лучших созданиях Гоголя». Сказки Л. Н. Толстого появились несколько позже, в 1885—1886 годах, и тоже поразили современников простотой языка, своеобразием Толстого-сказочника. «Форма сказки,— писал в 1888 году А. И. Эртель,— вообще одна из труднейших форм «творчества». Выросшая путем непосредственного,

наивного, младенческого творчества, сказка, если и доступна подделке, как то показали у нас Л. Толстой и Гоголь, то доступна лишь очень большим талантам и непременно с одним условием: чтобы в основе «подделочной» сказки лежала подлинно народная тема, легенда или предание. Когда это условие соблюдено, то есть, когда писатель заимствует сюжет из так называемой «устной словесности» — он овладевает воображением читателя путем простейших и читателю уже известных образов и ситуаций. Так поступил Толстой в сказке об Иване-дураке. Он оставил нетронутым традиционный характер «дурака», оставил нетронутым и характер простоватого русского черта — он только сопоставил эти персонажи иначе, потому что имел иную от старых сказок цель. На мой взгляд, это искусство поразительное».

Тексты публикуются по изданию: Толстой Л. Н. Собрание сочинений. В 22 т. М., 1982. Т. 10.

### Лесков Н. С. (1831—1895)

Час воли божией — сатирическая сказка написана Н. С. Лесковым в 1890 году под непосредственным влиянием «народных рассказов» Л. Н. Толстого. Позднее, в разговоре с А. Б. Гольденвейзером Л. Н. Толстой вспоминал, что сказку о трех вопросах он задумал давно «и предложил этот сюжет Лескову».

С. 220. *Укроп* — горячая вода, кипяток.

*Кошма* — войлок из овечьей шерсти; *тавренная, пушная кошма* — для родовитой знати.

С. 221. *Майоранное мыло* — душистое, из травянистого растения майорана.

С. 223. *Измигул* — насмешник, пересмешник.

*Лядащий (ледащий)* — см. прим. к с. 134.

С. 227. *...кануном на паперти...* — Имеются в виду *каноны* — церковные песнопения в честь святого или праздника.

*...записаны чертами и резами...* — Выражение из сочинения X века «О письменах черноризца Храбра», в котором упоминается, что славяне имели свою азбуку — *черты и резы*.

С. 228. *Веред* — чирей, болячка, нарыв.

С. 229. *Шелег* — неходячая монета, бляшка для счета в игре. *Зобёнка* — кузовок, лукошко, плетеное или лубочное, берестяное, для дачи лошадям овса или ячменя.

С. 234. *Пагленок, паголенок* — голень чулка.

С. 239. *Омшаник* — утепленное помещение для зимовки пчел.

Текст публикуется по изданию: Лесков Н. С. Собрание сочинений. В 11 т. М., 1958. Т. 9.

*Маланья* — голова баранья. Впервые: Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Спб., 1903. Т. 33.

Сказка представляет собой вольную обработку легенды, присланной Н. С. Лескову его знакомой Н. И. Карповой и «фольклоризированной» писателем, обработанной в стиле русских народных сказок.

С. 241. *Прокуратить* — проказничать, отлынивать от работы.

С. 242. *Снытка (снедь, снидь)* — снедные (съедобные травы); *снитные щи* — из ботвы, заячьей капусты.

С. 243. *Шугай* — телогрея, душегрея.

*Штоф* — шелковая плотная ткань.

Текст публикуется по изданию: Лесков Н. С. Собрание сочинений. В 5 т. М., 1981. Т. 5.

Неразменный рубль. Из цикла «Святочные рассказы», в который вошли «Жемчужное ожерелье», «Привидение в Инженерном замке», «Зверь» и другие рассказы, написанные, как отмечал в предисловии к ним Н. С. Лесков, «разновременно для праздничных — преимущественно для рождественских и новогодних номеров разных периодических изданий». Н. С. Лесков отмечал так же, что «причудливое и загадочное» в этих рассказах «имеет свои основания не в сверхъестественном или сверхчувствительном, а истекает из свойств русского духа».

Текст публикуется по изданию: Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Спб., 1903. Т. 7.

### М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889)

Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина, как подчеркивал известный исследователь Н. К. Пиксанов, «так оригинальна, так не похожа на сказки литературные и народные в своем существе, элементы традиции так в ней переработаны, что теряет остроту вопрос, откуда именно позаимствовал Салтыков те или иные элементы художественной формы для своих сказок». Тем не менее, этот вопрос о заимствованиях постоянно возникает, почти все исследователи приводят параллели сказок «Премудрый пискарь», «Карась-идеалист» — и народных сказок о Ерше Ершовиче, о щуке зубастой, «Дурака» — и народных сказок об Иванушке-дураке, «Соседей» — и народных сказок о богатом и бедном братьях, как и явные использования народных образов (Богатырь, Баба-яга, Простофиля), пословиц, поговорок, афоризмов, традиционных сказочных зачинов («Жил-был...», «по щучьему веленью, по моему хотенью», «не в сказке сказать, не пером описать» и т. п.), но все эти заимствования подчеркивают не столько схожесть, сколько различия. М. Е. Салтыков-Щедрин создает, по сути, антисказки, используя художественный прием народных же небылиц, построенных по принципу антимира, «перевернутого» мира, мира «наизнанку». Писатель тоже переводит в сторону современности, наполняя их актуальнейшим для того времени содержанием. В этом, собственно,

и заключается непохожесть сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина на сказки как литературные, так и народные.

С о с е д и. Впервые: Русские ведомости, 1885, № 135. С подзаголовком «Сказка».

С. 254. *Распределение богатств* — термин политической экономии, используемый в салтыковской сатире для обозначения существующей социальной несправедливости в распределении продуктов потребления.

С. 256. *Акциз* — косвенный налог на товары массового потребления, производимые и продаваемые частными лицами.

С. 257. *...в надежде славы и добра...* — Скрытая цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

*Страсбургский пирог* — паштет из гусиной печени, запеченный в тесте.

*Осьминник* — участок земли, засеваемый осьминой (получетвертью) зерна.

*Живем богато... в люди покатысь.* — Пословица, неоднократно встречающаяся в произведениях Салтыкова-Щедрина.

С. 259. *...с первого же абцуга...* — С самого начала, сразу же.

С. 260. *...в кусочки ходил.* — Жил милостыней, собирался.

*Посулит Простопфиля красного петуха...* — предскажет пожар.

**Б о г а т ы р ь.** Впервые: Красный архив, 1922, № 2. Публикация А. Е. Грузинского. Входила в число четырех сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина, запрещенных цензурой при жизни писателя. Замысел сказки возник в 1885 году, написана в 1886 году.

С. 261. *И вот прошло сто лет... и вдруг целая тысяча.* — В 1862 году праздновалось тысячелетие России.

С. 262. *Ежево* — еда.

Тексты публикуются по изданию: Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки. Л., 1988. Литературные памятники.

### **Ремизов А. М. (1877—1957)**

Сказочные фантазии и стилизации Алексея Ремизова, вошедшие в книги «Посолонь» (М., 1907), «Докука и балагурье. Русские сказки» (СПб., 1913), «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым» (Берлин, 1923), имеют вполне конкретные фольклорные источники. «Записи сказок, которыми я пользовался, — сообщал Алексей Ремизов в предисловии к «Докуке и балагурью», — были сделаны в Архангельской, Олонецкой, Вологодской и Уфимской губерниях и принадлежат Н. Е. Ончукову, академику А. А. Шахматову, учителю Д. Георгиевскому, писателю М. М. Пришвину, А. Васильеву, Д. И. Баласогло и учительнице В. А. Шалауровой». К этим публикациям нужно добавить и собственные фольклорные записи Алексея Ремизова, которые он делал в 1890—1905 годах в период ссылки в Усть-Сысольске и Вологде.

В предисловии к изданию 1923 года Алексей Ремизов писал: «Читая всякие записи, часто запутанные и перепутанные, а иногда бессловесные — а это-то и есть самое настоящее! — я как бы припал к земле и послушал. И то, что я услышал, зажглось, как павлиньи перья. Книга эта и есть голос русской земли — слово русского народа, сказанное мною».

Тексты публикуются по изданиям: Алексей Ремизов. Пособолье. М., 1907; Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. Берлин; Петербург; Москва, 1923.

### **Замятин Е. И. (1884—1937)**

Евгений Замятин начинал свой творческий путь в литературе в 1916 году с обработки лесковского «Левши» и со сказок, часть из которых вошла позднее в сборник «Нечестивые рассказы» (М., 1927), основанные на народных антиклерикальных анекдотах и поверьях. Сказки-притчи Евгения Замятина вошли также в сборник «...Большим детям сказки» (Берлин, 1922), сказочная форма во многом присуща и самому известному произведению писателя — роману-антиутопии «Мы».

Тексты публикуются по изданию: Евгений Замятин. Собрание сочинений. М., 1929. Т. 4.

### **Горький А. М. (1868—1936)**

Сказка «Про Иванушку-дурачка» написана Горьким, по всей вероятности, в конце 1917 — начале 1918 года. Как вспоминал К. И. Чуковский, Горький ездил с ним в Финляндию к Репину, чтобы попросить рисунок для сборника «Елка». Внимание Горького привлек увиденный им у художника рисунок «Иванушка», который они и попросили для сборника. Когда возвращались от Репина, Горький в поезде рассказал сказку об Иванушке, которую слышал от бабушки; а через несколько дней сказка была им написана и передана в сборник «Елка». Рисунок Репина был помещен в качестве иллюстрации к сказке Горького (Чуковский К. Современники. М., 1967. С. 158—159).

Текст публикуется по изданию: Горький А. М. Полн. собр. соч. М., 1973. Т. XVI.

### **Бунин И. А. (1870—1953).**

Сказка «По шучьему велению» широко известна в обработке Алексея Толстого и в фольклорном варианте выдающегося сказителя Ивана Ковалева. В 1921 году этот традиционный сказочный сю-

жет привлечь внимание Ивана Бунина, его литературная обработка «О дураке Емеле, какой вышел всех умнее» была впервые опубликована в альманахе «Око» (Париж, 1923). Рецензируя книгу Ивана Бунина «Роза Иерихона», поэт Саша Черный особо отмечал «ядренный простонародный лад» бунинской сказки, показывающей, «как широки и разнообразны изобразительные силы автора».

Сам Бунин выступал против всевозможных стилизаций, подчеркнутой архирусскости. «Сколько стихотворцев и прозаиков,— писал он в 1918 году,— делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные *народные сказания, сказки и «слова золотые»* и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно!»

Бунинская сказка создана одновременно с «Косцами», прозвучавшими как реквием русской песне. «Ибо всему свой срок,— с грустью писал он в «Косцах»,— миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рысчучие звери, разлетелись вещи птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклания, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению».

С. 307. *Коники* (от койник, койка) — лавка для спанья с подъемной крышкой.

*Беремя* — охапка дров.

Текст публикуется по изданию: Бунин И. А. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1988. Т. 4.

### Писахов С. Г. (1879—1960).

Один из своеобразнейших художников слова Степан Писахов получил признание еще в дореволюционные годы как живописец. Весьма характерно, что и младший его современник Борис Шергин тоже начинал свой творческий путь как художник — поступил в 1913 году в Строгановское училище в Москве. Степан Писахов к тому времени уже окончил художественное училище барона Штиглица в Петербурге, свыше полутора сотен его картин экспонировались в 1910 году на выставке «Русский Север». Но писателями-сказочниками они стали почти одновременно. В 1924 году появилась в печати первая сказка Степана Писахова «Не любо — не слушай», и в том же, 1924 году, вышла в свет первая книга Бориса Шергина «У Архангельского города, у корабельного пристанища. Сборник старин». С тех пор существуют в литературе *поморские узорочья* двух архангельских сказочников — Бориса Шергина и Степана Писахова.

Соломбальска бывальщина.

С. 314. *Клотик* — закругленный набалдашник на конце мачты.

С. 315. *Фок-мачта* — передняя мачта на парусном корабле; *бизань-мачта* — задняя мачта; *грот-мачта* — средняя мачта.

Как соль попала за границу.

С. 317. *Кокора* — пень.

Как парень к попу в работники нанялся.

С. 324. *Паужна* — еда между обедом и ужином, полдник.

Лень да отеть.

*Отеть* — высшая степень лени.

### Шергин Б. В. (1893—1973).

«Шергина,— отмечает исследователь творчества писателя Ю. М. Шульман,— по праву называют подвижником возрождения живейшего интереса к народной сказке в широких кругах читателей и слушателей уже в 20-е годы. Достаточно вспомнить о том необычном успехе, который имели передававшиеся по радио в 1932—1933 годах сказки Шергина в исполнении самого автора, укрывшегося под псевдонимом «Шиш Московский». Каждое выступление, по словам редакции передачи, «вызывало колоссальное количество писем» от самого широкого круга слушателей. Писали взрослые, о детях уже и говорить не приходится. Они писали, что «хохотали до слез», «чуть от смеху не умерли», что у них «уши расширились от такой веселой передачи».

В основе сказки Бориса Шергина «Дивный гудочек» — народная сказка и знаменитая былина Марины Дмитриевны Кривополеновой «Вавило и скоморохи». Борис Шергин соединил сказку и былинку, создал еще один сказочный сюжет о *веселых людях — скоморохах*, об их чудесной игре во *гудочек* (писатель совершенно точно описывает древнерусский *гудок с погудалом* — скрипку со смычком). Вполне возможно, что этот сказочный сюжет о Вавиле и скоморохах он слышал от самой М. Д. Кривополеновой, ведь известно, что в 1915 году молодой Шергин выступал вместе со сказительницей с исполнением былин, написал о ней очерк и воспоминания.

Шиш Московский.

С. 327. *Копылья, кополы* — вертикальные стенки у саней, вделанные в полозья.

С. 332. *Окутка* — одеяло.

Тексты публикуются по изданию: Борис Шергин. Повести и рассказы. Л., 1984.

### Соколов-Микитов И. С. (1892—1975)

«Озорные сказки» И. Соколова-Микитова впервые вышли в 1927 году в сборнике «Голь перекатная. Веселые народные сказки».

В «Присловье» к «Озорным сказкам» писатель отмечал: «Смеяться — по-народному не означает издеваться. Народ всегда умел за себя постоять, народ знал и знает свою силу и необходимую власть хорошо сказанного слова. В народе бывало, что иное меткое слово заклеивает худого человека на всю его жизнь, да так прочно, что и в гроб ляжет человек с тем клеймом». Соколов-Микитов выделил в своих сказках именно эту силу и *непобедимую власть* народного слова, подчеркивая, что «народная сказка была началом моего писательского пути».

С. 345. *Арапельник, арапник* — длинная ременная плеть, длинный бич на кнутовище средней длины.

Тексты публикуются по изданию: Соколов-Микитов И. С. Собрание сочинений. В 4 т. М.; Л., 1966. Т. 4.

### Бажов П. П. (1879—1950)

Более пятидесяти сказов вошли в первую и вторую книги «Малахитовой шкатулки», в основе которых — фольклор горнорабочих Урала, *тайные сказы* рудознатцев и *вольных людей*. Сказом «Про Великого Полоза», впервые опубликованном в 1936 году в журнале «Красная новь» (№ 11), открывается цикл старательских сказов П. П. Бажова, таких, как «Змеиный след» (1939), «Огневушка-Поскакушка» (1940), «Жабреев ходок» (1942), «Золотые дайки» (1945) и «Голубая змейка» (1945). В этих сказах действуют новые фантастические персонажи: хозяин золота — Великий Полоз, его дочери Змеевки, Огневушка, которая указывает на *верховое золото*, и т. д. С помощью этих сказочных образов уральские горняки поясняли загадочные явления природы: «Например, потерялась золотиносная жила — это значит, что Полоз (огромный змей — хозяин всего золота в земле) отвел эту жилу в другое место... Золото внутри такого плотного камня, как кварц, объяснялось тем, что здесь прошла Полозова дочь — Змеевка, и т. д.» (Бажов П. Предисловие к сказам, опубликованным в журнале «Октябрь». 1939, №№ 5—6). Образ реального героя сказов также изменился в старательском цикле: здесь это уже не рудокоп или мастер-камнерез, а золотонкатель, *первый добытчик*.

Про Великого Полоза.

С. 359. *Крична* — отделение завода, где находились горны и молоты для проковки; *кричный мастер* — рабочий кричной.

С. 360. *Покучиться* — попросить.

С. 361. *Понастовать* — помочь, понаблюдать.

С. 363. *Дудка* — на рудниках: шахта, шурф, колодец для добычи руд.

*Жужёлка* — мелкий самородок золота.



З м е и н ы й с л е д. Впервые: журнал «Октябрь», 1939, №№ 5—6, а также в первом издании книги «Малахитовая шкатулка»

С. 364. *Шалыганить* — отлынивать от работы, бездельничать.

С. 365. *Косушка* — мера жидкости, шкалык, четверть штофа или полбутылки.

*Щегарь* — штейгер, т. е. мастер рудных работ.

С. 366. *Намятыш* — крепкий, плотный.

С. 370. *Жоркий* — жадный, обжора.

Тексты публикуются по изданию: Бажов П. П. Сочинения. В 3 т. М., 1976. Т. 1.

### **Платонов А. П. (1899—1951).**

«Народное творчество,— писал Андрей Платонов,— вырабатывает действительность, выбирает из нее все целесообразное и драгоценное начисто; в родниках жизни после него не остается ничего для превращения в искусство: народное творчество очень редко нуждается в добавочном «критике-соавторе». Тем не менее сам Андрей Платонов вслед за целой плеядой русских писателей от Пушкина и Гоголя до Алексея Ремизова и Павла Бажова тоже стал одним из «соавторов» безымянных народных сказочников. В послевоенные годы он создал литературные обработки русских и башкирских народных сказок. В 1951 году под редакцией М. А. Шолохова вышла его книга русских народных сказок «Волшебное кольцо».

Текст публикуется по изданию: Волшебное кольцо: Русские народные сказки/Пересказал Андрей Платонов. М., 1981.

### **Честняков Е. В. (1874—1961).**

Летом 1968 года научная экспедиция Костромского музея открыла новое имя в истории русского изобразительного искусства: в деревне Шадрино было найдено более семидесяти живописных полотен и несколько сотен графических листов художника сказочных чудес Ефима Честнякова. Эта работа по реставрации и выявлению все новых и новых работ Ефима Честнякова продолжается и поныне, причем не только живописи, графики и скульптуры. Известно, что еще в 1914 году в петербургском издательстве «Медвежонок» вышла книга сказок Ефима Честнякова «Чудесное яблоко» с его же собственными иллюстрациями. Как оказалось, стихи и сказки он писал всю свою долгую и трудную жизнь. В 1988 году в журнале «Литературная учеба» (№ 1) впервые опубликованы сказки уже «позднего» Ефима Честнякова, еще раз подтвердившие, насколько взаимосвязаны и неотделимы друг от друга его картины и сказки. Картины «Свадьба», «Ряженные», «Посиделки», «Сестрица Аленушка и братец

Иванушка», «Слушают гусли», «Народный праздник» и многие другие пронизаны образами и мотивами фольклора.

Тексты публикуются по изданиям: Ефим Честняков. Чудесное яблоко. Иванушко. Сергиюшко. Спб., 1914 (См. также в кн.: Легенда о счастье. Проза и стихи русских художников, М., 1987). Ефим Честняков. Сказки/Литературная учеба, 1988, № 1. Публикация В. Я. Игнатьева и В. А. Сапогова.

Ручеек. Впервые: Литературная учеба, 1988, № 1.

С. 393. *Шабала* — сошный отвал, полица; кочковатая или выбоистая дорога.

*Солотина* — вязкое жидкое, кислое и ржавое болото, на твердой подпочве, без трясины.

С. 394. *Шляки* — палка в поларшина, чурочка, застроганная с концов, по которым, играя, бьют палкой; чиж, чирок.

С. 395. *Калужина* — лужа, стоячая вода.

*Егорьев день* — здесь и далее в рассказе Ефим Честняков описывает основные праздники народного календаря (даты указаны по старому стилю): от начала весны (Егорьева дня) до конца осени (Фролова дня). 23 апреля — день Егория храброго. Егория вешнего (в православных календарях — день Георгия Победоносца). На Егорьевой неделе прилетают ласточки. В поле стадо скотины и Егорья окликать: Храбрый ты наш Егорий, ты спаси нашу скотину! Выгоняют в первый раз скот в поле вербою с вербного воскресенья. Катаются по нивам, по росе. На Руси два Егорья: один холодный, другой голодный (26 ноября и 23 апреля). На Юрья святой Егорий разъезжает по лесам на белом коне и раздает зверям наказания. С Егорья короводы, с Дмитрия (24 февраля) посиделки.

С. 398. *Курья* — заводь, речной залив; глухой рукав, теряющийся в болотах.

С. 399. *Афанасьев день* — 20 июля. День пророка Илии. По народному календарю, первый осенний праздник. На Илью до обеда лето, после обеда осень. Ильинская соломка — деревенская подстилка. До Ильи мужик купается, а с Ильей с рекой прощается.

С. 400. *Смоленская* — 28 июля. День Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Одигитрия (Путеводительница).

С. 401. *Успенский пост* — 1 августа. Начало Успенского поста. Успенщина, оспожинка, госпожинка, вспожинки, дожинки, обжинки. Окончание жатвы, складчины, братское пиво.

*Фролов день* — 18 августа. День мучеников Фрола (Флора) и Лавра. Сей озимь от Преображения до Фрола. На Фрола и Лавра лошадиный праздник. На Фрола и Лавра на лошадях не работают, а то падеж будет.

Летучий дом. Впервые: Литературная учеба, 1988, № 1.

С. 406. *Мосты* — крыльцо и большие сени.

С. 408. *Ягель* — скоба.

С. 409. *Пахтать* — болтать, взбалтывать, сбивать.

С. 410. *Голбец* — чулан в крестьянской избе, между печью и полатями.

С. 411. *Ондрец* (одер, одрянка) — сноповозка, сноповая телега; одноколка, у которой две грядки тащатся волоком, волокушка.

С. 412. *Поленница* — кладь дров.

*Ослоны* — жерди для складки на них снопов или дров для просушки.

*Подовник* — скирдный пол из жердей, бревен.

### **Белов В. И. (1932 г. р.)**

Известный современный писатель Василий Белов — автор книги «Лад» (1982), посвященной народной эстетике и основанной на этнографическом и фольклорном материале Русского Севера. Многие его художественные произведения — «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Вологодские бухтины» — тоже неотделимы от фольклора, как средства выражения народной жизни, народных характеров. Фольклорные образы и мотивы самым непосредственным образом использованы автором в сказке-пьесе «Бессмертный Кощей» и в «Рыбацкой байке», являющихся современными вариантами традиционных сказочных сюжетов.

Текст публикуется по изданию: Белов В. И. Повести и рассказы. М., 1987.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

### **Марко Вовчок (1833—1907)**

Марко Вовчок (Мария Александровна Вилинская-Маркович) родилась в Орловской губернии, но в 1851 году вышла замуж за известного украинского этнографа А. В. Марковича и свой первый сборник «Народные рассказы» опубликовала в 1857 году на украинском языке, став классиком украинской литературы. В 1864 году вышел сборник «Сказки Марка Вовчка», созданный по мотивам украинского фольклора. Впоследствии она вспоминала, что взяться за создание сказок ей настойчиво советовал Тарас Шевченко. Марко Вовчок восприняла этот совет как своего рода завещание великого поэта. В первой книжке «Современника» за 1864 год с рецензией на сказки Марко Вовчок выступил М. Е. Салтыков-Щедрин, противопоставивший ее сказки многочисленным «нравственным повестушкам» для детей, наводнившим книжный рынок. Сказки украинской писательницы, отмечал он, чужды назойливому дидактизму, она «просто-напросто описывает, какая такая была трудовая жизнь на свете, как люди бодрые и сильные побеждают эту трудную жизнь и как другие, тоже бодрые и сильные, изнемогают под игом ее. Детям это знать небес-

полезно, потому что и им, конечно, придется по временам встретиться с трудною жизнью; следовательно, не мешает, чтоб она нашла их бодрыми и сильными, а не дряблыми и готовыми продать свою душу первому, кто обещает им яблоко».

Сказка о девяти братьях-разбойниках и о десятой сестрице Гале. Впервые: Библиотека для чтения, 1863, № 9. В основе сказки — одна из популярнейших народных песен-баллад, известная в России, на Украине, в Белоруссии и в Закарпатье.

С. 425. *Комора* — чулан, кладовая, амбар.

С. 426. *Игра в докучную*. — Имеются в виду докучные сказки.

*Бука* — «мнимое пугало, коим воспитатели страшат детей» (В. И. Даль).

«*Длинноногий журавль на мельницу ездил, диковинку видел...*» — известная прибаутка, исполняемая взрослыми детям.

С. 431. *Свита (свитка)* — верхняя одежда.

*Очипок* — повойник, головной убор замужней женщины.

С. 433. *Тукманка* — щелчок, колотушка.

*Кожух* — шуба, тулуп.

С. 438. *Стричка* — девичья лента в волосах.

С. 440. *Намитка* — см. прим. к с. 66.

Невольница. Впервые: Сказки Марка Вовчка. Спб., 1864.

Тексты публикуются по изданию: Марко Вовчок. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1957. Т. 2.

### **Иван Франко (1856—1916)**

Классик украинской литературы Иван Франко создал более сорока поэм, повести, рассказы, очерки, а также произведения для детей. В своем творчестве он обращался как к острейшим проблемам современности, так и к истории, к украинскому фольклору, продолжив, вслед за великим kobзарем Тарасом Шевченко, традиции национальной литературы. В рассказе «Русалка» Иван Франко обратился к тому же фольклорному материалу, что и Пушкин, Гоголь, Орест Сомов, Тарас Шевченко, Нико Ломоури, у каждого из которых есть своя русалка. Характерно, что в 1836—1837 годах появилась «Русалка» Андерсена, ставшая символом творчества знаменитого датского сказочника и символом самой Дании. Скульптурное изображение андерсеновской русалки установлено в 1915 году в копенгагенском порту.

Летняя сказка «Русалка» Ивана Франко впервые опубликована в 1883 году в львовском журнале «Зоря» под псевдонимом Мирон\*\*\*.

Текст публикуется по изданию: Иван Франко. Сочинения. В 10 т. М., 1956. Т. 1. Перевод А. Островского.

## Ион Крянгэ (1837—1889)

Выдающийся молдавский писатель Ион Крянгэ известен прежде всего циклом своих сказок (1875—1877) и шуточными рассказами, услышанными в детстве от народных сказителей. «Сколько раз,— вспоминал он,— слушал я ночи напролет от моша Иона или Лели Катинки сказки про Фэт-Фрумоса и Иляну-Косынзяну! В длинные зимние ночи крестьянин ложится рано, но засыпает не сразу, при свете коптилки сельские сказители рассказывали забавные истории, а я, лежа на печи, во все уши слушал и так был поглощен и взволнован, что и после того, как рассказчик умолкал, часами не мог уснуть».

Сказки Иона Крянгэ отразили связь между молдавским и русским фольклором. Об этом свидетельствуют, например, «Сказка о Белом Арапе», «Данила Препеляк», «Иван Турбинка», в которых отразились мотивы русских народных сказок «Летучий корабль», «Иванушка-дурачок», «Солдат и смерть».

Д а н и л а П р е п е л я к.

С. 480. *Препеляк* — в крестьянском дворе сучковатый кол, на который хозяйки вешают горшки и посуду для просушки.

*Тынжала* — добавочное дышло для запряжки двух пар волов.

С. 481. *Думан, Телешман* — клички волов.

С. 486. *Микидуца* — имя чертенят в молдавском фольклоре.

Сказка о поросенке.

С. 497. *Лаица* — вделанная в пол скамья-лежанка.

С. 504. *Фэт-Фрумос* — прекрасный юноша, герой молдавских легенд и сказок.

И в а н Т у р б и н к а.

С. 510. *Турбинка* — торба, котомка.

С. 513. *Сариндар* — плата за церковную службу.

С. 521. *Голия* — монастырь, а также дом умалишенных в Яссах.

*Цуйка* — сливовая водка.

Тексты публикуются по изданию: И о н К р я н г э. Избранное. Кишинев, 1957. Перевод Г. Перова.

## Ибрай Алтынсарин (1841—1889)

Выдающийся просветитель казахского народа, педагог, поэт, этнограф, фольклорист. В 1879 году Алтынсарин выпустил «Киргизскую хрестоматию», составленную по образцу «Детского мира» К. Д. Ушинского и «Книг чтения» Л. Н. Толстого, в которую наряду с сказками, баснями вошли образцы устного народного творчества — сказки, легенды, пословицы и поговорки. В основе публикуемых сказок из «Киргизской хрестоматии» подлинные фольклорные записи самого Алтынсарина.

К а р а к ы л ы ш.

С. 528. *Старуха-Ненасытная* — персонаж казахских народных сказок. Соответствует русской Бабе-Яге.

*Айдахар* — сказочный дракон. Втягивая в себя воздух, он мог проглотить любое животное или человека.

*Бермес-хан* — хан-скупец.

К а р а - б а т ы р.

С. 531. *Тамга* — родовой знак, метка.

С. 532. *Бура* — самец верблюда. Зимой, в январе и феврале, он делается поджарым.

*Тулпар* — крылатый конь.

С. 533. *Кудай* — бог.

*Баба-Тукты, Азиз-Шашты* — святые.

З о л о т о й ч у б.

С. 534. *Угрюм-хан* — несмеющийся хан, персонаж казахских сказок.

С. 536. *Малая юрта* ставилась при выделении сына или выдаче замуж дочери. Она была меньших размеров, чем отцовская, которая называлась Большой юртой.

Тексты публикуются по изданию: Алтынсарин И. Избранные произведения. Алма-Ата, 1957. Перевод с казахского Н. Кальменова, перевод стихов А. Никольской.

### Газарос Агаян (1840—1911)

Армянского писателя и педагога Газароса Агаяна обычно называют армянским Андерсеном и армянским Ушинским. Его творческое наследие и педагогическая деятельность действительно сравнимы именно с творчеством великого датского сказочника и великого русского педагога-просветителя. Газарос Агаян — основоположник армянской литературы для детей, его сказки до сих пор очень популярны как среди детей, так и среди взрослых.

Текст публикуется по изданию: Умники города Нукима: Сказки. М., 1983. Пересказала с армянского Регина Каффриэлянц.

### Ованес Туманян (1869—1923)

Выдающегося армянского поэта, прозаика, критика, переводчика, эссеиста Ованеса Туманяна знают буквально в каждой армянской семье еще и как сказочника. Сказки Ованеса Туманяна входят в школьные программы, составляют основу основ детского чтения.

Тексты публикуются по изданию: Ованес Туманян. Сказки. М., 1987. Пересказала с армянского Регина Каффриэлянц.

## Аветик Исаакян (1875—1957)

Аветик Исаакян известен далеко за пределами своей родины как выдающийся лирик, о котором еще в 1916 году Александр Блок писал: «Поэт Исаакян первоклассный. Может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет». А дети многих стран мира знают армянские сказки и легенды, обработанные Аветиком Исаакяном.

Тексты публикуются по изданию: Умники города Нукима: Сказки. М., 1983. Пересказала с армянского Регина Кафриэлянц.

## Нико Ломоури (1852—1915)

Выходец из крестьян, сельский священник, учитель Нико Ломоури — один из ярчайших представителей грузинской народнической литературы. Подобно русским писателям-народникам Глебу Успенскому, Засодимскому, Слепцову, он воссоздал в своих произведениях реальный мир грузинского крестьянина. Фольклор — неотделимая часть этой реальности. Рассказ «Русалка» Нико Ломоури в этом отношении наиболее показателен, особенно в сравнении с «Русалкой» Ореста Сомова и «Русалкой» Ивана Франко.

С 594. *Саманник* — плетеный сарай, в котором сохраняют саман (мякину и солому).

С. 596. *Дзари* — большая аробная корзина.

*Чоха* — длиннополая одежда, обычно из шерстяной дмоткани.

С. 598. *Архалук* — длиннополая одежда из бумажной ткани или шелка; надевается под черкеску (чоху).

Текст публикуется по изданию: Грузинская проза. М., 1955. Т. 2. Перевод Н. Чхеидзе.

## Нико Лордкипанидзе (1880—1944)

Прозаик, автор многих исторических повестей и романов: «Грозный властелин» (1911), «Рыцари» (1912), «Разоренные гнезда» (1916), «Лихолетье» (1914—1919), цикла новелл из жизни грузинской дореволюционной деревни, Нико Лордкипанидзе, как и многие другие грузинские прозаики, в изображении народной жизни неизменно обращался к фольклорным образам и мотивам. Почти вся грузинская народническая литература в этом отношении фольклорна. Это ее основная черта.

**Богатырь.**

С. 622. *Вешапидзе* — вешапи — чудовище, дракон.

С. 625. *Моура* — управитель провинции, города или поместья.

*Гоми* — вид проса; густая каша из гоми часто заменяет хлеб.

*Оджалеси* — сорт винограда и название вина.

С. 626. *Мчади* — кукурузный хлеб в виде лепешки.

Текст публикуется по изданию: Грузинская проза. М., 1955. Т. 3. Перевод Е. Гогоберидзе.

### **Сулейман Сани Ахундов (1875—1939)**

Азербайджанский прозаик, драматург Сулейман Сани Ахундов широко известен прежде всего своими «Страшными сказками», впервые опубликованными в 1912—1913 годах и завоевавшими ему славу одного из любимейших детских писателей.

Текст публикуется по изданию: Сулейман Сани Ахундов. Страшные сказки. Баку, 1988. Перевод Г. Грекина.

### **Змитрок Бядуля (1886—1941)**

Один из основоположников белорусской советской литературы, друг и соратник Янки Купалы и Якуба Коласа, Змитрок Бядуля (С. Е. Плавник) постоянно обращался к фольклору как в своей поэзии («Полесские басни», поэма «Ярило»), так и в прозе (рассказы «Сон Анупрея», «Панас на небе»).

Текст публикуется по изданию: Змитрок Бядуля. Избранное. М., 1957. Перевод Б. Яковлева.

### **Короткевич В. С. (1930—1984)**

Крупнейший белорусский прозаик и поэт Владимир Короткевич известен как сказочник, автор книги «Сказки», в основе которой — фольклор Полесья.

Тексты публикуются по изданиям: Владимир Короткевич. Сказки. Минск, 1975; Собрание сочинений. В 8 т. Минск, 1987. Т. 3. Перевод с белорусского В. Щедриной.

### **Карлис Скалбе (1879—1945)**

«Мечты узника», «Когда яблони цветут» — так назывались первые поэтические книги Карлиса Скалбе, вышедшие в 1902—1904 годах. Но широкую, всенародную известность принесли ему «Зимние сказки» (1914), открывшие латышского сказочника Карлиса Скалбе. «Образы и предметы сказок Скалбе, — отмечал Андрей Упит, — с их ненавязчивой поучительностью подаются в такой живой, наглядной и оригинальной форме, что воспринимаются как эстетические феномены, как создания поэтического воображения, заставляющие забывать присущий сказкам дидактизм и простодушную житейскую мо-



раль. И фабулу сказки Скалбе умеет воспринимать как народные сказочники, у которых все ответвления органически связаны с ведущим мотивом. Живописное повествование напоминает мозаичное окно в сумеречной комнате, где окрашиваемый в различные цвета уличный свет мягко манит человека на романтические, убаюкивающие качели».

Текст публикуется по изданию: Карлис Скалбе. Сказки. М., 1961. Перевод с латышского Л. Лубей.

#### **Анна Саксе (1905—1981)**

Жанр литературной сказки — один из самых развитых в литературах современной Литвы и Латвии. Поэтические и прозаические сказки, как авторские, так и фольклорные, созданы Э. Межелайтисом, М. Слукцисом, Имантом Зиедонисом. Большой популярностью пользуются сказки латышской писательницы Анны Саксе, особенно ее «Сказки о цветах».

Текст публикуется по изданию: Анна Саксе. Пиковый король: Сказки для взрослых. М., 1977. Перевод с латышского Д. Глезера.

#### **Пятрас Цвирка (1909—1947)**

Один из основоположников литовской советской литературы, Пятрас Цвирка известен не только как романист, но и как сказочник, собиратель литовского фольклора. Литовские сказки, обработанные П. Цвиркой, неоднократно издавались на русском языке, вошли в «золотой фонд» детской литературы.

Текст публикуется по изданию: Пятрас Цвирка. Сказки Неманского края. Вильнюс, 1956. Перевод с литовского О. Иоделене.

#### **Нагишкин Д. Д. (1909—1961)**

Дмитрий Нагишкин широко известен как автор романа «Сердце Бонивура» (1947) о легендарном герое гражданской войны на Дальнем Востоке. Но начинал он как сказочник. В 1938 году вышла его первая сказка «Как орла победили», а затем книги сказок: «Мальчик Чокчо» (1945), «Амурские сказки» (1946), «Храбрый Азмун» (1949), «Сказка и жизнь. Письма о сказке» (1957). Многие годы живя в Благовещенске, Хабаровске, Чите, Дмитрий Нагишкин изучал фольклор, быт, нравы, обычаи народов Дальнего Востока и в своих сказках основывался на этом материале. П. П. Бажов писал ему 30 февраля 1945 года: «И какая все-таки это изумительная вещь, этот фольклор. Ведь Ваша небольшая книжечка (книга «Маль-

чик Чокчо». — В. К.) дает больше, чем иное фундаментальное исследование. Не просто через эти сказки видишь жизнь, а начинаешь ее ощущать. Жаль, что многие этого не понимают».

Тексты публикуются по изданию: Дмитрий Нагишкин. Храбрый Азмун. М., 1949.

### **Монгуш Кенин-Лопсан (1925 г. р.)**

Когда в 1977 году тувинский поэт и прозаик Кенин-Лопсан выступил с чисто научным исследованием «К вопросу категории тувинских шаманов», а затем защитил диссертацию на тему «Сюжеты и поэтика тувинского шаманства», это не удивило никого из специалистов. Наоборот, стало естественным продолжением его творчества, неотделимого от тувинских мифов, преданий, легенд. «Мой отец, — рассказывает писатель, — был охотником, певцом и «оратором». Ни одна свадьба, ни один культовый обряд воды, горы, леса не проходил в нашем краю без участия моего отца. Он народным стихом благословлял новый очаг — юрту молодых во время свадьбы. Он умел обращаться к духам гор, лесов, родников с самыми сокровенными словами... Моя мать Сендинмаа Сат вышла из племени Сат. Ее отец Шинжек Сат был сказителем. Она рассказывала легенды о народных богатырях, вводила нас в мир пословиц, поговорок, частушек и самых веселых сказок. Она перед началом горной бури и больших снегов рассказывала нам про народных смельчаков. Когда ночью выли волки, наша мать всю ночь рассказывала песни эпоса, «Бора-Шиилей» и «Конгелдей-Мерген». Большой эпос заканчивался с рассветом, и волки тоже исчезали».

Прошли десятилетия, и Монгуш Кенин-Лопсан стал воссоздавать поэтический мир своего народа, но уже в литературе, в поэзии, в сказках и легендах.

Тексты публикуются по изданиям: Монгуш Кенин-Лопсан. Небесное зеркало: Книга сказок, преданий, рассказов и повестей. Кызыл, 1985. Перевод с тувинского Э. Фоянковой.

### **Санги В. М. (1938 г. р.)**

Поэт, прозаик, переводчик Владимир Санги широко известен как собиратель и исследователь фольклора народов Севера, автор поэтических и прозаических книг, основанных на нивхинском фольклоре. В 1961 году вышла его книга «Нивхинские легенды», в 1967 году — «Легенды ыхмифа». В последние годы Владимир Санги опубликовал эпические поэмы «Человек ыхмифа» (1986), «Сказ о Бухтахане» (1987), «Морская поэма» (1988), завершил работу над эпической поэмой «Песнь о нивхах», над составлением второго тома «Легенды и мифы народов Севера», в который вошли фольклорные

произведения двадцати шести национальностей (первый том вышел в Москве в 1985 году).

Тексты сказок публикуются по изданию: Волшебное слово: Литературные сказки. М., 1988. Библиотека молодой семьи.

### **Юхма М. Н. (1936 г. р.)**

Известный чувашский писатель Михаил Юхма в своих исторических романах и повестях, пьесах, произведениях для детей опирается на фольклор, широко использует народные мифы, легенды, предания. В 1971 году на русском языке вышла его книга «Цветы Эльби», познакомившая всесоюзного читателя с чувашскими сказками и легендами, собранными и обработанными писателем. Во вступлении к книге он писал: «Бабушка моя была известной сказительницей. Помню ее дивную песню о двух холмах вблизи нашего селения. Там, оказывается, похоронены храбрый воин Изамбай и его жена. Она была русской и вместе с мужем боролась за счастье чувашей. Вот с каких давних времен идет она, наша дружба. Мальчишкой босоногим бегал я на эти холмы, да не ведал, по какой земле ступаю, пока бабушка не спела мне свою песню. И тогда весь мир раскрылся предо мною, как волшебная шкатулка, хранящая земные тайны. Так родилась любовь к истории отчего края. С годами она крепла. Я стал записывать народные легенды, песни, предания о великих баторах-освободителях, о воинах-патриотах, о певцах, чьи имена несли народу мечту о свободе, о героях, не склонивших головы перед угнетателями. Еще в школьные годы с котомкой за плечами ходил я из селения в селение, собирая сказки. Это стало привычкой, а затем и профессией».

Тексты публикуются по изданию: Цветы Эльби: Рассказы, сказки, легенды. М., 1977. Авторизованный перевод с чувашского А. Буртынского.



## СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Калугин. «Это что за невидаль...» . . . . . 3

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### Н. В. Гоголь

Заколдованное место. *Быль, рассказанная дьячком  
\*\*\*ской церкви* . . . . . 21

#### Орест Сомов

Русалка. *Малороссийское предание* . . . . . 29  
Оборотень. *Народная сказка* . . . . . 37  
Сказание о храбром витязе Укроме-табунщике. *Картина  
из русских народных сказок* . . . . . 48  
Сказка о медведе-Костоломе и об Иване, купецком сыне 50  
В поле съезжаются, родом не считаются . . . . . 53  
Бродящий огонь . . . . . 55  
Киевские ведьмы . . . . . 56  
Сказка о Никите Вдовиниче . . . . . 69

#### В. И. Даль

Сказка о Шемякином суде и о воеводстве и о прочем;  
была когда-то быль, а ныне сказка буднишная . . . . . 84  
Сказка о воре и бурой корове . . . . . 92  
Сказка о нужде, о счастье и о правде . . . . . 98  
Сказка о бедном Кузе Бесталанной голове и о перемет-  
чике Будунтае . . . . . 120  
Сказка о кладе (*Богатырская сказка*) . . . . . 129

<b>Александр Вельтман</b>	
Лихоманка. <i>Солдатская сказка</i> . . . . .	140
Повесть о Змее Горыныче . . . . .	146
<b>Владимир Одоевский</b>	
Игоша . . . . .	153
Необойденный дом. <i>Древнее сказание о калике перехожей и о некоем старце</i> . . . . .	158
<b>С. Т. Аксаков</b>	
Аленький цветочек. <i>Сказка ключницы Палагеи</i> . . . . .	170
<b>Л. Н. Толстой</b>	
Чем люди живы . . . . .	189
Работник Емельян и пустой барабан . . . . .	207
<b>Н. С. Лесков</b>	
Час воли божией. <i>Сказка</i> . . . . .	215
Маланья — голова баранья. <i>Сказка</i> . . . . .	239
Неразменный рубль . . . . .	245
<b>М. Е. Салтыков-Щедрин</b>	
Соседи . . . . .	254
Богатырь . . . . .	261
<b>Алексей Ремизов</b>	
Кикимора . . . . .	263
Зайчик Иванович . . . . .	264
Лев-зверь . . . . .	270
Горе злосчастное . . . . .	272
Скоморох . . . . .	277
Медведчик . . . . .	281
Жулики . . . . .	286
Хлоптун . . . . .	295
<b>Евгений Замятин</b>	
Ангел Дормидон . . . . .	299
Херувимы . . . . .	301
<b>А. М. Горький</b>	
Про Иванушку-дурачка. <i>Русская народная сказка</i> . . . . .	302
<b>И. А. Бунин</b>	
О дураке Емеле, какой вышел всех умнее . . . . .	306

## **Степан Писахов**

Соломбальска бывальщина . . . . .	314
Как соль попала за границу . . . . .	316
На корабле через Карпаты . . . . .	320
За дровами и на охоту . . . . .	321
Как поп работницу нанимал . . . . .	322
Как парень к попу в работники нанялся . . . . .	323
Лень да отеть . . . . .	324

## **Ворис Шергин**

### **Шиш Московский**

Шишовы напасти . . . . .	326
Куричья слепота . . . . .	330
Шиш приходит учиться . . . . .	331
Шиш складывает рифмы . . . . .	332
Праздник Окатка . . . . .	333
Бочка . . . . .	334
Шти . . . . .	335
Тили-тили . . . . .	335
Дивный гудочек . . . . .	336

## **И. С. Соколов-Микитов**

Озорные сказки . . . . .	340
Бабушкина загадка . . . . .	340
Малиновый звон . . . . .	342
Тороча . . . . .	344
Дорогой сокóл . . . . .	347
Черепан . . . . .	350
Дурь-матушка . . . . .	353

## **П. П. Бажов**

Про Великого Полоза . . . . .	357
Змеинный след . . . . .	363

## **Андрей Платонов**

Морока . . . . .	375
------------------	-----

## **Ефим Честняков**

Чудесное яблоко. <i>Сказка</i> . . . . .	384
Иванушко. <i>Сказка</i> . . . . .	386
Сергиюшко. <i>Сказка-бывальщина</i> . . . . .	389
Ручеек . . . . .	392
Летучий дом . . . . .	403
Бывальщина . . . . .	416

**Василий Белов**

- Рыбацкая байка. *Современный вариант сказки про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, услышанный недалеко от Вологды, на Кубенском озере во время бесклевья* . . . 418

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ****Марко Вовчок**

- Сказка о девяти братьях-разбойниках и о десятой сестрице Гале . . . . . 424  
Невольница . . . . . 462

**Иван Франко**

- Русалка. *Летняя сказка* . . . . . 474

**Ион Крянгэ**

- Данила Препеляк . . . . . 480  
Свекровь и ее невестки . . . . . 491  
Сказка о поросенке . . . . . 497  
Иван Турбинка . . . . . 510  
Сказка про лентяя . . . . . 522  
Пять хлебов . . . . . 523

**Ибрай Алтынсарин**

- Каракылыш. *Сказка* . . . . . 527  
Кара-батыр. *Легенда* . . . . . 530  
Золотой чуб. *Сказка* . . . . . 533

**Газарос Агаян**

- Анаит . . . . . 538

**Ованес Туманян**

- Умный и глупый . . . . . 567  
Братец-топор . . . . . 571  
Лжец . . . . . 572  
Говорящая рыбка . . . . . 572  
Непобедимый пестух . . . . . 576  
Храбрый Назар . . . . . 577

**Аветик Исаакян**

- Самая нужная вещь . . . . . 586  
Умники города Нукима . . . . . 588

**Нико Ломоури**

- Русалка . . . . . 592

**Нико Лордкипанидзе**

- Богатырь . . . . . 622

<b>Сулейман Сани Ахундов</b>	
Ахмед и Мелеке . . . . .	627
<b>Змитрок Бядуля</b>	
Панас на небе. <i>По народной сказке</i> . . . . .	631
<b>Владимир Короткевич</b>	
Чертов скарб . . . . .	637
Немощный отец . . . . .	643
<b>Карлис Скалбе</b>	
Красная Шапочка . . . . .	650
<b>Анна Саксе</b>	
Предание об алуксненском Янисе . . . . .	654
<b>Пятрас Цвирка</b>	
Медвежья лапа . . . . .	664
Железный палец . . . . .	666
Шестеро Беззубых и один Косоглазый . . . . .	668
Хитрый Ромас . . . . .	671
Стракалас и Макалас . . . . .	674
Барские посулы . . . . .	677
Шуточная сказка . . . . .	680
<b>Дмитрий Нагишкин</b>	
Храбрый Азмун . . . . .	682
Айога . . . . .	692
Хвастун . . . . .	693
<b>Монгуш Кенин-Лопсан</b>	
Когда лиса стала рыжей . . . . .	696
Наказание . . . . .	697
Самый умный . . . . .	698
Где бродит Дракон? . . . . .	698
Отчего гром гремит? . . . . .	699
Верблюды, обманутый маралом . . . . .	699
<b>Владимир Санги</b>	
Девочка-лебедь . . . . .	701
Бурундук . . . . .	704
<b>Михаил Юхма</b>	
Сказание о Сарри-баторе . . . . .	709
Атл . . . . .	713
<b>Примечания</b> . . . . .	718



Л 64 Литературные сказки народов СССР / Сост.,  
вступ. ст. и прим. В. И. Калугина; Ил. Р. Ж. Авотина.— М.: Правда, 1989.— 752 с., ил.

Литературная сказка — своеобразнейшее явление в нашей многонациональной литературе. В этот сборник включены классические образцы литературных сказок народов СССР — русские, украинские, белорусские, армянские, литовские и др. Среди авторов книги — В. Даль, В. Одоевский, М. Горький, А. Платонов, М. Вовчок, И. Франко, И. Крянгэ, А. Исаакян, П. Цвирка и другие замечательные писатели.

Л  $\frac{4702000000-1961}{080(02) - 89}$  1961 — 89

84 (2)

Литературно-художественное издание

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ НАРОДОВ СССР

Составитель Калугин Виктор Ильич

Редактор В. М. Кострова

Оформление художника В. В. Еремина

Художественный редактор Г. О. Барбашинова

Технический редактор В. С. Пашкова

ИБ 1961

---

Сдано в набор 18.11.88. Подписано к печати 25.04.89.  
Формат 84×108<sup>1/2</sup>. Бумага книжно-журнальная.  
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 39,48. Усл. кр.-отт. 39,90. Уч.-изд. л. 41,92.  
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод: 1—200 000 экз).  
Заказ № 4585. Цена 3 р. 60 к.

---

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина  
и ордена Октябрьской Революции типографии  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».  
125865, ГСП, А-137, Москва, улица «Правды», 24.

---

Отпечатано в типографии изд-ва Ворошиловградского  
обкома КП Украины, 348022, г. Ворошиловград.  
ул. Лермонтова, д. 16.

## *Уважаемые товарищи!*

*С 1974 года организован сбор макулатуры с одновременной продажей популярных книг отечественных и зарубежных авторов.*

*Применение макулатуры для производства бумаги дает возможность экономить остродефицитное древесное сырье, значительно уменьшить расходы по производству бумаги.*

*Использование одной тонны макулатуры позволяет получить 0,7 тонны бумаги или картона, заменить 0,85 тонны целлюлозы или 4,4 кубического метра древесины. Кроме того, при этом сберегаются леса нашей Родины, чистота ее рек, озер, воздушного пространства.*

*Сбор и сдача макулатуры — важное государственное дело.*

*Сдавайте макулатуру  
заготовительным организациям!*

**ВТОРМА**  **СОЮЗ  
ГЛАВ  
ВТОР  
РЕСУРСЫ**



3 р. 60 к.

